ПЕРЕВАЛ

ПОВЕСТИ
МОЛОДЫХ КАЗАХСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ





ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

За последние полтора десятилетия в казахскую литературу влилась большая группа молодых прозаиков, которые обогатили ее новыми темами, расширили круг проблем и своим творчеством внесли значительный вклад в развитие современной казахской прозы.

В настоящее время эти литераторы представляют молодую ветвь литературы, уверенно заявившую о себе зрелыми, талантливыми произведениями практически во всех жанрах прозы и драматургии.

Рассказы, повести, романы авторов этого сборника, опубликованные отдельными книгами и в коллективных изданиях, находят сейчас своих читателей далеко за пределами республики.

В выпусках сборника повестей «Перевал» издательство «Жалын» представляет своим читателям произведения молодых казахских прозаиков, переведенные на русский язык.

ПЕРЕВАЛ

ПОВЕСТИ МОЛОДЫХ КАЗАХСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ



Оралхан Бокеев
Дукенбай Досжанов
Дулат Исабеков
Мухтар Магауин
Калдарбек Найманбаев
Тынымбай Нурмагамбетов
Оразбек Сарсенбаев

АЛМА-АТА «ЖАЛЫН» 1982

Каз 2
П 27

СОСТАВИТЕЛЬ: *Е. Сатыбалдиев*

П 27 **Перевал:** Повести молодых каз. писателей. Книга первая /Сост. Е. Сатыбалдиев.— Алма-Ата: Жалын, 1982.— 528 с.

В сборник вошли повести на разные темы, представляющие читателю творчество молодых казахских писателей, пришедших в литературу в 60-70-е гг.

Каз 2

П $\frac{70303-209}{408(05)82}$ 262—81—4702230200

Оралхан Бокеев

ЧЕЛОВЕК-ОЛЕНЬ

Земля казахская кончается аулом Аршалы, дальше чужне страны, неведомые края. Здесь родился и вырос джигнт, которого народ прозвал Человеком-Оленем. Он не бывал на чужой стороне, но слыхал, что Казахня огромна, как несколько вместе взятых немелкнх государств, н все же ему представлялось, что, еслн скакать с востока или с протнвоположной стороны, скажем, нз Крыма, голова лошадн обязательно упрется в центр мира — в его родной Аршалы. Вне этнх мест все для Человека-Оленя туманно, загадочно, невероятно. Слыхал он в детстве от старнка Асана такое: «Э-э! Да разве найдется еще земля, по которой бы мы не ступалн, горы, через которые не перешли. Ведь от Карашокы аж до самого Шубарагаша на конях доскакалн н обратно вернулись! Вот уж правду говорят, что еслн потянет на чужую еду, ее н попробуешь. Ты только подумай — на Катон-Карагай уже дорога проложена!»

Откуда же мог знать Человек-Олень, что старнчок говорит о путн километров в семь-восемь длнною! Воистину каждому своя окрестная горка кажется выше всех чужедальних гор.

В ауле Аршалы около шестидесятн домов, но теперь, если мы попадем туда в бодрый час, нас поразит безжнзненность и тншнна его улнц. Нн собачьего лая, ни лошадиного ржания, ни голосов женщнн — во всем ауле лншь над крышею ннзенького крайнего дома вьется дым, тянется из трубы тонкой струей, словно нитка слюны из влажной пасти коровы. У остальных пятндесятн девяти домов дымовые отверстня на крышах прикрыты камнямн. Пустые дома кажутся мертвымн, а большое человеческое поселение — кладбнщем. И тот одинокнй домик с дымком нз трубы выглядит сторожем этого пе-

чального кладбища. Да так оно и есть, пожалуй, хотя аул не вымер, а попросту переехал на другое место — в центральную усадьбу. И единственный живой очаг, из которого идет дым, принадлежит сторожу брошенного поселка и одновременно леснику, хранителю богатств окрестной дремучей тайги.

Итак, сказано уже, что аулом Аршалы кончается казахская земля. Но Человек-Олень слышал, что и дальше, за ее пределами, живут казахи: ушли в те далекие времена, когда даже солнце, как говорится, отвернуло лик свой от народа, и люди бежали, спасая головы, гонимые страхом и темными слухами, кто верхом на лошади, а кто и пешком, богачи и последние бедняки — все уходили за горы, и порою Актан, которого прозвали в ауле Оленем, Зверем, думал с невольной грустью: «Сколько же их там бродит, на чужбине, терпя побои и унижения... Но какое мне дело!» Какое ему дело, считал Актан, пусть даже и находится среди этих изгоев и беженцев его отец. Без него прошла вся жизнь, ни разу не довелось ему услышать отцовского «сынок», а теперь и не надо.

До Аршалы нет дороги, никакая машина туда не проедет, но если идти извилистой тропою вслед за болтливыми струями речки Акбулак, то она сама, словно за руку, приведет вас в заброшенный аул. В зимнюю пору, когда бушуют метели и сугробы заваливают путь, туда, бывало, никто не мог добраться, и до весны аул оказывался отрезанным от внешнего мира. Надоело аулчанам жить так, терпя капризы суровой природы, и, как только разнеслась весть, что мелкие аулы присоединяют к центральной усадьбе, в два дня всем миром народ переселился. Человек-Олень, глядя на это, диву давался: да они до Усть-Каменогорска готовы лететь, подскакивая в седлах от радости. Что за легковесный народ, перекати-поле, гонимые ветром молвы,— бестолковый народ...

Он не переехал, нет: узнал о том, что требуется охранник брошенному добру, и остался вместе с матерью сторожить Аршалы. Хватило ума понять — хотя и прозвали его Зверем,— что не переменится он в таинственной, непроглядной глуби своей души, как бы ни перемещали его по земле; знал он, что главным и ничем не заменимым для него останется высь небесная над Алтаем, чувство полета и холодная горная вода из речки, которая вполне утолит его жажду. И самым верным шест-

ком для такого ловчего беркута, как он, останется; седло на спине серого конька со звездочкой на лбу.

Когда аулчане услыхали, что Человек-Олень остается, не переезжает, то не многих это удивило: Зверь, известное дело. И только немая мать Актана, узнав о его решении, тихо покачала головой, выражая кроткий укор.

* * *

Он всегда поднимался рано. Сегодня густой туман, безмолвный и невнятный, с утра скрыл горы, поглотил громоздящиеся ввысь каменные утесы, покрытые лесом. Мрак тумана так густ, что даже не различить пальцев на вытянутой руке. И дым из трубы поглощает белая мгла. Трудно дышать — так влажен и густ воздух. Не то с неба, не то с деревьев сыпались крупные капли. Актан вышел за дверь, и в лицо его, н на открытую грудь, в распах нательной рубахн, брызнула влага, вскоре его пробрала дрожь, и он вернулся в дом. Входя, услышал стон матери, такой привычный н всегда загадочный: о чем?.. Из-за нее выбрался на край ложа черный кот.

Актан опустился на корточкн у железной печи н разжег огонь. Свет пламени, взлетевшего над сухнми, давней заготовки дровами, озарил стены комнаты и явил из тьмы осеннего утра прнзнаки человеческого жнлья... И так повторяется каждый день — в прнуроченное время совершаются привычные дела.

Он завернулся в оленью доху и вновь прилег, глядя на огненный пляс в открытой топке печи. Заснуть не придется больше: уже овладели нм думы. Человек-Олень даже не замечал этого, потому что он давно привык к этим думам. Они у него одни и те же: вчера, позавчера, год назад — те же самые...

Каждый день он встает до зари. Выйдет за дверь и, словно волк, обнюхивающнй летящий ветер, высматривает погоду. Затем возвращается домой, разжигает печку, наливает воды в чугунок на плите. Потом заворачивается в оленью доху и лежит, смотрит на огонь. Блики пламени пляшут в глазах Оленя, мысли его летят далеко. Порой искра от жаркнх еловых дров вылетит из печи, упадет на доху, или черный кот, желая погреться, нечаянно заденет раскаленный бок печки — задумавшийся Актан не придет в себя, пока не запершит в гор-

ле от запаха палеиой шерсти. Мечты овладевают им — от одииочества человек неизмеино стаиовится мечтателем,— оии неистовы, все неистовее и тоскливее со временем.

Иногда полет его зачароваииой души прерывался виезапиым храпом, сопеиием и причмокиваиием спящей матери. Или, иаоборот, когда слишком долго ие подавала оиа призиаков жизни. Тогда ои вставал, подходил к ией и, склоиившись, слушал в тишине стук материиского сердца. Оио работало ровио, с щедрой иеиссякаемой силой. Никогда Актаи ие слыхал голоса матери. И теперь, когда остались они совсем одии, ои поиял, что самое трудиое для сильного, иормальиого человека, когда ие с кем перемолвиться словом, когда иельзя снять с души груз невысказаииых мыслей... И сиова он думал об отце... Что с ним, умер ли, бродит где-иибудь под чужим небом?

Может, давио уже обиимает его земля, думал ои. Если ие умер, то почему ии разу ие явился в родные места? А придя в родиые места, ведь ие смог бы не зайти к себе — даже собака зиает свой дом. Ои бы прибежал сюда, бормоча: «Жеиа осталась одна, сыи осиротел, аллах, иекому позаботиться о иих, голодные, иаверное, сидят...» Да, так бы иепременно было, будь ои живой. Разве иайдется в мире человек, отец и хозяии, который смог бы разрушить очаг своего дома?

Ходили слухи, что отец жив, ушел в горы. Исчез он из аула не в те смутиые времена, когда все уходили и в каждом доме иужна была защита отцовская,— иет, ои исчез после Великой Отечествеииой войны. Тогда миогие из старых бежеицев уже вериулись иазад, без лошадей, с одиим седлом иа плече, даже те, которые погиали с собою тысячиые табуиы. Никто из иих ие вознесся высоко в чужой страие. Чужбииа ие прииял а их... Так мог ли отец, зиавший обо всем этом, уйти туда? Долго ждал Актаи, иадеясь увидеть его однажды среди тех, кто возвращался. Но все иапрасио. Что ж! Бывает и так: человек иа чужбиие женится, заводит иовую семью...

Мать у Актаиа иемая. Аул же ие особенно миого поведал сыну об отце. Мальчишкой слышал Актан, что отец его был высок ростом, выше всех в ауле, на виске у иего темнело большое родимое пятно. Еще узиал ои, что отец ходил в огромиых сапогах с войлочыми голенищами. И это все. Аул не особеиио чтил память о ием.

Его никто не искал — искали тех, на кого пришли похоронки, вернее, искали в чужедальних краях их могилы. А найдя, люди утешались тем, что видели последнее прибежище своего близкого. Однако и это утешение было недоступно для Человека-Оленя — его отец не погиб на войне...

Порою Актану чудилось, что отец присутствует в доме, и, вздрогнув, джигит оглядывал темные углы своего деревянного однокомнатного домика. Или покажется ему, что отец прячется в сарае...

Мать, видимо, была чем-то сильно обижена на отца. Когда Актан заговаривал при ней о нем, она качала головой, отворачивалась или уходила, что-то мыча себе под нос.

* * *

Приподнявшись с топчана, он пошевелил горящие дрова в печи. Огонь разгорелся. За окном стало светлее. Мать посапывала — непонятно, спит еще или проснулась и лежит, грезит о чем-то. Актан вновь вышел на улицу.

Туман стал редеть, приникая ближе к земле. Макушка Карашокы — Черной горы — проступила вдали. В мутноватой белесости черные грани пика выступили резко, отчетливо. Воздух по-прежнему холоден, влажен, густ. Пойдешь сквозь кусты, вмиг окатишься росою с головы до ног...

Завиднелась из белесой мути светлая громада Акшокы — Белой горы, освободившейся по грудь из тумана. Как хлопья прокисшего молока, расползались его волокна в глубине леса.

Солнце еще не поднялось, что-то гнетущее, тяжелое разлито вокруг, но вот над горами забелела полоска неба, словно прочь прогоняя туман, впитавший в себя душные испарения ночи. Подул холодный ветер. Входил в свою пору суровый алтайский ноябрь.

Актан проводил задумчивым взглядом исчезающие меж деревьев хвосты тумана и, вспомнив о делах, направился к сараю. Эта маленькая пристроечка жалась к стене дома, словно испуганный жеребенок к матери. Ржавые дверные петли смочило водою, и дверь открылась без скрипа. Белоглазый успел поесть все сено — конь был довольно прожорливый. Увидев хозяина, он

забнл копытом, прнветлнво заржал. Актан набросил уздечку н вывел Белоглазого из сарая.

Он поехал к реке, протекавшей у подножня горы. Спнна у Белоглазого толстая, широкая, н в холке коиь довольно высок, однако неимоверно длинные ногн Актана, далеко свнсая, задевают траву. Джигит широкоплеч, высок, какнм был, говорят, его отец. И в детстве Актан слыл самым рослым среди сверстников.

Вот н река, она морщнтся рябью — вода прнбыла за трн дия дождя. Кое-где у каменистых берегов река бурлнт и пенится, приплясывают ходкие волиы; исчез черный камень, вчера еще торчавший над водою, на месте его вспучивается бугорок упругой струи. На нзгибе река закручнвала бешеные воронки, жадно облнзывала камни н, перехлестывая через них, мощно ревела, разлнвшнсь намного шире русла.

Остановив коня, Человек-Олень смотрит на бегущую воду, вслушивается в ее грозиое ворчание. Река, словно зная, что, кроме нее, нет ннчего живого вокруг, шумнт все сильнее: ей кажется, должно быть, что вот умолкни она,— замрет жизнь в этом пустынном краю. «О ущелье, если стихнут мон волны, ты же станешь совсем глухнм н немым!»— полагает горная река и гремит, гремит, смело плещет волною. И тихий сумрачный край покорно сносит ее дерзкий шум и своеволие. Акбулак — еднненственное днтя окрестных гор, и кому, как не единственеиому дитятн, быть дерзким, озорным и своенравным!

Белоглазый захотел пить. Ои долго, основательно заливал брюхо — недаром всю ночь жевал сено. Чтобы не соскользиуть в воду, Актан пересел с седла на широкий круп Белоглазого. И пока лошадь надувалась водой, он будто успел задремать — сонная одурь навалилась на него, вялость охватила все тело; сейчас бы в теплый дом, залезть под оленью шубу, сжаться, закрыть глаза и лежать... Но и это ведь надоест. Что делать? Спуститься, как и все, в долину? Мать стара, плоха. Некому, кроме него, вскипятить для нее чаю. Ои и так уже больше месяца, как прнвязанный аркаиом, не может отойти от дома...

Оказывается, Белоглазый давно уже напился и стоял у воды, тоже как бы задремав. С мокрых губ его капала вода. Всадник ударнл его пяткой по раздутому брюху. Вздохнув, лошадь повернулась н леннво пошла вверх по крутому берёгу.

* * *

Дым над домом Актаиа сегодня не чериый и ие серый — какой-то поблеклый и бесцветиый, слабый и сиротливый...

Вода в чугунке закипела. Он перелил ее в медный, с помятыми боками старенький самовар, бросил в топку горящих углей и щепок. Прииес остатки вчерашией олениины, сухие лепешки, испечеииые в казаие. К накрытому столу первым подошел кот, весь изукрашениый бурыми пoдпалинами. Замяукал, глядя на мясо горящими глазами. Актаи знаками позвал мать.

Оиа встала, вышла иа улицу, вериулась, совершила омовение и, кряхтя, открыла суидук, достала четки и принялась молиться, повериувшись лицом в стороиу Мекки. Сидя на коврике, прошептала, шевеля губами, что-то иевиятиое. Это и была ее молитва. Оиа иикогда ие молилась, как ииые праведиики, по пяти раз иа дию. Ей достаточно было сотворить обряд молеиия утром перед едой и вечером перед тем, как лечь спать. Лишь одии раз за всю молитву оиа клаиялась, касаясь лбом старого коврика иа полу. В остальиое время она шептала и перебирала четки.

Сегодия молитва ее затяиулась. Актаи спокойно и безучастно смотрел иа иее. Пока оии вот так сидят, остывает чай... При завершающем поклоие старуха согиула спину, уткнулась лбом в молитвеииый коврик и замерла, не в силах разогиуться.

Актаи приблизился и помог ей подияться; широко раскрытыми глазами иемая посмотрела иа сына и покачала головой, указывая подбородком в стороиу самовара: пей, мол, один, а мие дай помолиться. Когда старуха завершила молитву, достаточно выказав предаииость и покориость аллаху, сын подбросил щепок в самовар, чтобы подогреть остывшую воду...

После завтрака ои остатками теплой воды помыл посуду, выстирал кое-какие свои и материиские тряпки. Когда ои развешивал постиранное, иа дворе стало уже совсем светло. Мутноватое иебольшое солице висело меж вершинами гор. При его зыбком свете заблистали мокрые сумрачиые скалы.

Над крышами домов поднимался пар, и от этого заброшенный аул немного повеселел, словно виовь ожил. Казалось, что хозяева вериулись к покииутым очагам,

Актану всегда не по себе было смотреть на помертвевшие дома, а сегодня он готов поздороваться с каждым, словно с человеком, или пробежаться по улице, стуча в окна и требуя сюинши — подарок за радостную весть... Расцвела душа Человека-Оленя смутной надеждой, и представил он себя обладателем волшебной силы, с помощью которой вмиг вернул бы к старым очагам людей и в мертвые дома живой дух. Бодро он вскочил на коня, выпрямился и с двустволкой поперек седла выехал из аула.

Но, удаляясь от него, погоняя коня, он как бы одновременно приближался к прошлому, яркому в своих немеркнущих картинах.

Он знал многосложные, удивительные истории каждого дома, чьи окна теперь забиты крест-накрест старыми досками. В этих обмазанных глиною лачугах кипели шумные пиры, порою навещала их почтенная смерть, там рождались дети, которых нарекали достойными человеческими именами... И пылал очаг, и кудрявился над трубою дым. Как же самому решиться погасить этот огонь, думалось ему, залить водою свой очаг! Ведь если бы один или два... а то ведь сразу пятьдесят девять очагов погасло. Он в досаде стегнул коня камчой и поскакал, будто желая поскорее уйти от печальных мыслей.

В жалкой лачуге жил скорый на язык, живой, умный старик Асан. Вечерами за аулом, где-нибудь на шелковистой траве у кизячного костра, любили посидеть с ним рядом мальчишки, до белых звезд слушали его болтовню и сказки. Над Асаном все в ауле потешались, он сам над собою потешался — шутник, забавник, корявый обломок прошлого, про таких легкомысленных стариков говорят суровые джигиты: «Над кем же еще посмеяться, как не над сивой бородой». Но некому было корить и судить болтливого старика — он был единственным взрослым мужчиной на весь аул.

Старый Асан говорил: «Ребятки, глупый человек живет долго, как ворон. В этом ауле был всего один дурак, да вот дожил до старости и теперь с вами связался, с детьми. Слезами, как говорят, полон этот мир. Мы потеряли на войне всех умных, горластых, здоровых мужиков, и теперь бабы верховодят над нами. Э, про баб я говорю, которые вон крутят хвостами, воду несут. Ох, джигиты, лучше один старик-болтун, чем десять умных

сплетниц. В ауле нужен хотя бы один такой болтун, как я, чтобы врал о разном да иногда рассказывал вам о мужестве и подвигах ваших почтенных отцов... А сегодня мне хочется рассказать вот о чем... Слушайте, ребятки, я начинаю свое вранье...»

Был старый Асан человеком доброй души. И на самом деле он оказался нужен мальчишкам аула. Коли родился человек, так умрет, но случись что с Асаном, остался бы в то время аул Аршалы без аксакала[1]. Нам не придется долго разъяснять, почему так получилось. Взять да и посчитать, сколько крепких, славных джигитов погибло в гражданскую и сколько в Отечественную войну. Молодь, что появилась незадолго или вместе с последней войною, еще не поднялась на ноги. Вот и вышло, что со смертью Асана в ауле не осталось бы ни одного бородатого... Да что там говорить об этом. Печали и без того хватает в нашем мире. Неуловим бег сурового времени, оно наслаивает пласты жизни и смерти, возрождения и гибели. Посмотрите хотя бы, как выглядит в пасмурный ноябрьский день покинутый всеми, словно бы проклятый судьбой аул Аршалы...

Одно время его называли «Вдовьим аулом». В начале войны мужчины из шестидесяти дворов ушли на фронт. Только один из них остался живым и вернулся — то был отец Актана... Из шестидесяти домов в пятидесяти девяти остались вдовы. Когда они, сойдясь вместе, оплакивали погибших, вся предгорная долина наполнялась их плачем. И голоса женщин достигли ушей того, кто призван, говорят, наблюдать за нами с высот небесных. Держа в руках бумажные листки похоронок, они рыдали, как рыдают верблюдицы, увидевшие шубу из шкуры верблюжонка. «О, мой высокий столп, о, опора моя! О, нет тебя уже на свете, умер ты, надежда и защита моя!»

Испуганный всеобщим плачем, несмышленыш Актан тогда дивился странным, необычным словам вдовьих причитаний. Особенно его удивляла женщина по имени Зибаш. Мальчик раньше слышал, как люди говорили о ее муже, что он похож на таежную птичку-невеличку, что Зибаш ходит гулять, засунув его под мышку. И вот эта женщина плакала: «О, умер ты, высокая опора, надежда моя...»

---

[1] *Аксакал* — буквально: белобородый.

Нет, недаром называли Аршалы «Вдовьим аулом». Во дворах и на дорогах, на всех пыльных пустырях близ него можно было увидеть один лишь белые головные платки женщин. Всякая война, конечно, страшна подобным исходом... И еще тем, что опаляет, гнетет, старит раньше времени детскую душу, вселяет в нее чувство безнадежности, столкнув с вечной, безутешной утратой. Малыш Актан жалел всех погибших мужчин аула, и ему хотелось однажды, днем ли, ночью, совершить что-то неслыханное, собрав все силы и умение, перевернуть горы, если понадобится, но чтобы подвиг был неизменно достоин тех, кто погиб... Но не было ни такого трудного дела, ни сил у мальчика, чтобы исполнилось желаемое. Он убегал в тайгу и взбирался на вершину самого высокого дерева, жалобно смотрел во все стороны, словно искал тех пятьдесят девять джигитов аула, которых убили, у б и л и... Но ничего он не находил, лишь видел все тот же лес, чернеющий до самого горизонта, да безмолвный аул, неподвижно раскинувшийся вдали, словно оглушенная топором телка. И выше не подняться — над ним было уже пустынное небо, до голубого купола которого не дотянется коротенькое деревце. Актан слезал с него и, мучимый неотвязной, ненасытной тоской, хватал горстями, мял черную прохладную лесную землю и плакал недетскими безысходными слезами. Ему хотелось в такие минуты исчезнуть из жизни, раствориться в убегающей вдаль речной воде, уйти черным змеем в глубину земли. Ему, наверное, было бы легче, если б взрослый могучий отец взял его на руки, приласкал, а затем объяснил многое.

«Отец, куда ты ушел?— думал он теперь, много лет спустя.— Целы еще на твоих ногах высокие сапоги с войлочными голенищами? Почему же, вернувшись с войны в родные края, ты так и не наведался в свой дом? Тебя видели чужие люди... потом ты исчез совсем. Где ты сейчас? Говорят, я похож на тебя».

Старик Белоглазый развалисто шел по тропинке, которую он вытоптал своими копытами,— бог знает, сколько раз ему пришлось пройти этим путем, везя на спине своего рослого хозяина. Кроме них двоих, никому неведома эта тропинка в лесу. Не грустит Белоглазый (да и зачем грустить?), что ненужной оказалась людям им проложенная дорожка. Ненужным оказался и сам старый мерин. О, кто только ни сидел на его терпеливой

спине за всю его лошадиную жизнь! И немало было среди них дураков, которые считали, сколько он за ночь съедает охапок сена, со злобой пинали в брюхо, обзывали его обжорой и мешком, полным дерьма. А один из этих дураков, тот, что брызгался слюною, когда принимался ругаться, как-то хлестнул колючей веткой его по глазу. А потом, решив излечить коня от бельма, нажевал угля со своими ядовитыми слюнями и пустил эту дрянь ему в глаза. Словом, помучили беднягу изрядно. С тех пор и прозвали Белоглазым. Такой не может надеяться на то, что умрет своей смертью. Когда-нибудь хряпнут его ножом по горлу... И конь не грустит о том, что один ходит по протоптанной дорожке...

Вблизи с треском и топотом пробежало стадо маралов, испуганно умчалось прочь. Крутторогие быки неслись впереди, запрокинув головы. Сколько лет их кормит-поит с руки человек, а они никак не привыкнут, думает Актан, свободные, дикие создания! А вот взять лошадей, что за жизнь у них с тех пор, как покорились человеку? Актан пренебрежительно ткнул рукоятью камчи в круп Белоглазому... В лесу было свежо, сыро; влажная земля, сплошь устланная желтыми листьями, мягко вдавливалась под копытами лошади...

На зеленых иглах кедровой хвои сверкали крупные капли; проезжая мимо, Актан хлестнул камчой по лапнику — капли густо посыпались на землю. Издали, со стороны Акшокы, донесся протяжный плачущий голос. Таким же звуком отозвалась лесная даль со стороны Карашокы. И тотчас же трубный клич марала раздался совсем рядом. Это перекликались олени, собираясь в стада. Значит, кончилась неистовая пора их свадеб.

Актан вспомнил, как впервые удалось ему увидеть маралью свадьбу. Тому миновало, должно быть, лет десять, не меньше. Услышал он от старших ребят, что необычны, дики и неистовы у маралов брачные игры, захотелось ему увидеть их своими глазами. Взял он кое-какой еды и двинулся в горы. Осень стояла сухая, морозная. Красиво было в тайге, таинственно и страшно ночью, но Актан не испугался. У подножия Карашокы он увидел большое стадо маралов, подкрался сбоку и спрятался возле крупной лиственницы, подстелив под себя теплую овчинку. Целый день пролежал он на своем месте, но так ничего и не увидел. Только со всех сторон, казалось, за каждым деревом, раздавались неисто-

вые голоса ревущих маралов. Рев не прекращался всю ночь. И всю ночь мальчик так и не сомкнул глаз. Напряженно вглядывался он в кромешную тьму, и стоило где-нибудь хрустнуть ветке, как он привскакивал, словно звереныш, готовый ринуться прочь. К утренней заре дремота одолела его, но тут дико заорал козодой, где-то вблизи шумно захлопали крыльями улары... Битва оленей началась, когда позднее осеннее солнце вынырнуло из-за вершины Акшокы. Самцы не спеша отошли от самок и стали парами друг против друга. Словно по неслышной команде, они опустили головы, каждый попятился, а затем яростно двинулся вперед — сплошной треск пошел по тайге, когда столкнулись их мощные рога. Быки бились беспощадно, неистово, с утра и до полудня. Обессиленные, шатаясь, падая на землю, покидали поле боя побежденные, и лишь самые могучие, неутомимые два быка бились еще часа полтора, затем один одолел другого, прогнал его и, протрубив в небо о своей победе, направился к стоявшим поодаль ланкам. Собрав их в стадо, погнал перед собою на склоны Карашокы... Актан вернулся в аул (не с того ли дня прозвали его Оленем?) и только через неделю смог вернуться в тайгу к Карашокы. На месте битвы самцов лежал победитель, исхудалый и обессиленный, похожий на высохший труп. Актан подошел и потрогал его за рога, тот даже не попытался встать. Видимо, и на это сил не осталось...

Актан улыбнулся, вспомнив, какой удрученный, непривлекательный вид был у первого властителя гарема. Слыхал Актан, что самого ярого самца хватает только на десяток маралих. Чего ради ему драться за всех? Когда он иссякает и виновато потупится перед ждущими ланками, к нему подойдет тот, кого он победил в последнем бою, и двинет под ребра рогами. Так у стада маралих появляется новый вожак и властелин, но и его хватает ненадолго... Приходит третий, четвертый — словом, каждому достается предназначенная для него доля, и ланки родят от них маленьких маралят. Такова правда жизни маралов, таинственная истина их брачных дел, но главной тайны жизни — рождения оленьих детей — никогда не видел Актан, и ни от кого он не слышал, чтобы удалось это увидеть.

* * *

Трубные крики маралов еще раздавались время от времени, когда Актан подъехал к гряде сумрачных, величественных гор — отрогам Алдаиского нагорья. В глаза бросалась необычайно узкая и высокая черная скала, копьем вонзавшаяся в небо, на макушке каменного наконечника лежал плоский камень. Казалось, дунь ветерок, и он упадет. Но на памяти людей прошли века, а все сохранялась эта странная скала с камнем наверху, словно блюдом на палке циркача. Какие силы удерживали камень, было загадкой. Этот пик назывался Хранилищем Властелина — Таниркоймас. У его подножия находился бездонный провал, и горная тропа, проходившая здесь, подбиралась к самому краешку обрыва, будто желая испытать смелость проходящего путника.

Когда Человеку-Оленю приходилось проезжать в этом месте, сердце его вздрагивало, словно покалываемое остриями маленьких кинжалов, дыхание пресекалось. Он нетерпеливо стегал камчой и мчался прочь, будто его преследовали. Потом Актану самому было удивительно вспоминать это волнение, близкое к ужасу. Неужели, думалось ему, в Таниркоймасе таится какая-то сила, заставляющая джигита дрожать и то и дело призывать на помощь создателя.

Народ говорил, вернее, это старик Асан говорил об этой скале не иначе, как со слезами на глазах:

— В давние времена, в старину далекую, жило здесь племя казахов, которые ездили на низкорослых иноходцах. Жили в мире, богатстве, пасли скот, вволю охотились, одним словом, счастливо жили. Но в один прекрасный день, когда никто не ждал и долины близ Таниркоймаса были полны лошадьми, коровами и баранами, напали джунгары и разграбили орду. Все же прогнали злого врага, а народ никуда не ушел. Спорили из-за земли с русскими купцами. Потом шла война между красными и белыми. И, словно охваченное со всех сторон огнем, племя все равно не покинуло родную землю, хотя и можно было сесть на повозки и уйти куда-нибудь подальше, в пески. Но, слава создателю, этого не случилось, и все мы сидим сейчас здесь, у родных камней, каждый из которых хранит в себе нерассказанную сказку или историю. И если найдется среди вас кто-нибудь с талантом писать и рассказывать, то не задирай-

те иоса потом, как некоторые, что пншут о поющих петухах да орущих ишаках, а расскажнте всем о славе иашего племеии, о высокнх вершннах и бездоииых архаровых ямах иашей гориой страны.— Как ясио видится сейчас Актану морщниистое лицо старика, говорящего это; отвернувшись от мальчншек, задумчиво глядя куда-то, заправнл Асаи насыбая[1] в нос; золотые отсветы заходящего солнца скользилн, оставнв в голубой тенн ущелья и впаднны, все выше к вершинам гор; глаза мальчншек жадно впнлнсь в сморщенное лнцо старнка. Он не спешил продолжать рассказ, долго прокашливался, ворочаясь на месте, пока вновь не повернулся к слушателям. И в то мгновенье — вдруг ясно прнпомннлось Актаиу — струйка прохладного ветра донесла до него какой-то запах... Прошло столько временн, и только сегодня Актану стало ясио, что то был запах старика Асаиа, который сндел — весь от головы до пят заключенный в старое, нзношенное тело, одухотворенный н добрый, еще живой н теплый — с наветренной лесной стороны.— Это было неспокойное время, сыночкн. Если я не путаю, то те самые двадцатые годы, когда в боях красные коичалн с белымн н обозы беженцев так н теклн через Аршалы за границу. Всему бывает конец, поток бежеицев тоже коичнлся, и докатились бон до наших гор. Ну об этнх событнях надо рассказывать три месяца кряду, скажу только, что хоть и отошли за границу белые, однако Балтабай со своей бандой остался и продолжал набеги, не давал, как говорится, народу выпрямить спнну, снять сапоги н расслабнть пояс. Банда эта ускользнула от красных мнлнцнонеров, которых послали из райцеитра, н спряталась в горах. В нашнх лесах и ущельях, где лишь одни улары летают, целая армия солдат укроется, а что там говорнть о полусотне баиднтов. Балтабай два раза брал Аршалы. В то время я, сыночкн, был еще совсем молоденьким джигитом. В иашем ауле все меньше оставалось мужчин, они в то смутное время переходили от белых к красным, а от красных снова к белым — и на той и на другой стороне много полегло нх, бедняг. Я же ходил вольным, сыночкн, словно архар, охотнлся на днких зверей, а на людей охотиться не желал. Но и меня допеклн наконец балта-

[1] *Насыбай* — жевательный или нюхательный табак.

баевские молодчики, пришлось прятаться в горах с пятизарядной винтовкой, была у меня такая, отобрал у одного беженца... Как отобрал? А очень просто — дал ему раз по затылку, и, пока он чесался, я спокойно унес ружье. И вот, днем я таился в горах, а поздно вечером, когда добрые люди уже укладывались на ночь, появлялся дома. Разок, сыночки, встал я, едва только развиднелось, и пошел обратно в горы. И возле Танир-коймаса вижу: стоят две привязанные лошади. Подкрался я тихонько, словно кот к мышке, гляжу, а под лиственницей храпит какой-то рыжебородый, лежит на спине, ружье к пузу прижимает. А рядом сидит молоденькая казашка, тоненькая такая. Апырмай! Ну чисто олененок безгрешный, лет, наверное, пятнадцать-шестнадцать. Тоже спит, а на лице-то, джигиты, печаль невыносимая, и одна слезинка скатиться еще не успела да так и застыла на длинных ресницах, словно примерзла. Ну, я осторожно приближаюсь к ним, а сон у нее чуткий, как у встревоженной птички, от шороха моих шагов проснулась, увидела меня и чуть не вскрикнула от радости, что казаха видит, да вовремя опомнилась и рот себе руками зажала. И посмотрела на меня такими жалкими, ну такими отчаянными глазками, что мне стало сразу понятно: я для нее последняя надежда. Ну, джигиты, не стал я особенно раздумывать, бросился ее освобождать, но на всякий случай, прежде чем разрезать на девушке аркан, потихоньку забрал у рыжебородого бандита ружье. А он вскоре очухался, привскочил, хвать-хвать руками вокруг себя, но увидев, что ружье у меня, дал деру в сторону пещеры Танирконмаса. Я за ним. Можно было, конечно, застрелить его раньше, чем он в пещеру влезет, но я уж не стал мешать ему, а, наоборот, подбежал и пинками в зад вогнал его туда. Девушку потом отвез в аул... и хотите — верьте, хотите — нет, пусть для вас это брехня, а для меня сущая правда, но эта девушка стала моей женой, да, да, джигиты, теперь это моя старуха, которая сидит под коровой и дергает ее за сиськи. Спрашиваете, что было с тем, которого я загнал в пещеру? Не знаю, сыночки.

Как-то осенью я и сам вошел в это Хранилище Властелина, куда человек ну просто не может без дрожи в коленях войти, и не дай аллах, сыночки, никому из вас испытать того, что испытал я. Были сумерки, а в пещере уже тьма стояла, как ночью. Танирконмас, этот боже-

ственный печальный камень, пустил меня к себе за пазуху, но мог ли он раскрыть мне, ничтожному, тайну своего сердца? Я только чувствовал, дети мои, как тоскует эта мрачная, загадочная душа горы, и было мне так страшно и так холодно — нету, наверное, на свете холоднее пещеры. Ползком пробирался я в бездонную пропасть, ощущая лицом ледяное дыхание тьмы, и вдруг почувствовал облегчение. Что бы это могло быть? Охватило меня в кромешной тьме блаженство, замер я, овеваемый нежной прохладой, и заплакал от неведомого и неиспытанного доселе счастья. Ах, что бы это могло быть, дети мои? Эта мрачная пещера Танирконмаса, о которой люди говорили, что прячутся там злые духи, вдруг оказалась для меня полна материнской неги, и почудилось мне, что во тьме вполз я, недостойный, в сказочный дворец бессмертных духов, и об этом именно всю жизнь тосковала моя душа... Там же я испытал горькое сомнение, что ведь никто наверху, в суетном мельтешении дней и ночей, которое зовется жизнью, никто не поверит мне. И никому не смогу я рассказать о том, что совершил такое путешествие в мир смерти, где все чуждо для нас, но царит тишина, блаженство и благодать. Не смогу передать наверх привета от себя и от тех духов, хозяев пещеры, с которыми мне пришлось разговаривать, находясь в блаженном состоянии между жизнью и смертью... Сотни и тысячи лет назад эти духи — и я вместе с ними — были живыми людьми, а теперь мы стали братьями и вечными жителями пещеры Танирконмаса.

Старый Асан умолк, закончив рассказ, посидел в окружении мальчишек, смотревших на него круглыми от страха глазами, и вдруг вскочил, перешагнул через чьи-то ноги и быстро направился в сторону водопоя. Мальчишкам в эту минуту показалось, что старик Асан зачарован, его призывают тайные голоса, прорываясь сквозь грохот бурной речки, и он уже никогда не вернется назад, чтобы хоть раз еще рассказать людям какую-нибудь веселую или жуткую историю. О, дети еще не понимали, что взрослые столь же мало, как и они сами, проникли в тайны мира и потому утешаются тем, что сочиняют и рассказывают небылицы. И когда скрылся с глаз этот старик, принявший на время величественный вид, мальчики тоже вскочили и понеслись в сторону аула. Им казалось, что из черного зева пещеры выходят

чередою духи, безмолвно движутся к костру. И первым прибежал в аул, подгоняемый неистовыми ударами сердца, Актан, и до сих пор не раскрылась для него жутковатая тайна пещеры Таниркоймаса. Потому что детство ушло и умер старик Асан, обещавший ребятам, что со свечою в руке поведет в пещеру, и со смертью старого болтуна кончился, оборвался единственный живой поток сказок, легенд, преданий, песен и веселых баек. Потух, угас веселый светоч стариковской мудрости, и в пустом доме без хозяина гуляет дикий ветер. И некому больше рассказывать аульной ребятне сказки, да и самого аула, считай, нет уже — одни безмолвные тоскливые дома под осенним дождем и ветром.

А все мы знаем: если человек в детстве не ощутит рядом присутствие чудесного, дивного, то после, став взрослым, он утратит всякое любопытство к новизне знаний, к таинственным загадкам окружающего мира. И может быть, именно из сказочных впечатлений детства, из жутковатой чащи фантастического мира взлетает птица мечты, и она-то увлекает творчество человека дальше всего. Лишь в детстве, еще не познав зла, человек взирает на мир глазами особенными: детскими, безгрешными и чистыми. Весенний мир предстает перед этими глазами покрытый зеленым ковром, в узорах цветов. И навсегда останется он самым желанным, этот мир, и хочется нам вернуться на тот зеленый ковер, да невозможно, грехи не пускают. Есть дорога из детства, нет обратной дороги туда.

Но душу Человека-Оленя детство не покинуло. Синий купол небес его детства словно бы не подчинился движению времени и остался над его головою неизменным. И резвились под этим небом детские волнующие воспоминания, словно лани с нежными сосцами, играющие возле своих телят. Порою, рассердившись, что они бередят ему душу, пытался он их прогнать, но безуспешно: они возвращались. И вскоре он перестал их прогонять, понимая, что если совсем исчезнут они, то пусть будет для него мир жизни. Воспоминания обычно приходили сами, а он только удивлялся, печально вздыхал, что столь дороги они, все еще столь дороги ему...

И сейчас, проезжая мимо Таниркоймаса, он охвачен далеким страхом детства, хотя давно уже вырос и ощущает в себе такие силы, что, кажется, мог бы разрушить эту скалу голыми руками. И эта двойственность чувства,

рожденная беспредельной верностью сердца незабвенному детству, особенно волнует Человека-Оленя. Он представляет, что если взобраться на самый верх каменного пальца Таниркоймаса и лечь на плоскую плиту, венчающую вершину, а затем, свесив подбородок через край, посмотреть вниз — о, как бы закружилась голова над жутким провалом ущелья! Если даже в самый жаркий летний день, когда от зноя чуть не кипит вода, присесть на мягкий мох у края этого ущелья, то все равно леденящий озноб охватит тебя. Как дыхание чудовища, идет снизу холод, и это кажется колдовством. Не раз Актану хотелось спуститься на веревках в пропасть, чтобы разгадать это диво, но всегда что-то останавливало его. Нет страха — нет! Он бы преодолел свою робость... Но как будто бы некий запрет тяготел над ним, и Актан не смел его нарушить... Словно тот глубинный, никем не наложенный, но могучий запрет, который не позволяет человеку решиться на убийство себе подобного или, отбросив стыд и совесть, пуститься в грязный и безоглядный разгул... И желание сойти в ледниковое ущелье оставалось для него пока неосуществленным, с годами оно обрело невесомость и парение мечты... Когда его охватывало отчаяние одиночества, он, истерзанный и беспомощный после приступа душевной боли, вдруг с исступлением начинал думать о том, как бы он спустился в пропасть и вернулся назад живым. «Ах, спуститься туда и выйти оттуда живым!»— несчетно повторял он про себя, стиснув зубы. И ему казалось, что если бы исполнилось это, вся остальная жизнь его изменилась бы, словно по мановению волшебника, и стал бы он богатым, щедрым, всемогущим и славным, как никто еще на земле. Все дело было в том, чтобы *спуститься туда и вернуться*...

Актан невольно придержал коня, проезжая тропой, идущей по краю ущелья. «О, какие же это слабые, суетные и лукавые мысли!»— ужаснулся он про себя. Не потому ли думается о богатстве, щедрости и власти, что сейчас уже каждому ребенку известно о сокровищах, якобы спрятанных на дне пропасти? Значит, не ради волшебного испытания спустился бы он туда, а попросту за жемчугами и золотом, спрятанными там баями и богачами после революции? «Видать, и ты тоже не прочь разбогатеть?»— изобличал сам себя Человек-Олень, сердито нахлестывая ни в чем не повинную лошадь...

Он повернул коня назад — не захотелось дальше подниматься к Таниркоймасу. В этот туманный и сумрачный, как никогда, холодный день душу словно охватило предчувствие близкой беды, вероломства, предательства — беспредельная тяжесть и печаль легли на нее. Туман, который начал было рассеиваться, так и не разошелся в осеннем, перенасыщенном влагою воздухе, а вскоре мутные валы его начали вновь густеть, затягивая все вокруг неразумительной белесой мглой. Холодный пар предзимья властвовал в лесу. Дыхание его было даже невыносимее февральского свирепого холода. Близилась — была уже где-то рядом — эта снежная морозная пора, когда весь Алтай погрузится в глубокий белый сон...

В зимнюю пору Человек-Олень всегда чувствовал себя бодро, много охотился, далеко уходил в тайгу на лыжах, подбитых шкурой жеребенка. Теперь, когда эти лесные края покинули люди, несравнимо больше стало белок, лисиц и другого зверья. Стих шум аула, перестали блеять овцы, простора для вольного житья лесных тварей прибавилось, так что неудивительным было их возрождение, но только непонятно, куда исчезла таинственная священная мышь. За два года Актан не видел ни ее, ни ее следов и не знал, чем объяснить это. Возможно, предполагал он, обильные третьегодичные снегопады в мае погубили ее и весь род мышиный. А может, они узнали о приближении небывалого голода и заранее покинули эти края...

Белоглазый заспешил к дому, не чувствуя руки хозяина, но Актан пришел в себя, выпрямился в седле и повернул коня в сторону далекого и невидимого пока Синего озера. Чахлое солнце, тонущее в тумане, словно перескочило на новое место и виднелось теперь чуть заметным белым диском по правую сторону от Акшокы и Карашокы. Эти каменные громады сейчас были проглочены туманом и едва заметными тенями шевелились в его чреве. Засилье тумана, объявшего собою небо и землю, было столь велико, что даже шум горной реки, извечно жизнерадостный и звонкий, был приглушен теперь словно толстым слоем ваты. И в этом холодном пару Актан гнал коня вдоль речного берега, спеша к Синему озеру, как на праздник к родственникам.

У Кокколя, Синего озера, когда-то бурлила жизнь. Не протолкнуться было среди рабочих, везущих на тач-

ках руду. С сибирской стороны и с казахской шли люди, чтобы густым скопом, без техники, с кайлом да лопатой добывать ценный вольфрам. Добытый металл отправляли, погрузив на верблюдов, куда-то в глубь страны... Актан ничего этого не видел воочию... Было это давно, рудник и завод просуществовали недолго, теперь все заброшено, умерло, и ничто не напоминает о тех шумных, развеселых и отчаянных буднях вольфрамового прииска. Кокколь прятал свои загустелые, помертвевшие воды под лохмотья тумана. Человек-Олень, обладая сердцем чутким и беззащитным, всегда бывал подавлен подобным зрелищем ветхости, заброшенности и забвения. Душа его скорбела, но все равно властная сила призывала его сюда, и он часто навещал мертвый рудник у Синего озера. И если хотя бы месяц он не бывал здесь, то чувствовал томление и беспокойство.

Может быть, в смутных размышлениях находил он свою судьбу сходной с судьбою этого кусочка казахской земли на берегу Кокколя — Синего озера, пограничные воды которого разделяют Казахстан и чужую страну... И подобно этому покинутому заводу, обречен он, скиталец и одинокий кочевник в пустыне, на полное забвение и безрадостное угасание. И чем дальше будет тянуться время его жизни, тем больше — рваться нитей надежды, устремленной к радости и счастью. И не верилось Актану, что, утратив эту надежду, обретет он что-нибудь иное — хотя бы утешительную конечную мудрость. В его сознании подспудно зрело убеждение, что никакой подобной мудрости нет, а есть лишь одно большое, безмерное, долгое ощущение жизни. И все остальное, в том числе и конечная мудрость, придумано людьми то ли для самообмана, то ли для ловкого обмана других. Но для чего так?.. Живое человеческое существо или притворно плачет, или лукаво смеется — без этого оно не может. А сам он, Актан, знает ли что-нибудь истинное о людях? Нет, тоже ничего не знает. И существуют каждый сам по себе, придумывая для себя жалкую мудрость и свои законы. Гений презирает пустых людей и высокомерно проходит мимо них по жизненной стезе, а пустой человек, кому и невдомек, что такое гениальность, смотрит с презрением и отвращением в его сторону. А рядом проходят по многотрудной жизни воры со своими законами, нерушимыми уставами и обычаями. Воры, говорят, соблюдают свои законы гораздо вернее,

чем иные честные люди. «А сам я,— размышлял Актан,— разве не придумал я сам себе законов? Живу в стороне от шумной жизни, не читаю ни газет, ни книг, радио не слушаю, в кино не хожу, живу себе один-одинешенек, рядом с немой матерью».

Вспомнился совхозный магазин на центральной усадьбе Орели, где можно было купить транзисторный приемник, похожий на кирпич; но каждый раз, лишь подумав об этом, он насмешливо возражал самому себе: «На кой черт собаке железка?» Прожил он уже тридцать лет, не слушая этот транзистор, и как-нибудь проживет так же еще лет тридцать. Ведь прожила же семьдесят лет его мать, ничего не зная и не слыша и ничего не увидев в жизни. «А те, которые что-то видели и побывали кое-где, что-то ненамного счастливее меня,— думал Актан.— Кана взять, грамотея». Вернулся тот в родные края, поработал немного в райкультотделе, да прогнали за пьянство. Бросил жену, детей и теперь перебрался в аул, работает завклубом. Много раз клянчил у Актана деньги: «Похмелиться бы, брат. Башка трещит». Все, что он зарабатывает, уходит у него на алименты и на пропой. И ходит расслабленный, совершенно бесполезный человек по аулу — живой образец человеческого срама и позора. И такой джигит протирал штаны в столичном институте! Спрашивается, не все ли равно, где человек заблудится: в дремучем лесу или среди курятников? Потому что человек обречен бестолково мыкаться по жизни и никогда не будет готов ни к встрече со смертью, ни к борьбе с ней. «Хотел бы я посмотреть,— думал Актан, недобро усмехаясь,— как ты заорешь, словно заяц, схваченный за уши, под руками беспощадной смерти... Тебе ли, жалкому трусу, бродяге в грязных штанах, крутиться возле Айгуль».

Айгуль!

Да я вырву сердце у этого поганца и суну ему под мышку да коленом поддам сзади, чтобы летел он прочь от тебя, Айгуль. Белая лань, которую я нашел в белом тумане. В моей душе, никчемной, как ведро с выпавшим дном, по-весеннему все оттаивает, когда от тебя повеет хоть единым порывом доброго внимания. Тогда и печаль легка, и тоска одинокая кажется не столь жестокой. Та свирепая тоска от разлуки с тобою, та безысходная маета, от которой впору убежать в глухой лес и умереть там, зарывшись лицом в сырой мох...

Словно птицы, летели от тебя ко мне книги, те самые книги, которые давала ты читать неразумному Человеку-Оленю, всем известному Зверю. И хоть не мог Зверь-Актан осилить эти скучные толстые книги, но знай же, Айгуль, что клал он их под голову себе, когда ложился спать, и сквозь сон ласкал их, потому что на них оставался слабый аромат твоих рук. Ты помнишь, наверное, тот день ранней осени...

Айгуль была в библиотеке одна. Рядом с нею вспыхивали стекла раскрытого окна, в котором бушевал поток закатного солнца, и огненный алый отсвет, падавший с них на лицо Айгуль, придавал ему непривычный для Человека-Оленя смятенный, тревожный, несколько суровый вид. Может, поэтому он, остановившись посреди комнаты, не посмел даже с нею поздороваться. Молчала и она, склонившись к столу. Он стоял, не в силах отвести глаз от нежно-алого лица девушки, и чувствовал, как нарастает в нем какое-то непонятное, могучее отчаяние. И уже не вынося его, повернулся и пошел к выходу. «Актан!— резко окликнула она, и еще раз:— Актан!» Он был поражен, что девушка впервые позвала его, произнесла его имя... Но таким голосом не зовут, а прогоняют. И он, не оглянувшись, вышел вон, резко хлопнув дверью. После прошло два месяца.

...А до этого у них была нечаянная встреча в доме главного бухгалтера совхоза — Буха — как звали того в ауле. Она заговорила с Актаном, спросила, почему он никогда не берет у нее книги — ведь он грамотный, учился в школе, и ему, должно быть, скучно одному в заброшенном поселке... На что он ответил не сразу, но все же ответил, сверкнув глазами: «Айгуль, я знаю, что если бы прочел все книги из твоей библиотеки, то стал бы намного умнее. Но вместе с этим я стал бы и намного хитрее и подлее. Кого называют умными людьми, Айгуль? Не тех ли, которые хитрее других, беспощаднее и бессовестнее? Так что, Айгуль, пускай я буду глупым и неотесанным. Пускай я не умею думать или плакать, как в книгах. Но я буду жить по-своему, как могу, и никогда не откажусь от своей свободы...»

Она удивилась, не ожидала того, чтобы Человек-Олень заговорил подобным образом. А потом испугалась — испугалась за этого нелепого Зверя. В смятении тихо произнесла, почти с ужасом глядя на него: «О аллах, да ведь этот человек хочет жить только для себя!»

На что он ответил долгим, упорным, насмешливым взглядом, которого она не выдержала и опустила глаза. А он крикнул:

— Кто, скажи мне, кто сейчас живет для других? Правду говори!— помахал он выставленным перед собою пальцем.— Только правду!

А в тот яркий осенний вечер Актан, прихлопнув ударом ноги хлипкую дверь библиотеки, направился к магазину Вдовы. То была разбитная молодуха, муж которой погиб, свалившись с трактором в реку. Вдова питала добрые чувства к Актану, обращалась с ним неизменно ласково и считала своим в доме, ибо тот был другом ее погибшего мужа, которого она потеряла в самом расцвете своих женских лет... Черные бойкие глаза ее радостно сверкнули и попытались, как и всегда, выразить что-то более значительное, многообещающее, нежели обычная дружеская радость, когда Человек-Олень вошел в маленький магазин, согнув под притолокой голову. Но он не отозвался на игривый безмолвный призыв Вдовы. Опершись локтями о прилавок, он заговорил с нею и учтиво справился о здоровье детей. Затем попросил водки, принял из ее рук граненый стакан и выпил единым духом. Занюхал рукавом.

— Ты смотри мне, ведьма...— схватив Вдову и приподняв ее с полу, прорычал он.— Будешь хвостом вертеть, я т-тебя... Постыдись, сволочь, духа того, кто ради тебя и детей перевернулся на ДТ. Постыдись своих маленьких детей...

Вдова не испугалась. Она сама покрепче прижалась к нему и, засияв круглым румяным лицом, мелко рассмеялась.

— Ох, если аллах даст мне когда-нибудь еще мужчину, хочу, чтобы им оказался ты. Лучше ты меня помучай, чем кто-нибудь другой,— посмеиваясь, отвечала она, запрокинув голову и подставляя ему свое мягкое, большое, жаркое лицо.— Тебе бы ДТ простил... Был бы жив, и то простил бы. Друга любил больше, чем меня, жену.

Человек-Олень выпустил Вдову и оттолкнул ее от себя. Холодная жгучая водка разошлась в крови, ударила в голову. Он перемахнул через прилавок, уселся на него, свесив длинные ноги. Потупившись, хмуро попросил еще водки. Вдова поднесла, он выпил и вновь занюхал рукавом.

— Вспомнн, Актан, как мы с ДТ прозвалн тебя Зверем. И весь совхоз тоже стал дразннть тебя Зверем,— щебетала вдова, прнвалнваясь к нему сбоку.— И на самом деле ты не человек, ты зверь, ха-ха!.. А не пора лн тебе, бедному, переехать в совхоз, жениться, зажнть своим домом, а?— вдруг всхлипнула н жалостливо проговорнла Вдова.

Но Человек-Олень, казалось, не слышал. Выпитая на голодный желудок водка оглушила его. Он бессвязно забормотал, скрнвнв рот:

— Вы все... ты н Айгуль, и все-все... весь совхоз... что вы можете поннмать... Чужне вы для меня... Однн раз в месяц... однн разок спускаюсь я с гор, чтобы выпнть водкн, а вы все счнтаете, что я пьянчуга, бонтесь меня. Я знаю, вы мне завндуете... я ловлю зверей н дорогне шкуры сдаю. Отца у меня нет, а мать вон какая... н вы все равно завидуете мне. И вот эта рука, боевая моя рука будет всех вас держать за шкнрку н на том н на этом свете, знаете лн вы об этом?

Бормоча подобное, он вдруг покачнулся н свалился с прнлавка. Неуклюже поворочавшнсь, уснул там же, на полу, где лежал. Вдова растерянно заметалась. Еслн кто-ннбудь увндит его здесь, то вспыхнет пожар сплетнн, в котором она сгорнт со стыда. Но н выволочь его нз магазнна, чтобы бросить на улнце, не решнлась Вдова, жалея статного, небезразлнчного ей лесника. Она укрыла его своим пальто н, выглянув за дверь, захлопнула ее, закрыв нзнутрн на крюк. Потом села на мешок с крупой н прнтнхла, сторожа пьяный сон Актана. Сидела долго, затем постелила пустые мешкн н прилегла рядом. В кромешной тьме запертого магазнна спал эту ночь Актан, в пьяном бесчувствнн не ощущая, как обнимают его горячие, трепетные, жадные руки. И только уже прн невнятном свете раннего утра очнулся он н увидел рядом уснувшую Вдову. Напрасно прождала она всю ночь чуда. Круглое лнцо ее, обычно розовое, налнтое полнокровным румянцем, сейчас было свннцово-серым, набрякшим усталостью бессонной ночн. Она сопела, словно ребенок, всхлнпывала во сне н что-то невнятно лепетала, и Актан с невольной жалостью разглядывал беспомощную женщнну. Кто знает, что снилось молодой несчастной Вдове...

* * *

Два марала выскочили из леса, перебежали дорогу. Стройные, сильные олени взвивались над туманной землею словно в легком зверином танце и мгновенно исчезли с глаз. Актан знал, что из питомника сбежали два самца, и это, видимо, были те самые маралы. Окрепли на свободе, нагуляли жир. Охотнику подумалось, что хорошо бы выследить их да подстрелить, чтобы заготовить себе на зиму мясо. Но сразу же стало жаль их.

Над лесом неслись, шевелясь, тучи густого тумана, как клубы дыма, и солнца не было видно. Лошадь шла неуверенно, оскальзываясь на мокрой глинистой дороге. Пропитанный влагою воздух липко струился по лицу, одежде, распаренной конской шкуре. Когда осторожно, пошатываясь и прощупывая дорогу, старый конь взобрался по невидимому взгорку, лес кончился и мокрый кустарник начал хлестать по ногам, по лицу тяжелой влажной листвой. Копыта Белоглазого теперь ступали по мягкому податливому мху.

Вскоре туман заметно рассеялся и стали различимы очертания скал и дымящиеся силуэты деревьев. Меж ними тускло блеснула свинцовая поверхность Кокколя. Это была глубокая впадина на том берегу озера, где из недр рудоносной горы когда-то добывали вольфрам. Сейчас гора еле виднелась, залитая белым молоком тумана. Смутно вздымался на берегу горб рудного холма, у подножия которого зиял, как единственный глаз великана, овальный зев пещеры. И Актан направился к ней, словно крошечный Рустам к огромному великану.

Мимо промелькнули в туманных лохмотьях длинные темные бараки. Сейчас в них пусто, и полуразрушенные жилища людей стали убежищем диких сов и уларов, шумно влетающих и вылетающих сквозь пустые окна и двери. Актан хотел ввести Белоглазого за собою в пещеру, но конь уперся, попятился, натягивая узду, и тогда хозяин привязал его к стволу нагой лиственницы. Сжимая в руках камчу, Актан вступил под свод пещеры. С каждым шагом густела тьма, и Актану вспомнились ужасы пещеры Таниркоймаса, о которых рассказывал старик Асан. Казалось, что зловещие духи Таниркоймаса собрались здесь и тайно следят за непрошеным гостем. Вскоре главный ствол разделился на несколько проходов, и Актан остановился, не решаясь идти дальше. Сердце его неистово стучало, ледяная сырость ды-

шала ему в лицо из мрака подземелья. Незачем было ему устремляться туда, перемогая страх, рискуя быть погребенным заживо,— крепления давно сгнили и могли обрушиться в любое время. Спотыкаясь о валявшиеся куски руды, Актан стал осторожно продвигаться по кругу, собирая щепки. Присев на корточки, он чиркнул спичкой и разжег костер. Трепетный, слабый огонек заплясал на камне, постепенно набрал силу, и пламя ярко разгорелось, далеко отбросив пещерную тьму. Собрав побольше дров, Актан уселся возле костра. Сквозь его потрескивание услышал он какой-то шум у входа — то, наверное, металась на привязи голодная лошадь... Вскоре все звуки внешнего мира перестали существовать для него — он погрузился в обычные свои тягостные, неотвязные думы. Сейчас они были особенно тяжелы, словно глухой туман, навалившийся на горы. Голова Человека-Оленя низко свесилась на грудь.

Чем же мучилась эта скорбно склоненная голова? Как ни странно, былой радостью и воспоминаниями беззаботного детства. Нескончаемые игры, безвозвратные яркие дни, промелькнувшие мимо, словно летящие друг за другом ласточки: вжик-вжик-вжик. Не умиление вызывали эти воспоминания, а глухую душевную боль. Ибо скоро, очень скоро мечты его утратили радость, а первые робкие желания любви, похожие на вдохновенный порыв, были растоптаны кирзовыми сапогами военного времени... Прерванная учеба. Пропавший невесть где отец. Мать, не могущая сказать даже одного слова —«сынок»... От этих воспоминаний он то и дело вздрагивал, словно от грубых пинков... Кончилась, тысячу лет назад кончилась для него пора детских сказок. Безвозвратно, навеки. Пришла пора угрюмого, безрадостного одиночества. Уже два месяца он ни с кем не разговаривает. И днем и ночью — всегда один. Порою Актан восставал: «Разве человеческое начало может отказаться от себя? И почему я влачу жалкую жизнь, словно выживший из ума старик? Чего же мне недостает, чтобы я мог спокойно жить среди людей?»

Чего же не хватает? Неизвестно. Мрак за закрытыми глазами. Мелькают черточки — белые, синие... Где ты, дух старого Асана? Почему не придешь к тому, кто так любит твое ясное, веселое, мудрое начало? Как жить Человеку-Оленю в этом мире без твоих сказок и странных небылиц?

Одна из тех давних выдумок Асана.

...Вечерами аул Аршалы бывал особенно красив. Мирный пахучий дым вставал над крышами, золотистыми от вечернего солнца. С дальних выпасов возвращались стада, втекали на деревенскую улицу, повсюду во дворах кипела хлопотливая вечерняя жизнь. Старик Асан, собрав возле своей лачуги мальчишек, рассказывал: «В давние времена, когда был жив один из великих наших предков бий Маметек, никто, кроме казахов, не осмеливался перейти к нам через Курчумский перевал. Был наш пращур Маметек человеком богатейшим, но и в мудрости и остроумии аллах не отказал ему. Про его богатство ходила такая молва: если все табуны его лошадей придут на водопой и сделают хотя бы по одному глотку, то река обмелеет. Но однажды случился страшный весенний мор — джут, и все лошади его пали, не осталось даже коня под седло. Пришлось Маметеку идти просить лошадей к своему сопернику, баю Текешу. Тот захотел унизить гордого Маметека и приказал своим работникам прогнать перед соседом самых отборных лошадей под богатыми попонами: мол, пусть выбирает любую. Однако Маметек словно бы не понял ничего и огорчился: «Зря говорили, что уважаемый Текеш почти равен мне богатством! Среди десяти его отборных косяков не нашлось лошади, подходящей для меня!» Так ничего и не выбрал. А когда ему шепнули, что сосед пытался унизить его, он воскликнул: «Я, оказывается, простак! Умею считать только крупные камни. А бай Текеш хитрец, умеющий считать самые мелкие песчинки...» Так он даже в годину бедствия сумел уберечь себя от унижения. После того как Маметек съездил в Мекку и Медину, стал он называться Кажы, и слава о нем далеко разошлась по нашей земле. Он стал верховным бием и уже никому дороги не уступал, ни перед кем шапки не ломал.

Даже дети переставали плакать при упоминании о нем. И вот как-то, когда начались смутные времена, Маметек объявил всем, что поедет искать землю обетованную — Жеруйык, где нет различия между зимой и летом. Взял Маметек пятьдесят нукеров[1] с собою и отправился в далекий путь. Тогда дорог, отмеченных на карте, ни самих бумажных карт не было. Определяли

[1] *Нукеры* — свита, слуги.

направленне по солнцу и ехали напрямик куда глаза глядят. Ну, наш пращур Маметек был большой ученостн человек, много знал такого, что не знают другие. Вывел он свонх нукеров нз Аршалы н прямнком прнвел нх в далекую страну Танланд. Увидели джнгнты днковнную землю, где н впрямь круглый год стояло дивное лето. Сказка, да н только! Чем тебе не Жеруйык? Конечно, слава тем казахам, которые верхом на лошадях добралнсь до таннственной страны Танланд. А теперь даже на самолетах смоглн бы вы добраться туда? То-то же... Через трн года вернулнсь онн жнвымн-здоровымн домой. Рассказали: растет там что-то вроде пшеннцы, вызревает круглый год, н сеять не надо, само собою растет, н очень много. И вот на следующий год собрался Маметек перекочевать в этот Танланд со своим родом Каратай, с нашнм родом то есть, но не успел, умер вскоре (старнк Асан на этом месте расчувствовался н заплакал, вытер глаза рукавом старой рубахи). Если бы не умер он, то хоть однн род казахов жнл бы сейчас на сказочной земле Танланд, сыночки».

Рассказ этот до снх пор волнует Актана. В иные, самые тосклнвые свон днн он доходнт до умонсступления: неужелн, думает Человек-Олень, это было на самом деле н мой прадед побывал в Танланде? Так значит, и я мог бы жнть там, где ннкогда не бывает знма? А что бы я делал, чем бы заннмался?.. И так далее н тому подобное — странные мысли возннкают в его голове.

Но потомкн Маметека, хотя н не перебрались в Таиланд, все же покинулн Аршалы н вот уже пять лет жнвут в Орелн. А старый Асан, хоть и упнрался, тоже переехал туда. Сын его был учнтелем, н сказал он отцу: «Кого мне учить в пустом ауле? Разве тебя — больше некого будет». Пришлось сдаться старнку. Но не прожнл н года он на новом месте, умер. По его посмертной воле тело перевезли в Аршалы и похороннлн вблнзн заброшенного аула.

* * *

Актан согрелся возле огня, мокрая одежда, высыхая на нем, задымилась паром. Холодок еще держался на спнне, между лопаткамн, и он сел спнною к огню... Непонятно было, сколько прошло временн н что снаружн — знма нлн осень, туман ли по-прежнему властвует

над землею, или давно уже покрыл горную страну белый снег. Тихо. Не слышно ни фырканья, ни топота привязанного у входа коня. Надо бы выйти и посмотреть его, но... Актан лишь вновь обернулся к костру и поправил горевшие дрова. Он увлеченно прислушивался к странному разговору, который уже давно шел как бы не в нем, а где-то в стороне. Говорили, споря меж собою, какой-то умный, праведный Актан и диковатый, строптивый Человек-Олень.

Актан: Эй, ты! Не успел состариться, а уже так опустился. Чего ты добился в жизни, ну-ка? А что дал людям, миру? Чего здесь зря сидишь?

Олень: Сам знаю, что без толку сижу... как был один, так и останусь. Но одиноким можно быть и среди людей. Говорят ведь: если создатель захочет, то и днем с огнем заблудишься... Да, я ничего не добился и ничего не дал миру. И правда, опустился, одичал без людей. Но я до сих пор помню все сказки старика Асана. А они забыли. И теперь я один ношу их в своей душе.

Актан: И что ты все цепляешься за эти выдумки, по-твоему, кроме них, нет в жизни ничего стоящего? Разве мало сбывается из того, о чем когда-то люди только мечтали? Да сейчас бывает так, что человеку приснится что-нибудь ночью, а днем он это уже видит по телевизору. Цена твоим сказкам теперь пятак, они даже детям не нужны.

Олень: Знаю. Ты думал, я не знаю об этом? Давно уже догадался, что сказки любили только старик Асан и я. Мы последние, кому они дороги. И хоть ты лопни, но не докажешь мне, что это плохо. Чем тебе не нравится предание о Маметеке, который хотел переселить свое племя в страну, где нет зимы и растет чудесный вечный хлеб на непаханной земле? Неужели ты посмеешь назвать это глупой выдумкой?

Актан: Кое-какая придурь была у старика... А этот Маметек — он мог погубить свое племя, если бы увел его с Алтая, где лютая зима свирепствует полгода. В жарком климате люди умерли бы от болезней. Вот что значит — предаваться пустой гибельной мечте. Вместо того, чтобы перебирать в памяти бредни мертвого старика, спустился бы ты в долину и занялся полезным делом, пока и в самом деле не пришла старость...

Олень: Полезным, говоришь... А что такое — полезное дело? Я думаю, полезнее всего было бы научить-

ся не убивать доверия другого человека, который точно так же, как и ты, живет всего один раз и умрет навечно. А этому можно научиться не в Орели. Ведь здесь мне не перед кем хитрить, ни у кого я не вызываю ни зависти, ни злобы... Пусть я не очень счастливо живу здесь, но совесть моя чиста.

Актан: Не кичись, наивный. Кому нужен такой святоша, как ты? Этакий ангел перед самим собой. Озабоченный своей чистотой, ты и не заметил, как постепенно стал одиноким Зверем. Все в ауле, да что там в ауле — во всем районе смеются над тобой! Некоторые завидуют тому, что ты добываешь и сдаешь ценные меха, но пусть мне выколют глаза, если хоть один позавидует твоей жизни. Ведь что о тебе говорят? Актан, мол, совсем одичал, как только не боится жить с ним стара мать, как еще с ума не сошла? Уже за тридцать ему, а до сих пор не женат. Может, он и не мужик вовсе, а так себе... лишь наполовину? Куда это он исчезает порой, словно под землю проваливается? Знать, недаром рассказывают о нем всякую чертовщину...

Олень: Я охотник. Надолго ухожу в лес, это же так просто... Но пусть обо мне говорят что угодно и называют Зверем. По мне лучше быть Человеком-Оленем, чем Человеком-машиной. Там, в Орели, я знаю, некому уже сочинять сказки. Разве что обо мне начнут рассказывать небылицы, пугать непослушных детей.

Актан: А зачем современному человеку сказки? Он стал взрослым и умным, кончилось его детство и отрочество, забыл он о своем первородном робком смирении, и разве это плохо? Значит, мы подошли наконец к свободе, которую приносит прогресс.

Олень: Эй, не спеши радоваться, Актан! А не станет ли человек слишком наглым и самоуверенным, утратив и благородство сердца, лучшее из своих человеческих качеств?

Актан: А ты сам... почему сам-то закрыл сердце на замок? Что же ты прячешь так глубоко свое благородство? Или боишься кого?..

Олень: Некого мне бояться. У меня нет врагов.

Актан: Значит, и друзей у тебя нет...

И в это мгновение, когда спор между Актаном-Разумным и Человеком-Оленем приковал все внимание Актана-Охотника, одиноко сидящего в пещере у костра, что-то похожее на длинную змею вылетело из тьмы, со

свистом рассекая воздух, и мокрый волосяной аркан крепко обвился вокруг шеи человека. Затянутая с неимоверной силой бешенства, петля аркана была твердой, как из стального каната. Сопротивляться невидимому противнику было бессмысленно, и Актан замер, откинувшись назад, стараясь обеими руками расслабить петлю. С огромным усилием удалось ему чуть оттянуть веревку и судорожно передохнуть. Стараясь сдержать себя и не метаться в ужасе, которым было охвачено все его полузадушенное существо, Человек-Олень старался показать неизвестному противнику, что не намерен сопротивляться. Но веревка начала сдавливать горло все крепче, и он захрипел, зашатался, и в ту же секунду удавка чуть ослабла. Придя в себя, Актан услышал позади шаги, близкое дыхание и понял, что за спиною стоит человек. Оленю хотелось резким движением повернуться к нему, но тот, опережая его, уперся ногою в спину и снова потянул аркан... Мучительнее боли была та беспомощность, с которой он распростерся у ног беспощадного неведомого врага. Все внутри Человека-Оленя рвалось, ревело от бессильной ярости, он хотел бы или немедленно умереть, или добраться до того ублюдка, что жестоко издевается над ним,— шлепнуть его о каменную стену пещеры... чтобы только ноги болтнулись в воздухе.

Актан собрал всю волю, приказал себе успокоиться — для борьбы, для будущей мести. Но, чуть скосив глаза, со странным чувством печали и равнодушия посмотрел на потухающий костер, и в голове мелькнула мысль, что вот умрет он сейчас, через минуту, и умрет глупо, бессмысленно, позорно, не узнав даже, из чьих рук принял смерть, и растащат звери Кокколя его кости из пещеры... И на земле ничего не останется после него: ни братьев, ни детей, которые будут жить вместо него,— он умрет *весь*, умрет *навечно*...

И тогда тусклое, вялое равнодушие охватило его душу. Великая жизнь — все то мельтешение суетных дней — показалась ему не дороже медного пятака. То была никчемная, дурная, тягостная морока. За нее не стоило цепляться. Но как бы противореча этому угасанию души, впавшей в предсмертную вялость, молодое тело Человека-Оленя и низменная утроба его вдруг содрогнулись от мучительной конвульсии голода. Глубоко в желудке его раздалось свирепое ворчание, там не бы-

ло пищи с самого раннего утра. В полузакрытых глазах Актана-Охотника снова мелькнули прыгнувшие в туман жирные олени, и он успел подумать, что зря не убил их, сколько бы мяса было... Где ружье? Где Белоглазый?..

Изогнувшись, он схватился за аркан и с силою рванулся вперед, в сторону, еще в сторону. Но тяжелая нога по-прежнему крепко упиралась ему в спину, меж лопатками, а волосяная петля стянулась намного туже. Еще долго шла эта безмолвная борьба — Актан рвался к выходу из пещеры, но чья-то могучая рука дергала за веревку и валила его назад, на каменный пол.

Наконец Актану удалось просунуть крепкие и цепкие, как у беркута, пальцы под волосяную петлю аркана. Чуть растянув удавку, он вздохнул всей грудью и, изо всех сил оттягивая петлю от шеи, сжался в ком, бросился вперед, низко наклонившись, потом резко опрокинулся на спину и, перевертываясь, могуче ударил обеими ногами вверх. Прием удался, и огромные мокрые сапоги Актана двумя таранами ударили по лицу противника. Тот отлетел в полумглу пещеры, душившая петля мгновенно ослабла. Он сбросил ее с головы и, хрипло рыча, прыгнул туда, где должен был валяться враг. Тот встал с каменного пола, и Актан изо всех сил двинул ему в спину каблуком сапога. Таким ударом он мог бы переломить противнику хребет, но тот извернулся и вышел из-под прямого удара. Актан чуть не упал, а когда выправился и яростно обернулся назад, враг его успел выхватить из костра тлеющую головню и угрожающе наставить в лицо Актану. Актан медленно отступал, а неизвестный неумолимо приближался к нему, загоняя его в каменный угол. Опасность снова нависла над джигитом, и в эту секунду Актан-Разумный подумал: не может быть, чтобы у неизвестного человека была такая смертельная ненависть ко мне, у меня ведь нет врагов. Тут непонятное что-то... Надо попросить пощады, тем самым смягчить его, а там видно будет...

«Нет! Лучше смерть!»— яростно запротестовал Человек-Олень. Бороться и победить честно, в открытом бою, или умереть. Крупный пот катился по лицу Актана, заливая глаза, щекоча губы. Что делать? Уже некуда отступать — руки коснулись холодной стенки пещеры. И в эту секунду прозвучало могучее, раскатившееся под каменными сводами яростное ржание лошади. Белоглазый неожиданно подал голос! Неизвестный вздрог-

нул от неожиданности и оглянулся — и в следующий миг катился по земле, сбитый мощным ударом. Он пытался приподняться — и был оглушен следующим ударом по затылку. Для него, распростершегося на каменном полу, наступила тьма...

Актан, пошатываясь, пошел к выходу. Встревоженный Белоглазый храпел и бил копытами. Густой снег валил вокруг. Актан приник лицом к теплой морде коня, поцеловал. «Вспомнил, спас меня»,— растроганно пробормотал Актан, гладя теплый круп лошади. И впервые за многие последние годы заплакал. Впервые почувствовал, как дорога ему эта жизнь — с белыми падающими снежинками, со смутным видением окружающих лесов и гор, едва проступавших после рассеявшегося тумана в зыбком мире неожиданного снегопада. Несказанно хороша была эта жизнь, налитая, словно прозрачный сосуд, влажным вкусным воздухом. Мог бы он, казалось Человеку-Оленю, жить даже в норе, питаясь муравьями, и испытывать жгучее счастье бытия. И вновь он ощутил свирепое, зверское ворчание голода в животе, в то же мгновение пронеслись перед мысленным взором маралы, и он весело подумал: «Как хорошо, что я не убил их».

Ему захотелось курить, но папирос не было. С трудом согнув избитое, усталое тело, он присел на обомшелый камень. Пошарив в карманах, нашел твердый камушек курта[1], сунул за щеку и принялся с наслаждением посасывать кислый, мучительно вкусный обломочек. Небо начало вперемешку со снегом сыпать дождем, казалось, оно решило вылить всю воду без остатка.

И тут Актан вспомнил, что у него было ружье. Он подскочил, беспокойно заозирался, но успокоился: ружье стояло там, где он оставил его — недалеко от входа в пещеру, у ствола молодой лиственницы. Он взял его и, усевшись на прежнее место, поставил меж колен. Белоглазый переминался рядом, понурившись, то и дело втягивая голодный живот. С его мокрой гривы, толстого крупа, с седла и поводьев сбегала талая вода, шлепала крупными каплями на землю. Бедное животное покорно и терпеливо перемогало непогоду. И вдруг уши его встрепенулись, встали торчком. Актан оглянулся: из пе-

[1] *Курт* — овечий сыр.

щеры выползал, с усилием подтягиваясь на руках, побежденный незнакомец. Вид его был жалок и беспомощен. «Живуч оказался, собака»,— подумал Актан, уже давно ожидавший его появления. Подойдя ближе, Актан увидел, что враг его истощен до предела и похож скорее на призрак, чем на живого человека. Ему стало жарко от стыда: так вот с кем пришлось смертельно биться... Неужели этот полуживой скелет чуть не одолел его? Человек-Олень поспешно нагнулся, схватил того под мышки и приподнял, посадил на землю. Человек с трудом подогнул ноги, обхватил колени руками и бессмысленным, мутным взором уставился в пасмурное небо. Глаза его были мертвы, казались не глазами, а скорее глубокими чирьевыми шрамами-ямками. Он молча, хрипло дышал, и непонятно было Актану, откуда в этом истощенном теле, корчившемся сейчас, взялось столько яростной силы для борьбы. Жалость охватила Человека-Оленя. В нем сразу же угасло желание мести.

— Кто вы такой? Откуда пришли?— спросил он, трогая незнакомца за плечо.

И вдруг Актан испугался: глаза этого обескровленного и, видимо, умирающего человека широко открылись, и Человек-Олень увидел, как в мутных зрачках незнакомца заплясала искорка и начала разгораться, зловеще и яростно. Актан отступил на шаг, изготовив ружье, а человек с неожиданным проворством выхватил из-за пазухи кинжал.

— Ты молодой пес, но я старый волкодав,— заговорил он,— и тебе меня не одолеть. Если ты убьешь меня, беда невелика, я уже отжил свое. А вот если погибнешь ты от моего ножа, то будет хуже: ведь ты еще не нюхал жизни. Но слушай! Если бы в пещере я захотел твоей смерти, то сразу задушил бы тебя. А этого я не сделал... И ты тоже, по правде говоря, мог убить меня, но не сделал этого. Значит, мы квиты, ничего не должны друг другу...— Произнеся это, незнакомец спрятал кинжал за голенище сапога и встал, пошатываясь. Выпрямившись во весь рост, он шагнул к Актану. Его глаза, только что горевшие огнем дикой неукротимости, вдруг подернулись мутью и закатились. Ноги подломились в коленях, и он пошатнулся. Актан быстро подхватил его. Придерживая за плечи, он ввел незнакомца в пещеру и уложил возле потухающего костра. Подбросив туда ще-

пок, Актан дождался, когда пламя ярко разгорится, и склонился над беспамятным человеком.

В отблесках пламени лицо поверженного врага стало пепельно-розовым, как ветхий выгоревший ситец. Казалось, что он был уже мертв и в последний смертный миг прошел — во искупление былой жестокости или каких-то грехов — через страшные муки. Капли холодного пота застыли на его неподвижном лбу. Актан набрал снега в котелок, чтобы напоить водою незнакомца, когда он придет в себя. Загадочное появление его в этих безлюдных местах у границы настораживало Актана. Он решил попытаться выведать у него, кто этот человек, откуда... и, может быть, он знает что-нибудь об отце.

Согревшись у костра и жадно напившись воды, которую протянул ему Актан, незнакомец забормотал, неподвижно глядя в огонь, словно в бреду:

— Я бедняк, которому остается только одно — умереть, но умереть он не может, потому что жизнь сладка... А жить тоже не может, потому что от ее ударов трещат все кости... Я несчастен, я потерял свой народ... Вот уже много лет я скрываюсь от людей, не смею войти в свой аул, над которым вьется кудрявый дым... И если я умру сейчас, ты похорони меня, а сам уходи в долину. Уходи к людям. Бойся своего проклятого одиночества! Если ты и дальше будешь скакать здесь по этим глухим горам, как дикий архар, то испытаешь мои муки. Моя судьба перейдет к тебе, как одежда мертвеца, знай это. А здесь ты как в тюрьме, эти горы как стены с четырех сторон... Здесь ты пропадешь, как пропал и твой отец.

— Что с ним? Где он?!— крикнул Актан, хватая за плечо и приподнимая с земли незнакомца.— Отвечайте скорее, где он?

Близко перед собою видел Актан изрытое оспинами, тронутое розовым отсветом непроницаемое лицо. И эти глаза, как следы от старых язв, как обрушенные древние колодцы... И вспомнилось Актану далекое, полузабытое, жуткое — из рассказов того же старика Асана: о человеке-оборотне, живущем в горах и нападающем на одиноких путников. Так вот где и когда пришлось встретиться!..

— Отец? Твой отец вздумал через пещеру Танир-коймаса проникнуть в ледяное ущелье за сокровищами, да там и разбился, сорвавшись в пропасть...

— И он там лежит?.. В ущелье?— вскрикнул Актан, пораженный, не зная, верить ему или не верить...

— Там, там,— бормотал незнакомец.— Их еще человек десять там, на ледяном дне. Каждый набил себе карманы и сапоги золотом, да так и замерз, закоченел над этим золотом.

— Откуда вы все это знаете?— засомневался Актан, пристально вглядываясь в лицо незнакомцу.

— Мне пора,— вдруг встрепенулся тот и вскочил с места, словно и не лежал минуту назад без сил на земле.— Пока держится туман, я должен успеть, успеть, мне надо торопиться, меня ждут...— И вот он, выбежав из пещеры, уже несется, согнувшись по пояс в клубящемся над самой землею тумане, а Человек-Олень со страхом и тревогой смотрит вслед беглецу. Что было правдой и что было чушью в его бредовых речах? И кто же он был? Человек или бесовское отродье? Но кто бы он ни был, безумец, чуть не задушивший Актана волосяной веревкой, исчез, скрывшись с головою в тумане, который еще какое-то время клубился и тянулся за ним, обозначая путь, по которому тот продвигался, уже невидимый...

* * *

После этого дня Актану нестерпимо захотелось в аул. Такого с ним раньше не бывало. Он лишь по необходимости спускался в Орели — по делам, в магазин — и отправлялся с тягостным, безотрадным чувством на душе, а теперь его тянуло туда неудержимо, и он решился наконец попросить у матери разрешение на поездку... Ни на минуту не мог он забыть о странном, полубезумном беглеце. Его тусклый взгляд, едва различимый на дне глазных ям, представал в сновидениях Человека-Оленя. Во сне Актан пытался застрелить его, но никак не мог попасть, хотя наяву он стрелял без промаха и способен был издалека разнести пулей лезвие бритвы... Во сне он чувствовал, что страшную угрозу всем таит в себе появление незнакомца, а проснувшись ясным разумом понимал, что нет никакой угрозы. Лишь одно он осознал бесспорно: беглец был прав, предупреждая, что его судьба может перейти к Человеку-Оленю, как старая одежда мертвеца... И эта невеселая мысль усиливала тоску и ускорила его решение немедленно спуститься с гор и повидать других людей.

Он пустился в дорогу снова в пасмурный день. С неба падали нечастые капли, словно скупо плакало солнце, окончательно заблудившись во мгле лохматых туч; от сырости набухли и потемнели бревна сруба, дерновая крыша сарая, жерди прясел. Сама земля пропиталась влагой, как равнодушной тоской, и теперь брызжет жидкой грязью из-под копыт коня. Лишь бестолковые вороны, которым нет никакого дела до красоты или безобразия природы, каркают истошно и перелетают стаями с места на место...

Всадник ехал, понурившись, в забытьи старых дум — нескончаемых и привычно мучительных — и новых, возбуждающих тревогу. Эти новые мысли пришли после бессмысленной, страшной схватки с одичавшим, полупомешанным человеком. Хотелось теперь знать Актану, что же было поучительного в этой странной встрече? Только ли зло? В неразумительности этой таилась причина тревожного беспокойства в душе Человека-Оленя. И впервые он испытывал душевную муку от того, что не умеет, оказывается, в этой жизни различить дурное от хорошего. А не умея этого, остается беспомощным... Та граница, что отделяет человека от животного, проходила именно здесь: в этой способности различать добро и зло. И Актан представил теперь эту границу настолько же ясно, как и четкую границу между жизнью и смертью, нищетой и богатством.

А еще думал Актан о способности человека — и только человека — представлять будущее. И в этом будущем он должен видеть своих потомков, могучую поросль своего семени. В том и смысл и оправдание краткой его жизни на земле... Седлая Белоглазого и после, покачиваясь на нем, Актан вспоминал льнувшее к нему тело Вдовы, ее ладони, горячее, порывистое дыхание и бесстыдный смех, и бесстыдные ее прикосновения. Воображая далекое будущее, сотканное в какой-то мере и его многочисленным потомством, Человек-Олень почему-то ни разу не подумал о нежной, пугливой, большеглазой Айгуль.

Аул Орели словно вымер: непогода, люди сидят дома, прижавшись носами к окну, и разглядывают редких всадников, проезжающих на мокрых лошадях по слякотной улице, да на грязных, с заляпанными глиною жи-

вотами собак, что бегают по дороге и пустынным закоулкам. Лишь изредка промычит корова — тревожно, диковато, словно во время джута. Но мирная жизнь аула все-таки продолжается. Вот женщина прошла с ведрами на коромысле, хлопая широкими голенищами сапог. Мужчин что-то не видно: сидят, небось, в тепле и дуют чертову водку да дрыхнут целый день. Что делать, грязь непролазная, дождь, носа не высунешь. По проводам бегут, нагоняя друг друга, проворные крупные капли...

Над отсыревшими домами, притулившимися вдоль длинных улиц, вьются густые дымы, клубы их сливаются в единое облако над аулом, которое устремляется к небесам, обложенным тяжелыми серыми тучами. Многочисленные эти дымы говорят о том, что работы никакой нет и хозяева сидят по домам. Кстати, во дворах смирнехонько мокнут под дождем тракторы — ДТ и «Беларуси».

Актан свернул к совхозной конторе, привязал коня... Старая дверь, обитая рваным войлоком, открылась с визгом. Бух (главный бухгалтер) располагался в комнате перед кабинетом Упра (управляющего отделением). В приемную эту всегда набивалось много народу, дым стоял там хоть режь ножом. Стены и потолок комнаты были закоптелы, светлело только окно, нижние стекла в котором были выбиты и заткнуты скомканными замасленными телогрейками. Возле этого окна и сидел за столом Бух — коротышка-мужик, ехидный и злой на язык.

Не поднимая головы, он покосился на Актана и буркнул из-под усов:

— Чего приехал? По бабам соскучился?

Актан не ответил. Сдерживая вдруг нахлынувшую тоску, посмотрел поверх головы бухгалтера в окно. А там, на улице, тоже была тоска. Убого и безрадостно выглядел отсыревший, неуютный аул. Наступили ранние сумерки, а света нигде не зажигали. В комнате, провонявшей дымом, было душно. Актана даже потянуло на сон: улечься бы куда-нибудь и закрыть глаза...

— Почему молчишь, Актан?— спрашивал бухгалтер, что-то выводя на бумаге.— Иль боишься жемчуг изо рта выронить, а?— с особенным удовольствием завершил он свою колкость, затем бросил ручку, откинулся на спин-

ку стула и сладко, с хрустом потянулся, кривя лицо и широко зевая.

— Ну, чего молчишь? Дай закурить, что ли. Мать их туда и сюда...— ругался Бух,— все бездельники этого аула берут у меия папиросы.— Ои взял из пачки «Примы», протянутой Актаиом, сигарету, воткиул в угол рта и показал зиаками: спичек.— Туда и сюда их мать,— ругался ои,— ведь спички берут и не оставят, а в карман кладут.— Забрал коробок у Актаиа, прикурил, потряс им и положил в свой карман.

— Ну, что нового, батыр, в твоих горах?— пустив дым сквозь усы, спрашивал Бух.— Сколько сурков настрелял в этом году? Дашь хоть иа шапку?

Человек-Олеиь по-прежиему молчал, и Бух, уставившись иа него свирепым взглядом, крикиул, тыча в джигита пальцем:

— Эй! Не будь иеблагодариым, батыр! Уже десять лет я считаю твои деиежки, глаза извожу. Небось заслужил я эти паршивые шкурки! А говорят еще, что ты какое-то мумиё нашел в горах? У всех, кто переехал к иам из Аршалы, только и разговору, что об этом му... мумиё.

— Что же, правду говорят... Нашел я,— тихо ответил Актаи.— Только ие увереи, то ли самое нашел...

— А ты прииеси мие, уж я-то разберусь,— подмигивая, отвечал Бух.

— О, так вы теперь и в этом стали разбираться,— с ехидным почтением отозвался Актаи.— Какие способиости у вас!

— Эх, туда и сюда мать их... что там сложиого? Подумаешь, задача!— заорал Бух с преувеличенным, шутливым гиевом иа Актаиа.— Ты дай мне, я положу только иа язык, пососу и скажу что к чему... Эх, да у такого бродяги, как ты, есть ли совесть? Отвечай сейчас же, говори правду: иасушил эту самую маралью срамоту? А то у моей жеики появилась кое-какая ночиая обида на меия.— И тут кореиастый малеиький Бух расхохотался и чуть не опрокииулся назад вместе со стулом.

— Если б было у меия то, о чем вы говорите,— иачал устало Актаи (ему уже иадоело шумиое, назойливое веселье Буха),— все равио ие дал бы. Еще доиесете, что маралов бью. А то и отвечай за вас, коли переберете и у вас запухиет... Бывало, умирали от этого.

— Пошел ты зиаешь куда? Подавись ты маральими

этими сухариками! Ешь сам и иди пытать наших аульных баб. И коли уж ты такой джигит, почему до сих пор не порадуешь старую свою родительницу и не приведешь жену в дом, а?

— Эй, дядя, давай-ка потише,— помрачнев, оборвал Актан бухгалтера.— Не лезь туда, куда тебя не просят. Не перетягивай струны, а то ведь могут лопнуть...

Все это Человек-Олень проговорил с трудом, чувствуя в душе огромную усталость. Он проделал такой далекий путь в непогоду, чтобы услышать человеческую речь, и вот услышал...

Оба замолчали. В комнате сгустилась темнота. Красными точками засветились кончики горящих сигарет. Лица людей стали невнятно-сумрачными, неразличимыми. Уличный свет еще слабо трепетал за окном, умирая у ног надвигающейся ночи.

С каким-то странным треском зажглась лампа и тотчас с таким же треском потухла. Бух основательно, крепко выматерил ее.

Актан любил этого неприветливого на вид, невзрачного человека. Он бывал вздорен, ядовит на слово — это правда; однако не замечалось за ним ни корысти, ни подлинной злобы. Во всех других отделениях совхоза бухгалтеров и кассиров то и дело снимали и сажали, а этот уже двадцать лет спокойно работал на своем месте. Может быть, хранил Буха аллах, не желая слез малолетних детей, а может, и на самом деле он был исключительно честным человеком — кто его знает... Он был старшим братом Айгуль, что имело для Человека-Оленя особенное значение. Только благодаря ему мог увидеть сегодня Актан девушку... И, как бы угадав желание джигита, бухгалтер предложил:

— Что же, батыр, поговорили мы с тобою, а теперь давай ко мне домой. Больше некуда: родных у тебя нет, посидим у меня, мою жену можешь называть тетушкой — женге, она хоть и не на многое способна, но чаем-то напоит... А насчет там мумиё и сушеной срамоты маральей — не сердись, брат! Я ведь пошутил. На кой черт, подумай, мне эта проклятая оленья сила? И от своей некуда деваться — вон сколько сорванцов у меня дома, пороть их некому...

Актан был растроган. Вмиг прошла тоска и потеплело на сердце. «Ведь душа-человек! Веселый какой!»—

с восторгом думал джигит, выходя вслед за Бухом на улицу.

Ноябрьская темь уже навалилась, обняла землю и застыла на ней. Лампы на столбах не горели, лишь время от времени вспыхивали на секунду — был неисправен провод. Из окон домов кое-где просачивались полоски света и, падая на мокрую грязь, тускло высвечивали дорогу.

Был еще не поздний час, но ранняя темнота сбежала с окружающих гор и накопилась в долине. Не ко времени пришла ночь.

До горы Акшокы отсюда ближе, чем от Аршалы, и теперь громада ее чернела, как голодная корова, терпеливо стоящая у дверей дома. Подножия гор утонули в ночной тьме, лишь призрачно белели в высотах ночи заснеженные вершины.

А где-то там, за пространствами темноты, припал к земле бревенчатый домик Человека-Оленя, спала в кромешной тьме его мать... А неподалеку от этого домика еще один — родной очаг маленького усатого человека, который сейчас трехэтажно кроет совхозного моториста с электростанции, бездельника и пьянчугу... И какое дело Буху, что далеко в горах мокнет и постепенно разваливается заколоченный дом, в котором он раньше жил...

— Хорошо, что ты подъехал,— говорил Бух, покачиваясь сзади Актана на крупе Белоглазого,— а то я бы утонул в грязи, пока дошел до дома. Вон что творится — света нет, хоть глаз выколи... Ну моторист у нас, мать его и отца туда и сюда... А ведь восемьдесят рублей зазря получает!— В это время вдали натужно загудел мотор, и во всем поселке хлынул из окон яркий свет. Ликующий крик детей и взрослых прокатился над аулом. Вдали, в сторонке загорелся яркий одинокий огонь, словно глаз кривой ведьмы.

— Видишь тот фонарик?— указал Бух на далекий свет.— Там дом моториста, провались он трижды. В ауле ни одного фонаря не горит, а он себе прямо рай устроил — посреди двора повесил эту лампу...

Белоглазый вдруг с небывалой для него резвостью отпрянул в сторону, и увлеченный болтовнею Бух не успел даже опомниться, как слетел с лошади в жидкую грязь. Актан сердитыми ударами подавил коня, успокоил его и повернул назад. Бух в это время кого-то поносил на весь аул:

— Эй, отца твоего н так и разэтак, чего ты путаешься под ногами у коня?

— Эй, а кто его путал? Кто? Дряиная лошадь сама напугалась.

— А куда тебя носит, бездельннк, по иочам? Аллах ие даст мие соврать — опять к Вдове идешь, к продавщице!

— Ну, еслн н угадал, что сделаешь? Схватишь за штаиы и дальше не пустишь, что ли?

— Эх, бесстыдник...

— А чего там! Подумаешь: водочки выпить, кое за что подержаться. Дело какое!

— Ты бы детей ее постесиялся.

— Мие-то что, если сама мать не стыдится...

Человек-Олеиь узнал голос завклубом Кана. Первым желанием Актана было схватить этого паршнвца за шиворот, прижать колеиом к боку коия и как следует вздуть. Однако он сдержал себя н ие стал даже вмешиваться в разговор, почуяв, что от Каиа иесет застарелым сивушиым духом.

— Ладно, проваливай,— проворчал Бух, виовь усажнваясь на лошадь Актана.— А я здорово вывалялся в грязи, задам теперь работку жеие. А ты иди, иди, скатертью дорожка, ие стаиу судиться с тобою за причиненный мие ущерб, все-такн ты чужой, пришлый человек, Каи, да н что с тебя взять...

Актан ие мог поверить тому, что услышал. Жеиа его погибшего друга — и этот воиючий пьяичуга. Как и все в поселке, Человек-Олеиь зиал о слабости завклубом к жеискому полу. Посчитать всех, к кому ои сватался, то составило бы половиму жеиского иаселения аула.

— Эй, парень, зиаю я, иад чем ты сейчас голову ломаешь,— мрачио произиес Бух.— Брось! Будешь думать обо всех подлых делах да переживать — башка тресиет. Наш брат, двуиогое существо, шлепает по грязи иногда н ясиым дием, когда все видио, а что там говорить о ночи... Но ты все же вполуха слушай Кана: не такая оиа дура, вдова твоего ДТ, чтобы поддаться этому кобелю. Оиа же как волчица... разве подпустит к себе безродиого пса? Небось сидит у ее порога, мерзавец, и облизывается да покашливает, облизывается да покашливает...

Дома подиялся гвалт, когда на пороге появился отец, н куча ребятишек выбежала навстречу. Некоторые из тех, что внслн на шее кормильца, были без штаиов.

После оии разглядели гостя и, толкая друг друга, стали перешептываться, а вскоре и завопилн что есть мочи: «Олень! Человек-Олень! Зверь пришел!» Отец разогнал нх. Вошла невзрачная рыжеватая жена Буха, едва слышно поздоровалась и сиова ушла, на ходу отцепляя от подола липиувших малышей.

Жилье Буха состояло из двух комнат. В первой гудела железиая печь, доверху иабитая дровами, раскалениые бока ее пылали жарким румяицем, из плохо прикрытой топки вырывались адскне языки пламеии. У самого поддувала лежала горка иасыпаниой сухой стружки, и удивительно было, что она до сих пор еще не вспыхиула. Возле печки сндел на скамейке мальчншка постарше, чем его бесштанные братья. Ои шевелил круглыми, налитыми, как яблоки, щекамн — жевал смоляную серу, то и дело смачно сплевывая на светящийся бок печки и с удовольствием прислушиваясь к раздававшемуся яростному шкворчанию. Актан иерешительно остаиовился позади, не зная, куда пристроиться. Бух ушел в другую комиату переодеваться. Дети разбрелись по углам, заиялись своимн делами, иикто больше не обращал виимання на огромного Человека-Олеия...

— Эй, чего стоишь как столб?— крнкнул Бух, выходя из дальией комнаты.— Раздевайся, вешай одежду вон у двери. Уйдешь теперь не раньше, чем чаю напьемся. Ночевать не предлагаю — места не иайдешь...

Жена Буха неторопливо иалаживала самовар — эта приземистая, с рыжими волосамн жеищина была знаменита в ауле тем, что никогда ие спешила, и хоть тресни земля, и тогда не заторопилась бы, а по-прежиему валко, покачиваясь с боку иа бок, словно утка, ходила по дому, иеспешио заиимаясь своими делами. Так же ие спеша, спокойно и без лишиих слов она из года в год зачинала, носила и рожала детей, одиих мальчиков, растила их и заботливо ухаживала за супругом.

Пока эта достойиая жеищниа готовила чай, Актаи с хозяином сыграли иесколько партий в шашки. Десять сыиовей Буха сгрудились вокруг, внимательио следя за игрой, и хваталн нз-под рук освободнвшиеся фигурки. Порою из-за этих шашек завязывалась свирепая драка, кулаки так н мелькали в воздухе, но никто дерущихся не разнимал, а родителн словно иичего не замечалн. Со скрипом открылась дверь, и в дом вошла Айгуль,

Она сдержанно, словно с незнакомым, поздоровалась с Актаном. Десять сыновей Буха бросились к девушке:

— Тетя Айгуль! Тетя Айгуль! Купила конфет?— Закопошились возле ее сумки, как щенята вокруг миски, и опять замелькали кулаки, раздались шлепки, поднялся крик, плач, но, как и прежде, взрослые не делали замечаний детям. Казалось, они росли сами по себе, без родительского надзора, как отделенные ягнята.

Актан оглянулся на девушку — она раздевалась у вешалки, и словно ощутил он ароматное тепло ее дыхания у себя на лице... Неизведанное это тепло всколыхнуло в его душе волнение беспричинной радости и вызвало призрачный образ неведомого счастья. Человек-Олень замер, ощущая во всем своем огромном теле слабость, невесомость, жар. И, словно понимая состояние джигита, девушка сразу потупилась и прошла в другую комнату, обходя его как можно дальше. Человек-Олень не смел и предполагать, что девушка может испытывать по отношению к нему такое же волнение, как у него...

— Эй, будешь ты ходить или нет?!— Сердитое восклицание Буха вернуло Актана к действительности. Радость улетучилась мгновенно и безвозвратно, ибо не властна испуганная душа над призрачным прекрасным мгновением.

— Я проиграл, ага[1]. Сдаюсь,— ответил он.

— Что же, это меня устраивает,— удовлетворенно произнес Бух.— Еще очко в мою пользу!

После в молчании пили чай, расположившись вокруг самовара, и рыжеватая, похожая на степного идола, медлительная супруга хозяина разливала по чашкам. Видимо, здесь принято было совать ей под нос пустую пиалу, чтобы она налила, иначе полусонная хозяйка не замечала, что у гостя нет чаю... Актан не знал этого правила дома и после первой пиалы ничего не получил. Он тихонько отставил чашечку на край стола, и она осталась там стоять, забытая. Сидеть просто так за столом было неудобно, и Актан отодвинулся вместе со своим стулом. Айгуль не вышла из дальней комнаты...

Когда Актан засобирался уходить, Бух поднялся из-за стола и сказал, зевая:

— Эх... темно, должно быть, сейчас на улице. Ты,

[1] *Ага* — обращение к старшему мужчине, брату.

батыр, давай-ка ночуй у меня. Как-нибудь пристроишься.

— Ничего, поеду. Я люблю ночью ездить,— ответил Актан.

— Да уж знаю,— говорил Бух,— кто у нас не знает, что ты парень с причудами... Вот и темноты не боишься, как всякий нормальный человек. Только скажи мне, будь другом: не надоело тебе бродить по ночам, когда остальные спят, а? Не пора ли призадуматься, семью завести? Ведь, слава создателю, ты у нас славный джигит и человек умный, первым бы среди всех мог стать. Я не шучу! Почему в этой жизни все перепуталось и поменялось местами, а? Там, где должны быть умные, сидят пустоголовые, и наоборот... Ну что ты сидишь один в Аршалы? Хочешь в чем-то усовестить всех остальных, что ли? Пустое, парень. Пустое! Никого ты ничем не усовестишь, а сам пропадешь, сгниешь в Аршалы. Ты вот реши и скажи мне: лучше становятся с годами люди или хуже?

— Ладно, ага, я подумаю об этом.

— Вот-вот! Только не очень долго думай. С думами там или вовсе с пустой башкой, а живем мы на земле каких-нибудь полсотни лет, и все дела. И ты мне голову не морочь, как моя Айгуль, которая только и знает, что обещает: «Ладно, ага. Я подумаю, ага». Какие-то у вас, у молодых, нынче бесконечные думы. И оставь свою волчью жизнь, оставь!— сердито завершил он.

Актан улыбнулся. Уже нагнувшись в дверях, он оглянулся и заметил в полумраке соседней комнаты внимательные, с тревогой провожавшие его, беспокойные глаза Айгуль.

Было темно на улице и мрачно как после похорон, дальние огоньки едва прокалывали мокрую толщу тьмы. Актан еле отыскал привязанного к забору Белоглазого. Он сел на него и хотел уже ехать домой, как вдруг вспомнил Кана, пробиравшегося по грязной улице... Неужели и в самом деле к Вдове направлялся? Мысль эта неприятно царапнула его. Вмиг позабылось грустное, из мглы выступавшее лицо Айгуль, и воображением Человека-Оленя овладела ядреная, краснощекая Вдова, вспомнились ее вольные выходки... Неужели она осквернила постель мужа, пустив туда этого прощелыгу Кана? Всадник в темноте повернул коня, круто выворачивая ему поводом голову, и поскакал вдоль длинной

улицы, сопровождаемый звучным шлепаньем разлетающейся от копыт грязи.

— Уходи, собака! Я тебе сказала, уходи!— услышал Актан, как только притроиулся к двери дома, где жила Вдова.

Он вздрогнул: крик прозвучал так иеожидаиио, яростно — показалось, что имеиио на иего крикиула жеищииа. Не зиая все же, что бы это могло зиачить, он растеряиио замер перед дверью. Одиако растеряиность его могла смахивать на подслушиваиие у чужих дверей. Человек-Олеиь хотел уже плюиуть иа все, повернуться и уйти, как был остаиовлеи визгливым криком иеиавистиого ему человека:

— Дряиь какая! Убудет тебя, что ли, если разочек согласишься? Это же тебе как воды из речки черпнуть. Ну! Чего ломаешься? Небось сама с голоду подыхаешь, на стеику готова лезть, а? Или ждешь, когда прибежит к тебе этот дикий Человек-Олеиь? Да ему Айгуль нужиа, а не ты, дура! Ои приехал сегодия и сразу к ией отправился вместе с ее братом, иа одной лошади с Бухом поехал...

Актан с такой силой рваиул дверь, что отскочила ручка и осталась в сжатом его кулаке. Вдова и Каи обериулись к иему и иа мииуту оцепенели от иеожидаиности и страха. Мокрый, забрызгаииый грязью, в лохматой шапке, Человек-Олеиь был страшеи. Подпирая головою потолок, стоял ои у двери, молча, гневно уставясь иа Каиа. А тот, оправившись от испуга, заюлил глазами, в которых вспыхиул иаглый блеск. Женщина растеряино переводила взгляд с одного иа другого.

Первый заговорил завклубом:

— Что ж, бей! Сил у тебя больше, где уж мне устоять против тебя. Ты сейчас можешь меия одолеть, но будущее покажет, чей жребий перетяиет. Что ж ты стоишь? Бей! Не хочешь? Что-то даже непохоже иа тебя! Нет, ие узиаю я тебя, Зверь-Актаи. Раиьше ты всегда шел открыто, иапролом, а сейчас стал действовать исподтишка. Чего ты выслеживаешь, скажи? Разве этот дом — сарай или конюшия, чтоб пинком открывать дверь? А эта жеищииа — разве кобылица оиа, иа которой может скакать каждый, кому вздумается? Воду пьют, дружок, испросив разрешеиия у хозяев. Зачем пришел сюда среди ночи, чего тебе иадо?

Человек-Олень не зиал, что отвечать ему на этот

визгливый поток слов. Мелькнуло в голове: «И вправду, зачем я пришел?» Он знал, что не сумеет ответить прямо и честно, а не умея хитрить, проиграет в споре. Скосив глаза и глядя в пол, он угрюмо пробормотал:

— Я... пришел только затем, чтобы спросить: зачем ты явился сюда?

— Интересно, какие права у тебя, чтобы так спрашивать. Может, у меня этих прав больше, хотя бы иа два процента больше, чем у тебя? Давай-ка лучше у нее спросим, у самой хозяйки, кому из нас больше дает прав...

— А я для начала вам скажу,— сердито закричала Вдова,— чтобы каждый из вас не был как тот бедняк, который завидовал байской еде — все равно она не про него! Я покамест не умираю без вас... А если чего мне понадобится, то я уж лучше выберу того, кто тянет ко мне руки, готов поджарить меня и сожрать, чем джигита, которому вовсе не нужна и от которого, как от плохого петуха, не будет мне ни прибыли и ни убытка. Вот так-то!

Кан захохотал, потирая руки. Вскочив с места, он подошел к Вдове и звучно шлепнул ее по спине ладонью.

— Вот это срезала, умница, озорница!— кричал он, смеясь.— Скрутила, связала и кинула мне под ноги врага! Ай да спасибо, Вдова, спасибо, родиая!

И Вдова тоже, с вызовом глядя на Человека-Оленя, захихикала. А у него потемнело в глазах от гнева, ненависти, стыда. Не помня себя, ои размахнулся и запустил в тех, что открыто издевались над ним, железной дверной ручкой. Они едва успели увернуться. Затем ои стремительно и широко шагнул вперед, сгреб одной рукой Кана, а другою сверху грохнул его по голове и, повергнув на пол, связал ему руки выдернутым из его же штаиов кожаным ремнем. Отворив дверь, сгреб в охапку связаиного Кана и потащил на улицу. Теперь уже издалека донесся до Вдовы приглушенный жалобный крик заведующего клубом, и Вдова, дрожа со страху, робко сказала:

— Ойбай, дурень здоровенный! Чего ему сделал этот несчастный? Ведь убьет его...

Человек-Олень вернулся.

Пена бешенства белела у него на губах, он исподлобья уставился на Вдову тяжелым взглядом.

— Раздевайся!— крикнул он.— Не заставляй меня

силой действовать... Тебе ведь, курица, все равно, кто поманит просом. Ты давно уже осквернила память ДТ. Но пусть лучше буду виноват я, чем этот вонючий выродок.

Оробевшая Вдова онемела. Руки ее обвисли плетьми. И тогда он, огромный, неистовый и печальный, шагнул к ней и тут же выключил свет.

Хмурый день, как и вчера. Между Аршалы и Орели находится огромная черная скала. У ее подножия раскинулось кладбище, где покоятся усопшие из двух аулов. На одной из могил, огороженной жердями, лежит рослый человек в испачканных глиной сапогах, мокрой и грязной одежде. Обняв руками могильный холмик, человек горько, безутешно плачет. Широкие плечи его ходят ходуном. Рядом, за оградой, понуро опустив голову к земле, стоит оседланный конь.

Человек, способный задуматься порой над сложными загадками жизни, считающий высшим постижением для себя знание природы и поклонение ей, потерпел крах. Оказалось, знания этого недостаточно, чтобы не совершить перед этой же природой великого греха. Оказалось, что натура жизни совершенно равнодушна к тому, светлый ты человек или темный, злой или добрый, чист ли душою или погряз в пороках. Высшее творение природы — род человеческий не производит в чистом виде мерзавца или благодарного, убийцу или святого. И совершить что-нибудь неслыханно скверное оказывается порою так же легко, как бабочке вспорхнуть в пламенный костер.

— Друг, хороший мой, бедный мой ДТ!— причитал Человек-Олень, горько плача.— Ты простишь мне, дружище? Глупый я, дикий и подлый Зверь... осквернил я твое ложе, а ведь хотел защитить твою честь от подонков. Знаю... зна-аю, не вернешься ты сюда, где один ворует у другого, чтобы самому лучше жить, где каждый меняет свое обличье, чтобы обмануть другого, где... А-ай! Мне больно, мне стыдно, ДТ! О дружище! Если бы тебя вновь вернули сюда, ты бы совсем по-другому захотел прожить свою короткую жизнь. О ДТ! Ты бы ни за что на этой... Нет, нет, ты женился бы, чтобы осталось от тебя потомство. В этом ты счастливее меня, друг... Но, вернувшись оттуда, ты постарался бы найти

настоящего виновника своей гибели... Так кто же, кто виноват? Зачем нужны были те деньги, которые ты стремился заполучить?.. Знаю: чтобы покрыть растрату, которую допустила в магазине твоя жена. И ты после работы ночами возил другим сено, добрался на своем ДТ без тормозов до Аршалы, чтобы привезти дров. И свалился с трактором в Акбулак! Злая река! Почему ты не отдала мне хотя бы его тело? Целый месяц искал, все напрасно, другие люди нашли. А я... Что там говорить. Все как сон. Сон. Я не хотел повторять того, что сделал ты, ДТ, а попал в твое гнездо на твое же место... Почему, почему я должен идти по твоим следам? Почему хоть малая толика моего счастья всегда чья-то боль? И что такое человеческое счастье? Да всего лишь плод — плод чьей-нибудь печали. Мне хорошо — другому плохо. Почему так?.. Помнишь, как в детстве, мы с тобой собирали щавель и кислицу? Глядя на высокую каменную башню Таниркоймаса, ты говорил: «Когда вырасту, стану летчиком. Улечу на самолете аж за Акшокы, прямо в Америку!» Я же, завидуя, отвечал: «А я стану метким стрелком из пушки и собью твой самолет!» На что ты ответил примирительно: «Давай всегда будем друзьями! И когда станем джигитами, женимся на одной девушке! Все будем жить вместе!» И я ничего на это не ответил, мне почему-то стало неловко, и я опустил голову. Что это? Неужели тогда я предчувствовал уже, что оскверню чистоту нашей дружбы?.. Прости, друг!

Актан встал с могилы, вытер рукавом мокрое лицо. Ветер набросился на него. Длинная грива и хвост Белоглазого развевались в сером воздухе. Стемнело, словно опять собирался дождь. Но кладбищенские вороны, оголтело каркая, вились высоко: должно быть, пойдет снег. Земля на холоде зачерствела, покрылась мерзлой коркой: последняя грязь этой осени начала каменеть, готовилось ложе для долгого зимнего снега.

Человек-Олень обернулся в сторону оставленного им аула. Отсюда, с высоты, бревенчатые домики, прижавшиеся к берегу реки, кажутся бусинками двухрядного ожерелья. Он погрозил кулаком: ишь, какими выглядят невинными, эти гнездышки. Представить только, какие злые сплетни ходят сейчас там. И слышит их Айгуль. Слышит Вдова... Прощаясь, она сказала: «Актан, за то, что натворил, надо отвечать. Если не хочешь моего по-

зора, перейдешь жить ко мне. Но если никогда больше не придешь ко мне, проклинать тебя и плакать я не буду... Подумай только о добром имени своего друга».

Человек-Олень долго стоял, подставив лицо сильному ветру, дующему со стороны долины. Ему казалось, что он чует кисловатый дух человеческого жилья и запах дыма... Человек? Кто он такой? Почему столь загадочен его лик? Кто ты, длинноусый коротышка Бух? А кто ты, Актан, человек, которого прозвали Оленем? «Ты сейчас меня одолел, но будущее покажет, чей жребий перетянет»,— сказал Кан. О каком справедливом жребии, на что намекал он? «Если никогда больше не придешь ко мне, проклинать и плакать не буду»,— сказала Вдова... И Айгуль... кто такая Айгуль? Почему глаза ее, провожавшие его, были так печальны?

Повалил снег, начался буран.

* * *

Ему казалось, что он скоро сойдет с ума. Мертвая тишина одиночества словно испытывает его разум. Это тишина печали, наполняющая все темные углы хижины, и в ней таятся незримые пока, но близкие ангелы смерти — азраилы. Сквозь маленькое окно льется неяркий свет серого неба. Из-за печи доносятся вздохи двух спящих долгим зимним сном — дыхание немой матери и черного кота с бурыми подпалинами. Если привстать и посмотреть в окно, там окажется белый, безмолвный, отрешенный мир. И сразу же вспомнится Айгуль: всегда она вспоминается, как увидит он что-нибудь чистое, сияющее, красивое. Но тут же станет больно, тяжко от сознания, что ни к чему все это волшебство белизны, сияния — откроется тщетность и обманчивость красоты, завораживающей чувства. И лучше всего ничего не пожелать себе, а вытянуться на своей лежанке, глядя в закопченный потолок.

Вдруг представилось, что в окне мелькнуло что-то. Тень промелькнула и растаяла. Затем светлое пятно окна начало тускнеть, и вот видно стало, как с улицы, прижавшись к стеклу, заглядывает в дом серое, мертвое лицо ДТ.

— Дружище, что там вокруг тебя?

— Белые поля, больше ничего.

— Одни белые поля... И ничего больше... Бедный ты мой, не холодно тебе?

— Не знаю.

— Рано ты женился, дружище. Рано.

— Наверно, знал, что рано умру...

Неслышно подошла мать, положила ему на лоб легкую прохладную руку. Он схватил эту сухонькую руку и прижал к губам. Затем приподнялся и, спрятав лицо на груди матери, заплакал, всхлипывая и вздрагивая как ребенок.

— Мать, что мне делать?— плача, говорил он.— Я запутался, совсем запутался, и куда мне идти, я не знаю...

Ответом было горькое безмолвие матери.

А теперь другой день: небо ясное, голубое. Горы, скалы, камни, таежная чаща — все одето белым снегом. До голубого купола неба совсем близко — рукой дотянуться. От сияния снега и яркого блеска небес болят глаза. Чистое поле тронуто узорчатыми следами небольших зверей. В тайге воздух напоен духом сосновой смолы. Пробежит по веточкам белка, качнет хвойную лапу, собьет рыхлые комья, и под деревом на нежно-белой напуши образуются звездчатые снежные брызги. Вдыхая вкусный смолистый воздух, Человек-Олень думает, что жизнь все же прекрасна, а он сам словно заново родился, чтобы понять это. И даже досадно становится от этой сегодняшней языческой радости: значит, его чувства и мысли совершенно такие же, как всё в природе, так же подвержены переменам, как и непостоянная погода.

К ногам его привязаны лыжи, обитые меховой шкурой, на плече висит двустволка. Ему надо добыть зверя, но он никак не может решиться нарушить великий покой зимнего леса святотатственным грохотом выстрела. Игривый мороз щиплет его за щеки, снег вокруг глубок, пожалуй, в сугробах лошадь утонет по самую холку. Торчат из снега верхушки молоденьких елок — это деревца, посаженные Актаном. На старой вырубке он когда-то посадил 350 штук. Тогда, устраиваясь в лесхоз, он попросился у начальства на такую работу, где не надо было вырубать лес... А вот друг его ДТ рубил лес не жалея. Суеверный народ считал, что и погиб он из-за того,

что провинился перед духами дикого леса. В тот последний для себя рейс в тайгу он срубил десять молодых лиственниц и, спускаясь ночью с горы, сорвался вместе с трактором и прицепом в реку... На склонах Белухи за один только год вырубили весь столетний лес. Так гибнут могучие деревья и джигиты.

У Человека-Оленя, стоявшего на лыжах с края поляны, держа в руке снятую с головы шапку, темные кудри были покрыты белым инеем. Но то был не иней! У Человека-Оленя, стоявшего с шапкой в руке, волосы были покрыты густой новорожденной сединой.

* * *

И вскоре пришел к нему Кан. На лыжах, с ружьем за плечами, с двумя бутылками водки. Еще в дверях выхватил одну из-за пазухи и, держа за горлышко, высоко поднял, словно хвалясь.

— Мириться я к тебе пришел, в гости!— говорил он, широко оскалясь в улыбке.— Так вставай и принимай гостя, не косись! Эй, кто еще к тебе решился прийти, кроме меня, кто? Да никто! Ну, поссорились мы из-за поганой бабы, да черт с ней! Давай-ка выпьем с тобой вот это и забудем обо всем.

Озадаченный Актан, не зная, что ответить, медленно повернулся громадным и широким телом к матери и вопросительно посмотрел на нее. Немая ответила покорным, согласным кивком, затем, кряхтя, сползла с лежанки и принялась накрывать на стол. Стаканов и рюмок у нее не было, и она поставила две пиалы.

— Что же, это хорошо,— одобрил гость.— Лучше так, чем по капле цедить.— И он жадно выпил налитую до края посудины водку, сморщившись, ухватил ломоть поджаренного хлеба, отхряпнул кусок и захрустел с довольным видом.

Человек-Олень вглядывался в это широкое, одутловатое, жующее, совершенно бездумное лицо и подумал: «О, такие, как ты, живут долго». А у того вдруг замерли работающие челюсти, узкие глаза изумленно приоткрылись, и он спросил:

— Оу, браток! Что с твоими волосами? Неужели покрасил?

— Седеют...

— А, мать их перемать, у меня тоже! Уже половина

волос седых. Да сейчас н у пятилетннх начннают седеть головы, такое время, а что говорить о таких, как мы с тобою, Зверь! Давай-ка выпьем, брат, за баб и девок, чтоб нм пусто было, сукам! Такнх джнгнтов, как мы с тобою, поссорнть смоглн... Но я простнл тебе все, все забыл, забудь н ты!.. Зачем я пришел? Вот за этнм н пришел — мнрнться. Ну, еслн всю правду говорить, то не только за этнм. Ха-ха-ха! Решил я попроснть у тебя немного сушеного маральего снадобья, которое, говорят, нмеется у тебя.

«Побнть тебя как собаку и выгнать из дома?» — не сказал, ио ясно выразнл это взглядом Человек-Олень. Неудобио было перед матерью затевать драку.

— Ну ладно, ладио, успокойся, ие надо мие иикакого снадобья. Дашь иемного мумне, что-то желудок у меия заболел,— попросил Кан.— Неужелн тебе жалко лекарства для больного человека?

Актаи встал, подошел к сундуку, узорчато обнтому полосками жестн, откииул тяжелую крышку н достал оттуда кожаный мешочек. Отделив немного от большого куска, охотннк молча передал мумне непрошеному гостю, всем вндом показывая, что ждет одного: чтобы тот поскорее убрался вон... Одиако Кан, завериув в бумажку н спрятав лекарство за пазуху, не думал уходить; пристроившнсь за столом поудобнее, повел долгнй разговор:

— Молодец ты. Жнвешь как иастоящнй человек. За это тебя я очеиь уважаю. Жаль только, что между намн кошка пробежала. Вот я н решил сам прнйти к тебе, чтобы ты знал, что иезачем иам враждовать, двум неглупым людям. Зачем мы, словио козлы на узком мосточке, упнраемся лбамн друг в друга? Поиятно, что каждый в жнзнн доказывает свою правоту: мол, его гора и есть самая высокая. Но я-то ведь не такой дурак, я готов уступить тебе, потому что я уважаю тебя, и еслн у меня еще роднтся сын, то я назову его только Актаном...

— Откуда возьмешь его? — резко спроснл Человек-Олень.— у тебя, кажется, нет даже жены. Или ты сам себе рожаешь детей? — усмехнувшнсь, закончнл ои.

Кан на мниутку примолк. Долгнй, красноречнвый взгляд броснл на джигита. Но справнлся с собой н продолжал спокойно:

— А ты шутннк, оказывается... В Алма-Ате остались

жена и двое детей. Не уверен, правда, что от меня они, но алименты приходится платить.

Теперь Актан, в свою очередь, долгую минуту молча смотрел на собеседника. Человек-Олень понял, что видит перед собою совершенно бессовестного, падшего человека. Глаза Кана сузились, сверкнули.

— Ты, значит, презираешь меня. Ну а я тебя,— между тем, усмехаясь, продолжал Кан.— И что же выходит? Зачем? Ведь и тебя и меня люди одинаково не любят. Не любят нас с тобою, джигит! Ну а нам наплевать. Вот я прочел кучу книг, тьму всяких вещей знаю, нет у нас никого, кто столько бы мир повидал, как я... А мне на все это наплевать. Я понял истину и всем этим пренебрег, понимаешь? А почему?! Осуждаешь? А ты сам? Почему от всех отгородился? Отвечай! И не спеши осуждать человека, не разгадав его души.

Сказав это, Кан подвинулся к Актану и похлопал его по спине.

— А знаешь ли ты, Зверь-Человек, что сейчас в городах в моде именно такие, как ты, а не такие умники, как я?

— Куда мне,— отвечал Актан.— Даже в ауле для меня нет места.

— Врешь! Ты мог бы и в ауле, и где угодно. Но тебе, видно, просто жаль расставаться со своей свободой, с вольготной жизнью. Я тоже, между прочим, сам себе хозяин.

Кан вдруг выдохся, сник. Теперь за столом сидел, пригорюнившись, уже не злобный и бессовестный прощелыга, каким привык видеть его Человек-Олень, а усталый, наполовину седой, потрепанный жизнью человек.

Железная печь угасла, быстро остыла, и в комнате становилось все прохладнее. Актан поднялся и, сняв со стены старую шубу, укрыл ею свернувшуюся калачиком мать, подоткнув с двух сторон края шубы. Подойдя к окну, Человек-Олень выглянул наружу. Тихо падал снег. В природе все смирилось и притихло, покорно готовясь к долгой, безжизненной зиме. Оглянувшись, Актан увидел сидевшего неподвижно, почти спящего Кана.

Актан принялся устраивать постель.

Они молча улеглись в темноте. Кан временами натужно храпел и кашлял, ворочался, вздыхал. Вдруг, резко повернувшись к Актану, произнес доверительно:

— И все же запомни, батыр: никому никогда слово вернуть нельзя и надо быть первым, пока тебя не ударили...— Затем добавил, хихикнув:— Иначе помрешь не своей смертью.

И, высказав это, гость Актана отвернулся к стене и уже ничем больше не нарушил прохладной и вязкой, как отстоявшаяся сметана, тишины дома.

А наутро Актан вскочил, будто его укололи. В окошке посветлело, но по углам хижины еще густела тьма. В далеком небе, видимом сквозь чистое стекло, висели красные, словно кровавая пена, облака. Оглушающая тишина стояла в доме, но что-то неведомое, тревожное беспокоило Человека-Оленя. Он удивился: на месте, где лежал незваный гость, никого не было.

Сунув босые ноги в стылые тяжелые сапоги, Актан вышел из домика. Во дворе было пусто — снял лишь чистейший, ослепительный снег. Дверь в сарай была приоткрыта, Актан вошел туда и увидел на полу Белоглазого, мертвого, закоченевшего. Изо рта его натекла лужица крови... Неподалеку на земле валялся окровавленный топор. Присев у откинутой головы мертвого коня, Актан приподнял черную, слипшуюся от крови челку и увидел след жестокого удара.

Он пошел в избушку будить старуху мать и увидел то, что не заметил впотьмах: откинута крышка сундука, выброшенные из него вещи валяются на полу. Исчез кожаный мешочек с мумие... Все стало ясно Актану.

Уходя, Кан переломил напополам обе лыжины Актана, обитые мехом.

— Нет! Так нельзя! Так нельзя! Невозможно так жить на свете!— в тоске закричал Человек-Олень.— Мать, ответь, почему так: я бегу от всего хорошего, потому что не хочу ничего плохого, а это плохое все равно настигает меня, как ни ухожу от него. Что же, ладно! Раз так, то я больше не буду уходить в сторону. Я сам, сам пойду навстречу злу! Я пойду и догоню этого пса! Собирайся, мать, мы переезжаем в аул.

Немая старуха впервые видела сына в таком гневе. Сейчас он очень напоминал своего отца, который когда-то давно тоже за что-то разгневался на людей, не мог с ними ужиться, поступал наперекор им. Она знала, что он и ушел-то из аула, бросив ее и сына, из-за этой непонятной ей неуживчивости и вражды. А этот наоборот — хочет идти в аул...

— Я посмотрю, кто кого!— яростно грозился он.— Мы померимся силами там в драке, а не грозя издалека друг другу. Я буду жить вместе с ними, и пусть каждый узнает, кто я и на что я способен. И горе будет врагам моим! Зачем этот пес убил мою лошадь? Зачем лыжи сломал? Наверно, решил, что я снега испугаюсь и не погонюсь за ним. Ах, дурак, неужели он подумал, что я до самой смерти останусь в этих снежных горах? Мать, немедленно собирайся! Да не бери много вещей, все равно без лыж не унести.

Старуха молча взяла сына за руку и потянула за собой. Она привела его ко входу в полуразрушенный погреб, вырытый под домом. Взяв горящую свечу, она кряхтя спустилась в подпол. Актан последовал за ней. В душной, сырой полумгле, затянутой паутиной, старуха возилась над чем-то, затем выпрямилась и протянула сыну что-то завернутое в шкуру и перевязанное веревками. Это были старые лыжи отца, который безвозвратно ушел от них и, может быть, действительно лежал теперь на дне ущелья Таниркоймаса.

Актан, которого взрослые и дети всей округи звали Человеком-Оленем, решил навсегда оставить Аршалы. Он приладил к ногам охотничьи лыжи отца, подбитые шкурой жеребенка, взял в руки двустволку и подошел к матери, неподвижно стоявшей у ворот с узелком в руках.

— Ну, садись на спину, мать,— сказал Актан, нетерпеливо поглядывая вдаль.— Садись, не стесняйся. Ты пять лет таскала меня, когда я был маленьким, а теперь я понесу тебя.

Он посадил на спину, крепко привязал к себе сухонькую сутулую старушку и затем, как ветер, помчался на лыжах, яростно стиснув зубы. Перед ним тянулся двухполосный след бежавшего в долину врага, а сзади идущего Человека-Оленя на белом снегу оставались уже две бегущие рядом лыжные дорожки. И словно все двойственное, что лежит в основе бесконечного, безграничного мира: свет и тень, добро и зло, холод и тепло, смерть и жизнь — тянутся вдаль, в неведомое призрачное завтра, следы двух врагов. И неизвестно, кто кого одолеет, кто окажется наверху и кто первым падет на землю. Все скрыто за туманными далями тихих голубых долин. И лишь бегут, вьются рядом, пересекаются и бегут дальше извечные следы-враги. Они навсегда уходят

из Аршалы — по белому снегу уходят от покинутого всеми старого аула, где прозвучала последняя в округе сказка о тайнах пещеры Таниркоймаса. И теперь мы не знаем, задымится ли когда-нибудь хоть одна труба заброшенного селения.

Может быть, не уживется там, в нижнем ауле, Человек-Олень, затоскует его душа по дикой свободе, взбунтуется кровь, и примчится он назад, в Аршалы, как в старое доброе убежище. И может быть, захочется ему разгадать тайну исчезновения отца, и сойдет он в ледяное ущелье, куда никто еще не мог спуститься и выбраться,— как знать! А пока что он бежит, бежит как одержимый в сторону долины, и в широко раскрытых глазах его внезапно возникает видение: с высокого обрыва срывается и падает в горную реку трактор ДТ... Плеск, бегущие волны, тишина.

И вдруг старуха, промолчавшая больше четверти века, давно прослывшая немою, с горьким вздохом чуть слышно произнесла:

— Жеребенок мой... Догонишь ли ты пройдоху этого?

Аршалы остался далеко позади. Впереди еще длинная, о, длинная дорога. Крепись, душа, не уставай, Человек-Олень.

Дукенбай Досжанов

ОТРАР

I

Степь в безмятежном сне.

Над нею, как обломок кривой сабли, висит месяц. В его тусклом свете мелькают лисы, гоняющиеся за мышами; свернувшись кольцами, дремлют змеи. Издалека доносятся унылый, однообразный вой волков, тоскливые всхлипывания какой-то птицы или зверя...

По степи одиноко бродит дикий жеребец, нагибаясь к густой, девственной траве. Упругая его шея еще не испытала мертвой хватки курука[1], уши чутко ловят звуки ночной степи. Но вот конь вскинул голову и замер, дрожь пробежала по его крутым бокам. Зловеще блеснувшая петля, как змея, молниеносно обвилась вокруг шеи. Мощное ржание потрясло степь и оборвалось на пронзительно высокой ноте. Еще мгновение — и лошадь умчится вместе с арканом...

Волосяная веревка рванулась в руках Арыстана, потянула его за собой. Тщетно пытаясь упереться ногами, Арыстан тащился за конем, не в силах противостоять дикой необузданной силе степного животного. Он понимал, что долго ему не выдержать. Конь потаскает его по степи и, обваляв в пыли, оставит где-нибудь, полумертвого, на съедение хищникам. Напрягая последние силы, Арыстан потянул аркан на себя. Волосяной повод такой длинный, что его сорок раз можно обмерить вытянутыми в стороны руками. Он впился в ладонь до крови. Но ар-

[1] *Курук* — длинный шест с веревочной петлей на конце для ловли лошадей.

кана джигит не выпустил. В глазах потемнело, дыхаиие перехватило, одиако он успел вскочить на ноги.

Лошадь теперь ходнла широкими кругами, точно хотела закружить ему голову. На какое-то мгновение она замедлила шаг, повернулась к нему — и сиова рванулась, испугавшись чего-то. Но рывок ее был уже не так стремителен, как прежде. В этот момеит Арыстан явственно расслышал вблизи глухое рычание. Тигр!

Жеребец от страха затоптался на месте. Запоздай немного джигит — не поймать ему лошадь. Крадучись, мелкими шажками ои стал приближаться к жеребцу. Мнг — и вцепился в густую грнву. Ослабив аркан, взлетел на крутую спину. Обезумевший конь встал на дыбы, понесся по степи. Ему нестерпимо чувствовать кого-то на спине, которой смел касаться лишь ветер. Джигит сидит прочно, напрягая все снлы, чтобы не упасть. Слезы застнлают глаза... Только бы не упасть, только не упасть...

Навстречу Арыстану вставал рассвет. Крохотный, с кулачок, жаворонок вспорхнул из-под самых копыт жеребца и растаял в небе. Высокая полынь с хрустом ломалась под ногами коня. Терпкий аромат ее кружил голову. Промелькнул почерневшнй от солнца пастух, уныло бредущий за отарой овец.

Наконец Арыстан почувствовал, что конь под ннм начал уставать. Дрожа всем телом, он еле-еле переступал ногами. Шея и круп его покрылнсь белой пеной. Арыстан, пригнувшнсь, срезал аркан, стягивавший морду коню. Руки запачкалнсь в теплой крови.

Вдали показалась темная громада Отрарской крепостн. Она заслоняла собою дома, опоясывала их, и город был похож на браслет, однноко ржавеющий в пустыне.

Арыстан выехал на желтую извилистую дорогу, исчезавшую далеко за горнзонтом. По дороге длинной лентой тянулся караван. Когда прошел последний одногорбый верблюд, устало позвякнвая колокольчиком и глотая дорожную пыль, Арыстан поддал в бока коню и пристронлся к каравану.

Изможденные погонщики еле плелись. Верблюды, как долговязые журавлн, медленно и важно ступали по густой пыли, за их горбами сиротливо колыхались головы людей. Мелко семенили жалкие, робкие ишаки. Длинные уши их, словно высохший камыш, беспомощио по-

висли, прикрывая потухшие глаза. Богатый караваи, иагружеииый яркими тюками, следовал с востока.

Погоищики одеты в жагадай[1]. Караван подразделеи иа иесколько звеиьев. Каждое из иих возглавляет плотио сбитый иизкорослый джигит. Из-под надвииутого иа лоб головного убора зорко смотрят узкие прищуреиные глаза. Людей мучает жажда. Все то и дело облизывают потрескавшиеся от жары губы. В караваие миого девушек. Их хорошеиькие лица мелькают из-за верблюжьих горбов.

Скорой иноходью Арыстаи добрался иакоиец до головы каравана. Немолодой мужчиииа в огромной чалме резко повернулся к иему. Лицо его, как поиошеиные кожаиые ичиги, все в глубоких бороздах, проложениых временем. Арыстаиу показалось, что у мужчины на иосу сидит муха. Потом пригляделся и поиял — родиика. Холодиым блеском сверкиули из-под чалмы глаза — это солиечиый луч отразился в иих от золотого кольца иа скрючеииом пальце.

— Доброго пути тебе, путник!— приветствовал Арыстаи.

— Да поможет аллах!— хрипло прорычал тот иа кипчакском языке.

— Откуда путь держишь?— спросил Арыстаи.

Мужчииа в чалме остался иепроницаем.

— И куда?

— В Отрар...

Караваибаши был явио иедоволеи пришельцем. Арыстаи это почувствовал, ио ие в его характере было отступать.

— Вы будете хозяиიом караваиа?

Тот, видио, вспомиил о чем-то. Гляиул иа Арыстаиа, потом иа его коия. Потеплел лицом.

— Сиачала всемогущий, потом мы — хозяева. Вот Хаммаль Мераги, Фахар ад-дии Дизеки Бухари, Амии ад-дии Хереви и я, Омар.— Ои указал подбородком иа троих мужчии, следовавших позади. Лица у иих заросли бородой, глаза иалиты кровью.— Ну, а тебя как величать? Из Отрара?

— Да, из Отрара. Имя мое — Арыстаи.

— А-а! Стало быть, мальчик, ты — Арыстаи. Теперь

[1] *Жагадай* — верхняя одежда с подкладкой из верблюжьей или овечьей шерсти.

не спеши. Следуй за нами. Только что я отправил гонца в твой город. Подождем, может, вести какие будут.

Арыстан оглянулся на караван, тянувшийся следом. — Это не караван! Это — золото, льющееся с востока!— воскликнул он и звонко, раскатисто расхохотался, радуясь всему: и восходящему солнцу, и ночной удаче, и ощущению своей силы и молодости. Даже ленивые верблюды — и те повернули к нему головы. Конь под ним испуганно шарахнулся и понесся вперед. Юная красавица, восседавшая на головном верблюде, приподняла край плющевой шали и окинула веселого джигита насмешливым взглядом.

Солнце уже палило нещадно. Вдали показались два всадника. Подскакав к каравану, они ловко осадили коней и закричали, прикладывая правую руку к груди: «Мархаба! Мархаба![1]» Это были гонцы правителя города Отрара — датки Кадыра. Вожаки каравана, как один человек, повторили этот возглас.

Арыстан всегда с восхищением смотрел на воинов датки. Ему нравилась их стремительная поступь — будто они постоянно преследовали врага, их уверенные голоса и ловкость. Как-то Кадыр-датка, увидев Арыстана и изумленный его богатырским сложением, воскликнул: «Э, балакай[2], расти! Сгодишься, когда надо будет!» Слова владыки запали в сердце Арыстана.

Караванбаши Омар поднял правую руку. Отдал приказ гонцу, подскакавшему к нему. Тот рванулся вперед и отвел в сторону черного головного верблюда. Верблюд взревел — туго натянувшийся повод резанул его по шее. Верблюд навьючен двумя объемистыми тюками, покрытыми дорогим сукном. Над тюками золоченая балахана — паланкин с шатром. А в шатре та самая красавица, что засмотрелась на Арыстана. Ее везут бережно, не давая ветру коснуться нежного лица. Она — подарок Омара всесильному датке, трогательное проявление дружбы и уважения к властителю города Отрара.

Омар вытащил из-за пояса кинжал, положил его на ладонь и протянул гонцам. Один из них взял кинжал и повернул коня назад. Договор был заключен. Это означало, что кровь не прольется. Теперь можно смело

[1] *Мархаба* — приветствие.
[2] *Балакай* — мальчик.

въезжать в город, ворота Отрара открыты для каравана.

Впереди катит мутные воды извилистая река Арысь. По обоим ее берегам суетятся дехкане.

Узколобый старик застыл, опершись на кетмень. Тело его задубело на солнце и ветру, отливает бронзой, как жестяной лист, который начала поедать ржавчина. Обрит наголо. Только, видать, вышел из знаменитой отрарской цирюльни.

Заскорузлые пальцы ног его потонули в рыхлом песке. Шея вытянулась, став похожей на кнутовище из жимолости. На тщедушном теле нет ничего, кроме худых портков. Полотняный нагрудник, весь мокрый от пота, валяется неподалеку. Бережет его старик, не занашивает зря. То ли оса села ему на спину, то ли еще что, но он вдруг качнулся всем телом вперед и хлопнул себя по плечу. Вспомнил, наверно, и о работе. Закричал хриплым голосом жене, кормившей неподалеку ребенка:

— Баба, эй, чего ты трясешься над ним? Или только увидела? Вон уже и припекать начинает. Веди-ка сюда вола!

Женщина оторвала от груди ребенка, бросила его на кучу соломы. Тот и не пикнул, только сердито заколотил ножонками. Мать поправила на себе жаулык[1], подхватила рукой рваный подол и направилась к волу, отворачиваясь от караванщиков. Задубелые ичиги ее матово поблескивали на солнце. Она накинула недоуздок на пасшегося невдалеке вола и привела его на поле, где стоял муж. Тот поднял с земли деревянную соху — жерагаш и начал впрягать животное.

— Принеси ярмо!

Женщина побежала к ребенку и вытащила у него изпод головы деревянный прямоугольник.

— Высохло совсем, шею натрет волу. Сколько раз говорил, клади ярмо на ночь в воду, размякать будет. Давай веревку, чего рот разинула? Или каравана не видела?

Женщина вздрогнула, опустила глаза. Не поднимая головы, подала веревку, скрученную из овечьей шерсти. Старик потянул ее на себя — веревка лопнула.

— Эх, будь ты проклята, все у тебя гниет! Теперь, считай, до самого обеда веревку чинить буду. О, аллах,

---

[1] *Жаулык* — женский головной убор.

скоро у меня челюсть отвалится от крика иа тебя! Ну что, теперь и веревку мие самому скручивать?!

— Дома ведь шерстн нет. Разве что осенью, когда пастухн придут...

— Почему с прошлой осенн не приготовнла? Зиаешь ведь, что ярмо без веревкн не удержать. Эй, кому говорю? Ты чего все оборачнваешься? Отца, что лн, родного увндела?

Женщина снова смущенно отвела взгляд от дороги.

— Где столбик? Ойбой, будь он неладен, острня-то нет совсем. Как же я его прнлажу, ведь ярмо без подпорки — не ярмо. Мотыгу тащи! Скорее!

Женщнна кинулась к тому месту, где валялась земледельческая утварь.

— Где вы ее положнлн?

— Там же, где всегда!

— Не могу найтн...

— Ай, какая бестолочь! Илн бельмом глаза закрыло? Вон же, под нагруднком лежнт!

Женщнна принесла мотыгу. Старик обтесал столбнк. Укрепил ярмо. Накрепко прнвязал жерагаш к ярму. Женщнна взяла вола за повод и с возгласом «Ай-шу!» погнала его вперед. Старик налег на соху всем телом, заставляя ее вгрызаться в землю, н поплелся, кряхтя и стеная.

Пройдя участок, онн повернули назад, к дороге, по которой двигался караван. С хрустом рвалнсь корнн растеннй. Черные пласты грунта ложилнсь вдоль борозды. Каплн пота струились по лбу старнка, по спнне, по плечам. Тяжело переводя дыханне, вол с вннoватым видом то и дело останавливался, и тогда, напрягаясь из последних снл, нзможденная женщина понукала его.

Множество дехкан рассеялось по полю. Дочерна загорелые, прнннкшне к сохе, онн издалн казалнсь большими птицами, что роются клювамн в земле, вынскнвая какой-то неведомый клад.

Арыстан, сколько бы нн проезжал по этнм местам, каждый раз видел: с раннего утра н до позднего вечера работают онн на поле. Пожалуй, н нскатель золота не обрек бы себя на подобные мукн. «К чему так иадрываться,— размышлял Арыстан,— не лучше лн промышлять охотой на степном просторе? Нет, что нн говорн, а слаще охоты нет ннчего на свете! А погоня за диким зверем! Э-эх, вндно, каждому свое!»

Снова послышался визгливый голос старика-дехканина:

— Да смотри же себе под ноги! Сколько земли остается! Надо кончить, пока не припекло!

Солнце в это время стояло в самом зените, палило нещадно.

— Доживешь до осени, баба,— кричал старик,— всем сыта будешь! Дождей нынче вволю, земля мягкая, много обещает. Яму для зерна приготовим. Один-два мешка на базар свезем, куплю тебе китайскую плюшевую шаль! Подожди, баба, посмотришь, какой сильный у тебя муж!

Он засмеялся, довольный. Работа взбодрила его, подняла настроение.

Караван повернул с большой дороги к воротам города.

Отрар опоясывают стены из красного кирпича высотой в двадцать аршин. Между ними — сторожевые вышки. На каждой из них — охранник с огромной чалмой на голове. Солнце, словно соперничая с вышками укреплений, забралось высоко-высоко, под самый купол бездонного неба.

Перед воротами, опершись на копья, стоят стражники. Лица их краснее, чем кирпичи укреплений. Они застыли неподвижно, как изваяния.

Караван вступил под своды ворот и очутился в царстве камня. Копыта коней гулко зацокали по кирпичам. Здесь, под сводами, воздух прохладен и наполнен шелестом — это бабочки слетелись сюда от палящих лучей.

Сразу за воротами начались городские постройки — домики из желтого камня. Перед чайханой важно восседал брадобрей, узкие глаза его хитро поблескивали, лицо заросло густой черной щетиной. Женщина с кумганом в руках, наверное жена, робко обошла его стороной, виновато опустив глаза.

Ближе к центру — дома из красного кирпича, гостиные дворы, настежь распахнувшиеся железные ворота. Слуги тщательно выметали землю возле них.

Со стороны медресе послышался утренний азан — призыв на молитву, а откуда-то издалека доносился разноголосый шум — это гудел, как пчелиный улей, базар.

Караван приблизился к роскошному дворцу. В раскрытые ворота виден фонтан у входа, окруженный цветущими деревьями хурмы, ореха, персика, урюка.

Обилие красок, сочная зелень — все здесь пленяет глаз. А между деревьями, похожие на диковинные цветы, мелькают стройные красавицы в белых шелковых и разноцветных платьях с оборками. Они резвятся возле фонтана, обдавая друг друга лучистыми водяными брызгами; звонкий, мелодичный смех разносится по саду.

Арыстан при виде красавиц почувствовал легкое волнение в груди, приостановил коня. Неожиданно откуда-то сверху из дворца послышался голос:

— Верни их! Еще приглянутся чужому глазу!

Девушки вспорхнули, точно лебеди, и рассыпались кто куда, как будто здесь их и не было. Одна из них, пробегая мимо ворот, бросила на Арыстана лукавый взгляд смородиновых глаз.

— Ну и собака — их хозяин!— заметил Омар, угадав настроение Арыстана.

Дорогу каравану пересекла свадебная процессия. Жениха с невестой сопровождали верблюды с богатым приданым. Невеста сидела под шатром на головном верблюде. Жених — рядом, на скаковой лошади. Его сопровождала шумная свита дружек, музыкантов-дудочников, всех тех, кто должен был сегодня прислуживать жениху и невесте. Кони под джигитами — один лучше другого, а сами всадники в богатых ярких одеждах.

Народ на улицах останавливался, провожал восхищенными взглядами свадебную процессию. Омар и Арыстан тоже застыли на месте. Процессия остановилась у ворот богатого купеческго дома под голубым куполом. Не успели молодые и их свита войти в ворота, как зазвучала тонкая протяжная мелодия традиционной свадебной песни «Бюйда устар»,— что значит «Держащийся за повод верблюда». Молодых осыпали шашу[1].

Урюк, виноград, хурма, набат как дождь струились по одеждам молодых. Джигиты на конях, те, что проворнее, ловили фрукты и тут же отправляли их в рот. Перепали сладости и девушкам в балахане, сопровождавшим невесту. Веселье было в разгаре. Взрывы хохота то и дело прерывали мелодию свадебной песни. За ней последовала другая, «Той бастар»—«Открывающая той[2]». Протяжную лирическую мелодию сменил шквал жизнерадостной музыки, буйный, всколыхнувший своим

[1] *Шашу* — сладости, монеты и мелкие подарки, которыми осыпают новобрачных.

[2] *Той* — празднество, пир.

звонким весельем сердца всех гостей. Глотки у поющих были поистине лужеными, голоса их наполнили улицы города. Пели о счастливых влюбленных, восхваляли родителей. Затем певцы поздравляли с тоем народ. Закончилась песня прославлением аллаха.

Старики и старухи украдкой утирали глаза, вспоминая свою далекую юность, а молодежь хмелела от радости. Вот гуськом, стройной цепью вышли вперед девушки, все статные, румяные, как на подбор. Заставив опуститься на передние колени верблюда, они спустили с его спины невесту и повели в дом.

— Пай-пай! — зацокал языком караванбаши Омар.— Ты видел когда-нибудь такие обычаи, такой церемониал? Э, аллах, и этого не дал ты нам при жизни...— Он покачнулся в седле.

Арыстан не в первый раз видел свадебный той. Сейчас ему очень хотелось соскочить с жеребца и присоединиться к дружкам жениха, разделить их веселье или принять участие в состязании борцов.

Словно угадав желание Арыстана, участники торжества образовали круг, собираясь начать игры, которые будут продолжаться, пока сгрузят с верблюдов приданое невесты, пока возведут восьмикрылую юрту для молодых.

Теперь в круг должен был выйти палуан[1]. Среди собравшихся прошел шепоток: «Откуда он?» — «Из Саурана, говорят». — «Посмотрите-ка на него! Ну и плечи! Как бы потомком Дихан-бабы не оказался!» — «Возможно, он и есть!..»

Арыстан глянул в сторону приближавшегося палуана, которого вели на поводу как жеребца, и невольно содрогнулся.

Детина был огромен и свиреп. Рослые джигиты ввели его в круг, окружив тесным кольцом, а он то и дело рвался из рук, издавая грозное рычание, и тогда джигиты то ли всерьез, то ли нарочно падали ниц у его ног. Зрители затаили дыхание, зацокали языками от удивления и страха. Возбуждение росло. Раздались крики: «Дорогу дайте! Дорогу!» Арыстан с восхищением наблюдал за борцом. Омар же, нахмурившись, видно, думал о чем-то своем. А точнее вот о чем.

---

[1] *Палуан* — здесь: профессиональный борец, которого держали при ханском дворце для выступлений.

Перед иим был свободный кипчакский край, кипчакские джигиты — все как иа подбор, богатырского сложеиия. Одиа их поступь чего стоит! Оиа говорит об их мужестве, силе, свободиом духе. Мускулы на руках перекатываются тугими шарами, шеи — как стволы деревьев. Даже в этом, совсем еще мальчишке,— ои покосился на Арыстана — видио, какая сила бурлит. Покачнется в седле — у коия иоги подгибаются. В сердце Омара вдруг закралось недоброе предчувствие.

Между тем борец был уже в середине круга. Он нетерпеливо топтался иа месте, подиимая пыль огромиыми ступнями. Народ кругом зашумел. Найдется ли смельчак, способный сразиться с тем, кого едва удерживают два рослых джигита?.. Желающих пока не было. Палуан в иегодоваиии прошелся по кругу, и тот, иа кого обращался его взгляд, иевольио ежился, отступая иазад. Жаршы[1] то и дело выходил в круг. Высоко вскидывая полотенце, он вызывал джигитов иа состязание. Но куда там! Одии вид грозиого противиика отбивал охоту сражаться с иим.

За спииой Арыстаиа в группе джигитов иачалось движение. Кто-то протискивался сквозь толпу. Арыстаи присмотрелся: это был Сарымсак, его родственник, пригонявший скот иа отрарский базар. Сложеи ои был великолепио. Крупиые ребра, бедра — как ноги верблюда. Арыстаи иевольио вскрикиул, когда увидел Сарымсака, он хотел предостеречь его, ио возгласы, раздавшиеся отовсюду, заглушили голос Арыстана. Джигиты, оргаиизаторы состязаиий, мигом подскочили к Сарымсаку и начали готовить его к схватке. Раздели, подпоясали волосяиым арканом. Народ открыто жалел смельчака:

— Несчастиый, сейчас ему ребра переломают.

— Как бы калекой ие остался...

— И зачем ему бороться? Жизиь иадоела, что ли?..

Палуаи все больше входил в раж. Джигиты, стараясь удержать его, поднимали тучи пыли. Но тот и ие думал успокаиваться. Люди завопили:

— Держите его, держите! Не пускайте!

— Не показывайте мальчишку, убьет!

— Скажите, чтоб осторожнее был!

В ушах у Арыстаиа зашумело. Перед глазами мельтешило свирепое лицо палуаиа. Тот был уже вне себя

[1] *Жаршы* — глашатай, вестник.

от ярости, точно злые духи вселнлнсь в него. Вдруг наклоиился, зачерпиул горсть песку, бросил его себе в рот, выплюнул, дернувшись при этом так, что джигиты, державшие его, отлетели в пыль. Освободившись, он сорвал с себя повод и заорал что есть мочи. Пригиувшись, тяжело шагиул навстречу Сарымсаку и заключнл его в свои объятия...

В этот момеит тяжелая рука легла на плечо Арыстана. Он оглянулся на Омара:

— Что случилось?

— Поехали, джигит, караваи ушел далеко!

Омар повериул коня. Арыстаи тоже, повииуясь не столько Омару, сколько своему желанию не видеть жестокой схватки. Поддав в бока коию, он последовал за торговцем, плохо соображая, что происходит вокруг и куда онн иаправляются: так подействовало иа иего только что увндеиное. Он н не подозревал, что оии иеожидаиио тронулись после того, как к Омару подъехал низкорослый джигит и шепнул ему что-то иа ухо.

— Вот это той!— цокиув языком, произнес Омар.

Арыстаи промолчал, все такой же замкиутый и иапряженный.

Сзади послышался грохот арбы. Кто-то иемилосердно погоиял впряженного в телегу вола. Колеса, выделаниые из пня, издавали иевыиосимый грохот иа гладкой укатаниой дороге. Арыстану невольио подумалось, как эта арба будет двигаться по степи, заросшей полынью, если даже иа укатаииой дороге издает такой шум? Что, интересно, везут иа ней? Груз влажио поблескивает на солнце. Возиица с чериой бородой поглядывает и улыбается. Арыстан догадался. На арбе — рыба. Та самая тварь, что живет в воде. Старик-сосед частенько ездил на реку н привозил оттуда эту мокрую тварь, а потом сбывал на базаре. Все бы хорошо, ио одиажды, охотясь за этимн скользкими и блестящнми созданиями, ои утонул. Едннствеиная дочь его Нур осталась сиротой. Глядя сейчас на возиицу, Арыстан подумал: «И ты когда-нибудь утонешь! Умрешь зазря! К чему лезть под воду, когда и иа земле всякой твари хватает? Не поймешь порою людей. Одни, как одержимые, в земле копаются, другие захлебываются под водой, чтобы заработать иа пропнтание».

— Да-а-а!— прищелкиув языком, заговорил Омар.

словно угадав мысли Арыстана.— Наглядишься на белый свет — мудрецом станешь!..

Арыстан посмотрел вперед. Перед ним возвышался Кумбез-сарай. Они почти поравнялись с ним. Кумбез-сарай... Сколько рассказов слышал он об этом дворце, полном тайн и удивительных загадок. Сколько странствующих людей скитается по степи, чтобы хоть раз увидеть его собственными глазами! Ни с чем не сравнимые в этом мире богатства собраны в дворцовых залах — это книги, письмена разных времен и народов: кипчакские, в переплетах из бараньей кожи; индийские своды, украшенные рыбьей чешуей; восточные летописи, обернутые шкурой кулана. Их, этих книг, несравненно больше, чем ученых — гуламов, закончивших медресе. Говорят, что во времена Фараби в Отрар караванами поступали книги и с Запада, и с Востока. Сколько человеческих мыслей содержат в себе эти письмена! По ним старцы-знахари предсказывают, когда будет джут, когда произойдет кровопролитное сражение...

Снаружи Кумбез-сарай выкрашен блестящей светло-молочной краской. Зимой и летом, в любую непогоду и жару не тускнеет она, издали маня глаз первозданной свежестью. Чем ниже к земле, тем больше узоров. Орнаменты ложатся друг на друга, как строки в древних письменах. У основания дворец кругл, как девичий браслет. Узорчатый кирпич, украшающий Кумбез-сарай, говорят, привезен с Яксарты[1]. Там собирали желтую глину, добавляли в нее козьего помета и кобыльего молока, месили, сушили, потом обжигали на огне. Красные, цвета крови, кирпичи не разбивались о камень, не крошились в воде. О прочности этого кирпича рассказывали легенды. Знатоки давали ему высокую оценку.

— Чудесная вещь!— разглядывая кладку, с восхищением заметил Омар.

Наконец караван достиг Базарной площади. Над искусно смастеренными торговыми рядами простираются тонкие балдахины. Они тянутся на расстояние конной скачки. Под балдахинами, разложив на прилавках товары, как воробьи, сидят торговцы. Чего только нет здесь! Сласти, фрукты, сукна, шелка, шерсть, золоченые пояса, чапаны и чекмени, золотые позументы, выделанные ис-

[1] *Яксарты* — так называли греки Сырдарью, кипчаки называли ее Инжу, арабы — Сейхун.

кусными ювелирами, серебряные пуговицы, украшенные резьбой седла, поводья, предметы домашней утвари. Множество различных ковров: белоснежные шерстяные, ворсистые, катаные бухарские. Вырезанные из кости подставки, шкатулки для женских украшений, золотые браслеты, серьги, бусы, кольца сверкают на солнце, завораживая глаз. Тут и там раздаются возбужденные голоса:

— А это почем?..

— Сколько все-таки просишь?.. Дороговато!

— Смотри! Смотри! Где-нибудь еще такое видел?

Крича во все горло, шныряют меж торговцами базарные дельцы. Одних сводят, других ссорят, набивают цену за свое посредничество. Они достигли такого совершенства в своем ремесле, что торговцы под их нажимом иногда довольно быстро сбавляют цену. Бывает, иной пройдоха одурачит незадачливого купца, приберет весь товар за гроши и тут же сбудет его втридорога. Не один ротозей в отчаянии бьет себя по лбу, проворонив свое добро.

А вот невдалеке завязывается ожесточенный спор:

— Этот верблюд еще отцу твоему служил, а ты просишь за него цену корана! Кому нужна эта старая развалина? Давай за серебро! Ну, по рукам, не досчитаешься — всевышнему жертва будет!..

Прислушиваясь к разноголосому шуму базара, Омар и Арыстан продолжали следовать во главе каравана. Омар, видно по всему, был доволен своим случайным попутчиком. Куда девался его хмурый, недоверчивый взгляд! Слова так и сыпались с языка. Все вокруг вызывало его любопытство. Что, например, вон в том здании с куполом? А-а, медресе... Много их здесь, в Отраре. А людей сколько! Ту-у, больше двухсот тысяч, говоришь? И как столько народу умещается в городе? А эти укрепления? Их, верно, охраняет войско датки?

— Войско?— переспросил Арыстан.

— Да, войско. Ну, эти, как их, сарбазы[1]... И много их в городе?

Арыстан поначалу охотно отвечал на вопросы купца. Но потом чрезмерное любопытство чужестранца стало казаться ему подозрительным. Уж больно охоч был до расспросов его спутник! Оглянувшись по сторонам, Арыс-

[1] *Сарбаз* — воин, боец.

тан заметнл, с какнм уднвленнем рассматривают незнакомый караван горожаие. Шаркая ичигами, они торопливо проходнли мнмо, а потом долго оглядывались на чужестраицев.

Вокруг цеитрального базара отведены места для стояики караваиов. Каждую стояику охраияют добровольиые сторожа. За хорошее вознаграждеиие оии стерегут товары, ухаживают за верблюдами н лошадьми, пока купцы ведут торговлю.

Бесчислеииое миожество караваиов стекается отовсюду в город, н ои невозмутимо поглощает привозимые нми дары...

Подошло время прощаться с караваиом. Арыстаи повериул было коия, но вдруг почувствовал, как чья-то сильная рука удержала его за полу одежды. Рот Омара зиял, как яма, в густой чериой бороде. Он улыбался.

— Арыстан,— сказал караваибаши.— Конь вот твой больио поиравнлся мне. Выбирай что хочешь из моих богатств, отдай только коия. Да возрадуется твой старший брат, получнв такой подарок!

— Нет, не нужно мие твоего добра. Говорят же, что крылья мужчины — конь.

— Зачем сомиеваешься? Полюбился он мне. В жизни ие видывал скотиιы лучше этой. Щедра прнрода на красоту. А у меия что? Не мул и не рабочая лошадь, какоето подобие, а?— Он указал подбородком на свою кобылу.— Хочешь, подарю китайскую красотку, прелестиую, как цветок...

В груди у Арыстаиа что-то дрогиуло. Но как же лишиться коня? Без него жизнь ие жизнь джнгнту, его н в войско датки ие возьмут, будет всю жизнь таскать кизяк иа ншаке. Нет, к черту красотку н ковры! Лучше соперничать с ветром в степи, чем миловаться с красавицей в четырех стенах! На такого коия польстился бы, пожалуй, н сам Кадыр-датка!

— Не могу. Я не дервиш, чтобы скитаться на ншаке!

— Ай, мальчик, ты еще несмышленыш. Миого таких коней перебывает у тебя. Неужто думаешь всю жизнь в седле провести? Лучше взял бы эту красотку — н делу коиец. Превратится твое глиияиое жилище в рай. Не согласеи, а? Э, мальчик, да ты ие поиимаешь еще, что к чему. Даю слово, пожалеешь потом. Ну подождн же...

Не дослушав, Арыстан повернул к своему дому, в Пышакшы. Так называлась западная часть города, где

жилн в основном бедняки — кузнецы и ремесленннки. Вот где работа кнпела день н ночь! Даже в самые жаркие полуденные часы, когда в богатых каменных домах жизнь, казалось, замнрала,— здесь старикн раздували мехи, мужчины стучали молотамн, отбивая из раскаленного железа клинкн сабель. Много оружня нужно было сарбазам даткн Кадыра!

Отец Арыстана тоже кузнец. Его кузница напоминает юрту из желтой глнны. С детства знакома она Арыстану — уж много лет стоит эта неказистая на вид постройка; видно, умелые руки лепнлн ее.

Арыстан привязал жеребца к столбу и направился в кузницу. Однако прежде чем войтн, он проверил, целы ли петлн, потому что дверь давно прогннла н порою валилась на входящего, стоило только коснуться ее рукой. Особенно «везло» Арыстану, вслед за дверью на его голову обрушивалнсь отцовскне ругательства.

На этот раз дверь раскрылась со скрнпом, но с петель не слетела. Арыстан шагнул внутрь. Горячнй, спертый воздух ударнл в ноздрн, вызвав тошноту. Глаза защнпало от дыма. Крохотное отверстие в потолке не пропускало сюда свежий воздух. Арыстан застыл на пороге, сразу ослепнув после яркого дневного света. Откуда-то донесся хрнплый голос отца, но шипение н свнст, вырывавшиеся из кузнечных мехов, тут же заглушили его. Казалось, будто невидимый злой дракон хозяйннчал здесь, нзрыгая шипенне и пламя. Из дыма вынырнул сгорбленный, почерневшнй от копотн старнчок. В ответ на прнветствне Арыстана он положнл кнсть рукн на ладонь.

— Помощн нет от тебя, неблагодарный! Измучнлся я совсем, бегая от меха к наковальне. И легкне вроде сдают, не могу уже в день больше одной саблн выковать...— В голосе старнка — н жалоба н упрек одновременно.

Отец взял небольшой булатный молот и ударнл нм по куску железа на наковальне. Удары следовалн однн за другнм, краснвые, ритмичные. Двнження кузнеца рассчнтаны точно. На глазах бесформенный кусок металла прнобретает нужную форму. Извиваясь н поблескивая, рассыпая нскры, он вытягивается в длину, раскручнвается как змея.

Рядом с наковальней, в небольшой яме, лежнт вымешенная глина. Кузнец воткнул клннок в месиво н стал понемногу проталкнвать его дальше. Жндкая глнна за-

кипела от горячего металла, струи пара со свистом вырывались из проколотого отверстия. Старик вогнал саблю глубже, до самого черенка, потом осторожно вытащил. Поверхность клинка стала светлой. Мастер выдохнул: «Уф!»— отер капли пота со лба, бросил саблю на горячие саксаульные уголья и показал Арыстану на мехи.

Снова с присвистом и всхлипами заработали мехи. Загудел огонь в горне. Розовый клинок позолотился от жара, разбух. Отец расслабленно опустился на железный обрубок. Закрыл глаза. Потом отхлебнул кислого шалапа[1] из торсыка[2], валявшегося рядом. Бедный отец! Сколько лет ты раздуваешь мехи и орудуешь молотом! Сколько пота пролил над наковальней! Целое озеро!.. Где же вознаграждение за твой труд? Разве что те пять-шесть медяков, которые вручит тебе полководец? А чем отблагодарит тебя кипчакская земля, протянувшаяся без конца и края во все стороны?..

— На, глотни,— сказал старик и бросил Арыстану торсык.

Арыстан не стал пить. Он знал, что это за напиток — кислый, с прогорклым привкусом. Сейчас и пастухи научились обманывать. Снимут сливки с молока, да еще и водой разбавят, и продают. Голову бы открутил такому торгашу, попадись он в руки! А какими немощными прикидываются! Обрядятся в лохмотья, состроят жалобную гримасу и вымаливают гроши за свою кислятину. Попробовали бы сунуться с этим напитком в Кумбез-сарай! Там продают только жирный катык[3], а торгуют им статные румяные девушки.

— Довольно!— крикнул отец.

Он вытащил из огня раскаленный клинок. Снова стал ритмично бить по нему молотом.

Солнце перевалило через зенит. Золотые нити просочились сквозь дверные щели. Арыстан не вытерпел, распахнул дверь, и свежий воздух хлынул в кузницу. Стало легче дышать.

— Э, мальчик, зря ты это сделал! Теперь сабле не быть священной. Не куют оружие при открытых дверях!— Старик не на шутку рассердился на сына, с досадой отбросил в сторону молот.

[1] *Шалап* — кислое молоко, разбавленное водой.
[2] *Торсык* — кожаная фляга.
[3] *Катык* — сливки.

Арыстан промолчал. Отец снова воткнул саблю в холодную глину и снова стал понемногу вытягивать ее обратно. Вновь положил на угли. Это была уже последняя ковка.

— Ну, садись теперь на мою клячу, держи саблю и скачи против ветра!

Арыстан выбежал на улицу, с отвращением глянул на старую облезлую лошадь, гревшуюся на солнце, и поскорее перевел глаза на своего саврасого. Быстро накинул на него узду, вскочил на спину. Да, плохи дела у отца, иначе держал бы он такую клячу? На ней и шагом не пойдешь против ветра. Какой клинок получит закалку при такой «скачке»? Другое дело игривый, резвый скакун! С горячими от возбуждения глазами Арыстан схватил только что выкованную саблю и вихрем понесся вверх по улице. Так скакать он мог бесконечно. Свежий ветер рвался навстречу, сердце гулко стучало.

Когда наконец он спешился у кузницы и, замирая от радости, протянул саблю отцу, старый мастер с изумлением уставился на нее. Ветер до блеска отточил булатное лезвие. Сабля была холодной-холодной и тяжелой, как свинец. Попробовал положить ее на бороду — заскользила. Из глаз старика брызнули слезы, плечи задрожали.

— Давно я не делал такого оружия Кадыр-датке...

В знак благодарности он хлопнул сына по спине. Значит, не зря промучились над этой саблей целый день!

Закрыв на замок скрипучую дверь кузницы, отец и сын отправились домой. Во дворе копошились в песке соседские ребятишки. Шумной ватагой устремились они навстречу Арыстану, который вел на поводу своего коня.

— Это ведь дикая лошадь! Смотрите!

— А как ты поймал ее? Как поймал, ага?!

— Нет, ты только глянь на это место...

— Что-о-о?

— Посмотри, говорю, на это место!

Показывают пальцами, смеются. Ну, чертенята, шайтан бы их побрал! Не дети, а сущие дьяволы! Не успеют на свет появиться, а уже готовы конец мира приблизить.

— Эй, проваливайте прочь! Не то головы всем сверну! — прикрикнул на них Арыстан.

Дрожа на слабых ногах, из дома вышел дед, заросший длинной белой бородой. Деду скоро все сто двадцать. Приложив ладонь к глазам, он долго, прищурив-

шись, рассматривал приближающихся. А когда узнал, глаза его вдруг беспомощно замигали, задрожал подбородок. Сухая старческая рука потянулась к толстой сучковатой палке у стены. Арыстан понял, что дед зол. Привязав лошадь к большому дереву, он, невольно робея, направился к старцу.

Подождав, пока внук подойдет, дед с неожиданной силой размахнулся и ударил Арыстана. Сжав зубы, Арыстан отвернулся и застыл на месте. Отец хотел было вмешаться, но тут же получил свою долю. Видно, дед разгневался не на шутку.

— Э, проклятый! Непутевый! Шляешься где-то, а мы тут с голоду помирай, да? Ишь, ходит, лошадей выпрашивает. Подожди, свернешь себе шею. Все предки твои так умирали. И надо же, проклятому, уродиться в них! Бельмо на глазу! У-у... я тебя!..

Палка продолжала гулять по плечам и спине Арыстана, и, несмотря на свое богатырское сложение, он чуть не взвыл от боли. В глазах потемнело, показалось, трещат кости. Но пощады просить не хотел, для него это было непривычно.

— Люди оружие куют, сеют — трудятся. А этот ветрогон по степи гоняет! Не сидится ему на месте! Подожди, обженю я тебя, посажу возле бабы!

Наконец старик притомился, отбросил в сторону палку и уселся на свое обычное место, ступеньку перед дверью. Соседи, привлеченные шумом, начали расходиться, обсуждая происшедшее. Старики возмущались, считая что мало досталось Арыстану, надо бы еще! Нынешних внуков только палками и учить, иначе и про аллаха забудут! Ишь, как он стоял, когда дед лупцевал его! Ни слова не произнес. А надо бы в ноги аксакалу упасть, прощения попросить. Какое там! Ну и времена пошли!

Арыстан наконец опомнился. Пошатываясь, подошел к глиняному кувшину, напился. Сразу стало легче. Свежая вода промочила пересохшее горло. Захотелось есть. Он вспомнил, что больше суток не брал в рот ни крошки.

Крадучись, Арыстан подошел к очагу. Там было пусто. Только теперь он понял, что дед с отцом действительно голодают. Какой может быть прок в хозяйстве, когда в доме одни мужчины? Мать, умудрявшаяся сводить концы с концами, умерла еще прошлой весной, а теперь... Забыл всемогущий об этом доме! Когда не стало матери,

люди женили девяностолетнего отца на молоденькой, румяной, как вишня, девушке. Что же оставалось делать? Дед уже, как говорится, начал из ума выживать. Арыстана не уговоришь жениться. Посоветовались и подарили отцу девушку с соседней улицы.

Но куда там! Лучше бы и не было этой бабы в доме! Начались ссоры. К тому же молодая жена и варить-то не умела. То сама обожжется, то свекра обварит — тот имел привычку греться у очага. А при случае заигрывала с Арыстаном. И отец, и дед сон потеряли. А мачеха вдруг за полночь стала убегать на улицу. Поваляется на постели, поворочается — и шасть за порог, как полоумная, босая, растрепанная. Учили ее уму-разуму, как вести себя,— ничего не помогло. Пришлось выгнать из дома. Снова остались в семье одни мужчины.

С той поры у очага хозяйничал Арыстан. От постоянной возни над огнем ныла спина, болели руки. Скудного заработка отца не хватало, с трудом удавалось урывать время для охоты, чтобы в доме хоть изредка было мясо...

В мешочке из шкуры жеребенка Арыстан обнаружил горсть талкана[1]. Размочив его в воде, поставил еду перед дедом. Тот смерил внука косым взглядом и принялся за талкан. У отца зубы покрепче. Для него Арыстан принялся варить завалявшиеся в яме остатки засохшей верблюжьей ноги.

Подкрепившись немного, дед отошел. Пригладил бороду, подозвал к себе внука. Показал на коня, привязанного к дереву:

— Арыстан-ау! Это ведь тулпар[2]! Глазищи-то, глазищи как сверкают! А ноздри, а грудь! Эй, где ты его выкопал? У кого взял?

— На гребне поймал. Дикий.

— Правду говоришь?

В разговор вмешался сосед:

— Вы посмотрите, какие ноги длинные, а брюха нет! Помните, рассказывали, что войско Ескендира[3] останавливалось у Яксарты. Тогда, говорят, сбежало в степь несколько его тулпаров. Этот конь — потомок их, не иначе...

— Как бы не дьявол в образе коня!

---

[1] *Талкан* — мука из жареного ячменя.
[2] *Тулпар* — сказочный крылатый конь.
[3] *Ескендир* — Александр Македонский.

— Бросьте! Точь-в-точь тулпар наших предков! Назовем его Сумбиле[1]...

— За дичью съездить, что ли...— начал Арыстан. Ему не терпелось покрасоваться на своем коне.

Отец поддержал:

— Возьми мой лук и стрелы. Все равно без дела висят, зря сгниют. Врага-то давно город не видал... Ай, Арыстан, ты в низину не лезь. Тигры загрызут. Лучше по гребню попромышляй, авось кулана подстрелишь. Да стрелы, смотри, не трать попусту. Пригодятся еще. Не пеший ведь, и догнать можешь.

2

Арыстан не пошел за куланом.

Ведя в поводу Сумбиле, отправился к центру города, надеясь встретить там датку Кадыра.

На центральных улицах было настоящее воинское царство. Тут и там возвышались горы сложенных друг на друга седел, джигиты — одни пешие, другие на лошадях — тренировались в метании копья, скрещивали сабли с завязанными глазами. А сколько здесь было метких стрелков из лука, что первой стрелой попадают в глаз дикой козы! Джигиты, завидев Арыстана, окружили коня, стали рассматривать его, изумленно цокая языками. Жеребец забеспокоился, захрапел, закрутился на месте. Восхищение джигитов польстило Арыстану и в то же время удивило: можно подумать, будто эти бывалые сарбазы за всю свою жизнь не встречались с лошадьми...

В отдалении Арыстан увидел шелковый шатер Кадыр-датки. Он привязал Сумбиле к копью, воткнутому в землю, и направился к шатру. Поблизости никого не было, только у треноги с дымящимися угольями сидел стражник, низко свесив голову. Видно, принял крепкую дозу анаши[2] и задремал.

Арыстан легко перепрыгнул через невысокий глиняный дувал и вошел в шатер. На нарах, покрытых коврами, спал Кадыр.

В бороде его играл солнечный луч, пробившийся через отверстие в потолке, и было видно, как пульсирует

[1] *Сумбиле* — архаизм, буквально: летящий как стрела.
[2] *Анаша* — наркотик, приготовленный из семян конопли.

на виске у датки голубая жилка. Арыстан замер на месте, не решаясь нарушить отдых полководца.

Вдруг в шатер ворвались два воина, наверное, это были охранники. Они с проклятиями набросились на Арыстана, не дав ему произнести ни слова, и поволокли из шатра. Арыстан пытался оправдываться: «Да что вы говорите — тайком?! Просто я прыгнул через дувал! Аллах свидетель — у меня дурной мысли не было! А коли думаете так, отрубите мне голову. Что, мне жить надоело — датке Кадыру смерти желать? Просто захотел посмотреть, что он делает...»

Сарбазы, не слушая и проклиная всех предков юноши до седьмого колена, тащили его от шатра, при этом они так орали, что Арыстану казалось, будто дьяволы очутились вдруг рядом с ним. Никогда еще джигиту не доводилось слышать столько бранных слов. Мало того, охранники стали угрожать ему своими клинками. Тут уж Арыстан не выдержал и, задыхаясь от злости, закричал:

— И вас еще называют сарбазами! Да что вы делаете, кроме того, что с утра до вечера таскаетесь за девушками? А если бы на моем месте действительно оказался враг? Убил бы преспокойно датку Кадыра и ушел восвояси, перепрыгнув через дувал. Ишь, разошлись! Сколько шуму подняли! Разленились совсем от безделья! Жиром заплыли! Куда вам через дувал, вы и через дверь-то едва пройдете! Трусы бестолковые! Вам бы только браниться! Идите вон к своему товарищу, поспите вместе с ним! А я сам поговорю с даткой!

Никто не заметил, как проснулся от шума датка, вышел из шатра и, стоя невдалеке, слушал перебранку. Подойдя поближе, датка положил тяжелую руку на плечо Арыстана. Тот обернулся и вздрогнул. Лицо Кадыра было сумрачным, злым. Темные брови нависли над глазами. Щеки заросли густой, но не длинной бородой. Грудь в доспехах — полководец, как всегда, в боевой готовности.

— Ты, малец, зачем без разрешения проник в лагерь? Да еще через дувал... Или ты думал, что здесь базар? Смотрите, какой шустрый... Лучших моих воинов оскорбляет!

Датка внимательно оглядел Арыстана, его по-юношески стройное, крепко сложенное тело, щеки, тронутые первым пушком. Удлиненный овал лица, нос с горбинкой, видно, напомнили ему кого-то. Еще юношей знавал

он мужчину с похожим лицом. В памяти его он запечатлелся стоящим у горна и раздувающим мехи. Помнится, лучшие клинки выковывал этот человек для воинов Отрара.

— Ах, ты не сын ли кузнеца Шамнля?! Да? Ну вот, совсем джигитом стал. Если в отца, сердце у тебя должно быть отчаянное. Случаем, не в сарбазы ли решил податься, а?

Заикаясь от волнения, Арыстан сказал, зачем пришел.

— Хорошо. Это ты верно придумал. Я доволен тобой, мыслишь как мужчина. Конь-то у тебя есть? В степи, говоришь, поймал? Может, тулпар? Ну, тогда тебе повезло. Эй, Самурык, выдай этому мальчику одежду, оружие... да побыстрее...

Арыстан облачился в белые сапоги из шкуры жеребенка, брюки, расшитые позументом, фартук, прикрывающий колени. Поверх фартука он надел узкую кольчугу в девять колец. Туго затянул сыромятный ремень с саблей на боку — грудь стала широкой, как раскрытые двери. Шлем тоже оказался к лицу.

— Еще что? Говори. Да, караван... Слышал я, что караванбаши Омар — именитый человек, богатые дары мне привез. Говоришь, много про укрепления спрашивал?

Кадыр наморщил лоб, припоминая. Да, видел он этот караван возле Кумбез-сарая. У всех караванщиков полы чапанов подвернуты за пояс. В руках посохи с колокольчиками. Лица загорелые дочерна. Хитрецы, по глазам видно.

— Ну иди, малец,— обратился он к Арыстану,— да только недалеко, можешь понадобиться.

Датка нахмурился. А что если с этим караваном в город проникли лазутчики Чингисхана, воинственного восточного кагана[1], о котором ходят самые невероятные слухи?

Расслабленной походкой, покачиваясь, Кадыр вышел на улицу. Стоял обычный летний день. Желтоватое солнце палило, раскаленная степь дышала зноем. Все кругом было объято тишиной, жизнь словно замерла. Кадыру подвели пестроногого жеребца. Он вскочил в седло и пустил коня рысью.

---

[1] *Каган* — хан.

Когда Кадыр-датка остановился у Кумбез-сарая, слуги всполошились, засуетились. Спешившись, он передал коня мальчику и поднялся по мраморным ступенькам во дворец. Здесь было прохладно, под ногами мягко пружинил ворсистый ковер. Из круглого фонтана в центре тонкими струйками била вода.

Очутившись в родных стенах, Кадыр почувствовал себя увереннее. Широкий купол, раскинувшийся над головой, навевал спокойствие. Он так высок и светел, что невозможно долго смотреть на него.

Бесшумно распахнулась створчатая дверь в правой стене. В этой части дворца Кадыр принимал иноземных торговцев, послов и гонцов. Здесь на всем лежала печать особой торжественности. В большое круглое окно обильно вливался солнечный свет. Вдоль стен стояли изящные, украшенные резьбой стулья. На почетном месте возвышался трон датки, по форме напоминающий седло,— средоточие власти кипчаков.

Двери растворились, появился старый визирь, такой смуглый, что Кадыру всегда казалось, будто это не старик, а саксаул с оплавленной в огне корой. Постоянное уединение в многолюдном дворце наложило отпечаток на старика — он больше думал о потустороннем мире, чем о земной жизни.

Визирь чуть склонился и сказал:

— Да продлит аллах твое царствование, Кадыр-датка! Получившие ваше согласие на прием по важным, неотложным делам купцы Хазарии и путешественники из Киевского государства; от монголов — почтенный бахадур[1] Чингисхана посыльный Усун; от Хорезма — черный посол с черными намерениями,— все они ждут вашего повеления войти в Салтанат-сарай[2].

Пышный Салтанат-сарай готов для приема. Первыми сюда войдут купцы, проделавшие путь от Хазарии до Сарайшика в тринадцать дней и в пятьдесят дней — из Сарайшика до Отрара.

Кадыр позвал слугу. Тот принес правителю парадные одежды. Стянул с него розовый чапан и облачил в легкий, просторный халат, расшитый золотыми узорами и украшенный яхонтами. Такой халат свидетельствовал о ханской власти. Как всегда, Кадыру стало не по себе,

[1] *Бахадур* — придворный высокого сана.
[2] *Салтанат-сарай* — дворец церемоний и торжеств.

как только он снял воинскую одежду. Он уселся на трон и дал знак, что готов к приему. У ног владыки, на круглой деревянной подставке, застыл, опустившись на колени, Арыстан, по распоряжению датки приведенный во дворец. В Салтанат-сарае воцарилась мертвая тишина.

Без звука распахнулись огромные чугунные двери, пропуская медленно входивших гостей из далекой Хазарии, с берегов Мраморного моря,— людей, чьи взоры не могли насытить ни простор степей, ни блеск золота. Большинство гостей были купцами и путешественниками. Войдя, все они по восточному обычаю застыли с поклоном, скрестив руки на груди.

От долгого и тяжкого пути лица у гостей потемнели, осунулись. Видно, безбрежная кипчакская степь крепко вымотала, изнурила их.

— Поклон падишаху великой степи!

— Поклон тебе, Кадыр-датка, владыка земли!

— Проходите, дорогие гости!

Гости расселись полукругом, и тогда Кадыр заметил, что большинство из них — пожилые, много повидавшие люди. Они держались спокойно, невозмутимо. Только один, самый молодой, светловолосый, сидевший недалеко от выхода, восхищенно поблескивал глазами, не в силах скрыть, что подобное пышное великолепие он видит впервые. Нагнувшись, он разглядывал мозаику на полу, яркие, радующие глаз плитки в форме месяца. Старший караванщик заметил откровенное любопытство юноши и гневно стрельнул в него глазами. Это недостойно, как бы говорил его строгий взгляд, пялить глаза в чужом месте, да еще трогать руками.

Пользуясь наступившей паузой, Кадыр подозвал к себе непревзойденного знатока языков, прославленного ученого из Жаухара — Исмаила[1]. Исмаил служил во дворце переписчиком книг большой библиотеки. А во время приема иноземных гостей он неизменно сидел по правую руку датки и переводил их речи на кипчакский язык. Долгие годы провел Исмаил над рукописями в подвалах библиотеки и потому был бледен, и бородой оброс густо, и казался пожилым, хотя ему едва минуло тридцать.

Кадыр медленно обвел гостей взглядом и обратился

---

[1] *Исмаил аль-Жаухари* — кипчакский лингвист, автор «Книги по усовершенствованию языка».

к рыжему старику — старшему в караване. Спросил, кто оии, из какой страны и рода. Исманл собрался было заговорить на языке Арнстотеля, но прнсмотрелся к гостям, немиого подумал и перевел вопрос Кадыра по-славяискн. Точно угадал! Лица купцов потеплелн,— значнт, понялн вопрос хаиа.

И старший караваиа начал речь:

— Великий владыка! Перед тобой сидят честные купцы киязя Мстислава Романовича Кневского, потомка славиых Моиомаховичей, благодетеля Киевского государства, а также купцы царя Хазарни. Прн иас имеются грамоты, подтверждающие то, что я сейчас сказал.

Исмаил перевел.

— Какой товар?

— Золотые и серебряные украшеиия. Шкурки соболя н куиицы. Разиые изделия нз рыбьих костей. Редкие, дорогне кинги.

— Куда путь держите?

— На восток. Хотелн бы пробраться дальше Моголистаиа.

Кадыр нахмурился. Рыжий старик сделал паузу, потом продолжил:

— Если на то будет твоя воля, хотим взять у тебя проводинка н следовать дальше.

Кадыр еще больше помрачиел, задумался. Купцы, должно быть, по-своему поияли молчание датки Отрара.

— Для вас есть особый дар!— хором заверили они.

Исмаил перевел и ждал теперь, что скажет повелитель.

— Восточиому кагаиу ие купеческие караваны сейчас иужны, а войско... Не будет вам удачи...

— Наш повелитель, ие все мы торговцы. Молодые хотят увидеть мир н чужеземные страиы. Среди иас иемало путешествеиииков.

Кадыру совсем ие хотелось сейчас ломать голову над судьбой караваиа. К тому же ои зиал, что эти купцы все равио иичего ие поймут в отиошеииях между государством моиголов и Хорезмом, и потому не стал вдаваться в подробиости. Ответил коротко:

— Цеиные киpermitted книги раскупят иа базарах Отрара. Восточиому кагаиу они совершеино не нужиы. Остальиой товар можете продать в городах Испиджаб и Тараз.

Ои задержал дыхаиие, задумчиво погладил бороду.

Предоставил возможность гостям все обстоятельно обдумать.

Рыжий старик, старший каравана, глухо забубнил о чем-то со своими спутниками. Исмаил прислушался: «Что это? Выходит, Шелковый путь закрыт?..»—«Это безумие — свернуть с намеченной дороги...»—«Не-е-ет... Повернуть караван с полпути мы не можем...» Особенно горячо возражал юноша, сидевший ближе к выходу.

Некоторые заколебались: пока не поздно, надо убираться подобру-поздорову. Кто знает, что ждет караван впереди. Другие были полны решимости любой ценой продолжить путь.

Разговоры их прервал Кадыр. Сказал — как припечатал:

— Дешт-и-Кипчаку, народу Отрара, нужен мир. Мы не можем позволить, чтобы на нашей земле пролилась кровь. Не можем обеспечить вам безопасность. Прямая дорога для вас закрыта. Позволяю продвигаться только по Ханской дороге на Хорезм, дальше пойдете через перевалы горы Беркут!

— Нет ничего на свете печальнее и зловещей, чем эти степи,— сказал рыжий старик.

Совсем приуныли купцы Мстислава Романовича. Если идти через гору Беркут, дорога удлинится вдвое. Они снова стали умолять пустить их по Шелковому пути. По Ханской дороге пусть едут ханы. А их караван мирный, в случае чего — преподнесут драгоценные дары. Намекнули, что в караване едет красотка из Киберии с тонким станом и глазами серны.

Кадыр не отменил своих слов. Ради прихоти этих беспокойных людей не станет он рисковать тишиной и покоем государства. Он подумал о воинной чести кипчаков. Подумал о том, что вместе с этим ползущим, как змея, караваном могут просочиться нежелательные сведения об Отраре. Да и самому каравану не поздоровится, если он встретится с воинственным войском восточного кагана. И потому был вынужден отказать дорогим гостям, несмотря на все их мольбы.

— Разрешаю вам осмотреть город. Готов выполнить любое другое желание. Пусть ваши ценные книги останутся в Отраре. Дадим вам за них хорошую цену, оплатим и за провоз. Провожатым вашим назначаю молодого сарбаза Арыстана.

И в знак того, что аудиенция окончена, Кадыр повер-

нулся к сидевшему ниже Арыстану. Повел подбородком,— дескать, проводи гостей и выкупи у них книги.

Арыстан этого только и ждал, глаза его заблестели, он живо вскочил с места. За ним поднялись и гости, медленной цепочкой потянулись к выходу.

Много повидавшие на своем веку осторожные купцы примирились с решением датки. Молодые же путешественники были явно разочарованы. Особенно возмущался светловолосый юноша. Он недовольно бурчал себе под нос: «Какой жестокий повелитель. Что бы он потерял — разреши нам ехать по Шелковому пути? И кому нужна пустая дорога, без караванов?! На серую пыль, что ли, молиться?..»

Вскоре снова неслышно растворились чугунные двери, и вновь появился старик-визирь в круглой тюбетейке.

— Почтенный бахадур Чингисхана посыльный Усун умоляет о приеме, мой властелин!— послышался тихий, надтреснутый голос старика.

Поджарый, как точильный брусок, юркий джигит вошел в зал и решительно направился прямо к трону.

«Это еще что такое?»— поморщился Кадыр и — делать нечего,— съеживаясь, подал руку. Тот уцепился за нее и стал трясти, словно и не собираясь отпускать.

«О создатель, впервые вижу такого наглеца, который врывается, как напаскудившая гончая, и лезет за руку здороваться с ханом!.. Какой срам, теперь и на Исмаила накинулся».

От возмущения Кадыр схватился за ворот, расстегнул верхнюю пуговицу. А чернолицый наглец устроился прямо против него и начал речь, бойко говоря на кипчакском языке.

— В здравии ли ваш скот и семья, почтенный?

«Можно подумать, что я его добрый приятель-сосед».

— Слава аллаху.

— Как здоровье ваших деток?

«Разговаривает, будто любимый зять, приехавший погостить».

— Господи, сколько воды утекло с тех пор, как я видел Отрар! Крепостные стены стали выше, каменных домов — больше. Глаза разбегаются! Будто это сказочный Шаш или Шам. А сколько сарбазов-воинов с голубыми копьями в руках! А сколько девушек, похожих на молодых волчиц! Пах-пах...

Может быть, он еще не скоро бы остановился, да Кадыр нахмурился. О деле спросил.

— Зовут меня Усуном. Я верный нукер восточного кагана Чингисхана. Приехал узнать по-простому, породственному о вашем житье-бытье. И привез вам две просьбы всемогущего кагана. Первая из них: каган собирается в поход против северного народа Сабыр. Для осуществления этого священного желания каган просит, чтобы вы отдали приказ кипчакам на Иртыше и возле Улытау не седлать боевых коней. В награду вы получите большой золотой слиток с копытце стригунка. И вторая просьба: снова открыть Шелковый путь, свободно пустить по нему все караваны. За такую милость каган дарит вам шесть красавиц-тангуток.

Тоскливые мысли охватили Кадыра. Он с жалостью подумал о сабырцах, чьи степи будут обагрены кровью. Представил, как стрелы и пики затмят солнце, как мужчин привяжут к лошадиным хвостам, а женщин сделают рабынями и утехой кагановской орды. Где тот хан, с которым можно было бы объединиться и вместе выступить против монголов? Пока же он в ту страну за тридевять земель пошлет своего человека, чтобы сговориться, может, и сам Отрар будет сметен с лица земли?!

Глубоко, тяжко задумался Кадыр. Даже в горле пересохло. Приказал подать холодного вина. Девушки с муравьиными талиями внесли кувшины. Сладким ароматом наполнился дворец. В большие бокалы разлили пенистое вино, поставили перед каждым. Этот напиток делали сунаки, обитавшие вдоль реки Инжу, из арбузного сока. Мягкий напиток, приятный, освежающий и утоляющий жажду.

— Уай, убери! Брюхо вспучит,— замахал руками монгольский посланник.— Мне бы лучше свежего кобыльего молочка...

Ему принесли молоко, и он стал жадно глотать, торопясь и булькая. Кадыр, утолив жажду, начал речь:

— Не нужно мне ни золотого слитка, ни шести тангуток. Отказываюсь! И кагану твоему тоже ставлю два условия. Условие на условие, клятва за клятву. Первое — пусть даст обещание, что не пойдет против народа кипчакского. И пусть назовет заложника на случай клятвопреступления. Нарушит слово — я сам этому заложнику перережу горло. Второе условие — Шелковый путь для караванов с тайными недругами, у которых за пазухой

нож,— закрыт; для честиых купцов, заиимающихся только торговлей,— открыт.

На мгновеиие в Салтаиат-сарае воцарилась глухая тишина. В животе Усуиа забурчало. Ои заерзал, уставился в землю, надолго задумался.

— Ну, что ж... На том решим.

— Условие на условие, клятва за клятву!— повторил датка.— В зиак согласия коситесь грудью груди.

Из правого угла поднялся Исмаил, подошел к послу, коснулся грудью его груди. Потом оба уселись на свои места.

— А теперь иазови заложиика!— потребовал Кадыр.

— Да решит это всемогущий кагаи,— ответил послаиник.

На том и остаиовились. Кадыр прикажет своим степиым сородичам, чтобы оии ие седлали боевых коней против моиголов. Этим самым ои обеспечит мир своему иароду. Чингисхан со своей стороны обязуется иикогда ие трогать Отрар. Датка откроет Шелковый путь, а восточиый кагаи обязуется не пускать по иему караваиов с тайиыми соглядатаями, сыщиками, всякими лихоимцами. Таков уговор.

Никто тогда еще ие зиал, что пройдет совсем немиого времеии — и клятвеииое решеиие, заключеииое в Салтанат-сарае, лопиет по швам, как шитое гнилыми нитками, а сами стороиы, которые иедавно вели переговоры и в зиак своей искреииости соприкасались грудью, будут посылать друг в друга стрелы. Никто не зиал и не думал об этом...

Моигол Усуи подиялся с места. Вежливо простился. В последиий раз отвесил поклон и широкими шагами вышел из дворца.

— Наставиик и пестуи сыиа великого падишаха хорезмского Мухамедхана, посол Шихаб ад-дии Мухаммед сыи Ахмед аль-Несеви из города Ургеича просит разрешения войти с поклоиом к тебе, мой повелитель!— торжествеиио провозгласил визирь и поклоиился так иизко, что тюбетейка едва ие слетела с его макушки.

Это озиачало, что гость польстил ему, и старик остался очеиь доволеи. Кадыр соединил ладоии. «Разрешаю»,— говорил его жест. В третий раз бесшумио распахиулись чугуииые двери. В проеме показался высокий джигит в громадиой чалме и в длииином, до пола, чапаие.

Лицом пригож. Горящими глазами окинул дворец. По-восточному приложил руки к груди, поклонился.

— О могучий властитель кипчаков! Да будет твое копье ключом от вселенной, да будет мир гуламом при дверях твоего дворца, судьба пусть будет при твоем стремени, а рок — твоим другом!

Сказав это, он сделал паузу.

— Мархаба, гулама, дорогой посол Ахмед!— ответил Кадыр и показал гостю место справа от себя. Он не посадил его на каменные подставки в виде седла, на которых располагались обычные послы, а усадил рядом, выразив особый почет. Не стал и о деле сразу расспрашивать. Дал гостю передохнуть, освоиться. Потребовал прохладного кумыса и дыню, а, угощая гостя, сам отведал первый.

В просторном зале поплыли запахи терпкого кобыльего молока и сладкой рассыпчатой дыни. На душе повеселело. Утомленный дорогой путник приободрился.

Наконец Кадыр спросил о деле.

— Я готов ответить на твои вопросы, о могущественный властелин земли кипчаков. Давным-давно, тысячу лет назад, река Инжу имела другое русло. Тогда Инжу была собственностью бека Хорезма и текла в его владениях. А в Отраре жил один дехканин по имени Анет-баба. Однажды Анет-баба обратился к беку Хорезма с просьбой: «Дай мне один рукав реки». Умолял, уговаривал. На судьбу жаловался. Бек оказался человеком уступчивым, добрым. Внял мольбе. А место, откуда дехканин хотел отвести арык, лежало высоко. Дальше тянулась низина и овраг. Бек не знал этого. Анет-баба собрал много народу, начал рыть арык. И пробил высоченный, длинный холм. Вода пошла по арыку, потом повернула в низину. Бек готов был кусать локти, но сколько б ни старался, а перекрыть течение уже не мог. Через десять-пятнадцать лет река проложила себе новое русло. Старое же превратилось в илистое болото и солончаки... Те солончаки существуют и поныне.

— Эта легенда давно известна мне,— заметил Кадыр.

— Таким образом, оказывается, река Инжу входит во владения хорезмского хана. Вода ее принадлежит ему.

— Реки первые делом принадлежат всевышнему, а потом уже тому народу, по земле которого протекают.

— Теперь из Инжу пьют и поливают свои поля и сады город Отрар и еще сорок поселений, относящнхся к его владениям. Годовой расход воды на каждую душу, если подсчитать, составляет один динар и три с половиной дирхема. Если прикннуть, что в каждом городе в среднем живет сорок ок[1] жителей,— конечно, мой повелитель хан не намерен обкладывать налогом отдельных земледельцев в поселениях, что самовольно пользуются водой, отнюдь нет,— сорок ок умножнть на однн днцар и три с половиной днрхема, это будет... это будет сорок три ок золотых динаров, или семнадцать караванов зерна. Ежегодно выплачнвая этот небольшой налог за воду, вы бы получнли благословенне самаркандского муллы...

Кадыр перебил, и голос его прозвучал резко:

— Вот так прндумал! А вдруг Мухаммед скажет: «Ветер подул с нашей стороны»,— и за воздух решит брать налог, а?!

— Нет, вы так не говорите,— невозмутимо продолжал посол.— Еслн все семнадцать караванов будут со стороны отрарского хана, то, так и быть, дополнительного налога за подвоз требовать не будем. Если же подвоз осуществится за счет моего властелина, то справедлнво платить за каждый караван еще по трннадцать динаров.

— Более постыдного и прндумать нельзя! Пока мы будем заниматься мелочными подсчетами и дрожать из-за каждого дирхема, нагрянет час возмездня, и черная туча с востока сметет нас. И захватит ваши динары вместе с караванами и со всеми потрохами.

— Не говорите так.

— Но коли мы все-такн началн этот недостойный разговор, постыдный для соседних государств, то должен сказать: дехканин Анет-баба отдал в распоряжение бека Хорезма огромную казну и лншь после этого получнл от него разрешенне отвести арык.

Посол будто был готов к этим словам. Ннчуть не смутившись, продолжал все тем же ровным, бесстрастным голосом:

— Налог не взыщем — спор не решим.

Кадыр принял непронныцаемо-холодный вид. Должно быть, решил про себя не связываться с этим дотошным, въедливым послом прндурковатого хана. Тогда Исмаил, сидевший рядом, попросил у повелнтеля разрешення по-

[1] *Ок* — сотня.

говорить с послом. Повелитель движением бровей дал согласие.

Взгляд Кадыра устремился вверх, на проем в середине купола. Будто смотрел он далеко-далеко, куда способна долететь одна лишь мысль. Там, в этом далеком, искал он лик Судьбы, а на нем — следы своего народа, следы славных его сынов. Но увидел лишь бесконечные барханы, а на гребнях песчаных волн — только щепки и осколки...

Спор между Исмаилом и послом Ахмедом, видно, шел к концу. Голоса понемногу утихали.

— Сохранилась расписка бека, в которой он признает, что получил громадное богатство от Аиет-бабы,— говорил Исмаил.

— С тех пор море воды утекло. А мой господин не требует платы за прошлые годы. Он согласен взимать налог с нынешнего года,— возражал посол.

— В сто восьмой суре Корана сказано: «Родник рая — владенье божье». Если каждый грешный начнет присваивать себе воду на земле, разве это будет не кощунство над священной книгой?

Посол растерялся, не нашел, что возразить. Насупившись, он молчаливо сидел, разозленный неудачей. А ведь как легко можно было бы приумножить казну своего повелителя с помощью старой легенды!..

Когда последний посетитель наконец удалился, Кадыр с удовольствием сбросил с себя парадную одежду и облачился в походную. Он вышел из дворца и велел распаковать один из тюков с книгами, доставленных караваном. Это были древние греческие рукописи в тяжелых позолоченных переплетах из сыромятной кожи — целая кладовая мыслей знаменитых ученых. Пожелтевшие страницы хранили множество расчетов, чертежей. Некоторые из них показались знакомыми Кадыру. Ученый из Отрара — Фараби переводил эти труды на арабский язык. Так земля Аристотеля передавала свой бесценный дар родине Фараби.

Кадыру на мгновение показалось, что книги эти оживили души двух умерших философов, Аристотеля и Фараби, будто встретились они воочию на страницах этих древних рукописей. Фараби собирал людскую мудрость по крупицам, привозил ученые книги на родную землю, переводил их, учил по ним детей в медресе. Два с половиной века не стерли в своем неумолимом беге память

и старания Фараби — книги сами пришли на его родину...

Кадыр-датка позвал Самурыка и велел принести наряд дервиша. Переоделся, повязал голову дырявой чалмой, обмотал вокруг пояса веревку, свитую из верблюжьего волоса, взял в руки белый посох. Сгорбившись и опираясь на посох, направился к базару, в центр города. «Алла, ах! Алла, ах!»— охал и причитал он подобно дервишам.

Следом за Кадыром, ие упуская его из виду, шел Арыстан, похожий на обычного зеваку, каких много на улицах Отрара.

Солнце поднялось еще не высоко над горизонтом, а горячий ветер уже жадно лизал город. По улицам, свесив языки, бегали дворовые собаки, грязные оборванные ребятишки катались в пыли. В чайхане, мимо которой шел датка, сидели несколько торговцев и тяиули анашу. Издалека доиеслась тоскливая мелодия иамаза, но тут же ее заглушила песия — это, навериое, из ближнего медресе. Датка прибавил шагу.

Базар был полои людей, покупатели и просто зеваки толпились перед каждым торговцем. Сновали подозрительного вида мужчины с широкими поясами из красиой материи. Эти тоже торгуют, их «товар» молоденькие девушки.

В правом крыле базара разместился вчерашний караваи. Верблюдов сдали местному пастуху, тот увел их за город. Торговцев из этого каравана — насметное количество. Как голодные волки, рыскают они по базару, ища выгодных покупателей. Тюки ровными рядами разложены на прилавках. Красиые, зеленые, желтые шелка переходят из рук в руки. Датке хотелось увидеть Омара, но сколько он ии спрашивал, никто не мог ответить, где караванбаши.

Стороннему наблюдателю могло показаться, что люди здесь заняты только одним — куплей-продажей. Лица у все деловые, озабоченные. Но иаметанный глаз Кадыра подметил кое-что необычное, подозрительное.

Вот какой-то торговец изъясняется с покупателями жестами. Но стоило подойти другому — у него появился язык. И вообще в этом конце базара торговля идет иеобычайно тихо — никаких споров, крика, шума. Торговцы о чем-то шепчутся между собой, сидя за прилавками.

Кадыр подошел поближе к одиой такой компании.

Рядом лежал тюк, из которого торчал кусок китайского шелка. Датка потрогал тюк, неожиданно рука его наткнулась на что-то твердое. Хозяин тюка заметил, видно, удивление, скользнувшее по лицу дервиша, и заорал что есть мочи, но было уже поздно. Кадыр вытащил твердый предмет, заинтересовавший его. Это была сабля. Тяжелая булатная сабля, какие куют в кузницах Отрара. Кругом собрался народ, поднялся гвалт.

К месту происшествия подоспел хозяин базара. Брызгая слюной, накинулся на дервиша:

— Что тебе за дело до чужого товара? Сабля, ну и что? Может, он ее купил! Проваливай, не поднимай скандала! И что за черт тебя носит, когда на ногах едва стоишь? Подыхать пора, а туда же! Суется куда не надо! Мотай-мотай, не мешай торговать!

Кадыр-датка побагровел от гнева, едва сдержался. Отступив, скрылся в толпе. Арыстан, шедший следом, направился к торговцу, у которого нашли саблю, и взял его под арест.

Правитель долго еще не мог прийти в себя. Стало быть, думал он, у врага есть помощники в моем городе. Ведь не будь предателей, подобных этому торгашу, враг вряд ли осмелился бы пойти на город. Бесчестные собаки! Там, где ступит ваша нога, и трава расти не будет! И что за обиды претерпели они от родного города, что предают его чужеземцам?!

Он знал еще одно место, за которым следовало понаблюдать. Это самая большая в городе гуртхана. В ней выступают прекрасные танцовщицы, их обольстительные улыбки опустошили карман не одного торгаша. Все иноземные гости обязательно бывают в этой гуртхане. И сейчас здесь было полно посетителей, возбужденных, одурманенных созерцанием женского тела. Разговоры, восклицания, смех... На круглую площадку, расположенную в центре, грациозно извиваясь под музыку, выплыла арабская танцовщица. Все замерли, устремив взгляды на девушку, истекая слюной от вожделения.

Кадыр-датка пристроился на крайней ступеньке. Тут же к нему подскочил разносчик с глиняным кувшином в руках. Тяжело опустил перед ним сосуд, наполненный вином. Но не ушел, как это делал всегда с важными посетителями, а плюхнулся напротив, вызывающе подперев бока руками.

— С востока идешь?— спросил разносчик нараспев.

У Кадыра дрогнуло в груди.
— Оттуда,— небрежно ответил он, махнув рукой.
— Гм... гм... гм...— произнес разносчик, мигом сорвался с места, куда-то исчез и появился снова с большой чалмой на голове. Налил вина дервишу и себе. Некоторое время сидели молча, глотая вино. У разносчика заметно покраснели ноздри, пожелтели глаза.
— Каково войско у кагана?— наконец нарушил он молчание.
— Двести леков[1].
— Апырмай, а!.. А знамя у них какое?
— Из конского хвоста.
— Апырмай, а!..
Теперь вопросы стал задавать Кадыр, невозмутимо потягивая вино.
— А каково войско у Кадыра?
— Тридцать леков.
— Апырмай, а?! Знамя какое у безбожников?
— Знамени нет у этих собак. Дьяволы сущие, и все.
— Апырмай, а?!
От разносчика разило вином. Он, казалось, забыл обо всем на свете, погрузился в раздумье. Пьян был действительно или притворялся, но затянул вдруг тоскливую мелодию. Потом начал рассказывать о себе. Кипчаки когда-то взяли его в плен, превратили в раба. Родина его далеко, в голой плоской степи. Был у него быстрый, как ветер, иноходец. Однажды, когда играл в родном ауле в асыки, враг выкрал у него коня. Он отправился на поиски. Кипчаки, залегшие под холмом, схватили его, скрутили руки. Затем напали на аул, разгромили его, угнали скот. Увезли, привязав к седлу, и его. Так очутился он в Отраре. И вот уже сколько лет живет здесь, а все не может привыкнуть к городу. Не принимает его душа. Городская жизнь — для людей с испорченной кровью. Читают греховные книги — какое кощунство! А дворец? Где это слыхано, чтобы дворцы возводили из кирпича? Почему бы не жить в шатрах в вольной степи? Нет, добром это не кончится, загубит жителей этот город. Будут есть песок. Отрар — выдумка дьяволов...

Расчувствовавшись, он хотел было еще угостить дервиша вином. Но, видно, вспомнил о чем-то. Покачиваясь, ушел, вернулся, ведя за собой закутанную женщину. Она

[1] *Лек* — тысяча.

смущенно встала к нему боком. Корявой рукой разносчик сорвал покрывало с лица женщины. Ее нежный, не тронутый солнцем подбородок дрожал, легкий румянец стыдливо набежал на щеки.

— Только с такими красотками я отвожу душу!— начал было похваляться служитель заведения, но Кадыр не выдержал. Злость кипела в нем. В мгновение ока схватил наглеца за ворот и, размахнувшись, ударил... Люди встрепенулись, зашумели. Возбужденные вином мужчины ждали лишь повода для разрядки. Все повскакивали с мест, началась рукопашная.

Внезапно резкий свист бича прорезал воздух. Испуганные буяны бросились врассыпную, потом, опомнившись, стали рассаживаться по своим местам. Бич продолжал кружить над головами. Некоторые, пьяно вскрикивая, почесывали места, которых коснулась плеть. Вскоре воцарился порядок. Мужчины снова принялись за вино. Кадыр подобрал полы чапана, поправил чалму и направился к выходу. В дверях столкнулся с джигитом, в руках которого был бич. Легкой, стремительной походкой он вышел следом за Кадыром. Датке понравился этот стройный молодой джигит. «Настоящий степной кипчак!»— подумал он.

— Желаю тебе достичь своей цели, сынок! Выручил старшего брата из беды!

— Ничего. Не в таких драках бывал!

— Уж не гроза ли ты отрарских драчунов?

— Да не-ет... Степной казах я. На базар приехал.

— Как зовут тебя?

— Сарымсак.

Попрощавшись с Сарымсаком, Кадыр повернул направо, чтобы зайти в медресе.

В городе тихо. На улицах — ни души. Солнечный свет неумолимо слизывает тени. Кирпичные домики окутаны дремой. И все же город даже в эти знойные полдневные часы живет своей обычной трудовой жизнью, незаметной для постороннего глаза.

Кадыра мучила жажда. Мимо прошла женщина с кувшином. Кадыр ускорил шаг и нагнал ее.

— Мархаба, очень хочется пить,— произнес он.

Женщина обернулась и, отведя край покрывала, закрывавшего лицо, игриво взглянула на дервиша. Под алой шалью Кадыр успел разглядеть пухлые губы, неж-

ное красное личико. Изогнув изящный стан, она протянула ему кувшин. Мелькнула ослепительно белая ручка.

Прохладная вода утолила жажду, придала сил. Датка вернул кувшин женщине и пошел прочь.

Поднимаясь по мраморным ступеням в медресе, Кадыр думал о том, что по этим ступеням два с половиной века назад шагал Фараби. Они все те же, время не выветрило их. Рассказывают, что и медресе это выстроил сам Фараби. Обучал и воспитывал в нем своих учеников. Тогда медресе было единственным в городе, теперь их десять, но это — самое большое. Кадыр и сам получил образование в этом медресе и теперь при всяком удобном случае заходил сюда и всегда возвращался взбодренным, помолодевшим.

Вокруг медресе ровным кругом выстроились темные столбы, сложенные из жженого кирпича. Сверху их соединяет огромный, величиной с большую кипчакскую юрту, купол. Краска на нем не потускнела с годами, четко видны узоры в виде полумесяца и колец. На некоторых столбах рельефно выделяются витые рога архара и четкие ромбики. Каждый кирпич, вложенный в стену, смотрится красиво — об этом позаботились те, кто строил это прекрасное здание. Потолок в медресе очень высокий, он создает ощущение простора в помещении. В куполе крохотные, с наперсток, отверстия. Через них, рассказывают, Фараби по ночам разглядывал звезды в подзорную трубу.

Купол причудливо разрисован и с внутренней стороны. Много всяких изображений можно увидеть на его сводах. Вот сарбаз, натягивающий лук; враг, беспомощно уцепившийся за конскую гриву. А вот сцены из жизни Отрара... Гора, на фоне которой несутся куланы...

Прислонившись спиной к столбу, Кадыр долго разглядывал знакомые с детских лет росписи. Потом подошел к двери одной из комнат, из-за нее доносился монотонный голос учителя, там шли занятия.

На главном столбе был вырезан портрет Фараби. В молодости датка частенько останавливался перед этим портретом. Высокий лоб, задумчивые глаза. Удлиненный овал лица, небольшая серебристая бородка. Легкая улыбка, застывшая на тонких губах...

Кадыр прикрыл глаза и увидел Фараби как живого. Правая височная кость чуть скошена, выдается вперед. Левая, наоборот, вогнута. Это можно заметить, когда

смотришь иа портрет прямо. Чалма, правда, прикрывает особеииости черепа, но не иастолько, чтобы совсем сгладить нх. Есть любители большой чалмы. Фараби не отиосился к ним. Чалма его всегда была тонкой, белая ткань шла к одухотворениому лицу мыслителя. Там, где сходились густые брови, пролегла глубокая складка...

Долго простоял Кадыр перед портретом, не проронив ии звука, и очиулся, только когда подбежавший мальчишка потянул его за рукав. Глаза мальчика вопрошающе смотрели на него, ои протягивал иа ладошке чуть потертую серебряиую моиету. «Возьмите»,— сказал он. Вндя, что дервиш молчит, повторил: «Вам гулама передал. Возьмите». Только теперь Кадыр поиял, что старый учеиый — гулама приият его в одежде дервнша за нищего. Кадыр, смутнвшись, взял потертую серебряную моиету, поблагодарил и иаправился к выходу. Мог ли ои думать в этот момеит, что более не суждеио ему будет переступить порог священиого медресе.

Во дворец датка вошел тороплнвым шагом. Им сиова овладели беспокойиые мыслн. Стражиики в первый момеит даже ие узиали своего повелнтеля — так ои переменился в лице. С приходом датки иарушилась торжествеиная тишина, царившая во дворце. Подиялась суматоха. Сиова облачившись в одежду воииа, Кадыр сел на трон. Приказал писцу, подползшему к нему на колеиях, запечатлеть следующее:

«Высокочтимый повелитель Мухаммед! Вашн опасеиия подтвердились. Чингисхан отправил к нам караван под иачалом четырех торговцев, иесущих службу в его войске. 450 человек, 500 верблюдов в наших руках. Подтвердилось, что пришельцы лазутчнки. Ждем прнказа.

Покориый Ваш Кадыр».

Шел 615 год по хиджре[1], нлн 1218 год от рождення Христа, а по казахскому летоисчнслеиию очередной год Барса, месяц Кукушки. Правитель Отрара Кадыр нсполиил волю шаха шахов Мухаммеда из Хорезма.

Кадыр перечитал письмо, приложнл печатку.

Поразмыслив немиого, велел позвать Арыстаиа. Смуглый юиоша с чериыми смеющимися глазами н открытым лицом полюбился ему с первой встречи. Броснв на него долгий изучающий взгляд, он сказал:

— Молодой вонн, тебе повеление.

---

[1] *Хиджра* — мусульманскнй календарь.

— Слушаю и повинуюсь!

— Это письмо необходимо доставить в Ургенч шаху Мухаммеду. Какие у тебя ко мне просьбы?

— Приказ будет выполнен! А просьба такая: дома у меня старики. Без крошки съестного во рту. Если разрешите, съезжу на охоту, раздобуду мясо...

— Об этом не тревожься,— ответил Кадыр и тут же приказал слуге:— Доставить мясо в дом кузнеца Шамиля из Пышакшы!

Встав с места, вручил письмо Арыстану. Поистине, только Кадыр-датка из власть имущих способен был на подобную простоту!

Как только Арыстан выехал из города, Сумбиле шумно втянул ноздрями воздух, на ногах заиграли мускулы. Залоснилась запыленная шерсть. С места взяв в карьер, падающей звездой понесся он по степи.

...Сумбиле не знал усталости. Выплывали и оставались позади перевалы и холмы. Лишь на третий день вдалеке показались желтые башни Ургенча.

Арыстан не стал задерживаться в городе. Сунув за пазуху ответное письмо хорезмшаха Мухаммеда, повернул коня обратно. Сумбиле действительно стоил похвал. Весь обратный путь по долгой караванной дороге, по перевалам и степи он прошел почти без передышек. Только под ушами становилось влажно, да беспокоили удила, от которых неприятно несло железом. Дехкане, работавшие с кетменями на полях, смотрели вслед Сумбиле с восхищением и страхом. Всадник, несшийся по степи со скоростью ветра, всегда внушал тревогу: не плохую ли весть везет джигит?

На полях проступали первые всходы. Пряный аромат теснил грудь. Мир наслаждался покоем, сладкой тишиной. Радовались солнцу первые зеленые росточки, радовались люди, которых кормила эта степь...

Доро́гой Арыстан остановился у неказистой землянки дехканина, попросил напиться. Старик-хозяин рассказал ему о своем горе. Совсем недавно ушли из родного дома три его сына, стали сарбазами. И все трое погибли... У очага возле землянки сидела сгорбленная, немощная старуха, которой, наверно, жить-то осталось считанные дни. Не увидела она радости от сыновей, не дождалась внуков. Унесет теперь в могилу мечты, которыми жила.

С заходом солнца Арыстан въехал в пески. Ровные гребни однообразно тянулись далеко за горизонт. Быст-

ро темнело. Месяц еще не показывался. Арыстан не решился продвигаться дальше. Дорога неровная, много впадин, низин, лошадь может ушибиться. Не спеша он выехал на вершину высокого холма. Сыромятным ремнем, что был на поясе, стреножил коня. Сам растянулся на песке, подложив под голову седло. Сладко заныло тело, истосковавшееся по отдыху. Закрыв глаза, он незаметно задремал.

Приснилось ему, будто командует он многотысячным войском. Будто он полководец, слава о котором разнеслась далеко по степи. И будто готовится к большому походу. Сам Ескендир, знаменитый военачальник, приехал к нему. Приветствует его. Советуется с ним насчет предстоящего похода. И вот они в пути. Земля прогибается под копытами тысяч коней...

Проснулся он неожиданно, как будто от толчка. Кругом было темно. Еще не рассвело. Чего он испугался? Вскочив с места, стал искать Сумбиле. Конь стоял в стороне, тревожно всхрапывая. Арыстан оглянулся и, еще не веря себе, протер глаза. В горле у него пересохло, по спине пробежал холодок. Далеко на горизонте он увидел огни, бесконечное множество огней! Что это — факелы или костры, которые разводят воины в походе? Зарево от этих огней лизало горизонт, и невозможно было охватить глазом огненную линию. Ясно одно — это враги. Говорили, что с востока движется черная туча чингисханова войска. Неужто это они? Арыстана прошиб холодный пот, нечем стало дышать. Подбежав к коню, поспешно оседлал его,— и отдохнувший Сумбиле рванулся с места.

Надо было как можно скорее добраться до Отрара, рассказать датке, что родная степь под пятой врага. Арыстан безжалостно стегнул жеребца по крупу. В голове и ушах шумело. Мысли одна ужаснее другой с быстротой молнии проносились в мозгу. Ему казалось, что он уже слышит топот многих тысяч копыт: цок, цок, цок...

Только за полдень добрался Арыстан до Отрара. Конь, весь в белой пене, со стоном переводил дыхание. Да и всадника невозможно было узнать — сказались бессонные ночи. Он осунулся, глаза ввалились. Едва сполз с седла. Охранники и дворцовая прислуга встретили его с почетом, под руки ввели в прохладные покои.

Кадыр-датка, с нетерпением ожидавший своего посланца, взял в руки изрядно помятое письмо, разгладил. Приблизил воспаленные глаза к ответным строчкам. Они

гласили: «Всех людей каравана уничтожьте, а добро перешлите мне».

Приказ шаха Мухаммеда привели в исполнение в тот же день.

И торгашам-лазутчикам восточного кагана, и безвинным слугам из каравана отрубили головы. Песок впитал их кровь. Все, кто видел это, ушли с казни подавленные...

А немного спустя весть о гибели каравана дошла до Чингисхана. Восточный каган, посылая своих лазутчиков в Отрар, предвидел их бесславную гибель. Теперь у него был достойный повод, чтобы уничтожить наконец Отрар — эту грозную кипчакскую крепость, стоявшую на его пути.

Натянув поводья коней, несметные орды монголов кровавой дорогой войны приближались к городу...

3

Саранча налетела тучей, такой огромной, что не стало видно солнца. Она летела с юга, потревоженная кем-то.

Карашал, застывший как одинокое дерево в степи, содрогнулся, стал отступать назад, бормоча: «Биссмилла... биссмилла...» Саранча мгновенно облепила его с ног до головы, пролезла под одежду, зашевелилась на спине и груди.

Все вокруг заполнил отвратительный, сухой шорох крыльев. В одно мгновенье от нежных зеленых всходов на поле ничего не осталось: торчала только грубая прошлогодняя стерня. Пыль медленно оседала на опустошенную землю.

А после полудня горизонт окутался не то туманом, не то дымом, и вскоре на фоне неба стали вырисовываться неясные движущиеся тени.

Карашал, не сводивший глаз с горизонта, встрепенулся. «О создатель, что еще ты хочешь нам показать?! Или приближается конец света?» — голос его дрожал. Он едва держался на ногах, опираясь на кетмень. Ныла поясница, ломило колени. Глубоко запавшие старческие глаза покраснели, наполнились слезами...

В этой беспредельной степи, теперь превращенной саранчой в пустыню, Карашал остался один. Давно уже разбежались отсюда охваченные паникой дехкане. Сначала поползли слухи: «Враг идет...» Люди заволнова-

лись: «Откуда, куда?» Им отвечали: «С востока. Несметное количество орд». Другие добавляли: «Моли ныне много было. Верный признак — конец света близок». «Враги топчут все на своем пути. Мужчин убивают, женщин обращают в рабынь. Поедают нежные детские сердца... О всемогущий!» — рыдали плакальщики. А слухи росли: «Все они одинаковы, и мужчины и женщины: маленькие, коренастые, смуглые».

Старики бросились собирать разбредшийся по степи скот. Враг, наверное, действительно был силен, весть о его приближении росла с каждым днем, наполняя сердца кипчаков ужасом. А когда стало известно, что чужеземцы пересекли южный перевал, началась паника. С воем и причитаниями люди складывали нехитрый домашний скарб и уходили кто куда. Одни надеялись укрыться в Кулундинской степи, другие — в Бетпакдале, третьи — в крепости Отрара.

Карашал хорошо помнит тот день, стоял он на редкость ясный, солнечный, точно природе не было никакого дела до горя, нависшего над головами людей. Карашал истосковался по солнцу, много дней мучила его боль в пояснице, и он лежал на нарах. Теперь дело пошло на поправку, и Карашал решил повозиться с землей. Взял кетмень и вышел на улицу, говоря про себя: «Э, господи, благослови!..» Все предки его до седьмого колена были пахарями. И он был пахарь, да такой, что если один день не подержит кетмень в руках — изведется душой.

Подошел внук, потянул старика за полу чапана.

— Ата[1], ау, ата, люди переезжают. Зачем копаться в земле, собирайтесь.

Лицо у мальчика бледное, глаза воспалены: последние дни и ночи были наполнены тревогой и страхом.

— И-и, несмышленыш, чего торопишь? Куда пойдет старый пень? Сами уж поезжайте, да благословит вас бог! А я здесь останусь!

Упрям был старик. Уж если что-то решит — настоит на своем. Целым аулом уговаривали — не уломали. Внуки, правнуки просили — не поехал. Тогда оставили ему немного из того, чем можно было прокормиться: зерна, сливочного масла в бурдюке, торбу сушеного курта. Некоторые ворчали: «Помешался старик. Остался, как оди-

[1] *Ата* — дедушка.

нокая могила в пустыне». Когда последняя собака скрылась за перевалом, Карашал заплакал. Захлебываясь от слез, присел на мешок с кизяком. Его серебристая бородка долго дрожала на ветру.

В душе ему, конечно, не хотелось оставаться одному. Но жалко было бросать землю, родину предков, жалко эти холмы и беспредельную степь. Казалось, что стоит только уйти с этих мест — оборвется последняя нить, связывающая его с предками. В сущности, она, эта земля, была его сердцем. Иначе почему болело оно, когда он смотрел на горячий песок, на землянку? Не мог он уйти отсюда, не мог расстаться с сердцем, а стало быть, и с жизнью. Здесь со своими сверстниками в детстве поднимал он пыль на дорогах. Здесь впервые взял в руки кетмень и с тех пор не разлучался с ним...

Карашал поднялся и, взяв мотыгу, направился к участку, где посеял весной пшеницу. Погода нынче выдалась на редкость благодатная, а почва — сплошной чернозем. Семена хорошо взошли. Молодые стебельки дружно заколыхались на ветру. Старик улыбнулся, увидев зеленое ровное поле.

В этот момент и налетела саранча...

А потом горизонт затянулся сплошной завесой пыли, старик услышал топот копыт, от которого загудела земля...

Карашалом овладел панический страх, он бросился было к землянке, но замер у входа, не в силах оторвать глаз от страшного зрелища. Никогда еще на своем веку не видел он такого множества всадников. Они сидели на непривычно маленьких лошадях, яростно грызущих удила, и лица их, покрытые пылью, были свирепы и темны.

Когда всадники приблизились, один из них подскакал к самой землянке и схватил Карашала за бороду. Лопоча что-то непонятное, он втащил старика в землянку и швырнул в угол. Потом увидел бурдюк со сливочным маслом. В землянку ворвались еще трое. Рыча и переругиваясь, они стали рвать бурдюк на части и пожирать масло.

У Карашала потемнело в глазах, сознание помутилось. Его подтащили к шатру, раскинутому возле землянки. В нем сидел такой же раскосый, с редкой бородкой мужчина, напыщенный, важного вида, вероятно, военачальник. Пронзительным, крикливым голосом он начал допрашивать старика:

— Говори, ворона! Где народ?

— Ушел.

— Сами видим. Куда ушел? Скот где, люди где?

— Я не знаю. Дорог миого, люди вольны выбирать себе любую...

— Зиаешь, собака! Ты здесь как лазутчик. Или ты хочешь, чтобы мы с голоду ноги протянули? Вот уже новая луиа народилась, а мы не насытили животов своих. Показывай, веди нас за аулом!..

Старик молчал. Тот, который допрашивал, пришел в бешеиство, приказал что-то своим палачам. Они кинулись к старику, железными пальцами разжали его сомкнутый рот. Беспомощио заметался язык. Язык, предназначенный выражать человеческую боль, гнев, обиду, благодарность. Редкобородый одиим взмахом ножа отхватил его у самого основания...

Чужеземцы рассчитывали запугать старика. Многие после того, как им вырезали языки, становились смириыми. Мыча что-то, бежали впереди, указывая дорогу. Несчастиые! Даже такой ценой оии не покупали себе жизни!

Упрямый старик продолжал бессильно лежать на земле. Кровь его сочилась в песок. Мучила икота. Изредка он стонал, издавая всхлипывающие звуки, но головы ие поднимал. Так пролежал он до самого вечера, обняв землю руками, точно прощался с иею. Когда солнце стало закатываться за горизоит, Карашал распростился с миром. Сердце, так любившее родиую землю, остановилось, навсегда обрело покой.

Редкобородый узиав, что Карашал умер, обезумел от ярости. Затопал ногами, закричал, исхлестал камчой стоявших рядом палачей.

Как прокормить войско в этой бескрайней степи, покинутой жителями? От голода у всех свело животы. Только что погиб одии — напился воды и схватился вдруг за живот. Скорчившись, повалился иа землю и затих. Перевернули его, а ои мертв...

Редкобородый вышел из шатра. Объявил приказ кагана: иочью миоготысячиое войско пророет степь поперек. Пророет узкие, глубокие рвы. Сотня монголов выедет спозаранку и спугиет кулаиов, пасущихся в степи. Остальные образуют живую ограду, чтобы животным некуда было бежать, кроме как по рвам. Кулаиы, обезумев от страха, понесутся к ямам. Первые животные мо-

гут еще проскочить, но зато остальные, наскакивая друг на друга, сами обрекут себя на гибель...

Как только взошла луна, многотысячное войско поднялось на ноги. Вся степь пришла в движение. Тысячи людей копошились на ее просторах, словно муравьи. Солнце, проглянувшее утром, увидело землю, изрытую глубокими рвами, которые тянулись на расстояние конной скачки.

К полудню работы прекратились. Подготовительный этап охоты был завершен. Края рвов замаскировали дерном так, что издалека их можно было и не заметить. Наконец все встали по своим местам. Сотня монголов, отправленная спозаранку, должна была пригнать сюда куланов. Большой ров, ров смерти, ожидал первые жертвы.

Над степью нависла тишина. Солнце продолжало немилосердно жарить. Стало душно. Вдалеке показалось облако пыли. Оно росло, вот уж закрыло собой весь горизонт. Послышались приглушенные расстоянием гортанные выкрики. Голоса приближались, и скоро степь наполнилась диким гиканьем и улюлюканьем. Казалось, земля содрогалась от этого рева. Куланы неслись косяками и в одиночку. Пытаясь уйти от преследователей, они держались прямого пути. Несколько дней кряду стоял невыносимый зной, и животные были измучены жаждой. Они неслись вперед, роняя клочья белой пены.

Монгольское войско расположилось цепью вдоль рвов. Сотня добросовестно подгоняла обезумевших от страха животных.

Вот передняя цепь достигла дернового прикрытия... Кто-кто, а куланы знали степь. Травянистая гряда, выросшая перед ними, показалась вожаку подозрительной. Уткнув морду в полынь, животное на мгновение замерло, почуяв недоброе. Сзади неслось стадо, там матки с детенышами, его потомство. Вожак понял, что бежать дальше опасно, надо предупредить мчавшееся за ним стадо. Старый, умудренный опытом, он напряг последние силы и бросил мускулистое, крупное тело вперед, вытянувшись струной. Он вложил в этот прыжок все — всю свою силу, умение, отчаяние. Но... слишком широк был ров и слишком измучен был вожак жаждой и бешеной скачкой...

У рва началось столпотворение. Куланы скатывались в пропасть, подготовленную монголами. Над степью неслись предсмертные хрипы, сопение, пронзительные вопли

животных, исчезавших во рву. Казалось, не будет этому конца. Долго клубилась пыль надо рвом, а когда рассеялась — воины увидели, что ров доверху наполнен копошившимися животными. Те, что не погибли, лежали с переломленными хребтами, ребрами, ногами, их глаза, наполненные предсмертной тоской, были устремлены на людей... Монголы с диким ревом набросились на животных: в ход пошли сабли, пики, ножи. Озверевшие от голода люди с жадностью глотали сырое мясо, захлебываясь в крови. Много дней и ночей длилось пиршество. Запах горелой шерсти и паленой кожи наполнил степь. От крови, лившейся рекой, побагровела земля.

С тех пор в этих местах перевелись куланы. Те, что остались в живых, навсегда ушли отсюда. Место, где погибли степные красавцы, стали называть впоследствии «Куланкырган[1]».

В Куланкырганe грозный каган не стал задерживаться. В войске начались болезни, потому что мясо при такой жаре быстро портилось. К тому же не было смысла держать воинов в безлюдной степи. И вскоре монголы вновь сели на коней, хвосты которых были скручены в узел. Эти узлы означали, что поход продолжается.

...Снявшиеся с родных мест аулы разбрелись кто куда. Те, что ушли первыми, двинулись в сторону Чу, заняли землю между Рыбьим морем и степями Кулунды и Тургая. Другие аулы, следуя вдоль Бетпака и Жоиды, расположились в горах Акбас. Кипчаки потянулись на родину, к горам Каратау — золотой колыбели их предков. Никто не собирался обосновываться прочно на новом месте; как только приходила дурная весть, аулы снова трогались в путь.

Аул Карашала остановился в центральной части Каратау. Старый, весь в складках морщин, горный хребет был очень удобен в этой части для жилья. Со стороны он напоминал осевшего на колени верблюда. Поставили юрты, подобрали пастбище для скота. Рядом протекали реки. Выше, ближе к вершинам, водились беркуты, горные архары. Травы много, полынь — темно-коричневая, с пряным ароматом. Новое место вполне устраивало кочевников. Невдалеке к западу были Отрар и Сауран, еще

[1] *Куланкырган* — буквально: место истребления куланов.

дальше — Баба-ата, Жылаган-ата, Алтынтобе, они казались надежной защитой.

Джигиты быстро освоились с походной жизнью, день и ночь не слезали с лошадей, разведывая местность. Слухи о том, что приближается враг, доходили издалека. Беспокойство не оставляло людей ни в ауле, ни на джайляу. Все были подавлены, мрачны.

И вот наступил день, когда пришла страшная весть: «Враг близко, враг подошел к самым горам!» Сын Карашала Сарымсак собрал всех мужчин аула. Положив саблю перед собой на шею коня, начал:

— О, достойные! Были мы аул как аул, а теперь от бегства в жалких трусов превратились. До каких пор дрожать нашим поджилкам? Перед женщинами совестно, перед детьми. Сядем на коней, пойдем против врага! Духи предков поддержат нас! Плохо, когда нападают. Надо самим напасть, завернем врага от земли нашей. Духи предков, где вы? Отзовитесь!

Не все его поняли.

— Сказал! Да монгол нас живьем проглотит! Что несколько десятков джигитов из аула, когда у них сотни, тысячи, под которыми земля прогибается!

— А честь твоя где, а? Так и будешь бегать, как собака трусливая?

— Почему бы не бегать? Голова цела, место, где укрыться, найдется.

— Замолчи! И не стыдно тебе! От материнского подола не успел оторваться, а уже защищать ее не хочешь! Проваливай! Бери суму да иди побираться!

— Я хотел сказать, к чему безрассудное геройство? А так и я способен держать пику...

— Ишь, как заговорил, будь ты проклят!

Все собравшиеся присоединились к Сарымсаку, начали ругать выразившего сомнение. А тот и не думал смущаться, как ни в чем не бывало улыбался и старался подладиться к Сарымсаку: то гриву его коню погладит, то удила поправит.

Мужчины отправились в поход. Прошла ночь, еще ночь — и всего семнадцать джигитов, ведя в поводу лошадей, истекая кровью, вернулись домой. Двое, едва живые, лежали на лошадях, припав к гривам. Аул запричитал азу, оплакивая погибших. Плач и стенания неслись из каждой юрты... А мужчины, те, что вернулись

живыми, не способны были и слова вымолвить. Молча повалились они на землю и заснули.

У Сарымсака была вывихнута рука. Он крепко подвязал ее к ремню на поясе и сидел, стиснув зубы.

Прибежала вся в слезах, с распущенными волосами молоденькая жена того джигита, что перечил Сарымсаку, запричитала горько: «Где ты оставил мужа? Допек его, бедного. О, что теперь за жизнь! И что он такого сделал, что нет его!..» Сарымсак и без того в смятении. Невмоготу ему слушать вдовьи причитания. Старухи уволокли рыдавшую женщину.

Мрачные мысли придавили Сарымсака своей тяжестью. Обхватив рукой колени, он застыл неподвижно. Вздрогнул, почувствовав, что кто-то прикоснулся к нему. Это сестренка — юная Каракыз, водой из торсыка стала обмывать ему лицо. Тяжелые густые косы ее сползли со спины, закрыли лицо. Прячут смородиновые глаза тихую, застенчивую улыбку. Это была любимая сестра Сарымсака. Как ему хотелось успокоить ее, произнести ласковые слова,— но он ничего не сказал, только погладил по волосам. Девушка подняла лицо. Ресницы ее задрожали, бусинки слез чудом удерживались на них. «Жеребенок ты мой, надежда моя»,— ласково про себя проговорил Сарымсак.

Он пролежал весь день. К вечеру аул затих. А наутро снова собрались джигиты. Сарымсак объявил приказ.

Все молча сложили юрты, нагрузили скарб на верблюдов, и аул откочевал дальше в горы, к извилистой реке Акуюк. Это были дикие места, по которым еще не ступала нога человека. Нагромождения скал охраняли ущелье со всех сторон. У берега реки виднелась большая пещера, созданная самой природой. Ветер и вода подровняли, отполировали ее стены и потолок. Внутри было темно и прохладно. Капли воды, похожие на слезы, сочились с ее сводов.

По настоянию Сарымсака всех женщин аула, молодых и старых, вместе с ребятишками спрятали в этой пещере. У стены, что была повыше, соорудили лежанки. Прирезали трех лошадей, чтобы было в запасе мясо. Вода, сочившаяся с потолка, вполне могла утолить жажду.

Женщины причитали, цеплялись за поводья лошадей, прощаясь с мужьями, отцами, братьями. Ребятишки не понимали, что происходит, удивленно таращили глаза. Когда наконец всех женщин с детьми водворили в пе-

щеру, мужчины стали закрывать вход большими камнями. Сверху закидали их кустарником и травой. Пещера стала неприметной для глаз.

Вооружившись, мужчины сели на коней и снова двинулись в поход против чужеземцев. Лица у все были сумрачные, тоска залегла на сердце. Кто знает, вернется ли сюда хоть один из них после схватки с врагом!

Всходило солнце, потом луна, день сменялся ночью, женщины все ждали мужей и братьев. В пещере стояла тревожная тишина, только изредка раздавался детский плач и тихий, грудной голос матери, успокаивающей ребенка. И снова все стихало. Каракыз, сестра Сарымсака, с утра до вечера просиживала у входа, наблюдая через маленькое отверстие за всем, что происходило снаружи. Иногда пробегал архар, пролетал сокол, и девушка с завистью смотрела им вслед.

Но вот однажды Каракыз увидела воина на коне, в доспехах, сверкавших на солнце. Норовистый, резвый конь бил копытами землю. Сердце от радости затрепетало в груди девушки, захотелось выпорхнуть из этой ненавистной черной пещеры. Она прильнула к большому камню и смотрела до тех пор, пока не зарябило в глазах. Зажмурилась, потом снова прильнула к отверстию — и отшатнулась: снаружи, улыбаясь, уставился на нее сам дьявол! Лицо круглое, как чаша, одутловатое, с красными глазами. Пригнувшись, он замер, не сводя взгляда с лица девушки.

Каракыз закричала от ужаса, ноги у нее подкосились. Оглушительный хохот всадника гулко прокатился по ущелью. Женщины в пещере повскакивали с мест, запричитали, заголосили. Заплакали испуганные шумом дети. Пленницы пещеры, обессилевшие, измученные ожиданием, метались, словно потеряв рассудок.

Камни, закрывавшие вход в пещеру, начали откатываться с глухим шумом. Слышно было, как снаружи переругивались мужские голоса. В пещеру хлынул поток яркого солнечного света. За ним, как разъяренные тигры, ворвались монголы, сверкая клинками кривых сабель. Хватая за пояс обезумевших от страха женщин, они выволакивали их наружу. Все, что происходило потом, было ужасно. Пришельцы тут же шумно делили «добычу». Горы наполнились воплями женщин, бесстыдным смехом насильников.

Монгол с круглым одутловатым лицом, тот, что загля-

дывал в пещеру, рыскал в поисках красавицы, поразившей его. Снова, в который уж раз, он обшаривал каждый уголок, потом кидался к очередной жертве, над которой глумились насильники, и отходил, видя, что это не та, которую он ищет. Он выбился из сил, но ту девушку так и не нашел.

Пришел приказ от начальника сотни — возвращаться обратно. Молодых женщин привязали к седлам, детей и старух порубили кривые монгольские сабли. А тот, что искал Каракыз, долго еще оглядывался назад, яростно грызя ногти с досады...

Ущелье Каратау и река Акуюк остались немыми свидетелями происшедшей трагедии. Все затихло вокруг, и только хриплое карканье долго раздавалось в окрестностях пещеры. Это слетались вороны, почуяв добычу...

Пещеру у реки Акуюк народ назвал «Катынкамал» — женское подземелье. А легенда о кипчакской девушке Каракыз дошла до наших дней. Те, кому случалось бывать в этих местах, говорят, что если прислушаться — из пещеры доносится протяжный тихий стон. Это дух красавицы Каракыз не находит себе покоя, а возможно — ветер завывает в камнях...

4

Как талая вода, разливались по степи несметные полчища грозного кагана. Все бóльшие куски кипчакской земли захватывали чужеземцы.

Ненасытный владыка дошел до Баба-аты. То был небольшой город, стоявший на развилке Шелкового пути южнее гор Каратау.

Горожане занимались ремеслами, пасли скот, вели свое немудреное хозяйство.

Монгольское войско, подступившее к городу, захватило его врасплох. Ни о каком сопротивлении не могло быть и речи...

Еще утром в городе было все спокойно, каждый занимался своим делом. Кузнецы, как всегда, раздували мехи, стучали молотками каменотесы, женщины хлопотали у очагов. И никому не пришло в голову догонять мальчишку, который бежал по улицам, размазывая кулаками слезы.

Мальчишка был переполнен обидой и злостью на отца и старшего брата. Единственное, в чем он провинился, —

взял отцовское копье, чтобы нзобразить батыра Алпамыса. И за это старший брат отхлестал его при соседских сорванцах.

— Я тебе покажу войну! Вот тебе за Алпамыса! Вот тебе за копье!— приговаривал он.

Пропадн пропадом такой брат! Хоть бы отец или мать заступились — нет! Никто ни слова не сказал брату.

Захлебываясь от слез, мальчишка побежал прочь от дома, а взрослые, глядя ему вслед, усмехались и говорили:

— Так и надо сорванцу!

— Ишь, войну придумал, беду наклнкать хочет!

И вот несся он по дороге, пока в ногу не впилась заноза. Он присел, попытался вытащить колючку шенгеля ногтями, но она еще глубже ушла под кожу. Плача, сидел мальчишка одиноко на пыльной дороге.

Вечерело. Сначала, когда выбежал из города, он все оглядывался назад в надежде, что отец или дед догонят его и будут уговаривать вернуться домой,— так всегда бывало прежде, когда он убегал обиженный. Но сейчас ннкто не шел за ним.

Он встал, прихрамывая, побрел за уходившим солнцем. Хотелось пить, в животе урчало от голода, а мальчик все шел н шел, изредка оглядываясь.

Вдруг он увидел, как позади, над городом, взметнулись языки пламени. Это не удивило его — не раз видел пожары. В степи часто поджигали траву, чтобы земля стала плодороднее...

Сумерки сгустились, степь окутала темнота. На небе высыпали звезды. Их было много, этих крохотных небесных светил с белым, голубым и красным отливом. Мальчик опять присел. Нога болела все сильнее. Он прилег на траву и закрыл глаза. Ему казалось, что земля тихо перешептывается со звездами, мерцающими в вышине.

И вдруг словно чей-то голос раздался над ним:

— Эй, крохотная живая душа, проснись! Полеживаешь здесь в пыли, а город твой разрушили, втоптали в песок...

— Почему за мной никто не пришел?

— Никого у тебя нет... Все убиты...

— Как? И отец, и брат...

— Ты один жнвой средн мертвых..

— Мне страшно!..

— Крепись, живи... Ты посланец жизни на этой земле...

— Как мне жить одному?..

— Души твоих предков с тобой... Они научат тебя жить, а вырастешь — возроди свою землю, растоптанную врагом...

5

Грозный каган не стал поворачивать к городу Таразу, хотя заметил его, когда проходил мимо. Остановил войско, раскинул желтый шатер, велел позвать к себе щеголеватого военачальника Бауыршыка. Бауыршык внешностью походил скорее на кипчака, чем на монгола. У монголов кожа на лице как пергамент, глаза узкие, раскосые. У Бауыршыка — густые черные брови, большие глаза. Нос крупный, с горбинкой. А сам высокий, плотный, точно отлитый из булата. Войдя в шатер, он почтительно сложил руки на груди, поклонился. Потом застыл, встав вполоборота к грозному повелителю.

Чингисхан толкнул ногой развалившегося рядом Рашид-ад-дина. Тот, покачнувшись, вскочил, распахнул книгу, лежавшую на коленях, начал читать мелодичным, берущим за душу голосом стихи Фирдоуси:

Сердца рану залечить пожелаешь —
Дам совет. С томными взглядами
Яснооких красавиц
Только в Таразе повстречаешь!

В горле у Бауыршыка пересохло, сердце застучало, забилось в груди. Но смуглое лицо не дрогнуло.

Каган все-таки заметил, что посеял бурю в душе джигита, сказал ему: «Иди!» Больше не произнес ни слова.

Бауыршык снова склонился перед ним и, пятясь задом, вышел из шатра.

Каган хорошо знал нрав своего военачальника, его алчность, жестокость, ненасытное вожделение. Поэтому и выбрал именно его, чтобы подчинить себе Тараз. И еще потому, что за Бауыршыком прочно закрепилась слава любимца судьбы. А не таким ли везет и в бою?..

Когда военачальник вернулся на стан, джигиты, все как один похожие друг на друга, любовались зрелищем борьбы на гладкой, утоптанной площадке. Двое старались изо всех сил. Сопели, кряхтели, хватали друг друга

за пояс. Коренастый, тот, что пониже ростом, вдруг поволок за собой длинного, поднатужился, оторвал его от земли и, крякнув, изо всех сил трахнул о землю. Несчастный, видно, сломал себе позвоночник, потому что уже не мог двинуться. Бауыршык, отвернувшись, пошел к себе.

С рассветом военачальник решил идти на Тараз. Надо было вздремнуть перед походом. Подложив под голову седло, он растянулся на подстилке из шкуры, но заснуть никак не мог. Ворочался с боку на бок, в голову лезли мысли, одна вожделеннее другой. Стоило ему закрыть глаза, как представлялись изящные статные красавицы с томными взглядами. Сжавшись в клубок, он яростно грыз колени. Перед самым рассветом поднял голову, вздохнул: «Уф, дождался!»

Семерым джигитам, во главе с победившим накануне коренастым борцом, приказал готовиться к походу, дал распоряжение слуге. Повесил на пояс оружие и направился к жеребцу, стоявшему на привязи неподалеку.

В этот предрассветный час в степи еще стояла тишина. Отовсюду доносилось стрекотание кузнечиков. Луна плыла у самого горизонта, готовая скрыться. Девять джигитов сели на коней и поскакали к городу. Высокая степная трава касалась брюха коней. Сбивая росу, всадники одолели пять перевалов и добрались до большой дороги. Впереди темнела крепость. Город спал. Сгрудившись, они долго рассматривали его. Крепостные стены с первыми робкими лучами солнца проступали все явственнее.

Крепость, оборонявшая город, сложена из темно-коричневых кирпичей. Сторожевые башни тоже темные. Они напоминали ветхих стариков, забирающихся по вечерам на крыши, чтобы побеседовать. По одну сторону крепости протекала река. Было непонятно, откуда жители берут питьевую воду: река за стенами, а ворота закрыты накрепко. Стремя в стремя девять монгольских всадников приблизились к городским воротам.

Худой кипчак-охранник заметил их.

— Эй, кто вы?— закричал он.

Бауыршык отделился от группы и громко, как принято у степняков, приветствовал охранника. Тот стал расспрашивать, откуда они и кто такие. Бауыршык ответил, что они кипчаки, что землю их захватил враг — чер-

ная снла, нагрянувшая с востока. Город уиичтожил, людей побнл, уцелелн только оии, девять джнгнтов...

Стражник слушал развесив уши.

— Ойбай!— восклицал он.— Да это... этот самый... Чингисхан и есть! Да он может теперь н к нам нагрянуть... Но мы не будем на конях по степн труснть, как вы, а будем стоять до последнего! Ай-ай, драться вы не умеете...

Потом он смягчнлся:

— Внжу, свон вы. Кто не попадает в беду! Совсем допекло вас. Внд-то не больио воинственный...

— Да, наказал нас господь, сарбаз!

— Трудное сейчас время... Те, кто видел, рассказывают, будто войско у этого Чингнсхана — от одиого до другого конца — день езды. Наша горсточка джигитов для него — чепуха! Но инчего, подеремся. Мы не кочевннкн, что по степн бегают. Кнпчакн умнрают в бою.

— Да, мы умрем в бою!— подхватнл Бауыршык.

Тяжело заскрнпелн ворота, приоткрылась щель, достаточная для того, чтобы проехал один всаднек. Все девять, пришпорнв коней, ворвалнсь в город. Старый охраннвк не успел понять, что произошло. Повериулся было к Бауыршыку, но крнвая сабля тут же снесла ему голову.

Город просиулся неожиданно. Воииы поспешио хваталнсь за оружне. Поднялась суматоха, как в стаде, иа которое напалн оводы.

Из-за горнзонта вышло солице. Горожане накоиец разгляделн, что переполох наделала всего лншь горсточка монголов, но они так бешено размахнвали саблямн, что успелн порубнть немало растерявшихся джигитов. Ворота закрыли, н монголы оказалнсь в западие.

Только теперь Бауыршык понял свою ошнбку. С горсточкой джнгнтов вознамернлся перехитрнть город, прижать к сердцу красавиц Тараза, воспетых Фирдоуси! Хотел заполучнть себе, по примеру кагана, семь-восемь жеи. Теперь не видать ему красавнц, что мерещнлнсь ночью, а может, н головы ие сносить. Кругом — сверкающне клннки сабель, острня пнк... Обидно за бесславную смерть. Длнниое копье, пролетев со свнстом, прошлось по его щеке н со звоиом упало на землю. Бауыршык почериел, до болн стисиул зубы. Огляиулся — рядом инкого из своих уже иет, все зарублеиы. Еще один взмах сабли — ие будет и его.

Конь под ним захрипел, покачнулся — в бок животного вонзилось копье. Миг — и Бауыршык был бы придавлен тяжелым телом иноходца, если бы не успел соскочить с седла. Увидев предводителя на земле, джигиты, видно, решили взять его живьем и замешкались. Этого только и надо было Бауыршыку. Размахивая во все стороны саблей, проскочил он мимо них и бросился к лестнице, поднимавшейся до самого верха крепостной башни. Он карабкался по ней, едва успевая отбиваться от настигавших его джигитов. Смерть неотступно стояла у него перед глазами, во рту был привкус крови.

«Конец»,— подумал он, достигнув конца лестницы. За крепостью шумела вода, река протекала у самых ее стен. Собравшись в комок, он закрыл глаза и с высоты ринулся вниз.

Пока джигиты открывали ворота, чтобы послать погоню, Бауыршык переплыл реку, выбрался на другой берег и укрылся в кустах. Тут только до его сознания дошло, что он спасся, чудом остался жив, когда смерть казалась неминуемой. Призывая на помощь всех духов предков, он дал страшную клятву. Трясясь от пережитого страха и злобы, черный, с посиневшими губами, он поклялся назавтра смести город с лица земли. Стереть его в пыль. Изрубить, уничтожить всех жителей, смешать их кровь с песком!

С рассветом следующего дня Тараз навеки сомкнул глаза. Бауыршык сдержал свою страшную клятву.

Так кончил существование город, богатый и могущественный, привлекавший ученых многими загадками, а поэтов — несравненными красавицами... Тараз стоял на перекрестке главных караванных путей. Сокровища многих стран оседали в нем. Все это погребено теперь под песками, навсегда ушло в вечность.

Впереди был Отрар, самый большой город кипчаков. Чингисхан по пальцам пересчитывал оставшиеся дни пути. С нетерпением ждал он момента, когда его воины скрестят сабли с саблями отрарцев. Каган потерял сон, ему все мерещился этот город — неприступный, независимый, гордый. И тогда он начинал ощущать боль в сердце. Давала о себе знать приближающаяся старость. Чингисхан вскакивал, проклинал свою слабость. Отрар стал для него наваждением.

— Жошы пришел.

— Пусти!— приказал он.

Это был его старший сын, правая его рука, которого в последнее время он начал тайно побаиваться. Кто мог поручиться, что сын не поднимет руку на отца, чтобы самому стать каганом? Вид у Жошы такой, что любого приведет в смятение — угрюмый, замкнутый, молчаливый. Не понять, что у него на душе. С каждой встречей охладевал отец к старшему сыну. Возможно, он и не был ему отцом... Разве не в кипчакской степи подобрал он байбише[1] Борте? И не там ли он потерял когда-то возлюбленную Борте? Она попала в плен к кипчакам. После двух лун он выкупил ее за большую казну, отправив за ней гонца. Борте была беременна. Через семь лун после возвращения к нему она разрешилась сыном. Родила Жошы.

Эти семь лун до сих пор мучают кагана. Гиблое дело, когда душу терзают сомнения. Сколько раз, страдая ночью от бессонницы, он обдумывал, как убить Жошы. Но все не представлялось случая. Жошы рос строптивым, презиравшим власть...

— Скачи к Саурану. Войско возглавишь сам. Город сокруши как можно скорее. Покончишь с Саураном — дорога на Отрар открыта.

Жошы согнулся в поклоне и вышел. Грозный каган застыл как изваяние. Потом стал беспокойно пересчитывать пальцы. Он заерзал на месте, нахохлился, как беркут, готовый взлететь.

6

Издалека видны купающиеся в зыбком мареве шесть башен Саурана. Они как будто машут рукой, маня путников к себе. Жошы ведет войско к городу. Сухой, горячий ветер обжигает ноздри. Дымится под копытами земля. Кругом, насколько хватает глаз, полынь. Вихрятся песчаные смерчи. Воздух горяч, кажется, что огонь полыхает в лицо.

Город стоит, повернувшись одной стороной к Каратау, другой — к Яксарты. Дома глиняные. Крепость, окружающая город, тоже глиняная. В ней шесть башен. В каждой башне просверлена дыра для просмотра окрестностей.

---

[1] *Байбише* — старшая жена. Кроме того, уважительное обращение к хозяйке дома.

— Враг пришел, враг пришел!— раздался вопль. Народ зашумел, увидев, как клубится пыль на дороге.

Поднялась суматоха. Только что сарбазы похвалялись, поплевывая на ладони: «Ну-ка, пусть идет к нам Чингис!..» Теперь растерялись и они. Повскакивали с мест, закричали, загалдели, точно бабы. Кровь вскипела в жилах у Сарымсака — с небольшим отрядом он накануне пробился в Сауран.

— А ну, прекратить!— заорал он. Джигиты умолкли, но паника в городе не улеглась.

В такой обстановке невозможно противопоставить врагу хоть сколько-нибудь организованную силу. Если горсточка джигитов, не щадя себя, будет отстаивать город в одной его части, то в другой перепуганные насмерть жители могут запросить пощады. Да и крепость, окружающая Сауран, далеко не прочна. Глина не камень, раскрошат ее пиками. Только стрелы и песок, что будут сбрасывать со стен, могут задержать монголов. Но надолго ли? Проще простого сделать подкоп под стены. Что бы там ни было, а схватка неизбежна. Так не лучше ли встретиться с врагом лицом к лицу?

Сарымсак приказал своим сарбазам седлать коней. Все мужчины, кто только мог сидеть на коне и держать в руках оружие, положась на судьбу, решили постоять за родную землю, пролить кровь за жен, детей, стариков, оставшихся за стенами. Это была клятва сауранцев, хоть и немного их было против монголов. Со скрипом отворились большие ворота города, пропуская защитников, а потом так же медленно закрылись за последним джигитом.

Войско Жошы приближалось. Монголы издали пронзительный воинственный клич, кипчаки ответили своим: «Ур-а, ур-а, ур-а!» Столкнулись, смешались в ожесточенной резне монголы и кипчаки. Пыль, взметнувшаяся из-под копыт сотен коней, черным занавесом поднялась кверху. Невозможно было разглядеть друг друга в лицо. Зловеще свистели стрелы, впиваясь в грудь, в спину. Волосы на голове вставали дыбом от их свиста. Сверкали занесенные клинки, с глухим стуком падали в песок срубленные головы. Все кругом наполнилось ржаньем лошадей, пронзительными воплями добиваемых. То была битва не на жизнь, а на смерть.

Врагов было много, значительно больше, чем кипчаков. По десять на одного, по сотне против десяти. Они за-

метно тесиили саураицев. Ярость, с какой обрушились монголы на жалкую горстку джигитов, была непонятна Сарымсаку. За что дралнсь чужеземцы, чего хотели оии от мирных людей?

Сарымсак вклиннлся в самую гущу схватки. Там дралнсь лучшне его джнгнты. Их рубнлн нанскосок, как тростннк. Те, кому удавалось прорваться через окружение, прнсоедниялись к Сарымсаку. Многне былн раиены, в крови. Но, сумев построить цепь, сауранцы продолжали сражаться. Немало н моиголов полегло под копыта коней. Чувствовалось, что враг не ожидал такого сопротнвлення.

Сарымсак старался вывестн саураицев нз центра: важно было не подпускать монголов со спнны. Враг, иабившнй руку во многнх сраженнях, был опытен и хитер. Он брал не столько снлой, сколько коварством, окружая протнвннка.

Жошы разгадал иамеренне Сарымсака н велел продолжать бой в центре. Два крыла его войска между тем должиы былн зайти с обенх сторои н взять сауранцев в тнскн. Расчет Жошы оправдался. Увлекшись отраженнем атакн моиголов в цеитре, саураицы ие заметили, как нх обходят с боков. Два монгольскнх крыла сомкнулнсь за спнной сражающнхся. Сарымсак был в отчаянни. Случнлось то, чего он так боялся...

Долго стояла пыльиая завеса иад степью, закрывая собою солице. Копыта коней хлюпали по кровн. Круг неумолнмо сужался, н вскоре все было кончено. Груды мертвых тел осталнсь на месте сражения.

Одному Сарымсаку чудом удалось вырваться нз круга, н теперь он летел по степн, прнгнувшнсь к грнве коия. В спнне его торчала вражеская стрела. Умное жнвотиое мчалось вперед как ветер. Сарымсак купнл коия когда-то жеребенком у дровосека нз Отрара. Уже тогда конь обещал стать тулпаром. И вот теперь он не подвел его. Вырвавшнсь нз кровавого круга, он мчался по знакомой дороге к себе на роднну, в Отрар. Преследователи прошлн за ннм однн перевал, а потом отсталн.

Солнце было уже ннзко, когда кончнлось сраженне. Жошы, сойдя с коня, обходнл поле боя. Ноги его то и дело спотыкались о трупы. Торгаут — охранннк шел за ннм и угодлнво поддержнвал под руку.

А над Саураиом высоко взметнулось пламя. Оттуда донеслись отчаяиные вопли. Потянуло запахом жжеиого

мяса. Среди треска и шума валившихся строеиий раздавались одинокие выкрики, мольбы о пощаде...

Жошы содрогиулся от отвращеиия. Он и сам ие поиял, почему стало вдруг так противио. «Измываются, собаки, грабят город»,— подумал ои. Уже много раз он видел, как его собратья по оружию и крови становились сущими дьяволами, когда приходилось убивать и насиловать. «И откуда,— дивился он,— в иих эта страсть к разгрому и уиичтожеиию? Лишь бы сровнять город с землей, смешать людскую кровь с пылью, чтобы на месте погрома прекратилась жизнь, чтобы только волки рыскали по безлюдью! Добро бы — мужчииа вышел иавстречу, способиый бороться, померяться силами! Одио бабье да ребятишки. Грешно для воииа тягаться с иими...» Раздосадованиый, ои хотел было крикнуть: «Прекратить!»— ио перед взором его появилось холодиое лицо кагана, его блестящие, злые глаза, киижал с золотой ручкой... Он молча сел на коия и рванулся в иочиую степь...

Ночь. Много страшных таииств успела свершить она под покровом темноты, пока не занялся рассвет. Ночь согнала городской народ в одну из башен, подожгла ее. Разразилась довольиым хохотом, когда увидела, как корчатся люди в муках. Резвилась, заигрывала с огнем, чтобы ярче пылал, раскалял глииу. Железные клинки нагревались докрасна. Как вопили раиеные, когда горячие лезвия пронзали тело! Что-то дьявольское, ужасное было в сегодияшиих проделках иочи. Только рассвет остаиовил ее безумство.

Робко встает над горизоитом солнце, иевииное, как слеза. На губах его теплится улыбка. Солице преисполнено любви к людям. Смеется, довольное свиданием с землей. Проливает снопы света, чтобы показать, как близко ему все живое, как радостно видеть жизиь иа земле!

Первым делом лучи прощупали зелеиые склоны гор Каратау. Затем согрели развалины Баба-аты. Долго бродили здесь в поисках живого, ио груды песка и камией оставались безмолвными. Застыл сиротливо иа дороге мальчик — солнце пригрело его. Серебристо зазвенела речка Акуюк, позвала к себе. Лучи уперлись в пещеру Катынкамал, где недавно укрывались женщины,

пряталась Каракыз, сестра Сарымсака. Тщетно вызывало ее солнце. Девушка не появлялась. Ушли лучи, оставив на камне перед пещерой капельки росы, сверкавшие, как слезы.

Вот и перевал. Лучи скользнули по разбитым улицам Тараза. Город осел, упал ничком, как батыр, свалившийся с седла. Ветер гулял по развалинам. Голубые купола, дома с затейливыми орнаментами, арыки с ключевой водой покрыла пыль. Там и тут выползали из-под развалин старики, оборванные, с трясущимися от страха и немощи руками. Они копались в мусоре, отыскивая съестное. Глухой их кашель сдувал пыль, толстым слоем осевшую на город. Наконец добралось солнце и до Саурана, дымившегося, как полуистлевшая головешка. Не выдержало светило, остановило свой путь. Застыло в самом зените. Горячие лучи продолжали литься на землю, стараясь оживить трупы, пробудить жизнь. Но все было недвижно. Мертвецы не нуждались более в солнце, согревавшем тела, в мареве, утешавшем сердце, в ветре, освежавшем грудь...

7

Горячий воздух обжигает лицо. Пыль застлала все пространство между землей и небом. Выжженная солнцем степь под пятой монголов. Высохшая от ветра земля... Народ, угрюмо ожидающий смерти... Толпы беженцев колесят по горам и равнинам, ища приюта. Полынь засохла, примятая копытами и песком. То был месяц Қыркуйек, год Змеи.

Чингисхан, следовавший на коне, поднял правую руку. Двухсоттысячное войско, рекой разлившееся по степи, остановилось. Впереди на гребне — Отрар.

Темная крепость необыкновенно высока. Там и тут хорошо защищенные сторожевые вышки. Сквозь смотровые щели видны сарбазы, сидящие наготове. Вокруг крепости — глубокие рвы. Видно, люди здесь давно начали готовиться к обороне.

Да, это не китайский город, что ткнешь копьем — и валится набок. Люди тоже не те. Умирают, ни слова не произнеся о пощаде. Загорелые, смуглые, с лицами, исколотыми полынью, стоят они и не шелохнутся, хоть кол на голове теши.

Чингисхан отправил к Отрару войско под началом

сына Жагатая. Свой большой шатер велел раскинуть здесь же, напротив города.

Сойдя с коня, он долго прохаживался взад-вперед. За ним следовали семь его торгаутов. Они оберегали повелителя от дурного глаза, от завистливой руки. Стоило воробышку чирикнуть рядом, как семеро хватались за оружие.

Повелитель, подняв к солнцу блестевшее от пота лицо, задумался. Скоро зима, уже стали гулять по полу шатра холодные сквозняки. Пора покончить с этими проклятыми кипчаками. Каган расправил тоненькую полоску длинных усов. Сплюнул через желтые зубы.

Рашид-ад-дин, наблюдавший за каждым движением бровей кагана, приблизился к нему.

— Жошы с войском пойдет вниз, на Сыганак. Жагатай и Укитай останутся здесь. Я поверну к Бухаре. Если возьмем этот город, шанырак[1] Хорезма рухнет сам собой,— говорил Чингисхан. Слова — точно гвозди, вбиваемые в стену. Обрывистые, чеканные фразы кагана тут же ложатся на бумагу.

Полководец увидел бежавшего к нему среднего сына — Жагатая. Сложив по-восточному руки на груди, тот склонился перед отцом.

— Говори!

— Отрар не сдается. Стрелы пускают... кидают камни... Многие мои люди погибли... Придется брать приступом...

— Учись воевать!— голос кагана был жесток и холоден.— Жителей запри в крепости. Город разгроми! Круши, поджигай, стирай с земли! Превращай в житницу дьяволов! Пусть степь не любуется больше своей крепостью! А этого негодяя Кадыра живым приволоки ко мне!

Жагатай исчез, точно его ветром сдуло.

Задыхаясь от злости, Чингисхан вошел в свой просторный светлый шатер. Тяжело опустился на золотой трон. Уже под семьдесят кагану, старое сердце нелегко успокоить. В шатер вполз слуга, принес свежее кобылье молоко. Подкрепившись, каган приказал привести пленника.

---

[1] *Шанырак* — потолочный круг деревянного остова юрты. У казахов и других восточных народов символ родового могущества, семейный фетиш.

Плеииик был изможден, едва держался на ногах. Это единственный торговец из караваиа Омара, которому чудом удалось спастись. Он-то и прииес Чиигисхану ужасиую весть о гибели караваиа. Видел, как казиили Омара.

Каган желал вытрясти из этого полуживого торговца все, что тот зиал об Отраре. Велел ему говорить. Рашид-ад-дии иачал записывать. Бедияга говорил быстро, дрожащим голосом:

— Повелитель, в этом городе тридцатитысячиое войско. Воины хорошо обучеиы, все как иа подбор храбрые джигиты. Крепкие, как камии. Бесстрашиые, как степные соколы. Возглавляет их Кадыр-датка. К тому же хорезмшах перед самым иашим прибытием прислал туда подмогу во главе с полководцем Карашой...

Чиигисхаи поднял руку:

— Довольио, все это иам известно. Мы пока не знаем, как живет населеиие Отрара. Чем промышляет? Сколько жеищин в городе? Какого происхождеиия жители?

Торговец залопотал снова. Рашид-ад-дии иеодобрительио поглядывал иа него, ие успевая записывать.

— Жители едят что попало. Все, кроме червей. И зверя, и скот, и даже птицу, летающую в облаках. Еще что интересно — питаются оии и тварью, живущей в воде. Сеют траву. Когда поспевает, срезают верхушки, перемалывают и едят...

— Чего?— привстал с места Чиигисхан.— И траву едят?!

— Нет, только верхушки. Перемалывают и едят. Как белая пыль получается.

«Да, так ведь это твари, питающиеся сеиом!»— подумал про себя каган и снова дал зиак: «Говори!»

— Да, сено едят. Женщии в городе миого. Как раз половииа будет. Все тоиенькие, стройиые, со смородиновыми глазами. Очень выносливые, всю работу сами делают. Происхождеиия кипчакского. Называют оии себя коират. Значит, проживает здесь род Конрат, таксыр[1].

Каган задумался. Глаза сузились, тоиеикие усы подрагивали на губе. Лосиящееся жиром лицо блестело, вены иа висках вздулись. Чиигисхаи почувствовал вдруг себя легко, бодро.

---

[1] *Таксыр* — господин.

Позвал младшего сына Укитая.

— Первым делом гоните к городу пленных конратцев. Заставьте их лезть на стены. Дайте им в руки знамя рода. Обратитесь с кличем к воинам. В городе баб, говорят, много. Те, кто войдет в город, возьмет их себе, сколько душе угодно. Разрушьте все трубы с водой. Чтобы и капля воды не просочилась к ним. И за воздухом следите. Чтобы и птица не пролетала. Заморим их голодом!

В это время в шатре появился Жагатай, растерянный, запачканный кровью. Забыл даже поприветствовать отца. Едва переводя дыхание, заговорил:

— Камнеметы бессильны... Камни до стен не долетают... Лестницы сбивают мешками с песком... Мочи нет...

Каган пришел в бешенство. Глаза едва не полезли из орбит. Подернутые желтизной белки потемнели. В углах рта выступила пена. Рявкнул что есть мочи:

— Ступайте немедленно! Пусть гибнет войско, но город возьмите! Воины мне нужны, чтобы покорять народы, чтобы города разрушать! Уничтожайте, уничтожайте!

Сыновья молча вышли.

Чингисхан опустился на конскую шкуру, служившую подстилкой. Потребовал иримшика[1]. Потом съел кусок жирового слоя из-под гривы лошади. Запил свежим саумалом — кобыльим молоком и откинулся на подушки. Неслышно ступая, в шатер вошла старшая жена — Борте, начала разминать ему ноги. Каган не заметил, как уснул.

Приснился ему сон. Будто стоит он во главе многотысячного войска и покоряет одну землю за другой. Не одного хана привязал к конскому хвосту и пустил в степь на смерть... От потомков их тоже и следа не оставил — велел вырезать им сердца. Жен присвоил себе. Все подчинено одной цели — уничтожению! Встретит город на пути — обращает в пыль. Надоело ему, истосковался по песчаным гребням с куланами, по родной земле. Решил повернуть он коня назад. Вот и земля, его родина... И что же? Не верит своим глазам, волосы на голове встают дыбом: пустынная земля, на которой родился, тоже полна городов. Разгневался, велел воинам

[1] *Иримшик* — сушеный творог.

разрушить города. Те не двинулись с места. Смотрит — а в городе его дом, его дети и жены. Осердясь, подскакивает сам к воротам, толкает их, пытаясь свалить. Крепость большая, высокая. Не поддается. Наконец зашаталась она, упала и придавила его своей тяжестью. Вот-вот задохнется. Дернул ногой — проснулся. Шепчет пересохшими губами: «Город, город...»

Оказалось, Борте сжала его в своих тяжелых объятиях. Рванувшись из-под грузного жениного тела, он пнул ее в живот.

Рассветало. Степь просыпалась, приходила в движение. Множество людей расползлось по ней, они похожи на муравьев с оружием в лапках. Миг — и муравьи выстроились в цепь и двинулись к стенам Отрара, за леком лек, за рядом ряд. Одни волокут лестницы, другие — арканы. Дикие гортанные вопли наполняют степь ужасом. Муравьям нет числа. Они ползут и ползут вверх по лестницам, невзирая на град камней и стрел. Пыль стоит столбом, застилает глаза.

Қаган, издали наблюдавший поле боя, сел на коня. Он намерен идти со своим войском на Бухару через Кызылкумы. Действиями своих двух сыновей он остался доволен. Они не растрачивали попусту сил, гнали на лестницы в первую очередь пленных. Глубокий ров вокруг города быстро наполнялся трупами.

Это была уже седьмая атака Жагатая. И военачальники, и воины не помнили счета утрам, которые они встречали здесь, под Отраром. Будь прокляты эти кипчаки! Қамни, градом сыпавшиеся со стен, убивали не только пленных. А мешки, набитые песком! Они, наверно, запаслись ими на год! Вот и сиди теперь с войском под этим проклятым городом, жди удачи, отвернувшейся от монголов.

Большой Муравей нехотя поднялся с места. Спина, обожженная вчера кипятком, ныла. Все тело было разбито, усталость валила с ног. Насупившись, он пошел к коню, но тут же раздался пронзительный окрик:

— Эй, куда идешь?! Белены объелся, что ли, все вокруг коня крутишься! А ну, распрями поясницу! Сегодня же возьмешь сотню и пойдешь на город! По стене полезете! Скоро настанет день, когда врукопашную сразимся, один на один. Тогда и насидишься на лошади!

А сейчас город надо брать, город! Чего кривишься? Там, говорят, богатств несметных столько, золота, серебра... А баб красивых!.. Первым войдешь — начальником сотни станешь!..

«Э-э, на кой все это?— думает Большой Муравей.— И бабы, и серебро... Лучше скажи: «Помирать иди!» Многие уже померли. Те, что в город войти хотели. Уж если ты такой батыр, сам бы полез, пример показал. И какие там красотки? Одни дьяволы да джинны... И не подохнут ведь. Да, что ни говори, а лучше рукопашной нет ничего. А тут — свалится камень, и подыхай, поминай как звали! Сгниют косточки в кипчакской степи!»

На Большом Муравье лица нет. Боится. Уж сколько смертей видел, а такого, как вчера, наблюдать не приходилось! Лез он за одним, скорчившись, по лестнице. Вдруг на лицо шмякнулось сверху что-то скользкое, холодное. Потом еще, да прямо в руку попало. Глянул — о, ужас! Дохлая кошка. Разлагаться уж начала, будь она проклята! Затошнило его, сердце к горлу подступило. Содрогнулся от отвращения, разжал руки и грохнулся на землю. Когда открыл глаза, увидел, что лежит среди мертвецов. Сражение закончилось. Кругом тихо. Пестрая ворона сидит на трупе рядом. Обед, видно, по душе птице, она довольно произносит между делом: «Как, как!»

Он с трудом поднялся и потащился от крепости. Надо было бежать, пока голова цела...

Но беда, как говорится, не приходит одна. Навстречу ему вышел караульный из войска Укитая. Раскричался так, будто лазутчика поймал. Всю глотку себе, поди, надорвал. Взмолился Большой Муравей, стал его успокаивать: «Родной, в могиле бы тебе так реветь, я ведь такой же человек, как и ты. Зачем тебе это геройство? В коржуне[1] у меня драгоценный камень с кулак. Возьми его себе, только замолчи. И у меня дети, жена на родине есть». Тот, видно, уразумел, что к чему. Может, землю свою вспомнил, а может, камень поперек горла встал, только замолчал. Но все равно бессовестным оказался. Давай, говорит, камень — и все тут.

Ну и болела потом душа от обиды! Берег он этот камень. В стольких сражениях участвовал, столько раз подставлял голову под клинок — и выжил! Как-то, впер-

[1] *Коржун* — переметная сума.

вые пустившись на разбой в городе, наткнулся на этот камень. И вот он уплывал из рук. Как знать, вернулся бы он на родину, вышел бы навстречу сын, спросил: «Отец, в скольких городах ты побывал?» Что бы он ответил? «С десяток разорили...» А сорванец бы дальше: «А что ты привез для нас?» Что он покажет? Худого, заезженного коня под собой? Или разодранный вконец чапан? Пропади пропадом такое воинство, такое геройство! «О-о,— протянет небрежно мальчик,— я думал, у меня отец — батыр, а он убегал, как заяц...» Отвернется от него босоногий пострел. Так не лучше ли в землю лечь, чем услышать подобное от сына?

Мрачные были мысли у Большого Муравья. Сегодня он должен поднимать сотню в наступление. День туманный. На западе клубятся тучи. Поднялся ветер. Видно, осень близко. Надо бы хоть чапан себе подобрать потеплее, после боя стащить с какого-нибудь мертвеца...

Взобравшись на коня, он увидел Жагатая, неприветливого, как осенний день. Наверное, решил понаблюдать самолично, как они будут наступать. Спасите, духи, славного бахадура! И нас, простых смертных, не забудьте!

Большой Муравей подбежал к стене, ловко приставил лестницу, начал карабкаться по ней. Рядом ползли другие. У всех к поясам привязаны еще веревочные лестницы. Когда кончаются деревянные, они закидывают вверх арканы. Те, что наверху, если заметят, перерезают аркан, и летишь вверх тормашками. Одно мокрое место остается. Чтобы этого не случилось, надо пускать стрелы, метать копье, одним словом, уничтожать противника, ожидающего наверху. Надо действовать, чтобы спасти себя.

Между тем самое трудное только начиналось. Мешки, наполненные песком, тяжело пролетали мимо. Большой Муравей карабкался, лез вверх, молясь всем духам. Чья-то голова мелькнула на стене — он пустил стрелу. Попал, видно, потому что голова исчезла. Потом со стен стали поливать кипятком. Обожженная спина заныла, как будто ее посыпали солью. Внутри стало горячо, словно кипяток лили ему в рот. Терпеть не было мочи, он едва не отпустил лестницу, напряг последние силы, сжал челюсти и продолжал карабкаться. Прицелившись, снова пустил стрелу. Но и у самого заволокло глаза туманом, закружилась голова, когда чей-то удар пришелся в

цель. Смерть ждала и впередн, н сзади, он понимал это.

Оглянулся назад — за ннм никого. Черных точек на лестнице осталось совсем немного.

Только теперь он понял, как отчаянно защищаются горожане.

Вот и кончнлась лестница. Дальше путн нет. Дальше стена крепостн высотой в рост человека, вся забрызганная кровью. Илн камень, илн стрела — одно из двух,— и он полетит в пропасть. Помолившнсь еще раз духам, Большой Муравей что есть силы метнул вверх веревочную лестннцу и при этом увндел, как громадный черный верзнла над его головой поднимает со стены увесистый камень. Он зажмурился, но удара не последовало. Большой Муравей застыл в напряженнн. Или тот, наверху, поразился наглости монгола? Почему он не бьет? Хочет подпустнть ближе, чтобы ударить прямо по лбу? Бросай же, дьявол тебя забери, свой камень!

Удара не последовало, н Большой Муравей снова полез наверх, то лн от злостн, то ли от сознания своей беспомощности. Стрелы у него кончнлнсь, саблю пришлось бросить по пути. Он один повис между небом и землей на громадной высоте. Там, вннзу, все разинули рты от удивления. Наблюдалн за каждым его движеннем. Рука ухватилась наконец за выступ, казавшийся снизу крохотным. Еще рывок — и он на стене!

Стена шнрнной в два обхвата. И он стонт на ней! В руке обрывок аркана, лнцо в кровн и пылн. Впередн снова вырос черный верзнла. Подошел, ткнул его рукой в плечо, н, перевернувшнсь в воздухе, плюхнулся Большой Муравей на землю с внутренней стороны крепости. Лежал и корчнлся от боли в отрарской пыли. Наконец привстал, огляделся, беспомощно хлопая реснннцамн.

Кругом было полно женщнн. Они орали и размахнвалн кулаками, готовые растерзать его на части. Он закрыл глаза, обессиленный от напряженння и страха.

Так вот они, отрарскне смородиновые глазкн! Ишь, и на мужчнну, бесстыжне, замахиваются! Ну н дурни мы былн, что верили россказням про красоток. Так, значнт, это они, бестнн, обливают кипятком со стен. Э-эх, если бы встретнться с вамн в другом месте!..

Большой Муравей попытался оценить свое положенне. Он — в стане врага, однноккй, безоружный... Все его геройство улетучнлось как дым. Никто даже не узнает о его гибели. И так ему стало горько, что заплакал

навзрыд. Подумал о родине, о земле, о детях. О тех, кто остался за стеной, о тощей своей кобылице, прнвязанной к пике. Забыл даже отправить ее попастнсь... Разрыдался еще сильнее.

Сарымсак, подошедший к нему, чтобы срубнть голову, остановнлся в недоумеинн. Почесал затылок. Что с иим? И мужчнна, оказывается, плачет! Как бы не баба это была, переодетая в мужское? Он взял за подбородок, поднял голову, всмотрелся в лнцо. На губах пробивалнсь редкне усы. По щекам расплывалнсь грязные потеки. Сарымсак отвернулся, презрнтельно сплюнул и пошел прочь.

Нарыдавшись вволю, Большой Муравей встал н огляделся. Народ кругом был занят делом. Ннкто уже не обращал на иего внимаиия. Женщнны сндели неподалеку н перешивалн чапаны н шаровары в мешкн. Другне наполняли готовые мешкн песком. Юношн, сгибаясь под тяжестью ноши, волоклн эти мешкн наверх, на стены.

Большой Муравей, косолапя на крнвых ногах, поплелся вдоль стеиы. Так нскривляются ногн у человека, много временн проводящего на коне. Узкне глаза его остаиовнлнсь на полуголых, в лохмотьях ннщнх. «Несчастиые, нашли где нскать приют,— подумал ои.— Бродили бы уж по степн да мышей ловнли... Э-эх, людн!..»

Только теперь он почувствовал нестерпимый голод. Потянуло конским духом. Мнмо проехал иебольшой отряд сарбазов. Под однhм нз ннх конь был серый в яблоках, да такой, что глаз не оторвешь! Пружнннт на ходу. Хвост н грнва длнниые, спина прямая, плотная, широкая грудь, краснвый нзгнб шен. Если бы мог он приблизнться к этому коню! Ои вонзил бы в его шею свой острый ножик, прнсосался бы к свежей ранке, насытнлся теплой конской кровью. Сколько уж временн не пробовал он свежей конской крови! Истекая слюной, побежал Большой Муравей пыльиой дорогой за всадиикамн.

Перед глазами неотступио маячнл серый в яблоках конь, его иежная, подрагнвающая иа горле кожа... Ногн споткнулись обо что-то. Дохлая собака. Моигол постоял немиого и сиова затрусил вперед. Что нн говори, а он остался жнв. Положенне его было довольно сносиым. Он даже замурлыкал что-то от удовольствня, как будто забыл про все свон горестн. Что бы там нн было, он жнв, а что может быть лучше этого? Коли на то по-

шло, ему все равно, кто победит — кипчаки или монголы. Главное — жив он, Большой Муравей!

Он продолжал, как голодный пес, трусить за серым в яблоках конем. Всадники спешили. Остановившись перед Кумбез-сараем, они сошли с коней и скрылись за большими воротами. Кони, привязанные к столбам, нетерпеливо перебирали копытами. Рядом никого не было видно. Вытащив острый складной ножичек, который всегда был заткнут за пояс, Большой Муравей стал подкрадываться к лошадям. Серый в яблоках начал тревожно прядать ушами. Монгол со слезящимися от вожделения глазами подступил к коню, не отрывая глаз от жилки, трепетавшей на горле животного. И когда он был уже близок к цели, железное копыто серого шибануло его по лбу. В глазах потемнело, липкая теплая влага потекла по лицу. Покружившись на месте, Большой Муравей рухнул на землю. Душа его поспешила расстаться с телом. Мир навсегда исключил из своей памяти Большого Муравья.

Арыстан, выбежавший на улицу, увидел под копытами Сумбиле грязное, растерзанное тело в лохмотьях. Лицо мертвеца было залито кровью. Неподвижно застыли зрачки, уставившись в бездонную синеву неба. Бормоча что-то, Арыстан склонился и прикрыл ему глаза.

Вскочив на Сумбиле, он помчался по улицам.

Вот уже третью луну подряд враг пытался приступом взять город. Кажется, нет конца дням тревоги и беспокойства. Все, кто мог держать в руках оружие, день и ночь проводили на стенах крепости. У очагов оставались хозяйничать старики да дети.

Арыстан подскакал к убогому домику в Пышакшы. Старый Шамиль перед дверью обстругивал секирой сухое дерево. При каждом толчке смешно подрагивала его редкая бороденка. Он настолько увлекся своим занятием, что и не заметил подошедшего к нему сына.

— Ассалаумагалейкум! Что это вы делаете, отец?— спросил Арыстан, присаживаясь рядом на корточки.

— А-а, это ты? Чего спрашиваешь? Надо работать, коли живешь. Столбики вот делаю, чтобы коней привязывать. У тебя вот конь есть, у Кадыр-датки есть. А вдруг пожалует когда, вот и привяжем его иноходца.

Столбик — вещь нужиая в доме. Оиа красит мужчину. Ойбай, поясницу заломило, аж искры полетели... Ну что ж, проходи!— Корчась и стеиая, отец подиялся с места.

Пригиувшись, чтобы ие задеть иизкую притолоку, Арыстаи вошел в дом. Из темиого угла доиосилось чье-то приглушеииое бормотаиие. Послышался голос деда:

— Эй, это ты, Арыстаи?! У, иегодный! Совсем дорогу к дому забыл! Пропадешь ни за что под стрелами! А я уж стар, ие могу помочь вам. Сижу вот в этом углу и молюсь всемогущему, чтоб удачи дал, исполиил наши желаиия. Ай, Шамиль, подай-ка мие мою палку!

Тяжело опираясь иа посох, еле переставляя слабые ноги, подошел ои к Арыстану, обиял, прижал к себе рукой, еще ие потерявшей силы. Подбородок его задрожал, старик разволиовался. Слабым голосом прошептал:

— Как там иа крепости? Отогиали их?

Усадил Арыстаиа рядом. Хлопиул ладоиью по старому тулаку, подияв пыль. Отец, похрустывая больными суставами, пристроился сбоку.

— Сражение протяиется, пожалуй, долго.

— А силы иаши как?

— Пока силы есть. Загвоздка в другом. Среди сарбазов волиеиия начались. Сдадимся, говорят.

— Почему?— Оба старика испугались.— О, да иакажут их духи предков! Зачем тогда саблю в руки брать? Лежали бы дома с бабами! Кто это так говорит?

— Полководец из Хорезма, Караша.

Старики были обескуражеиы иовостью. Обоих распирала досада иа хорезмского пришельца. Да будь ои проклят трижды, говорили оии, почему о духах предков своих ие вспомиит? Разве ие орошеиа их кровью эта земля!..

Желая успокоить стариков, Арыстаи стал рассказывать им о сегодняшием сражеиии. Бой был кровопролитиый, миогих монголов уиесла смерть. Отрарцы оказали отчаяииое сопротивление. Возле крепости вся степь покрыта трупами. Дунет ветер — и иесет оттуда трупиым запахом. Центральные ворота малость потрескались, их тараиили бревиами. Пришлось заложить с виутренией стороны камнями, так что стеиа теперь сплошь камениая. Связь с внешним миром оборвалась. Нет вестей и от хорезмшаха Мухаммеда. Если верить Узун-кулаку[1] Бу-

[1] *Узун-кулак* — буквально: длинное ухо; молва.

хара сдалась. Сейчас только один Отрар держится против монголов.

Арыстан стал расспрашивать стариков о житье-бытье.

— Живем помаленьку. С посудой и очагом помогает управляться соседская девчонка. Целыми днями пропадает здесь, возится с обедом. Хорошая такая девочка. Так и носится по двору, как птаха...— Отец на все лады пошел расхваливать Нур. Потом поделился тайной:— Дед сговорил ее за тебя. У нее только мать. Отец-рыбак, ты помнишь, утонул, ловя эту мокрую тварь.

В разговор вмешался дед:

— А чего раздумывать? Лучше невесты все равно не найдешь. Думаешь, молода еще? Или хочешь на старой жениться, а?.. Поговори с ней, женись. А той отпразднуем, когда враг отойдет. Ничего, все наладится!.. Не будешь же одиноким мотаться из-за того, что монгол пришел? У нас, сам видишь, кости уже рассыпаются. Не дурачься, послушай совета, прояви почтение к духам предков...

Арыстан вышел на улицу, снял с Сумбиле седло, подвязал коня к кормушке с отрубями. Проголодавшийся жеребец уткнулся мордой в корм. Исхудал Сумбиле. Под кожей проступили ребра. Хвост истрепался, поредел. Жалко Арыстану коня. Погладил ласково по крупу, под ушами. Животное приняло ласку, всхрапнуло.

Рядом, изгибаясь тонким станом, прошла девушка в поношенном, выцветшем платье. Голову прикрывает шаль с кисточками. Он узнал Нур, подошел к ней, поздоровался. Девушка смутилась, отошла, встала к нему боком. Все такая же дикая, пугливая. Под темными бровями светятся круглые большие глаза, черные-пречерные, как ночь, полная тайн. Под глазами едва приметные тени. Лицо бледное, не то от усталости, не то от волнений последних дней

— Нур, а ты выросла!

Девушка молча опустила глаза.

— Почему дрожишь?

Дрожала не девушка, а его рука. Он стоял напряженно, не решаясь подойти ближе. Хотелось произнести слова, которые приготовил заранее, но они вдруг вылетели из памяти. Арыстан смущенно покашлял, вздохнул, не отводя глаз от девушки. Нур стояла безмолвно, низко опустив голову. Решившись, он обнял ее за талию, при-

влек к себе. Рука у джигита сильная. Румянец набежал на щеки девушки. Приблизив к ней лицо, зашептал:

— Похорошела ты!..

Нур рванулась из рук, опрометью кинулась к дому и скрылась за дверью. Черные глаза так и не глянули на него.

Непонятное чувство томления захватило Арыстана. Поглаживая себя по груди, там, где сердце, прошелся он взад и вперед по двору. Почесал наголо обритую голову. Слегка косолапя, направился к колодцу с высокой бадьей.

Подступала осень, холодная, угрюмая, с пронизывающими ветрами. Прощаясь с родной землей, улетали на юг журавли. Курлыканье их навевало печаль. Солнце словно нехотя всходило над горизонтом и все чаще пряталось за тучи, заволакивавшие небо. Проглядывая на землю, оно дарило ей сноп лучей и снова исчезало.

Все коварнее и изощреннее становились попытки монголов взять город. Теперь они шли на приступ не в одном месте, а по всей стене. Тысячи осаждающих одновременно карабкались по лестницам вверх. Это заставляло горожан распылять свои силы, и отпор заметно слабел. Крепость оседала, разваливалась. Кончались камни, все труднее было заделывать бреши в стенах.

Но по-прежнему все мужчины города были на стене. Они готовы были стоять до тех пор, пока кривая монгольская сабля не снесет им головы. Женщины неутомимо перевязывали раненых, волокли их домой. Шили мешки, набивали песком. В городе между тем начался голод.

Арыстан по зову подъехал к Кадыр-датке. Тот внимательно осмотрел юношу. Джигит молод, но не знает страха. Горяч, с сильной хваткой. И сложен богатырски. Голова, выбритая наголо, прочно сидит на плотной шее. Смех тоже богатырский. Все кругом будто сотрясается от его хохота.

— Мы хотим довериться тебе, Арыстан,— сказал Кадыр-датка.— Видишь, народ начинает голодать. Воины режут коней, чтобы прокормить себя. Если будет продолжаться это и дальше, не миновать беды. Многие пали духом. Особенно не внушают доверия воины Караши. Конь твой еще крепок...— Кадыр провел рукой по гриве Сум-

бие.— Ночь сегодня будет темной. Дам тебе в помощь десять джигитов. Совершите нападение на ближайший вражеский стан. В бой вступать не обязательно. От вас требуется одно — выкрасть у них лошадей и пригнать к нашим воротам. Это хоть ненадолго спасло бы народ от голода. Выполнишь?— Он пристально глянул в лицо Арыстану.

Тот молчал, только блеснул белками глаз.

Кадыр не стал дожидаться ответа. Понял по глазам: джигит решился на вылазку, положившись на судьбу.

С заходом солнца ветер усилился. Наступила ночь, темная — хоть глаз выколи. В степи ветер свистел и выл, поднимая тучи песка. Десять сарбазов во главе с Арыстаном были готовы к вылазке.

Тихонько заскрипели единственные уцелевшие ворота в западной части города — петли на них истерлись от времени, арканы подгнили. Открылась щель, достаточная для того, чтобы проехал всадник. Джигиты проскользнули наружу.

Вечером, когда еще не заходило солнце, они хорошо рассмотрели расположение врага. И теперь, не теряя времени, быстро продвигались вперед. Черные лошади, черные накидки, черная ночь. Ветер пробирал сквозь тонкую одежду. Воины продрогли.

Впереди блеснул огонек. Прильнув к гривам лошадей, они долго всматривались в темноту, прислушивались, принюхивались к запахам. От вражеского лагеря донесся пронзительный вопль. Истязали пленных. Сумбиле, вздрогнув, замер на месте. Кто-то ехал мимо, напевая, нелепо размахивая руками. Арыстан натянул лук и пустил стрелу в сторону голоса. Всадник издал глухой вопль и замолк. Арыстан подскочил, схватил под уздцы освободившегося жеребца.

Вскоре донеслись запахи жилья — наверное, недалеко был стан.

Лошади, связанные попарно, стояли в стороне. У каждой юрты, скрючившись, сидел охранник. Арыстан дал знак следовавшим за ним джигитам. Те сошли с коней и поползли вперед. Сам он подкрался к охраннику, сторожившему лошадей, и со всего размаха всадил ему в спину нож.

Пробежав дальше, Арыстан полоснул кинжалом по длинному аркану, к которому были привязаны жеребцы. Около двадцати лошадей пугливо заплясали перед ним.

Все — хорошо обученные, натренированные тулпары. Арыстан вскочил на Сумбиле и, держась подветренной стороны, хотел было погнать лошадей. Но остановился, придержал поводья. Дрожь пробежала по спине.

Сзади раздался душераздирающий вопль, потрясший ночь. Он узнал голос Топана, одного из своих джигитов. Сердце застучало в груди. Велел джигитам гнать лошадей, а сам задержался, поджидая остальных. Вот присоединился к нему с добычей Сарымсак, за ним — братья Амир и Темир, погонявшие впереди целый косяк. Кони запотели. Почуяв незнакомую руку, начали всхрапывать, ржать. Показался бежавший от преследователей Топан. Одной рукой он прикрывал голову. За ним гналось несколько человек. Медлить было нельзя.

Косяк лошадей шумно рванулся с места. Вражеские стрелы проносились мимо. Те самые монгольские стрелы, что своим тонким свистом приводили в трепет обреченных и разили беспощадно. Ветер усилился. Джигиты гнали лошадей, приблизительно угадывая путь.

Когда до ворот оставалось уже немного, они перестроились. Лошадей погнал вперед ловкий, сообразительный Сарымсак. Арыстан отстал на случай, если Сарымсак будет долго искать ворота. Надо было отвлечь, задержать преследователей.

Натянув поводья, он повернул Сумбиле обратно. Прицелился из лука, пустил стрелу в сторону, откуда неслось дикое монгольское «кху!..» Стрела, видно, прошла мимо. Расстояние сокращалось. Полетела вторая стрела, нацеленная в грудь скакавшего впереди монгола. И она ушла в степь. Зазвенели скрещенные сабли.

Сумбиле еще не доводилось участвовать в таких схватках. Поэтому вел он себя недостойно: изворачивался, уходил от противника. И Арыстану волей-неволей приходилось обороняться. Быстро приближались остальные преследователи. Еще немного — и его сомнут, раздавят... Арыстан взмахнул саблей, еще раз — и рука монгола беспомощно повисла на шее лошади, зацепившись за гриву.

Арыстан повернул Сумбиле. Уж в скачке Сумбиле был недосягаем. Ветром домчался до косяка, приближавшегося к городу. Джигиты зашли с разных сторон, под командой Сарымсака начали проталкивать лошадей в ворота. Когда весь косяк был за стеной, сторожа мигом перерезали толстый аркан. Тяжелые трехстворчатые во-

рота с грохотом закрылись. Кто-то пронзительно завопил снаружи. Наверное, это был Топан. Несчастный заплутал в темноте и опоздал. Вопль его долго еще носился за крепостью, потом утих, проглоченный расстоянием. Видно, сарбаза схватили монголы.

Начало светать. Из-за края туч показался кусок голубого неба. Ветер затих. Вдалеке завыли волки. К ним присоединились одичавшие собаки. Город просыпался.

Из десяти джигитов, ушедших в ночь, вернулись только четверо. Очутившись в крепости, они в изнеможении попадали с коней.

По лицу Кадыр-датки, встречавшего сарбазов, покатилась слеза. Он подошел к Арыстану, прижал его к груди. Постоял так немного. Собравшийся народ изумленно взирал на них.

Лошадей поделили поровну на каждый дом. Истощенные старцы с дрожащими подбородками уводили лошадей, громко выражая Кадыр-датке свою благодарность.

Тут же все бросились заделывать бреши в крепости. Надо было спешить — с рассветом монголы опять пойдут на приступ.

Хорезмский полководец Караша взобрался на одну из башен и пришел в ужас. Отступил назад, пятясь, налетел на сарбаза. С головы свалилась чалма. Сарбаз изловчился, подхватил чалму на лету, подал полководцу. Тот взял ее дрожащей рукой и, показывая в сторону монголов, пролепетал:

— Ты посмотри на них! Ведь земли не видно! Как муравьи! Разве их истребить?! Они не остановятся, пока не возьмут город. А эту крепость руками свалят. Посмотри, какими ровными цепями идут. А возглавляют их Жагатай и Укитай. Уничтожат они нас, истребят! И почему бы не отдать им этот проклятый город? Сколько воинов моих погибло, защищая черных кипчаков! Уа, господь, да лучше бы мне в Самарканде сидеть, чем кровь проливать за этот несчастный Отрар. Ну и дуралей я. Вон опять выстраивают цепи. Сдаваться надо, сдаваться! Уничтожат они нас, перебьют, никого в живых не оставят!.. Смотрите, ойбай!..

— Головы спасать надо! Сдадимся!— заявил полководец Караша.

— Будем сражаться!— возразил Кадыр-датка.

— Ты о себе печешься. Но Чингисхан все равно отомстит тебе, независимо от того, сдашься ты или нет. На одной твоей шее кровь четырехсот пятидесяти торговцев. Мы не хотим погибать из-за них. Пожалей народ. Зря кровь проливать будешь! Хватит, хватит!

— Караша, не оставить ли нам пустые разговоры? Или ты не знаешь, каков Чингисхан? Так не лучше ли погибнуть в бою, нежели позорно подставить голову под клинок монголов и отдать на растерзание наших жен и детей?

— Хватит, довольно! Ты думаешь лишь о себе! Склоненную голову меч не сечет!

— Прекрати вздорные речи! Мои воины, мой народ никогда не сдадутся! Да простят тебя духи предков! Можешь не кичиться своей помощью нам. Слишком ничтожной была она! Только речи да гарцевание на конях. Гой-гой!..

— Значит, поел — и чашку ногой, да?

— Одно из двух: или будешь драться в кровопролитной схватке или сядешь в зиндан[1]. Даю на размышление один день!

Караша обезумел от ярости. Наговорил много нехороших слов. Датка не выдержал, в гневе ударил его по голове тяжелой рукой. Караша устремился к сабле. Сарбазы едва разняли сцепившихся полководцев. Дело оборачивалось плохо. Войско разделилось на две части. Среди сарбазов начались волнения.

Караша поднялся в полночь, пошел на стан, где были его люди. Поспешно отдал приказ — взяться за оружие. Перепуганные, ошеломленные нежданным распоряжением воины становились в строй. Рыскали в темноте, отыскивая лошадей.

Скорым шагом сарбазы Караши добрались до городских ворот. Стражники, держа наготове клинки, стали выяснять, в чем дело. Куда, зачем, по чьему приказу.

«Ойе, Караша в наступление идет? Ну что ж, сынки, возвращаться будете — коней пригоните побольше. Го-

[1] *Зиндан* — подземная тюрьма.

лодаем. Наполните наши желудки, как Арыстан. Э-эй, как тебя там, накинь на ворота аркан. А ну, джигиты, потянем!»

— Пригоним лошадей!— пообещал Караша.— Только откройте быстрее. Ну! Рассветает уже. А ну, поднала́гте-ка все, ну!

Тяжелые ворота поднялись на высоту роста крупной лошади. Жалобный, тоскливый скрип разнесся над крепостью. Первым из ворот, соскочив с коня, вышел Караша. За ним выплеснулось и все его войско. Когда рассвет стал заниматься над горизонтом, сарбазы Караши были за городом. С тревогой на сердце полководец повернул войско в сторону врага.

Монголы давно наблюдали за ними, но не трогались с места, ожидая, когда все войско окажется за стеной. Стоило Караше повернуть людей к их стану, они вскочили на коней и ринулись навстречу. Скакали, тесно прижавшись друг к другу, стремя в стремя.

Сарбазы Караши опешили. К бою они не были готовы. Ворота закрыты. Как испуганные бараны, жались нукеры к Караше, ждали его приказа. А Караша точно рассудка лишился, застыл в седле с покрасневшими глазами. Монголы тем временем, растянувшись в цепь, стали их окружать.

— Бросить оружие!— крикнул Караша.

Воины и вовсе пали духом.

Монголы, подскакав вплотную, ринулись в бой. Сверкающие сабли легко срубали склоненные перед ними головы. Эту ужасную картину наблюдали с двух сторон. Огромное войско было зарублено на глазах у немых свидетелей. До самого полудня продолжалась резня. Кровь сарбазов рекой растекалась по степи...

Карашу взяли в плен, привели к военачальнику. Жагатай презрительно отвернулся от него. Один вид человека, ползавшего у него в ногах, вызывал отвращение.

— И ты — глава тумена?

— О да, могущественный владыка, благословенный богом! Главою этого войска был я. Да быть мне рабом вашей власти, не посмел я пойти против... Я ведь не проклятый богом Кадыр!..

— Наверно, немалую службу сослужил тебе Кадыр! А ты оказался неблагодарным псом! Потому и мы не можем принять тебя. Эй, стражник, сорви-ка с него один волос!

Не обращая внимания на отчаянные вопли Караши, громадный детина сорвал с его головы волос. Спустя некоторое время кривая сабля снесла с плеч и дрожащую голову. Волос Караши присоединили к пучку других волос на знамени монголов.

Жагатай впал в раздумье. Проклятый кипчакский город не сдавался. Многие храбрые монгольские воины остались лежать в крови, глотая пыль. Другие города, побольше этого, давно уж сдались без боя, и победители теперь делят богатую добычу. А он никак не может одолеть строптивых кипчаков! Вон уже и в войске начался ропот. Еды не хватает, одежды. Воины пали духом. Где богатства, обещанные им?.. Четвертый месяц топчутся у крепости, погибают, как мухи, а толку никакого. Грозный Чингисхан уже не один раз высказывал свое недовольство...

Резко вскочив, Жагатай вышел из шатра. Взлетел на коня, поданного ему, вихрем помчался к городу. За ним, не отставая ни на шаг,— глава тысячи, начальники сотен. Подскакав к стене, Жагатай придержал лошадь и стал разглядывать ненавистную крепость. «И как,— дивился он,— не можем мы сокрушить эту старую развалину? Да все войско сейчас пущу сюда, вмиг сделают подкоп. А потом напустим в ров воды. Посмотрим, устоит ли крепость. Наступление возглавлю сам...»

В этот момент ворота приоткрылись, из них начали выезжать всадники.

Было похоже, что кипчаки сдаются. Вид у них мрачный, тощие, изможденные кони ступают робко, неуверенно. Оружия в руках не видно. Впереди едет неизвестный Жагатаю молодой джигит на сером в яблоках коне. Черный, заросший бородой, богатырского телосложения. Не похож на такого, что идет сдаваться. Не дрожит, не прячет глаз.

И вдруг в мгновение ока кипчаки преобразились, издали победный клич: «Ура-а, ура-а!..»— и бросились вперед. Группа Жагатая дрогнула, отступила назад, но не повернула коней. Хан счел для себя позорным бежать.

Кипчаки, вырвавшиеся из города, мгновенно включились в бой. Все смешалось. Лязг скрещивающихся сабель, свист стрел, зловещий вой пик. Пыль накрыла поле боя, невозможно отличить неприятеля от своего. Победное кипчакское «ура-а! ура-а!» бросало монголов в трепет... Много джигитов пало на гривы коней. Жагатай сам

свалил с лошадей двоих. С юиых лет ои был отличиым мергеном — стрелком. Умел иатягивать лук в любом положеиии, даже уцепившись зубами за коискую гриву.

Взгляд его случайно остаиовился иа джигите, что сидел на сером в яблоках коие. Отчаянный удалец! Одииаково действует и правой и левой рукой. Взмах саблей — и иет головы. Коиь под стать всаднику — быстрый, живой, не стоит иа месте. Не дает прицелиться в хозяиина. Одиа стрела пролетела мимо. Нацелился сиова. А джигит то прижмется к гриве лошади, то вдруг завертится волчком, отражая удары, иевозможно уследить за ним. Начальник моигольской тысячи, охраиявший Жагатая, слетел с лошади. Джигит срубил его одиим ударом меча.

Голова джигита обмотаиа белой тряпкой. Хорошая мишеиь для стрелка! Сильио иатянув тетиву, Жагатай пустил стрелу. Она ударилась о занесеиный клинок. Озлобившись, Жагатай сиова схватился за колчан. Пока целился в джигита, тот успел зарубить двух лучших его иукеров. Подавив дрожь в теле, опять тщательио прицелился. На этот раз сразил своего же воиия, схватившегося с джигитом. Вот проклятье! Дьявол ои, что ли?

Почернев от злобы, Жагатай иатяиул лук в последиий раз. Он решил, что иет смысла продолжать сражение. Ряды моиголов значительно поредели. Их могли перебить, пока осиовиое войско подойдет иа подмогу. Натяиув тетиву до предела, отпустил ее. Голова в белой тряпке качиулась. Кипчак, повалившись иабок, ухватился за гриву лошади. Стрела попала в цель. Жагатай пришпорил коия и пустился прочь, только пыль заклубилась следом. Миогие его воииы, его вериые иукеры, остались лежать в пыли...

Сумбиле, ие отставая от других, подскакал к воротам. С крупа стекала кровь. На широкой конской спиие безжизиеиио распластался Арыстаи. Джигиты окружили его, сняли с лошади. Положили иа землю, стали искать рану. Стрела впилась в левую лопатку. Никто ие мог ее вытащить. Конец стрелы, видио, застрял в кости, и при малейшей попытке вытяиуть ее раздавался хруст, от которого волосы иа голове становились дыбом.

Отбросив в стороиу серый нагрудник, к Арыстану подошел Кадыр-датка. Закатал рукава, схватился за конец стрелы и начал поиемиогу вытягивать ее. Пот выступил иа лбу. Арыстаи корчился от боли.

— Придержите его!— сказал датка.

Сильные мужские руки придавили к земле Арыстана. С хрустом, прорывая мясо и кожу, стрела наконец вышла наружу. Датка перебросил ее через стену. Велел старику лекарю присмотреть за джигитом, а сам пошел прочь, нагрудником вытирая пот со лба.

Вернувшись во дворец, датка сел на трон, задумался. Много уж времени прошло с тех пор, как Отрар потерял связь с внешним миром. Неизвестно, что делается кругом. Как во сне, проходили однообразные трудные дни осады. Лицо Кадыра осунулось, на висках появилась седина. Глубокие морщины избороздили лоб. Красивый прямой нос заострился, торчал сиротливо, как лезвие сабли.

Шурша одеждами, сзади подкралась младшая жена Бике. Она была четвертой в гареме датки. Давно уж не бывал дома повелитель, не ласкал своих жен.

— А-а, ты? Хоть ты бы за подол не хваталась, когда враг на вороте сидит!..

Бике сникла, удалилась вялой, расслабленной походкой.

«Обиделась. И боится вдобавок,— подумал датка.— Нежная, пугливая она, а кругом такое творится — голод, трупы не успевают закапывать... Если всемогущий повелит ей увидеть свет, а мне — возлюбленную, как знать, может, выживем?.. А пока пусть крепится. Над всеми занесен один меч».

Вошел слуга, доложил:

— Сарбазы построились, ждут приказа.

Датка быстро оделся и вышел на площадь перед дворцом. Двадцатитысячное войско ждало его указаний. С появлением полководца все зашумели, загудели. Кадыр сел на своего любимого белоснежного жеребца — Акбоза, приподнялся в седле и начал говорить. Поначалу голос его дрожал, но по мере того, как он продолжал речь, выровнялся, зазвучал сильно, торжественно:

— Уа, мои доблестные воины! Идет жестокое сражение, когда крупы коней обливаются кровью. Отцы наши теряют сыновей, жены — тепло постели. Ряды наши редеют с каждым днем. Но мы деремся не из корысти, не из-за богатства, как делают это монголы. Мы не прокладываем дорогу одному человеку, которому захотелось покорить вселенную! Посмотрите на воинов Чингисхана! Как жалка, унизительна их смерть! Жизни отдаются ни

за что, ради прихоти кагаиа. На чужой песок, в чужую пыль кладут оии головы! И ие зиают оии в свой смертиый час, ради чего остаются на чужой им земле. Бесцельиая жизнь, безвестное геройство...

У вас под иогами — родиая земля. На ией вам перерезали пуповину, когда вы рождалнсь иа свет. Рядом — родиой город, родные люди. Есть кому оплакать героя, погибшего за родину! Ваши возлюблеииые и жены не будут причитать, говоря, что лежите вы неизвестно где, отданиые иа съедеиие диким зверям и вороиам! Ваши потомки ие забудут воииствеииого «ур-ра!», с которым отцы их шли в сражеиие. Кровь, что пропитает песок, даст им силы. Они вырастут высокими, как чинары, и мощиыми, как утесы! Потому что совесть их будет чиста.

Кипчакские воины! Вы прославили себя миогими победами! Уа, благословеииый Отрар, широкая степь за воротами! Слушайте иашу клятву: не уроннм воииской чести, ие осрамимся перед священиыми иашими предками!

Застыли, ие шелохиутся цепи войск. Согбеииые годами старцы утирают рукавами глаза. На худые, изможденные лица израиенных воииов иабежал легкий румяиец. Широко вздохнули из груди, как будто получили облегчеиие.

Вставал кровавый рассвет.

Ои проиик в комнату через крохотное окоице. Арыстан попытался подняться, ио не смог и снова тяжело опустился иа постель. Рана заиыла. Рядом с иим, свериувшись калачиком, лежала Нур. Всю иочь оиа ие отходила от постели. Уснула только иа рассвете.

Старики подиялись еще затемио. Дед, коиечно, сел иа любимую ступеиьку перед дверью в ожидаиии, когда появится солице. Это было его привычкой — встречать солнышко. Глаза полузакрыты, с иаслаждеиием подставляет лоб первым лучам. То ли дремлет, то ли прислушивается к нежной мелодии, звучащей только для иего одиого. На самом же деле горькие мысли одолевают старика; ои прячет их в себе, ие хочет беспокоить сына и виука.

Отец Арыстаиа, покашливая, рубит секирой дерево. Выделывает для горожан деревянную домашнюю утварь — чашки, ложки. Чиит то, что ему приносят. Ни-

кто ему не платит за ремесло. А ему и не надобно — лишь бы не сидеть на старости без дела, лишь бы двигались руки. Вот и стучит с раннего утра до вечера. В молодости, говорят, он хотел стал сарбазом. Повесил через плечо оружие. Пошел вместе с дедом в дальние походы.

Если Шамиль начнет вспоминать, много интересного рассказать может... Как-то, когда был с дедом в походе, он заплутал. Кругом простиралась безводная пустыня, дул горячий суховей. Шамиль, тогда еще безусый юноша, отстал от войска, задремал в седле. Очнулся, видит — кругом беспредельная пустыня. Лошадь стоит на месте. Рядом — никого. Только песчаные гребни волнами уходят далеко за горизонт. Царство песка... Распрощался он мысленно с жизнью, погнал коня куда глаза глядят. Зашло солнце, сгустились сумерки. Жажда и голод замучили джигита, уже готов был свалиться под копыта коню. Вдруг впереди, словно надежда, мелькнул огонек. Собрался с духом, подошел.

У костра из саксаула сидели какие-то люди. Пламя весело полыхало. Шамиль не понимал их языка, да и одеты они были очень уж странно, как будто шерстью обернулись. Голоса громкие, резкие. Потом они запели, завыли так, что у несчастного Шамиля кожа на голове похолодела от страха.

Положась на судьбу, подъехал он к пылавшему огню. Только тут разглядел людей. То были нищие, бродившие по пескам в поисках удобного пристанища. Завидев Шамиля, они с ревом вскочили с мест. Мужчины стащили его с коня, осмотрели одежду, протянули небрежно: «Э-э»— и бросили его на землю рядом с огнем. Оставили в покое. Затем кинулись к коню, свалили на песок, прирезали и тут же принялись коптить мясо над костром.

Спустя некоторое время к Шамилю приблизилась какая-то тень, дали напиться воды из грязного торсыка. Он присмотрелся — перед ним была девушка в лохмотьях.

Так и стал он блуждать вместе с одичавшими нищими. Ели, что попадалось. Время шло. Спозаранку снимались с места и отправлялись в путь. Сопровождали их три крикливых верблюда. Надоела такая жизнь Шамилю, надумал он бежать.

Как-то остановились они у безвестного колодца. Мужчины отправились на охоту, оставив Шамиля с женщи-

намн. Среди них была та самая девушка, что поила его когда-то водой. Лохмотья н грязь обезобразнлн ее, хотя чувствовалось по чертам лнца, что она мнловидна.

Ночью Шамиль встал, освободил от прнвязи верблюдов, завязал им морды тряпкой, чтобы не ревели. Потом схватнл в охапку девушку, что лежала у огня, заткнул ей рот, посаднл на верблюда н был таков. Сидели онн на одном верблюде, остальных Шамиль вел в поводу. Теперь те, что осталнсь у колодца, не смогли бы пешком догнать нх, даже при желании. Так ехалн они всю ночь, весь следующнй день, еще ночь и только к восходу солнца очутнлись у Яксарты. За Яксарты была его родина, его Отрар.

Вернувшись благополучно домой, он женнлся на девушке, которую привез. Роднлся сын — Арыстан. Шамиль дал себе клятву не саднться впредь на коня, не уходить далеко от дома, научнлся кузнечному ремеслу, стал ковать саблн для Кадыр-датки.

Стонло Арыстану попросить: «Отец, расскажнте что-нибудь ннтересное!» — н Шамнль в который раз пересказывал ему эту нсторию, сдабрнвая ее все иовыми подробностями.

Обстругивая дерево, он напевал что-то себе под нос, н при каждом взмахе секиры голова его по-птнчьи подрагивала. Как знать, может, опять вспоминал давнюю историю, мать Арыстана, увезенную нм из пустыни...

Нур, лежащая рядом с Арыстаном, вздрогнула, проснулась. Смутилась, накинула на себя чапан н встала.

— Пить хотите?

Он с наслаждением отпил прохладной воды из кувшина, поданного Нур. Сейчас каждый глоток на счету. Враг перекрыл все трубы для подачн воды. А городские колодцы пересохли. Только несколько, что остались, поят сейчас отрарцев.

Арыстан глянул в лицо Нур. Вот уже месяц, как переступила она порог нх дома. С ее прнходом преобразилась глиняная развалина. Да н старики как будто помолодели. Цветком успокоения и надежды стала для них Нур. Скромная, застенчивая, послушная, к тому же хорошая хозяйка. Она умела надолго растягнвать жалкие запасы продуктов, нмевшихся в доме. В последнее время нз-за недоедания глаза у нее ввалились, в лице нн кровинки. Исхудала: кожа да кости. Арыстан знает, что последний кусок девушка отдает ему, ночью стережет его сон.

Вот и сейчас Нур пристроилась рядом, у его постели. Арыстан спросил ее о делах в крепости.

— Пока враг молчит,— сказала оиа.— Похоже на то, что ждут приказа свыше, собирают силы. Перед рассветом заезжал Сарымсак. Так он, говорят, сказал: «Должеи подъехать Чингисхан».

В груди у Арыстана заныло. Сделал попытку привстать, но голова закружилась. Протяиул руку к Нур:

— Помоги!..

Опершись на плечо Нур, начал подниматься с постели. Осторожно, стараясь не причинить боли ни себе, ни ей. Девушка изо всех сил старалась удержать его крупиое тело. Наконец с превеликим трудом он встал на ноги. Нур еле удерживала его, зажмурив глаза от иапряжения. Вот и дверь, вот переступил он через порог. Схватившись за притолоку, высунулся по грудь, жадно втянул в себя воздух. Истосковался по воле.

Шамиль, все еще строгавший дерево, испугался, когда увидел сына. Вскочил с места, поддержал его с другой стороны.

— Свет мой, да ты что? Рана-то еще ие зажила, растревожишь ее. На улице холодио. Гляди, зима подступает. Ночью снежок выпал. Прохватит тебя холодом. Сиошенька, приеси-ка из дому мой чапан. Пусть накииет. Садись-ка вот на этот пенек. Прислонись к стенке.

Арыстан сел, накинул на плечи чапаи, принесенный Нур. Перевел дух. Было действительио прохладно. Небесиую синь заволокли тучи. Настоящие зимние тучи, что несут с собой снежную поземку.

— Ата! Ау, ата! Где Сумбиле?— закричал Арыстан, да так громко, что услышал даже дед, бродивший за домом. Старик остановился, переложил посох из одной руки в другую, сердито застучал им о землю, направляясь к внуку. Смешно было смотреть на деда со стороны: закидывает посох далеко, а сам не поспевает за ним. Шаги мелкие-мелкие, кажется, что на месте топчется, и ворчит что-то себе под нос.

— Ата, ау, ата! Лошадь где? Сумбиле где-е-е?!

— Свет мой, до чего испугал! Тьфу, тьфу... пропадите, джинны, шайтаны! А кто это тебя иа улицу выпустил? Или загубить хотят в такой холод? Кто это выпустил, кто, а? Разве они могут пожалеть!— Дед бросил косой взгляд в сторону Шамиля.— А лошадь твоя в сарае. Холодно стало, вот и привязал там. Утром горсть толченого

проса дал. Сам знаешь, сынок, в доме ничего не осталось. А все равно подкармливаю. Сам умру, а ему подохнуть не дам.

Арыстан перевел дыхание. Плохое подумалось ему: Сумбиле могли увести голодные сарбазы, прирезать на мясо.

Прислонившись головой к груди деда, он долго сидел молча, мысленно благодаря его. Один дед мог знать цену коню, да еще такому, как Сумбиле! Половину жизни своей провел старик в походах. Теперь ему за сто двадцать. Чего только не видели его умудренные опытом глаза! И вот, когда он, раненый, лежал в постели, дед, обделяя себя, кормил толченым в ступе просом коня.

Каждый день утром старик ковылял в сарай, расчесывал Сумбиле хвост и гриву. Собирал на улице остатки травы, сухой соломы, бросал в кормушку. Иногда, обняв лошадиную шею, плакал. Слез у него не было, рыдал душой, вспоминая молодость, дни, когда сам не сходил с коня. Билась жилка на груди у лошади, стучало рядом с ней старческое сердце.

Вот несется он с победным кличем по пустыне, преследуя врага. Тогда у него был скакун, похожий на Сумбиле. От многих смертей спас он старика, вырвал из кольца врагов. Каждую ночь снится он ему. Кажется, стоит рядом, прядет ушами, храпит, бьет копытами землю. Как будто зовет его: «Садись! Бросай город! Унесу в степь!» Подолгу простаивал старик около Сумбиле, а когда подламывались ноги, тащился обратно к дому.

Никто не подозревал об этой причуде старика — ни Шамиль, ни Арыстан, ни Нур.

Ближе к полудню навестить Арыстана приехал Сарымсак. Расспросил о ране, о самочувствии. Рассказал о том, что происходит в крепости.

— Против врага и нас пока хватает,— сказал Сарымсак.— А ты лежи, поправляйся, залечивай рану. Как-нибудь все обойдется. После того сражения враг затих. Сарбазы повеселели, настроение бодрое. Да, говорят, сам каган сюда пожаловал! Конечно, для того чтобы поднять дух войска, собрать новые силы! Но ты не беспокойся, будь тверд и быстрее выздоравливай!

С этими словами Сарымсак встал, хотя видно было, что не хочется ему оставлять друга. Арыстан заметил,

как постарело и покрылось морщинами лицо друга Сарымсака, а ведь всего двадцать лет джигиту...

— Подожди, Сарымсак! Один бог знает, увидимся мы с тобой или нет. Возьми мою саблю!

— Не нужно! У меня ведь есть оружие. Да потом — она тебе и самому нужна будет, когда вылечишься.

— Бери же! Я не в состоянии сейчас разогнуть спину.

Сарымсак пристально глянул в лицо другу.

— А что ты будешь делать, если монголы ворвутся в город?

— Все равно не смогу сражаться. Если что случится, есть Сумбиле, есть лук. Положусь на судьбу.

Нур, склонившись под тяжестью сабли, подала ее Сарымсаку. Сам Шамиль выковал ее. Блестит так, точно солнце отполировало лезвие! Сарымсак приложился губами к холодному металлу, принимая саблю.

За крепостной стеной — степь. Она похожа на громадное мертвое тело, усыпанное муравьями. Муравьи — это монголы. В их стане большое оживление: сам Чингисхан прибыл со своим войском.

В стороне раскинут просторный шатер великого кагана. Вокруг застыли семь его торгаутов. Ни птице, ни мыши не проникнуть к кагану, когда рядом торгауты. По правую сторону шатра развевается знамя Жагатая, по левую — знамя Укитая. Копья с привязанными к ним конскими хвостами.

Вскочив на коней, несколько торгаутов помчались к войску. Они спешили передать новый приказ Чингисхана.

Приступ начался одновременно со всех сторон. Двинулись передние цепи — с арканами, куруками, копьями. Следом — отчаянные головорезы с саблями и луками наготове. Основные силы сосредоточились позади. В разных местах установили арбы с камнеметами.

Стотысячное монгольское войско сжалось в один разящий кулак, готовый сокрушить город.

Кадыр-датка распределил сарбазов по разным участкам города. Сам остался у главных ворот, которые считал наиболее уязвимыми. Кончились камни, которыми отрарцы закидывали монголов. Не хватало оружия. Старики в Пышакшы, что ковали оружие, гибли от голода.

Единственная надежда оставалась на рукопашный бой. Но надолго ли хватит обессиленных людей?

Солнце поднялось на высоту аркана. Озарило кровавым заревом город.

Издав ликующий клич, монголы устремились к стенам. Заработали и камнеметы. Огромные глыбы летели и летели в стены, сотрясая их. Несколько ответных камней, сброшенных сверху, приостановили монголов. Взметнулись тучи вражеских стрел. Их нудный, холодящий душу свист заполнил все вокруг. Наверху, на стенах, появились первые вражеские смельчаки.

Огромный камень, пущенный монголами, шлепнулся прямо перед даткой. Вдвоем с Сарымсаком они приподняли его и столкнули вниз. От его тяжести переломилась пополам лестница, и враги, лепившиеся на ней, с воплями посыпались на землю. Показался враг и на другой стене. Сарбазы скрестили сабли. Полетели монгольские и кипчакские головы. Дрались озлобленно, ожесточенно.

Целый день продолжался бой. Треск камней, выплевываемых камнеметами, свист стрел, пронзительные вопли раненых... Ряды сарбазов заметно редели. Кадырдатку ранило в руку, он присел. Посыпав рану пеплом, снова бросился в бой. Клинок сабли зловеще засверкал на солнце. Перед ним вырос огромный, с бритой головой монгол. Устремился к Кадыру, но датка опередил врага. С двух ударов он заставил противника отступить, третьим свалил со стены. А у самого закружилась голова, потемнело в глазах.

На Сарымсака налетели сразу трое. Кадыр бросился на помощь. Отделил одного, начал теснить. Сарымсак отлично сражался на саблях. В мгновение ока зарубил тех двоих, что остались с ним.

И на этот раз монголы были сброшены со стен. Когда последний из них, изрубленный, полетел вниз, сарбазы воспрянули духом, приободрились, хотя и сами еле держались на ногах. Женщины стали перевязывать раненых.

На взмыленной лошади прискакал гонец с вытаращенными от страха глазами. Страшную весть принес он:

— Повелитель, несметные полчища ворвались со стороны Пышакшы!

Кадыр побелел от гнева:

— А люди где? Где мои сарбазы?..

— Порубили их... На одного по десять... Стена разрушилась... О таксыр!..

Датка вскочил на коня, закричал:

— Джигиты! Все к Кумбез-сараю! Сарымсак, скачи к западной стене! Передай джигитам, пусть отступают к Кумбез-сараю!

Повернув коня, Сарымсак глянул на запад, в сторону Пышакшы. Но там ничего не было видно, кроме густой пыли. Он подумал об Арыстане. На душе стало тоскливо...

Когда монголы, сокрушив западную стену, лавиной хлынули в город, Арыстан сидел во дворе и пробовал натянуть лук. Отец, совершив молитву в темном углу и попросив аллаха заступиться за них, собирался ложиться спать. Нур пошла к соседям попросить воды и вернулась бледная, растерянная. В то же мгновение на другом конце улицы послышался топот, показались первые монгольские конники.

Они мчались, сметая все на своем пути. Несколько мальчишек с плачем выбежали на дорогу. Их тут же смяли конские копыта. Всем, кто попадался на пути, рубили головы. Какая-то женщина, зазевавшись, уставилась на них. Монгол, что был с краю, схватил ее и поволок за дом. Послышался душераздирающий вопль. Старика, пытавшегося перебежать дорогу, догнали и, держа за бороду, перерезали глотку.

Арыстан, встав на колено, пустил стрелу в первого из приближавшихся. Тот взмахнул руками и свалился с седла. Другой монгол тащил за собой отчаянно сопротивлявшуюся девушку. Арыстан снова натянул лук — еще одного врага сразила стрела. В это время дед подвел к Арыстану Сумбиле.

— Ата, садитесь сами!— закричал Арыстан.

— Ты уходи! Чего нам старые кости жалеть! Нур с собой бери и беги! Беги! Спасайся!

— Я буду драться! Бегите сами!— закричал Арыстан и хотел было подсадить деда, но тот оттолкнул его:

— Что ты болтаешь! Мы из города выехать не сумеем! А ну, быстро!— Глаза старика налились кровью.

Монгольские всадники были уже совсем близко.

Поддерживая под руки Арыстана, дед и отец быстро подняли его на лошадь. Держа поводья в зубах, юный сарбаз в последний раз натянул лук, от напряжения едва не свалившись с коня. В колчане остались лишь две стрелы.

Сумбиле храпел, рвался с места. Арыстан подхватил

Нур, трепетно ждавшую его у порога. Конь взвился и исчез в густом облаке пыли.

Завидев мчавшегося коня, монголы приостановились, стрелы засвистели возле самых ушей Арыстана.

Конь сам находил дорогу среди развалин и горящих домов. Арыстан успел увидеть, как полыхала священная библиотека Фараби... Сумбиле достиг наконец крепостной стены. В пролом вливались все новые и новые полчища монголов. Не было смысла идти навстречу смерти. Кони смяли бы его, сровняли с песком.

В поисках выхода Арыстан повернул Сумбиле вдоль стены. В этот момент справа, на уцелевшей башне появилась трещина. Она росла, расширялась на глазах. Раздался глухой треск — и каменная башня, несколько веков невозмутимо подставлявшая грудь под удары врагов, закачалась и рухнула, подстелив под себя тела чужеземцев... Арыстан пришпорил коня. Звенящей стрелой вылетел Сумбиле в образовавшийся проем.

Каган, в сопровождении семи торгаутов въезжавший в город, заметил беглеца. Торгауты пустились в погоню. Арыстан вспомнил о стрелах, оставшихся в колчане. Держа поводья зубами, приостановил Сумбиле. Конь закружился на месте. Арыстан прицелился в переднего монгола. Взревев, как верблюд, тот грохнулся в пыль. Остальные сгрудились вокруг него. Возможно, то был их военачальник.

Арыстан поскакал дальше, как вдруг стрела, просвистев над ухом, впилась в грудь Нур. Девушка вскрикнула и безжизненно повисла на руке Арыстана...

Замешкавшиеся было монголы снова пустились в погоню. Каган был взбешен. Только что на его глазах этот проклятый кипчак убил самого Бауыршыка! Он приказал торгаутам:

— Поймать!

«Грязный кипчакский сын! — думал каган. — Убить лучшего моего военачальника! Погоди, испью я твоей крови! Эти собаки и подыхают не как люди. Ишь, как удирает! И конь под ним резвый! Звездой летит!» Каган натянул лук. Стрела прошла мимо.

— Держите, ловите этого дьявола! — взвизгнул он.

На помощь торгаутам бросились лучшие нукеры кагана, но кипчакский сын был недосягаем. Копыта Сумбиле, казалось, не притрагивались к земле. Даже пыль не поднималась на дороге.

Впереди стелилась голая равнина. Дальше дымились очертания Каратау. Его гребни манили Арыстана. Сумбиле родился в этой степи. Она не могла подвести его. Потому с каждым броском конские копыта уносили Арыстана все дальше от преследователей. Он не боялся смерти и не от страха мчался сейчас от монголов. Это было испытание мужества, в котором выиграть должен был он.

Одно тяготило его. Там, позади, сейчас истекают кровью защитники Отрара, его братья. Он один в этой беспредельной степи, вдали от тех, кому суждено сложить свою голову за Отрар. Где его воинская честь? Духи предков, что скажете вы?..

Бездыханное тело Нур лежало перед ним. Грудь ее была залита кровью. Он снова ухватил поводья зубами, резко повернул лошадь назад. Вынул из колчана последнюю стрелу и натянул лук. Нукер, скакавший впереди, придержал коня. Замерли и остальные, словно наткнулись на невидимую преграду.

Последняя стрела полетела прямо к задыхавшемуся от злости кагану. Просвистев в воздухе, она описала полукруг и уткнулась в песок на полдороге. Арыстан знал, что она не долетит, но эта стрела была символом его ненависти и презрения к врагу.

Юноша повернул коня и медленно, не оглядываясь, поехал к черневшим вдали гребням Каратау.

Каган дал знак оторопевшим воинам:

— Прекратить погоню!..

Нукеры повернули прочь. Лица их были мрачны и черны, как тучи, готовые пролиться на землю.

9

Кровь ударила кагану в голову, он ехал, объятый тревожными, беспокойными думами. На душе была осень. Впереди на склоне оврага он увидел ворону. Птица сидела на трупе и выклевывала глаза, то и дело взмахивая крыльями. На людей она не обратила никакого внимания. Чингисхан содрогнулся от отвращения. «Как бы не занедужить мне»,— с тревогой подумал он. Да, скольких трудностей стоило ему покорить кипчакскую степь, кипчакские города! Вот уже два года они топчутся здесь, а завоеваны еще далеко не все земли. До чего непокорные люди! Усмиришь одних, поднимают голову другие,

Взять, к примеру, берега Иртыша, Кулундинскую степь. Когда уж подчинил он их себе! А потом восстал народ, уничтожил всех его наместников и ушел неизвестно куда, не выплатив ему ясак[1]. Пропали со всеми своими табунами и добром. Где их искать — кто знает. А теперь кипчаки измотали войско. Скольких людей потерял он здесь!

Могущественное Хорезмское царство разгромлено, Бухара, Самарканд, Шаш, Янкигент обращены в пыль. Хозяева этих городов ползают перед ним, как черви. Прежние баи и власть имущие сбросили свои громадные чалмы, облачились в штаны из конской кожи. Забыли об аллахе, поклоняются одним монголам. Ушли из городов, научились проводить жизнь на коне. Хорошо, что он сжег эти книги, одурманивающие голову. Несчастный народ! Что бы было с ним, если б не пришел он, Чингисхан! Забили себе головы выдумками из этих глупых книг, совсем лишились разума!.. Да, едва не пропал народ...

Вдалеке показались развалины Отрара. Они горели, изрыгая клубы черного дыма. Степь простиралась коричневая, унылая, безжизненная. Может быть, конские копыта истребили даже корни полыни?.. Арысь все еще красна от крови. Трупы монгольских воинов привозят сюда и кидают в реку. Так повелел он сам. Нет возможности предать их земле, присыпать лица песком. Не хватает сил для того, чтобы рыть могилы, да и забываться стал в походе этот обычай... Воины, пришедшие сюда в поисках богатства, навеки сомкнули глаза в чужой полынной земле...

Смотрите, какая дерзость! Черный кипчак лежит, подмяв под себя монгола! Каган остановил коня, камчой перевернул убитого. Джигит был юн. Хоть много дней лежит он тут, а тело и лицо сохранились.

Каган представил себе смерть. Из последних сил вонзает он кинжал в грудь врага и падает, подминая его под себя...

— Сколько войска сгубил ты в битве за Отрар?

Жагатай молчал.

— Почти все погибли,— ответил за него Укитай.

— Тогда я дарю ему Отрар.

---

[1] *Ясак* — налог.

— Зачем мне развалины? Войско дайте, на запад пойду,— мрачно проговорил Жагатай.

— Другого войска не будет для тебя. Нет славы в мече полководца, что не сумел сохранить воинов!— С этими словами Чингисхан повернул прочь.

Жагатай задрожал. В чем его вина? В том, что, не жалея себя, бросил все силы на Отрар? Почему отвернулся от него отец? Ведь сам он повелел взять город во что бы то ни стало. Разве мог он перечить воле кагана...

Чингисхан, грозный и величественный, покачиваясь на ходу, вошел в шатер. Он так и не обернулся к сыну.

Жагатай смотрел ему вслед с помертвевшим лицом. Лекарь кагана, почуяв недоброе, взял его руку, пощупал пульс. «Сглазили!»— буркнул он.

Свет померк для Жагатая. Он знал: от «сглазу» лечения нет. Обхватив голову руками, с ревом кинулся он в свой шатер и рухнул на ковер. Дыхание перехватило, перед глазами замельтешили джинны, откуда-то донеслось истошное конское ржание...

Знахари закружились над ним, бессильные что-нибудь предпринять. Жагатай, как безумный, катался по полу, рвал на себе одежды.

— Неблагодарный,— хрипел он.— Я отдал тебе душу... Я смел с лица земли эту проклятую крепость... Этот Отрар... А ты... Где мои воины, мои храбрые воины... Они сложили головы... ради тебя... Неблагодарный!

Знахари с ужасом слушали завывания Жагатая. Он посмел оскорбить повелителя вселенной!

Теперь никто уже не сомневался в том, что несчастный лишился рассудка...

Разрушение Отрара продолжалось. Бесчисленные монгольские орды теснили за ворота городское население — голодных, измученных болезнями людей. Дети, женщины, прозрачные как духи, старики, раненые воины... Их безжалостно погоняли плетьми, а тех, кто пытался убежать, настигали стрелы.

Всех оставшихся в живых согнали в степь, как баранов, собрали в одну кучу перед городом. Земля, пропитанная кровью и пылью, примятая копытами тысяч коней, казалось, стонала под ногами несчастных. Здесь, под открытым небом, когда рядом не было защитников —

испытанных кипчакских воинов,— они поняли, что обречены.

Появился каган, следовавший в толпе своих нукеров. Монгольское войско, охочее до крови, безмолвно застыло при появлении повелителя. Взоры всех обратились к суровому пергаментному лицу полководца. Қаган был в гневе. Придержав поводья, остановился он перед бесчисленными цепями, поднял вверх руку. Войско дрогнуло, загудело. В сильной руке кагана — кровавая сабля.

Это был знак — рубить всех поголовно. Если бы взметнулась вверх стрела — пошел бы в употребление лук. Если бы рука была свободной, стало быть, каган дарил милость народу. Но рука грозного повелителя редко бывала свободной. Обычно то сабля, то стрела взмывали в воздух. Отрарцам досталась сабля.

Монголы обрушились на беззащитных людей. Каждый воин отбирал себе по пять-десять человек. Долго шел дележ, и над степью не утихал пронзительный крик матерей. Многие лишились разума от страха: разражались хохотом, цеплялись за сбрую вражеских коней...

Выделенную группу ставили на колени. Один взмах саблей — и дрожащая голова слетела с плеч. Иные не выдерживали, пока очередь дойдет до них, кидались в степь. Их ловили, волокли обратно...

Долго продолжалось кровавое пиршество. А потом семь торгаутов повелителя выдрали по волоску с голов убитых. Они будут прикреплены к священному знамени кагана.

10

Пыль понемногу стала оседать. Багряное солнце опустилось за горизонт. В вышине захлопали крыльями вороны, хрипло, протяжно закаркали, почуяв мертвечину...

Город дымился. Пожар, начавшийся еще днем, спалил все соломенные крыши. Теперь он затихал, бессильный против кирпича.

Қадыр-датка наблюдал за всем происходившим в отверстие из башни Қумбез-сарая. Страшная картина истребления жителей навела его на тяжелые раздумья. Не лучше ли было бы открыть сразу ворота, принять бой, нежели запираться за стенами? Қак знать, может, удалось бы спасти народ от истребления? А теперь — кто поднимет дух разрушенного, обратившегося в пыль От-

рара?.. Вернется ли когда-нибудь сюда жизнь или ушла навеки, оставив под развалинами города кости своих сыновей?.. А он, их повелитель, стоит теперь здесь, в древнем кипчакском дворце, ожидая незавидной участи. Нет, не совесть и не страх терзают его. Ему больно за честь города, втоптанного в грязь. За свою бесславную смерть.

Не много воинов успело спрятаться во дворце. Отовсюду неслись стоны раненых, их некому даже напоить.

Подошел молодой сарбаз. Заметив кровь на локте датки, хотел перевязать ему рану. Но никакого лоскута не было под рукой. Кадыр показал на свой украшенный золотом пояс. Воин не решался прикоснуться к нему. В его понятии вся сила датки — в этом поясе.

— Сними и разорви его!— хмуро приказал датка.

— Но ведь это знак власти, таксыр!

— Без народа нет власти! Или, думаешь, я нищий, что цепляюсь за золото?

Пояс с золотыми украшениями был с треском разорван на части. Лоскутами перевязали рану. Золотые, с пуговицу, подвески переливались в руках. Кадыр, озлобившись, оторвал их одну за другой и швырнул.

Стонавшие на полу раненые не видели этого, да и не способны они были видеть что-либо. Сейчас для них дороже всего на свете была жизнь, и никакие золотые безделушки, слава или почести не могли заменить ее. Раненые просили пить. Воду делили между ними по капле.

— Эх, знал бы я, чем кончится жизнь...— прохрипел чей-то голос. Потом раздались неясные звуки,— похоже, что несчастный плакал.

Кадыр подошел к нему. То был юный джигит, почти мальчик. Губы его пересохли от жажды. Он умирал. Дыхание было тяжелым, хриплым, точно у старика, прожившего сто лет. Мальчик проклинал судьбу, обделившую его радостями, по-детски всхлипывая. Глаза его блуждали по потолку, точно искали кого-то.

— Аттеген-ай! Если бы знал!..

— Уай, джигит, о чем печалишься? Чем занимался раньше?

— Поэт я, поэтом был.

— Зачем тогда в войско шел, раз так страдаешь?

— Выбора не было. Бежать — честь не позволила. А саблю взял — воин какой из меня воин. Теперь глаза хочу сомкнуть.

— Ты же землю защищал свою, родину. О чем сожалеешь?

— Эйе! А кто же сказы сочинять будет? Кто словом теплым степь будить станет? Я умру, умрет и поэзия. А сколько строк сложил я, бродя по горам, по долам! Сколько красавиц шептали их про себя! А теперь ухожу я, и нет ничего... Одна тьма...

Люди кругом не понимали, о чем печалится мальчик. Его оттащили в стороиу, чтобы других ие смущал бредовой речью. И датка был бессилен помочь ему. Как мог он утешить поэта, когда другие жадно хватались за каждый лишний вздох? Сам он поиимал юношу, сочувствовал ему, но что делать? Печаль поэта, слезы воинов — все, все впиталось в его сердце. Оттого, возможно, и тверд он стал, как камень. Угрюм стал, сдержан, холодеи.

Из миiарета Кумбез-сарая проглядывается весь город. Но сейчас невозможно различить иичего: все застлал не то дым, не то пыль. Ветер доносит запах гари и хлопья пепла. Пустынны улицы. Разве что появится монгол с развевающимися иа ветру полами чапаиа. Как мыши, шныряют враги из дома в дом, вынося узлы. Озираются по сторонам, как собаки. Выиюхивают, выискивают богатства, которыми им прожужжали уши. А стоит появиться жузбасы — начальнику сотни — воины разбегаются кто куда. Поспешно роют клинками ямы, прячут в них награбленное добро. Но жузбасы тут как тут. Преспокойно отрывает яму и вытаскивает из иее барахло. Уходит довольиый собой и добычей, переваливаясь на тонких иогах.

Кадыр взял на прицел жузбасы. Глаза скользиули по ногам, толстому брюху, груди моигола. Стрела рииулась со свистом. Тот остановился, обериулся, точно хотел подобрать еще узелок, и грохнулся наземь. Награбленное тряпье рассыпалось по земле. Ветер присыпал пеплом теплую багряную кровь.

Издалека, со стороны Пышакшы, послышался отчаянный вопль. Тонкий, похож на женский. Не выдержав, Сарымсак рванулся к двери, но джигиты удержали его. Голос стал тише и вскоре совсем умолк.

Во дворце тоже устаиовилась напряжеииая, глухая тишииа. Как духи бродили измучеииые голодом и жаждой сарбазы по покоям Кумбез-сарая. Каждый из них знал: он будет сражаться так, чтобы погибшим не было

стыдно за него, чтобы гордились им духи предков. Исчезнет с лица земли Отрар, воспетый в легендах, сомкнут навеки глаза последние его защитники, подложив под голову отрарские камни, но когда-нибудь здесь снова возродится жизнь, и потомки будут почитать эту священную землю, напоенную кровью их отцов и дедов.

Из глубинных покоев дворца донесся визгливый женский хохот. Это Бике. С безумным, блуждающим взглядом одиноко бродит бедная женщина по комнатам дворца. Вид ее внушает ужас. Черные глаза, завораживавшие всякого, теперь потухли, тонкий стан согнулся, как у старухи. Кровь и смерть вокруг, ожидание страшной гибели... Разум Бике помутился. Словно живой труп бродит она среди раненых и хохочет так, будто поток бьется о камни...

Единственный, кого она узнает,— Сарымсак. Привязалась к нему, полюбила как брата простодушного, доброго джигита.

Двадцать лет всего Сарымсаку, а кажется он стариком после шести лун осады. Зарос густой черной бородой, с ног до головы обмотано тряпками израненное тело. Чекмень, шаровары — все в дырах.

Кадыр позвал Сарымсака, приказал:

— Дам тебе в помощь пятьдесят воинов. Выйдешь из дворца, завяжешь сражение!

Сарымсак почтительно склонился перед даткой.

Пятьдесят сарбазов хлынули рекой из дворца. Вражеское войско, утомленное осадой, отдыхало. Нападение было неожиданным, и монголы бросились врассыпную. Им показалось, что души умерших обрушились на них...

Схватка длилась до вечера. Монголы не могли справиться со смельчаками. Рассвирепевший Укитай в конце концов бросил на них всех своих воинов. Но джигиты, число которых поредело, и тут не оставили поля боя. Схваченные в кольцо, они продолжали сражаться. Каждый из них приготовился к смерти. Даже корчась на земле от ран, сарбаз не бросал оружия. Даже с распоротым животом не ослаблял мертвой хватки на горле врага, вгрызался зубами в ненавистную плоть.

Когда последний сарбаз, застонав, рухнул на землю, Кадыр-датка, наблюдавший бой, едва не прокусил палец с досады. Ни одна слезинка не выкатилась из его глаз. Застыл как каменное изваяние.

Бледный, осунувшийся, пришел он к оставшимся воинам. Раненые опухли, изнывали от жажды. Безумными от страданий и голода глазами смотрели они на датку.

— Пятидесяти джигитам приготовиться к сражению!..

Каждый день из ворот Кумбез-сарая вылетали пятьдесят всадников, затевая кровопролитное сражение с монголами. Каждый день раздавалось неутомимое кипчакское «урр-а, урр-а!»

Монголы не могли понять, какая сила двигала этими людьми, сражавшимися до последнего дыхания. Они гибли молча, не прося пощады. Ни один из них не отступил назад. Горы трупов высились рядом с Кумбез-сараем.

Не выдержала кровавого зрелища и зимняя стужа, стала отступать. В воздухе потеплело. С запада ветер гнал тучи, они проливались кое-где дождями. Почуяв кровь, в город по ночам стали наведываться тигры. Все чаще слышался вой голодных волков. Одичавшие собаки разрывали кучи песка, вытаскивая из-под них мертвецов. Были среди них и бешеные. Вихрем врывались они в город, наводя ужас на монголов. Воины стреляли в них из лука, спасались бегством. С опаской поглядывали монголы на Кумбез-сарай: как бы опять не выскочили оттуда эти озверелые кипчаки!..

Кипчакская степь не давала покоя пришельцам.

Вернулись с юга птицы. Наполняя воздух веселым курлыканьем, прилетели журавли, истосковавшиеся по родине. Долго парили они над степью, над гребнями гор, не решаясь опуститься на землю, как будто не узнавали родины, как будто недоставало на ней чего-то. И не ликующим, а печальным, грустно-недоуменным было их курлыканье. Птицы устали кружить над степью, повернули к горам Каратау. Датка, проводив их глазами, вернулся к воинам и сказал им свою последнюю волю:

— Пятидесяти джигитам приготовиться к выходу из дворца! Поведу их сам!

Только двадцать джигитов сумели подняться с окровавленного пола, поддерживая друг друга. Остальным уже не суждено было встать на ноги, взять в руки саблю. Они мертвы.

Но на этот раз наступление начал враг. Окружив дворец, монголы стали рушить его. Кумбез-сарай закрях-

тел, зашатался. Жженый кирпич осколками сыпался вниз. Не выдержав страшных ударов, разверзлись большие железные ворота. Враг ринулся внутрь. Кровавая схватка завязалась в помещениях дворца.

Поначалу, после яркого света улицы, попав в полумрак, монголы не разобрали где что. Пока глаза привыкли к темноте, многие из них были зарублены. Перед входом росла гора трупов. Сражались беспощадно. С искаженными от злобы лицами, с пеной у рта бросались монголы на защитников Отрара, точно живьем хотели их проглотить. Обе стороны понимали, что эта схватка — последняя.

Кадыр заметил, что монголы научились вести пеший бой. Раньше, стоило только сойти с коней, они терялись, становились неуклюжими, падали духом. Теперь они схватывались врукопашную не хуже кипчаков, отлично владели саблей. Но и отрарцы не давали спуску. Голодные, обессиленные ранами, они теснили врага. Честь брала верх над черной силой.

Кадыр почувствовал — правая рука устала. Переложил саблю в левую. Сильно размахнувшись, выбил оружие у монгола, устремившегося к нему. Тот, обалдев от страха, отступил, прижался к стене. Кадыр зарубил его. Клинок был настолько остер, что снес голову с одного удара. Она глухо откатилась в угол. Сзади подскочил кто-то еще. Обернувшись, Кадыр схватился с неприятелем...

Но вот по стенам дворца поползли новые трещины. Все войско Укитая было сейчас возле Кумбез-сарая. Кадыр понял, монголы решили снести с лица земли знаменитый дворец, который они прозвали «жилищем дьяволов». Одна часть войска вела сражение внутри, другая осталась снаружи разрушать дворец. Так приказал Укитай. Монголы тащили огромные бревна и с разгону обрушивали их на стены дворца. Удары раздавались со всех сторон. Здание поначалу лишь покачивалось от ударов, затем по стенам поползли трещины. Кирпичи, расписанные красивыми узорами, крошились, сыпались. Трещины пошли и с внутренней стороны стен. Вскоре начали отваливаться углы, и Кумбез-сарай стал напоминать собой рассохшуюся бочку.

Просторный зал дворца превратился в кровавую скользкую площадку. Пол, искусно выложенный и причудливо разрисованный ювелирами, скрылся под лужа-

ми крови. Шелковые ткаии и ковры на стеиах повисли длиниыми лоскутами. Все смешалось с кровью и грязью...

Грохот снаружи доиосился все ближе и ближе, оглушительио отдаваясь под сводами. Дворец упорно сопротивлялся чужеземцам, словио цеплялся корнями за землю. Сто лет простоял ои иа этом месте, и иелегко было оторвать его от матери-земли. Глубоко врос он в кипчакскую степь. Ои был частью большого Отрара, его гордостью. Многие годы радовал глаз одииоких путников в пустыне, привечал под своими сводами миогочислеииых гостей Отрара. Тучи песка, бураны пытались иарушить его иевозмутимое спокойствие. Но ои стоял, давая отпор иатиску природы. Ои отстоял свое право иа существоваиие. Нелегко пришел ои в жизнь и уходить так просто не собирался. Ои сражался.

Враг устал. Не так-то просто было разрушить символ кипчакской власти. Огромиыми бревиами с самого полудия иаиосили удары по стеиам, но дворец стоял.

Устал Укитай, устало и его войско. Какие отчаянные джигиты были у него, когда подступали к Отрару! И вот — многих уже нет, а те, что остались, совсем обессилеиы. Садятся где попало, лишь бы дух перевести. Недавно одии такой вояка засиул, а вороиа приняла его за мертвеца и выклевала глаза. Бровью ведь ие шевельиут, проклятые, пока не заорешь: «Вставайте, враг идет!» Укитай вздохиул. Э-эх, взять бы ему этот город — ии за какие богатства ие вериулся бы потом сюда. Будь ои проклят с его иепокорными кипчаками!

Воииы измучились настолько, что не способны взобраться иа коней. В этом сейчас было самое ужасное и постыдиое для Укитая. «Эх, да что это с иами? Где святой дух кагаиа? Почему ие поддержит он нас, не подбодрит?!»

Так думал Укитай, иаблюдая за тем, как воииы его тараият стеиы. Время от времени он менял силы, удваивал количество осаждающих Кумбез-сарай. И еще ои думал: «Если до захода солнца дворец ие будет разрушеи, дьяволы-кипчаки воскреснут из мертвых и с иовыми силами бросятся иа иас. Считай — еще на полгода затянется схватка».

Молиией носился Укитай иа коие вокруг дворца, подбадривая осаждающих. С тревогой поглядывал иа горизоит, скрывавший солнце. Люди валились с иог от

усталости. Камча Укитая поднимала их, заставляла таскать тяжелые камни. «О всевышний!.. Дай нам управиться до захода солнца...»

Укитай со страхом поглядывал на багряный диск. Уйдет светило — кончится день и для него, Укитая. Дворец скрипел, пошатывался, но стоял. Укитай бросал новые и новые силы. Усталость притупила сознание. Из последних сил подступали воины к стенам, готовые умереть, чтобы только избавиться от этой адской работы. Возможно и смерть в то мгновение представлялась им спасительной...

Все кипчаки во дворце были порублены, искромсаны. Датка и два его сарбаза, отступая, поднялись на высокий минарет. Схватка продолжалась. Воины упали, пораженные стрелами, предназначавшимися для Кадыра. Датка остался один. На миг ему показалось, будто воскресло все его войско. Оно за спиной, оно сражается!

Вдруг острый волосяной аркан как змея обвился вокруг шеи. Кадыр поднял было руку, чтобы срезать его. Но кто-то внизу успел дернуть аркан. Остальное датка уже не слышал и не видел. Рухнул минарет, а следом и Кумбез-сарай...

Так закончилась осада Отрара. Город, ставший жертвой иноземных пришельцев, был погребен под песком и развалинами. Воины Отрара, шесть месяцев оборонявшие его в жестоких, кровопролитных сражениях, навеки сомкнули глаза...

По вечерам, когда заходит солнце, песок на том месте, где вились улицы Отрара, становится багровым. Проходит время, и на краю неба появляется месяц, похожий на обломок кривой сабли. Откуда-то издалека доносится протяжная, тоскливая песня...

Степь в безмятежном сне.

Дулат Исабеков

НА ОТШИБЕ

СТАРИК

Ветер, прозванный в этих краях Арыстанды Карабас, «черногривый лев», был способен дуть месяцами напролет, вот и теперь он упорствовал уже третий день.

Случалось, этот ветер подинмался в марте и ослабевал лишь к апрелю. Киеван замечал: едва наступал февраль и обнажалась чернота земли, как люди начинали копошиться без устали, погрязали в нескончаемых делах, но наступал момент, когда они в сытости забывшие о создателе, уже поминутно взывали к нему, прося быстрее избавить их от напасти, мановением могучей длани остановить беспощадное движение ветра.

Люди никак не могли свыкнуться с этим капризом природы; едва протерев глаза, они навостряли слух, но ветер по-прежнему сухо шуршал в камышовых стенах домов. И, слыша, как он скребется и шуршит, люди вздыхали, произносили про себя: «О создатель!» — и вновь погружались в будничные дела. Эти их суетные заботы Киеван наблюдал как бы из бесконечной дали, даже когда сидел с ними рядом, пытаясь направить беседу в нужное ему русло, или просто некоторое время беседовал у чьего-нибудь порога, ни за что не соглашаясь войти.

Он ушел из дома еще вчера в полдень, а вернулся сегодня за полночь. Его старуха сидела все в той же позе у десятилинейной лампы, будто за это время не поднималась и не ложилась спать, и, щурясь, латала дыры на пятках мягких ичигов. То ли ее убаюкивал ровный гул ветра, то ли ею овладела глубокая задумчивость, но она даже не шелохнулась, не заметила, как старик вошел в дверь.

— Ты почему не ложишься?

Негромкий надтреснутый голос мужа подействовал на старуху, очевидно привыкшую к одиночеству, с ошеломляющей силой. Она скрючилась как от страшной боли и завопила что было мочи...

— Умолкни! Ну чего ты трясешься?

Старуха, не спуская с него вытаращенных глаз, нащупала на земляном полу кусочек шкурки, выкрашенной охрой, который она выронила от неожиданности. В глазах ее испуг сменился изумлением. Да и было чему удивляться! За одни сутки Киеван будто еще вытянулся, хотя и без того был высоким, под потолок. Смуглые скулы заострились, напомнная пришедшие в негодность старые точила, ввалились глаза. Стеганый длинный чапан, доходивший до голенищ ичигов, видно, плохо защищал его от пронизывающего холода: лицо почернело, приобрело цвет сыромятной кожи, губы обветрились.

Едва-едва придя в себя под его суровым взглядом, старуха спросила:

— Ну как? Нашел?

Киеван одеревеневшими руками стянул со спины полотняный мешок, швырнул на одеяло, расстеленное на полу. В мешке что-то зашуршало.

— Ставь чай!

Властный тон, которым была произнесена эта фраза, шуршащий мешок мгновенно убедили старуху, что на сей раз Киеван пришел не с пустыми руками, и она выскользнула вон, чтобы приготовить чай.

Киеван снял чапан и сапоги, прошелся по комнате и наконец уселся на одеяла, на самое почетное место, грузно и устало. Сразу заныли кости, голова закружилась. Впервые со вчерашнего дня он смог присесть — все время провел на ногах, от дома к дому, от дома к дому.

Да, он сильно устал за эти сутки, весь разбит. В поисках кокнара[1] или хотя бы конопли он объездил несколько селений, где жили его близкие и дальние знакомые. И как нарочно, ни у кого! То ли все стали больно хитры, то ли остепенились? Неужто в самом деле он один из всех не набрался ума, безоглядно мчится в погоне за неуловимым? Так это или нет, но к кому бы он ни обратился, куда бы ни поехал, памятуя, что когда-то «кайфо-

[1] *Кокнар* — трава с малым содержанием наркотика.

вали вместе»,— только оказывалось, все его знакомые давно бросили это дело, даже самый вкус дурманных трав позабыли, даже терпкий сладковатый их запах. Ему и верилось и не верилось. Он заходил в дома, присаживался на минуту-другую, едва пригубливал пиалу хорошо заваренного чая, который хозяева вкушали с явным удовольствием, перекидывался с хозяином несколькими словами — только о деле, только о том, ради чего проделал он этот путь... Ему недосуг было касаться других тем. Получив очередной отказ, он некоторое время вглядывался пытливо и недоверчиво в лицо хозяина, потом переворачивал вверх дном пиалу, поднимался, туже затягивал пояс. Ему говорили: «Старина, что с тобой? Посиди, поговорим. Старость тебя одолевает, что ли? Садись, сейчас и мясо будет готово». Но дружеские сетования не доходили до его сознания, он уже не слышал произносимых слов. В мозгу лихорадочно складывался новый план — к кому направиться, кого еще просить. И он выходил в слякоть и стужу, навстречу ветру, невнятно бормоча прощальные слова. Ветер, Арыстанды Карабас, промозглый и въедливый, трепал полы чапана, хлестал в грудь, залезал за ворот, но Киеван, ни на что не обращая внимания, торопливо шагал вперед, целеустремленный и озабоченный. Ему и в голову не приходило задуматься о бесцельности запутанных своих дорог, о бесплодности своей жизни. Даже порыв сравнить осмысленную, проникнутую ощущением достатка и довольства жизнь только что встреченных людей со своим бродячьим существованием не возникал в нем. Никогда он не воскликнул с горьким укором: «О создатель, за что ты пристрастил меня к кокнару?» Лишь в последние два года, когда почти исчез кокнар, когда он искал его и не мог найти, а между тем сапоги, еще недавно совсем новые, начали разваливаться на ногах, Киеван обрел привычку тяжко вздыхать время от времени. Раньше, бывало, когда каждый второй сеял траву просто так, для себя, мужчины собирались в круг, каждый доставал из кармана тугой мешочек — и не спеша разводили в большой чаше дурманящий напиток, густой и черный. Один-два глотка — и чаша передается следующему, движется по кругу.

А потом старики до самого утра вели нескончаемые беседы, шутили, острили, попивая чай. Вот это была жизнь! Красота! А теперь что? Те же самые старики за-

садили свои участки и огороды какой-то там капустой, гречихой и прочей чепухой. Про кокнар и думать забыли.

Ну ничего, слава создателю, на этот раз удалось кое-что добыть...

Насквозь прозябший Киеван то и дело задремывал на одеялах, но привычное напряжение ни на мгновение его не покидало.

— Поскорее там!— крикнул он жене, возившейся с самоваром.

Кыжымкуль, хотя и слышала этот возглас, не стала суетиться. Знала: старику не раз еще придется крикнуть «Поскорее там!», пока на ветру она сумеет раздуть щепки в самоваре, пока самовар загудит, нагревшись. Но, в самом деле, не полезет же она сама в эту продымленную трубу, да и Киеван прекрасно знает, что от его окрика чай не закипит раньше времени. Просто берет верх застарелая привычка, оттого он и подает голос каждые две-три минуты.

Однако старой Кыжымкуль хорошо было ведомо такое его состояние, когда ради считанных глотков дурманного напитка он способен был пойти на все, мог отдать последнее — в прошлом году отдал единственную козу, так и остались без молока, даже чай забелить нечем. В напряженном ожидании первого глотка старик бывает особенно груб, жесток, нетерпелив — и Кыжымкуль ходила на цыпочках, не произнося ни единого слова, не возражая на беспокойные покрикивания Киевана.

Она заварила чай в крутобоком чайничке, поставила на стол и лишь тут разжала губы:

— Готово!

Готов был не только чай. Бесшумно двигаясь по комнате мимо застывшего в напряженной полудреме Киевана, Кыжымкуль уже успела вынуть из брошенного им мешка одну треть кокнара — его было примерно полфунта,— всыпала в маленький, насквозь пропитанный черным раствором мешочек и опустила в деревянную чашу с кипятком. Зная, что есть старик не будет, она все же для видимости положила перед ним два ломтя хлеба, мелко раздробленные кусочки сахара.

Услышав возглас «готово!», Киеван резко вздернул опущенную голову и первым делом посмотрел на стол. Он сразу отыскал взглядом самое дорогое для него из всех вещей в доме — деревянную чашу с погруженным в нагретую воду темным мешочком. Впавшие глаза ожили,

засверкали; Киеван уселся поудобнее, скрестив по обычаю колени, острые, сухие, как узловатые ветви саксаула, положил на колени подушки, уперся в них локтями.

— Наливай!— голос прозвучал глухо, но с явным облегчением: наконец-то наступила вожделенная минута, стоившая стольких мучительных усилий!

Старуха наполнила до половины темно-красным чаем маленькую, с детский кулак, пиалу и протянула старику. Он выпил чай жадными большими глотками, обжигая рот и нёбо, и жестом игрока в бабки швырнул пиалу по столу в направлении Кыжымкуль, хотя та сидела совсем близко, только протяни руку. Пиала закружилась юлой, докатилась до Кыжымкуль и ударила ее по колену, касавшемуся края низкого стола.

Киеван выпил три или четыре пиалы чая, оживился, бросил взгляд на старуху и слегка прижмурил глаза, качнув подбородком. Это означало: «Хватит».

Он засучил рукава, откинулся вправо, тщательно вымыл руки водой из медного чайника, который поспешила поднести Кыжымкуль, и лишь после этого принялся разводить в чаше зелье. Разводил не спеша. В самой этой медлительности угадывалось затаенное безудержное влечение, жажда, наслаждение от одного только сознания, что вожделенный напиток вот он, в руках, и уже никто его не отнимет. Все существо старика проникнуто было теперь жаждой наркотического блаженства, ради этой минуты, не отдыхая, нигде не задерживаясь, спешил он от аула к аулу, от дома к дому. Голодный — он не ощущал голода, продрогший — не замечал ни стужи, ни ветра. А людские лица расплывались перед его глазами, уходили куда-то в туман, едва он слышал слова отказа. Он видел перед собой лишь одну цель: ту желанную минуту, которую сейчас хотелось продлить, растянуть и тоже испить до дна...

Его узловатые костлявые пальцы с силой разминали мешочек с кокнаром, он с наслаждением прислушивался к жирному чавканью густого настоя, вдыхал запах и, не спуская глаз с коричневой жижи, глотал слюни, жаждал, нестерпимо жаждал ее.

Спустя примерно четверть часа плотный мешочек съежился, опал, а в глубокой чаше недвижно мерцал горький коричневый напиток.

— Неси,— глухо выдохнул Киеван. Старуха проворно сунула ему в руку другую деревянную чашу, которую

держала наготове. Киеваи до краев наполнил ее жидкостью — лил ои медлеино, с осторожностью. Гущу снова собрал в мешочек, тщательио завязал его и сделал глубокий, полный вдох, будто собирался ынриуть. Затем взял обеими руками чашу, торжествеиио подиес к губам. Послышался слабый всхлип, одии-едииственный, и иаступила полиая тишиииа. Чаша в руках Киеваиа постепенио подиималась, виачале закрыла нос, потом глаза, наконец брови, пока не уперлась в иадбровиые дуги, ио за все это время не было слышио ии едииого звука — похоже, Киеван не сделал ии одиого глотка, просто густая жидкость бесшумно, как масло, лилась ему в горло.

Опустив чашу, Киеваи сделал шумиый выдох: «Уф-ф-ф...»— и огляделся по стороиам. Ему показалось, что все ожило вокруг, что зреиие его иеожидаино обострилось и теперь ои мог разглядеть уйму полузабытых вещей: висящую у входа одежду, узлы в правом углу, десятилинейную керосииовую лампу, расстелеииый дастархан, желтый самовар иа полу. Возле самовара, едва возвышаясь иад конфоркой, смуглая до чериоты, скрючилась его старуха.

Запели аульиые петухи. Но Киеван и Кыжымкуль все еще бодрствовали. Точно рассчитаииым движеиием Киеваи время от времеии швырял по столу пустую пиалу, старуха иаливала чай, старик увереииой рукой, ие открывая глаз, брал пиалу, подиосил к губам.

После десятка пиал голова у него свесилась, тело ослабло, ио по лицу разлилось выражеиие блажеиства. Кыжымкуль знала, что ои погрузился в кайф и теперь крикиет «иалей чаю» только через полчаса. Оиа бесшумно подиялась, вынесла самовар в прихожую, долила воды и опять стала раздувать огоиь.

А холодиый проиизывающий ветер дул ие переставая.

Если вой прерывался на секуиду, это озиачало, что ветер, подобио хищиому разъяреииому зверю, присматривался, с какой стороиы вериее иапасть. И в самом деле, он врывался в самовариую трубу — стайки вспугиутых искр метались в воздухе, и огоиь гас, будто залитый водой. Горестно причитая, старуха виовь и вновь прииималась раздувать пламя. Вот уже и приготовлениые щепки кончились, а если огонь совсем затухнет иа ветру, разжечь его будет очеиь трудио. Пока горит, иужио поскорее наколоть еще дров. Впотьмах, ощупью Кыжымкуль стала искать топор, подияла мешки у стены, переложила

с места на место свернутый коврик — подстилку, потом вышла во двор, пошарила на земле около поленницы дров. А в самоваре уже догорали последние щепки. «О аллах, это твоя кара,— беззвучно шептали сухие губы.— Вот развеется кайф у старика, крикнет он: «Налей чаю!»— что тогда делать?»

Старуха снова вошла в дом, постояла в полной растерянности посреди комнаты и вдруг заметила, что рядом со скалкой и посудой поблескивает лезвие топора. Она даже губами причмокнула от изумления: шайтан, что ли, завелся в доме, переносит вещи в самое неподходящее место?

Схватив топор, Кыжымкуль бросилась к дровам, но неосторожно задела доску для раскатки теста, доска с грохотом свалилась в пустое ведро. «Конец!»— мелькнуло в голове, старуха в ужасе присела, зажав уши. Смуглое лицо ее посерело, как выцветшая тряпка, губы лихорадочно шептали: «О я несчастная, несчастная, разнесчастная...» А из комнаты, будто старик пытался с ней спорить, неслось яростное: «Проклятая! Проклятая! Будь ты проклята!»

Вот уже слышны тяжелые шаги: исполненный злобы старик идет в прихожую. Неожиданный грохот разбудил его, вывел из блаженного состояния.

Крохотная иссохшая старушка забилась в угол. Дрожа, она краем глаза смотрит на дверь. О аллах, с чем он набросится на нее, что на этот раз попадется ему в руки?

Топор... Какое счастье, что она вспомнила сейчас о нем, успела прикрыть веником.

— О-о, проклятая! Будь прокляты твои предки, весь твой род, что же это ты делаешь, а?— Киеван вышел в сени, разъяренный и почти плачущий. Злобный и жалкий одновременно. Ему страшно думать, что долгожданный кайф так быстро прошел, он обозлен на жену, которая грубым грохотом разбила блаженное состояние.

— Эй, где ты там! Земля тебя, что ли, поглотила! И пусть бы, пусть бы поглотила!

— Да здесь я, здесь я, несчастный...

Лишь теперь Киеван разглядел сжавшуюся в комочек старуху.

— Ах, проклятая, ты еще здесь? Пропади ты пропадом! Лучше бы ты в самом деле сгинула навек!

Киеван схватил скалку и с размаху трижды ударил

старуху по согнутой спине — звук был такой, точно стучали деревом по дереву, таким костлявым было тело.

— О создатель! О горькая моя судьба! О я несчастная!— три возгласа прозвучали в такт трем ударам.

Случалось, старая женщина и раньше нарушала его кайф. Вот в прошлом году он точно так же искал ее, полный ярости. Тогда в руки ему ничего не попалось, и он бил ее тяжелыми кирзовыми сапогами. Четыре раза ударил по лопаткам — одно хорошо, спасибо ему, по голове не бил. На этот раз было только три удара. «Неужели успокоился?— размышляла Кыжымкуль.— Неужели на этот раз все обойдется вот так?»

Но скалка опять опустилась на худую спину.

— Ой, так я и думала!

— О чем ты думала, проклятая? О чем?

— Что ты бьешь всегда четыре раза...

Старик отшатнулся, удивленно и растерянно.

— О-о, полоумная, так ты еще считала? Ну так вот тебе, считай дальше!

Пятый удар оказался таким тяжелым, что старуха со стоном рухнула на самоварную трубу и скорчилась на полу. Она ведь было поднялась после третьего удара, собираясь все же наколоть щепок.

— Испортила, все испортила, проклятая!— не унимался Киеван.— Еле-еле нашел траву, побирался, бродил, как нищий, измучился, пока выпросил,— и все пошло прахом! Весь кайф поломала, проклятая!

— Попробуй разведи еще раз... Там, в мешочке, на один раз осталось...

— О, дохлятина, ты еще рассуждаешь! На один раз! А на другие дни разве не понадобится? Ты что, дни подсчитала, сколько мне жить осталось?

Киеван едва не плакал. Кыжымкуль понимала его состояние, знала не хуже, чем он, как ненадолго хватит добытого им с таким трудом зелья. Скорчившись на полу, она стонала не от боли — от острой жалости к изможденному старику, чьи ноги в полуразвалившихся сапогах не знали покоя, к старику, растерявшему всех своих старых друзей, одержимому и в то же время наглухо замкнувшемуся от всех, равнодушному к жизни других людей...

— Ты ступай, сядь,— бормотала она.— Ступай, посиди в комнате, сейчас я принесу тебе чай... Успокойся,

разведи снова... Завтра я сама пойду, поищу у кого-нибудь...

С трудом она поднялась. Старик стоял и пристально смотрел на нее, смотрел долго. Вот она достала из-под веника топор, взяла кусок просмоленной шпалы, уперлась в нее левой рукой, размахнулась и вонзила топор в дерево, но ни одна щепка не откололась. Тонкая коричневая рука, тоньше топорища, с мучительным трудом пыталась теперь высвободить топор, чтобы занести его снова, но старику стало казаться, что рука эта скорее переломится, чем сможет снова поднять топор.

«Ну и живучая,— подивился про себя Киеван,— избил ее, а она еще пытается дрова колоть».

Обида, злоба душили его, будто уголь разгорался в груди, но он следил за каждым движением тонкой смуглой руки почти с физическим страданием, чувствовал, как это невыносимо тяжело — откалывать щепку за щепкой, щепку за щепкой...

— Полоумная,— буркнул он расслабленно,— скорее кипяти чай.

Вернувшись в комнату, Киеван опять уселся на одеяла, взял лежавший рядом мешок. Неторопливо стал распутывать замысловатый узел, которым намертво была перехвачена горловина мешка, точно его содержимое могло улетучиться. Развязал, сунул дрожащие пальцы, с трепетной бережностью вынул горсть травы. Всыпал ее осторожно в маленький мешочек, а большой опять затянул тугим узлом.

Через некоторое время старуха внесла гудящий самовар, сгибаясь под его тяжестью.

Когда петухи пропели в третий раз, Киеван принялся заново разводить кокнар. Все повторилось сызнова: до бледного рассвета, крутясь по столу, летала к старухе пустая пиала, и та, наполняя пиалу темно-красным чаем, подавала ее мужу.

Наконец жажда была утолена, вновь Киеван погрузился в кайф, откинулся на подушку и задремал. А старуха поднялась, ощущая похрустывание во всех суставах, начала беззвучно убирать посуду. Вынесла все в сени, прикрыла старика одеялом, привернула, задула лампу и опустилась на пол там, где сидела на расстеленном одеяле. Видно, утомилась она сильно, потому что заснула мгновенно, едва склонила голову к подстилке.

Наступило утро. Промозглый ветер, будто и он при-

томился за эти бессоииые иочи, что-то бессвязио бормотал, скребся за дверью. Бледные, иемощные утреиние лучи проиикли в комиату, осветнв две скрюченные фигуры: старнк в иеудобной позе похрапывал иа одеялах, старуха спала прямо на полу.

В полумраке почти пустой комиаты оин темиели как два расплывшнхся пятиа...

* * *

Он и сам не знал, как пристрастился к этому зелью.

Давно, очень давио, более полувека иазад, ои сильио заболел, болезиь приковала его к постели. Соседи позвалн к больиому табиба, аульного знахаря. Медлеино и торжествеино, как бы совершая некий таинствеиный ритуал, табнб развел в большой чаше корнчиевое питье, дал выпнть...

Несколько дией больиой метался от иепоиятной боли, ие мог подняться, а после этого пнтья ои блаженио задремал, иазавтра смог поесть, а через два дия был здоров. И он уже иикогда ие задумывался иад тем, что болезиь сама собой могла подойти к коицу, как сам собой мог прийти оздоровляющий сои. Нет, нзбавленне от тех иеведомых болей ои связал прочио в памяти своей с чудесным напнтком табиба.

Так и повелось: заболит лн голова, заиоют ли кости — ои не искал ии врача, ии лекарств, а прибегал к помощн старнков.

Ох, где оио, золотое время, когда их было много, таких стариков. Стоило попроснть: «Дорогой, отсыпь-ка из кармашечка»,— и крупиые беловатые комочки зелья щедро сыпалнсь в подставлеиные ладоии. Потом хозяии ласково кричал жеие: ««Байбнше, поставь-ка самовар!»— иачннал расспрашивать, как дела, и текла иеторопливая беседа о том и о сем...

Особенно любил Киеваи слушать старого Жузбая: любезиая речь, бархатный голос. Его рассказами можио было заслушаться. Жузбаю было за шестьдесят, ио выглядел он бодрым и крепкнм — румяные, как яблоки, щеки, усы и борода без седииы.

— Желаиие,— издалека начинал покойный, водя холеиыми белыми пальцами по стеикам чаши, где чавкало густое пнтье,— желаиие всегда толкает человека на грех. Грешит человек, если ои иедоволеи, ие может иайти удовлетворення своим желаииям. Все иа земле сотвореио соз-

дателем на радость живому, но создатель увидел, что рабы его стали портиться, вышли из повиновения, и тогда он внушил им способность удовлетворяться малым. Что бы ты ни принимал — кокнар или водку, во всем старайся находить наслаждение. Пить для радости, понемногу — это не грех, наоборот, очистишь тело, поздоровеешь...

Народ говорил: «Зелье Жузеке медом отдает».

Так оно и было.

Жузеке не то что иные — каждые два-три дня он стирал мешочек для травы или менял его на чистый. Да и разводил он жижу особенно, вроде аульного табиба,— движения были плавные, замедленные, торжественные. И вынуть мешочек из чаши он умел вовремя, чтобы не испортить цвет, глубокий красный. Он так колдовал над этой чашей, что у окружающих невольно текли слюнки, даже человек, не знавший, что это такое, готов был остаться, испробовать волшебного напитка.

Киевана в те времена звали не Киеваном, а Молдарасулом.

— Ну, Молдарасулжан, отпей-ка,— и Жузеке радушным жестом протягивал пиалу, держа ее за донышко. Молдарасул, зажмурившись, до дна выпивал горький, как желчь, напиток, отфыркивался: «Уф-ф-ф!»— и мотал головой.

— Нельзя, нельзя, ты что это? Нельзя брезговать тем, что пьешь. Будешь брезговать — питье станет поганым, во вред пойдет. Лучше уж тогда в рот не бери, чтоб не опоганить. Ну попей, попей чаю. И запомни раз и навсегда: после настоя хоть умри, но не пей сырой воды. Только чай. Иначе все внутренности иссохнут, кишки перекрутятся, так и помрешь.

Да, это был аристократ среди кокнарщиков, оберегавший законы своих, давно покинувших этот мир, предшественников, которые как бы возносились над житейскими делами и заботами, препоручая их другим и признавая на земле одно-единственное благо: наслаждение. Жузеке, шагнувший в двадцатый век взрослым человеком, судя по всему, мог себе это позволить. Во всяком случае, никто не видел, чтобы его холеные белые пальцы были выпачканы чем-либо иным, кроме зелени кокнара.

Жузеке перевалило за семьдесят, когда он скончался от рака горла. После его смерти аристократов-кокнар-

щиков уже не было, да и никто не разбирался в этом деле, разводили дурманную траву без счета, без меры, как попало, глотали торопливо, наскоро. Прежде-то, оказывается, люди с оглядкой на Жузеке, хранителя неписаных правил, сдерживали себя, а потом втянулись, стали одурманиваться до умопомрачения — не все, конечно, а слабые, безвольные, и уже появлялись то в одном, то в другом доме аула кайфоманы. Сладостные речи Жузеке у всех были живы в памяти: их повторяли несчастные с трясущимися руками, с тусклым блеском в запавших глазах, повторяли бродяги, потерявшие родной очаг. И каждый такой бедняга верил, будто ищет и находит наслаждение, райское блаженство.

Молдарасул поначалу пил для здоровья, иногда, но потом и сам не заметил, как получилось, что без питья он уже постоянно был не в себе: болела голова, подступала тоска и он маялся, буквально не находя себе места, как человек, утративший нечто очень дорогое.

Родителей он потерял рано, остался один в убогом отцовском доме, не было у него ни семьи, ни детей, требующих заботы. Но его смолоду тянуло к людям. Он вставал спозаранок, перекидывал через плечо отцовский коржун и шагал куда глаза глядят. Заходил то в один, то в другой дом, исполненный готовности помочь людям, включиться в их хозяйственные заботы, требующие молодых сильных рук.

В любой дом он входил, будто к родным: если там, к примеру, в это время пили чай, он, едва поздоровавшись, а то и вовсе не здороваясь, плюхался на одеяло на полу, говорил: «Уф-ф, налей-ка чаю...» И никто не считал это бесцеремонностью, никто не жалел для него угощения, потому что и он не жалел своих рук, помогая людям по хозяйству. Его угощали, расспрашивали о житье-бытье.

Так и стал он мальчиком на побегушках для всего аула. Вроде бы никто этим не злоупотреблял, относились к нему даже по-отечески, по-матерински, просто люди принимали его таким, каким он сам предстал перед ними. В собственный домишко он не заглядывал неделями, а то и месяцами. У людей — то свадьбы, то похороны, то сев, то уборка урожая — хлопот невпроворот, и все не успевают управиться, и всем-то он нужен. В самом деле, кто оттолкнет здорового, сильного джигита, который простодушно брался за любое дело, никому ни

в чем не отказывал, прнчем силище его можио было только позавндовать!

Его прнвечали всюду, точно н правда ои был желаиным роднчем: сажалн иа почетное место, прииосилн угощенне, долнвалн в самовар воды — одинм словом, обновляли стол, а это делают не для каждого. Хорошо встречали н в те днн, когда вовсе не нуждалнсь в его помощн, когда н работы ннкакой не было,— ведь не сегодняшинм дием завершается жнзнь. Чего у аллаха в запасе много — это мелочных забот и повседневной суеты для человека. А самая жизнь ему, молодому, представлялась бесконечной, н весело ему было тратить днн, щеголяя нерастрачеииой услужливой силой...

Если кому-то не нужны его снльиые руки сегодия, зиачит, поиадобятся завтра, ие завтра, так через неделю, через месяц — словом, в любой момент — и тогда те, у кого он пока что просто разиеживается за щедрым столом, позовут его, попросят помочь, и ои с готовностью ухватнтся за любое дело, ответнт: «Неужели казах откажет в просьбе старшему?»

А старшнми для иего в те годы былн все, кому требовалась его помощь.

Нравилось ему слышать похвалы: «Весь в отца пошел наш Молдарасул. И тот вечно старался для людей: на смерть пошли его — пошел бы, глазом ие моргнул. Вылитый отец — Молдарасул».

Людн, восторженно хвалившие его отца, сами ие замечалн, что слова эти раскрывали родословную иесчастиого рода, нспокон века бывшего в услужеиии у других. Рода рабов.

Неосторожные слова! Ведь роднтелн Молдарасула н погнбли, охраняя за жалкие подачки чужне отары,— их обонх загрызли волки.

Но Молдарасул ие вникал в глубнннный смысл этих слов. Благодарил простодушио за похвалу и вновь шагал от дома к дому. А когда иаступало времениое затншье н люди возвращались к будничиым домашним хлопотам, он н вовсе уходил прочь нз аула — как зиать, возможио, снльные руки и в чужнх краях помогут ему прожнть без заботы о завтрашнем дне.

Так оно и было, благодушиая улыбка, трудолюбнвые руки всегда желаины людям.

Что-то меиялось в жнзни аулов. Людн решали какието важиые вопросы, волиовались, радовались, спорили,

но по-прежнему бывали и свадьбы и похороны, а Молдарасул жил так, точно его заботами были только эти радости и беды.

Да и слова очередных хозяев дома убеждали его в том же: «Ох, Молдарасул, только тебя и недостает! Ты же все правила и обычаи знаешь, а мы гостей собираем, праздник у нас семейный...»

И Молдарасул, не присев с дороги, начинал хлопотать, чтобы хорошо были расставлены столы, чтобы всего на столах оказалось вдоволь. Окунувшись в дела с головой, он уже не знал отдыха ни днем, ни ночью. Только изредка сунется к старикам, выпьет пиалу коричневого настоя и опять, будто стряхнув с плеч усталость, принимается хлопотать по хозяйству. Горький настой освежал его, придавал силы, он в самом деле забывал про усталость, поспевал всюду.

Перед концом одного такого празднества он взял из юрты, отведенной для подарков,— это было торжество в честь новорожденного — полмешка свежего зелья. Хозяева не возражали, и Молдарасул весь светился от радости и благодарности. Он не желал никакой иной награды за свой многодневный труд: в мешке этом, так ему казалось, было скрыто и райское блаженство, и избавление от любой хвори. Заболит ли голова, заноют ли кости — достаточно одной пиалы настоя. И не нужно по крайней мере полгода ни у кого просить, не нужно побираться.

Эти полмешка дали Молдарасулу ощущение силы и независимости, будто внезапно привалившее богатство. Впервые в жизни он получил возможность пригласить гостей и к себе, в свой дом. Отвалил шест от двери, обмахнул по углам паутину, расстелил на полу пахнущие сыростью одеяла, оставшиеся после родителей,— сам-то он ничего не приобрел за эти годы.

В первый же вечер собрались у него старики, почти до утра пили настой, заваривали чай. Каждый считал долгом польстить ему, вспоминали его родителей, хвалили его молодецкую стать, гостеприимство. И он гордился, что эти мудрые, достойные люди посетили его дом.

Все были предупредительны и ласковы, все остались довольны друг другом. Настолько довольны, что собрались и на другой, и на третий, и на десятый день...

И вот в один из таких вечеров, когда разнежившиеся гости блаженно вкушали свежезаваренный чай, Молда-

расул, запинаясь от смущения, заговорил о своей мечте... Он и сам не мог сказать, родилась ли она у него только что, под влиянием кайфа, или в те минуты, когда он отирал с лица пыльную паутину и не решался войти в пустующий дом. Заговорил он о том, что мечтает жениться, привести в дом молодую хозяйку, разжечь вновь отцовский очаг, чтобы не угасала жизнь в доме. Но без поддержки достойных людей, старейшин аула, он не сумеет это сделать, хотя клянется, что приложит все свои силы, будет трудиться, чтобы не нищенствовать.

Только что собравшиеся у него люди хохотали безмятежно, хлопали себя руками по бокам,— теперь эти руки ухватились за бороды, начали степенно их оглаживать. Воцарилась тишина.

«О аллах, все в твоей воле»,— устремив взор под потолок, промямлил наконец один голос.

«Да-а, верно, да-а»,— неопределенно протянул второй. «Мг-м»,— мычал третий, комкая вынутую из-под локтя подушку.

У всех слова застряли в горле, стыл в пиалах свежезаваренный чай. Молдарасул, потрясенный, не в силах был поднять глаза на своих гостей.

«Что ж это такое?— думал он.— Ведь я — как сын родной всему аулу. Я верил, все обрадуются, загалдят одобрительно, стоит мне произнести: «женюсь». Начнут допытываться: «Говори, джигит, кого себе выбрал?» Начнут готовиться к моей свадьбе, тоже всем аулом, а старики, мудрые аксакалы, советами своими подскажут мне, как жить дальше...»

Сердце щемило. Отчего же они притихли, дорогие гости, как ребятишки при появлении муллы? Разве не известно им, что даже последний нищий хочет пройти по жизни согласно всем человеческим законам, не минуя ни одной ступени... А если не может достичь этого, страдает, мучится от своей неустроенности. Прежде Молдарасул не решался задумываться о собственном семейном очаге, хотя где-то, в самой глубине души, теплилась слабая надежда, зыбкая, легонькая, как летучая пушинка на палке для взбивания шерсти. Постоянная бедность мешала осуществить ее, долгие годы мешала, и лишь сегодня надежда на возможное счастье осмелилась робко заявить о себе. Но эти старики встретили ее вместо радостного гула смущенным молчанием, точно скорбную весть, Опустили головы, избегая взгляда Молдарасула, и

он, возомнивший себя на краткое время богатым щедрым хозяииом, торопливо заговорил с нарочитой бодростью:

— Аксакалы, чай остынет, пейте, пока горячий.— Он протянул руку к сидевшему ближе других рыжебородому старику, чтобы взять пустую пиалу.— Пейте, угощайтесь, прошу вас... Простите, получилось, будто я плату прошу за угощение, вы уж простите меня, я привык иа людей опираться, просить совета, надеяться на них. Привык, вот оно и вырвалось. Невзначай. А то бы я...— Он долго цедил кипяток из узкого иосика горячего самовара, ие в силах иайти слова, способные прикрыть боль и стыд.— А то бы я... ие взваливал на других свой груз. Когда я попросил поддержки, я ведь не денег, ие овец просил, а доброго слова, совета. Вы знаете, моих родителей загрызли волки, когда оии охраняли чужое стадо. Их останки вы привезли в аул, похоронили, как подобает хоронить достойных людей. Мне было тогда двеиадцать лет. И тем, что я вырос, устоял иа ногах, тем, что я, как равиый, сижу теперь с вами за одним столом, я обязан вам, аксакалы, обязан людям. Люди заменили мне отца и мать, братьев и сестер. Если бы я поделился своими мыслями у кого-ибудь из вас дома, вы могли бы подумать, будто я нарочно пришел за помощью, выклянчиваю поддержку. Заговорил бы об этом посреди улицы — выглядел бы несерьезным болтливым мальчишкой. Я уже зрелый человек, аксакалы, разменяваю третий десяток и совета у вас прошу под своей крышей, у отцовского очага...

— Конечио, конечно,— вразнобой закивали стариковские бороды,— верно поступаешь! Мы подумаем.

На самом почетиом месте, выше других, возлежал на мятой подушке сухонький седой старичок. Он деловито отодвинул пуховик и сел прямо, скрестив ноги как для молитвы.

— Если подсчитать,— заговорил он, вертя перед собой пустую пиалу,— ты ведь в каждом доме трудился. Значит, от каждого дома хотя бы по однолетку-жеребенку заработал. Ну, а уж по ягненку, думаю, люди не пожалеют тебе от каждого очага, если женишься. Ничего лишиего в твоих словах нет, все разумио. Мы передадим это другим, посмотрим, что они скажут. Как думаете, аксакалы?

— Конечно, конечно...

После этого как-то сама собой прекратилась беседа, смолкли шутки. Самовар еще не перестал гудеть, а от многочисленных кебисов[1], выстроившихся у порога, не осталось ни одних.

Провожая гостей, Молдарасул пытливо взглядывался в лица, смотрел вслед уходящим. Как же он не замечал прежде этих вихляющих походок, мутных глаз, неверных движений? Кого он собрал вокруг себя? Полно, в чем и когда они заменили ему отца и мать, сестер и братьев? Он только что благодарил нескольких старых бездельников за то, что не поскупились похоронить его родителей. Отчего же он забыл, как те же самые или похожие на них бездельники с большими деньгами и богатыми стадами загубили двоих трудолюбивых бедняков? Оттого и поторопились с почетом похоронить, что хотели поскорее заткнуть рты людям...

Он долго еще сидел за низким столом. Не однажды оставался он в одиночестве под этой крышей, порой и с постели подняться не мог, болел. Но всякий раз его согревало желание поскорее вернуться к людям, которые — он в этом не сомневался — любили и жалели его. Никогда, никогда прежде он не чувствовал себя таким бесконечно одиноким, ни разу необъяснимая печаль не скреблась в его груди такими острыми кошачьими когтями.

Он подвинул к себе чашу, взял лежавший в ней набухший от воды мешочек и с силой сжал его. Желтоватый напиток стал густо-коричневым. Молдарасул встал на колени, еще раз поболтал мешочек в жидкости, потом опять выжал, напрягшись всем телом. Когда раствор почернел, он поднял чашу к губам и осушил разом. Затем придвинулся к самовару, засучил рукава и начал один пить чай...

Он так привык считать себя родным сыном аула, что и сам был привязан по-сыновьи к людям, в чьи дома входил свободно и дружелюбно. Раньше, болея, он торопился поскорее подняться и не хотел никого беспокоить, даже радовался, что не обременяет соседей необходимостью заботится о нем.

Теперь он мучительно ждал: неужели не придут хотя бы спросить, как дела, как он себя чувствует. Уже по одному тому, как повели себя в тот вечер старики, он по-

[1] *Кебис* — кожаные калоши.

нял многое. И все же снова возвращался мыслями к последнему разговору.

«Как же так?.. Ведь хвалили меня и те, и эти. Радовались, когда я возвращался в аул. Укоряли даже: зачем ухожу, зачем помогаю где-то на стороне чужим людям. Встречали так хорошо. И вдруг сразу все забыли, никто не ищет... Значит, только я постоянно их искал и опять должен искать? Меня нет, и ни один из них не хватился меня. Выходит, умри я завтра — некому будет вынести мое тело?..»

Он думал так, а сам напряженно и мучительно ждал, что скрипнут двери, заглянет кто-нибудь из аксакалов, потом, солидно оглаживая бороды, войдут другие, заговорят, полные заботливости, о его судьбе, о предполагаемой свадьбе.

Однажды вечером дверь и в самом деле скрипнула, кто-то нерешительно остановился на пороге, окликнул в темноте:

— Эй, Молдарасул!

Одурманенный очередной порцией горького настоя, Молдарасул как ни силился, не мог припомнить, чей это голос. Голос был молодой, но наглый, самоуверенный, и Молдарасул не отозвался.

Людей было двое.

— Пошли, нету его. Опять, видно, шатается где-то, неприкаянный,— сказал второй.

Первый возразил:

— Ничего, не упустим. Крепкий джигит, и руки золотые.

Если в первые мгновения Молдарасулу показалось, что кто-то подслушал его мысли, пришел его проведать, справиться, как он живет, отчего запропал, то произнесенные слова показались обидными, заставили насторожиться. Не он им нужен — руки его нужны. И это: «шатается», «неприкаянный»... Да он вовсе может уйти, свет белый широк.

Он и не заметил, как дверь захлопнулась. Ушли.

Но дверь опять вскоре отворилась. Молдарасул и на этот раз прикрыл голову одеялом, лежал неподвижно, однако теперь вошедшие вели себя смелее и увереннее.

— Молдарасул!— закричал, задыхаясь, один из них.— Ау, Молдарасул!

Услышав по шагам, что человек направляется к его

постели, Молдарасул высунул голову, отозвался больным голосом:

— Ау?

— Ойбай, Молдарасул, ты чего развалился? И стол не убран. А ну, вставай скорее!

— Что случилось? Что вам нужно?

— Что случилось, что случилось! Вставай, некогда, слышишь? Кто-то ночью украл младшую дочь аксакала Танатара. Нужно отыскать ее.

Молдарасул лениво поднялся с постели. Снял с головы повязку, туго подпоясался ею.

— А кто украл?

— Да пес их знает, шайтанов!

— А что вы сразу-то не сказали? Болтали тут ерунду всякую.

— Кто болтал?

— Ну, ты или приятели твои... Пришли, ушли...

— Ты что, бредишь? Я к тебе бегом бежал, едва дух перевел.

Вошедший заметил на столе чашу с остатками питья, заглянул в нее, перевел взгляд на Молдарасула:

— Я гляжу, ты совсем кайфоманом стал?

Молдарасул не ответил, продолжал одеваться. Человек подождал ответа, но так и не дождался и вышел поспешно, бросив на ходу:

— Мы тебя ждем!..

Четверо джигитов выехали засветло и по конским следам начали погоню. Уже к полудню они настигли похитителей девушки.

Однако догонявшие увидели, что девушка, которую оплакивал весь аул, чья мать твердила: «Ее могли увезти только силой, связав по рукам и ногам, по своей воле она такого не сделает»,— так вот, эта самая девушка, весело болтая, ехала в сопровождении трех юношей. Юноши, полагая, очевидно, что погоня их уже не настигнет, ибо они ушли достаточно далеко, ослабили поводья и беспечно забавляли свою спутницу шутками и легкой беседой.

Смех и шутки оборвались, будто ножом отрезанные. Четверо вооруженных джигитов, мстители за честь аула, мгновенно сбросили похитителей с коней, избили, а пока те приходили в себя, привязали всех трех к хвосту одного из коней и погнали по направлению к аулу обидчиков. Когда камчой ударили по крупу коня, связанные гуськом

юноши побежали, шатаясь и клонясь во все стороны, но изо всех сил стремясь удержаться на ногах.

— Их аул близко?— спросил Молдарасул у плачущей девушки.

Она не ответила.

— Эй, тебя спрашивают, отвечай, пока жива: близко до их аула?

— Да...

— Ну, тогда не пропадут. Быстро прискачут.

И четверо громко, на всю степь, захохотали.

— А кого ты в зятьки-то нам выбрала?— задал вопрос лысый малый с волосатой грудью.— Где он: впереди, посредине или позади?

— Позади...

— Ох-хо... То-то он оглядывается, бедняга!

— А как же иначе? Жалко ведь любимую, потерял навсегда!

— А хорошо бежит. Зря мы его к конскому хвосту привязали — нужно было коня привязать к нему, уж он бы в момент домчал его до дому.

— Ха-ха-ха!..

— Хо-хо-хо...

Молдарасул смеялся вместе со всеми, но невесело ему было. Никогда в жизни не сказал он ничего дурного или обидного ни одной женщине — в каждой виделась ему если не мать, то сестра. И сейчас грубые шутки, хохот, даже собственный смех, он слышал как бы издали, со стороны, где совершалось нечто глубоко для всех оскорбительное и непристойное. Но чем яснее он это ощущал, тем громче хохотал, чтобы никто не догадался ни о чем...

Они вернулись поздно, но аул не спал. Все были на ногах, все ожидали возвращения погони.

Юношей, измученных, с израненными, сбитыми в кровь ногами, они пригнали в аулу, отвязали от конского хвоста и покинули с торжествующим хохотом, даже не распутав им рук. А девушку повезли к родителям.

Когда люди увидели своих джигитов с похищенной на коне, поднялся такой шум, будто камыш взволновался под сильным ветром. Лишь спустя несколько часов все стало понемногу утихать — так буйная голосистая речка становится тихой и молчаливой, когда пробьет между камней на равнину. Перестал буянить и сильно опьяневший от бозы, домашней водки, один из близких родствен-

ников девушки. Ои все грозился «собствениыми руками удавить девку». За полночь люди уселись пить чай, только родители девушки сидели в сторонке, ие смея подиять глаз, молчаливые и скорбные, будто проводили в последний путь покойника.

— Да-а, времеиа ие те, портятся иравы,— произиес один из стариков, оглаживая рыжую бороду. Резкий звук его голоса заставил вздрогиуть и зашевелиться людей, заполнивших погружеиную в молчание большую комиату.

— Портятся, портятся иравы,— поддержал другой, сухоиький, восседавший иа самом почетном месте.— Коиец света близится. Молодые все вверх диом думают перевериуть, законы предков иарушают...

— Что молодые!.. Находятся у них и среди старших советчики: мол, закоиы закоиам рознь. Одни хороши, а другие — побоку, а вы, молодые, мол, счастливее иас будете...

Люди слушали иапряженно, виимательио, опустив пиалы с чаем. Все ожидали, что старики произнесут страшиый и суровый приговор, но иичего ие произошло, лишь чей-то голос пробормотал расслаблеино: «О аллах, все в твоей воле...»

«Все в твоей воле»,— мысленно повторял Молдарасул.— Вы обижеиы иа молодежь за то, что у нее плохие советчики. Так отчего же вы, мудрые аксакалы, ие дали совета тому, кто так ждал его от вас?»

Все опять прииялись пить чай, шепотом переговариваясь.

— Налейте бозы джигитам,— повелительио, как хозяин дома, приказал рыжебородый старик, обижеииый иа иыиешиие времеиа.— Слава аллаху, она в целости-сохраиности, все живы-здоровы, и нечего вешать головы, гиевить иа иочь глядя духов и иакликать беду. Коиечио, если дочь бежит от родителей, позор ложится на иаш аул, ио одио хорошо — оиа ие успела забраться в чужую нору. Честь наша сохраиеиа.— Старик слегка улыбиулся и кивиул джигиту, который грозился «удавить девку своими руками»:— Эй, молодец, ты не пей одии. Если еще осталось — иеси, налей и этим париям. Оии тебе под стать.

Старик явио любовался буйным парием, и тот, гордый одобреиием, снова начал входить в раж. Притащил

большой казан бозы, разливал ее в пиалы и сам то и дело выпивал по черпаку.

Джигиты после двух-трех порций холодной крепкой бозы, которую настаивали несколько дней, оживились, послышались шутки и смех. Парень, разливавший бозу, посмотрел влево, туда, где за скромно накрытым столом сидели несколько женщин и девушек, родственниц беглянки, и грубо замахнулся локтем:

— Всех вас... Поняли теперь, как поступают с убежавшими девками? Вон она валяется, по рукам по ногам скрученная. Как она теперь людям в глаза посмотрит? А как на нее посмотрят? Попобуй которая из вас сделать такое, не сказавшись мне,— убью враз!

— Ойбай, батыр, значит, если девушка откроется тебе, она уже не будет считаться опозоренной?— под смех парней спросил один из стариков.

— Не будет опозоренной!— парень рубанул ручищей воздух.

Парни просто лопались от смеха, старики пытались поначалу сдерживаться, но и они не смогли подавить смех, хохотали во все горло.

— Чему смеетесь?— разъярился буян.— Чему? Над кем? Мой отец умер в сто одиннадцать лет, он был мудрее всех вас. Нынче ему было бы сто семнадцать, а я его наследник, поэтому у меня большие права, наравне с аксакалами. Захочу, всех вас имею право обругать! Так что, если какая красотка решится убегать замуж без моего ведома, я в том доме, куда она войдет, все вверх дном переверну, а ее за косы обратно приволоку.— Он покосился на женщин, зажимавших рты платками и старавшихся не смеяться громко:— Чего кудахчете? Кулаков моих не пробовали?

— Эй, Сиргебай, уймись. Не брани всех подряд,— улыбнулся рыжебородый старик, откидываясь на подушки.

Вмешалась одна из женщин, видно принадлежавшая к числу тех разбитных, что любят шутить со старшими родственниками.

— Ата, мы не обижаемся, что он всех подряд бранит. Если ругательства нашего деверя на всех разделить, каждой и по крупинке не достанется...

Так печальное сборище под конец превратилось чуть ли не в празднество. Перебрасываясь веселыми шутками, люди уже стали расходиться по домам, и тут пришел

черед по-настоящему вспомнить о четверых джигитах, героях дня. Кто-то сказал, что Сиргебаю, грубияну и забияке, далеко до них. Это настоящие джигиты, по их делам можно судить, какого они рода-племени и кто их отцы. У каждого в груди бьется чистое гордое сердце, они способны защищать честь народа. В заключение сухонький старик, который вел разговор как главный старейшина, произнес:

— Ну, джигиты, народ вам благодарен. Будьте благословенны. Нам радостно не то, что дочь нашу живой вернули, а что честь нашу отстояли, обидчиков наших проучили. Теперь не стесняйтесь, скажите, чего желаете в награду.

Джигиты переглядывались в растерянности.

— Будет справедливо, если каждому подарить по коню,— предложил рыжебородый старик, обиженный на время и нравы.— Разве это не по средствам такому богачу, как Танатар?

Все посмотрели на отца беглянки — Танатара. На протяжении целого вечера он сидел в сторонке, нахохлившись под своим бархатным бешметом. В беседу неожиданно вмешался один из троих джигитов, тот, что давеча прибегал к Молдарасулу:

— Э-э, куда нашему Молдарасулу ехать на коне? У него ноги сильнее, чем у любого коня, а захочет покататься — любой из нас не пожалеет для него лошади. Лучше подарите ему полмешка кокнара.

Люди не поняли, в шутку или всерьез были произнесены эти слова, и повернулись к Молдарасулу, он побагровел и свесил вниз голову. Бедняга никогда не говорил на многолюдных собраниях и совершенно растерялся, не зная что ответить. Если бы ему сказали: «Всем по коню, а тебе за труды — понюшка табаку, ты доволен?»— он наверняка тотчас бы выразил свое согласие кивком головы.

— Ну, говори, что желаешь? Не робей.

— Чего робеть-то. Кокнара он желает,— развязно продолжал подвыпивший парень.— Я-то уж знаю...

У Молдарасула все похолодело внутри. «Замолчи же ты, замолчи, проклятый! Чего расквакался?» Но вслух он не произнес ни слова, краснел и переминался с ноги на ногу.

— Будь по-вашему. Три коня джигитам, а ему пол-

мешка кокнара,— произнес наконец Танатар, все так же не поднимая головы.

— Не будем обижать Молдарасула,— возразил кто-то из стариков,— его товарищам по коню, а ему всего лишь половину мешка. Нельзя так, давайте отдадим полный мешок.

— Амины! Пусть все пойдет во благо!

* * *

Молдарасул с мешком на спине вернулся домой под утро. Он не стал зажигать лампу. Не было желания искать кремень, чистить фитиль. Едва войдя в дверь, он швырнул мешок в угол, а сам упал ничком на постель. В груди все горело, будто возникшая в эти дни боль уже не уходила, не могла уйти, а лишь порой чуточку затихала, чтобы немного погодя возникнуть с новой силой. Из глаз не переставая катились слезы.

Возвращаясь из странствий, заполненных будничными поисками случайной работы, в родной аул, он, как бы ни был обременен чужими делами и заботами, всегда старался дотащиться до своего одинокого домика. Бывали у него и обиды, и огорчения, но они мало-помалу рассеивались, пусть даже и доводилось ему провести долгую тягостную ночь, обнимая жесткую отцовскую подушку. Постепенно на душе становилось легче, мир светлел, будто омытый рассветом, и Молдарасул поднимался с постели полный привычного слепого доброжелательства к людям, готовый выполнить любое поручение не задумываясь.

Но на этот раз людское пренебрежение, скрытое под видом шутки, ранило его глубоко. Обида от перенесенного унижения не рассеивалась, а, напротив, росла, вытесняя все остальные чувства. Вставать не хотелось. Он лежал, кутаясь в одеяло, ощущая тяжесть во всем теле, боль в суставах,— казалось, это его скручивали по ногам и по рукам и швыряли на пол, его привязывали к конскому хвосту и гнали с улюлюканьем и хохотом по степи...

Он лежал неподвижно до полудня. Захотелось навеки бросить этот аул, уйти куда глаза глядят. Но где и кто его поддержит, поможет? К кому он обратится, куда поедет? Где-то, в семи или восьми днях пути, живет его дядя — помнится, в раннем детстве он ездил туда с отцом,

Но и дядя его — бедняк, тоже пасет чьи-то отары. Да и дорогу туда разве припомнишь?.. А в соседних аулах он никому не нужен, нужны лишь его руки.

Внезапно Молдарасул вскочил на ноги. В одних изношенных подштанниках бросился к самовару. Долил воды, вынес во двор, наколол щепок и раздул огонь. «Хотите, чтобы я пил? Так я буду пить! Желаете, чтобы во благо пошло? Пойдет во благо».

В самом деле, на что Молдарасулу конь? Куда ему на коне ехать?

Когда самовар закипел, он убавил огонь, внес его в дом, до краев наполнил чашу. Сунул в мешочек две полные горсти травы и, не ожидая, пока она размягчится, с яростной злобой стал тискать мешочек, торопясь развести питье. Но сколько он ни давил, жидкость не принимала обычного густо-коричневого цвета, а напоминала слабо заваренный чай. Он отер пот со лба, посидел, с трудом переводя дух, потом расставил десяток пиал на столе, разлил в них чай, вежливо, будто для дорогих гостей. Наконец можно было заново приняться за приготовление настоя...

В два-три глотка он осушил чашу и стал пить чай, передвигаясь от одной пиалы к другой.

Подобного состояния он еще никогда не испытывал: казалось, дурманящий напиток мгновенно разошелся по всему телу, ведь Молдарасул выпил его на голодный желудок. Взявшись за девятую пиалу, Молдарасул потерял сознание.

Он уже не чувствовал, как пиала выскользнула из рук и горячий чай обжег колени.

Кто-то заглянул к нему вечером, увидел его лежащим в беспамятстве. Его отпаивали молоком, с ним разговаривали, задавали вопросы, но он оставался глух и нем.

С того дня его стали называть Киеваном.

Уже по прозвищу любой мог догадаться, что речь идет о заядлом кайфомане.

СТАРУХА

Когда крохотная темноликая старушка открыла глаза, дневной свет, проникший в комнату сквозь пожелтевшие газетные листы, бросал на все рыжевато-коричневый закатный отблеск. Она решила, что аллах наказал

ее и старнк уже опять куда-то побрел, и резко подняла голову. Но Киеван крепко спал, подложнв под щеку ладонь; он как лег под утро в этой позе, так, похоже, не шевельнулся. Сердце Кыжымкуль дрогнуло и похолодело, она испуганно вглядывалась в худое лицо с глубоко запавшими глазамн: «О мой создатель... Не случилось ли с ним чего?»

Она неслышно подошла к старнку, нагнулась над ним: «Теплится в нем жизнь нли уже нет?»

— Старнк, а старик,— позвала Кыжымкуль, робко прикоснувшись рукой к его плечу.

Спавшнй чутко, как птнца, Кневан испуганно вздрогнул и широко раскрыл глаза:

— А? Что?

Старуха с ужасом отскочила от него подальше.

— Эй, что случилось?— голос Киевана звучал бодро, будто он и не спал вовсе.— Случилось что, спрашиваю?

Кыжымкуль, не в силах оправиться от испуга, молчала, только все пятилась назад, опасаясь, как бы он не побнл ее. Однако, если она не ответит, побоев не миновать, и она брякнула первое, что на ум пришло:

— Ветер никак не утихает...

— О-о, безмозглая! Могла и не будить меня из-за того, что ветер не стихает. Мне-то какое дело, утих он или нет! Подобрала бы лучше свои космы.

Старуха поспешно стала заталкивать седые жидкне волосы под жаулык и краем глаза настороженно следила за стариком. Убедившись, что он не собнрается вставать, она вздохнула облегченно, точно тяжелый груз сбросила с плеч.

Снаружи ветер завывал с неутихающей силой. Она вышла в настывшие сени, растопила печь. Длинные поленья сгорали быстро, безжалостный ветер вытягивал нх жар, и языки огня едва-едва касались старого черного казана.

Она хотела сварнть старику бульон из припасенного куска мяса и поджарила на сале лук. Гудение очага, вкусный запах жареного лука заполнили все, ожнвили унылый домнк. Благодаря старухе, выходившей вместе с другнми на сбор колхозного хлопка, в этом доме всегда можно было что-то сварнть в казане, хоть три раза на дню. Но людям с птичьим чутким сном, с птичьим желудком ничто не покажется вкуснее легкой домашней лап-

ши. Чтобы замесить крутое тесто, нужна сила в пальцах, а ведь сейчас не то что прежде: уже не получается у Кызымкуль хорошее тесто, нет у нее сил хорошенько размешать его, к тому же и соли она то переложит, то недоложит. Не лапша плавает в бульоне, а какие-то катышки или расползшееся тесто. Сколько брани и побоев ей за это от старика! Правда, такое бывало, пожалуй, уже лет пять или шесть тому назад. Теперь старик на это не обращает внимание: не то что катышки, а пустую похлебку подсунь ему, не заметит. Не глядя глотает все, что не поставь перед ним. Может быть, ему надоело браниться, а может быть, он понял, что и старуха, как и он сам, не молодеет, а стареет с каждым днем, и силы иссякают день ото дня. Нелегко их накопить старухе, чтобы приготовить и эту немудреную пищу. Может быть, он и понял, отчего бы не понять? Не глупец же он...

Темноликая старушка взяла рассохшееся от старости сито, насыпала две горстки муки и стала катать сито между сухими ладошками с характерным шумом, какой издают копыта резвого теленка. Потом взяла с подноса, помятого и местами проржавевшего, щепоть побуревшей соли, развела в воде, всыпала туда просеянную муку и замесила комок теста не больше своего кулачка. Труднее всего было раскатать тесто скалкой, приходилось наваливаться на тонкую скалку всем телом. Скрипел стол, скрипела рассохшаяся доска, но казалось, что это скрипят и стонут старые кости.

Обычно после еды старуха наполняла черный мешочек заново травой и до чая оставляла его размокать в воде. Если старик никуда не спешил, она присаживалась ненадолго с ним рядом, и они беседовали о том о сем, о каких-то мелочах, но мелочи эти согревали их обоих. После того как проходил кайф у Киевана, они стелили постели и укладывались спать. Ну, а если старик уходил куда-нибудь, она разжигала подслеповатую лампу и, как всегда, коротала время за бесполезным и жалким делом, чинила расползавшиеся от дряхлости вещи. А то монотонным голосом затягивала унылую мелодию, доставала веретено и шерсть и принималась прясть. Не ложилась, пока не приходил старик.

Конечно, она могла прикорнуть, сидя на привычном своем насиженном местечке у печки, прислонясь к ней вечно мерзнущей спиной, но постель до возвращения старика она не стелила. С тех пор, как она переступила

порог этого дома, никто отсюда не выбирался в дальний путь и никого не ожидали издалека. Она видела и знала только худого сурового старика, желтый самовар, бурый мешочек, мокнущий в воде. Долгими днями думала она лишь о своем старике, стерегла каждый его знак, каждое движение.

Когда бригадир в страдную пору уборки сзывал весь народ в поле, она не отказывалась, выходила на день-два вместе со всеми. За день едва набирала мешок-другой хлопка, согнувшись, постанывая, не в силах разогнуться, а к вечеру, держась за поясницу, вместе с остальными плелась домой. Если до всевышнего не доходили ее стоны и он не укладывал ее в постель, она ходила в поле еще дня три, но все же всевышний не забывал о ней. Глядишь, на четвертый день, ну, самое большое — на пятый, он укладывал ее в тепле, возле печки, покойно и уютно. Приходил угрюмый бригадир, вечно ссорившийся с ее стариком, подолгу стоял над ней, не находя нужных слов, пока наконец не срывался с места. Обычно в этот день кто-нибудь приносил ей продукты: муки и мяса...

Помогало ли старухе лекарство Қиевана или еще что, но вскоре она оправлялась от слабости и вставала на ноги. И продолжалось однообразное существование. О чем думает сейчас эта старушка, что с таким трудом месит тесто, пытается ли осмыслить жалкое свое существование, что она оплакивает в душе,— не поймешь, глядя на темное, иссеченное морщинами лицо. И заглянув в тусклые глаза,— не поймешь.

Она клонилась туда, куда ее судьба, покорно следовала тому, что выпало на ее долю, что суждено было испытать. Привыкла, сгибаясь под непомерной тяжестью, сносить любые лишения и беды...

А что дальше? Умри она — всего десяток людей соберется у ее смертного ложа. Отнесут на кладбище, и еще один маленький бугорок затеряется среди тысяч других, а этот десяток людей вернется к очагу покойной, вкусит из ее казана поминальную трапезу и... забудет об усопшей сразу же после прочитанной о ней молитвы.

Поверит ли кто-нибудь, что жалкое незаметное существо, покорное и забитое, было некогда гордой и красивой девушкой, нежно лелеемой дочерью властного и богатого человека,

* * *

Когда в доме дочь-невеста, ушам нет покою, от сватов — отбою.

Едва Кыжымкуль исполнилось шестнадцать, в их дом, как мусульмане на поклонение в Мекку, потянулись сваты и женихи, до смерти докучали ее отцу. Да и кто же не залюбовался бы такой красавицей и умницей, кому не хотелось породниться с богатым и знатным баем?

Сменяя один другого, приезжали свататься сыновья всех именитых баев, живших между Ташкентом и Туркестаном, приезжали каждый в сопровождении своей свиты — с друзьями, советчиками, разодетые и расфранченные. Все ехали, уверенные в успешном сватовстве, но все слышали краткий и решительный отказ отца девушки и уезжали разъяренные.

Столетиями знали казахи заповедь: «Девушка в пятнадцать — хозяйка семейного очага», и они привыкли к этому, гордые и обидчивые степняки. При словах: «Дочь еще молода, не выдам ее замуж раньше восемнадцати лет»,— каждый сват, каждый предполагаемый жених, надевая на ходу волчью шубу, сердито шагал прочь, угрюмый и насупленный. Правда, некоторые пытались скандалить, предсказывали с угрозой, что лучшего жениха уже не найдешь, исступленно колотили себя в грудь кулаками, а после, усевшись верхом, со свистом втягивали носом порядочную порцию табака и скакали неведомо куда, бешено огрев коня плетью.

Четыре снохи поняли, что вражда с лучшими людьми степи не приведет к добру, и потому днем и ночью неотступно находились при Кыжымкуль, бдительно стерегли каждый ее шаг.

Девушка, привыкшая к привольному житью, с появлением первых сватов сразу повзрослела, но не успела она осмыслить этой перемены, как стала узницей в родном доме. «Ах, женеше[1],— плакалась она жене старшего брата,— зачем я выросла, почему не осталась маленькой? Как плохо быть взрослой девушкой!»

Но не уберегли узницу бдительные стражи. Днем и ночью окружали ее родственники, говорить она могла только со своими, стерегли ее как зеницу ока, а вот исчезла красавица в одну ночь. Наутро сноху, которая спала

---

[1] *Женеше* — жена старшего брата.

вместе с Кыжымкуль, муж привязал за косы к верхней перекладине юрты и избил до полусмерти. Избнтой сказал, что так будет она привязана, пока не найдут девушку либо не узнают, где она и что с ней. Поначалу женщина молила: «Прости, я не виновна! Да проклянут меня духи предков, я заснула нечаянно, а проснулась от конского топота... Да я бы лучше умерла, чем рассталась с Еркежан... Пощади, не убивай меня так!!»

Женщина плакала кровавыми слезами, но суровый муж не внял ее мольбам. До обеда женщина пронзительно кричала под потолком юрты. После полудня она потеряла сознание и умолкла. И все равно никому не позволяли войти к ней.

Суета и тревога воцарились в доме, во все концы была разослана погоня.

До сих пор не забыла Кыжымкуль ту страшную и горестную ночь. Кажется, лишь вчера это произошло.

То ли аллах так решил, то ли распорядилась судьба-злодейка, но она, которая и спать-то боялась одна, в ту ночь выскользнула в залитый лунным светом двор, не потревожив спавшую рядом женщину. Встав с постели, она позвала негромко: «Женеше...»— но та не отозвалась, и девушка, накрывшись шелковым чапаном, вышла за дверь. Она и сама не знала, хотелось ли ей разбудить женеше или, может быть, просто проверить, достаточно ли крепок ее сон, чтобы на считанные минуты ощутить себя свободной... Ничего этого она уже не могла бы вспомнить, помнила только, что сердце вдруг испуганно затрепыхалось в груди от ощущения чего-то недоброго.

Кругом было тихо, в небе ясно мерцали звезды, а молодая луна сияла прямо над самой крышей. А между тем было в этой светлой тишине что-то непонятное, тревожащее, будто крадущаяся поступь хищного зверя...

Она уже направилась к дому, когда кто-то вдруг прыгнул к ней, как барс, и схватил в объятия. Кыжымкуль даже не вскрикнула — огромная ладонь запечатала рот. В следующую минуту рот ей заткнули платком, от которого остро пахло потом, обе руки ее завели за спину и связали. Она уже не чувствовала, как ее высоко подняли над землей и перебросили, будто ковер, через круп коня.

Очнулась она от едва слышного отчаянного крика снохи — та сзывала людей на помощь.

В дороге незнакомец не произнес ни слова. Ударами

плети он все подгонял коня и спустя примерно час пути привез девушку в полуразрушенный дом, там пересел на оседланного, в полной сбруе другого коня и спокойно поехал вдоль реки прямо к высоким горам.

Кыжымкуль окончательно пришла в себя в незнакомой мрачной пещере. Похититель расстелил на земле ватный чапан, положил девушку, развязал ей глаза и вынул кляп изо рта. Кыжымкуль дергалась из стороны в сторону, пытаясь высвободить руки, но тонкий волосяной аркан до боли впивался в тело.

— Отец отыщет тебя и все равно убьет,— произнесла она гневно, пытаясь разглядеть в темноте лицо незнакомца.

— Не отыщет!— громыхнул тот. Грубость тона и при этом какое-то гадкое хихиканье заставили Кыжымкуль подумать, что это один из прислужников, какие всегда льнут к богатым и знатным, безмерно льстивые перед своими хозяевами, жестокие и наглые со слабейшими.

— Сама разденешься или раздеть тебя?

— Сначала развяжи руки.

— Убежишь...

— Клянусь аллахом, не убегу.

— Нет, не развяжу.

При этих словах похититель ножом стал разрезать платье на груди девушки. Она испуганно закричала, рванулась изо всех сил. Тогда мужчина, огромный, как медведь, снова заткнул ей рот мокрой и вонючей тряпкой и донизу разодрал на ней платье...

Разделся не спеша и голый подошел к судорожно бившейся девушке.

* * *

До вечера следующего дня лежали они в темноте. Рассчитав, что паника поутихла, похититель завязал девушке глаза, рот заткнул кляпом и перебросил ее через седло.

Медленной рысью довез девушку до окраины аула и отпустил со словами: «Теперь не заблудишься». Ухмыльнулся: «Тестю моему привет передай».

Прежде, в спокойные дни, девушка, бывало, опасалась на улицу выйти, а если и выходила — едва пробежит ветер по сухой траве или треснет сухая ветка, она мгновенно впархивала в дом, прижимала руки к пылаю-

щим щекам, бросалась пить холодную воду, чтобы остудить внезапный жар. И вот она, такая пугливая и изнеженная, стояла ночью одна, в степи, в четырех или пяти верстах от дома, и, позабыв о страхе, о самом его существовании, побрела, сама не ведая куда. Смутно, как полузабытый сон, представлялся ей родной аул, родные и знакомые лица. Она брела, еле передвигая ноги, полуживая, как ослабевшая лисичка, которую выкурили из норы едким дымом.

Только что похититель, торжествуя, отпустил ее восвояси. Отчего он не убил ее? Лучше бы убил, чем вот так, после всего пережитого, оставить в живых.

Как только мысль о смерти возникла где-то в глубине сознания, она невольно ускорила шаги, сухая трава громко зашуршала, обдирая ноги. «Умереть! Умереть! Отчего он не убил меня? Отчего? Пусть убьет, пусть!»

Девушка повернулась и побежала назад, в темноту, в развевающемся шелковом чапане. Побежала туда, где несколько минут назад стояли черным силуэтом конь и всадник.

— Зверь! Зверь, стой! Именем аллаха прошу тебя, убей меня! Убей меня, зверь!

У нее закружилась голова, потемнело в глазах, и она упала в бурьян.

Очнулась она от шума. Вскочила на ноги, огляделась. Шумел под ветром высохший бурьян.

— Зверь, вернись, убей меня!.. Где же ты?

— Да здесь я. Жду, когда очнешься.

Она увидела, что рядом сидит и ухмыляется ее похититель. Сверкают в темноте огромные, каждый с лопату, зубы.

— Ну что, передала привет моему тестю?

— Нет... Не оставляй меня в живых, убей сейчас.

— Нет, так нельзя,— покачал он головой.— Ты должна дойти до своего дома, чтобы передать отцу привет. Ты передай привет и возвращайся, вот тогда я тебя и убью. У меня сейчас ножа с собой нет, не обижайся. Я оставил его там, где разрезал твое платье. Но ведь убить человека можно и поводьями. Возьми их, сделай петлю, сунь туда голову — и готово. Затянуть только не забудь.

Он встал с места и с петлей из поводьев направился к ней. Девушка попятилась в ужасе. Это показалось страшнее самой смерти.

— Нет, нет, только не так! Ради аллаха, зарежь меня

ножом, ножом!— из последних сил закричала она. Споткнулась о корни бурьяна, упала в беспамятстве.

Когда она вновь очнулась, вокруг стояла такая недвижная темень и тишина, будто ее заживо опустили под землю. Изредка ножевым лезвием сверкнет из-за рваных свинцово-черных туч месяц и тут же спрячется за тяжелыми пластами свинца...

Ослабло пламя гнева и боли, которое уже сутки сжигало ее, казалось, все застывало и деревенело... Но нет, в памяти то и дело всплывали обрывочные картины вчерашних событий, и тогда в груди разрасталась нестерпимая боль, будто кто-то отщипывал от сердца окровавленные кусочки. Боль была и в ней, и вокруг нее — застилала чернотой весь мир. То, что происходило теперь с ней, поруганной и униженной, было даже страшнее и тяжелее вчерашнего. Ее мучили мысли о родителях, братьях, об их женах, которые так заботливо оберегали ее. Она плакала, и сегодняшние слезы казались еще горше вчерашних. Сегодня она думала не только о минувшей беде, но и о том, что ожидало ее в будущем. Беззащитная, бессильная, плакала она в ночи, и тяжелые слезы, подобно кипящей ртути, не омывали душу, а прожигали до черноты, и горечь их была смертельной, как яд.

Она плакала беззвучно в огромной безлюдной степи от бессильной ярости и опустошенности.

* * *

Как запах горелой шерсти, во все аулы быстро проник слушок: «Дочь Даулетбая сбежала замуж». Эти четыре слова в устах многоликих сплетниц разрастались в тысячи, обогащались сотней подробностей и домыслов. И всякий раз где-то совсем рядом проползали тени ускользнувших очевидцев, которые «вот-вот поведали» самую что ни на есть точную правду.

— Мой зять только что приехал из того аула, я все слышала своими ушами. Девушке помогла убежать сноха. Ой, поверните ли, бессовестную и спрашивали, и допрашивали, за косы таскали, пинали, а она не призналась. Уперлась — и все. Вы помните эту бабу, да от нее хоть мясо кусками режь — не охнет. Она прошлой зимой два дня жила у моего свекра — пережидала буран, с мужем и детьми ехала на поминки к своим родичам. Я еще тогда подумала: ох и зловредная ты баба, по глазам вид-

но. И ведь права я оказалась. Эта дряиь сама какому-то прощелыге за подарок Кыжымкуль иа коия подсаживала. Нашу павушку, иашу баловиицу, иа которую иадышаться ие могли! Я ие зиаю точио, кто украл ее, но зять говорил — это сыи очеиь богатого бая. А брат девушки так и ие добился ответа от жеиы, злыдии этакой, связал ее от злости по рукам по ногам волосяным аркаиом да подвесил лицом в стороиу Мекки, пусть отмаливает свой грех...

— О аллах!..

— Да, да, в стороиу Мекки. Выхватил иож, приставил ей к горлу, тут бесстыжая и завопила: «Ойбай, иа мие грех, девушку я помогла украсть». Вот тут оиа все и выложила, куда и с кем Кыжымкуль убежала. Призиалась под иожом, какой подарок от зятя получила. Из ямы, что возле юрты, достали закопаииые слитки: золота — с коискую, а серебра — с бараиью голову...

— Зиачит, призиалась-таки? А ты говорила, не призиается.

— Так ведь под·иожом призиалась. Жизиь-то дороже слитков.

В это время иа другом коице аула или вообще в соседием ауле другая жеищина разливалась соловьем:

— Девушке помогла бежать не сиоха, а сам отец. Нечего шипеть «ие может быть». Очеиь даже может быть. Я вам сейчас объясию. Одии из зиатиых султаиов Туркестаиа решил взять Кыжымкуль в младшие жеиы. Наш родствеиник своими глазами видел этого султаиа. Вот Даулетбай ему и говорит: «Я ие поддался иа уговоры сватов иаших зиатиых баев, оии обидятся на меия. Поэтому забирай дочь сейчас, ночью, и дело с коицом. Подиимем шум, я людям скажу: что поделаешь, удрала, иегодиица!— и иикакой моей вины ие будет». Вот как дело-то оборачивается...

— Все это пустая брехия. Дело в том, что Кыжымкуль забеременела, живя дома при отце с матерью, поэтому оии и решили...

Новость — ветер, люди — камыш. Всяк шумит посвоему.

Исчезиовеиие дочери опалило буйиым гиевом душу Даулетбая, и ои во все коицы разослал джигитов иа ее поиски. Но уже к полудию, когда утих первый взрыв ярости и он смог трезво поразмыслить над случившимся, ои огорчился иеобдумаииости своих действий. Если по-

смотреть глубже, он сам как бы оповестил все окружающие аулы о своем позоре. Сам себя выставил на посмешище врагам, да и друзьям тоже. Нет, не нужно было поднимать панику на всю округу. Лучше показывать людям свою выдержку и разумность, нежели горячность и нетерпеливость.

В конце концов, у казахов девушки то и дело убегали с джигитами, а джигиты воровали приглянувшихся им девушек, лучше было сказать себе: «Хоть и змея, да своя»— и перенести боль и обиду скрытно, не показывая людям своих чувств. Но как ни силился Даулетбай, его терзала мысль — она падала в поток разумных рассуждений, точно капля бозы в молоко, и как свертывается молоко от одной этой капли, так и все здравые рассуждения улетучивались при мысли: «Дочь убежала не по своей воле, и невестка тут ни при чем. Это дело рук одного из сватов, обозленных отказом. Они отомстили за унижение. Они мне отомстили». И Даулетбай стонал и ворочался на своем ложе, не мог решить, что ему делать дальше. Если он укорял себя за слишком шумные поиски, всполошившие и разбудившие всех соседей, то потом его начинало мучить подозрение, не показалось ли окружающим странным и смешным прекращение этих поисков. Раньше его гордость подогревала рабская почтительность многочисленных прислужников, готовых выполнить любое приказание, стоило лишь кивнуть им. Теперь же удручало то, что не было среди них ни одного умного советчика. Посмотришь на кого-нибудь с молчаливым вопросом, и тот сразу отводит взгляд, отворачивается. Эта робость и трепет сейчас приводили бая в состояние глухой скрытой ярости. Найдись среди них хоть один умный и рассудительный, способный дать вовремя хороший совет, разве опозорился бы Даулетбай, вначале устроив погоню, а потом так внезапно прервав ее?

Наступило серое утро, а Даулетбай все еще не сомкнул глаз. Возвращались люди, посланные в погоню, и те, кто был отправлен им вслед с приказанием прекратить поиски девушки. Один за другим спешивались у дома всадники, но никто из них ничего не знал о судьбе Кыжымкуль. Все они отправлялись в погоню, полные неукротимого стремления вернуть Кыжымкуль, а возвращались унылые, с опущенными головами.

По обычаю того времени похититель девушки должен был вскоре оповестить ее родственников, кто он и где

его искать. И обычно те примирялись с происшедшим. Что поделать, не уберегли, на самих себя и пенять приходится... Но тут... Неужели это действительно злая месть, и только?

Даулетбай, недвижно лежавший на своем ложе, вздрогнул всем телом?

«Неужели?.. Храни аллах от других напастей, довольно и этого позора».

Горечь, сомнения не давали ему сомкнуть глаз. Он вскочил с постели, застонав, как раненое животное.

— Что случилось, господин,— невпопад спросила младшая жена, как будто именно в эти минуты с ним могло произойти нечто еще худшее. Не ответив, он натянул бешмет и, грузно ступая, вышел вон.

На улице совсем рассвело. Пыль, поднятая копытами выгнанных на пастбища стад, прибитая утренней сыростью, осела на сухой траве и в ложбинах.

Когда Даулетбай вышел, прислужница, лежавшая возле двери, вскочила и побежала к очагу — там еще тлел огонь, чуть притушенный вчера. Она набрала из большого подвешенного над углями казана теплой воды в медный чайник, подошла к баю и застыла перед ним с потупленным взглядом. Даулетбай нагнулся, вытянув руки, чтобы подставить под теплую струю, но в эту минуту послышался торопливый конский топот. Слишком торопливый. Всадники, прервавшие погоню, возвращались совсем не так, их кони ступали тяжело, как бы нехотя... Даулетбай стремительно выпрямился, оглянулся. Прискакал пастух, на рассвете выгнавший коров на луга. Он был бледен, губы у него дрожали.

— Господин, о господин...

— Что случилось, оборванец, говори скорей!

— Ойбай, ваша Кыжымкуль...

— Кыжымкуль? Где она?

— Там... на сопке... на Караул-тобе. Одна-одинешенька. Сидит... Ее коровы почуяли, испугались... Я сюда прискакал...

— О аллах, что говорит этот презренный! Почему она одна?

— Не знаю, господин мой...

— Коня! Быстро!

Даулетбай с пастухом поскакали к сопке. За ними вслед ринулись еще несколько джигитов, услышавших разговор.

* * *

Кыжымкуль с необычайной отчетлнвостью помнила все, что случилось потом.

Будто мало она перенесла страдаиий, прискакал отец с джигитами, ее схватили и поволокли как животиое иа убой. Никто не хотел знать, никто не хотел слушать, что она невнновна. Все точно окаменелн, оглохлн в ответ на ее мольбы. Казалось, жестокостью к ней слугн пытались вернуть былой престнж господнна, спешнлн доказать ему теперешнимн лихими ухватками предаииость свою и готовность оберегать его честь.

В юрте, куда ее швырнули, она увндела сноху, висящую над ней. Она не поминла, как доехала до аула, и теперь, придя в себя, не сразу поияла, где находнтся.

— Тетушка,— позвала она,— тетушка, что это? Что с тобой?

Она тронула сноху за ноги. Повешенная закачалась. Лицо ее было спокойно, косы натяиули кожу лица, грнмаса улыбки сделала лнцо это не только спокойным, но даже радостным.

Девушка все еще ничего не поняла, с трудом поднялась, вгляделась в лицо снохи.

— Те-отушка-а!

Она обхватила сноху за талию и закачалась с рыданиями из стороны в сторону. Верхняя опора юрты не выдержала тяжести, и обе, одна мертвая, другая живая, рухнули на землю.

— Очнулась, очнулась,— как сквозь войлок зашелестели голоса где-то в отдаленин.

* * *

Ннкто ие горевал о смертн снохи. На следующий деиь к полудню в кнлометрах трех от аула могнльщнкн вырыли неглубокое и тесиое смертное ложе и тело поспешно закопали в землю.

В нарушеиие законов шарната, никому не разрешили голосить, когда выноснли тело.

У покойной остались дети — сын и дочь, мальчик постарше, видя, как мать забрасывают землей, пронзительно заплакал: «Мама, моя мама!» Отчаяние ребенка иа всех тяжело подействовало. Одиа курносая баба нз бедного аула запричитала: «О несправедливый аллах, ие-

справедливый аллах!» Вслед за ней еще несколько женщин, беззвучно ронявших слезы в пыльную землю, крикнули: «Прощай! Прощай, бедняжка!», но тут же испуганно умолкли, вспомнив, очевидно, о ненадежности собственного существования.

Никто не упрекнул их за плач. Даулетбай, тяжело горбясь, прятал глаза под густыми сдвинутыми бровями. Мужчины торопливо набросали пыльный холмик, собрали лопаты и кетмени, и примолкшая толпа направилась обратно к аулу.

Лишь вчера эта молодая женщина уверенно и горделиво ступала по земле, как подобает невестке знатного бая, а сегодня обернулась пыльным холмиком, о котором вскоре позабудут. И никогда уже не вернется она на землю. Зачем пришла она в этот мир? Что нашла в нем?..

Бессмысленный, нелепый и краткий путь, так бесчеловечно оборванный! Родственникам, которые прослышав о беде, приехали узнать, что случилось с их дочерью, ответили: «Дочь ваша скончалась. Так, видно, ей было суждено». Заплатили отступную скотом из многочисленных стад, и на этом вроде бы примирились.

Мертвому — молитвы, а сила живого — в его богатстве, в его стадах. Между живым и мертвым различие в пять кетменей земли. Но пока землей этой не засыплют глазницы, никто не верит в возможность собственной смерти. Из этого мира уходят и старики, и грудные младенцы, все живые знают, что сегодняшний живой — это завтрашний мертвец, что пестрая невообразимая суета жизни внезапно и навсегда прервется для него, но никак не насытятся живые богатством и славой, обманчивыми надеждами, удовлетворенным тщеславием. Чем больше размышлял о бренности всего земного Даулетбай, тем крепче верил он, что сила и власть живого — в его стадах, его богатстве.

Дочь вернулась домой опозоренной. Узнав об этом, Даулетбай рассвирепел. Отцовская боль и жалость отступили перед муками оскорбленного самолюбия. Так и не добившись от дочери ответа на вопрос: «Скажи нам, кто твой джигит, как его имя?», бай решил, что дочь молчит из упрямства и желания досадить ему, и созвал родственников на совет.

Если он станет держать дома опозоренную дочь, то мстивший ему враг сможет вволю потешаться над ним, осмеет на всю степь, и тогда пятно позора ляжет и на

самого бая. Не отмыться ему от этого пятна до самой смерти, но и этого мало: позор очернит и внуков его, и правнуков, а потому есть лишь одна возможность смыть с себя пятно, восстановить честь рода — избавиться от дочери, которая опозорила весь род. Пусть неслыханная жестокость заставит содрогнуться торжествующего врага, заставит умолкнуть злые языки: надо изгнать, отринуть от дома любимое дитя...

Даулетбай то говорил, то замолкал надолго, размышлял, сомневался, но все равно возвращался опять к тому же самому. Он сидел, окруженный братьями и родственниками, а женщины трепетно прислушивались к мужской суровой беседе. Наконец Даулетбай поднял голову, и все увидели его искаженное болью и яростью мрачное лицо.

— Так тому и быть!— произнес он, как отрубил.

Он уже произносил один раз эту фразу, но кто-то возразил ему, кто-то шумно вздохнул, и прислушивавшиеся женщины бормотали с облегчением: «О аллах, упаси от беды», но вторично слова Даулетбая прозвучали решительно и твердо среди глубокого молчания. Слабую нить надежды рассекло, будто саблей, и женские всхлипывания заполнили комнату.

Даулетбай не подал вида, что слышит эти всхлипывания, думал, сами утихомирятся, но женщины не унимались, принялись плакать в голос.

— Хватит!— грозно выдохнул Даулетбай, сразу оборвав на высокой ноте женские вопли.— Не сумели уследить за одной девчонкой, дали ей волю. А она в благодарность всех нас живыми в землю закопала, скрывает, с кем сбежала. И та ушла в мир иной... Будто не довольно нам позора и горя, вы еще тут развылись. Нечего голосить, людей беспокоить. Ведите сюда эту потаскуху!..

В юрте наступила мертвая тишина. С тех пор, как разнесся слух: «Она сбежала!»— очень немногие видели Кызымкуль, да и то лишь во время ее возвращения. Потом она оказалась взаперти как преступница, которая упорно не признается в своем преступлении. И вот теперь все, кроме самых близких родных, забыв о милосердии, жадно смотрели на дверь. Девушку в одном легком платье, со связанными сзади руками ввели два рослых джигита и поставили перед собравшимися. Лицо ее опухло от слез. При виде дочери мать с воплем: «Бедный верблюжонок мой!»— бросилась было к ней, но муж, свире-

по гляиув иа иее, гаркнул: «Сиди иа месте!»— и сразу обессилевшая жеищииа осела на пол. «О аллах, аллах, бедная головушка...»-- это, не сдерживаясь, причитала и плакала вторая, младшая жеиа бая, взятая им недавио за красоту. Плакала от женской слабости, от жалости к своей ровеснице, чье горе и беспомощность перед грубым иасилием оиа, возможио, ощущала острее других.

Никто не обратил внимаиия на горестиый вопль матери, иикто ие замечал, как терзается и кровоточит ее сердце, а если бы кто и заметил, то ничем не выдал бы себя. Все, затаив дыхание, ожидали первых слов Даулетбая.

Он ие заставил долго ждать, шевельиул кустистыми бровями, взгляиул мельком на дочь и спросил:

— Ты и сейчас ие хочешь признаться, кто это был?

Девушка молчала.

— Потаскуха, кто же ои таков, если ты так упорио это скрываешь? Кто он, из-за кого опозорен весь иаш род? Говори, как его зовут, какой ои из себя, какие слова он сказал? Скажи, пока ие поздио,— потребовал старший брат, тот, который повесил свою жеиу.

— Я уже говорила тем, кто умеет слушать: я иичего не знаю. Зачем вы опять мучаете меня? Я не пожертвовала бы и мизинчиком маленького племяниика за самый большой слиток золота, а он остался сиротой. Потому что из-за меия погибла любимая тетушка. Она была мне как вторая мать, но вы ее ие пожалели, не пожалели детей, а моя жизнь ие дороже ее жизии. Делайте со миой что хотите. Прогоните, сожгите живьем, ваша воля...

Кыжымкуль говорила тихо и устало, ио слезы не переставая катились по ее щекам, платье иа груди потемиело, промокло от слез. Сидящие понурили головы, волнение овладевало ими.

— Я ие зиаю, слышите, ие зиаю, кто украл меня. Не помню даже лица его. Я с иим ие говорила, я плакала, тысячу раз я твердила вам про это...

Даулетбай покосился иа средиего сыиа, тот мгиовеиио понял отцовский приказ, вскочил с места.

— Прекрати, потаскуха!— крикнул ои.— Мало нам твоего бесстыдства, так ты еще смеешь таким тоном говорить при отце, которого почитает весь белый свет? Вместо того, чтобы просить прощения, в иогах у отца валяться.

— Мие теперь все равио,— прервала девушка.— Я

вижу, вы все меня вините, не хотите простить, я ведь уже умоляла о прощении. Но если отец отказывается от родной дочери, значит, такова судьба. Моя душа тоже остыла к вам, как камень. Верно, и на это — воля аллаха. Я больше не боюсь смерти, наоборот, я осмеливаюсь упрекать создателя за то, что не погибла одна в степи, за то, что звери и птицы не растерзали мое тело...

Ее брат застыл на месте с раскрытым ртом и выпученными глазами, пораженный такой смелостью в речах. Лицо его потемнело, толстые губы зашевелились наконец, и с криком: «О, черная змея!»— он с поднятой плетью бросился к сестре. В этот миг, как птица к попавшему в опасность птенчику, метнулась мать на защиту дочери и очутилась между Кыжымкуль и сыном. Сын не успел отдернуть руку — плеть сдернула с головы убор и рассекла кожу на голове женщины. «Проклятый во чреве!»— успела произнести, падая, мать. Кыжымкуль хотела поддержать, поднять ее, но не смогла высвободить связанные за спиной руки и упала рядом с матерью.

Даулетбай вскочил.

— Уберите эту потаскуху!— загремел его голос.— Отведите в степь подальше, чтобы не видеть и не слышать о ней. Пусть будет благодарна, что уходит живой. Похоже, она решила потопить нас в крови родственников! Сейчас же уведите ее!

Давешние два джигита грубо выволокли девушку. А сын, неожиданно для самого себя обрушивший на мать жестокий удар плети, стоял в растерянности, не зная, как ему поступить: выталкивать ли вместе с джигитами сестру или поддержать окровавленную голову матери. Даулетбай, поправляя движением плеча сползавший бешмет, бросил, проходя мимо застывшего в испуге сына:

— Отнеси мать в другую юрту...

Сказав это бесстрастным тоном, даже не взглянув на лежавшую женщину, уже распахнул дверь, занес через порог ногу, но приостановился, проронил, ни к кому не обращаясь:

— Пусть не выйдет за порог весть о том, что плеть сына задела мать.

* * *

Как просторно под широким небом!

Еще недавно ей казалось, будто мир обрывается за сопками, казалось в той прежней, беспечальной и беззаботной жизни. Но вот уже четыре дня длится путь, а вокруг и впереди — лишь бесконечная степная ширь, и ни разу за все это время им не встретился аул или какое-нибудь пристанище. Где хоть одна живая душа, где скот? Мир без конца и начала!

Зачем эти два джигита ехали рядом с ней ночами, опасаясь, чтобы днем их не увидели люди? Напрасно. Никто не увидит. Никого нет в этом мире, лишь пугливые зверьки под ногами да птицы в небе...

Пять суток возле нее эти двое, и за пять долгих дней джигиты не перемолвились с ней ни единым словом. Только на прощанье молодой протянул ей горсточку сушеного сыра со словами: «Легче будет переносить жажду». Девушка не взяла, стояла неподвижно, как неживая.

А усатый джигит в белой войлочной шляпке соскочил с коня и стал мочиться тут же, под ноги коню.

— Эй, малыш,— говорил он в это время, глядя на небо.— Возможно, сегодня будет дождь, а?

Молодой вплотную подошел к нему.

— Скотина ты,— выговорил он зло.— Ты бы хоть девушки постеснялся.

— Э-э,— отмахнулся усатый,— она и не такое видала.

— Да, наверно, будет дождь,— равнодушно сказала Кыжымкуль, тоже подняв лицо к небу.— Как бы вам не промокнуть, возвращайтесь в аул, а я дальше пойду сама. Только отец мой не все до конца обдумал. Если он хотел смыть с себя позор, он должен был приказать вам, чтобы я никому в степи не говорила, чья я дочь. Он забыл об этом, но я помню и никому не скажу, кто мой отец. Так и передайте ему. Позор мой исчезнет вместе со мной.

Два джигита остались стоять, держась за уздечки коней, а девушка повернулась и пошла. Будто не они, а она привезла их в степь и бросила здесь на произвол судьбы.

— Несчастная, несчастная,— прошептал молодой.— Чем так мучить, лучше бы они убили тебя.

— Какие «они»?— перебил второй.— Сейчас она в нашей власти. Нечего жалеть. Давай... Кто нас видит, чего нам бояться, а? Может, ее завтра и в живых не будет. Все же девка. Давай-ка потешимся всласть. Вон она, недалеко ушла.

Молодой долго молча смотрел на своего спутника. Потом гневно и скорбно выговорил:

— Будь власть в моих руках, я бы первыми выгонял в степь таких, как ты. Без жалости, в первую очередь.

Он вскочил в седло, хлестнул коня плетью и помчался в сторону аула. Усатый нехотя последовал за ним.

* * *

Нелегко приходилось Кымке, овдовевшей два года назад. Шутка ли, дочь и четверо сынишек, мал мала меньше, остались на руках: старшему четырнадцать лет, он хоть помочь по хозяйству может, а младший едва начал ходить. Когда муж скончался от какой-то неведомой опухоли в горле, сыну в чреве матери было всего шесть месяцев. В доме бедняка не забывают о всевышнем, а бедность почему-то не уходит из дома — об этом нередко с горечью размышляла Кымка. За будничными заботами, повседневной суетой не замечаешь, как бегут дни за днями, вот и оказалось, что за целую неделю вдова ни разу не испекла поминальных лепешек в честь духов-покровителей покойного мужа.

Правда не уберегли они хозяина, не спасли отца детишкам, но что поделаешь, видно, и у духов немало забот... Да, суета нескончаема, ее не остановить, не догнать, как не догнать летящую пулю. Припасы в доме так скудны, что трудно выделить из них что-нибудь для такого важного случая. Все же потихоньку Кымка урывала от ребятишек и хлопковое масло, и сушеный урюк с изюмом. Жили без мяса, но зато к святому дню, когда уже нельзя было не помянуть покойного хозяина, кое-что Кымка накопила, а накануне прирезала ягненка единственной своей овцы.

Чтобы не болела душа и не осудили соседи, задумала Кымка пригласить на эту пятницу гостей — молитву прочесть и покойного помянуть.

Она встала пораньше, разбудила старших, дала каждому поручение — послала по воду, за хворостом, занять у людей посуду. Хоть покойный муж и не был зажиточ-

ным человеком — да где там зажнточным! — коицы с коицами не всегда сводилн, — но все же мужчииа в доме есть мужчииа; Кымка поняла это по-настоящему, когда свалились на нее все тяжелые мужские дела. Нужда и повседиевные тяготы заставили раио повзрослеть не только старшнх детей, но и девочку, которой едва исполнилось шесть лет, голенастую, смуглую, с вечно взлохмачеииыми чериыми волосенками.

В это утро ее и будить не пришлось: вскочила первой вслед за матерью, накннула рваное платьишко, по привычке босиком вышла в передиюю, притащила ведро с водой, чтобы нагреть на очаге чайник.

Тонкие, как рукоятка плети, ручкн дрожалн от иапряжения, когда она волокла ведро, поднимала его над чайником. Потом оиа раздует огонь, вскипятит чай и ие мнгая стаиет следить за кипящим казаном, в котором варится мясо. Но сперва нужно раздуть огонь.

— Апа[1], угли совсем погаслн, — закричала девочка из сеией.

— О аллах! Значит, ты ночью плохо закрыла.

— Нет, я хорошо закрывала.

— Пропадн ты пропадом, когда же вы научитесь помогать! И я-то, дура, поиадеялась иа тебя. Ладно, возьми совок, попроси у соседей огия. То-то чую, холод до костей пробирает.

Из сеией послышался грохот вытаскиваемого из ведра совка.

— Э, девочка, — крикиула мать, — учнсь всякую работу делать тихо, шумливую иевесту иа смотринах бракуют...

Пока мать убиралась в доме, девочка сбегала за углями, разожгла огонь и успела вскипятить чай. Оиа суетилась нзо всех силеиок, стараясь угодить матери, но опять получила замечаиие:

— Ты зачем затопила очаг в доме? Могла бы тот, который во дворе.

— Так вы же сами сказали, что сегодня холодно, — жалостливо сморщившись, возразила девочка. — Холод вас до костей пробирает.

— Ах ты моя глупенькая... Разожги и тот, сегодня миого жару понадобится.

Девочка с красиымн углями в совке метиулась во

[1] *Апа* — обращеиие к матери или старшей сестре.

двор. Не прошло и двух-трех минут, как раздался ее испуганный вопль: «Ма-ама-а!»

Кымка, уронив миску с мукой, выбежала из дома:

— Ойбай, что случилось, чего ты испугалась?— Она подхватила дочку на руки и прижала к сердцу.— Солнышко мое, душа моя, чего ты испугалась?

— Там... там, в сарае,— девочка испуганно покосилась в сторону открытой двери сарая и заключила шепотом:— Человек там лежит!

— О аллах, что ты говоришь! Какой человек?

— Ой боюсь, боюсь, мама, не ходи туда!

— Да что ты выдумала, откуда там взяться человеку?

Кымка отвела дочку в дом, посадила возле младших сынишек и кликнула старшего, который неподалеку собирал хворост. По дороге прихватила вилы с поломанной ручкой и зашагала, нарочно громко топая разбитыми башмаками. Она сунула голову в дверь и увидела, что на земле кто-то лежит лицом вниз.

— О всевышний, это женщина,— сказала Кымка и смело вошла в сарай.— Сынок, подойди, поднимем ей голову. Живая она или нет?

Они приподняли голову женщины, увидели красивое, смертельно бледное лицо, длинные черные косы.

— Живая,— обрадовалась Кымка,— дышит, жива бедняжка. Кто же она такая, чья? Давай отнесем ее в дом.

Кымка с сыном на руках внесли незнакомую девушку и бережно уложили в постель, а испуганные дети с воплями выскочили из комнаты и застыли в сенях.

* * *

Кыжымкуль с детства помнила рассуждения аульных мудрецов о том, что судьба человеческая изменчива. Бывает она тяжка, будто непосильная ноша, надорвешься, пока поднимешь, а поднимешь и нету груза, который представлялся великим богатством. Все растаяло вмиг, как горошина града на теплой ладони... Обманчива судьба, предательски ненадежна — Кыжымкуль слышала это много раз, но никогда не думала, что слова эти могут иметь хоть малейшее отношение к ней самой. Не представляла, что так вот все может переломиться в мгновение ока. Не успеешь передохнуть — а уже вся жизнь

твоя изменилась, все рухнуло, все почернело, как на пожарище.

Нет, не думала, не представляла. Ведь всего два дня назад или, может быть, неделю — счет дням она уже потеряла — была она «дочерью такого-то», ею любовались, ее любили и холили, на нее, изнеженную, не смел дохнуть ветер, и все желали ей счастья. И сама она слепо верила, что одни лишь радость и счастье ждут ее впереди. Но за каких-нибудь несколько дней, по решению жестокого отца и безжалостного брата, она лишилась всего, стала сиротой при живых родителях, превратилась в бродягу, нищенку. Она хотела умереть, но не умерла, страдала, что осталась жить, и набрела на этот дом. Так измученное, покалеченное животное, преодолев страхи, тянется к живому человеческому теплу...

Десять дней заботливо ухаживала за ней Кымка. Перенесла на отдаленное будущее торжество, которое было замыслила. Не стала сзывать соседей — их любопытство смутило бы неожиданную гостью. А так как Кымка была свято убеждена, что всякий гость — благословение свыше, она радовалась, что и угостить незнакомку может не хуже, чем в богатых домах. Кормила, ухаживала, но не спрашивала ни имени ее, ни откуда она родом. Не выпытывала, какая беда погнала такую красавицу, с такими нежными руками и ногами, бродить по чужим аулам.

А Кыжымкуль, которая стала шестым ребенком в этом доме, за все эти десять дней не проронила ни слова. Лежала ни жива ни мертва, иногда поднималась, иногда через силу что-то ела, но все же, когда она закрывала глаза, быстрые сухие руки Кымки начинали казаться ей руками матери...

Увидит ли она теперь свою несчастную мать? Увидит ли родной уголок, подруг детства? И поймет ли безжалостный отец, что нет в случившемся ее вины? Простит ли?

Но какой толк в этом? Пусть даже произнесет он короткое: «Прощаю»,— сможет ли слово это воскресить погибшую жену брата, которую Кыжымкуль ласково звала «тетушкой»? Способно ли отцовское прощение вернуть самой Кыжымкуль хоть частицу прошлой беззаботной радости, а главное — стереть грязное пятно, какое, по словам отца, отныне ляжет и на будущее потомство.

Ведь такой был произиесеи приговор иад ией и ее будущим!

Нет, иет, теперь оиа забудет обо всем, время поможет ей забыть. Не было у нее богатого и счастливого отчего дома, ие было горя, унижений, обид. Жизиь ее началась с той мииуты, когда добрая женщиия Кымка нежио и заботливо уложила ее в свою постель, укрыла одеялом, влила ей в рот горячего бульона.

Но... бедиая мать, как оиа рыдала тогда! Разве забудешь, разве сумеешь отсечь память о прошлом? Это чувство будет возвращаться постояиио, до самой смерти преследовать ее, и душа будет кровоточить как открытая рана... Выдержать, только бы выдержать.

Прошли самые тяжкие дии горестиого оцепеиеиия, и Кыжымкуль впервые смогла заплакать. Вначале оиа плакала беззвучио, потом ей стало казаться, что вся кровь ее закипает, струится по жилам огненным потоком, выливается из глаз обжигающими слезами. Испепеляющий огонь опять теснится в груди; не в силах сдержать страдаиий, девушка плачет иавзрыд.

— Милая, все будет хорошо,— голос Кымки звучит по-материиски ласково.— Ты плачь, плачь, легче станет.

И Кыжымкуль уже плакала, ие стесияясь Кымки. Дети ие пугались ее плача — сироты, они привыкли, должио быть, к горьким рыданиям овдовевшей матери.

Вскоре Кыжымкуль рассказала Кымке все без утайки. Говорила и плакала, и сжимала руку Кымки, гладившую ее по голове.

Вот так к сорока заплатам вдовьего рубища прилепилась сорок первой Кыжымкуль. Девушка прониклась острой жалостью к вдове, у которой всего-то добра было одии сундук, полупустой ящик для посуды, четыре или пять ветхих одеял. А еда такая, чтобы только не умереть с голоду. Порой Кыжымкуль забывала о себе, о собственном горе, испытывая иевыиосимую боль при мысли о беспросветиом существовании доброй трудолюбивой жеищины, своей спасительиицы, готовой поделиться последиим куском с тем, кто попал в беду. И в то же время чувство удивлеиия ие покидало девушку, выросшую в полиом довольстве; иеужели и так могут жить люди? Неужели жизнь способна быть такой жестокой, еще более жестокой, чем отец и брат самой Кыжымкуль, и казнить изо дня в день даже малышей, лишая их радостей, беззаботиости, всего, что украшает детство? Есть кусок

в доме — они радуются, пришлось подтянуть животы — становятся печальными, как старики. То, что удавалось Кымке добыть на пропитание сегодня, помогая по хозяйству соседям, съедали в тот же день, препоручая аллаху заботу о дне завтрашнем.

Однажды в порыве сострадания к обездоленным Кыжымкуль сняла с руки золотой браслет и протянула Кымке:

— Берите, тетушка,— она с какой-то особенной теплотой обращалась к этой доброй женщине.— Было их два, да один я потеряла, когда бродила в степи. Продайте его, будут деньги на пропитание.

Кымка испугалась, отстранила протянутую к ней руку:

— Ой, что ты, доченька! Не возьму, ни за что не возьму. Ты, может, думаешь, что я считаю тебя лишним ртом? Нет, того, что у нас есть, на всех хватит. Было бы здоровье, да эти сопливые были бы живы. А я на всех заработаю!..

Она говорила, как богачка. Наверно, она и чувствовала себя действительно богатой, а может быть, просто желала быть ею? Есть ли большее богатство, чем щедрое, полное любви к людям сердце?

— Тетушка, возьмите, пожалуйста, я обижусь, если не возьмете.

— А я обижусь, если будешь настаивать. Ты, наверно, жалеешь нас, видя нашу жизнь? Да мы уж привыкли к ней. Давно привыкли, как наш хозяин умер. А браслет ты береги, не оголяй рук. Жизнь — она жизнь и есть, сегодня сытая, завтра голодная, а потом, глядишь, совсем богатая. Скоро мои дети подрастут, станут настоящими помощниками, и буду я прохаживаться среди них, моих голубков, важная-преважная. И разве не забуду я тогда все былые тяготы и голодные дни? Покажется, что не было и быть не могло такого. Кто посмеет тогда сказать обо мне, что я — та самая Кымка, которой вчера есть было нечего?.. Эй, Оспан, где Коспан? Зови его сюда. В ступе кукуруза размякла, пусть растолчет ее, да поскорее. Оспан, эй, Оспан, а ты сам-то где? Куда запропастились эти негодники?

— Да вот же я, мама!

Сын сидел позади матери.

— Ой, а я тебя потеряла, свет мой. Ступай, родной, кликни брата. А я пойду, попробую принести из аула ай-

раи[1], может, даст кто. Вечером в похлебку добавим.— Она поднялась с земляного пола, взяла ведро, вылила из него воду в казан.— Накажи Коспану, чтобы осторожнее толок, ни зернышка не обронил. А вы с Жамигой разожгите огонь в очаге — там, во дворе...

Она вышла, быстрая, подвижная, излучающая добро и ласку. И не нужно ей ни золота, ни денег. Кыжымкуль застыла на месте с браслетом в руке. Она хотела позаботиться о приютившей ее семье, но слова о браслете, за который можно выручить неплохие деньги, повисли в воздухе, как бы не коснувшись ушей Кымки. Они вернулись к самой девушке и горячей волной стыда прошли по телу.

* * *

И все-таки верно, что время — лучший лекарь. Стираются в памяти подробности мучительных событий, куда-то, на самое дно души, оседает недавняя тяжесть, не дававшая поднять головы. Кыжымкуль лечила свои раны будничными хлопотами и заботами, смертельно уставала за день, но радовалась, что может помочь вдове. Поначалу она все повторяла: «Разрешите мне уйти...»— но Кымка так искренне сердилась, так негодовала, а личики детей становились такими огорченными, что девушка бросалась обнимать их всех, обещала не уходить никуда.

Вот и первый снег выпал в краю, куда привела ее судьба. Не приходилось уже и думать, чтобы куда-то уйти. Правда, Кыжымкуль иногда возвращалась к этой мысли, но скорее для самооправдания. Ей начинало казаться, что дом этот всегда был ее домом, а эти будничные заботы — ее заботами. И как знать, возможно, до той поры, пока растают снега и можно будет двинуться в неведомый путь, она до конца прикипит душой к этой семье, к этим почти родным лицам, и они, если бы даже захотели, не смогут прогнать ее, разве только силой. Как знать!

За четыре месяца, проведенные в чужом краю, Кыжымкуль похудела и изменилась до неузнаваемости. Красавица с лебединой поступью, от которой трудно было взгляд отвести, превратилась в жалкое пугливое сущест-

[1] *Айран* — кислое молоко.

во, поэтому, видимо, и не задерживались на ней взгляды аульных молодцов.

Зимой: едва девушке минуло семнадцать, довелось ей испытать новое мучение, непонятное, ужасающее. Она была убеждена, что уже испила полную чашу страданий, какие могла послать ей судьба. Но, оказывается, нет...

Новое мучение зародилось еще там, в прежней жизни.

Оно зашевелилось в ней неожиданно, острыми толчками давая знать о себе. Рыданиями Кыжымкуль разбудила чутко спавшую Кымку. Чтобы не потревожить детей, обе женщины вышли в переднюю комнату и, усевшись возле старого очага, проплакали до утра. «Почему я не умерла тогда?»— билась в рыданиях Кыжымкуль. «О бедняжка моя, ты же несмышленыш совсем,— повторяла Кымка, не зная, что ответить, чем утешить несчастную.— Ты даже не поняла, что с тобой... А теперь будем ждать, не гневи судьбу...»

И она обливалась слезами вместе с Кыжымкуль, не находя иных слов утешения. От их стонов и рыданий проснулись дети.

Вырвать, вытравить из чрева новую, только зарождавшуюся жизнь — такого не было в обычаях у казахов. В тот же день сняющая Кымка сообщила Кыжымкуль о своем плане: она расскажет всем соседям, будто Кыжымкуль — ее младшая сестра, приехала к ней после того, как рассорилась окончательно с дурным мужем и злой свекровью. Приехала разделить ее вдовье горе и спокойно родить ребенка, чтобы раздоры между близкими людьми не надорвали его сердце еще во чреве матери... Так говорила Кымка и ожидала первенца Кыжымкуль, точно рождение собственного своего дитяти, хотя порой Кыжымкуль и ловила на себе ее полный тревоги и сочувствия взгляд. И сама она не в состоянии была преодолеть чувство горя и ужаса при мысли о будущем ребенке; оно разъедало душу, как моль, поедавшая нежную пуховую шаль. Солнце весны, теплое и ласковое, опустившись поближе к земле и людям, похоже, с тревогой вглядывалось в исхудавшее, почерневшее лицо Кыжымкуль, вглядывалось, не узнавая прежней красавицы, добрыми лучами ласкало и согревало ее щеки, угловатые плечи под истрепанным платьишком...

Вместе с Кыжымкуль доползла до аула и весть о том, что дочь знатного бая забеременела в отцовском доме, сбежала к покинувшему ее любовнику и в степи ее съели

волки. До лета ие прекращались разговоры, забегали соседки и к Кыжымкуль поделиться иовостью, но иикому не приходило в голову связать появлеиие в ауле жалкой полунищей девушки с побегом гордой красавицы, отвергиувшей лучших женихов.

Кыжымкуль слушала эти разговоры, глотая слезы.

В печали и страдаииях родила оиа летом первенца. Так чериая беда, обрушевшаяся иа иее, виовь иапомиила о себе требовательным детским криком. Нежданно и некчемио расщедрился скупой аллах, у которого порой не вымолить такой милости никакими жертвами. Вымаливали ииые в слезах, горючих, выжигающих глаза, вымаливали, в кровь разбивая иоги о камии, по дороге к святым местам, иа которых, как испокои веков считали, почило благословение всевышнего. Молили и ие могли вымолить, а тут ненужная милость обрушилась на слабые плечи новой бедой, и не видио этой беде ни коица ии краю.

Мысли эти мучили Кыжымкуль, заставляли ее отворачиваться от кричавшего младеица. Но ие так встретила появлеиие малыша Кымка. Красивого, с соболиными бровями и выпуклым лбом мальчика она назвала Токсаном — имя было созвучно именам ее двух сыиовей, и означало оио «девяносто». «Да мииуют его беды,— торжествеино сказала жеищииа,— да будет жизиь его долгой и счастливой, а звоиким своим голосом пусть докричится он до самого аллаха, чтобы забыла и ты все обиды...»

* * *

Совсем лишился сиа Даулетбай, ни дием, ии ночью не покидала его мысль об изгианной дочери. Первое время, пока ие улеглась душившая его ярость, ие давали покоя стеиаиия первой жены, матери Кыжымкуль, ио вот уже два месяца, как она умерла, и вроде бы воцарилось спокойствие.

Даулетбай отиесся к смерти жеиы с полным равнодушием. Не зря же говорилось в степи: «Жена умерла — что рукоятка плети переломилась», и казахи, ие успел еще зарасти чахлой травкой бугорок земли над могилой, спешили ввести в дом новую жену.

Однако не стихали вокруг семьи Даулетбая сплетни и пересуды, все громче звучали голоса, осуждавшие не-

померную жестокость. И некуда было укрыться, невозможно было не слушать, не призадуматься. Двух покойников в один год вынесли из дома, и люди считали, что повинен в обеих смертях он, Даулетбай. Родственники повешенной снохи — не без участия добрых советчиков — опять приехали требовать ответа, что случилось, отчего умерла так внезапно сильная молодая женщина. Спрашивали, уже зная обо всем от людей, а потому спрашивали гневно, не слушали никаких уверений, обвиняли и оплакивали эту раннюю жестокую смерть. И вновь, чтобы дело не дошло до суда, пришлось задабривать всех родственников снохи, перегнать им невесть сколько скота, отдать уйму денег, уверяя при этом, что лгут соседи, не было никакой расправы, никакой жестокости.

Еле-еле удалось уломать их, но пересуды не прекращались. Люди говорили об изгнаннице тоже как о мертвой, вернее — погребенной заживо. Решение, принятое баем в узком кругу родственников, называли излишне крутым и свирепым. Даулетбай и сам начинал склоняться к тому, что было оно поспешным и забота о чести будущих потомков оплачена слишком дорогой ценой. Не вина несчастной дочери, не ее несчастье, а эта кара, унесшая в могилу двух женщин, и, возможно, погубившая третью, легла несмываемым пятном на всех потомков Даулетбая, и он наконец-то понял это.

Не только жалость к изгнанной дочери терзала его тщеславное сердце, не только мысль о будущих потомках. Предстояли выборы в волостные, что давно было целью жизни богатого и знатного бая. Ему было мало той власти, какую дает богатство и льстивое поклонение тех, кто кормился возле него,— он хотел быть облеченным властью такой, чтобы каждое его слово, каждый приказ гремел и катился по округе, будто спущенный с неба.

Он не останавливался ни перед чем — собирал гостей, раздаривал скот, не скупился на угощения. Даже обиженные родственники снохи, услышав о выборах, смягчились, стали прикидывать, что не стоит им ссориться до конца с будущим волостным. Гибка совесть человеческая, нередко позволяет себя уломать. Вот и сваты поняли волнения Даулетбая, решили простить его, потому что не он ведь приказывал сыну своему так поступить с женой, вернули скот до единой головы, деньги до единого

рубля. «Дочь умерла, ие вернешь теперь, а враждой ничего не добьешься. Будем держаться вместе, раз породнилнсь, у нас общие внукн. Возвращаю откупное, это моя помощь тебе, пригоднтся, расход покроет, понадобится в твонх важных делах»,— сказал отец покойной снохн.

Еднственное, чего после прнмнрення опасался Даулетбай, это слухов о дочерн-нзгнаннице. Как бы онн не повредилн ему завтра, не прегранлн ему путь к властн. Пересуды, сплетнн, осуждение — все это на руку его врагам; недругн давно соперничают с ним за это место, втихомолку строят всяческне козни. И уж наверняка кто-инбудь услужливый донес нм об нзгнаннице — так неужели не нспользуют оин это обвиненне, чтобы до конца опозорить его в глазах людей? Используют. В лнцо бросят. При всех потребуют ответа, но каждый ответ, любое объясненне вызовут лишь злобный смех. А ведь сами ин в чем не лучше, нет, ие лучше! Как же это он ие подумал, промахнулся, сделал окружающнх свидетелями своего позора н слепой своей ярости.

Долго размышлял Даулетбай н, похоже, нашел выход. Нашел самое верное решенне: во что бы то нн стало отыскать дочь. Когда разыщет, он всем заткнет рот, скажет: «Вндите, как лгут обо мне мои завнстнкн! Разве я иеверный, разве не мусульманин, чтобы прогнать с глаз родную дочь? Просто хотел быть подальше от пересудов н сплетен, от назойлнвых женнхов, что чуть было не похитнлн девушку, и отправнл ее к дальнм родственникам...»

Поверят лн ему недругн, не поверят, а ответ у него должен быть наготове. Для него самое главное — обмануть доверчивых, небогатых, тех, кого можно потом заставить служить себе, а у недругов выбнть почву·из-под ног, как говорнтся, сбить с коня, тогда уж онн за ним не угонятся!

Полтора года миуло с той поры, как пропала дочь. Время летнт, будто стрела, выпущенная нз лука. Что же делать? Так н лежать, терзаясь сомненнями, нлн побыстрее начать действовать? Но как, с чего начать?

Еслн махнуть рукой н не нскать пропавшую дочь, все дела его, похоже, пойдут прахом, его уннзят, сотрут в пыль, все люди станут шарахаться от него, как от детоубийцы. А поехать самому на поиски... Еще нн перед кем не склонял головы гордый и богатый бай, так не проще-

ння же ему просить у опозореииой девкн! Да ведь и она с характером, уиаследовала отцовскую гордость. Перенесшая за это время столько мук н униженнй, прнмирнвшаяся со свонм нзгнаннем, она — как знать!— может отвернуться от родного отца... Но нет! Мукн уннженной н одниочество, наверное, заставнлн ее не однажды вспомнить с тоской отчнй дом, где ее так любнлн, береглн, холнлн. Она не обманет надежд отца, не отречется от него, н даже еслн скажет поначалу: «Не вернусь!»— воспоминання о родном доме затмят все остальиое, н она пусть с трудом, нехотя, но уступнт настояниям отца и пойдет за ннм, как стреноженная лошадь.

Итак, решено. Он едет, едет сам, с вериым человеком. Ннкто, кроме него, не сумеет довестн до конца это трудное дело.

Вот так пришлось Даулетбаю выехать на поискн дочерн, которую в безрассудиой ярости он прогнал нз дома, нн на мннуту не сомневаясь в справедлнвостн этого решения, ие задумываясь о ее судьбе, не сожалея.

Скрываясь от людей, скакалн онн вдвоем по бездорожью — с собой взял Даулетбай лишь усатого джнгнта, того, который мог показать место, где некогда была покннута Кыжымкуль. Вспомнная, как она едва тащнла ноги, готовая вот-вот упасть, джнгнт сказал, что ие могла она уйтн далеко от того места. Лнбо умерла где-то там же, в степн, лнбо добрела до блнжайшего крохотного небогатого аула, да там, возможно, н прижнлась у когонибудь в услуженнн.

Через несколько дней путн, хотя онн и засветло прнехалн к аулу, где жила Кыжымкуль, Даулетбай и его спутнник дождалнсь в степн темноты н лншь тогда решнлнсь постучать в окно блнжайшего домика, стоявшего несколько иа отшибе...

В доме Кымкн поужнналн — наелнсь жндкой похлебкн — н теперь готовнлнсь ко сну. Детн спорнлн нз-за подушек, одеял, гонялись друг за другом, стоял веселый гомон. Кымка журила старшнх, заступалась за слабых, заканчнвая мытье посуды. Из-за шума и вознн ннкто вначале н не расслышал осторожного стука в окно. Наступала зима, окно затянули мешковнной, и оиа уже успела затвердеть от сырости н первого морозца. Снаружн постучалн снльией, рукояткой плетн. Оспаи оказался ближе всех к окну, он вздрогнул от неожнданиостн и прнслушался. Барабанный звук повторился: тук-тук-тук...

— Мама, мама, кто-то стучится в окно.

Но шум и галдеж помешали матери расслышать его слова.

— Эй, Коспан, кому говорят! Отпусти подушку! Вы ее сейчас разорвете, она и так еле дышит. Можно подумать, что вы тут первые богачи, добра не жалеете!..

— Мама, мама...

— Ты что кличишь меня, Оспан? Будто заблудился в степи.

— Кто-то стучится в окно.

Моментально в комнате наступила тишина, дети застыли в тех же самых позах, в каких застигло их неожиданное сообщение. Все глаза были устремлены на квадрат мешковины.

Тук-тук, тук-тук...

С улицы постучали сильней, и по промерзшей мешковине прошла белесая трещина.

— Ойбай, мертвяк пришел!— завопил тоненький детский голосок, и все дети, кроме подростка Оспана, попрыгали под одеяла. Теперь они жались поближе друг к другу, бросив подушки на пол. Кыжымкуль только что покормила грудью ребенка, она задвинула полог, и старая люлька, в которой укачивали всех детей этого дома, заскрипела, раскачиваясь из стороны в сторону.

Кымка посмотрела на детей, на Кыжымкуль, почмокала от удивления губами и пошла к двери. Отодвигая засов, она на всякий случай громко спросила: «Кто там?»

— Байбише, не бойтесь. Мы едем из Балтады. Отворите,— ответил спокойный низкий мужской голос.

Кымка отворила дверь и впустила незнакомцев.

Два человека в тяжелых меховых шубах и зимних шапках вошли один за другим и степенно поздоровались. Весь их облик свидетельствовал, что эти гости — издалека.

— Застигла ночь в пути, вот и постучались к вам,— говорил тот, что помоложе, отирая иней с усов.— Если вы не будете против, мы хотели бы посоветоваться... Мы понимаем, сейчас много развелось на дорогах всякого люда, обидчиков и разбойников, но мы не такие, не опасайтесь...

— Ойбай, к чему разговор, все мы дети одного бога. Входите в дом, входите,— спохватилась Кымка, все время стоявшая с разинутым от удивления ртом. Желая загладить дурное впечатление, какое могла произвести ее

растерянность и вопли запуганных детей, она первая шагнула из сеней в комнату и в ответ на вопросительные взгляды быстрых глазенок, сверкавших из-под одеял и халатов, крикнула:

— Эй, вставайте, к нам гости!

Дети бедняков пугливы, но и чутки, и со смекалкой, без которой бедняку туго приходится в жизни,— малыши только что с воплями ныряли под одеяла и вот уже повскакивали с мест и чинно, полные живого любопытства, пристроились у теплой печки. При словах «к нам гости!» утих и однообразный скрип люльки. Кыжымкуль торопливо застегнула на груди пуговицы ветхого платья, стала поправлять сползший на затылок платок.

Гости перешагнули через порог комнаты и застыли, разглядывая суетившуюся у люльки молодую женщину. Воспитанная по восточному обычаю — не поднимать глаз на незнакомых людей, не разглядывать их в упор — Кыжымкуль прошла мимо с опущенными ресницами, понимая без слов, что для гостей нужно разогреть самовар.

И тут сердце Даулетбая впервые дрогнуло.

Это была его дочь, его родная дочь! В этом доме, в этом ветхом платье, которое он помнил дорогим и нарядным. О аллах, что стало с ней, в каком она виде! Чужая, совсем чужая... В эти минуты Даулетбай не мог бы припомнить, тосковал ли он о дочери за эти полтора года хоть однажды. Еще вчера ему казалось, что нет в его сердце места иным чувствам, кроме гнева против нее, навлекшей позор на всю семью.

Он не мог бы припомнить, мучило ли его раскаяние, сострадание к несчастной дочери, но чувства, какие он испытывал, глядя на нее, исхудавшую, сурово-сдержанную, примирившуюся с нуждой и одиночеством, чувства, которые раскрывали его душу, были похожи и на раскаяние, и на отчаянную тоску, и на глубокое сострадание. Даже если преступно родное дитя — оно твое, плоть от плоти твоей, и его беда, его горе и страдания — это и твоя беда, твое горе. Как бы ты ни пытался вырвать из сердца отцовское чувство, малая искра будет тлеть где-то в глубине, чтобы вспыхнуть вдруг и заслуженно ожечь тебя обугливающей болью!

Даулетбай прикрыл глаза, когда Кыжымкуль проходила мимо, и ощутил вдруг исходившее от нее тепло. Казалось, не было ничего дурного, тяжелого, не пролегла между ними черная полоса взаимных обид и неприязни:

его дочь, любнмая, прекрасная, некогда потерянная, была тут, рядом, он мог окликнуть ее, прижать к сердцу... К исстрадавшемуся отцовскому сердцу, где простые человеческие чувства отчего-то уродливо и болезненно уступали место иным, жестоким, придуманным кем-то когда-то и вовсе не нужным человеку для его покоя и счастья, для счастья его близких.

Сердце Даулетбая дрогнуло. Нет, не было оно каменным, оно таяло, как лед, к которому придвинули пламя.

«Оказывается, не нужно и спрашивать,— шепнул стоявший с ним рядом усатый джигит, силясь скрыть волнение.— Вы узнали ее?»

Даулетбай взглянул на него и прижмурил глаза: «Да, узнал...» Потом незаметно приложил палец к губам — мол, помолчи пока.

Кымка вместе с Оспаном расстелили на полу одеяла, гостей усадили на почетное место. Фитилек самодельной лампы светил так тускло, что трудно было разглядеть лица. Кыжымкуль налила воды в самовар и в казан, висевший над очагом, подбросила дров. Кымка принесла из кладовки два тонких куска мяса, опустила в казан, и они тут же потонули в нем.

— Сестра, не нужно готовить для нас угощение,— произнес низким звучным голосом старший из путников.— Уже полночь.

Кымка, закрывшая казан почерневшей от времени крышкой, удивленно обернулась:

— Да как же это? Ведь вы с дороги.

— Поздно, сестра, детям нужно спать, а мы перекусили в пути. Вот чаем согрелись бы с радостью. У нас дело к вам, спешное...

Гости в этот дом приходили редко даже при жизни мужа Кымки, и теперь она, оживившаяся было, с радостью принялась за приготовление нехитрого угощения. Судя по речам и одежде, дом ее посетили не простые люди, и она мгновенно хлопоты о том, как побыстрее уложить детишек, сменила на заботы о гостях, хотела принять их получше. При словах «спешное дело» она сразу приуныла и встревожилась. Какие дела могут быть у таких представительных людей с ней, бедной вдовой, которой в иной день и детей накормить нечем? Но она постаралась скрыть свою тревогу, лишь со вздохом обратилась к Кыжымкуль: «Что же делать, приготовим

чай». Кымка взяла черпак, долго водила им по наполненному водой казану, пока не выловила наконец оба куска мяса. Выложила их, источавших легкий пар, на блюдо и опять унесла в кладовку. Обрадовавшиеся при виде мяса детишки проводили мать печальными взглядами и теснее прижались друг к дружке.

Едва Кымка вышла, незнакомец обратился к Кызымкуль:

— Дочка, родная моя, неужели ты не узнала мой голос?

Кызымкуль в это самое время подбрасывала ветки тамариска в огонь. Ветки были велики, и она с усилием пыталась согнуть их. Услышав обращенный к ней вопрос, она резко обернулась, узнала отца и человека из родного аула, рухнула на охапку сухих веток, будто в нее ударила молния. И тут же полыхнул, рассыпался искрами кустарник, наполовину всунутый в очаг. На Кызымкуль задымилось платье.

Двое мужчин, дотоле сохранявшие горделивое достоинство и кажущееся хладнокровие, не выдержали и кинулись к ней.

— Я говорил тебе, не нужно торопиться, а сам, видно, поспешил. Клади ее на одеяло. Посмотри, больше нигде не осталось искры? О аллах, пощади ее! Дети, отойдите, не мешайте,— говорил потрясенный случившимся Даулетбай.

В это время вошла Кымка и испуганно замерла в дверях.

— О аллах, что тут произошло?— закричала она не своим голосом.

— Мама, сестрица упала без памяти и чуть не сгорела,— с плачем ответил Оспан.

— Отчего упала? Ведь только что она скакала как лань. Что с ней могло случиться?— И Кымка, оттеснив гостей, нагнулась над Кызымкуль.— О милостивый аллах, помоги нам. Мало ты послал ей бед и горя, неужто тебе этого недостаточно? За что ты наказываешь ее? Оспан, принеси скорее холодной воды!

Мужчины отошли в сторону. Вид у Кымки был такой решительный и воинственный, что Даулетбай не решался подойти к дочери, лишь наблюдал, как женщина поправляет у нее под головой подушку, трогает бледный лоб, чутко прислушивается к дыханию. Похоже, она готова,

подобно родной матери, пожертвовать жизнью ради Кызымкуль.

— Ой, доченька, что же это... В доме гости, а с тобой такое... Эй, Оспан, ты что, ради глотка воды новый колодец решил вырыть? Где ты запропал?

Кымка обернулась и ударилась лбом о деревянную чашу, которую протягивал сын, вода полилась на одеяло.

— Вот напасть! Хоть бы подавал как следует! Доченька, бедная моя, что с тобой стряслось?— Кымка набрала в рот холодной воды и брызнула Кызымкуль в лицо. Та открыла глаза, посмотрела на окруживших ее людей отсутствующим взглядом и опять устало прикрыла веки.

Даулетбай еще прежде предугадал, что дочь будет потрясена этой неожиданной встречей, растеряется, как растерялся бы любой человек в минуты перехода от великого горя к великой радости. Хотя его и мучили сомнения, захочет ли дочь примириться с ним, простит ли жестокость, он отгонял от себя эти мысли. Недостаточно ли того, что сам он простил ее, готов все забыть?..

Так, переходя от сомнений к надежде и от надежды к сомнениям, он то и дело возвращался к прошлому, вспоминал день за днем. Конечно, он тоже повинен, если сердце дочери закрыто плотным ледяным панцирем,— могло ли быть иначе, после того как он, отец, прогнал ее одну, оскорбленную, страдающую, в степь. Прогнал на горе и нужду, защищая честь будущих правнуков.

Но прошло так много времени, так бесконечно много долгих дней и долгих бессонных ночей. Нет, не только о выборах в волостные думал он: в бессонные ночи он страдал страданиями изгнанной дочери; отодвигая от себя с отвращением еду, он как бы ощущал на расстоянии ее голодные муки. Так неужели она отвернется, не простит своего отца? Шесть дней и шесть ночей проведены в седле, приходилось хорониться от людей, стыдясь каждой случайной встречи, а ведь он уже немолод и есть у него заслуженное доброе имя. Так разве этим одним он уже не выпросил у нее прощения? Разве еще нужны оправдания? И разве не проснутся в ее груди горячая любовь и тоска по утраченным родным местам, по родным людям? А если проснутся, неужели не растопят они ледяной панцирь, сковавший израненное сердце?

И раньше случалось в степи такое, что отец прогонял детей, а дети — отца, но никто никогда не считал, что

есть оправдание для подобной жестокости. Ужасался и Даулетбай, слушая эти страшные истории. Они представлялись ему злым фантастическим вымыслом, в жизни он ни разу не встретился ни с чем подобным. И надо же было случиться, чтобы он сам, его жестокость стали поводом для новых страшных рассказов. Почему именно на его дом обрушилась эта беда? Неужели навеки в памяти людей отец и несчастная дочь останутся непримиримыми врагами, а если не врагами, то чужими друг другу, и не сойдутся больше их пути в этой жизни?

Какое обвинение тяжелей: «Дочь забеременела под отцовской крышей»,— или: «Он прогнал дочь на голодную смерть»?

Этот вопрос пришел в голову Даулетбаю лишь теперь, когда на бледном до прозрачности, худом лице дочери он не мог прочитать отклика на свой тоскливый призыв. Хотя мысль эта заставила его вздрогнуть от боли, будто острие копья вонзилось в тело, он принудил себя превозмочь боль, он не в состоянии был взвешивать и сравнивать тяжесть обвинений. Время ли думать о своей боли, когда твое дитя в опасности и виной всему ты сам?

Но что это? Кыжымкуль вновь открыла глаза, оглядела всех, на этот раз внимательно, сурово, и вторично прикрыла веки. Она видела отца, узнала — в этом нет сомнения!— но не захотела встретиться с ним взглядом, поэтому и сомкнула ресницы. Длинные, пушистые черные ресницы — только они и остались от прежней сияющей красоты Кыжымкуль. Да, сердце дочери окаменело, остыло к нему. Как она испугалась! Будто смерть перед собой увидела, а не родного отца.

Даулетбай вглядывался в лицо дочери, ждал не дыша, когда она откроет глаза. Открыла. Посмотрела в упор. Но не было в этом взгляде ни милосердия, ни даже любопытства. Холод. Ледяной холод.

Отказавшись от угощения, гости уже провели в доме не меньше времени, чем ушло бы на его приготовление. Постепенно волнение утихло, малыши, жалевшие Кыжымкуль, перестали хныкать, да и сама она поднялась, казалось, более всего смущенная беспокойством, какое причинила Кымке и детям. На гостей она опять не смотрела, и Даулетбай с болью наблюдал, как отрешенно спокойны ее движения. Ни о чем не подозревавшая Кымка трогательно оберегала Кыжымкуль: сама подбра-

сывала веткн в очаг, приказала Оспану долнть выкнпевшнй наполовину самовар.

До чая никто больше не обмолвился ни словом. Детишкн стали засыпать там, где сон застиг каждого нз ннх, только смуглая девочка с распущенными волосамн качала люльку: обеспокоенный шумом ребенок проснулся и начал хныкать.

На полу расстелили скатерть, пиалы наполнили душистым горячим чаем. Усталые путникн, многократно извиняясь за причиненное беспокойство, опрокидывалн одну пиалу за другой, торопливо, почти залпом. Постепенно пиалы поплыли медленнее, гости то н дело утирали потные лица, исподлобья вопросительно поглядывая друг на друга. Кымка заметнла это, пересела блнже к ним н сказала:

— Вот теперь можно и поговорить, послушаем, о чем вы хотели посоветоваться, какое важное дело привело вас в наши края.

Усатый джигит быстро оставил пиалу, которую уже было поднес к губам.

— Тетушка, беседа будет у нас долгая. Если идтн с самого начала, можно диву даться...

Он произнес эти слова и посмотрел на своего господина, как бы ожндая его одобрення. Тот важно кивнул и зажмурнлся, как бы предлагая продолжать.

— Но если посмотреть с другой стороны, то, может, и говорить не о чем,— джигит заговорил смелее, даже развязнее, будто пытался под этой развязностью скрыть смущение.— А дело такое... да вы, возможно, и сами знаете... Догадались...

Кымка уперлась локтями в острые коленки и с удивлением уставилась на джигнта, который важно разглаживал усы. Но вот удивление сменилось тревогой, испугом. Она быстро глянула на Кыжымкуль — поникшая фигура молодой женщины открыла ей больше, чем невнятная речь джигита, но она возразила твердо:

— Ничего я не знаю. Не догадываюсь.

— Вот этот господин,— джигит кивнул в сторону Даулетбая,— самый знатный человек нашего аула. Его предки вершили судьбы всех, кто жил на берегах Сырдарьи. Он очень богат, но он не просто копит богатства, у него много власти, а пройдет немного времени, и он будет волостным... Вся волость будет ему подчиняться...

Даулетбай сердито кашлянул, н джигит умолк, буд-

то язык прикусил. Он долго не мог собраться с мыслями, наконец пришел в себя и продолжал:

— Вот так-то... Не будем забегать вперед, но человек этот — наш главный советчик во всех делах, все к нему идут с бедой и радостью, и не только из нашего аула, а со всей округи... Но никто не может прожить жизнь без единой ошибки, ни разу не оступившись. Даже тот, кто не ошибается, может оступиться... Беда наваливается на человека нежданно-негаданно, не даст и поразмыслить... тут-то и самый сильный может оступиться. Не думали мы, не гадали, что судьба приведет нас именно под ваш кров. То есть зашли-то мы сами, да никак не ожидали, кого под вашим кровом повстречаем... Аллах наказал нас муками за наш поступок, и ради искупления скакали мы теперь шесть дней и шесть ночей. Вот уж полтора года прошло после той истории...

Кымка давно не пила чай, только пригубливала из вежливости, но теперь она вскочила на ноги, пиала выпала из бессильно повисших рук, чай залил скатерть и расстеленные на полу одеяла.

Мужчины, сидевшие с опущенными головами,— один говорил, с трудом подбирая слова, второй безмолвно соглашался — вздрогнули от неожиданности и подняли головы. Увидели опрокинутую пиалу и разгневанную выпрямившуюся женщину. Два черных глаза пылали ненавистью, способной испепелить незваных пришельцев. И они не выдержали этого пылающего взгляда, потупились оба.

— Так вот кто вы такие! Те самые господа! Я уже почуяла,— каждое слово женщины падало тяжело, как свинцовая пуля. Она повернулась к Даулетбаю:— А вы, значит, отец?

Мужчины молчали.

— Отчего же вы не отвечаете? Я не ошиблась?

— Байбише... тетушка... спокойнее, спокойнее...

— Как я могу быть спокойна, если готова ради нее в огонь кинуться! О аллах, аллах!! Свое дитя, родную кровь, выбросить в степь, прогнать на съедение волкам... Я сирая, только тем и живу, чтобы прокормить детей, но, если надо будет, умру за них. Молюсь, чтобы даже сны у них были радостные. А тут... В кого превратились люди! О аллах, как ты мог допустить такое — ты лишил его милосердия даже к собственному ребенку и хочешь посадить его над другими людьми? О всемилостивый со-

здатель, отними у меня последний достаток, но не отнимай сострадания к чужой боли, молю, не отнимай!..

Кымка ухватилась за свои косы и заплакала в голос, раскачиваясь из стороны в сторону.

По знаку Даулетбая верный джигит вскочил на ноги и подошел к ней.

— Тетушка!— проговорил он с угрозой.— Перестаньте плакать. Мы не для того приехали, чтобы слушать тут ваши причитания. Нечего причитать, мы никого не хороним. И не вам судить нашего господина. Равный дружит с равным, а навоз со своим мешком.

Разгневанный джигит подошел к Кымке, вид его не предвещал ничего хорошего, но остановил его скорбный возглас Кыжымкуль:

— О, стыд какой!

Усатый джигит и Даулетбай обернулись на этот голос.

— Стыд какой!— повторила Кыжымкуль.— Мало вам того, что вы натворили в своем ауле, теперь вы и этому доброму дому решили не дать покоя? Почему я не сгинула в степи, зачем добрела до этих несчастных, неужели для того, чтобы и они ужаснулись, каковы мои родственники и земляки?

Джигит подошел к ней, опустился на колени.

— Как, ты очнулась? Какое счастье!! Ты напугала нас, отца своего напугала.

— Зачем лгать? Вас ничем не испугаешь, даже гибелью. Для чего вам понадобилось поднимать меня из мертвых? И отойдите подальше, я не хочу поганиться, а ваши слова и мысли поганы.

Джигит растерялся. Это именно он предложил тогда своему более молодому спутнику потешиться девушкой в степи, благо никто не увидит. Ему не хотелось, чтобы Кыжымкуль об этом вспомнила, но она помнила все и смотрела на него с нескрываемым презрением. Однако это не помешало ему еще горделивее расправить плечи: в последнее время он вошел в большое доверие у Даулетбая, стал его правой рукой, оттого-то и речи его были так смелы и свободны,— он всегда знал, а не знал, так улавливал, что в какую минуту нужно его хозяину. И все же на этот раз он растерялся по-настоящему: а вдруг у нее развяжется язык и она поведает отцу о разговоре в степи? Это было опасно именно сейчас, в эту минуту, когда отец смотрел на нее с тоской и надеждой. Вдруг

скажет, что не хочет возвращаться домой и из-за тех последних унижений, какие перенесла, изгнанная из дома, слушая речи отцова прислужника? Не удержаться ему тогда возле бая, нет, не удержаться. Не получилось бы так, что отец вернет себе любимую дочь, а он один окажется во всем повинен... И джигит замешкался, прервал свою речь, отошел в сторонку, с трудом сдерживая дрожь в ногах.

— Отец,— Қыжымкуль подняла голову,— я боялась узнать вас, не верила, что это вы. Отчего другие говорят за вас? Скажите что-нибудь, я так соскучилась по вашему голосу.

Слова ее потрясли Даулетбая. Он ожидал упреков, жалоб, чего угодно, только не этой нежной дочерней просьбы. Так она говорила с ним когда-то бесконечно давно, протягивая ему навстречу тонкие полудетские руки, украшенные дорогими браслетами, тогда она прислушивалась к его голосу со счастливой улыбкой, и для нее, дочери, низкий звучный голос Даулетбая приобретал особенную мягкость. Так было до того злосчастного дня... Рычание зверя, жаждавшего крови, услышала она в тот день. Тщеславие, жажда власти заглушили в душе Даулетбая не только любовь к рожденному от него созданию, но малейший проблеск милосердия. Но сейчас, услышав эту нежную просьбу от дочери, обреченной им на страдания, он дрогнул. Правда, где-то в глубине души тут же зашевелилась, будто змеиное жало, крохотная ядовитая мысль: «Не насмешка ли это?» Зашевелилась и исчезла. Волшебная сила, не зависевшая от его воли, сорвала его с места, лишила всякой сдержанности. В мгновение ока он очутился рядом с дочерью.

— Что я могу сказать тебе, дитя мое? Разве ты не догадываешься сама, какие слова живут в моем сердце? Сказать: «Я иначе не мог»,— язык твердеет, не поворачивается. Признаться: «Я виноват»,— шея тверда, не гнется. Все во мне плачет, умоляет, но этого не выскажешь никакими словами. Вернись домой, доченька.

— Спасибо, отец, я услышала ваш голос — он прежний, наконец-то прежний... У меня осталась одна мечта: услышать голос матери. Скажите, жива ли, здорова ли моя матушка? Здоров ли маленький племянник, что рыдал на могиле своей бедной матери?

Даулетбай не решился ответить. Опасался, как бы не задрожал голос. Да, умершая жена для него означа-

ла не больше сломанной рукояткн плети. Она умерла, он для прнлнчня был несколько дней печален внешне, а в душе — равнодушен н спокоен. Но эта умершая женщнна для дочерн его — самое дорогое существо на свете, вот оно как получается.

— Отец, почему вы молчнте? Онн живы?

— Живы, жнвы, доченька,— Даулетбай закашлялся и отвернулся.

Кыжымкуль вздохнула с облегченнем.

— А теперь уезжайте,— сказала она твердо.— Я сразу поняла, что вы прнехалн забрать меня. Отец, не склоняйте головы перед дочерью, как бы ни были вы вннoваты. Пусть ваше собственное сердце решнг, почему оно прнказало вам так поступнть, а я не поеду с вамн. Еслн умру, пусть тело мое вынесут нз-под этой крышн.

— Доченька, смнлуйся, ведь у тебя была такая нежная душа... Не будь каменной, смягчнсь...

— Не могу, отец. Разговоры бесполезны, я отсюда никуда не уеду.

Даулетбай н джнгнт переглянулнсь. Девушка поняла этот многозначнтельный взгляд:

— Увознть меня снлой бесполезно. Я не стану там жнть. Еслн не хотнте, чтобы людн знали, как дочь ваша покончнла с собой под отцовской крышей, не трогайте меня.

В люльке заплакал ребенок. Кымка, которая все время напряженно прнслушивалась к разговору, мнгом очутнлась возле него н, отстраннв дремлющую девочку, прннялась его укачнвать. Но ребенок не уннмался, он был голоден, н плач становнлся все горше н громче.

— Казахн ннкогда не лншают прншельцев прнюта н крова,— вступнла в разговор Кымка.— Если хотите уехать утром, я постелю вам постелн. Но пока что вам прндется выйтн отсюда, Кыжымкуль должна покормить ребенка, она стесняется вас.

— Что ты сказала?— резко обернулся к Кымке Даулетбай.

— Какой ребенок?— восклнкнул джнгнт одновременно со своим господнном.

— Когда этот бедняжка роднлся, ннкто не потребовал у его деда подарка за радостную весть,— с горечью сказала Кымка.— А мне подарка не нужно. Это ваш внук.

Даулетбай шагнул к люльке. Лицо его посерело, глаза казались безумными.

— Сестра, не лгите мне, скажите правду — чей это ребенок? От кого?

— Зачем мне вас обманывать. Это ваш внук. Но если аллах судил иначе, пусть отныне это будет мой внук.

— Откуда он, я спрашиваю? — в голосе Даулетбая уже не было недавней мягкости.

— Из ваших краев. Видно, этому крошке не суждено иметь ни отца, ни деда. Ну ничего, будем живы, сумеем его вырастить. Он не почувствует себя сиротой.

Даулетбай был подавлен вконец. Мир рушился перед его глазами, в ушах отдавались шум и грохот, и сквозь этот оглушительный гул требовательно и безостановочно пробивался плач ребенка.

Придя в себя от ошеломляющего известия, Даулетбай больше не произнес ни слова, не попрощался, не взглянул на дочь. Повернулся, распахнул дверь и вышел. Джигит, застывший было с двумя шубами в руках, опомнился и, споткнувшись о порог, побежал за ним.

Когда они уже далеко отъехали от аула, джигит позволил себе прервать молчание:

— А не зря мы оставили ее? Можно ведь было забрать... без ребенка. Скоро ведь как-никак выборы.

— Заткнись! — властно прикрикнул Даулетбай, и джигит умолк, будто ему язык отрубили.

За всю дорогу долгую они оба не проронили ни слова...

* * *

Следующей осенью маленький Токсан уже начал ходить, и в доме Кымки стало одним ртом больше. Еще в самом начале на расспросы людей о Кыжымкуль Кымка отвечала, что это младшая сестра приехала к ней погостить. Вид у девушки был такой жалкий и несчастный, что люди поверили и больше не спрашивали. Судьбами бедняков мало кто интересовался, всех занимала история изгнанной красавицы, дочери знатного бая. А изможденную сестру Кымки вряд ли можно было назвать красавицей.

Потом «сестричка» родила ребенка, ребенок подрастал, и тогда Кымка на вопросы любопытных стала отвечать, что муж и свекровь молодой женщины погибли от

несчастного случая — несколько домов в их ауле снесло начисто страшным грязевым потоком, селем. Такое случалось, безжалостный поток, устремляясь с гор подобно лавине, смывал и губил все на своем пути. И люди опять поверили. В самом деле, куда же ехать молодой женщине, потерявшей кров и близких, да еще с ребенком на руках.

Впрочем, возможно, кто-то и не вполне верил, но жители аула уже привыкли к Кыжымкуль и поэтому меньше расспрашивали о ней. Зато она стала привлекать взоры лихих молодцов, джигитов, каких было немало и в этом ауле. Сначала один, потом другой, третий начали вдруг замечать, что приезжая сестрица Кымки совсем недурна собой, скромна, трудолюбива. И вдобавок поначалу она была просто гостья, а едва выяснилось, что она остается жить в ауле, парни зачастили в дом Кымки, красуясь своей удалью, то и дело предлагая помочь по хозяйству. Среди подвыпивших для храбрости молодцов были и неплохие парни, которых аллах не обделил ни красотой, ни умом, ни богатством или силой и храбростью. Вначале Кымка сердилась, бушевала, прогоняла незваных женихов кочергой. Но, как говорится, капля и камень долбит: джигиты продолжали стучаться в дом, а Кымка устала браниться, да и не очень-то умела. И вот уже парни, довольные, восседают вокруг Кыжымкуль, передают друг другу пиалы с горячим чаем и болтают наперебой о разных разностях, хвастают, выхваляются один перед другим силой, благородством и щедростью. На Кыжымкуль они и поглядеть не решаются — разве так, искоса,— прямо к ней ни с одним словечком не обратятся, но, выйдя за дверь, каждый начинает умолять Кымку: «Уговори сестру замуж за меня пойти. Будь у нее даже не один сын, а полная арба детишек, я готов жениться. Родители мои пусть говорят что угодно, не примут нас — увезу ее туда, где нас никто не отыщет. Со мной она нигде не пропадет...»

На разные лады все они твердят одно и то же. Бедный ли, богатый ли — заладили одну песенку. И всякий раз норовят всучить Кымке, в надежде на поддержку, деньги — купи, мол, себе подарок, платье новое купи.

И Кымка стала всерьез призадумываться. В самом деле, неужто Кыжымкуль так и сидеть одной всю жизнь, терзаться неведомо из-за кого? Рано или поздно, а все лучше разжечь собственный очаг, пожить своим домом.

Вон как она молода еще! Какая польза от того, что молодая женщина пожелтеет, будто осенний лист, увянет раньше времени? Боится с ребенком выходить, пускай оставит его тут, детишки к нему привыкли, младшим братиком считают. Захочет, возьмет его потом.

А времена такие, что всего опасаться приходится. Докатилось до аула неведомое прежде слово: «солдатчина». Вместе с этим страшным словом доходят слухи о беглецах, что прячутся в горах, не хотят идти в царские солдаты, рыщут по степи. Разные среди них есть люди, не приведи аллах повстречаться с ними. Но как тут уповать на аллаха? Ведь он, если примется за кого, обратит свои взоры, жди после одной беды и вторую, и третью... Не стала бы Кыжымкуль для одичавших беглецов легкой добычей!

Плохо и то, что все меньше становится джигитов в ауле. Если совсем недавно собирались они шумливой веселой толпой, то сейчас мелькают поодиночке между домами и юртами, точно волоски в редкой бороденке. И чуть ли не каждую неделю весь аул собирается на пригорке, с воплями и плачем провожают парней в «солдатчину».

Нельзя было без дрожи слышать рыдания, доносившиеся из дома, откуда уходил очередной новобранец. Родственники, родители бежали за арбой до перевала, с мольбами и причитаниями, а потом плелись обратно, будто после похорон, с опухшими от слез глазами...

В дом Кымки больше не захаживали удалые молодцы — женихи. Поэтому она невольно оживилась, когда однажды под вечер, уж после захода солнца, в дверь постучали, появился на пороге бедно одетый, но рослый и складный джигит, произнес приветливо: «Добрый вечер».

Семья сидела за ужином. Кымка решила, что это кто-нибудь из соседей, но пригляделась в полутьме, и слова ответного приветствия застряли у нее в горле.

— Не пугайтесь,— произнес джигит, и это вступление напугало Кымку еще больше. Она встала, как бы пытаясь загородить собой Кыжымкуль.— Я путник,— продолжал джигит,— приехал в этот аул. Никак не найду дом Каипбергена. Мне сказали, он живет где-то в этой стороне.

Кымка, испугавшаяся было, что это один из оголо-

давших беглецов под покровом темноты ворвался в дом, обрадовалась при имеии своего родствеииика:

— Ойбай, ты ищешь иашего Каипбергеиа?

— Да, Каипбергеиа.

— У которого иыиче сыиа в солдаты забрали?

— Про это я ие зиаю.

— А, так вы, зиачит, давио ие виделись? А вы ему кто — родич или просто зиакомый?

— Я его племяиник.

— Племяииик? Неужели? Ой, так ты и иам родствеииик! Каипбергеи-ага рассказывал, что у иего был дядя, чья дочка вышла замуж за богатого человека. Ты, видио, ее сыиок,— Кымка с широкой улыбкой подиялась с места, ио что-то вспомиила, согиала улыбку с лица.— Здоровы ли твои родители?

— Их давио иет в живых.

— Извиии, дружок...— Кымка что-то зашептала, провела по лицу ладоиями и лишь после этого опять обратилась к джигиту:— Дядя твой так мечтал повидать сестрицу с зятем, да вот ие довелось, вечиая им память. Пусть те годы, которые они ие прожили, аллах отпустит тебе.

— Спасибо вам.

— И как я могла забыть, суета все из головы выбьет. Помиится, дядя твой горевал, что ты остался сиротой, бродишь по людям. Говорил, поехать бы иадо, забрать тебя, да очеиь уж далеко добираться до вас. Сейчас его обрадую, первая прииесу сюиिши, добрую весть о тебе. А ты отужииай с иами, присаживайся. Кыжымкуль, придвииь скатерть.

Джигит ие сел, вежливо иагиулся иад скатертью, отломил кусочек лепешки и положил в рот.

— А теперь пойдемте, пока совсем ие стемиело.

В сеиях загремели пустые ведра, это джигит споткиулся о иих, и оии с Кымкой ушли.

Лишь поздией иочью, когда все улеглись спать, Кымка появилась сиова. Разбудила спавших ребятишек, заставила одеться сопротивлявшуюся Кыжымкуль, кого взяла за руки, кого иа руки, и всем семейством оии отправились в гости к Каипбергеиу. Там дым стоял коромыслом: зарезали бараиа, опалили голову для самого изыскаииого угощеиия. Дом, обычио ие прибраииый, сейчас был приведеи в порядок, будто иакаиуие великого праздиика. Не зря Кымки так долго не было дома,—

видно, и ей пришлось немало повозиться, помогая родственникам принять дорогого гостя.

Ребятишки, хоть и разбудили их среди ночи, ликовали при виде вкусной еды. Гости радовались, будто и вправду присутствовали на празднике. Плакал только старый Канпберген, слезы заливали морщинистые щеки, стекали с бороды. Еще не оплакавший ушедшего сына, он поминутно обнимал найденного племянника. Твердил, что тот лицом — вылитый отец, хотя худобой удался в сестру. Причитал, что родители его погребены не по-людски, если зарыли в землю всего несколько косточек.

И беспрерывно старик читал Коран, держа перед собой истрепанную книгу. Читал и перед чаем, и после него, до мяса и после, даже глоток воды он сопровождал молитвой. Приезд племянника, наконец-то разузнавшего через людей его местожительство, он восприиял как милость свыше в тяжкий для него день.

Маленькое застолье двух бедных домов продолжалось до утра.

Молдарасул решил навсегда поселиться возле дяди, и Канпберген был вне себя от радости, когда услышал это. Но радость в доме была непродолжительна: ее сменила постоянная тревога. Волостные гонцы, которые целое лето гонялись за парнями, пополняя число новобранцев царской армии, зачастили к Канпбергену. Их интересовал гость, молодой сильный джигит, который, похоже, поселился тут надолго.

Канпберген недоумевал:

— Эй, почему вы хотите послать от нас в солдаты человека из чужих краев? У него там свой дом, свое начальство. И там найдутся такие же, как вы, посланцы тамошнего волостного — они и заберут моего племянника, когда он вернется к себе. У царя аркан длинный, дотянется и туда.

Однако и те стояли на своем:

— Аксакал, нам сверху приказали набрать сорок солдат, а мы и тридцати не насчитали. Из дерева нам солдат выстругивать, что ли?

— Нет, гостя я в солдаты не отдам,— возражал Канпберген.— Вы уже взяли из-под моей крыши одного человека, сына моего забрали, хватит с вас. В ауле еще полным-полно бездельников, мы-то их видим, да, видно, у вас с ними особые счеты... Родственные.

Один из гонцов замялся. Он действительно оберегал близкую свою родню от солдатчины, но ведь в ауле все семьи были друг с другом в родстве, хотя получалось так, что бедняки были ближе к беднякам, богатые к богатым.

— Аксакал,— сказал он наконец, хитро прищурясь,— если Молдарасул — ваш гость, значит, мы все ему рады в ауле, он всем нам родной. Как родного мы его и проводим. А он тоже пусть нас выручит — послужит в солдатах.

— Нет,— окончательно рассердился Каипберген,— никуда он не пойдет, и не хитри со мной, знаешь, я этого не люблю.

Гонец пришел в ярость:

— Если это гость, пора и честь знать! Как бы он тут бока не пролежал, в вашем доме. Мы с ног сбились, новобранцев не можем найти, а Молдарасул, видите ли, загостился тут... Не уедет на следующей неделе — заберем, и весь разговор.

Каипберген довольно уже настрадался, когда отправлял в неведомые края сына. Не хотел он в доме новых слез, нового горя, если уведут и Молдарасула. В кои веки выбрался к нему племянник, родная кровь, приехал повидаться с дядей. Легко ли видеть, как посадят его в проклятую арбу, слышать вопли и стоны в доме!

Не в силах был Каипберген умножать свою печаль и стал умолять Молдарасула уехать к себе:

— Горько мне прогонять тебя, но сам видишь, люди эти не на родичей, на врагов похожи. Схватят и увезут. Утихнет все, тогда и обратно приедешь. Я не хочу тебя терять, ты и так одинок, родной, да и мы все тебя полюбили. Возвращайся... Но теперь уходи, да не попадись на глаза этим кровопийцам.

Тяжело было на душе у Молдарасула. Позже он понял, какие люди заходили к нему, когда он дремал, накрывшись одеялом. Такие же самые гонцы волостного, только они замешкались почему-то, и он их опередил, ушел из родного аула. Уходил не из-за них: от горькой обиды, когда его унизили, дали вместо коня мешок зелья. Он расспрашивал у людей, из каких мест его мать, где живет дядя,— одни объясняли, рассказывали, а другие только и повторяли: «Женим тебя, не уходи». Это «женим» он и прежде слышал, но после разговора со стари-

ками в подобных словах ему чудилась лишь иасмешка. Он ясно видел: никто не говорил об этом всерьез. Скажут — и тотчас забудут. Говорили и год назад, и три года, как будто и он, подобно ребенку, мог принять это за безобидную шутку...

Перед уходом из родного аула он долго безутешно плакал в своем полуразвалившемся домике.

Что было потом? Он бил кулаками по скомканной подушке, повторяя с ненавистью: «Будьте вы все прокляты, уеду от вас!.. Уеду к дяде... Навсегда!» И как он не замечал раньше, что никто не тревожился о нем, ни у кого нет к нему сострадания? Если он приходил к ним, здоровался, готовый выполнить любую просьбу, они ему отвечали, находили для него дело. Если же он исчезал на несколько дней, никто не беспокоился, не спрашивал у него по возвращении, не случилось ли чего. Они просто забывали про него, вот и все.

Решив навсегда уйти к дяде, он вышел за порог, подпер шестом дверь и долго сидел в раздумье, прислушивался к звукам аула. Наконец поднялся, поцеловал низкую притолоку дома, оставшегося без хозяина, попрощался мысленно с духами родителей и отправился в долгий путь.

Ночь была беззвездной, небо затянули тучи. Он прошел немного и оглянулся: родной дом растворился в темноте.

Назавтра в ауле искали его, гадали невесть о чем,— должно быть, больше всего шуму подняли волостные гонцы, упустившие безродного джигита, которого они давно в мыслях видели солдатом. Но об этом Молдарасул, разумеется, не догадывался. Правда, он слышал, что где-то в степи собираются люди, не желающие служить царю. У него даже мысль мелькнула, не присоединиться ли к ним? Но кому нужен Киеван? Кому нужен любитель кокнара?

Дяде он не рассказывал, почему уехал из аула. Старик так обрадовался встрече, стоило ли огорчать его? Но при мысли о том, что родственная встреча закончилась и надо идти обратно домой, Молдарасул загрустил. Он-то ведь не на коне, а пешком добирался до дядиного аула.

Была и еще одна причина, которая заставляла грустить. Нежданно-негаданно возникла в сердце боль и, возникнув, не уходила... Молдарасул метался между дя-

диным домом и домом Кымки, которой с первого дня взялся помогать по хозяйству. Но Кымка, настоящая женщина, сразу поняла, что притягивает молодого джигита. И сразу поверила: это судьба.

Стараясь ни словом, ни намеком не обидеть Кыжымкуль, Кымка то и дела оставляла молодых людей вдвоем, давала им возможность привыкнуть друг к другу. И постепенно они привыкли. Вечерами, когда детишки засыпали, согреваясь горячим чаем, они вели нескончаемый разговор, и со стороны могло показаться, что нет на свете людей счастливее этих троих. Кымка с материнской любовью смотрела на Кыжымкуль и Молдарасула.

И однажды она первая заговорила о самом главном:

— Кыжымкуль мне как дочь родная, а ты, парень, племянник моего родича, моего соседа. Человек он хороший, надежный, и за тобой я ничего дурного не приметила. Не нужно молодым людям стариться у чужих порогов. Если вы поладите между собой, я буду рада...

Молдарасул благодарными глазами смотрел на Кымку, не решаясь взглянуть в сторону Кыжымкуль. Молодая женщина тихо плакала.

Плача, дала она согласие стать женой Молдарасула, и трудно было понять, желала ли она этого сама или уступила настояниям Кымки, решила не быть больше в тягость дому, где царили нищета и сиротство. А может быть, обрадовалась возможности жить своим домом, захотела поступить наперекор судьбе, обрушившей на нее столько бед... Кто знает!

Уехали они холодным осенним вечером.

О том, что племянник увозит с собой Кыжымкуль, Каипберген узнал в самый последний момент и не на шутку разгневался. Целый град упреков посыпался на голову Молдарасула:

— Паршивец ты этакий, чего ж ты раньше молчал? Ты же меня перед людьми опозорил! Как я соседям в глаза буду смотреть? Да я бы всю скотину на базаре распродал, свои старые кости не пожалел бы, лишь бы тебе свадьбу справить по-настоящему. Все было бы как у людей, а теперь что? О позор на мою голову, позор, позор!— бранился дядя.— Можно подумать, будто не племянника я проводил, а сироту без роду без племени! Нет уж, помолчи, не спорь, соберем что можем, с пустыми руками тебя не отпустим.

И Каипберген с женой перевернули вверх дном свои

облезлые сундуки, вытащили несколько отрезов, хранившихся с давних времен, наскребли денег, сложили это все в коржун.

Старики плакали и переругивались, собирая племянника, готовы были упрекать друг друга за то, что так поздно узнали эту важную весть.

Во дворе Молдарасул увидел оседланного коня. Канпберген важно перекинул через седло коржун, и только тут Молдарасул понял, что коня дядя ему тоже дарит. Дарит с щедростью бедняка, чей подарок идет от сердца, пусть даже конь этот — последний в хозяйстве.

Не желая опростоволоситься, несколько узелков собрала для невесты и Кымка. И она не хотела отпускать из своего дома Кыжымкуль с пустыми руками, будто сиротку, всеми брошенную.

— Апа, зачем это?— упрашивала Кыжымкуль, жалея ее.— Мне ничего не нужно, оставьте детям.

— Да провались все на свете!— негодовала Кымка.— Все равно барахла на весь век не напасешься,— и она бросала в дорожный мешок то шаль, подаренную ей некогда к свадьбе, то теплые носки или отрез яркого ситца.— Ты столько прожила с нами, а я тебе даже нового платьица не могла справить. Что дети!.. Лишь бы мы все были здоровы, и для детей что-нибудь придумаю...

Все пятеро детишек вышли проводить Кыжымкуль. Худенький, вытянувшийся Оспан с маленьким Токсаном на руках, бок о бок с ним пузатенький Коспан, потом девочка и возле нее коротыш, младшенький Кымки. Все стоят рядышком... И ни на ком — целой одежды, заплатка на заплатке. У Кыжымкуль сжалось сердце. Она долго не могла отпустить каждого из них, смотрела в детские глаза, где было столько любви, столько преданности. Маленькая смуглянка с развевающимися волосами не выдержала, заголосила: «Сестрица моя, сестрица, не уезжай!» Кымка оттащила девочку за руку, стала объяснять, что через год сестрица непременно вернется, и тогда все они будут жить вместе, рядышком. Кыжымкуль, сдерживая рыдания, согласно кивала. Да, следующим летом она вернется. Насовсем.

Лишь это и утешало ее: на большом семейном совете было решено, что молодые не позже чем через год переселятся в этот аул. Она и сама не заметила, как сроднилась с семьей Кымки за прошедшие долгие месяцы. Она плакала сейчас о них, об их судьбе.

Кымка оставнла Токсана у себя — малыш не выдержал бы трудного н долгого путн, да еще в холодное время.

— Пока я жива, о сыне не тревожься,— сказала она.— Мы хоть одну воду будем пить, но не допустим, чтобы он голодал. Вы о себе позаботьтесь, дом продайте. Год пролетнт — оглянуться не успеешь.

Коржуны с подаркамн прикрепнли к седлу. Кыжымкуль в последннй раз поцеловала сына н велела Оспану уйти с ннм в дом: пусть не вндит малыш, как уезжает неведомо куда его мама, пусть не будет лишнего горя и слез...

Канпберген сел на землю н сотворнл короткую молитву, благословляя молодых в путь. На прощанье он отозвал племяннника в сторону:

— Ну, Молдарасул, покажи нашей невестке очаг отчего дома. На следующее лето переезжай к нам, мне жнть осталось недолго, хочу перед смертью всех самых близких собрать под одной крышей, тогда и помру спокойно. А еще скажу... может, ты думаешь, я не заметнл, не-ет, я-то стар уже, знаю жнзнь н людей. Скажу тебе, племяннннк, брось ты это зелье. И с собой не возн, н дома не держн. Не дело это для молодого человека. Сам не заметишь, как вытянет оно нз тебя все сокн, всю снлу, а ведь жизнь впередн долгая, прожнвн ее достойно. Ну, счастлнвой вам дорогн!

Молдарасул и Кыжымкуль селн вдвоем на одного коня.

Отдаленные горы былн затянуты серым туманом, хмурые осеннне тучн стоялн совсем ннзко, готовые, казалось, опустнться на землю и прндавить все живое. Впередн расстнлалась степь, н не было ей ни конца нн края.

ВДВОЕМ

День путн оставался до аула, когда Молдарасула начали одолевать беспокойные мысли. Не осталось в его душе нн следа радостного подъема, какой нспытал он несколько дней назад, получнв согласне Кыжымкуль, благословение дядн. Его терзали самые разные опасення, н он ломал голову, ехать лн ему к себе в аул нли миновать его, поискать удачи и счастья в нном месте. Завтра

к вечеру, если ничего не случится, они уже будут в ауле, в доме его родителей. Но как предстанет он перед людьми, от которых бежал месяца полтора назад, как покажется своему волостному — ведь и тот, наверно, не знает, как и кем пополнить число новобранцев? Разве волостной будет слушать, что он, Молдарасул, вовсе не от солдатчины сбежал, а из-за горькой обиды? Разве поверит? Еще схватят сразу да закуют в кандалы, будто беглого преступника. И уж тогда поминай как звали!

Бросив поводья, Молдарасул погрузился в угрюмую задумчивость. Может, поведать молодой жене все как есть, без утайки? Глядишь, и легче станет на душе, а то теперь душу будто мельничным жерновом придавили. Вдвоем они подумают, посоветуются — возможно, и повернут коня в другую сторону.

Нет, нет, нельзя ни о чем говорить! Зачем причинять новую боль несчастной, на которую и без того свалилась тысяча печалей. Он знал лишь то, что знали все,— историю, придуманную Кымкой, но он видел погасшие, бесконечно грустные глаза Кыжымкуль, редко-редко вспыхивала в них искорка веселья... Если он и расскажет ей всю правду, чем она сумеет помочь? Какой даст совет? Пусть хоть сегодня не знает о том, что ожидает ее завтра,— а вдруг аллах смилостивится и появится над ней хоть краешек распростертого благодатного крыла.

Что поделаешь, придется ехать в свой аул, раз нигде тебя не ждут, нигде нет уголка, чтобы укрыться и отдохнуть. Будь что будет! Видно, так суждено.

Он поддал в бока лошади. Конь, уставший за пять дней перехода, ускорил шаг, но потом вновь поплелся еле-еле. У ответвления дороги Молдарасул придержал поводья.

— Вот мы и доехали, эта дорога ведет в наш аул. Видишь вон там домики и юрты?

Кыжымкуль молчала, только вздохнула порывисто. Да и за всю дорогу она двух слов не сказала. Отчего она молчит? Ведь сама согласилась, он ее не насильно увез. О аллах, что она за человек?

Конь двинулся дальше.

Молдарасул припоминал дни, проведенные у дяди. Сколько вечеров провел он в домике Кымки, сидя рядом с Кыжымкуль, слушая и рассказывая, перекидываясь шутками. Но сказали ли они друг другу хоть одно слово? Все речи замирали, едва удалялась Кымка. Все шутки

былн адресоваиы ей, а она перебрасывала шуткн этн от одного к другому. Да, да, все было нменно так. У Қымки проснл он согласня Кыжымкуль стать его женой. Через Қымку получнл это согласне. А сама Кыжымкуль?.. Может быть, сердце ее холодно, как хвост змен? Может быть, она возненавндела его, Молдарасула? Как же тогда быть дальше? Выходнт, он грешен перед создателем, что нстязает бедняжку, н без того раздавленную судьбой! Как знать, не села лн она на коня с чужнм человеком лишь по настоянню Қымкн, поддалась уговорам н сейчас жалеет, проклннает его в душе? Пока не поздно, не отвезтн лн ее обратно и пусть жнвет как хочет.

Несколько раз Молдарасул порывался сказать об этом вслух, но робость его сковывала, н он не пронзнес нн звука. К тому же какое-то смутное загадочное чувство будоражнло душу, сдерживало накнпавшне слова оправдаиня. Почему он должен оправдываться перед ней? В чем? Она сама согласнлась ндтн за ним, сама сказала Кымке «да». И прощалась она с ннмн со всемн не оттого лн, что решнлась добровольно их покннуть? Она молчнт, отворачнвается, но разве лучше было бы, еслн б она смотрела на него, не отводя глаз? Еслн б речн ее былн смелы н развязны? Всем свонм телом чувствовал ои ее, сндящую на коне сзадн него. Чувствовал, что она бонтся его, н поэтому сам становнлся смелее, увереннее, держался в седле прямо и гордо.

Но вот в какую-то мннуту до слуха его донесся слабый н нежный стон. Он очнулся от свонх мыслей, вннмательнее огляделся вокруг. Звук повторился: это было похоже на женский плач.

Плакала Кыжымкуль. Услышав тихие рыдания молодой жены, Молдарасул вконец растерялся. Казалось, сухая верблюжья колючка впилась в сердце, так остро его ранилн эти стеиання н слезы. Он тоже от робостн молчал всю дорогу, ио теперь повернул голову к Кыжымкуль н тнхо спросил?

— Отчего ты плачешь?

— Я не поцеловала его даже... Велела унестн в дом. Не поцеловала напоследок. Наверно, он уже все понял...

У этих двонх, что решнлнсь соедиинть свон жнзни, ехалн на одиом коне в одиу сторону, былн разные волнення н печали.

А в сердце Молдарасула, который оставнл позадн пять дней долгого пути, боялся подъезжать к родному

аулу и гадал, что ожидает его впереди, в сердце Молдарасула, печалившегося, не холодна ли к нему молодая жена, впилась еще одна острая колючка.

Много у жизни тайн и неожиданных поворотов, которые человеку не под силу постичь до конца. При виде своих ровесников, ставших мужьями и отцами, он тоже мечтал о дне, когда, подобно всем людям, сумеет разжечь семейный очаг. Мечтал давно, однако дальше мечтаний дело не шло, и мечта старилась, тускнела с годами, превращалась в незаживающую саднящую рану. И вот нежданно-негаданно их стало двое там, где он так страдал и казнился совсем недавно один-одинешенек. Но когда это внезапно случилось, он не мог радоваться, сам не зная почему. Или происходит порой такое с человеком, что долгое ожидание чего-то радостного, насущно важного изнуряет душевные силы, вычерпывает до дна, и уже не оставляет места для самой радости? Начинает казаться, что получено лишь принадлежащее тебе по праву, да и то с запозданием.

То ли из-за этого, то ли потому, что не испытал он любовных волнений и мук, переходов от надежды к восторгам взаимного чувства — одним словом, всего того, что так сладостно и приятно для богачей и так изнуряюще дорого обходится бедняку, но Молдарасулу свадебная поездка с Кыжымкуль не казалась приятной или радостной. Исчезло ощущение волшебства, восторженного изумления, какое испытывал он в доме Кымки, сидя рядом с Кыжымкуль.

Слова жены, прорвавшиеся сквозь рыдания, заставили его нахмуриться. Впервые за эти дни проснулась в нем бесконечная жалость к матери, разлученной со своим ребенком, но ведь женщина эта была его женой. Он вез ее к себе домой, думал о ней, а она в его близости страдала о другом существе, чужом для него.

Разные у них волнения и печали, разные мысли и радости...

Смутные чувства, клокотавшие в его душе, приобрели помимо его воли оттенок враждебности: если она так страдает, зачем уехала? А если уехала, согласилась, должна забыть...

Молдарасул сам испугался этой мысли: откуда она? Откуда эта неожиданная злоба? Ему ли не знать, как нелегко бывает обрести покой и благополучие под солнцем, особенно одинокому человеку?

Мать и сын... Когда его мать погибала в степи насильственной смертью, рядом со своим мужем, не пыталась ли она в отчаянии докричаться до маленького сына, которого оставляла сиротой? И не эта ли боль была для нее самой страшной и сильной?

Огромная нежность захлестнула его. Всеми силами души он сострадал Кыжымкуль, и голос его дрогнул от нежности, когда он повернулся и погладил ее по волосам.

— Не плачь,— мягко проговорил он.— Мы же решили: следующим летом переедем туда. А не переедем, так я поеду за сыном и привезу его.

Он не сказал: «за твоим сыном», а просто —«за сыном». В эти минуты он, сочувствуя ей, полюбил и ее, и покинутого ею малыша. Чувство беспредельной близости, испытанное им, вызвало прилив внезапной слабости, но почти сразу же наполнило его сознанием уверенности и силы: их было двое у него, жена и ребенок, а он у них был один — глава семьи, надежный добрый защитник.

Когда они приблизились к аулу, Молдарасул усадил жену в седло и повел коня на поводу. Спускаясь с пригорка, он бережно поддерживал Кыжымкуль и сказал, смеясь:

— Вот мы и добрались. Сейчас будем дома. Если аллах пожелает, это и будет наш с тобой очаг.

Говорят, едва солнце уйдет с неба, земля сбрасывает все оковы. Когда они спускались с холма, солнце устало и тяжело опускалось на отдых, и вот уже сумерки, постепенно густея, залили все вокруг. Мрачное предзнаменование!

Отыскивая на ощупь шест, которым он подпер дверь, Молдарасул похолодел. Шеста не было. Дверь перекосилась — верхняя петля оказалась сорванной. Он перешагнул через порог и дальше ступить не смог, застыл на месте.

Его встретило приглушенное мычание, тихое равномерное чавканье: в дом кто-то согнал коров. В ноздри ударил густой запах хлева.

Молдарасул схватился за голову, попятился. Отошел на несколько шагов и — ослабели ноги — опустился на землю, дрожа всем телом. Потом уперся в землю руками, с трудом поднялся. Вставая, услышал протяжный вздох, чье-то теплое дыхание коснулось затылка. Он обернулся. Вначале увидел голову коня, а затем склонив-

шуюся к нему жену. Не успел он отвести взгляд, как услышал тихий голос:

— Что случилось? Что вас там напугало?

Молдарасул не нашелся с ответом. Молча взял коня под уздцы и повел его за дом, к холмику, где росла чахлая травка. Протянул руку жене:

— Давай я сниму тебя.

В сумраке она вглядывалась тревожно в его лицо, не понимала его растерянности, внезапного испуга.

— По вашему голосу я чувствую: случилось что-то неладное. Скажите мне — что?

— Я скажу. Если б и не сказал, сама увидишь, мимо не пройдешь. Ну, давай руку.

Кыжымкуль смутилась. Не протягивая руки, вознамерилась было сама спрыгнуть с коня, но рослый джигит взял ее под мышки, легко поднял в воздух и осторожно поставил на землю.

Никогда еще Молдарасул не стоял так близко к женщине, не держал за руки, теперь же, когда он дотронулся до тела, мягкого и теплого, будто живот кошки, когда, снимая жену с лошади, коснулся грудью ее нежных грудей, а легкое тепло ее дыхания внезапным жаром опалило ему щеки, острым и сильным, будто кайф после кокнара. Он хотел разглядеть лицо жены, заглянуть ей в глаза, чтобы понять, испытывает ли она те же самые чувства, но в темноте черты ее были неясными и расплывчатыми. До дрожи захотелось ему обнять женщину, но он сдержался, боясь напугать ее и обидеть.

Он посмотрел на небо. Неба не было. Черные тучи заволокли его густо и плотно, не оставив ни щелочки.

Снова грусть и горечь, на миг рассеявшиеся, овладели им, и он вздохнул глубоко и протяжно, как его усталый конь. Потом сказал:

— Мне казалось, я один на свете такой горемыка, но и ты, видно, родилась под несчастливой звездой.

Кыжымкуль испугалась:

— Почему вы так говорите?

— Да, выходит, я только затем оторвал тебя от спокойной жизни, чтобы свои беды переложить на твои плечи. Вот привез в свой дом, а что делать дальше — не знаю. Думал, хоть одну ночь проведу счастливо и беспечно, поручив завтрашний день всевышнему, но нет, и эту мечту разбил аллах...

— Я не понимаю... О чем вы говорите?

— Все в моем доме побито, растоптано... Одеяло, на котором мы должны были спать с тобой, загадили коровы. Копытами скотины раздавлены духи моих родителей...

— Так вот оно что... Я почуяла беду, когда вы шарахнулись от порога,— прошептала Кыжымкуль.— Я тогда напугалась...

Она замолчала. Молчал и Молдарасул, не зная, о чем говорить дальше.

С вышины упали тяжелые холодные капли, начинался осенний дождь. Кыжымкуль сдавленно застонала.

— Зря только я тебя мучаю,— в отчаянии произнес Молдарасул.— Грех на мне... Ты плачешь?

— Сейчас время спать Токсану. Он, верно, ищет меня.

Так вот оно как! Сидит под холодным дождем, без крова, не зная, где голову преклонить, но все равно только о сыне и думает.

Мог ли он понять, что за этими словами молодая женщина прятала ужас свой перед случившимся, прятала, не желая огорчить мужа? Но тихие эти стенания разрывали ему сердце.

— Кыжымкуль,— позвал он, тронув ее за плечо.

— Говорите.

— У тебя с собой золотой браслет?

— Да,— прозвучало едва слышно.

— Дай мне...

Не проронив ни слова, Кыжымкуль протянула ему браслет, не спросила даже, для чего он понадобился в такое время.

Посадив жену на коня, Молдарасул взял его под уздцы и направился прямо к дому волостного. Две жены волостного, услышав негромкое приветствие, взвизгнули и метнулись из сеней, будто перед ними возник сам ангел смерти Азраил. Волостной читал вечернюю молитву. Он покосился на Молдарасула и продолжал неторопливо молиться, не обращая внимания на вцепившихся в него женщин. Молдарасул стоял у двери и почтительно ожидал окончания молитвы.

Но вот закончилась эта тягучая молитва, и волостной сложил руки для заключительного оглаживания лица. Молдарасул тоже сложил ладони и опустился на колени. Оба одновременно кончили оглаживать лицо и посмотрели друг на друга.

— О несчастный, что это ты сам в петлю влез?— расхохотался волостной.— Ходил бы себе в беглецах. Или тебе и в бегах покою не было?

Потом волостной обернулся к женам:

— Эй, бабы, вы чего там съежились, как воробьи? Или думаете, что у Киевана, который насквозь пропитан кокнаром, есть силы напасть на человека? Но это не помешает... А ну, бабы, зовите джигитов, скажите, новый солдат объявился.

Осмелевшие женщины вышли из-за спины мужа.

— Ну как же,— стала оправдываться первая жена,— вошел в позднее время; страшный, будто див, как не испугаться? Кто знает, что у него на уме! О аллах, храни своих детей. Что за времена настали! Любой бродяга, нищий без спросу ломятся в дом волостного. Так и прут, так и прут. Эй, кто там, зовите парней!

Младшая жена робко попыталась пройти мимо Молдарасула, но тот схватил ее за руку. Женщина с визгом шарахнулась в сторону.

— Ойбай, да он убьет же, убьет сейчас всех!— испуганно закричала и первая жена.

— Байбише, не бойтесь,— умоляюще проговорил Молдарасул.— Если бы я шел к вам как разбойник, разве я стал бы дожидаться конца молитвы? Да, я оказался беглым, но кровопийцей не стал. Волостной, я остался один в нашем роду... Разве я хоть однажды причинил кому-нибудь зло? Скажите. Совесть моя чиста перед людьми и всевышним.

Волостной издевательски рассмеялся.

— Ах, негодяй!— проговорил он, складывая белый коврик, на котором стоял во время молитвы.— И ты еще ссылаешься на всевышнего! Да как ты смеешь поминать его имя, ты, великий грешник. Ты же пошел против белого царя, скрылся куда-то. А царь — наместник всевышнего на земле, ясно тебе? Или еще не понял, что ты грешен и совесть твоя не может быть чистой?

— И твоя жизнь дороже, что ли, чем жизнь других джигитов?— вмешалась первая жена волостного.

— Нет, байбише, просто, когда из богатого пот выжимают, у бедняка кровь льется. Только это меня пугает. А бежал я не оттого, что жизнь свою ценил слишком дорого: обиделся я на вас, своих земляков и соседей. Была тому причина. А сегодня я готов обидеться на самого создателя. Как же допустил он, что в моем доме вы

закрыли коров? И вот теперь хотите созвать людей, чтобы и меня спрятать под замок, а потом куда-то увезти? Байбише, обидеть беззащитного сумеет любой ваш прислужник. А вот защищать другого, сделать доброе дело сможет не каждый. Люди уважают вас, байбише, как и самого волостного, считаются с вами, сколько раз я слышал, что вы хоть и женщина, по разуму не уступаете мужчине...

Старшая жена волостного с удовольствием слушала эту речь. Ее нахмуренные брови горделиво поднялись, расправились, очи были скромно потуплены. Она молчала, перебирала пальцами с нарочито равнодушным видом — ждала продолжения. И Молдарасул продолжал:

— Я вырос у вас на глазах, с детства был у всех на побегушках. Теперь мне уже третий десяток, а я один, ни родных, ни близких рядом. Вот я и отправился на поиски родственников с материнской стороны и нашел. Там и задержался. Но ведь вернулся же я. Лучше быть подошвой в своем краю, чем султаном — в чужом. Велик наш Казахстан, аул на аул не похож, а я вернулся. К своему волостному вернулся, хоть и страшусь его гнева. Но я знаю: мои корни здесь, а не там. И приехал я не с пустыми руками, с подарком для вас, байбише. Буду рад, если вы его примете. Конечно, он слишком скромен...

Молдарасул вынул из кармана завернутый в тряпку браслет и протянул жене волостного. Волостной слушал последние слова джигита с насмешливым, пренебрежительным видом: какой подарок в состоянии преподнести бедняк, нищий? Младшая жена смотрела, вытянув шею, и явно выжидала минуту, когда сможет выскочить вон и созвать людей на подмогу. Лишь сама байбише все еще пребывала в состоянии блаженства от слов Молдарасула, готовая слушать и слушать сладостные похвалы в свой адрес.

Но вот Молдарасул развернул тряпку, и при свете сильной лампы ярко засверкало золото. Настоящее золото! Волостной и обе его жены стояли, выпучив глаза, раскрыв рты, будто кто душил их. Потом они одновременно подались вперед, ближе к Молдарасулу, передернулись, как в судороге.

— Возьмите, байбише, это вам,— рука Молдарасула поднялась выше.

Байбише посмотрела на мужа, на вторую жену, ос-

торожно взяла браслет с огромной ладони Молдарасула, переложила из одной руки в другую — взвесила. Улыбка растянула ее сухие губы.

— Тяжеловат подарок, и не поднимешь,— надела браслет, вытянула руку, любуясь сверканием золота.— Хоть и плохое прилипло к тебе прозвище: «беглый», но подарок твой хорош. Спасибо. Значит, родные твои — богатые люди?

— Нет, байбише, еле наскребли денег. Когда мы уезжали, они подарили этот браслет невестке.

— Какой невестке?

— Да я... женился в тех краях.

Байбише со смехом оглянулась на мужа:

— Господин, вы слышите? Этот бродяга говорит, что он женился.

— Чему ж тут удивляться? Разве он не мужчина?

Сердце Молдарасула трепетало от радости. Он тихо молился про себя, чтобы не оборвался этот разговор. Пусть с издевкой, с насмешкой, но выслушают его. Похоже, теплый блеск золота согрел хоть немного их каменные сердца, они улыбаются ему, и, возможно, задуманное дело увенчается успехом.

— Ах, как жаль, что так нехорошо получилось!— заговорила байбише, произнося с нажимом каждое слово и поглядывая на мужа.— Жаль, что в твоем доме какието негодники устроили хлев. Наверно, один из озорниковджигитов сделал это нарочно. Я знаю, волостной такого приказа не отдавал...

Муж ее в знак согласия важно кивнул.

— Особенно стыдно перед твоей молодой женой,— продолжала байбише.— Ну, я-то всегда была уверена, что ты — настоящий джигит, найдешь свою родню, свое счастье. Видишь, я, оказывается, в тебе не ошиблась.

В доме стало оживленнее. Улыбался благодарно Молдарасул, улыбался бай-волостной, светились улыбками обе его жены — байбише и токал, старшая и младшая.

— А где же невестка?— спросила байбише и опять ласково улыбнулась.— Если ты — сын аула, то и она — общая наша невестка, не так ли? Где же она?

— Там, на улице.

— Так позови ее. Пусть придет поздороваться с названым свекром.

— Да бедняжка стесняется: как войдет она к таким высоким господам! И поздно...

— Ничего, пусть войдет. Сейчас мы разрешаем это, слышишь, сами зовем.

— Байбише, тысяча вам благодарностей за доброту.— Молдарасул вышел на цыпочках и спустя немного времени ввел жену.

Молодая женщина от порога сделала три глубоких поклона.

— О, ты хорошо воспитана,— первая нарушила молчание байбише.— Счастлива будь. Как твое имя?

— Кыжымкуль.

— Какого ты рода?

— Сирота оиа,— поспешно вмешался Молдарасул.— С детства сирота.

— А-а, вот как. Будь счастлива,— произнес наконец волостной после долгого молчания.— Токал, теперь зови джигитов!

Обе жены удивленно уставились на него.

— Ну, чего глаза вылупили? Живо!

— Господин,— промямлила первая жена,— да ведь это же...

— Умолкни! Откуда тебе зиать, что я решил?

Молдарасул стоял неподвижно. Улетучилась мгиовеиио давешияя радость, на душе у иего было как в разворочеином гиезде.

В дверь ворвались три или четыре здоровенных парня.

— Что прикажите, господии?

— Узнаете этого джигита?

Парии оглянулись иа свесившего голову Молдарасула, узнали его и загалдели разиоголосо:

— Вернулся-таки?

— Ах, ты, чтоб тебя!..

— Ну, теперь мы тебя стреиожим, отучишься скакать по горам!

— Хватит, хватит,— важно остаиовил их волостной.— Знаю, что вы злы иа иего, но я вас позвал ие за этим. Вот что я вам скажу: возьмите с собой еще человек пять крепких джигитов и вычистите дом Молдарасула. Единым духом. Будь ои один, все бы ничего, ио с ним — жена, пояли?— и он кивнул подбородком иа Кыжымкуль.

Парии смотрели иа волостного, на Кыжымкуль, ие зная, верить или ие верить, готовые по первому зиаку превратить все в насмешку и вновь накинуться на Молдарасула.

Волостной повысил голос:

— Вот так. Ясно? Ступайте. Утром я сам проверю. Молдарасул, и ты иди с ними, без хозяйского глаза там не обойтись. А жена твоя пусть до завтра побудет здесь. Женщины, позаботьтесь...

Как неуловимо краток миг перехода от горя к радости, от радости к горю! Но как много означают они для человека, эти краткие мгновения. Не из них ли складывается его судьба, вся его жизнь? Только что Молдарасул радовался, как ребенок, в следующие минуты он был низвергнут с неизмеримой высоты, и вот уже вновь зажегся огонек надежды, радость стеснила дыхание.

Теперь начнется для него новая, совсем новая жизнь! Ведь он не безродный какой-нибудь, у него есть свой, настоящий дом, дым родного очага, а главное — постоянно будет рядом искренняя сочувствующая душа, и новая жизнь начнется для них обоих.

* * *

В этой новой для них обоих жизни месяцы и годы ссохлись, как зачерствевшая лепешка. День был похож на день, год на год, а если они даже чередовались, чем-то отличавшиеся один от другого, то позже и это повторялось точно так же. Молдарасул, вернувший было себе ненадолго подлинное свое имя, окончательно превратился в Киевана, заядлого потребителя кокнара, старика с глубоко запавшими глазами, а красавица, байская дочь Кыжымкуль стала крохотной, смуглой до черноты старухой Киевана...

...Всесильным казался ветер Арыстанды Карабас, пока бушевал над аулом и степью, вытягивая последние соки из всего живого, но и он постепенно притомился, начал утихать. Время от времени шли весенние ливневые дожди, солнечные лучи защекотали грудь земли, степь ожила, расцвела диковинным ковром, и уныние понемногу покинуло людей. Все ожили, стали деятельными, работа кипела в руках. Волшебная весенняя пора влила живительные соки в иссохшее тело смуглой старушки, повлекла ее из бурого прохладного полумрака дома в расцветающую степь. Маленьким кетменем, не более двух детских ладошек, она пыталась размягчить землю на участке старика, где он выращивал мак.

Колхоз не забывал их, каждый год отводил клочок

земли. Но где у старой силы ухаживать за чем-нибудь по-настоящему, да и земля-то далеко от дома. Киеван не однажды поднимал крик: «Дайте мне земли поближе к дому, и не ваше дело, чем занимается старый больной человек. Мне нужна земля настоящая, не каменистая, а вы свой хлопок сейте где хотите!» Но председатель возражал: «Аксакал, земля под участки там, где не может пройти трактор, и она плодородная, не каменистая. Мы очень ценим труд вашей жены, но нам не все равно, чем занимаетесь и вы...» Киеван понимал намек и злился еще пуще: «Да что я, перекочевать туда должен на три месяца, что ли? И я сам справлюсь, посажу возле дома что мне нужно, вы только не мешайтесь. С какой стати ты отправляешь мои старые кости невесть куда, в Америку какую-то! Или отведи сколько мне нужно земли рядом с моим домом, или вообще ничего не давай, я без тебя найду».

И этой весной, когда утих наконец настырный Арыстанды Карабас, старик угрюмо прошелся неподалеку от дома, потом дал властное указание старухе: «Отсюда досюда отмерь кетменем и копай. А они пусть попробуют сунутся».

Сказанное им — закон для старухи. Вот и вышла она с маленьким своим кетменем, пыталась размягчить землю на давнем участке старика, из-за которого и разыгрывались все скандалы. Но слабые руки плохо подчинялись, старуха с кряхтением выпрямилась и увидела бегущего к ней бригадира.

— Эй, старуха,— закричал он еще издали,— ты что делаешь?

— Землю копаю.

— Кто тебе разрешил?

— Старик велел.

— Ох, какой важный начальник! Ты, бабушка, забирай-ка свою лопату и шагай домой. Тут мы хлопок посадим. Ну что за люди, ведь сама убираешь хлопок, сама знаешь прекрасно, где он у нас растет. Что с вами делать, право! Уходите, бабушка,— досада бригадира остывала, и он заговорил мягче.— Прошу вас, уходите.

— Старик меня заругает.

— Фу ты, аллах он, что ли? А ну, айда отсюда! Ишь ты, старик заругает. Если он такой герой, пусть приходит в контору, там и поговорим. Надо же, партизанить решил!..

А Киеван отправился искать свежие семена мака. Обещал вернуться к обеду, но задержался — видно, никак не найдет. Старушка вошла в дом, принялась разжигать самовар. Заученными движениями отлила кипятку в глубокое блюдо, дала немного остыть, опустила туда мешочек кокнара и долила в самовар воды. Выпила две пиалы горячего чая, вынесла во двор одеяло, расстелила его, жмурясь от удовольствия, на самом солнцепеке и прилегла. Усталое тело расслабилось, сладостная блаженная дремота охватила ее.

— Добрый день!

Возглас прозвучал особенно громко.

— Добр...— Она подняла голову. Над ней стоял почтальон. Что-то не ко времени он появился, быстро сообразила она. Пенсия, которую получал старик, еще не подоспела. Кыжымкуль поднялась, не спуская с почтальона встревоженных глаз: в этот дом письма не приходили никогда. А с военных лет Кыжымкуль хорошо помнила, как носил этот человек людям и радость, и горе: то фронтовые треугольники — письма, то похоронки на сыновей, мужей, братьев. Сколько лет прошло, состарился совсем почтальон, но все ходит и ходит, будто обязанность приносить новости поручена ему навсегда, вместе с холщовой сумкой.

Старуха наконец с трудом ответила на приветствие:

— Добрый день.

— Киеван дома?

— Нет.

— Снова пошел искать кокнар?

— Нет, семена.

— А-а, все одно.

Старуха вынула мешочек из блюда, переложила в пиалу и прикрыла марлей.

— Ну, готовь, бабка, сюинши,— почтальон полез в сумку.— Вам письмо. Даже фамилии не написали. Смотри: «Кыжымкуль, сестре, и зятю нашему Молдарасулу».

— Что? Что такое?.. О аллах!— Кыжымкуль попятилась в испуге.

— Как — что? Самое настоящее письмо. Вон и обратный адрес. Есть у тебя младшая сестра Жамига?

— Какая Жамига?— старуха поцокала языком в знак недоумения.— Не дочь ли это глухого старика, что пасет волов?

— Да нет же, зачем она станет писать тебе письма? У тебя, оказывается, сестра младшая живет в городе.

Старуха присела на одеяло и долго сидела молча, только губы шевелились, повторяя чужое для нее имя. Она ничего не смогла припомнить и все так же, не отрывая глаз от почтальона, покачала головой:

— Нет у меня младшей сестры.

— Да, видно, стала у тебя память слабеть. Ну кто чужой будет слать вам письма? Может, припомнишь, давай я прочитаю письмо. Вы ведь, наверно, оба читать не умеете?

— Молдарасул научился немного. Да где же он, пропащий старик!

Она оттянула от одного уха край головного убора — кимешека — и с равнодушным видом уселась поудобнее. Не верила она, что письмо это — ей, а чужие новости ее давно уже перестали интересовать.

«Дорогие сестра Кыжымкуль и зять наш Молдарасул,— так начиналось письмо.— Я многие годы пытаюсь разыскать вас, расспрашиваю встречного и поперечного, всех, кто приезжает из дальних аулов. Писала письма в разные концы. Но никто не отвечал. Зять наш Молдарасул, я ведь не знала фамилию вашего отца и совсем потеряла надежду. Но недавно съездила в аул, где прежде жил дядя Молдарасула, и нашла там название вашего аула. После смерти вашего дяди молодые, похоже, совсем охладели к своим родственникам. Они, оказывается, точно даже не знают, где вы живете. Отмахнулись: «Слышали, что живы...» И я этому рада, что вы живы.

Но хорошо, что аул назвали, хотя, может, и не точно. А вы, наверно, забыли меня. Я — Жамига, дочь Кымки, что прежде была вам названой матерью, Кыжымкуль...»

Когда почтальон дошел до этого места, дрогнул подбородок у старухи, глаза округлились.

— Что она пишет?.. Дочь? Дочь Кымки?..

— Так и пишет. Вон у тебя глаза круглые стали. Теперь, видно, припомнила, а?

Старуха поднялась было, но дрожащие колени подогнулись, и она опять плюхнулась на расстеленное одеяло. На лице, обычно неподвижном, зашевелились, задвигались морщины, она жадно ловила ртом воздух, потом заплакала.

Почтальон знал эту старческую слезливость, привык к тому, что доживающие свой век люди проливают слезы

по любому поводу: плачут и при известии, что дети едут к ним в гости, а внуки получают хорошие отметки в школе, плачут, получая поздравления с праздником либо семейным торжеством. Зная это, почтальон ждал, когда старуха перестанет всхлипывать, и не поднимал головы от письма. Но плач не прерывался, а становился все сильнее.

— Ну-ну, что это? Перестань, бабушка, давай дочитаем до конца. У меня там конь застоялся, в другой аул надо ехать,— и почтальон постучал рукояткой плети по письму.

Кыжымкуль не обратила внимания на его слова, она их не слышала. «О, мой свет, сестричка моя любимая, так ты жива, жива, родная»,— причитала она. Плач обещал быть долгим.

Почтальон слез с коня.

— Э-э, бабушка,— он понял, что ни властный, ни шутливый тон не остановят поток слез и причитаний, и заговорил жалобно.— Вероятно, есть у тебя причина плакать, хотя мне ничего не понятно. Но не нужно такой хороший полдень портить стонами да криками, это дурная примета. Кругом люди, все работают, ни у кого ничего плохого, к счастью, не случилось, зачем же ты так... Довольно, надо слушаться.

Почтальон придержал ее за плечи, и старуха перешла на прерывистое всхлипывание:

— О-ох, да как же я перестану... Ведь полсотни лет... полсотни лет камнем в груди лежало... А ты сдвинул камень, спасибо тебе. Благополучия тебе, благословен будь. Да будут счастливы дети твои, дети твоих детей... А сюниши... сюниши тебе Киеван отдаст.

— Ой, что ты, я пошутил. Не надо мне сюниши,— поторопился возразить почтальон, а сам смотрел на нее растерянно и удивленно. Хоть раз в неделю, но доводилось ему видеть ее, высохшую, низенькую — живой лоскуток кожи,— видел он, как суетилась по хозяйству возле своего домика-развалюшки. Видел, как перекинув самодельное коромысло через худенькие плечи, навесив на него одно маленькое, а другое огромное ведро плелась к колодцу под холмом и потом, согнувшись под тяжестью в три погибели, с трудом тащилась домой. Ох-хо-хо, что ж это творится на свете? Столько раз он ее видел, но никогда не замечал по-настоящему. Иногда он здоровал-

ся с ней, а иногда и нет. Порой в голову приходила мысль: «А, живая еще», но никогда не появилось беспокойство: «Как ей живется, бедняге?» Он знал давным-давно это крохотное, с кулачок, создание, тихое и неприметное, но никогда не задумывался, что в старой, как полуразрушенный дом, груди бьется живое сердце, способное вместить и радость человеческую, и горе — как у всех людей!

Какое существование ведут старик и старуха, похожие на две сухие ветки на дереве, как бредут они по земле, поддерживая один другого, есть ли у них на свете родные или просто близкие люди и где они, эти родные, близкие? Как они справляются со своими делами, эти два старика, чем они сыты и в силах ли позаботиться о себе — никогда почтальон не пытался ломать над этим голову и не слышал, что кто другой интересовался этим. И сейчас его охватило чувство щемящей жалости.

— Так она вам кто, родная, да?

— Родная, родная, будь счастлив, спасибо тебе, ведь снова зажегся мой светильник.

— Ладно, ладно, только не плачь больше. Давай дочитаю, у меня еще много работы.

Қыжымкуль вздохнула прерывисто, долго промокала платком глаза, потом поправила головной убор и уселась, выпрямившись.

— Теперь читай,— она вытерла нос и приготовилась слушать.

Письмо было длинное. Пока почтальон читал, пока старуха плакала, поминутно оправдываясь: «Ну, все, все, я перестала»,— прошло не менее часа.

«Покойная мать так и не увидела счастье своих детей,— писала Жамига.— Перед смертью она собрала всех нас и наказала так: «Живите долго, будьте друг для друга опорой. Самый младшенький останется среди вас сиротой, найдите его мать». После ее смерти нас увезли к себе дальние родственники. Вы, вероятно, приезжали за Токсаном, но не могли разыскать его. Время было такое: новая власть пришла, конфисковали байские богатства, и нелегко было людям отыскать друг друга. Но мы жили надеждой, что вас отыщем, если будем живы. Из пятерых нас, детей Қымки, осталось трое. Мои братья Оспан и Қоспан погибли на фронте. Тоспан и Досжан живы, они тоже воевали. Тоспана ранили в руку, он теперь бухгалтер в нашем колхозе. А Досжан — секретарь

райкома партии в Петропавловске, только не в том, который далеко, на Камчатке, а у иас — в Казахстане. И мы все встречаемся.

Ваш Токсаи тоже ие вериулся с войны, как мои старшие братья. Перед войной он работал трактористом, жеиился. Все мечтал разыскать вас, копил деиьги иа поездку, да тут война началась. Почему мы тогда сразу не вспомиили про дядю Молдарасула, сама не понимаю. До сих пор огорчаюсь. Может, если жили бы рядом, сразу к иему пошли узиавать про вас. Токсан был у нас самый маленький, но на фронт его призвали первым. У иего родился сын. Уже ползал, когда Токсан уезжал. Токсаи плакал сильно, да и мы все тоже. Мы видели, как ои прощается с сыном, как обливается слезами, и не могли от слез удержаться, хотя и старались. Как вспомню, и теперь плачу. Сам сиротой рос и сына сиротой оставил. Потому что жена его умерла в больиице, у нее были роды очень тяжелые, иикак ие могла родить. Доктора ей разрезали живот и достали ребеика, но оиа операцию ие перенесла. Мальчика мы иазвали Куаиыш. Ои уже большой, сейчас в армии. Приедет через год. Если бы я привезла его к вам, я бы выполнила долг перед памятью своей матери и моя мечта исполнилась бы. Если все-таки письмо дойдет до вашего колхоза, до вас, дайте мне знать, очеиь прошу. Я пошлю Куанышу ваш адрес и сама отпрошусь с работы, приеду навестить вас. Сестра моя дорогая, я вас всю жизнь помню и люблю...»

Куаныш... Она его никогда в жизии ие видела, а ои уже совсем взрослый, служит в армии. Жамига... девочка с прекрасными длинными волосами. Она приедет? Приедет? Куда?..

Все эти новости были так ошеломляющи, что Кыжымкуль совсем притихла. Почтальон на минутку поднял глаза от письма и увидел, как она медленно клонится на бок, он едва успел придержать беспомощное, обмякшее тело.

Возможно, две-три мииуты назад ои, проникшийся чужими волиеииями, подумал о том же: приедет навестить... Куда? В эту развалюху?..

Когда иалаживалась иовая жизнь, люди строили дома иа удобиых равнинных местах, переселялись туда, одии Киеван остался жить в низиие. Когда-то в минуту отчаяния он решил покинуть свой аул, теперь аул его покидал, а он угрюмо и упрямо желал остаться в своем

старом полутемном домике. Как только его не уговаривали! Обещали: «Поможем всем аулом, построим тебе дом, без крыши над головой не оставим. Ну что ты будешь торчать тут один, будто памятник на могиле шамана!» В сельсовете тоже подтверждали: «Непременно построим дом, только согласись».

Но он не соглашался. Хуже всего, что он и сам не смог бы объяснить, отчего так упорно не соглашается, но именно поэтому все доводы, все просьбы разбивались о каменное его упорство: «Не хочу. Не поеду...»

Почтальон вскочил на коня и поскакал в колхоз. Привез фельдшера и двух женщин. Они увидели, что старуха еще лежит в беспамятстве на разостланном возле дома одеяле. Рот ее был открыт, глаза крепко зажмурены, тонкие, как плети, ручонки раскинуты в стороны. Одна из женщин, постарше, увидев Кызымкуль, заголосила над ней, как над покойницей. Фельдшер неприязненным взглядом приказал ей умолкнуть, послушал сердце и пульс Кызымкуль, произнес с облегчением: «Жива!» А женщина, готовая заголосить вновь в любую минуту, державшая вопль наготове, вторично будто подавилась плачем. Не зная, как быть при сообщении «жива», она растерянно вымолвила: «Бедняжка, что это с ней?..»

Пока люди возле дома суетились, советовались, увозить ли Кызымкуль в больницу, со стороны арыка послышались крики. Ругались бригадир и Киевап.

— Сколько вам толковать, не гните зря спину! Я уже вот так устал от вас обоих, и старуху-то свою с толку сбиваете. Сказано вам, эта земля — под хлопок, и ступайте себе домой! Отдыхайте!

— Не пойду! Сказал, что тут отрежу кусок земли, значит, так и будет. Хоть умру, а сделаю.

— Нет, пока я жив, не сделаете. Мало ли, другой захочет прямо в поле поселиться!! Дали же вам землю. Это надо же, в самом деле, колхоз дает им земли, распахивает трактором, а они туда не идут. Далеко. Если за чем другим идти, так и ног не жаль, через весь Казахстан готовы прошагать. Что делается, а? Если вам так далеко, не поленились бы, выстроили себе дом в ауле, как все люди.

— Эй ты, осторожнее, понял? Я всему колхозу помогал строить новые дома, лентяем меня еще никто не называл, пока сила была в руках. А себе... Это мое дело, ясно тебе? Ты еще соплями умывался, когда я вот этими

руками бревиа ворочал. Я беру себе участок здесь, вот и все,— палец Киеваиа указывал на землю под иогами.

— Ладио, мие все равио, берите,— бригадир вытащил из кармаиа июхательиый табак, насыбай. Ои достал щепотку, ловко заложил под язык.— Берите,— повторил он, махиув рукой,— только запомиите, пригоию трактор и распашу под хлопок.

— Попробуй прнгонн! Пойду куда следует, и ты вмнг загремишь.

— Вот как? Прихватнте кстати оттуда разрешение на свои ядовитые семена. Что я, ие зиаю, что ли, зачем вам земля иужиа? Жену бы пожалел, старуху, говорю, пожалели бы...

Оба оии не заметили, как подошел почтальон. На этот раз ои ие решился произнести привычное: «Киеван», а, тихоиько косиувшись Молдарасула рукой, окликиул его: «Аксакал...» Кневан ударил по его руке и продолжал спор:

— Я вижу, тебе до всего есть дело. Не-ет, теперь я и правда пойду куда надо. Еслн я не жалуюсь, ты это, похоже, за смиреиие прииимаешь...

— Аксакал,— громче позвал почтальои.

Киеван оглянулся, торопливо поздоровался, ио вряд ли понял, что обращаются имеиио к иему н продолжал кричать:

— Закон иа моей стороие, понял, иа моей!

— Аксакал, вашей старухе плохо. Людн там у вас собрались,— почтальои решил выложить все сразу, чтобы привлечь иакоиец виимаиие Молдарасула.

— А? Что? Моя старуха?— обериулся к нему Молдарасул.

— Да.

— Что с ией такое?

— Плохо ей. У вас доктор в доме.

— Дали ей настою?

— Нет... Говорят, может, в больницу надо.

— Эх, какая там еще больиица! Ну, иикогда она не слушается. Каждый деиь твержу: как встаиешь, выпей ложку настоя, и все болячки забудешь. А тут еще сеять пора... Не до больиицы. Эй, сынок,— Молдарасул опять повернулся к бригадиру,— вечером приеду в вашу контору, так всем и передай!

Он нагиулся, подиял с земли пеструю тряпку с прн-

несенными семенами, оставил вбитый в землю кетмень на прежнем месте и пошел за почтальоном.

Люди уже усадили старушку на коня, позади, поддерживая ее, сидел фельдшер. Они уже готовы были направиться в больницу, когда подбежал Киеван. В глубоко запавших глазах сверкала неприкрытая злоба. Он отбросил на одеяло тряпку с семенами и вцепился обеими руками в поводья.

— Аксакал, что с вами? Если больному человеку не поможешь сразу, потом хворь изгнать труднее,— рассердился фельдшер.

— Кто больной? Какая хворь? Это, милый, не хворь, а старость. Хуже не будет и лучше тоже не будет. Оставь ее, не возись,— тоном, не терпящим возражения, приказал Киеван.— Гляди ты,— заговорил он после некоторого молчания,— кто-то чихнул, а они и рады, прямо домой прискакали. Других больных нету, что ли, или свои лекарства распродать не можешь? Нет, милый, пусть аллах тебя наградит, старуху не трогай. Я сам вылечу.

— Аксакал,— на этот раз фельдшер угрожающе повысил голос,— советская медицина против знахарства. Отпустите поводья!

Киеван пристально взгляделся в лицо фельдшера своими глубоко сидящими глазами:

— Это ты себя «советской медициной» называешь? А не высоко ли хватил? Эй, погоди, чей ты будешь? Никак — средний сын хромого пастуха со стеклянным глазом? Это не ты вчера без штанов бегал?

Фельдшер смутился, помолчал.

— Да, я сын постуха. Что из этого?— спросил он отрывисто.

— Вы посмотрите только — не успел штаны надеть, а уже — власть. Законники? Может, с твоей матерью спал не отец, а закон, а?

Молодой человек покраснел от стыда и гнева.

— Аксакал,— ответил он резко,— кто дал вам право унижать людей? Вы слышали, что за оскорбление можете предстать перед судом?

Сгорбленная спина Киевана задрожала, угловатые плечи задвигались — он смеялся.

— О, пропал я, пропал, горе мне... Паду твоей жертвой. И на сколько же ты меня засудишь? Засуди... Иххы-хых-ых... Прямо на десять лет сразу... Прибавь мне веку. Я тогда за восемьдесят перешагну... Ых-хых,

— Если этот человек,— фельдшер слегка пошевелил старушку, которую все еще крепко держал,— если с этим человеком что-то случится, отвечать будете вы. Я не могу оказать необходимую помощь из-за того, что вы мне мешаете. Я так и укажу в акте.

— Ойбай-ау,— Қиеван огляделся вокруг, как бы призывая всех в свидетели.— Вы слышите, что он говорит? Эй, эта старуха твоя или моя? Еще актом грозит! Хоть сто актов пиши, а старуху отдай. Ссаживай с коня, говорю! Давай ее сюда, ну! Давай!

Қиеван оторвал руки доктора и стащил с коня безжизненное тело Қызымкуль. За много-много лет, после того как они поженились, он впервые поднял ее на руки... Маленькое хрупкое тело беспомощно и безвольно обвисло у него в руках. Он слегка пошатнулся — не от слабости, нет — тело было легким, но от какого-то ему самому непонятного чувства: закружилась голова, туман заклубился перед глазами, будто в таинственном стремительном полете за одно мгновенье он вернулся на десятилетия назад. Он снимал ее с седла... Свою жену, посланную судьбой...

— Ох, что ты делаешь, дай же ей хоть глоток воды,— услышал он голос одной из женщин, когда укладывал Қызымкуль на одеяло, поражаясь невесомости ее тела.

Ему подали пиалу с холодным чаем. Қиеван поднял голову старухи, прикоснулся пиалой к ее губам. Она не разжала губ. «О несчастная,— Қиеван поднял ей голову повыше.— Откуда напала на нее эта хворь? Ведь совсем недавно она ковыряла кетменем землю как молодая».

Он взял руку старухи, нащупал пульс. Сидел долго, крепко зажмурив глаза. В последние годы он немного занимался знахарством, не зря фельдшер укорил его. Иногда он угадывал болезнь верно. Иногда ошибался, но лекарство на все случаи у него было одно: настой коknара, лишь в разных дозах.

Некоторые благодарили его, другие — кому не повезло — проклинали. Бригадир и председатель колхоза грозили всяческими карами, если он не прекратит это занятие, укоряли легковерных, убежденных в его чудодейственных способностях.

— Сегодня она испугалась чего-то,— произнес Қиеван, открывая глаза.— Ой, аллах, кто напугал ее?

Он сменил воду в пиале, бросил туда две щепотки соли, раскрошил несколько зерен гармалы, сухими пуч-

камн внсевшей иад дверью, пошептал над пналой н брызнул водой в лицо Кыжымкуль.

Оиа открыла глаза.

— О несчастная, благодари аллаха,— потряс ее за плечо Кневан. Старуха шевельнула губамн, но не смогла вымолвить нн слова, она опять клоиилась к земле, готовая упасть.

Почтальон, едииственный, кто зиал причину происшедшего, не мог уйти, не объясннв все Кневану.

— Да ие бойтесь вы,— сказал он, шнроко улыбаясь.— До ста лет прожнвете со своей старушкой. Это она от радостн обеспамятела. Известие получнла о внуке. Вот пнсьмо, от сестры ее пришло, я ей и прочнтал...

Все перегляиулнсь в нзумлении. Кневан сндел иа коленях, опершнсь о ннх руками. Услышав слова почтальона, ои медленно встал, посмотрел на письмо, на людей, которые не отрывалн от него нзумлеиных глаз.

— Вы, иаверно, все тут с ума посходили,— сказал он.— Ты что, бреднншь? Какая сестра, какой внук?

И протяиул руку к пнсьму, осторожно и недоверчнво.

* * *

Старая Кыжымкуль прншла в себя лишь через два дня. За это время она и глотка воды ие выпнла, и малеиькое ее личико совсем почернело. В беспокойстве провел этн два дия Киеван, даже перестал прниимать зелье, совсем ослабел. Сначала он молил аллаха, что лучше бы ей полежать. Очнувшись, оиа заладнла одио, как помешанная: «Поеду к сестре!»

А едва встала, прниялась собнрать и увязывать узелки, даже чай забыла поставнть.

— Будь оиа неладна, наша жизнь, всю ее можио прннестн в жертву едииствениому внуку. Поедем, поедем к пему...

— Эй, старуха, не сходи с ума,— говорнл Кневан.— Как ты поедешь с пустыми руками к сестре, которую столько лет не вндела. Ты потерпи, соберем немиого деиег, купнм подаркн, тогда и поедем.

— Нет, иет, инчего не иадо, поедем так. Никто меня не осудит. Пока я иакоплю денег, все может переменнться. Вдруг они куда-нибудь переедут. Нет, едем завтра же, поутру. Пока не съезднм, не успокоить мие сердца,

ии сиа, ни радости не будет. О моя звездочка, виучек мой единственый, хоть посмотреть бы на тебя...

Письмо разволновало и Киеваиа. Вдвоем со старухой оии пережили все сиротство долгой одинокой жизни. Ссорясь с людьми, а то и просто при разговоре ои иемало выслушивал обидного, душа его ие одиажды горела от уиижения и боли, и как иужиа была ему в такие мииуты сильиая опора, поддержка. В бессоииые иочи, когда коичалось дурмаииое горькое блажеиство, ои тосковал о молодой силе, которая могла бы иавсегда изгиать печаль из его дома. Он думал о том, что у иего иет и уже ие будет детей, что иечего ему ожидать каких-то счастливых перемен в жизии, иичего ие будет ииого, кроме жалкого существоваиия, какое ои влачит вот уже миого лет. Не осталось у него ии сил, ии бодрости, будто злая иеведомая сила выжала все жизиеииые соки из могучего иекогда тела.

Последние четыре года он увеличивал дозы кокиара, прииимал помиогу и иадолго впадал в кайф. Совсем больиой, ои ие зиал ииой возможиости облегчить душу и сердце, бежать от горьких мыслей. Миого-миого раз повторял он мысленио с иепроходящей тоской: «Неужели так и пройду по жизии, не оставив следа?..» И вот сейчас появился виук, оии ли к иему поедут, или ои приедет к иим, ио он появился... Одиако этот иеждаииый дар судьбы вызвал у него ие только благодарную радость. Глубоко в сердце зашевелилось тупое иедоброе чувство, ледеиящее, будто хвост змеи. Ои укорил самого себя: «Пустая твоя голова, привык ты, что ли, к жалкому своему одииочеству?» Но ледеиящее чувство не уходило. К тому же старуха его, окоичательно придя в себя, худющая, точио заячий скелет, жила в состояиии беспредельиой радости, повторяла без устали: «Поеду к сестре... Свижусь с внуком...»— и эта бьющая через край радость заставляла его с каждым днем мрачиеть все больше.

Ои давно забыл черты ребеика, которого видел когда-то в доме Кымки, но вместе с Кыжымкуль обрадовался вести о сыие того ребеика, выросшего вдали от иих. Затосковал об этом юноше, виуке, мечтал его увидеть, жаждал... Что же такое произошло с ним? Оказывается, ледеиящее чувство зависти, возникшее когда-то, страшно давио, ие ушло, не умерло — оио гнездилось в самой глубиие утробы, как гиездится до поры до времени злая

болезнь. Что ж, значит, сам он, Молдарасул, прозванный Киеваном, и не подозревал, что прожил с этим чувством целые годы, долгие годы?

«Нет, так нельзя,— говорил он себе.— Это грех, нельзя жить нечистыми чувствами, когда уже чуешь запах сырой земли...»

Каждое утро старуха собиралась в дорогу. Так прошло два месяца. Киеван ежедневно надоедал председателю сельсовета просьбами, чтобы ему выдали пенсию за полгода вперед, но получил ответ, что по закону такое сделать нельзя. Старик все же взял из колхозной кассы четыреста пятьдесят рублей в счет пенсии. Кассир выдал деньги трешками, и Киеван, усадив рядом старуху, до полуночи пересчитывал деньги.

— О аллах, а вдруг бандиты нас ограбят?— сказала она, когда деньги были пересчитаны.— Ты никому не проболтайся, сколько мы взяли...

И она со страхом посмотрела на кипу денег.

— Угомонись,— окрысился старик.— Каким это бандитам ты понадобилась? Да любой бандит убежит от одного твоего вида. Согрей самовар!

Старуха удивленно посмотрела на него: он давно уже не говорил с ней так грубо. И самовар в последнее время ставил сам.

— Чего вылупилась? Грей чай. Три дня хожу за деньгами, даже некогда напиток приготовить.

Кызымкуль с трудом поднялась и тут же оперлась о стену.

— Эй, что там еще?— прикрикнул старик.

— О аллах... аллах...— забормотала старуха.— Голова закружилась.

— Глотни коклара — и все пройдет. Не вихлялась бы, поднялась спокойно — и голова б не кружилась.

Старуха немного постояла неподвижно, потом подняла самовар и вышла вон, шаркая ногами.

* * *

Не только горе, но и радость может сокрушить старые кости. На другой день старик и старуха радовались как дети. Они выпросили у соседей двух ишаков и съездили на базар за двадцать километров, накупили всякого добра, набили коржуны подарками и гостинцами. Однако судьба на этот раз решила не скупиться, и в ауле их ожи-

дала еще одна счастливая новость. Едва они появились на краю аула, почтальон выслал им навстречу своего внука-школьника с письмом.

— Дедушка, бабушка, сюинши, сюинши!— кричал он, махая желтым конвертом.

Письмо было от внука из армии.

Старики слезли с ишаков, опустились на колени на пыльную дорогу и сотворили благодарственную молитву.

— «Дорогие дедушка Молдарасул, бабушка Кыжымкуль,— начал читать школьник.— Узнал от тети Жамиги, что вы живете на свете, и радости моей не было границ. Безмерно счастлив, что могу кого-то называть бабушкой и дедушкой. Я долго не верил глазам, когда получил письмо от тети Жамиги, не мог ни есть, ни пить. Полетел бы к вам, только крыльев нет. Но через год кончается моя служба. И я сразу приеду к вам в аул. Полгода назад я был в отпуске, и теперь меня не отпустят, если даже начну упрашивать. Служу я хорошо. Долг перед народом стараюсь выполнить, здоровье у меня крепкое. Недавно был марш-бросок. Было трудно, все мы сильно устали. Я был в числе лучших. Командир батальона выстроил солдат, потом скомандовал: «Молдарасулов, шаг вперед!» И я вышел вперед. А командир перед строем объявил мне благодарность».

Старуха с самого начала далеко не все могла понять, особенно когда пошла речь о службе.

Киеван понимал почти все, пока не дошло до этого места. У него задрожали руки, звон поднялся в ушах.

— Что ты сказал, о аллах, повтори!— схватил он мальчика за руку.— Молдарасулов? Прочитай снова, прошу тебя, прочитай это место снова.

Туман плыл перед его глазами, сухие губы дрожали, пытаясь повторить: «Мол-да-расулов... Молдарасулов, а? Так они не забыли меня, старую развалину — деда? Внук носит мое имя? Молдарасулов?»

У старика задрожал подбородок, из глаз капнули крупные слезинки. Старуха так ослабела, что уже не могла удержаться на ишаке. Киеван усадил ее, пошел рядом. Она изо всех сил вцепилась в его руку, глядя перед собой счастливым невидящим взглядом.

Дома они выложили на стол урюк, сладости — все, что привезли с базара, и решили созвать гостей, соседей. Собрав стариков, Киеван щедро угостил их. Он то и дело входил в комнату, где лежала Кыжымкуль,— она от сла-

бости не смогла сидеть с гостями,— громко разговаривал и смеялся.

— Вот, старуха, и мы с тобой как все люди,— кричал он.— Все у нас хорошо, не погасиет наш очаг, не-ет, не погасиет!

В письме внук прислал им свою фотографию. Старуха сразу схватила ее и спрятала, да и теперь не показывала гостям — боялась, как бы не сглазили. Снова и снова вынимала снимок из-под подушки, разглядывала, целовала, плакала.

Когда мясо было готово и в бульон опустили тесто, одна из старых женщин, возившаяся у казана, крикнула:

— Эй, Киеван, подними с постели свою красавицу Кызжибек. Торжество посвящено внуку, пусть встанет и вместе со всеми отведает угощение.

Киеван, отшучиваясь на ходу, вошел в комнату-клетушку. Кыжымкуль лежала, щекой прижимаясь к фотографии внука.

— Ну что ты обслюнявила совсем моего Куаныша! Хоть и не наглядела сь еще на него, но собери силы, встань. Посиди с нами.

Старуха не шевельнулась.

— Эй, что с тобой? С ума спятила, что ли?— Киеван дернул за руку, которой Кыжымкуль прикрывала лицо. Рука упала безжизненно, и он увидел закатившиеся глаза. Старик обомлел.— Не шути!— Лицо его посерело. Длинный и прямой, как жердь, Киеван зашатался и, рыдая, повалился на тело своей старухи.— Бедная моя... Бедная моя, маленькая,— бормотал он.— Ты покинула меня? Ведь внук твой приедет, внук... О моя смирная! Моя опора! А как же я?.. Что я сделал с тобой, бедная моя...

Услышав стоны Киевана, гости гурьбой ввалились в маленькую комнату.

Серовато-бледная лежала на ложе своем Кыжымкуль.

Не видела счастья красавица, дочь богатого бая, не узнала женского счастья женщина, не испытала материнских радостей обездоленная мать, не встретило ярких событий на долгом жизненном пути человеческое существо. Семьдесят лет жизни навалились на плечи утомительной суетой повседневности, дурманной горечью пропитанными буднями. Где отец, где мать, где старшие

братья и младшие, которые должны горько рыдать на ее могиле? Она слышала от людей, что богатства отца конфискованы, что его арестовали... Камень, лежавший в ее груди, не шелохнулся.

Она не знала, когда и как умерла ее мать, не знала, но думала, что старость и смерть пришли к ней в свое время... Все это так, но где же остальные? Существуют ли они на свете, и если живы, то в каком уголке этой большой земли нашли себе приют? Что пронесли они в сердцах своих через жизнь, что передали своим детям и внукам?

Чужие люди громко оплакали Кыжымкуль. Искренне оплакали оборвавшуюся жизнь. Но кто из них мог знать, какие печали и горе тяжелым камнем лежали в груди крохотной старушки, камнем, который не стал легче даже в последние смертные минуты.

Люди знали только о том, что человек родился и человек умер, а больше ничего. Засыпали холмик землей, воткнули просто так лопату в землю, и все тут же забыли об умершей.

И лишь один человек знал, какую полную чашу горестей и страданий испила она, какие погребла мечты и надежды, знал, как душили ее невыплаканные слезы. Человеком этим был длинный старик с развевающимися полами халата, со впалыми, то остекленевшими, то полными лихорадочного блеска глазами — продавший душу свою за кокнар Киеван...

Видно, тело его было сплетено из крепких жил и могучих костей, потому что, предав земле единственного своего спутника в жизни, он продолжал прежнее существование. Целыми днями бродил по аулам, если удавалось — знахарствовал, с превеликими усилиями добывал себе кокнар, возвращался домой. Но как теперь недоставало ему старухи, без сна поджидавшей его у лампы. Какой она, оказывается, была для него поддержкой в жизни. Он остался совсем один, и дом его был похож на открытую могилу. В угрюмом молчании он ставил чай, разводил настой, в одиночестве переживал дурман, давно не приносивший вожделенного блаженства, и поднимался утром с того места, куда сел вечером.

Так дожил он до следующего лета. Рассеялось его горе после смерти старухи, он снова стал громко разговаривать и смеяться.

От внука приходили письма. Киеван решил не писать

ему о смерти бабушки, пусть узиает по приезде. Тогда и оплачут ее вдвоем.

С каждым дием, который приближал радость свидаиия, Киеван стаиовился нетерпеливее и шумливей. Месяца два назад ои вылечил жену старого муллы, который так и не поверил в докторов. Оиа болела около трех лет, а ои вылечил, всевышний помог. Довольный мулла подарил Киеваиу коня — конь был смириый, и Киеваи теперь не сбивал обувь, а спокойно ехал верхом от аула к аулу.

И вот наконец счастливая весть: виук сообщил, что приедет иа следующей неделе. Нужио, как и в прошлом году, взять в колхозиой кассе рублей четыреста в счет пеисии — ничего, потом он готов выплачивать деиьги до коица жизни!— и подготовиться к праздничиому тою.

Он встретит своего внука! Кто отец виука, кто его дед — одии аллах зиает. Но он записаи Молдарасуловым, и потому Киеваи закатит большое торжество. И теперь ои совсем иначе будет разговаривать с бригадиром, который иагло угрожает ему и указывает, что сеять, а чего ие сеять возле дома. Внук станет опорой и защитой... Только нужно как следует самому иабраться сил, оии так иеобходимы сейчас.. Впереди столько дел, забот, радости! Да, радости!

Жилистое тело упорио противилось подступившему внезапно мертвящему оцепеиеиию. Лихорадочио билась, пульсировала, взывала к помощи мысль, ие способиая примириться с тем, что человеку отмереио лишь семьдесят-восемьдесят лет жизии, прежде чем разверзиется перед ним неведомая бездна...

Мухтар Магауин

ДЕТИ ОДНОГО ОТЦА

Среди песен о войне, сложенных в недавнее время, мне особенно запомнилась одна, с припевом: «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят». У всех, кто ее слушал, будь то мои сверстники или люди постарше, на глаза наворачивались слезы. Я сам это видел. И каждый раз вспоминал фотографию, снятую весной 1942 года. На ней были парни одного аула, только что призванные в армию. Их — я подсчитал — было шестьдесят семь. А в аул воротились только трое, как в той песне...

Тех из них, кто погиб, я никогда не видел и не могу о них писать. Но я знал безутешных отцов и матерей героев, знал их малых детей, оставшихся сиротами. Знаю, сколько лет было бы сейчас тем, кто не успел от них народиться...

Эту небольшую повесть мне хочется посвятить детям, которых осиротила война, и памяти погибших в битве с фашизмом, особенно тех, кто навечно сомкнул глаза, так и не став отцом. Пусть она будет горстью земли, брошенной на могилу павших, и песнью, которая, может быть, утешит живых.

Автор

ИСТОКИ

— Ну вот, уважаемые, теперь все в сборе... Слушайте и решайте,— сказал баскарма[1].— Сами знаете, когда я уезжал, то думал, что вернусь и привезу помощников.

[1] *Баскарма* — начальник. В данном случае — председатель колхоза.

А получилось все по-другому. В наш район направили ребят из детских домов, пятьдесят четыре человека. Дорога далекая, пока я до райцентра добрался, тех, что постарше, колхозы разобрали. Хоть и по четырнадцать, по пятнадцать лет, а все рабочие руки... Что было делать? Посмотрел я на оставшихся сирот, подумал... И взял самых маленьких.

Люди зашумели. Еще до того, как собраться, прошел слух, что председатель колхоза вдвоем со счетоводом привезли полную подводу ребятишек — мал мала меньше. Так оно, значит, и есть.

— Тише, уважаемые,— сказал баскарма, поднимая руку.— Не шумите. Привезли мы только шестерых. Все равно на всех не хватит. К тому же как бы не случилось такого, что тот, кто нынче пригреет, завтра слезы лить заставит... Это не по нашим казахским обычаям. Может, в район еще детей направят, тогда и спорить не придется. А пока давайте решать по справедливости. Эй, байбише,— крикнул он,— выведи ребят, если они поели.

— Сейчас, аксакал,— послышалось из юрты.

— А ну, отступите немного, дайте место,— попросил баскарма.

Перед входом в юрту расчистился полукруг. Он то увеличивался стараниями баскармы, то уменьшался: каждому хотелось быть впереди, люди теснились, подталкивали друг друга. И трудно было понять, кто из них на что-то надеется, а кем владеет простое любопытство.

Наконец в дверях мелькнул белый платок жены председателя. Но она еще немного замешкалась, хотя войлочный полог был уже откинут.

— Идемте, милые, идемте...

Точно желтый взъерошенный цыпленок из-под белого крыла наседки выглянул из юрты мальчуган, худенький, с тонкой шеей и соломенными волосами. Гомон сразу стих — как ножом срезало. Следом за мальчуганом стали выходить один за другим остальные малыши — кто рыжий, кто черненький, у кого каштановый вихорок на макушке. Не то яркое солнце их слепило, не то оробели они перед примолкшей, пестро и бедно одетой толпой, но дети сгрудились у самого входа и застыли в неподвижности.

— Э, лопоухие, да вы не бойтесь,— сказал баскарма.— Ступайте поближе.— И каждого за руку вывел и поставил в ряд перед юртой.

Люди, затихшие было, снова оживились, загудели, начали переговариваться вполголоса, когда заметили среди детей и таких, у кого кожа была смуглой, а глаза черными.

— Ну, Дауренбек,— обратился баскарма к молодому человеку в синих галифе и солдатской гимнастерке, стоявшему впереди всех со скрещенными на груди руками,— читай свои документы, рассказывай про ребятишек, что и как.

Дауренбек, тяжело топая солдатскими сапогами, вышел на два-три шага вперед и вытянул из нагрудного кармана сложенный вчетверо листок — вытянул довольно неловко, неумело действуя левой рукой, на которой уцелели только большой палец и половина мизинца. Затем, переложив листок в здоровую руку, развернул его, разгладил складки и некоторое время беззвучно шевелил губами, читая текст про себя. Закончив, он пересчитал детей обрубком мизинца, опять заглянул в бумагу и, переменив ребятишек местами, заново выстроил перед собой. После этого он прочистил горло, прокашлялся, сложил аккуратно листок и засунул его в карман.

— Все правильно, басеке[1],— сказал он,— детей записано шесть человек.— И строго посмотрел на ребят.— Всем стоять смирно, пока я буду знакомить... Называю по порядку. Двое крайних, справа — братья. Қазахи. Старшему восемь лет, зовут Нартай. Младшему шесть, зовут Ертай. Следующий за ними — Рашит, шести лет, татарин. Дальше,— он указал на девочку с обритой наголо головой, узкоглазую, скуластенькую,— то ли калмычка, то ли дунганка, шести лет. Возле нее — Яков, девяти лет, в бумаге записано, что русский, хотя по виду...— Дауренбек покачал головой, приглядываясь к большеносому мальчику,— по виду скорее еврей. Откуда пришел в детдом, где жил раньше — неизвестно. Не то заика, не то наполовину немой... Последний, вот этот, который вышел первым,— семи лет. Между прочим, немец... Взяли его в детдом, поскольку лишился отца-матери, остался без крова. Больше о нем ничего не знаю.

Дауренбек замолк, упершись взглядом под ноги.

По толпе побежало:

— Это как же?..

— Откуда?

---

[1] *Басеке* — уважительное от «баскарма».

— Что — откуда?

— Да мальчик этот...

— Который? Их тут пятеро...

— Дети... Кого кто возьмет... Те, что возьмут... Как же...

— Я все сказал,— отрывисто произнес Дауренбек.— Есть еще вопросы?

Вопросов не было.

— Тогда я кончил,— повернулся к председателю Дауренбек.— Баскарма, теперь слово за вами.

— Э-э, какое уж тут слово... Из аула нашего ушли на фронт сорок три джигита, все как на подбор молодец к молодцу. А вернулись пока только двое: Дауренбек, считай что без руки, и Берден, потерявший ногу. На двадцать четыре человека похоронки получили. А сколько без вести пропавших?.. Если разобраться, все мы, выходит, сироты, всех нас война осиротила... Будь у нас в колхозе по-прежнему, разве мне, с моей грамотешкой, занимать место председателя, вести хозяйство? Или Ахмету в его семьдесят лет — ходить днем за скотиной, а по ночам пасти лошадей?.. Да что поделаешь — война... Пускай только поскорее она закончится и мы победим проклятых фашистов...— Баскарма помедлил, проглотил подкативший к горлу ком.— Э-э, зачем говорить долго, время попусту тратить? Мы сыновей лишились, а те, что стоят перед вами,— родителей. Две половинки — одно целое...— Голос у него надломился, по-стариковски задрожал. Баскарма думал что-то еще сказать, но, видно, не смог и только махнул рукой.

— Тока,— нарушив тишину, обратился к нему черноусый мужчина в стеганке. Левая нога у него была обута в старый растоптанный саптама — сапог с войлочным голенищем, правая опиралась на новый, обтянутый кожей протез. Это был Берден, тот самый, о котором обмолвился председатель.— Тока, многие из нас взяли бы детей. И я, и аксакал Ахмет, и Тлеубай... Да и вы, наверное, тоже не хотели бы ни с чем остаться. Дети еще маленькие, можно сказать — несмышленыши. Завтра же и позабудут, откуда пришли. Будем родными... Вы уже сами их раздайте, баскарма.

— Правильно ты рассуждаешь, Берден,— сказал баскарма, успокоившийся и вновь посуровевший.— Только пускай выбирает себе каждый по сердцу, а я послежу,

чтоб ие было иикаких обид. За вами первое слово, аксакал.

До того, как к иему обратился председатель, аксакал Ахмет, сохраняя полиейшую невозмутимость, восседал иа своем рыжем жеребце, сверху вниз посматривая иа собравшихся. На голове у иего красовался облезлый тымак[1], сдвииутый на левый висок, с лихо задраиным кверху правым ухом. При последиих словах баскармы он отбросил прочь длииный курук и ловко, с почти юношеской легкостью соскочил иа землю.

— Кого из детей облюбуете, того и берите...

Ахмет прошел сквозь расступившуюся толпу и остаиовился перед детьми, как бы размышляя, кого ему выбрать. Пристальиым, цепким взглядом окииул ои каждого из шестерых и шагнул к братьям казахам, стоявшим в иачале ряда. Оии жались друг к дружке, старший обиимал младшего, положив руку ему иа плечи. Ахмет осторожно попытался их разделить, но мальчики только теснее прииикли один к другому. Тогда он, вздохнув, опустился иа колеии, обнял обоих, прижал к груди и каждого поцеловал в лоб. Потом, подиявшись, по очереди погладил всех детей по голове и взял за руку замыкавшего ряд худенького светловолосого мальчугаиа.

— Вот кого я выбрал.

Толпа заволновалась.

— Воля ваша,— сказал баскарма.

— Как его зовут?— повериулся Ахмет к Дауреибеку.

Тот пробормотал, глядя куда-то в сторону, мимо Ахмета:

— Пожалевший врага им же будет раиеи...

— Эй, чего ты мелешь? Я ведь у тебя совета не спрашиваю,— вскииулся Ахмет.

— При седой бороде на сомнительиое дело решаетесь, аксакал.

— Не встревай в подхвостиик, светик мой,— усмехиулся Ахмет.— Знавал я и отца твоего, атшабара[2] Бакибая, так и ои передо миой не смел хорохориться.— Старик поправил тымак иа голове концом сложеииой вдвое камчи.— Ты емису[3] три пальца отдал, а я — трех сыно-

---

[1] *Тымак* — лисья шапка, треух.

[2] *Атшабар* — помощннк-посыльный прн разных должностных лицах в дореволюционном Казахстане.

[3] *Емису* — нскаженное «немцу».

вей.., Не задерживай зря, скажи, как зовут моего мальчнка?

— Зигфрид Вольфганг Вагнер. Довольны?— косо улыбнулся Дауренбек.

— Зекпри Болыпкен... Как, как?..

— Зигфрид Вольфганг Вагнер.

— Э-э... Хорошее имя,— кивнул Ахмет.— Айналайн[1], пошли. Домой пошли. Мать дожидается тебя... Что нам до чужих толков, пошли домой.

Он направился к коню, которого держал за повод кто-то из аульных ребят, сбежавшихся поглазеть на небывалое зрелище. Подняв Зигфрида, неловко раскорячившего ноги, Ахмет посадил его в седло. Потом нагнулся, подобрал с земли курук и, едва коснувшись носком стремени, вскочил на коня сам. Седло, украшенное серебряной насечкой, оказалось достаточно широким, оба в нем уместились: впереди — мальчуган с голубыми глазами на малокровном, худом лице, давно не стриженный, обросший длинными светлыми вихрами, позади — сохранивший прямую осанку старик, с молодецки закрученными седыми усами и остроконечной бородкой, дочерна загоревший на солнце и степном ветру.

Рыжий жеребец с белой отметиной на лбу, давно изучивший все маршруты хозяина, повернул было вправо, к холмам, где паслись лошади, основная рабочая сила колхоза, но старик натянул поводья и тронул коня влево, а затем, пришпорив жеребца, поскакал, нарушая собственные привычки и заведенный обычай, напрямик, через аул. И только после того, как позади остался и аул, и свора исходивших лаем аульных собак, преследующих жеребца, Ахмет придержал коня, разрешая ему перейти на шаг. Впрочем, и спешить больше было некуда — впереди, несколько в стороне от аула, виднелась одинокая юрта, в которой и жил Ахмет.

— Да будут их дни долгими и радостными!— сказал баскарма, задумчиво смотревший вслед Ахмету до тех пор, пока тот не сошел с коня перед своей юртой.— Это последняя кибитка, оставшаяся от почитаемой всеми, дальними и ближними, семьи — самой славной у нас в роду... Ну, пора и на работу выходить, поторопимся,— вернулся он к делу.— Баке, теперь, после Ахмета, ваше право выбирать.

[1] *Айналайн* — милый.

— Спасибо, Токажан, сынок,— закивал в ответ председателю сгорбленный старичок, и толстая палка, на которую он опирался всем своим сухоньким телом, дрогнула и заходила в его руках.— Спасибо... Но бог отнял у меня моего единственного, хотя когда-то я едва вымолил его у неба... А теперь мы со старухой добрели до края могилы. Зачем горемычное дитя, потерявшее родителей, снова делать сиротой? Зачем лишний грех брать на душу?..

После слов Баке общее возбуждение окончательно улеглось, поладили без шума, споров. Если сам баскарма, соблюдая порядок и приличие, терпеливо дожидался своей очереди, значит, и другим негоже рваться вперед. И те, кто разобрал малышей, и те, кто остался с пустыми руками,— все, казалось, были умиротворены. И лишь когда горько, навзрыд, не слушая уговоров, заплакали братья Нартай и Ертай, не желавшие разлучаться, людям сделалось не по себе. «Как я заранее об этом не подумал, дурень!»— укорял себя баскарма. Женщины, глядя на сирот, утирали слезы, мужчины, помрачнев, стояли безмолвно, не расходясь по домам. Но ни бригадир Берден, который выбрал Ертая, ни Тлеубай, которому достался Нартай, не думали уступать, расставаться с детьми. Дошло между ними до резких слов, могло бы, чего доброго, дойти до потасовки, не вмешайся старшие. «Были бы дети счастливы,— сказали они, утихомиривая упрямцев.— А слезы сегодня прольются — завтра высохнут. Все обиды забудутся...» Последние слова прозвучали утешением и для остальных. Люди разошлись.

ПРИТОК ПЕРВЫЙ. ЗИГФРИД, СЫН АХМЕТА

По аулу разнесся слух, будто бы старый Ахмет пригласил к себе жившего по соседству муллу Жакана, чтобы обратить немецкого мальчика в истинную веру. Но когда мулла попросил за свои услуги козленка, Ахмет, рассердясь не на шутку, будто бы не дождался даже конца чаепития и тут же выпроводил Жакана за порог. При этом Ахмет напомнил ему о праведном халифе Али, который наставил на путь аллаха тысячи и тысячи, но ни у кого за это козленка не требовал... А на другой день, по тем же слухам, заявился неуемный старик на центральную усадьбу колхоза и увез к себе ходжу Сеитбека,

который давно уже не показывался на людях, и Сеитбек будто бы исполнил над мальчиком положенный обряд обрезания. Опять ждали шума, но на этот раз все обошлось мирно. И аульные сплетницы рассказывали, будто ходжа уехал к себе довольный, получив подарок — овцу с ягненком.

Трудно выяснить, где тут правда, где вымысел, достоверно другое. Весь аул пригласил Ахмет на той в честь праздника усыновления. По исстари заведенному обычаю, принятый в семью в этот день «держит асыкжилик», то есть ему вручается большая берцовая кость, асыкжилик, в знак того, что не приемышем входит он в дом, а родным сыном.

Люди давно не пробовали свежего мяса и собрались на той все аулчане, от мала до велика. Ахмет также на радостях прирезал своего единственного барана и отварил всего, вплоть до ножек и внутренностей. Хватило вдоволь гостям и жирного мяса, и наваристой сорпы, наелись так, что, когда разостлали дастархан для чая, никому не хотелось и смотреть на рассыпанный по скатерти курт и иримшик. Разве только, чтобы утолить жажду, выпили по чашке пустого кипятка — заварки в те времена было днем с огнем не сыскать.

И тут бригадир Берден строго напомнил, что с утра на работу, мол, раньше ляжешь — раньше и поднимешься... Но баскарма остановил его. Вот два или три года люди не видели такого тоя, пускай душу отведут.

Женщины хором затянули песню. Протяжная мелодия, начинавшаяся словами «Бир бала»—«Один мальчик...»,— навевала тоску и уныние. «Откуда мне ждать радости... Печальна моя земля...» Но старые напевы сменились новыми, неизвестно кем сложенными, неведомо как занесенными в аул, и хотя неказисты были слова и мотив, зато душу облегчали, а того сейчас и хотелось.

Женщины пели, мужчины, послушав немного, вышли из юрты. Постояли, потолковали о том о сем. Ночь была темная, безлунная, ни зги не видно, в небе мерцали звезды, и не было им ни числа, ни счета. Мерцали, светились, как и пять, и десять, и сто лет назад. Все такие же юные. Такие же не ведающие горестей и печалей...

А женские голоса все льются-заливаются. «Пой, мое сердце, про того, кто в бою... Вернется ли он ко мне, я не знаю... Только жду его, жду...»

— Ау, друзья, что же так стоять? Может, кто побо-

ется, силу покажет?— нерешительно предложил баскарма.

Желающих не нашлось. Одни старики в ауле остались, до молодецких ли им утех?.. Еле-еле вытолкнули на середину двух аксакалов. Покряхтывая, долго ходили они по кругу, разминали затекшие ноги, но постепенно, подогретые подбадривающими восклицаниями, ухватились друг за друга. Один попытался дать сопернику подножку, тот — положить этого на лопатки, но только потоптались, поохали, уморились вконец и уселись на землю — отдохнуть. Впрочем, остальные вдоволь повеселились. Тоже хорошо...

Зато когда смолкли смех и шутки, в тишине еще слышнее стали женские голоса. Раньше они звучали нестройно, вразнобой, а теперь, как ручейки в одном русле, слились в единой жалобе и надежде.

— Надо мальчишек заставить бороться,— предложил кто-то.

Но мальчикам не было дела ни до грустных песен, ни до борьбы, о которой, вспоминая собственную молодость, говорили старики,— они резвились за юртой, играя в свои веселые ребячьи игры.

— А не потягаться ли нам в кокпаре[1]?— подал голос Тлеубай.

— Ойбай, в темную-то ночь...

— Что ночь — не беда, только где вот козла возьмем?..

— Если Ахмет-ага не пожалеет шкуры барана, что пошел на угощенье...

Слово за слово, а Тлеубай уже не шутил и уговоров не слушал: «Или сегодня, или никогда!..» Вскочил на одного из коней, привязанных возле юрты, зажал свежую баранью шкуру под коленом, гикнул диким голосом и пропал во мгле. Только топот, стихая в отдалении и снова приближаясь, плыл кругами над ночной степью.

— Ойбай, глупая голова!..— вздохнул Берден.— Себе шею свернет — его дело, а вот скакуна покалечит... Вернись! Эй, вернись назад!

Тлеубай между тем поднялся на невысокий перевал сразу же за аулом и остановился, развернув коня. На фоне слабо светящегося, усыпанного звездами неба можно было разглядеть его размытый силуэт.

[1] *Кокпар* — козлодрание, вид конного состязания.

— Не верну-у-усь!— крикнул он.— Опозорю вас всех, увезу шкуру к себе домой!.. Эй, торопитесь, а то мне ждать надоело!..

— Ведь и вправду на целый свет осрамит,— проворчал Берден.— Какой под ним конь?

— Қок-Домбак.

— Скверное дело. Его разве что Жирен-Қаска нагонит. Где Ахмет?.. Отвязывай своего рыжего с белой отметиной... Да поскорей, не то этот беспутный скроется из виду.

Привели коня, подсадили Бердена. Стал видно, как Тлеубай тронулся с места.

— Если вернусь ни с чем, пускай и вторая моя нога будет деревянной,— сказал Берден.— Чу-у, жануар, благородное животное!..

Спустя мгновение, он уже одолел подъем.

И тут поднялся такой переполох, словно враги на аул напали. Кто-то устремился к лошадям, привязанным возле юрты, кто-то кинулся к коням, которые отдыхали перед завтрашним рабочим днем, паслись неподалеку в степи.

Топот копыт и отрывистые гортанные выкрики, доносившиеся то из степи, то со стороны окрестных холмов, долго еще не утихали в ту ночь.

Зигфрид Вагнер, уютно устроившись в теплой постели и уснувший еще до того, как гости расправились с мясом, наутро проснулся Зекеном Ахмет-улы Бегимбетовым.

* * *

— Если хотите знать,— сказал Ахмет,— всякий, кто разделяет людей, называя их орыс[1], или казах, или емис, нарушает учение пророка и берет на душу великий грех.

Дело было после того, как в колхозе отпировали по случаю пяти усыновлений и одного удочерения, и страсти, связанные с этим, мало-помалу улеглись. На хирмане[2] своим чередом шла работа, и, пользуясь тем, что только что пролился, вэбрызнул землю слепой дождь, люди отдыхали, настроенные самым благодушным образом.

— Благословенный дед мой говаривал,— продолжал

[1] *Орыс* — русский.
[2] *Хирман* — ток.

Ахмет,— что сам слышал в стариу эту историю от мудрых людей...— Он вытянул из-за голенища отороченную серебром роговую шакшу[1], положил в рот щепоть насыбая. И помедлил иемного, покручивая усы и расчесывая пальцами бороду.— Поначалу сотворено было иебо, голубое, без единого пятнышка, потом земля, черная, без единой морщинки. Потом из неба родилась туча, окропила землю, выросли цветы, зелеиые травы, густые леса и деревья, дающие плоды. Дикие звери заселили поля и леса, а чтобы ими управлять и властвовать, создан был человек. И приручил он диких зверей, обратил их в домашних животных, а по просторным степям раскинул свои кочевья. Не было в те времена ни вражды между людьми, ни разделения на своих и чужих. Все жили в достатке и веселье. Потому что те, первые люди, знали, что все они — братья, дети одного отца...

— Неправильные это мысли... Неправильные и даже вредные,— заметил Дауренбек. Он был здесь самым грамотным и поэтому считал, что глаза его лучше видят — о прошлом ли заходила речь, или о настоящем.— Все мы произошли от обезьян.

— Пустые слова, светик мой,— сказал Ахмет.— Благословенный дед мой рассказывал, что дальний наш предок — сильный волк. Но в Коране об этом тоже ничего не написано. Там написано, что все люди на земле пошли от отца Адама и матери Хауы[2]. Слышал я, даже самые ученые русские муллы с этим согласны. От отца Адама произошли Абиль и Кабыл[3]...

— Все это — религия и дурман,— резко оборвал Дауренбек.— По науке, предки у нас — обезьяны. И не одна обезьяна, а много обезьян.

Знающие нрав Ахмета ожидали, что вспыхнет скандал. Но ничего такого не случилось.

— Каждый о своем предке говорит,— добродушно улыбнулся Ахмет. Кончиком языка он собрал в комок насыбай, сбившийся под нижней губой, и, отвернувшись, сплюнул.

Все рассмеялись.

— Ничего не понимаете в науке, а спорите,— побледнел Дауренбек.

---

[1] *Шакша* — табакерка.
[2] *Хауа* — Ева.
[3] *Абиль и Кабыл* — Авель и Каин.

Строг он был, счетовод Дауренбек, и почтн всегда сердит, чем-то недоволен... Люди затанлн дыханне.

— Может быть, сынок, ты н прав,— кнвнул Ахмет.— Мы людн неученые, темные... Может быть, как ты говорншь, мы н роднлнсь от обезьян, а может быть, как напнсано в Коране, все мы — потомкн одного предка, отца Адама. Кто знает... Еслн вернть моему деду, который дожнл до девяноста семн лет, то предкн у казахов — снвые волкн, а у других народов — разные прочне звери. Сам ннкто ннчего не вндел, однн догадкн... Только ведь и по твоей науке такого не получается, будто однн людн хуже другнх: казахн, скажем, хуже русских, илн...— Ахмет не договорнл, но выразнтельно, глаза в глаза, посмотрел на Дауренбека.— Нет, н по науке такое не получается... Ведь облнчье — это вроде бы занавеска, скрывающая нутро. Вот и надо про нутро говорнть. Как сердце стучнт, к чему душа лежнт — на это, сынок, смотреть следует.

— У русского народа есть пословица,— сказал Дауренбек.— Сколько волка нн кормн, а он все в лес смотрит.— Он понял, на что намекал Ахмет.

— Умные слова,— отозвался старнк,— только не к месту сказаны.— Он спрятал за голеннще сапога пустую шакшу, обошедшую всех любнтелей насыбая.— Все равно сндим, пока хнрман подсохнет... Послушайте-ка, что я вам расскажу... Наверное, все вы слышалн об Айбасе, предке моем в восьмом колене. Знаменнтым он был батыром, не раз становнлся во главе войска, во многнх походах участвовал. Однажды, воюя с белымн калмыкамн, понеслн нашн большне потерн. В те времена для каждого мужчнны завндной судьбой счнталось погибнуть от рукн врага, сражаясь лицом к лнцу; по тем, кто погнбал, носилн траур, но слез пустых не пролнвалн. И все же, когда у одного человека... Не скажу — у кого, может быть, у роднча батыра, может, у почнтаемого народом аксакала... Короче, когда у одного уважаемого человека все пятеро сыновей разом от вражескнх стрел погибают, такое вынестн нелегко. И отцу особенно. Прншел батыр Айбас посочувствовать отцовскому горю, а тот человек и говорнт: «Пятеро сыновей моих погнблн в бою, пятеро шахндов[1]... Духн предков гордятся ими, я не плачу, не проклнннаю свою участь. Но все онн молоды былн, мон

[1] *Шахид* — павший за правое дело, за родину.

шахиды, иикто ие успел из иих оставить после себя наследника семейной чести, продолжателя рода. Когда я умру, погасиет дым моей юрты, упадет мой шаиырак... Вот иад чем я плачу, подумал ли ты об этом?»—«Подумал»,— ответил батыр Айбас. «А если так, садись иа коия, по обычаю предков: тебе погибель не страшиа, у тебя за спиной — сыи...»

И сиова собрал батыр свое поредевшее войско и после иескольких дией похода сиова иапал иа врага, упоеиного иедавией победой. И кололи его, и рубили, и преследовали воиивы Айбаса, пока не прогиали за Алтай. На добро, на скотииу Айбас и ие смотрел — добычей для него стали только дети, ростом ие достигшне ступицы колеса. Как нх раздалн, кому оии достались, когда вериулся батыр из похода, ие зиаю. Зато нзвестио, что потомки пяти мальчнков, приведенных вместо пяти сыновей шахндов, пустили корни, каждый зажил своим аулом, н долго жили оии в богатстве и благодеиствии... А их потомки, подошло время, вступнли в колхоз.

Опнраясь на рукоять камчн, Ахмет поднялся с места.

— Где же оии? В каком колхозе, Ахмет-ага?..— с любопытством заговорнли вокруг.

— Да у иас же, в иашем колхозе,— усмехнулся Ахмет.

— Аксакал шутит...

— Что мие шутить?.. Потомки тех пятерых, занявших место погибших, сидят и сейчас между иами.— Ахмет иаправнлся к своему коню, взобрался в седло.— Не дай бог, скотииа забрела на посевы... Мие бригадир голову сннмет. Поеду посмотрю...— Перед тем как пришпорить лошадь, ои обериулся:— А вы приглядитесь хорошеиько друг к другу. Может, что и заметите.— Ахмет стащил с головы тымак, тряхиул его, сметая осевшую на току пыль, иадел сиова и, смеясь от души, поскакал галопом в стороиу поля.

Былн мужчины иа току, были женщнны; были молодые, были старые; кто сидел, поджав ноги, иа подстилке нз соломы, кто полулежал, выдавив боком ямку в сыпучем валу пшеиицы, кто попросту опустился иа корточки, но в тот миг каждый замер в той позе, в какой застали его последиие слова Ахмета, и только глаза с торопливой подозрительностью скользили по лицам оказавшихся рядом или иапротив. А вдруг и в самом деле обнаружится иепривычиая, чужая лииия, складочка, черточка?.. Но

спустя минуту или две ни у кого не осталось и малого сомнения в том, что все работавшие на току — чистокровные казахи.

— Аксакал Ахмет разыграл нас,— догадался кто-то.

И тут началось... Один захлебывался от смеха, другой стонал, вытирая слезы, третий уже хрипел, не в силах удержать хохот. Все смеялись, пока не раздался сердитый окрик Дауренбека:

— Довольно сидеть, пора за работу браться.

И в чем-чем, а в этом счетовод Дауренбек был прав. Пора... Кто с метлой, кто с лопатой — все разошлись по своим местам. Впрочем, смех долго еще слышался кругом.

* * *

«А все-таки, Ахмет, по какой причине выбрал ты этого мальчика?»— могли бы спросить у Ахмета его сверстники-аксакалы.

И что бы он им ответил?

«Сам не знаю,— сказал бы Ахмет.— Правду говоря, думал я поначалу о братьях казахах. Но жалко стало их разлучать. К тому же старший показался мне слишком большим. Трудно такому забыть свою семью, привыкнуть к новой...»

«Так ведь были там и другие?»

«Были, это верно... Только приглянулся мне этот Зекен».

«И все-таки...»

«Все они были для меня одинаковы,— продолжил бы Ахмет.— Но среди других сирот он... как бы сказать... был самым большим сиротой. Вот и взяла меня жалость...»

Вскоре он только и говорил, что о своем новом сыне.

— До чего понятливый постреленок!— хвастался он.— До чего сообразительный!.. Но в школу пока ему рано. Прежде пускай по-нашему разговаривать научится. Иначе как бы не почувствовал себя обделенным судьбой или чужаком среди остальных детей...

— Верьте не верьте,— рассказывал он в другом случае, закладывая под язык новую порцию насыбая,— верьте не верьте, а есть у него что-то в роду от казахов. Уж очень лошадей любит. Вроде бы еще и зада от переда отличить не может, а все возле моего рыжего вертится. Такой непоседа...

— Вонстину от родного сына ие отлнчу,— радовался Ахмет, беседуя с третьнми.— Только в первые дни робел, а сейчас... Да что про нас со старухой толковать, он ко всему иашему аулу сердцем привязался...

Людн с одобреннем кнвалн, слушая Ахмета, но дети прнзналн Зигфрида своим ие сразу. Долго не подходили они к нему, не прннималн в свои нгры. Он был для ннх чужаком. И только в прнсутствнн Ахмета держались к Зигфриду поблнже, ие обнжалн, даже могли подарить асык, напрнмер, или что-нибудь еще нз своих бесценных мальчншескнх пустячков, ио все как-то не от души...

Что ж, он был не злопамятен и в компанню не напрашнвался — нграл себе одни. Вывернет ианзнаику ахметов тымак, нахлобучнт на голову, оседлает вместо коня гнбкую лозину — и с утра до вечера носится возле дома. Покажется невдалеке какой-нибудь мальчуган — Знгфрнд позовет его, помашет рукой. Тот н взгляда, бывало, не кннет в его сторону, пробежит мимо, а Знгфрнд летит за инм следом... Впрочем, от дома особеиио ие удаляется.

Но с тех пор как он начал мало-мальски болтать по-казахски, аульные ребята к иему, казалось, потеплели. Случалось, н домой сталн забегать. Только кто знает, что нх прнтягнвало: то лн сам Зекен, то лн чашка, наполиенная до краев маслянистой жареной пшеницей, которую здесь нензменно выставляли перед гостями, то лн, наконец, жеребец Жирен-Каска, за которым ходила слава тулпара...

Зигфрнд бывал рад каждому гостю. После того как у чашкн с пшеннцей обнажалось донце, он снимал подвешенную к изголовью деревянной кроватн продолговатую торбу, сшнтую из козьей шкуры, н все содержимое вытряхнвал на землю. Было, было и у него чем похвастать! Ахмет специально собрал все эти асыки, разъезжая по дворам, и самолнчно выкраснл — травяным корнем, густой хной — в желтые, с веселой рыжникой, и в темиые, кровяно-красные тоиа. А бабки от иог архара, дикого барана, пролежавшие столько лет в уголке сундука и наконец извлечеиные оттуда! Крупные, коричневые, отполированные мальчишечьими пальцами!.. У кого ие разбегутся, не заискрятся глаза при вnде такнх сокровнщ!

— И у меня асыки есть,— говорнт гость, проводя кончиком языка по пересохшим от волнення губам.

— Жахсы,— отвечает Знгфрид.— Хорошо.— Вместо

гортанного казахского «к» он мягко выдыхает «х». Зная, что за ним водится такой недостаток, он избегает этого звука, но ему это удается далеко не всегда. Остальные звуки он произносит сносно, включая и те, которые усвоил впервые. Ну, а гортанное «н» ему до того нравится, что Зигфрид употребляет его к месту и не к месту.

— Ханша асых сеники?

Но гость молчит. Ему явно не под силу сосчитать, сколько у него асыков.

— Много,— после некоторого раздумья произносит он.

— Жахсы,— одобряет Зигфрид. И, вызывая у старой жены Ахмета улыбку своим акцентом, забавным для ее непривычного слуха, торопится поведать о собственных несметных богатствах.— У меня тоже... тоже много... У меня сорок... сорок... Сколько у меня, апа?

— Сорок девять, солнышко.

— У меня сорок девять асыков!

— И у меня сорок девять асыков,— не слишком уверенно повторяет гость, полагаясь на свою догадку, что «сорок девять»— это и есть «много».

— Жахсы... Жахсы...— похлопывает Зигфрид его по спине.— А кулжа у тебя есть?

Гость молчит, чтобы не сказать неправды...

— Кулжа... От архара, знаешь?

— Кулжа... Я тоже найду себе кулжу...— не желая сдаваться, бормочет гость.

— Это кулжа моего старшего брата... Нарымбета...— запинаясь, произносит еще не вполне освоенное имя Зигфрид.— Он мне ее оставил... Его на войне убили. Трех моих старших братьев на войне убили. А у тебя сколько братьев убили?

— Мой старший брат еще... тири,— говорит мальчик.

— Три?.. Апа, что это — три?..

— Значит, не умер, айналайн. Значит, живой, где-то ходит.

— О-о!.. А мой умер, моего убили!— с торжеством восклицает Зигфрид.

Гость в смущении помалкивает, признавая свое поражение.

— На войне моих братьев убили... Кто убил, апа?

— Керман[1], солнышко.

[1] *Керман* — искаженное «Германия».

— Керман убнл на войне моих братьев!

— И моего старшего убьют,— не в снлах дальше выносить такое унижение, обещает гость.— Его завтра убьют.

— Все равно,— не желает уступать Зигфирд,— у тебя брат жнвой, а моих убнли.— И выставляет врастопырку три пальца.— Келнмбет... Жолымбет... Нарымбет...— При каждом нмени он загнбает один палец, сначала большой, потом указательный и в конце — средний.— Теперь я однн.— Вместо трех загнутых пальцев Зигфрид выставляет мизинец.— Это я. А буду...— Он разгибает большой.— Вот я какой буду, отец сказал!

Но не всегда встречи с аульными детьми были столь мирнымн. Особенно вначале, когда ребята, спрятавшись под обрывнстым берегом реки, обстреливали комками сухого конского помета Зигфрида, игравшего в одиночестве возле своей юрты. Пока кто-то выскочнт ему на выручку, обидчнки успевали нырнуть в кусты. Однажды, улучнв момент, когда Зигфрнд отошел от дома, на него натравили щенка. В другой раз, когда он подбежал к своим сверстннкам, барахтавшнмся в речке, его схватили, вымазали илом лицо и так отпустили.

Не на шутку рассердился Ахмет, увидев чумазого, облепленного грязью Зигфрида, ревущего благим матом... Одни залитые слезами глаза блестелн на его похожем на маску лице. Ахмет вскочил на коня и, подхватив Зигфрида, усаднл перед собой. Озорникн то ли не ждали такого скорого возмездня, то ли, как обычно, рассчитывалн на полную свою безнаказанность, и по-прежнему весело плескались в воде. Завндев Ахмета, они кинулись врассыпную. А точнее, на противоположный берег. Но дальше растущего здесь тальника убежать не смогли: вся их одежда осталась там, где онн купались и учиняли свою экзекуцию...

Впрочем, они бы и голышом задали стрекача, вздумай Ахмет перебраться через мелкую речушку. Но он придержал коня у самой воды.

— Эй,— крнкнул он,— босоногие!.. Знаете вы, над кем измываетесь? Над моим сыном! Над младшим братом Нарымбета!..— Он назвал по именн трех ребят постарше и поманил к себе.— Смойте с Зекена грязь. Научите его плавать.— И, не дожидаясь ответа, опустил Зигфрида на землю.— Иди играй.— А сам, повернув коня, поехал шагом, не оборачиваясь.

И вышло так, что с того дня никто из ребят больше ие сторонился Зигфрида. Сам же он был ненасытен в играх. Целые дни, с утра до вечера, проводил на берегу, резвился в воде, возводил из песка крепостные стены и башни, строил из глины дома, из камыша мастерил лодку, заменяя парус зеленым листом лопуха. И плоские камешки, влажно сверкавшие на солнце, пускал он, рассекая гладкую поверхность воды, и носился по густой, пружинящей под голой пяткой траве-мураве, играя в догонялки. Лишь иа закате Зигфрид возвращался домой и замертво валился на подушку.

Вскоре он превратился в такого же мальчугана, как и его теперешние товарищи, до черноты загорелые, бритоголовые, с иогами, покрытыми ссадинами и цыпками. Но вместе с тем в облике Зигфрида что-то выделяло его среди аульной детворы: то ли яркие синие глаза, то ли светлые брови и ресницы. Однако к нему привыкли, он уже не выглядел в ауле чужаком. И к языку, который слышал вокруг, постепенно приобщился. Теперь у него здесь были ие только друзья, обнаружились вдруг даже кровные родственники — до шестого, до седьмого колена. Люди постарше, например, отыскивали в нем явное сходство с Нарымбетом, а другие тут же и объясняли столь удивительный факт, вспоминая, что брат Нарымбета, средний сын Ахмета Келимбет, иамерен был одно время жениться на немке, а может, и женился, и таким-то вот образом родился Зигфрид... Впрочем, для него самого эти слухи и догадки ие имели значения. Важио было, что он был признан полноправным гражданином ребячьей республики, где все имели равную возможность выбирать и свергать хаиа, участвовать в азартных потасовках и играть в «айголек»...

Но игры продолжались недолго. В иачале сентября общие заботы захватили и подростков-школьников, и тех, кто по годам еще явно не годился для работы в поле... Малыши лишились своих заводил и главарей, Зигфрид оказался среди них старшим. К тому же похолодало, иикого ие тяиуло на речку, даже асыки наскучили... Зигфрид нашел для себя новую забаву.

С первых же дней жизни в ауле он пристрастился ездить на коне, усевшись впереди Ахмета, а теперь и вовсе сделался завзятым лошадником. Да и Ахмет при любой возможности брал его с собой. На хирман ли иаправиться, пригиать ли скотиину, соседей ли иавестить —

оба восседают на рыжем, старый да малый. Бывало, Ахмет спешится по своим делам, а Зигфрнд с важиым видом дожидается его в седле. Поиачалу он, правда, н выпустить из рук боялся луку седла: как вцепнтся, так и ие разожмет пальцев, ио постепеиио привык держать повод и самостоятельио править лошадью. Зигфрид ие был, понятио, таким лихим иаездииком, как многие из его сверстииков, которые уже в два-три года освоили ашамай — специальное детское седло и чуть ли ин выросли, не слезая с коня, но смириый по иатуре Жиреи-Каска охотио подчинялся мальчику. Зигфрид сам водил его иа водопой, выгонял в степь, умудрялся порой даже слегка порысить иа нем. Несмотря иа ворчаиье жеиы, Ахмет иачал посылать Зигфрида сторожить поле, не подпускать к посевам случайно забредающую скотину. «Пусть привыкает к верховой езде,— думал Ахмет.— Самая большая беда — упадет. Ну и что? Нет казаха, который бы с лошади ие падал. И нет казаха, который от этого бы умер».

Тем ие менее, прежде чем подсадить в седло Зигфрида, Ахмет и затяиет покрепче подпругу на рыжем, н иесколько раз повторит свои наставлеиия — как поступать н чего остерегаться. А стонло Зигфриду где-иибудь задержаться, и ои отправлялся иа поиски пешком. Словом, хлопот в его жизии прибавилось. Но ие к досаде, а к радости... Наконец он добился своего: Зигфрид обучился ездить верхом. В седле ои держался свободио, подражая Ахмету, и так же, как ои, слегка заваливался при этом иа правый бок, и сидел иебрежно, в позе бывалого иаездика. А когда конь шел рысью, старался ие подскакивать, сидеть в седле как влитой. И быстрой езды уже не боялся, и ие екало у иего сердце иа обрывистых спусках да иа крутых подъемах.

Ночами Ахмет выпасал иа пастбище рабочий скот, и дием ему ие удавалось отдохиуть. Его обязаниостью было охраиять засеяииое пшеиицей колхозиое поле. Рядом бродили ие зиавшне узды жеребята, а иной раз н отпущеииые иа иедолгий отдых жеребцы и кобылы. Имелись в ауле и коровы, которых в прошлом казахи не признавали за достойиую виимаиия скотиу и оцеиили только теперь, в воеиные годы. Но имеино с них, с этих добрых и смириых животиых, начались для Ахмета все беды.

И всего-то было нх десять илн пятнадцать, о чем бы,

казалось, говорить?.. Под утро вериется Ахмет из иочиого, пригоиит в аул рабочую скотину, отведет подоениых аульных коровеиок иа пастбище пораиьше и накоиец-то возвращается к себе домой, ио только раздеиется, только облачится в домашнюю одежду, только сядет за чай — бежит жеиа: глаз у иее острый, оиа и чай мужу подливает, и во двор то и дело выскакивает — за полем приглядеть. И вот едва пригубит Ахмет пиалу, а оиа уже тут как тут, кричит, стоя иа пороге:

— Ойбай, отец Накена!.. Ойбай, отец Зекеиа![1] Коровы иа поле идут...

— Аф-ф, сопатая, чтоб тебе...— И Ахмет, чертыхаясь, снова взбирается иа лошадь.

А коровы уже у речки, а иад речкой колосится пшеница. И, понятиое дело, пока доберется туда Ахмет, коровы отведают лакомого зерна...

— Эй,— рявкает ои,— иазад! Кому говорю!..

Коровы слышат издали его голос и повинуются приказу. Лучше, зиают оии ие связываться с иеугомоиииым стариком... И волей-иеволей отступают назад, поворачиваются и бредут к себе иа пастбище. Но ие все. Те, что поглупее, упрямятся — и стоят, будто к земле приросли копытами, ии взад ни вперед, и только покачиваются, поводят боками и шумио дышат, исходя слюной, не в силах покииуть поле, такое маиящее, близкое и запретное... И так до тех пор, пока не прискачет Ахмет.

Но с коровами ои обходится деликатно, не бьет, ие гоиит что есть мочи — от этого может пропасть молоко. Ахмет ие спеша заворачивает их к пастбищу, только теперь уводит еще дальше... Все равно. Часа ие пройдет — и коровы снова, возбужденно мыча, движутся к полю. О господи!.. Ночи Ахмет проводит среди волов, которые днем тянут соху, и среди верблюдов, иа которых возят зерио, и среди лошадей, впрягаемых в лобогрейку, и среди жеребят-стригуиков, для которых всегда отыщется работа иа хирмаие,— всего-то что мельком сосиет прямо в седле или вздремиет иа земле, завериувшись в тулуп... А дием тело и душу ему выматывают эти коровы!..

Зато с того времеии, как Зигфрид стал привыкать к коню, Ахмет почувствовал некоторое облегчеиие.

[1] По обычаю, в прошлом жена не могла называть мужа по имени.

С утра Зекен уже в седле, а сам Ахмет благодушествует, чаек попивает, иной раз умудрится и всхрапнуть час-другой. Если нужно — Зекен поскачет галопом, проверит, в какой стороне пасется стадо, все ли в порядке. Доволен Ахмет, словно неба макушкой коснулся. И не слушает постоянных попреков жены: как бы чего не стряслось, как бы какой беды на мальчика не накликать... Глупая старуха! Да в такие годы уже и в байге на сорок километров участвуют! В такие годы Ахмет уже до самой Кояндинской ярмарки скот помогал перегонять! Мал еще Зекен?.. Ничего, так он скорее настоящим джигитом станет!..

Но однажды, когда Ахмет вот так же блаженствовал, Зигфрид и в самом деле нарвался на беду. И не только Зигфрид...

Обычно Ахмет наказывал ему присматривать за коровами, а при нужде скакать за помощью домой. Но то ли забыл Зигфрид об этом наказе, то ли решил в ребяческом задоре со всем справиться сам,— как бы то ни было, заметив, что стадо направляется к полю, мальчик хлестнул рыжего жеребца и помчался наперерез. Коровы и не подумали отступать перед всадником с тоненьким голоском и куцехвостой камчой. Степенные животные, мыча и помахивая хвостами, упрямо двигались напролом. И только-только успевал он завернуть одну корову, как вперед устремлялась вторая; он торопился к ней — третья преграждала ему путь, становясь поперек. В конце концов все стало скопом, вместе с выбившимся из последних сил Зигфридом, вклинилось в поле колосящейся пшеницы. Тут-то и застиг его Дауренбек...

Счетовод возвращался из бригады, работавшей в поле на жнейках. Увидев смятые, истоптанные колосья, коров, жадно накинувшихся на поспевающую пшеницу, он пришел в неистовый гнев, но всю свою вполне справедливую ярость обрушил почему-то на Жирен-Каску. Огрев камчой коня по крупу, он погнал его перед собой, не обращая внимания на отчаянные крики Зигфрида.

Услышав топот четырех пар копыт и пронзительный вопль «Аттан! Аттан!»[1], из юрты выбежал насмерть перепуганный Ахмет. Завидев Дауренбека, преследующего Зигфрида по пятам, да еще с камчой, занесенной над головой мальчика, он, не мешкая ни секунды, тоже закри-

[1] Древний воинственный клич «По коням!»

чал и кинулся за соилом[1]. Жирен-Каска, храпя, уже уперся грудью в коновязь. Дауренбек же при виде увесистой дубины в руках Ахмета хлестнул своего коня и повернул назад. Иначе — чем черт не шутит!— старик бы вышиб его из седла...

Ахмет, казалось, даже не взглянул на перепуганного Зигфрида, который кубарем скатился с коня. Волоча за собой соил, он тут же хотел вскочить на Жирен-Каску и мчаться вдогонку за обидчиком... И Ахмет так бы и поступил, если бы не жена...

Вечером оба — Ахмет и Дауренбек — стояли перед баскармой.

— Ты не меня — должность мою колхозную не уважаешь!— кричал Дауренбек.— Какое право имеешь соилом размахивать? Ты на кого это замахиваешься, а? На меня или на власть нашу?..

— Ты моего сыночка хотел камчой ударить... Он тебе кто — сирота, за которого некому заступиться?.. Я ему отец, я над ним измываться не позволю!— твердил Ахмет.

— Этот стервец нарочно хотел стравить коровам наши посевы!— брызгал слюной Дауренбек.— Я сам видел!..

— Аллах всемогущий!— Ахмет ухватился рукой за ворот и сел. Не найдясь, что ответить, он только зацокал языком, закачал головой.

— Да, видел!— продолжал наступать Дауренбек.— А что тут удивляться? Немец есть немец. Кто войну зажег? Кто трех твоих сыновей жизни лишил?..

— Не оскверняй памяти моих детей своими погаными устами!— оборвал Ахмет. Голос его был негромок, но суров.

Дауренбек почувствовал свой перевес.

— Немец есть немец, да!..— повторил он свои прежние слова.— Я их... Я за два года вот этими глазами насмотрелся такого, что на всю жизнь запомнил! И не позволю!..

— Ты про кого говоришь? Или совсем разума лишился? Он ведь мальчик еще...

— А кто у него отец? Это ты знаешь?..

— Не знаю и знать не хочу!

— А я знаю... Знаю, кто ты есть на самом деле! Укрыватель — вот кто! Ты... ты...

[1] *Соил* — дубина с утолщением на конце.

— А ты — настоящий зверь!..

Не вмешайся в этот момент баскарма, камча обвилась бы, наверное, вокруг головы Дауренбека...

Пришлось обоим сделать строгое внушение. И тот, и другой были виноваты. Ахмет согласился, что недосмотрел за стадом, а Дауренбек под грозным взглядом баскармы попросил у старика прощения за обидные слова.

— Погорячился,— сказал он,— испортил кровь на фронте. Не могу держать себя в руках...

— Слово — как стрела, назад не возвращается,— сказал Ахмет.— Ты замахнулся на мальчика, который стал мне сыном.— Он так и не принял у Дауренбека извинения и сам тоже не попросил.

Тем не менее они разошлись в тот вечер вроде бы примиренными.

А спустя несколько дней в аул нагрянули люди с красными петлицами на вороте. Кто-то со стороны указал им на Ахмета. Якобы порочит он честных советских людей, в том числе самого председателя, распуская слухи, что среди его предков были враги казахского народа, и вообще высказывает суждения, подрывающие дружбу народов, разводит враждебную агитацию, вносит смуту в ряды тружеников тыла. И еще — что под именем Зекена укрывает у себя некоего Зигфрида Вагнера, не ясно, а пожалуй даже, и ясно, в каких целях... Разумеется, ни баскарма, ни остальные аулчане не подтвердили того, что Ахмет ведет враждебную агитацию, вносит смуту и т. д. А приехавшие самолично увидели, кто такой Зекен, он же и Зигфрид Вагнер. Но для окончательного выяснения некоторых обстоятельств, уезжая, захватили Ахмета с собой.

Вернулся он через неделю, полностью освобожденный от всех обвинений. Мало того, немного спустя из района прибыл специальный уполномоченный, и тут оказалось, что отец Зигфрида — немец по национальности — служил командиром в Красной Армии и погиб в далекой стране Испании, сражаясь с фашистами. В сорок же втором году, когда у Зигфрида умерла мать, мальчика взяли в детдом. Обо всем этом рассказал председатель после отъезда уполномоченного.

— Апырай,— говорили в колхозе,— выходит, немцы воюют с немцами...

— С фашистами,— уточняли другие.— А фашисты — они тоже бывают разной нации...

Все, что происходило с ним теперь, у Нартая рождало сомнение. Он ничему не верил. Не верил, и при этом все-таки надеялся...

Человек по имени Тлеубай, который назвался его отцом, то вел Нартая за руку, то, несмотря на явное недовольство мальчика, подхватывал и сажал к себе на плечо. Пока они таким образом дошли до аула, расположенного за гребнем холма, он успел рассказать многое. По его словам, он не знал до сих пор, где находится его пропавший сын. Разве иначе он бы не отыскал Нартая раньше? Но все кончилось хорошо, сынок сам к нему вернулся. И он, отец, едва не заплакал от радости, когда увидел своего Нартая...

А как же борода? У отца Нартая не было бороды, одни усы... Правильно, одни усы. То есть сначала были одни усы, а уже потом выросла и борода. Ведь как всегда случается? Сначала — ничего, ни бороды, ни усов, потом пробиваются усы, а после них — борода. Верно? Если Нартай захочет, они сейчас придут домой, и он сбреет бороду — тогда станет ясно, что перед Нартаем — его коке[1]...

— Мой коке был молодым...

Вот как, молодым? Так ведь он тоже был молодым, да вот постарел, пока жил в этом ауле. Много работал, вот и постарел. А главное — от горя постарел. Это ведь большое горе — потерять единственного сыночка?.. Но теперь он отыскался, его сынок. И он помолодеет. Снова помолодеет...

Нартай поверил, не смог не поверить таким убедительным доводам. И ему внезапно захотелось заплакать. Он потянулся, обхватил руками Тлеубая за шею... Но в ноздри Нартаю ударил острый и едкий запах пота. Он отстранился, только дал поцеловать себя в лоб. Борода и усы приятно покалывали, щекотали щеку. Но Нартай не улыбнулся даже. Вдруг ему вспомнился Ертай. И как он плакал. Как они вместе плакали. Как младший брат не хотел расставаться с ним и крепко обнял его, вцепился обеими ручонками... А потом — как он сам бежал за ним, за своим братом, которого уносил на плече незнакомый человек с закрученными кверху черными усами и дере-

[1] *Коке* — папа.

вянной ногой. И Ертай колотился у того в руках и все голоса заглушал неистовым ревом...

Потом кто-то схватил его самого и отдал этому бородатому...

— Ертай — мой братик,— сказал он.

— Правильно, айналайн,— ответил бородатый. По его лицу бежали слезы.

— Ертай маленький, без меня его другие мальчишки поймают и отлупят.

— Нет,— сказал бородатый,— никто его не станет бить...

— Почему ты Ертая тоже не взял?..

— У него нашелся свой отец...

Снова Нартая охватили сомнения.

— Он мой родной братик,— сказал Нартай,— и у нас один отец.— Он уже не плакал.

— Что же теперь делать?— сказал бородатый.— Ты сам видел, я хотел его взять. А мне вот не дали. Еще хорошо, что тебя со мной отпустили. Могли не пустить...— Нартай промолчал.— И на этом спасибо,— сказал бородатый.— Что бы я делал, если бы тебя другому отдали, а?..

«И правда,— подумал Нартай.— Что, если бы кто-то другой меня унес. Хорошо, что коке... Что этот бородатый, чей-то коке... взял меня...»

— Ну, вот, мы к себе в аул пришли, домой,— сказал бородатый.

Оказалось, аул — это всего-навсего юрта на краю длинного оврага. Перед юртой пощипывает травку тонконогий жеребенок на привязи, неподалеку пасется бурый теленок и несколько белошерстных ягнят и козлят. В точности как в книжке на картинке. «Мо-о-о!.. Ме-е-е!..» Но ни теленок, ни ягнята с козлятами не захотели ответить Нартаю: «Мо-о-о!.. Ме-е-е!..» Даже головы не повернули ему навстречу. Зато из юрты вышла женщина. Тоже немолодая. Что-то белое покрывало сверху ее голову, захватывая плечи и спину. Как у той старухи, которую Нартай видел недавно. Тогда он спросил, что это за странный платок. «Кимешек-шаршы,— сказала та.— Кимешек-шаршы...» Женщина в кимешек-шаршы, заслонясь ладонью от солнца, постояла немного у входа, пригляделась и двинулась к ним. Не знает, не видел он раньше этой женщины... Да и она его — тоже. «Господи, да он мусульманин!»— сказала она. И потом: «Да еще и

казах, светик мой!» Схватила Нартая в охапку, к груди прижала и — в слезы. Плачет и приговаривает, будто песню поет: «Единственный ты мой, единственный!..» «Это кто же ее единственный?» — подумал Нартай. Все лицо у него стало мокрым от ее слез. Даже подбородок, даже на шее стало мокро. И в рот слезы попали. Соленые, горькие... Нартай сплюнул.

Бородатый поднял Нартая на руки и прошел в юрту. Женщина принесла высокий кувшин с изогнутым носиком и полила бородатому. Все трое помылись. Потом посредине юрты поставили круглый приземистый стол, женщина, позвякивая посудой, принялась готовить чай.

— Почему аже[1] плакала? Кто ее единственный? — улучив момент, спросил Нартай шепотом.

— Это про тебя. Она радуется, что ты нашелся.

Нартай не понял:

— Аже — кто? Наша родственница?

— Да,— сказал бородатый,— она твоя мама.

— Моя мать умерла,— сказал Нартай.

— Нет, она живая,— возразил бородатый.— Кто умер, тот по земле не ходит. А она — ходит, она живая, ты ведь сам видишь. Она живая?

— Живая...

— Ну вот, это... это твоя мама.

— Она живая... Она не моя мать! Моя — умерла. Я видел, как ее зарыли,— сказал Нартай.

— Понимаешь, она, оказывается, тогда не умерла,— подумав, объяснил бородатый.— Я ее сам откопал. И с тех пор она живая. Погляди сам. Если бы она была мертвая, разве она бы ходила по земле?

Это правда. Неживой, то есть мертвый, лежит и не двигается. И мать его лежала и не двигалась. Он не забыл... Хотя две зимы прошло с той поры.

— Ты сам спроси, если хочешь, живая ли она,— сказал бородатый.

— Апа, ты живая? — спросил Нартай.

— Что он говорит?

— Спрашивает, живая ли ты.

— Живая, светик мой, живая. Здоровье у меня еще хорошее, благодарение богу. Ешь иримшик, айналайн. И сметанку, сметанку бери...

— Ты больше не умрешь?

---

[1] *Аже* — бабушка.

— Не умру, жеребеночек мой, не умру. Ты теперь со мной, чего же мне умирать? Не умру.

Нартай задумался — верить или не верить?

— Пшенички у нас нет, айналайн. Ну, теперь-то уж твой отец ее найдет и домой принесет. Пускай только урожай уберут и зерно на хирман ссыплют. Все у нас будет... Ешь, айналайн, курт ешь.

Но Нартай не притронулся ни к иримшику, ни к курту. И окажись на столе хлеб, он бы и его не коснулся.

— Ты когда из Алма-Аты приехала? — спросил он вдруг.

— Ойбай, светик мой, какая Алма-Ата?.. Я и Жанакалы, до которой рукой подать, еще не видела...

— Не говори чепухи,— оборвал жену Тлеубай.

— Ты не моя мать,— сказал Нартай.— Ты — живая. И старая. А моя мать была молодая. Она умерла. Она там, в Алма-Ате, на горе лежит. Ее туда отнесли и в могилу закопали.

Не дождавшись конца чаепития, бородатый встал и ушел. Нартай тоже поднялся со своего места. Аже попыталась обнять его, но мальчик рванулся из ее рук и вышел из юрты.

Было жарко, Нартай присел в тени, которую отбрасывало нехитрое степное жилище. Таких нет в городе, там, где жил он до сих пор... Он задумался, не обращая внимания на косматого пса, который растянулся рядом, лениво высунув из пасти влажный язык. Пес тоже не проявлял к нему любопытства. Он только приподнял голову, лежавшую между лап, и сонными глазами посмотрел Нартаю в спину, когда тот поднялся и зашагал к видневшейся неподалеку сопке. По ее склону пестрыми пятнышками рассыпалось стадо. Если хорошо приглядеться, каждое пятнышко — это корова. Вблизи, наверное, большая, а с такого расстояния — маленькая. Будь она и вблизи маленькая, ее бы и совсем не увидеть. Если бы там, на сопке, сейчас оказался Ертай, его бы тоже не было видно... И все равно Нартай его найдет, хотя пока не знает где искать. Наверное, он в таком же ауле. В такой же юрте... А вдруг в той юрте рядом с Ертаем сидит их мать? Живая?.. Нет. Кто умер, того закапывают, засыпают сверху — чтобы никогда не поднялся. Из могилы никто не выходит, никто... А Ертай, может быть, все еще плачет, дурачок. Хоть бы там, где он теперь, тоже были ягнята и козлята. Он бы играл с ними и не плакал...

Нартай и сам ие прочь был поиграть. Осторожио подошел-подкрался он к бурому теленку, мирно щипавшему травку возле юрты, и сделал попытку вскарабкаться иа него. Не тут-то было! Теленок замотал головой, взбрыкнул задиими ногами, и Нартай плюхнулся на землю. Из юрты выбежала аже, заохала, бросилась к Нартаю. А тот поймал теленка и снова попытался взобраться иа него. И опять свалился, в кровь ободрав кожу на локте. Но не заплакал, а рассмеялся, не желая показывать перед аже, как ему больно. Ои пробовал оседлать ягненка, затем козлеика. Оии вели себя смирно, только удержать его на себе им было не под силу. На жеребенка бы влезть... Росту ие хватает. Да и храбрости... В утешение аже вынесла Нартаю холодного айрана в тостагане — деревянной чаше, разрисованной по краям. Нартай поднес тостаган ко рту, выпил жадно, большими глотками. Айран оказался очень вкусным.

Вместе с аже он вернулся в юрту. И осмотрел все внутри, внимательно, ничего не упуская. Огонь разводнли здесь прямо посредине, а дым выходнл в круглое отверстне иаверху. «Шанырак»— называла его аже. И Нартай повторял за нею, прислушиваясь к звукам иезиакомых слов: шанырак, уык, кереге...[1] В Алма-Ате ничего этого не было. И юрты не было. И такого вот большого суидука, украшеиного резиой жестью. И деревяиной кровати с выгнутым изголовьем. И еще одного сундучка, чериого, с разрисованиой крышкой и боками, который иазывается кебеже... Здесь все по-другому. И совсем ие вндио кииг. Как же так? Ни одной книги?.. В сундуке, на самом дне, есть одиа книга, сказала аже. Очень старая книга — Коран... Он и взгляиуть на нее не захотел, иа эту книгу. Подумаешь, одна-едииственная, да и то — старая. Не две, не три, не сто — одиа... Нет, это не его дом — другой. И люди тут другие. Чужие...

Бородатый вернулся с работы вечером, усталый, ио ие было с иим ии бумаг, ии ручки с блестящим перышком. И кингу свою — одиу-единствеииую — ие вынул ои из сундука, ие стал читать. И иазавтра тоже не вспомнил о ией. Только-только рассветет — он уже отправляется на работу, а приходит, когда на дворе сгущаются сумеркн. Он обнимает Нартая, целует в лоб, в шею, и пахиет

---

[1] Части юрты.

от него пылью, зериом, горячим степным ветром... Он добрый, думает Нартай, он хороший... чужой коке.

Раз ои хотел взять его с собою иа хирмаи и еще коекуда загляиуть, ио аже не пустила. Вдруг пить Нартаю захочется? Илн спать?.. Ои ведь маленький, пускай лучше к дому привыкнет. Да Нартаю и самому инкуда ие хотелось. Ему бы в одиночестве подумать, вспомиить все в точностн.

Сколько было у иих комнат? Ои этого ие запомиил, ио квартира была просториая, светлая, и в комиатах иа полу — ковры... Красиво. И мягкне стулья, днваиы — иа иих было так удобио, приятно сидеть или лежать. И разиые шкафы, и столы с ящикамн, а иа ящиках — железиые ручки, поблескивающие при свете ярких ламп. И под высоким потолком — подвешенные вокруг лампы льднстые, переливчатые стекляшкн, а на шкафах, сверху, всякне штучки, кувшниы и кувшннчнки, что-то еще. Но всего больше было кииг. У одной комиаты и стеи-то будто ие было — с полу до потолка сплошь кииги. Называлась она — кабииет. В нем работал отец, н входить туда запрещалось. Дверь в кабииет обычно была плотио затворена, и, лишь когда коке уходил из дома, к нему в комнату заглядывала мать. Чтобы взять какие-то бумаги нли кннги. А потом дверь сиова закрывалась. Даже иа ключ. Так что где там входить... Им н мнмо-то пройти ииаче как иа цыпочках ие разрешалось. Не то что бы побегать, пошуметь... Впрочем Ертай не слушался и делал все, что хотел. Глупый. Мама говорнла, что не глупее другнх детей, просто еще мал. И ие понимает, чего от иего требуют... Ертай, бывало, вперевалочку, иа толстых иожках, добегал до заветиой двери и, затаив дыхаиие, подсматривал в щелочку, или в замочиую скважииу, или пытался разглядеть что-нибудь сквозь стекло. Но стекло затягивала голубая заиавеска, сквозь щелочку же в углу можио было увндеть разве что ножку стола и отцовские ноги в домашиих тапочках с расплющеииыми задникамн. Ножка стола ие двигалась, а иоги отца то стояли иа месте, то вдруг перекрещивались, иачииали покачиваться, а то и вовсе исчезали — их ие было видио. Зиачит, отец поднялся нз-за стола. Но по-прежнему нз кабииета ие выходнт. Слышио, как ои вышагивает по комиате — туда-сюда, туда-сюда... И тут Ертай, глупыш, пускается в рев. Отец остаиавливается в иадежде, что тот успокоится сам. Но Ертай не утихает. И голосит все громче,

Тогда отец подает голос: «Мамуля, уведи этих бандитов!» Мамуля не слышит. Она в кухне — шыж-ж... быж-ж,— готовит обед. Отец вынужден приоткрыть дверь. Но не для того, чтобы впустить их к себе. Перегородив проем, он снова зовет мать. И она спешит к ним, на ходу вытирая руки передником. Она уводит их обоих в другую комнату,— Ертая, который мешает отцу своими воплями, и Нартая, который ни в чем не повинен. Она перед ними наваливает целую груду игрушек, а сама опять уходит на кухню. Но спустя некоторое время Нартай, ступая на цыпочках, вновь крадется к отцовской двери, неодолимо его влекущей. И тут же следом, вперевалочку, появляется Ертай, с медвежонком в охапку или с машиной, которую тянет за собой на веревочке. И они по-прежнему стоят у двери, поглядывая в узенькую щелочку...

Он не понимал, чем занимается день-деньской отец у себя в комнате, один, запершись и, наверное, ничуть не скучая. И до сих пор это непонятно Нартаю... Но как-то, когда отец исчез, он улучил момент и пробрался в его кабинет. Вот здесь-то и увидел он — книги, книги, книги, от пола до потолка, и все под стеклом. И все такие красивые... Впрочем взять в руки хоть одну, подержать, полистать он так и не решился. Даже те, что валялись на полу, поверх ворсистого красного ковра, он только по переплету погладил. И к бумагам, разбросанным на столе, на полу, не притронулся. Только посмотрел, убедился, что картинок нет, одна писанина. Строчки густые, а буковки мелкие-мелкие...

Потом они переехали на другую квартиру. Ертай уже подрос. Начал говорить. И мог уже бороться с Нартаем... Крепенький, только глупыш. А может, просто помладше Нартая... Лицом он похож на отца, говорила мать. Ертай похож лицом, а Нартай — умом. На отца... И она тоже была на отца похожа. Такая же хорошая. Только плохо — она умерла. Если бы ее не задавила машина, она б не умерла. Глупая машина. Злая машина. Глупая машина и на прямой улице прямо ездить не умеет. Злая машина всегда на хороших людей наезжает. В этом ауле нет машин. Лошади есть и телеги есть, а машин нет. Правда телега тоже может задавить человека. Или откуда-то, из леса, например, выедет машина — и задавит Ертая... Глупыша Ертая, единственного братика.

Через три-четыре дня аже сказала, что вечером будет веселье — той. И вечером собрались человек десять или

пятнадцать, старики, старухи и женщины. Но никто не веселился, не смеялся. Наелись мяса, стали петь песни. Чаю попили — и снова за песни. Это женщины. А мужчины — те все толкуют про хирман, еще про что-то скучное. И никто не улыбнется... Что в этом тое хорошего? Одни хлопоты.

Только и радости, что поиграл Нартай с мальчишками, которые тоже пришли в гости. Все они были здешние, аульные, кроме Рашита. Нартай вместе с Рашитом ехал сюда из детдома. Он не знал, что у Рашита отец — председатель колхоза, и только теперь услышал об этом. Не от самого Рашита — другие мальчишки рассказали. Жалко, не пришли с ними ни Зигфрид, ни Яков... Ни Ертай... Зато вместе с матерью явилась девочка-дунганка с обритой наголо головой, Оля. И носилась, быстроногая, то туда, то сюда, и хохотала — заливчато, беззаботно. А ее мать — грузная женщина с грубым широкоскулым лицом — все пела, пела, сидя неподвижно, как истукан, и уставясь куда-то вдаль застывшим, немигающим взглядом... Хохотушка Оля выскочила было вместе с ребятами на улицу, поиграть в аксуйек, но Нартай затолкал ее обратно в юрту, объяснив, что девчонки в кости не играют. Впрочем, игра все равно не получалась. Малыши для нее не годились, а сверстников у Нартая было мало. Так что всем скопом они побегали вокруг юрты, пошумели, едва не свалились в очаг, на огонь, догоравший под опустевшим казаном,— на том и закончилось веселье. Как раз к тому времени, когда взрослые стали расходиться, желая хозяевам здоровья и на прощанье целуя Нартая в щеку...

Плохо спалось этой ночью Нартаю, тревожные сны мучили его, и он просыпался в испуге, лежал, не смыкая глаз, в немой, враждебной темноте. А утром, наскоро позавтракав, отправился в аул, не сказав толком аже, куда и зачем уходит. Он запомнил слова Рашита и без особого труда отыскал юрту, в которой жил Ертай. И младший брат, едва завидев Нартая издали, кинулся к нему и обнял, повис у него на шее...

Он был одет во все новое — на нем была белая рубашка и кумачовые шаровары с голубой полоской вдоль штанин. Только сандалии на ногах остались старые. Он вцепился обеими руками в Нартая, ухватил за пояс и потащил к юрте. У входа лежал черный пес — он прогнал

собаку, запустив в нее куском кизяка. И, подталкивая брата в спину, заставил перешагнуть порог.

— Это моя мама,— сказал Ертай, указав на моложавую женщину в поношенной шали. Она сидела возле кровати на тулаке — подстилке из козьей шкуры — и крутила веретено.— Апа, это мой сталший блат Налтай.

Женщина неприветливо взглянула на Нартая, нахмурилась и продолжала крутить веретено.

— Отец на лаботе,— сказал Ертай.—Он блигадил. Он сильный.

И тут же объявил, что у него две камчи. Одну он взял с собой, уходя на работу, вторая висела на стене. Трехвостая, с вырезанной из таволги рукоятью, перевитой тускло поблескивающей медной проволокой... Ертай хотел показать камчу брату, но женщина, которую он называл «апа», не позволила снять ее со стены. Тогда Ертай начал раскладывать перед братом свои собственные богатства. Десяток асыков... Непригодная для игры коровья бабка-левша — сампай... Резиновая свистулька — не то кошка, не то собака, выцветшая, не сохранившая и следов ярких красок, которыми когда-то была разрисована... И еще — осколок зеленого стеклышка, чтоб смотреть на солнце, и смастеренные из сухой дощечки вилы — целые две штуки, и грабельки на четыре зуба...

— Апа, дай нам баулсаков,— попросил Ертай, закончив свой показ.

Женщина безмолвно отодвинула веретено в сторону, нагнулась, запустила руку под кровать и, пошарив там, достала баурсак. Так же молча она вложила его в ладонь Ертаю. Тот повертел баурсак так и сяк, помедлил, соображая как ему быть. И протянул угощенье брату:

— На, ешь. У нас их много.

Нартай не взял:

— Ты сам ешь, я не хочу.

Ертай снова помедлил, подумал, но сам есть не стал, а сказал:

— Апа, дай еще баулсак.

Только теперь женщина заговорила.

— Сначала съешь тот, что у тебя,— суровым голосом произнесла она.— А то, как вчера, собака унесет.

Ертай запихнул в рот лоснящийся жиром колобок. И стал жевать — торопливо, проталкивая в горло недожеванные куски. Поперхнулся. По щеке у него скатилась слезинка.

— Апа, еще...

Но женщина как бы не слышала. Лицо у нее стало серым, недобрым, она сидела к братьям вполоборота и резкими движениями крутила веретено.

— Апа...

— Дурак!..— не выдержал Нартай.— Твоя мать умерла! Это чужая!

— Эй, ты чего мелешь?— Женщина выхватила из погасшего очага железную кочергу.— Ты чего несешь, обездоленный?..

Нартай вскочил на ноги, но не побежал, а даже, будто нарочно замедляя шаги, дошел до порога, потом обернулся и присовокупил к своим прежним словам:

— У нас у обоих — одна мать. Она умерла. Она лежит в Алма-Ате, на горе.

Женщина замахнулась кочергой, но не ударила.

— Убирайся! Пропади с моих глаз!— закричала она хрипло.— Попробуй только еще раз прийти!..

Нартай взглянул на Ертая, вконец растерявшегося, с застывшей на щеке круглой слезинкой, потом повернулся и пошел прочь. Его не испугала женщина с кочергой. Он, казалось, даже и пса как-то не заметил, хотя тот за порогом юрты подался было к нему, рыча и скаля желтые зубы... Нартай не спеша поднялся к седловине между сопками, постоял, обернулся назад. Он различил фигурку брата в дверном проеме — такую далекую, маленькую, сиротливую... И больше уже не сдерживал себя. Он пустился бежать по склону вниз. И бежал до самого своего дома. И до самого дома плакал.

* * *

Наступило время учебы. Ребята постарше по-прежнему работали на хирмане, а малышей, первоклассников и второклассников, увезли на центральную усадьбу колхоза. Тлеубай тоже отдал Нартая в школу, не послушав жены, которой хотелось, чтобы мальчик хотя бы год прожил с ними, привык к новой семье... «Восемь лет,— думал Тлеубай.— Незачем отставать от сверстников...» Он устроил Нартая в дом одного из своих дальних родичей. И подбросил им — в запас, для сына — полбурдюка масла, полмешка курта и иримшика. Пообещал, кроме того, поближе к зиме барашка да пуд талкана — муки

из жареной пшеницы, а там и еще чего-нибудь. Хозяева остались довольны.

Колхозный центр находился от хирмана неподалеку, в каких-то десяти километрах. Тлеубай, выкроив немного свободного времени, седлал кобылицу и ехал проведать сына. Случалось это чаще всего под вечер; он целовал полусонного Нартая, оставлял хозяевам килограмм-полтора муки и отправлялся в обратный путь. Выходные же дни Нартай обычно проводил дома. В субботу после работы Тлеубай ехал в центр, усаживал мальчика к себе в седло и вез домой, а в понедельник, еще не рассеются предрассветные потемки, отвозил обратно. Этот воскресный день всегда казался Нартаю слишком коротким — день, который он проводил среди близких ему людей, согреваясь теплом их простодушной ласки, отъедаясь вдоволь... Но закончились работы на хирмане, и Тлеубай, взяв с собой отару овец, перебрался на зимовку в предгорья. Теперь он уже не мог приезжать так часто за Нартаем. Порой они не виделись месяцами. Только зимой, в каникулы, он взял к себе мальчика на все десять дней; в дороге их застиг буран, они едва добрались до зимовки. А в марте, когда началась весенняя суматоха, бураны сменила ростепель, дороги развезло, а к тому же наступил сезон окота,— он так и не сумел привезти Нартая домой на каникулярную неделю. Встретились они только после того, как закончился учебный год, в степи зазеленело, и люди перебрались в низины, туда, где по берегам рек раскинулись привольные луга и пастбища.

Тогда же Нартай сумел наконец увидеть своего брата Ертая.

Всю зиму тосковал он по нему, тем более что встретиться им так и не случилось. Даже на январских каникулах — Ертай жил на другой зимовке, далеко. Но его видел школьник, двумя годами старше Нартая, гостивший оба раза у своих родителей. Дом его был рядом с домом Ертая, и он рассказывал, в какой шубе из белой овцы щеголяет Ертай и какой малахай на голове у него — из мягкого, шелковистого каракуля. А какой он стал шустряга, какой озорник!.. И до чего радовался подарку Нартая — фигуркам лошади, козла и барана, которые тот нарисовал, а потом вырезал из газеты! Обрадовался и сам передал старшему брату подарок — два баурсака... В мартовские каникулы Нартай послал ему с тем же мальчиком новый рисунок — витязя на коне.

Нартай нарисовал его на большом листе белой бумаги синим карандашом, получилось очень красиво. А Ертай в ответ снова передал ему баурсак, правда надкушенный сбоку. Нартай долгое время не притрагивался к этим трем баурсакам, даже когда очень хотелось есть. Он их спрятал на самом дне портфеля, сшитого из светлого войлока, и вынимал, если особенно скучно ему становилось, и одиноко, и томила тоска.. Наконец однажды, ближе к лету, он достал их после уроков и съел. Баурсаки затвердели, сделались как камень, он порядком помучился, пока разгрыз.

...Брат, оказывается, сберег все его рисунки — сложил в несколько раз и хранил в кармане. При встрече он тут же их вытащил, развернул, но там уже ничего не разобрать было, карандаш стерся, бумага на сгибах надорвалась, обвисла клочьями.

Ертай почти не вырос в вышину, но коренастенькое тело его стало как-то крупней и грудь — шире, а большой головой на короткой шее он походил на задорно-упрямого бычка. На брата он был мало похож — лицо широкое, круглое, с пухлыми щеками и приплюснутым носом. Нартай был стройней, красивей, хотя ему и в голову не приходило сравнивать себя с младшим братишкой...

А каким он стал драчуном, каким задирой! Ни одного аульного мальчишки мимо своего дома не пропустит. В этого камнем кинет, на того собаку натравит... Впрочем, в присутствии Нартая он стихал и как бы сам себя стеснялся. Но Нартай и близко к его дому не подходил,— встречались они на улице, когда играли. Брат постоянно вступался за меньшого, защищал от ребят, затаивших на Ертая зуб и поджидавших момента для мести. А Ертай и сам никого не боялся, готовый схватиться с теми, кто был намного старше. И спуску не давал. Случалось и ему быть битым, а вместе с ним перепадало и Нартаю. Но признать поражение, пойти на попятный? Где там!.. Он хватал все, что попадет под руку: палка — палку, камень — так камень. И не знал жалости в драке. Хоть мал, да удал — все его побаивались. Даже те, кто мог с ним справиться, предпочитали держаться от Ертая подальше.

Осенью он тоже отправился в школу. И, по словам учителя, оказался таким же смышленым, как брат. Нартай, впрочем, не сомневался и раньше, что так будет. Разве малыш, еще не умея толком говорить, не любил

вычерчивать на бумаге разные закорючки? Не заглядывался на книги в отцовском кабинете?.. Он умный, Ертай, и станет еще умнее — как отец. Он будет лучше всех учиться в первом классе. И во втором, и в третьем, и в пятом... Он похож на отца, очень похож. И тоже будет много читать. Они оба будут много читать — и Ертай, и Нартай. Особенно Ертай. Ни у кого нет такого славного братишки, как Ертай... Ни у кого!

* * *

Весной закончилась война.

Как люди радовались! Просто пьяные ходили от счастья. И лица у всех были улыбчивые, просветлевшие — даже у самых сморщенных и хмурых стариков. То в одном доме, то в другом собирались гости на веселый той в честь долгожданной победы...

И после такого праздника даже странно как-то казалось, что в повседневной жизни все осталось по-прежнему. Учитель, один на все четыре класса, распустил в положенное время школьников по домам. Тлеубай сдал колхозу отару, которую пас зимой, и снова взялся за соху. Бригадир Бердеи опять вооружился своей грозной камчой и оседлал белоногого Актабана. И, как в прошлые годы, поближе к хирману, на берегу реки, поднялись юрты, около десятка, среди них одна из кошмы посветлее — председательская, остальные — потемнее, иной раз и дырявые от старости. Несколько семей, тоже занятых полевыми работами, раскинули жилища в стороне, особняком, чтобы привольней было и самим, и телятам с жеребятами. Ребята тоже не бездельничали — кто за сохой ходил наравне со взрослыми, кто за скотиной смотрел; каждому дел хватало. И только самая что ни на есть мелкота день-деньской гоняла по берегу, плескалась в речке и выуживала из воды чебачков...

Короче, все вроде бы осталось по-прежнему.

По-прежнему — да не по-прежнему...

Отчего у него было такое чувство, Нартай вскоре понял. В аул, где для него давно уже не было чужих лиц, по одному, по два стали приезжать незнакомые люди. Одетые не как-нибудь, не во что попало, а — не в пример аулчанам — с иголочки. И все молодцеватые, подтянутые, в гимнастерках и широких, туго схватывающих талию ремнях. Глаз не отвести — картинка!

Каждый из них оказывался чьим-то отцом или старшим братом. Везло же мальчишкам! Как не позавидуешь тому, у кого такой брат. Или отец...

Следом за другими вернулся домой и старший брат Рашита. Сын баскармы. Хотя было известно, что он погиб в позапрошлом году: почта принесла извещение. Так что и Рашит, и отец Рашита — баскарма, и весь аул считали его погибшим. А он вдруг приехал. Правда, руки одной нет, и ноги одной нет, и на уцелевшей руке нет ладони с пятью пальцами. Но все-таки живой. Все-таки голова цела. И одна нога цела. И еще полруки. Рот, нос, глаза — все на своем месте. Жив! Привезла его светловолосая русская женщина, ее все называли — сестра. Глаза у нее были голубые, лицо доброе... Она привезла старшего брата Рашита и, не задерживаясь долго, уехала.

Баскарма устроил той, на него собрался весь аул. А точнее, съехались люди со всего колхоза — и с центральной усадьбы, и с отдаленных ферм. И Нартай был на этом тое. И Ертай.

Старший брат Рашита многое рассказывал: и как его ранили — тоже, и как врачи у него из головы осколок вынимали, хоть и небольшой, но вполне достаточный, чтобы жизни лишиться. Долго вынимали, но все-таки вынули, вот он и остался живой. Только не такой, каким был раньше, когда на фронт уходил... Ну, да ведь сколько из тех, с кем он уходил, и совсем не вернулось... Его, старшего брата Рашита, сына баскармы, слушали — не дышали. Многие плакали, многие радовались. Кто сочувствовал ему всей душой — не мог удержаться от слез. Кто надеялся, что и его сын так вот из мертвых может воскреснуть,— эти радовались. И не отходили от старшего брата Рашита особенно получившие в свое время «черную бумагу»— похоронку. Расспрашивали: не видел ли он того-то?.. А где такой-то?.. Не видел. Не знает. Он был вместе только с коке Урака. Про него в «черной бумаге» написано правильно, сказал он. «Ранило его примерно за полчаса до того, как попало в меня... Не ранило — убило. Я сам видел, как он испустил дух...»

Запричитала мать Урака, расцарапала себе лицо, раскровила щеки. Глядя на нее, страшно стало Нартаю, кожу на голове как холодом стянуло. Да и старшему брату Рашита сделалось видно не по себе. Пот крупными каплями выступил у него на лбу, лицо побелело, даже ка-

кой-то голубоватый оттенок появился на нем, словно у неживого... Плохо, плохо все получилось...

Но скоро снова он принялся рассказывать: и смешное в его рассказах сплеталось с грустным, веселое — с мрачным, и до того крепко — не расцепишь... А чаще всего повторял он одни и те же слова: «Наконец-то снова я дома — по родной земле ступаю, воду родную пью, а сам все еще не верю...» И хотя не как раньше — во всеуслышанье, а уже потихоньку, не привлекая лишнего внимания,— каждый расспрашивал его, задавал осторожные вопросы... Но снова и снова твердил он, что с ним на фронте был только отец Урака, о других ему ничего не известно.

То же самое сказал он и о сыновьях Бердена, то есть о двух старших братьях Ертая... Знал Нартай, что эти братья Ертая никогда не станут братьями ему самому. А его старший брат, воротись он домой, не будет братом Ертаю. Потому что Тлеубай и Берден им не настоящие отцы. Да еще и в ссоре друг с другом. Настоящие братья, по крови,— это они, Нартай и Ертай. У них была одна мать, только она умерла... И одни отец. Только его нет... Нет... Но может быть...

Он долго не решался, и бросало его то в жар, то в холод, пока наконец он спросил:

— А моего коке вы не видели?

— Твоего коке?..— переспросил старший брат Рашита.— А он кто — твой коке?

— Наш с Ертаем отец.

— Кто-кто?..— повторил старший брат Рашита, растерянно озираясь по сторонам.

Он ждал ответа, подсказки, но все молчали, опустив глаза.

— Чей это сын?

— Тлеубая сын,— отозвался кто-то.— Из детдома он...

На заговорившего цыкнули, тот прикусил язык.

— Это младший сын Тлеубай-агая,— стал объяснять один из присутствующих.— Зовут его Нартай. Тлеке упал с лошади, ногу сломал, вот и послал на той сына вместо себя, с тобой поздороваться, честь воздать твоему возвращению...

— Э-э-э...— задумчиво протянул старший брат Рашита.— Вот оно что... Младший сын Тлеке, значит... Моего

Рашита товарищ, значит... Подойди ко мне, айналайн, поцелую тебя.

Нартай не подошел. Испугался болтавшейся ниже плеча культи. Но его все же подхватили под мышки, приподняли, посадили перед старшим братом Рашита. И тот поцеловал Нартая в щеку. Холодными, как лед, бескровными губами. И локтем, а вернее концом культи, погладил по голове.

Странное дело — мягкая оказалась культя. Мягкая-премягкая, а вовсе не такая, как Нартай ожидал.

— Был он джигит — настоящий джигит!— услышал Нартай.— Замечательный был джигит!.. Поначалу мы вместе служили, помню — на военных маневрах... Потом разделили нас. Я пошел в кавалерию, он стал снайпером, вот так... У нас ребята все просились — или в кавалерию, или в снайперы. На коне привычнее, чем пешком, так мы думали. Где это видано — пешими с врагом сражаться... Снайперы погибали тоже, но все-таки... Нас гибло куда больше. Что уж там кони, кавалерия — на такой-то войне... Отец твой, говоришь? Он был меткий стрелок, никогда промаху не давал, вот так... Его во фронтовой газете хвалили, я сам читал! Ну, а потом... Да ты не плачь, айналайн... Жив он... Может, и жив... Откуда мне в точности знать, чудачок? На фронте знаешь сколько людей было? Тысячи, миллионы, как я мог за всеми углядеть?.. Вот я и говорю: может, и живой. Ходит себе, может, где-нибудь, землю топчет, домой собирается... А там, смотришь, и приедет... Я тоже вот приехал... Приехать-то приехал, только сам... вроде подпиленного дерева... Разве это жизнь? Еще не известно, кто кому завидовать должен на моем-то месте: мертвый живому или живой мертвому...

Старшему брату Рашита не дали дальше говорить — перебили, зашумели, стали успокаивать, иные даже сердились, укоряли за глупые последние слова, иные же плакали, отвернувшись, не в силах унять слез... Посыпались и у Нартая по лицу слезинки, посыпались мелким частым горошком, и он, не глядя ни на кого, выскочил опрометью из переполненной юрты.

Но были рождены эти слезы не горем, а радостью.

Вместе служили, сказал он, вместе были на военных маневрах... Может, и жив, сказал он. Жив... И домой собирается. Только не едет — нельзя, не время еще, не всех сразу из армии отпускают... А отпустят — тогда и приедет. Скорее бы...

И Нартай стал дожидаться возвращения отца. С зари до зари, случалось, бродил по сопке, сидел на вершине — караулил большак, ведущий в районный центр.

Иной раз покажется на дороге всадник. Иной раз — двое или трое. А то вереницей тянутся друг за другом телеги, запряженные медлительными волами, или верблюды, напоминающие чем-то цепочку возвращающихся в родные края гусей. Нартай смотрит, вглядывается, пока в глазах не начнет мутиться. И, сбежав с холма, вместе с остальными ребятами мчится навстречу едущим.

Ребятам только бы вскарабкаться на арбу или на коне прокатиться. Ну а ему — не пропустить бы коке. Да не видать его что-то... Едущий шагом одиночка — это баскарма, он возвращается из райцентра; первого из подбежавших к нему мальчишек он сажает впереди себя, второго — позади; немного спустя их сменяют другие; до Рашита доходит в самом конце, когда отец уже подъезжает к дому и спешивается, зато ему теперь никто не мешает в одиночку распоряжаться отцовской лошадью... А двое, что рысят по дороге,— это представитель из района и счетовод Дауренбек; уж они-то, заранее известно, никого к себе не подсадят — лишь окинут сердитым взглядом голосистую ватагу и промчатся мимо, обдав пылью... Но вот вдоль дороги растянулась цепочка телег или верблюжий караван, отвозивший на склад зерно. Бывает, вместе с караваном, усевшись на арбу или верблюда, возвращается в аул кто-то из фронтовиков. В таких случаях караван даже выглядит иначе, нежели в другое время. Как ни медленно он движется, а все-таки на подходе к аулу прибавляет шагу. Камчи со свистом вьются над крутыми воловьими боками, телеги грохочут, шум стоит такой, что слышно за один-два километра. Кто-нибудь, взобравшись на быстроходного верблюда, опередив караван, устремляется в аул. И кричит во все горло, размахивая тымаком: «Сюинши! Сюинши!..» Тут не только дети — взрослые не усидят на месте. Весь аул, от мала до велика, высыпает навстречу. Меж детьми, далеко опередив старших, несется и Нартай. Скорее, скорее... Вот и караван. Когда он уже совсем близко, с арбы обыкновенно спрыгивает кто-то в военной форме. Кто?.. Никто не знает, но все бросаются наперегонки. И галдят, и перекрикивают один другого, и виснут на шее, и взбираются на плечи, и — самые маленькие — обнимают ноги в пропыленных сапогах. Тем временем поспевают и взрос-

лые. Поцелуи, приветствия, слезы, смех... Только теперь для Нартая проясняется, кто такой прибывший в аул, демобилизованный из рядов армии воин. Одному мальчику он приходится отцом. Другому — старшим братом...

И Нартай с надеждой дожидается завтрашнего дня.

Но проходит и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и послепослепослезавтра — не приезжает отец. Проходит еще неделя, еще месяц — нет его, и почта тоже не приносит о нем никаких вестей. Наступает осень. Дни мелькают за днями — короткие, хмурые, моросят дожди, а его все нет. Снегом покрылась земля, стекла на школьных окнах разукрасили зимние морозы, а его нет и нет... И не будет, понял Нартай. Напрасно его ждать. Он не приедет. Сюда не приедет. Как же он сюда приедет, если ему не известно, что дети его — здесь?

Нартай рассказал о своей догадке Ертаю. Тот хоть и маленький, но уже не дурачок, не глупыш, каким был когда-то. Уже больше восьми — лучший ученик второго класса... Все понимает!

— Наверное, наш коке вернулся,— сказал ему Нартай.— Наверное, наш коке в Алма-Ате. А где мы с тобой — не знает... Помнишь, какая была у него комната — кабинет? А сколько было там книг — помнишь? Наверное, он и сейчас там, у себя в комнате, где столько книг. Он там, а мы здесь... Мы должны к нему поехать. Сами. Дом я найду,— сказал Нартай.— Большой дом, трехэтажный. И рядом — фонтан. Знаешь, что такое фонтан? Не знаешь, глупыш?.. Это такой ручеек, только вода из него течет прямо в небо. Понимаешь?.. Да, там и деревья, много деревьев, и все огромные, высоченные, как ты играл под ними — помнишь?.. Не помнишь?.. Ну, не важно. Лишь бы добраться до Алма-Аты, а там я все найду. Только бы добраться... Надо сесть на поезд. Все поезда идут в Алма-Ату. Сядем в Жанакале. Отсюда до Жанакалы — девяносто километров. А в задачнике по арифметике сказано, что пешеход в час проходит пять километров. Значит на всю дорогу надо восемнадцать часов. Устанем — отдохнем, верно? Можно спать ночью, зарывшись в снег, в снегу — тепло... Так написано в учебнике по родному языку.

Ертай все одобрил, со всем согласился. Только жаль ему отца, который за ним приедет, чтобы взять домой на десятидневные каникулы...

— Я тоже соскучился по аже,— говорит Нартай.— Но ведь у нас есть наш настоящий отец, коке. Если мы здесь останемся, он подумает, что мы пропали, и вместо умершей мамы приведет другую, а вместо нас найдет других детей...

Это производит впечатление на Ертая.

— Тогда пойдем... Только сначала нужно подготовиться. Надо собрать еду, чтобы хватило на дорогу до Алма-Аты...

И оба собирали, копили потихоньку — баурсаки, курт, иримшик... И не оставалось ничего такого, что могло бы теперь их задержать.

Как и сговорились, оба встали еще затемно, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза... Правда, в последний момент Ертай вдруг заколебался. Жалко ему было навсегда расставаться с теми, кого уже привык он здесь называть матерью и отцом... А что ему мог сказать на это Нартай? Ведь и для него было горько покинуть добрых людей, которым был он вместо не то сына, не то внука...

— В Алма-Ату приедем — письмо пришлем,— сказал он брату.— И летом сюда вернемся — на каникулы. А пока сделаем, как решили.

Больше они не стали медлить. Санный путь, изгибаясь, уводил их вперед, по сторонам смутно белела в предрассветных сумерках неоглядная степь. Если все идти и идти, дойдешь до колхоза «Кзыл ту», это им было известно. А пойдешь дальше — будет колхоз «Азат». Пойдешь по дороге, никуда не сворачивая,— будет станция Жанакала. А там и поезд, который отвезет их в Алма-Ату...

Когда братья выходили из аула, было тепло, безветренно, улежавшийся наст весело поскрипывал под ногами, придавая бодрость. Но затем внезапно похолодало, в воздухе закружились крупные хлопья. Нартай шагал впереди; ветер ударил ему в лицо, залепил глаза снегом... Он заслонился рукавицей от ветра, огляделся и подождал, пока его нагонит приотставший Ертай. У того пар валил изо рта и ноздрей, щеки были красные-красные, а брови белые, мохнатые...

— Давай вернемся,— предложил Нартай.— Еще заблудимся.

— Не заблудимся,— Ертай поглубже на лоб надвинул шапку.— Пойдем по дороге — и не заблудимся.

— Давай вернемся,— повторил Нартай.

— Все равно на уроки опоздали... Что учителю скажем?

— Давай вернемся,— уговаривал Нартай.— Смотри, как метет... Не дойдем, замерзнем!

— Не замерзнем,— упрямо твердил Ертай.— Тут скоро молочная ферма, до нее дойдем...

— Не дойдем.

— До аула теперь дальше, чем до фермы.

— Нам ветер в спину дуть будет, подгонять... Давай вернемся...

— Ты сам,— сказал Ертай,— сам возвращайся. А я пошел. Ты и апу видел, и коке видел, а я никого не видел. Я тоже хочу увидеть. Я сам найду дом, про который ты рассказывал.

Он отбросил руку Нартая, который пытался удержать его, и, весь облепленный снегом, двинулся вперед по дороге. Нартай постоял немного, растерянно озираясь по сторонам. Что было делать?.. Он последовал за братом.

Снег повалил гуще, ветер швырял его в лицо пригоршнями. Мороз усиливался. Плотная белесая мгла простерлась над степью.

* * *

Их отыскали только на девятые сутки — после того, как утих буран. Видимо, первым упал Нартай. По одну руку от него лежал малахай, по другую — валенок. Шуба на груди была расстегнута. Похоже, когда его совсем доконал мороз, он стал сбрасывать с себя одежду и раскидывать куда попало. В конце концов он упал и растянулся во всю длину, подогнув под себя обутую в валенок ногу. Ертай застыл рядом с ним, стоя на коленях и глядя в небо. Руки его, обнимавшие непокрытую голову брата, примерзли намертво.

Наверное, дети потеряли направление и сбились с пути, когда пытались укрыться от бурана в защищенной от ветра лощине. До молочной фермы им оставалось одолеть каких-нибудь триста метров.

Он сам не знал, кто он по национальности. Вначале, когда он сюда приехал, говорили, что он русский. Удивляться этому не приходилось: казахи всех людей, не схожих с ними обликом, в особенности же голубоглазых и светловолосых, относили обычно к русским. Когда он сделался старше, на вопрос, кто он, Яков отвечал: «Русский», а про себя думал, что с таким же основанием мог назвать себя украинцем или белорусом. Или поляком. Или евреем. Тем не менее сам себя он по-прежнему считал русским, да и не слишком много придавал этому значения. Русский так русский, и точка! Ну а в ауле постепенно как-то забылось даже и то, что он русский. Жакып... Жакып Кобегенов... Между собой аулчане называли его «тот Жакып», а если надо было выделить среди других Жакыпов, то говорили: «Жакып Кобегена». Вот он и начал тогда соображать: «А может быть, я и в самом деле казах?» Ведь и правда: мог же какой-нибудь казах, уехав из родных краев, жениться где-нибудь на русской женщине, или на польке, или на еврейке?.. Но сколько ни думал и ни вспоминал он, а отца все же припомнить не мог. Известно ему было только, что был он человеком военным, носил форму защитного цвета, широкий темно-коричневый ремень и тяжелый револьвер в кожаной кобуре. Остальное — лицо, имя, фамилию — он забыл. Забыл начисто.

Помнилось только, как глубокой осенью — деревья стояли уже голые, черные — они с мамой (только где?.. в каком городе?..) сели в поезд. Множество людей, давка, плач, ругань, лица — растерянные, злобные, залитые слезами; в вагоне — теснота, на полу все вповалку — дети, женщины, вещи, какие-то мешки, чемоданы, узлы... Но все, что он видел, ему казалось увлекательным приключением, захватывало необычностью, новизной. Эшелон еле тащился по забитым путям, застревал в тупиках, на полустанках. Поезд останавливался — всех охватывала тревога... А ему было интересно наблюдать, как мимо, в обратную сторону, где на машинах, где пешим строем двигались бойцы в серых шинелях, с винтовками за плечами, уходящими вверх своими длинными, тонкими штыками. Встречались машины, которые тянули за собой пушки, повернутые задом наперед. Встречались танки. Они ползли в затылок один другому, как тол-

стые неуклюжие жуки. И было жаль, что ползли они навстречу составу, а не рядом с ним, не в том же направлении,— так было бы куда удобней и дольше за ними наблюдать. И еще обиднее — не было видно самолетов, а ему так хотелось на них посмотреть! Вот он и приставал все к маме — когда они прилетят?.. Наконец миновало двое или трое суток — они прилетели... С рассвета эшелон стоял на какой-то маленькой станции. Самолеты, которых он дожидался с таким нетерпением, появились после полудня. Летели они тремя рядами, ровно, красиво летели. И было их много — почти столько же, сколько пальцев у него на обеих руках... Но люди, вместо того чтобы любоваться таким редкостным зрелищем, ударились в панику. И мама, не дав ему как следует сосчитать самолеты, схватила его за руку, и они вместе со всеми побежали куда-то за насыпь, в поле; дальше была какая-то яма — яма или ров, добраться они не успели, мама упала на землю ничком и подмяла его под себя. Только тогда, в тот именно миг, ему сделалось страшно. Он едва не задохнулся, заплакал...

Что было после, он помнил совсем смутно. Помнил, как от страшного грохота качнулось небо, задрожала земля. Помнил клубы дыма — синие, белые, и пламя — красное, слепящее... Был момент, когда земля ушла у него из-под ног, встала дыбом, и почудилось, что спина у него треснула, переломилась пополам. И навсегда пронзило память, как мама, навалясь на него, придавив к земле всей тяжестью своего тела, вдруг страшно, едва слышно охнула и грузно отвалилась вбок.

Он открыл глаза, когда звенящая тишина — страшнее любого горохота — ударила в уши. Он увидел мать — правой рукой она царапала землю, а правая нога отбивала частую дробь и все подпрыгивала, словно стремясь отделиться от тела. Алая кровь хлестала из левой руки, перебитой в локте, и из левой ноги, разорванной от колена до бедра. Из ломтей кроваво-красного мяса торчала острым обрубком белая кость... Дальше он не помнил.

Еще одно звено в распавшейся цепочке: пахнущая лекарствами комната, светлые стены, потолок, женщины в белых халатах. Не слышно, как они ходят, разговаривают, хотя видно, что губы у них шевелятся. Вообще не слышно ни звука, как будто весь мир онемел. Странно... Через два-три дня, когда у него отлегло в одном ухе —

словно вынули вату, правда не всю,— он понял, что не мир, а сам он сделался немым. Теперь его пугал каждый звук или слово, слабо, как бы издалека доносившееся до него. И он по-прежнему не понимал, что за люди лежат на соседних койках, и откуда эти женщины, и как он сам оказался здесь, где был раньше. Все вокруг представлялось ему незнакомым, вызывало тягостное удивление. И снился ему по ночам один и тот же сон. Как он сжимает ладошкой руку матери, и они бегут, бегут — все быстрее, быстрее... Уже задыхаются, уже ноги слабеют в суставах... А они все бегут, спасаются от какого-то злобного чудовища, которое следует за ними по пятам, неотступно. И вот им уже не под силу бежать, они падают и ползут. Лишь теперь отваживается он оглянуться. И видит самолет. Вместо пропеллера — голова с загнутым книзу железным клювом. Длинные когти достают до самой земли. Вот-вот они настигнут его и схватят... Но что это?.. Чудище, похожее на самолет, или самолет, похожий на сказочное чудовище, крылом отбрасывает его в сторону и, подхватив мать, уносит с собой. Она не бьется, не вырывается. Она летит, машет ему рукой и смеется. Он в испуге кидается за ней, кричит, зовет ее... И кто-то обнимает его, поднимает с земли. Прижимает к груди, успокаивает. А он кричит, изнемогая от страха и слез. Женщины в белых халатах окружают его, по очереди берут на руки. Кто-то гладит, кто-то целует. А он плачет все громче и горше.

Он плачет, вспоминая мать, ее искалеченное тело, бедро с выпирающей из раны белой костью, вспоминая широкий отцовский ремень и тяжелый револьвер в кожаной кобуре. Он только никак не может вспомнить, понять, что целых три месяца, лишенный слуха и языка, он был между жизнью и смертью, что совсем недавно, несколько дней назад, у него стало слышать одно ухо, а язык развязался только сегодня, сейчас...

Женщины наконец добились общими усилиями, что он перестал кричать и плакать. Ему принесли кусочек рафинада, какую-то игрушку со свистулькой. Пробовали расспросить о чем-нибудь, затеять разговор. Но у него болела голова, поташнивало, да и многие из слов, обращенных к нему, он попросту не расслышал. А те, что расслышал, не совсем понял. А на слова, которые понял, не смог ответить. И лишь когда особенно настойчиво при-

ступили к нему с расспросами, он произнес в ответ одно-единственное слово:

— А... а... а-кып!

— Яков!— догадалась одна из женщин, и все они расплакались.

Они были хорошие, эти женщины в белых халатах. И больница — она Якову нравилась. Не понравилось ему в детском доме. Несколько раз он убегал, садился в поезд и ехал куда глаза глядят, чтобы в конце концов снова угодить в детский дом. Но всюду повторялось одно и то же. Двадцать-тридцать детей в группе, и где там уследить за ними одному воспитателю? Мальчики постарше — забияки, сорвиголовы, младшие — ненамного лучше. И все дразнятся, насмехаются над ним, над его запинающейся, корявой речью. За два года он превратился в замкнутого, дичащегося всех ребенка. Он знал, что жил раньше где-то далеко, там и земля, и люди — все другое. Знал — и потому чувствовал себя не только сиротой, но и чужаком. Хотя большинство детдомовцев и обликом, и языком похожи были на него.

Предчувствие неожиданных, радостных перемен... Оно никогда его не покидало. И вот однажды воспитательницы отобрали в младшей группе человек десять, примерно одного возраста, и сказали, что они поедут в аул, где их ждут не дождутся папы и мамы. Дети шумно возликовали, обрадовался и Яков. Но не стал бегать и прыгать, подобно прочим, ошалев от веселья. Он давно был уверен, что рано или поздно его разыщут.

В аулы увозили не только их, а многих детей. В большинстве они были повзрослее, лет четырнадцати-пятнадцати. Держались они свободно, независимо. Руки в карманах, цигарка в зубах, ходят себе и поплевывают через губу — не подступишься... И тех, кто приехал за ними, не очень-то замечали, не очень слушались. Всю дорогу скакали с телег, затевали потасовки, а то и кровавые драки. Сопровождавшие их лишились терпения и покоя.

Караван из пяти-шести телег, запряженных волами, долго, с ночевками, добирался до районного центра. Дорога была тяжелой, в особенности последний день. На волов уже не действовали ни камча, ни уговоры, и они ступали медленно, истекая слюной и покачивая рогами. В колесах высохла смазка, они натужно скрипели, с трудом поворачиваясь и кренясь то в одну, то в другую сторону. Дети устали. Если прежде они радостно вскрикива-

ли при виде каждого зайца, перебегавшего дорогу, или дрофы, настороженно вытягивающей шею на отдаленном склоне, то теперь никто даже головы не поворачивал в их сторону. Самые заядлые озорники — и те притихли. Когда остановились на обеденный привал, оказалось, что и перебродившее кислое молоко в сабе[1] кончилось. Вечером въехали в село, где было много домов непривычного вида, с плоскими крышами, то рассыпанные без всякого порядка по косогору, то сбившиеся в кучу. Не веселила глаз и главная улица, где за каждой телегой столбом вздымалась рыжая пыль... Но все были рады и этому селу, и концу пути.

Наутро пришли незнакомые люди. Все они, как один, были с обветренными загорелыми лицами, черноглазые, черноусые, чернобородые, в чапанах и невиданных треухих шапках — тымаках. «Это мои дети»,— говорил каждый и уводил с собой по нескольку человек. Вскоре из пятидесяти или шестидесяти ребят, проведших ночь в конторе райисполкома, осталось десять-пятнадцать самых маленьких. Их накормили супом, напоили шалапом, и они снова заночевали в конторе.

Детей разбудили затемно, и опять ждала их тряская арба. Многие не успели как следует выспаться, к тому же пронизывало утренним холодком и хотелось есть... Но старый казах с редкими усами на широком лице, ехавший на коне рядом с подводой, сказал, что скоро каждый будет жить у себя дома, со своими родителями, и тут даже у самых маленьких высохли слезы. Он брал к себе в седло ребятишек, рассказывал им что-то занятное. Лоб у него был в жестких морщинах, а глаза улыбчивые, добрые... Яков очень внимательно его слушал, но так ничего и не понял. Выяснилось, что он почти не говорит по-русски. Теперь Яков уже с некоторым сомнением начал поглядывать и на этого старика, который был, конечно, хорошим человеком, только по-русски не разговаривал; и на молодого казаха, который по-русски разговаривал, но видом был чрезмерно суров и нравом слишком беспокоен — то нахлестывал своего саврасого, чтобы вырваться вперед, то, напротив, отставал от подводы; третий, правивший арбой казах средних лет, за всю дорогу не проронил ни слова и не огляделся ни разу по сторонам, а все мычал и мычал про себя какую-то песню. Якову не вери-

[1] *Саба* — бурдюк.

лось, что его родители действительно живут здесь, посреди этих чужих по языку и облику людей.

Сомнения его вполне оправдались.

Все дети, приехавшие с ним вместе, отыскали своих родителей. Старик, который привез их, оказался отцом Рашита. Недаром он столько раз дорогой подсаживал его к себе на коня... Отцом Зигфрида был белобородый, горделивой осанки старик, со смуглым лицом и длинными, как у Чапая, только совершенно седыми усами. Так же, как Чапай, восседал он на статном аргамаке, правда, вместо сабли в руке у него была плеть с витой медной насечкой вокруг рукоятки. Все встретили здесь своих родителей. Даже Оля — совсем еще маленькая девочка со смешной, наголо остриженной круглой головкой...

Якова, понятно, тоже не оставили на улице. Какая-то женщина подошла к нему и увела с собой. «Я — твой мама,— твердила она.— Я — твой мама». Но Яков не забыл свою маму. Что-что, а глаза ее он хорошо помнил — большие и ясные, наполненные нежной синевой... И волосы — каштановые, с красноватым отливом. И розовый, разлитый по щекам румянец. Она была высокого роста, статная, крупнотелая, и кожа у нее была белая и гладкая, с чуть заметным золотистым пушком. Ну, а у этой — и глаза черные, и волосы, и роста она небольшого, и не полная, а, наоборот, тоненькая, худенькая. Лицо у нее не светлое, а смуглое... И еще: мама по-русски разговаривала, а эта одно русское слово, наверное, и знает, но даже его произносит с ошибкой. «Я — твой мама...» Какая она мама? Она чужая. Чужая мама...

Чужая мама, держа Якова за руку, привела его на окраину аула. Здесь стояла ее юрта, но не большая, не высокая, как у других, а поменьше — юрта-кос. В такой юрте взрослый человек только на середине может распрямиться в полный рост, а двое уместятся с трудом и только сидя. Однако Якову юрта-кос понравилась. На дом не похожа, скорее напоминает шалашик, сложенный ребятами для игры... Он сразу почувствовал себя тут легко, вольготно.

А когда перед ним появилась сметана в тостагане и мягкий, тающий на языке иримшик, он и вовсе повеселел. Там, где они ночевали, в конторе, он почти ничего не ел, теперь у него разыгрался аппетит, иримшик он глотал с жадностью, сметану вылизал до самого донышка. И вдобавок выпил наполненную до краев чашку айрана.

— Ох!— пронзнес он, погладив живот. Он чувствовал, что пожадиичал, переел, живот, отощавший в путн, прямо-таки распирало от сытости.

Глядя на него, чужая мама довольио рассмеялась.

— Апа,— сказала оиа, указывая на себя пальцем.— Апа!

Выходит, ее звали Апа?..

— А-иа!— повторил за иею Яков. Хорошее слово, короткое и удобиое для пронзиошеиия.— Апа,— повторил ои во второй раз.

Апа обрадовалась. Погладила Якова по голове, что-то сказала — Яков хоть и ие поиял, ио по голосу догадался: что-то приятиое. И улыбиулся в ответ.

Апа съела немиого курта, запила айраиом и ушла. Яков остался одии. Дверь была открыта, ио его ие тянуло иаружу. Перед уходом Апа приподияла иижний край юрты, и Яков, лежа иа старой кошме, иаблюдал, как из соседиих юрт выходили жеищииы, старикн. Все беспорядочиой толпой иаправлялись в сторону голубеющей иеподалеку реки. В толпе заметил ои и свою Апу. За взрослыми шли ребята, его сверстиики, кое-кто — постарше. Но нкого из тех, что приехали сегодия вместе с иим, здесь ие было.

Вскоре взрослые спустились к реке и пропали из виду. Ребята, гомоня, рассыпались по берегу. Стало тихо. Лишь с противоположиого берега времеиами доиосилось хрнплое тарахтеиье — ие то машииы, ие то трактора.

И вдруг вспомиился иеведомый, где-то иа другом коице земли, город, и будто было это давным-давио... Поезд иа далекой стаиции, где оии садилнсь... Мериое, одиообразиое постукиваиье колес... Хоть эшелои больше стоял, чем шел... Грузовики, хмурые лица солдат, таикн с вытяиутыми вперед стволами пушек... Вспомиилась мать, залитая кровью, н торчащая из разодраииой раиы острая белая кость... Раиьше эта картииа, возиикиув, иеизмеиио вызывала у иего дрожь во всем теле. Сейчас впервые такого ие случилось. Все, что мерещилось ему, было тумаино, расплывчато. И казалось страшиым, ио вряд ли пронсходнвшим иа самом деле. Однако тут у иего иавериулись слезы. Ои заплакал — тихо, беззвучио. И, плача, заснул.

Снова ему присиился все тот же сои — как ои бежит, ио бежит одии, а за иим, едва ие касаясь чериым брюхом земли, гонится самолет. У Якова уже подламываются

ноги, вот-вот он рухнет на землю... И самолет настигает его. Сейчас он начнет стрелять, сейчас... Яков оглядывается, но видит своего отца. Это не самолет, а отец спустился с неба и обнимает, целует его в лицо. Губы у него мягкие... Надо лбом — пятиконечная звезда... Отец!.. Он снова целует Якова, но губы у него странные — жесткие, колючие. Целует он или кусает, царапает?.. Папа!.. Нет, он смотрит — это совсем не папа... Нет! Яков хочет бежать, но не в силах двинуться. Хочет крикнуть — нет голоса. А страшный человек целует его, кусает, царапает. «Узнай меня!.. Ты меня знаешь!..» Да, он видел, видел этого человека! Он сопровождал их, ехал на саврасом коне...

— Кет!.. Прочь!..

Яков очнулся. Было уже темно, Апа вернулась домой. Увидев бычка, который просунул голову в юрту и облизывал спящего мальчика, она криком прогнала его прочь и принялась расталкивать Якова. Она гладила Якова по спине и, негромко смеясь, приговаривала что-то ласковое. Но он все дрожал, не мог прийти в себя.

Апа принесла кизяку, сложила посреди юрты и разожгла огонь. В чугунке, подвешенном к треноге, вскипятила молоко, подлила воды, снова вскипятила и насыпала в чугунок талкана. Сваренный суп, как понял Яков, назывался «кора коже». Апа наполнила две глубокие чашки. Одну, поменьше, поставила перед Яковом, вторую пододвинула к себе. Суп оказался Якову по вкусу. Он попросил добавки и выпил еще половину кесе.

Кровати в юрте не было. Апа постелила на полу. Якова она укрыла одеялом, до того износившимся, что ткань расползлась и во многих местах наружу торчала шерсть. Сама же она накрылась шубой и заснула, едва коснувшись головой свернутой валиком старой стеганой телогрейки.

Якову не спалось на новом месте. В золе тускло мерцали не хотевшие угасать угольки. В щелке над дверью перемигивались две-три неяркие звездочки. Угольки будто дышат — разгораясь, бледнея и снова разгораясь. Но чем дальше, тем слабее их отблески. Мало-помалу они стали затухать и наконец погасли. Зато звездочки засияли, даже сделались как-то крупнее. Две звезды, одна над другой. И обе подмаргивают, словно манят куда-то, лукаво усмехаясь... Внезапно звезды тоже погасли... Снова загорелись... И опять погасли... Кто-то попросту заслонил

их, вот в чем дело. Кто-то, подойдя к двери, прислушался — и тнхо-тихо, с легкнм шорохом, просунул руку в щель. И пытается отстегиуть крючок. Рука, видио, не дотяиулась, крючок остался в петельке. Но человек, скрытый темиотой, еще дважды пробовал добраться до запора. Накоиец ои прекратил свои суетиые попытки. Какое-то время его совсем ие было слышно, н Якову показалось, что он ушел. Однако вскоре раздался глуховатый, с характериой хрипотцой голос:

— Сакып... Эй, Сакып...

Ои звучал иегромко, ио Яков узиал его сразу — Дауреибек!..

Всю дорогу, пока они ехали, человек этот ни разу не улыбнулся, ие заговорил ии с кем. Якову запомнился иеприязнениый, сумрачиый взгляд, который ои бросал из-под тяжелых век — то ли иа иего, то ли иа сидевшего рядом Зигфрнда. Хорошо еще, что с иими был тот добрый старик — иавериое, начальник, и Дауренбек боялся прн ием дать выход затаившейся злобе... Но теперь он явился иочью, подкрался к юрте... Яков лежал, боясь пошевелиться, ии жив ии мертв.

Дауреибек еще раз или два подал голос и опять просуиул руку в щель. Крючок слабо звякиул, дверь скрипнула и отворилась. Яков закрнчал. Дауренбек, едва успев перешагиуть порог, застыл иа месте. Тихо стоиавшая во сне Апа проснулась, и Яков кубарем покатился к ней, юркиул под шубу, прижался к теплому боку. Что случилось потом?.. Ои бы ие смог ответить. Ои чувствовал только, что теперь ои в безопасиости, Дауреибек не сумеет его выкрасть... Навериое, Дауренбек тоже поиял это и страшно разозлился. Он пиул ногой чугуиок, разлил остатки супа, опрокииул чайинк с водой. А выходя из юрты, полосиул по ее стеике камчой. Апа поднялась, ощупью отыскала, поставила иа место чайник и чугуиок, накрепко затворила дверь, потом легла, прижала к себе Якова и долго плакала. Яков, прииикший лицом к ее груди, слышал, как гулко билось ее сердце.

Утром он не решился остаться дома одии, Апа взяла его с собой. Оказалось, оиа работает иа хирмаие. А тарахтеиье, которое доиосилось до Якова вчера, издавала машина, которую он здесь увидел. Называлась она — мо-ло-тил-ка. Вместе со всеми Апа подносила к ией пшеиичные снопы н подавала человеку, который швырял их в железную, дрожащую от жадиости пасть. В густой пылн,

замутившей воздух над хирманом, только глаза у Апы блестели по-прежнему, а губы почернели, запеклись, и лицо было запыхавшееся, потное. Люди работали без передышки, молотилка им не давала ни минуты покоя. И лишь когда она стихала, подносчики спускались на землю кто где стоял. Но тут появлялся Дауренбек... Больше других от него доставалось Апе. Но все помалкивали в ответ на его крики и попреки, молчала и она. Только молчала не как остальные, не потупив глаза, а глядя Дауренбеку прямо в лицо. Видно, ничуть его не боялась. И Яков его тоже не боялся — здесь, на людях. Знал, что у всех на виду его никто не посмеет тронуть, и бегал вокруг хирмана, гоняясь за кузнечиками.

А вечером, когда весь аул погрузился в сон, Дауренбек пришел к ним снова. Апа еще не ложилась. Дауренбек вел себя совсем иначе, не как в прошлую ночь. И в голосе у него не было злобы — только укор, и просьба, и даже мольба. Долго упрашивал он о чем-то. Но Апа не смягчилась. А когда он сделался слишком настойчив, разбудила Якова, который было прикинулся спящим.

Дауренбек ушел. Апа уже не плакала, как вчера. Только вздыхала. Долго вздыхала. До самого рассвета...

Через некоторое время Яков научился немного понимать по-казахски. И тогда оказалось, что Апу звали вовсе не «Апа», а Сакыпжамал. Но это сложное и длинное имя выговаривать ему было трудно, и, хотя он отлично понимал, что «апа» значит «мама», а Сакыпжамал никакая ему не мать, он продолжал называть ее по-прежнему.

Постепенно мальчик всем сердцем привязался к ней, и она уже не казалась ему чужой. Впрочем, не чурался он теперь и других жителей аула: они тоже, он чувствовал, не были для него чужими людьми. Первоначальная робость покинула его. Яков свободно, никого не боясь, разгуливал между юртами. Правда, он так и не сошелся поближе с ребятами, но, как бы то ни было, к жизни в ауле успел привыкнуть...

Едва посветлеет небо, перед юртой слышится конский топот. И зычный голос бригадира Берднена:

— Сакыпжамал!.. Эй, Сакыпжамал!..

А она уже не спит. Сидя на корточках, разгребает вчерашнюю золу, чтобы раздобыть тлеющие под ней угольки, раздувает их, подкладывает в огонь кусочки кизяка.

— Ау, кайнага[1]!— откликается она.
— Ах ты, шустрая! Уже проснулась?..
Конь под Берденом резвится, играет, и бригадир направляет его к соседней юрте.
— Кулиман!.. Эй, Кулиман!..
Никакого ответа.
— Эй! Кулиман! Поднимайся, засоня! Вставай, если не забрюхатила! Эй!
Из юрты доносится брошенное в сердцах крепкое словцо.
— Чего же ты, милая, отмалчиваешься, если проснулась?.. Солнце встало, и ты вставай!— посмеивается Берден, и белоногий Актабан уносит его к следующей юрте.
— Бекет, эй, Бекет!
Здесь ему тоже не сразу удается добиться ответа.
— У-у, сорванец! Русские пацаны в твои годы сами на фронт просятся! А ты, выходит, бока отлеживаешь?.. Ай, Бекет, ай-ай!..
Из юрты по-прежнему ни звука.
— Встанешь ты наконец? Бекет, эй, Бекет!..
Видимо, Бекет отзывается, но что при этом он говорит — не слышно. Зато хорошо слышно, как Берден отвечает:
— Э-э, айналайн, в тринадцать лет мужчина — в доме хозяин, так что умывайся скорей да перекусывай!
И бригадир едет дальше.
— Вот окаянный Тлеубай! Настоящий единоличник! От всех отделился, юрту черт знает где поставил... И ведь нет чтобы самому вовремя подняться, тоже дожидается, пока разбудят!..— ворчит Берден, направляясь к юрте Тлеубая, которая стоит в стороне от остальных, на краю аула.
Яков просыпается раньше всех и смотрит, щурясь, в дырочку, пробитую в войлоке. Ему все видно, все слышно. И только когда Берден исчезает из его поля зрения, он поднимается с постели.
Апа между тем уже подоила корову. Кизяк уютно потрескивает в очажке, мурлычет песенку закипающий чайник. Вот и самотканый дастархан разостлан на полу. Перед Яковом появляется кесе с остатками вчерашнего супа. Сама же апа пьет чай. Собственно, не то что бы

[1] *Кайнага* — обращение к мужчине, старшему родственнику мужа.

чай. Попросту кипяток, забеленный молоком. Потому и называется он ак су, белая вода. Зато пьет его она в полное удовольствие — пять-шесть чашек подряд.

Только собрали дастархан — снова конский топот. Но на этот раз бригадир Берден не тратит времени на шутки, голос его звучит громко, властно.

— Сакыпжамал! Пора, выходи!..

— Кулиман, а Кулиман!.. Долго возишься!..

— Бекет! Хватит глаза протирать, светик мой! Тлеубай, что на краю света живет, и тот уже на хирмане...

— Торопись, торопись, поторапливайся!— покрикивает он перед каждой юртой.

Впрочем, сейчас и без того никому не придет в голову медлить. Люди вереницей, один за другим, тянутся на колхозный ток.

Яков тоже отправлялся поначалу на хирман, не желая далеко отлучаться от апы и каждую минуту ощущал ее успокоительную, привычную близость. Кроме того, были у него некоторые опасения по поводу Дауренбека... Но постепенно он убедился, что никакая беда ему не грозит, да и хирман прискучил. Поэтому, просыпаясь с рассветом, он частенько оставался дома. И с аульными ребятами свел знакомство, хотя не слишком короткое. Были среди них и его приятели по детдому, но дефект, сохранившийся у Якова в речи, вынуждал его сторониться сверстников.

Тем не менее у него, предпочитавшего играть в одиночку, были свои развлечения, свои заботы. То прокатится верхом на теленке, то отправится сторожить корову. Иной раз возьмет мешок и уходит собирать кизяк. Вроде и забава, и дому помощь. Апа довольна, да и остальные, глядя на Якова, улыбаются. Уж на что суров к нему Дауренбек, так и он, завидев однажды, как Яков, пыхтя, волочит на себе мешок, полный кизяка, пробормотал, по-видимому, что-то одобрительное...

С первым снегом Сакыпжамал перебралась на одну из колхозных зимовок, поближе к овцам. Глинобитная мазанка, до половины врытая в землю, стояла у подножия высокой горы, как бы наглухо отгораживающей ее обитателей от остального мира. По эту же сторону, куда хватит глаз, простиралась плоская равнина, где на тридцать-сорок километров не встречалось примет человеческого жилья. Если бы не отара, бредущая спозаранок в степь, не рассыпанный по снегу овечий помет и не следы

диких зверей,— равнниа, насквозь продуваемая ветром, вообще казалась бы мертвой. Весь день кружнтся иад загоиом стая пестрокрылых сорок. Всю ночь зауиывиый волчнй вой оглашает предгорья. Сорокн да волкн — едннственные вестннкн жизни, которая продолжается где-то за пределами знмовкн, ее однообразного, унылого существовання... Впрочем, людям н здесь некогда скучать от одиночества, нзнывать в тосклнвых мыслях.

Сакыпжамал ухажнвает за ослабшими овцамн, ягнятамн, козамн, которым отведено место за плетеной нзгородью, на солнечной строрие загона. То сеио нм подбрасывает, то загон чистнт, то гоннт к роднику на водопой. От вечно вздыхающей и охающей старухн чабана Кобегена ждать помощи не приходнтся. Зато прнсматривать за овцамн Сакыпжамал помогает Яков, нлн Жакып, как пронзносят его нмя на казахский лад жителн аула. Покончив с хлопотами по зимовке, Сакыпжамал запрягает в волокушу быка с рваной ноздрей н приннмается за подвозку сена. Яков едет с нею вместе. Стоя на волокуше, он укладывает, умниает шестом с развнлиной на конце подаваемое ему сено — чем он еще в силах помочь?.. Но ему представляется, что делает он важное, серьезное дело, без него Сакыпжамал не обойтись... И домой возвращается очень довольный собой.

Все четверо жнвут в одном домишке. Главную, «гостевую» комнату заннмает Кобеген с женой, вторую — Сакыпжамал и Яков. По деревянной кровати, старому сундуку, выцветшим, сложенным горкой одеялам можно суднть, кто нз ннх н где устронлся. Но живут онн сообща, вместе обедают, пьют чай, коротают долгие вечера.

Яков любил этн вечера — овец запнралн на ночь в загоне н все собнралнсь в одной комнате.

Старуха, жена Кобегена, только н знала, что подкладывала топку в огонь н следнла за чайником. Сакыпжамал крутила ручную мельницу илн толкла поджаренные пшеннчные зерна. Иногда она мяла курт, а когда хватало муки, раскатывала тесто под лапшу. В центре комнаты, на покоробнвшемся от временн круглом прнземнстом столе светился фнтнлек, прнстроенный внутрн надколотой кесе. Возле стола, на кошме, располагался Яков, а у печкн, на козьем тулаке, восседал, по-турецкн подвернув иоги, сам Кобеген. Отогревшнсь чаем, он блаженно жмурился, поглажнвал лоб, покачнвался всем телом нз стороиы в сторону и иаконец, не глядя на нстомнвшегося от

нетерпеиия мальчика, иачинал низким, густым голосом:
— Давиым-давио это было... Еще той порой, когда волк ходил в больших иачальииках, а лиса у него была телохраиителем...

Так начинал ои, всегда одиими и теми же словами, ио каждый раз за ними следовала иовая сказка.

И не было случая, чтобы, когда старый Кобегеи приимался за сказку, жеиа его ие фыркиула:

— П-шшш... Нашелся рассказчик!

Но Кобегеи как будто ее и слышать ие слышал. Расчешет усы, разгладит бородку и заводит скороговоркой:

— Жил в те давние времеиа одии бай, дал ему бог множество скота, только ие дал сына...

Или:

— Жил в те давние времена один бек-зада, и отправился ои по свету искать себе невесту, красивейшую из самых красивых, достойнейшую из самых достойиых...

Или:

— Жил в те давиие времена один сирота, ходил ои, босоногий, в Багдаде по базару и горько вздыхал: «Что мие делать?.. Ума у меня миого, а в кармаие ии динара, одни дырки...»

— Какая кому польза от этих твоих богачей и батыров, сыновей беков и босяков-голодраицев?— ие унималась старуха.— Что тебе до базара в Багдаде?.. Сидел бы себе да хлебал суп, а не задуривал иам головы небылицами!..

И верно, до сказок ли было ей, когда деиь-деньской ие отходила оиа от очага? До сказок ли Сакыпжамал, если у нее забот по горло? Да и Жакып, не слишком-то усвоивший казахский язык, способен был понять сказку лишь в самых общих чертах.

— ...И вот, повстречав своих родителей, обрел ои покой души и тела,— заканчивал Кобеген.

Или:

— ...И вот, сыграв свадьбу, которая продолжалась сорок дней, и затеяв праздник, который продолжался тридцать дией, добился ои исполнения всех желаний.

Или:

— ...И вот сделался он для людей опорой, для своей страны защитииком.

Так тянулись вечера. И расходились все четверо только тогда, когда наступало время ложиться.

Старуха, охая и стеная, забиралась на скрипучую де-

ревянную кровать и всю ночь ворочалась, проклиная попеременно бога и людей.

Кобеген укладывался на торе[1]. Он с головой заворачивался в тулуп из черной овчины и тут же начинал храпеть. Ночью два-три раза он поднимался, прохаживался вокруг землянки, будил и взбадривал собак. Громкий лай сплетался с низким распевным баритоном Кобегена, и горное эхо возвращало эти звуки, многократно их повторив.

Яков и Сакыпжамал устраиваются в своей комнате у печки. Сакыпжамал, как и жена чабана, всю ночь проводит неспокойно. Хотя никого при этом не ругает, не проклинает. Просто потихоньку вздыхает, вздыхает... Или уткнется лицом в подушку и стонет. Иной раз в очереди с Кобегеном обойдет скотный двор, наведается к овцам. Якова она никогда не зовет с собой, но он встает вместе с Сакыпжамал и выходит во двор.

Морозной ночью, когда на выстывшем черном небе даже звезды, кажется, озябли и дрожат от холода, Сакыпжамал и Яков стоят рядышком, глядя на уходящую вдаль темную гряду гор, и так же, как старый Кобеген, криком ободряют заскучавших собак и пугают волков. Только странно — собаки не отзываются, не лают им в ответ. Знай полеживают себе, свернувшись клубком, на соломе, с подветренной стороны. Подойдешь к ним — только вскинут голову да помашут хвостом. Ну что ж, Сакыпжамал и Яков их не беспокоят. Хочется им полежать, подремать — пускай себе дремлют... Накричавшись до хрипоты, на страх волкам, они возвращаются в дом, промерзшие, издрогшие.

Первым поднимается на заре Кобеген. За ним — Сакыпжамал и Яков. И наступает каждодневная жизнь, полная нескончаемых трудов и скудных радостей.

Яков тоже занят с утра до вечера. Но по-настоящему он устает разве что в те дни, когда чистит загон. Обычно же там, где взрослые валятся с ног, у него, малолетки, сохраняются и силы, и бодрость. Но весной дел прибавилось. Начался сезон окота. Все связанные с этим заботы легли на плечи Сакыпжамал и Якова. Кобеген уходил с отарой на пастбище, от жены его проку было мало, вот и хлопотали они вдвоем. Сакыпжамал ухаживала за истощенными животными, едва дотянувшими до весны.

[1] *Торь* — почетное место.

Присматривать за приплодом, подпускать его к маткам, возиться с новорожденными ягнятами выпало на долю Якова. И все же, как ни тяжело ему порой приходилось, многое в кругу его теперешних обязанностей нравилось мальчику. А при виде жалких, беспомощных ягнят на хилых ножках у него теплело в груди, он чувствовал себя большим, сильным... В те начальные весенние дни у Сакыпжамал тоже стало веселей на душе. И даже ворчливая, угрюмая старуха Кобегена реже воссылала богу свои проклятия.

Небо расчистилось, целыми днями с голубой вышины светило яркое солнце. Снег лежал только по горным склонам. В низине, над прогревшейся землей курился сизый парок, и вокруг загона пробивалась молодая травка, да такая зеленая, что глазам не верилось. Яков выпускал сюда своих ягнят и козлят, они резвились на весеннем солнышке, и он с ними... А по вечерам, как и прежде, Кобеген рассказывал сказки. Яков про себя считал, что он — приемный сын Сакыпжамал и Кобегена. Так ему все чаще казалось...

Но подошло время, когда Кобеген повел отару на горное джайляу. Сакыпжамал с Яковом перебрались в сенокосную бригаду. Здесь она стала работать копнильщицей.

Забывались и Кобеген, и его сказки,— Яков подружился с ребятами и целые дни играл в асыки. Он уже не чувствовал себя чужим, и с теми, кто хотел бороться — боролся, кто хотел драться — дрался. Все куда-нибудь бежали — и он бежал, все кричали — и он кричал. С ним затевали спор — он тоже не лез в карман за словом. Короче, за год он вполне свыкся с аульной жизнью, а что до языка, то почти все услышанное он понимал и сам без особого труда мог выразить любую мысль. Правда, про себя, не вслух. Речь его по-прежнему спотыкалась на некоторых звуках. Но ребята уже привыкли слышать от него вместе «асык» и «сака»—«атык» и «така», они этого попросту не замечали.

И все же, как бы там ни было, Яков предпочитал где можно смолчать, не подавать голос...

За сенокосом последовала жатва.

Когда убрали урожай, Сакыпжамал вернулась на старую зимовку, и Яков, разумеется, с нею.

Так шло время...

На третий год осенью, в тот день, когда землю покрыл

первый снег, умерла жена Кобегена. Последний месяц она не поднималась, ночами стонала, бредила: «Пшшш... Сказки... Тебе ли рассказывать сказки... Кому твои сказки нужны... Кому ты сам нужен...»

На зимовку как раз в тот день приехал Дауренбек и с ним еще несколько человек — переписывать скот. Двое из приехавших вместе с Кобегеном отправились рыть могилу неподалеку от зимовки, рядом со старым, полуобвалившимся мазаром[1]. Земля здесь была твердая, каменистая, пришлось промучиться до позднего вечера. Схоронили старуху лишь на следующее утро. Потом Дауренбек со своими людьми закончили пересчет поголовья и уехали на другую зимовку. Кобеген выгнал своих овец пастись. Сакыпжамал вдвоем с Яковом остались в опустевшем дворе...

Пока старуха была жива, ее мало замечали. Ворчала себе, кряхтела,— никто не прислушивался к этому кряхтенью, не отвечал на бранчливые слова. Но вот старухи не стало, и в доме сделалось как-то пусто. Почувствовали это и Кобеген, и Сакыпжамал, и даже Яков. Вечерами Кобеген уже не усаживался, скрестив ноги, не раскачивался, зажмурив глаза, подыскивая новую сказку... И у Сакыпжамал опустились руки, свою ежедневную работу исполняла она без прежнего старания, кое-как. Якова одолели лень и сонливость. Зима тянулась без конца...

К весне, заметил Яков, в доме случились некоторые перемены. Однажды вечером Кобеген снова начал рассказывать свои волшебные истории... Сакыпжамал стелила себе теперь не там, где спал Яков, а рядом с Кобегеном.

Но вот странно. Прежде Кобеген всегда имел в запасе новую сказку, и не было такого, чтобы он возвращался к рассказанной. А этой весной что-то с ним стряслось. То начнет сказку, которую слышали от него два-три дня назад, то и вовсе запутается — возьмет у одной начало, у другой конец... Изменился нрав и у тихони Сакыпжамал. По каждому поводу ворчала она, покрикивала на Кобегена. И все меньше внимания на Якова,— в ней словно что-то угасло, приглохло...

Раньше, бывало, Кобеген и ухом не ведет на воркотню своей старухи. Теперь же стоит Сакыпжамал шевельнуть бровью — он и оробел, а скажет сердитое слово —

[1] *Мазар* — надгробное сооружение.

старик и вовсе потерялся. Вечером лежат они, отвернувшись друг от друга, каждый под своим одеялом. Однако их постели располагались рядом, и Яков думал, что на летнее джайляу отправятся они вместе с Кобегеном. Вышло иначе. Они перебрались в сенокосную бригаду, а Кобеген ушел со своей отарой один.

Вскоре и Якову пришлось на себе испытать одиночество. Запряженные в сенокосилку быки взбунтовались, и Сакыпжамал, бедняжка, угодила под косу... Когда она умерла, Якову сделалось горько, тоскливо, но он не плакал.

То ли потому, что Сакыпжамал никогда не имела собственных детей, то ли потому, что Яков был уже не малый ребенок, а сама она была еще так молода, то ли потому, наконец, что не нашли друг для друга внятного языка их души, угнетенные — каждая своей — печалью, но, как там ни объясняй, не сроднились они, не стали сыном и матерью. Пока жива была Сакыпжамал, Яков чувствовал себя сиротой, которого приютила дальняя родственница. Тем более в последние месяцы... И все же истинный смысл слова «сирота» Яков постиг лишь теперь, оставшись без Сакыпжамал.

Раньше у него был с в о й дом, с в о я, хотя бы и маленькая, юрта. Здесь он мог без спроса брать что хотел, и есть сколько хотел, не испытывая голода и не ценя сытости. Но вот ему довелось жить в ч у ж о й юрте и накрываться ч у ж и м одеялом, и есть не когда захочется, а когда разрешат, усадят вместе с собой... Раньше для любого в ауле он был полноправным сыном Сакыпжамал. Кем был он теперь?..

Лето кончилось, люди стали разъезжаться по зимовкам, он присоединился к кому-то и добрался до Кобегена.

Старик жил вместе с семейством вернувшегося в прошлом году фронтовика. Он сильно изменился — похудел, осунулся, только и остались на ссохшемся лице что костистые, выпирающие скулы да мутноватые, как бы выпученные глаза. Все молчит, молчит, а скажут ему что-нибудь — не расслышит. А расслышит, так в ответ только кивнет или покачает головой... Но приезду Якова он обрадовался: на ночь укладывал рядом, подсаживал в седло, выезжая пасти овец. И Яков снова почувствовал себя человеком, имеющим собственный кров и стол. Но

не надолго. В середине зимы Кобеген отправился следом за своей женой и Сакыпжамал.

Вот когда у Якова из глаз хлынули слезы... Он рыдал, оплакивая смиренного Кобегена. И несчастливую Сакыпжамал. И собственную мать, умершую в луже крови, которая вытекла из ее тела, из ее страшных ран. Плакал он и по ворчливой старухе, изглоданной болезнями, простонавшей половину жизни на своей деревянной кровати. Но больше всего плакал он о себе самом, хотя навряд ли понимал это... Плакал — и не мог остановиться...

Это были его последние в отрочестве слезы. Суровая жизнь рано закаляет сердце. Якову шел четырнадцатый год, когда он почувствовал себя взрослым, вполне самостоятельным человеком, у которого достаточно сил, чтобы обеспечить собственное существование. И в самом деле, благодаря свежему воздуху и физической работе он вытянулся, выглядел крупнее своих сверстников, у него были крепкие, ловкие, привычные к любому труду руки. В те годы на таких ребят смотрели как на равноправных членов колхоза.

Все лето он убирал сено в копны. Осенними днями, увязая в грязи, помогал ремонтировать старые зимовки. В морозы чистил загоны для овец, возил сено,— словом, делал все что придется. За несколько лет он превратился в рослого, плечистого парня с грубоватым, обветренным лицом и несколько угрюмым, а может быть, просто застенчивым взглядом.

Повзрослев, он принялся за розыски родителей, точнее — отца. И попытался выяснить, где он сам родился, откуда попал в детский дом. Какая, наконец, была у него настоящая фамилия. Но на все запросы следовал одинаковый ответ: не известно, не известно... Выходит, не зря его назвали в детдоме Яков Неизвестный. А по казахским понятиям — безродный. Не имеющий своего рода-племени. Так сказать, найденный средь дороги... Ему не хотелось мириться с этим. Но все-таки кто же он тогда? Иванов? Или, может, Петров? Или Сидоров?.. Не известно. Может, и так, может, и этак... Одним словом, Яков Неизвестный... Поразмыслив, он выдумал себе фамилию: Сакыпжамалов... Нет, женское имя тут не годится. Кобегенов... Пожалуй. Яков Кобегенов... Так его и записали в документах.

Шли месяц за месяцем, год за годом. Имя его приобрело более удобную для произношения форму «Жакып»

и в этом виде закрепилось за ним. И между собой уже не называли его ни «орыс», что значит «русский», ни «жойыт», что значит «еврей». Он стал, как и все аулчане, смуглым от солнечного загара и прищуривал глаза на остром степном ветру, и ходил в стеганых штанах и шубе из овчины.

В колхозе Жакыпа знали как парня трудолюбивого, добросовестного, который не имеет привычки уклоняться от поручений заведующего фермой или бригадира. За что ни возьмется, все сделает быстро, аккуратно. Потому чуть где прорыв — сейчас же туда Якова, где какая дырка — кроме Якова и заткнуть ее вроде бы некому. Иные, глядя на него, усмехались, называя «чокнутым»; другие ставили в пример. «Завести бы парню свою кибитку,— говорили о нем,— зажить своим домом, как и все...» И нашлись доброхоты, начали подыскивать для Жакыпа невесту.

На примете у них оказалась повариха Полина. Несколько лет назад появилась она по какому-то случаю в ауле и с тех пор жила здесь, никуда не уезжая. Деньденьской крутился возле Полины, рядом с казаном, шустрый черноглазый мальчуган лет шести. Сама же она была, как говорится, видная женщина, с широкими бедрами, тугими икрами, с пышной короной золотистых волос на голове... Но едва зашла речь о сватовстве, Полина тут же отмахнулась:

— Нужен мне ваш заика!.. За такого замуж? Да боже меня сохрани!..

Вернулись от нее сваты как в воду опущенные и опять стали думать, какую бы невесту в ауле для Жакыпа подыскать.

Сам же он в то время меньше всего был озабочен этим. По-прежнему замкнутый, сосредоточенный в себе, он задавался совсем иными вопросами и пытался найти на них ответ.

Кто он, зачем живет, чего хочет в жизни добиться, кем будет завтра, через год, через десять лет? Все люди вокруг живут, как и он: пасут скот, косят сено, убирают урожай, и так год за годом,— старые и молодые, мужчины и женщины, и нет им покоя и отдыха ни летом, ни зимой. А между тем ведь можно жить по-иному. Об этом, он слышал, толковали геологи, все лето искавшие руду и раскинувшие свои палатки на джайляу, рядом с аулом.

Странным казалось им, что он, русский человек, живет один-одинешенек, в казахском ауле. И они, приглашая Жакыпа к своему костру, расспрашивали, каким образом он здесь оказался, и рассказывали о местах, где жизнь для него была куда привычней, где есть, например, овощи и фрукты, и многое другое, особенно в больших городах. Правда, из-за того, что Яков не был силен в русском, они не вполне понимали друг друга. Но геологи, полагая, что всему виной глуховатость Якова, терпеливо ему все разъясняли. Он же уловил главное: городская жизнь — совсем другое дело; работаешь по часам, когда положено — отдыхаешь; в субботу — короткий день, в воскресенье нет работы, один месяц в году опять же отдыхаешь; и притом — столовые всюду, рестораны, еда — какая хочешь, в любой момент; на каждом перекрестке — кино, театры, короче, все, о чем только можно мечтать. Так что же его здесь держит?.. Да здесь, говорили ему, и собаку привяжи — она веревку перегрызет и сбежит.

И тут задумался Яков — задумался впервые в жизни — над тем, что он — человек другого народа, другой национальности. Снова ожили в душе затуманенные картины прошлого, вспомнились отец, мать... Даже имен их он не знает. Мать умерла, отец, даже если жив, никогда с ним не встретится. Нет у него никого в целом свете. Только о себе и остается ему думать, только для себя жить. Ну, а его нынешняя жизнь — какая это жизнь? Все тут чужое, ничто не держит, надо уходить. К людям, которые как-никак твои соплеменники, что ли, собратья по крови, по языку, хотя и не родные, конечно...

Сам ли Яков додумался до таких мыслей, другие ли подсказали — он бы не ответил. Но, как бы там ни было, мысли эти прочно засели у него в голове. И он решил уйти, податься в город.

Правда, сделать сразу это ему не удалось. Его не хотели отпускать в разгар летней страды. Пришла осень. Якова отговаривали, пытались удержать. Но он не слушал ни наставлений, ни добрых советов...

* * *

Миновал год. По слухам, достигшим аула, Жакып объявился в райцентре. Кто-то его там видел, кто-то с ним говорил... Рассказывали о нем всякое. И что документов у него каких-то не оказалось, не смог устроиться в городе — вот и вернулся. И что не в документах дело, а

в том, что по-русски Жакып знает плохо, вот и не прижился. И что, напротив, живется ему в городе хорошо, а теперь он просто приехал в отпуск... Словом, чего только ни болтали, каких догадок ни строили... Пока в один прекрасный день в аул не заявился сам Яков.

Одет франтом. Нейлоновая белая сорочка, на груди — галстук, повязанный по моде широким узлом. Костюм новый, коричневый, только брюки слегка отвисли в коленях и складки в дороге примялись; на голове — шляпа с полями, от них по лицу мягкая тень. Летний плащ свисает небрежно с левой руки, в правой — чемодан, блистающий «молнией» и медными застежками. А сам-то — и волосы длинные отпустил, и усики завел... Совсем не тот Жакып, какого знали! Один человек уехал — другой приехал!..

Люди-то, понятно, узнавали его сразу, хотя здоровались поначалу отчужденно, с прохладцей. Но двух своих сверстников, Зигфрида и Рашита, Яков дружески обнял, притиснул к могучей груди, стариков уважительно похлопывал по спине, детей целовал в крутые щечки, улыбаясь при этом, что-то радостно бормоча... Не только обликом переменился Яков, что-то непривычное прорезалось в его характере...

Он побывал гостем в каждой семье. Чемодан его, оказалось, был набит пачками индийского чая и всевозможными игрушками. Чай — для старых, игрушки — для малых... И люди удивлялись: «Апырай, город и вправду, выходит, уму-разуму каждого учит?.. Всего какой-нибудь год прожил там наш Жакып, а уже многого достиг...» И, забыв, как год назад осуждали Якова, вздыхали: «Э, что у нас тут есть? Потому только и сами живем, что родная земля...» И ждали, когда соберется он в обратный путь, чтобы поднести ответные подарки.

Но случилось такое, чего никто не предвидел. Отдохнув несколько дней, вдоволь отведав кумыса и мяса, Яков как-то утром облачился в новенький синий комбинезон, до того лежавший на дне чемодана, и вышел со всеми стоговать сено. Так было и на завтра, и на третий день... А вскоре Яков снова удивил весь аул, и на этот раз тем, что поселился в доме у старой Кулиман. Та самая Оля, которую Кулиман взяла на воспитание, порядком засиделась в девушках. И вот однажды на косьбе, где она работала копнильщицей, дождавшись полуденного перерыва, Яков подошел к ней и сказал... Что и как он

сказал, никто, разумеется, не слышал, никого в то время рядом не было. И потому не станем выдавать за истину вольные догадки и шутки аульных остряков. Суть не в том, что Яков сказал, а в том, что он сделал.

А сделал он все, как положено: съездил со своей невестой в райцентр, привез свидетельство о браке и в тот же день устроил скромный свадебный той.

Только теперь убедились люди, что Жакып вернулся в аул насовсем и никуда уезжать отсюда не собирается.

РУСЛО

В те времена я только начинал работать в газете, и вот накануне Дня Победы мне дали задание — написать очерк о ветеране-фронтовике. Причем о таком, который еще не привлек внимания нашей журналистской братии. По совету редактора я собрался и зашагал к городскому госпиталю инвалидов Отечественной войны.

Главный врач сразу понял, кого я ищу, и назвал мне Тогрыла. По его словам, за двадцать лет ему довелось перевидеть множество пациентов, но такого стойкого, волевого, такого жадного к жизни он не встречал... Что ж, отлично!

Тогрыл играет в шашки, сказали нам, поищите его в саду. Я удивился. Ведь только что я слышал, что у него нет обеих рук и ноги. Как он играет? Допустим, кто-то двигает за него фигурки, но какая радость ему от подобной игры?.. И вообще, как он ест, как одевается? Что это — существование или жизнь?..

Он сидел за врытым в землю, грубо сколоченным столом, спиною к нам. Подходя, мы услышали раскатистый, добродушный хохот. Полный бритоголовый казах, похожий на Котовского, вдруг вскочил со скамейки напротив и начал дрожащими руками застегивать на груди халат.

— Ойбай, Саке, простите... Так уж вышло: зазевался — и выиграл,— сквозь смех оправдывался Тогрыл.— Ей-богу, нечаянно!.. Давайте не будем эту партию засчитывать?

— Э, что с тобой поделаешь,— насупился Саке.— Как ни играй — все равно проиграешь.— Он взял свою палку, прислоненную к столу, повернулся и пошел прочь. В его торопливой прихрамывающей походке чувствовалась нешуточная обида.

— Сам виноват... Не надо было зевать...— сокрушенно повторял Тогрыл.

Нам с доктором оставалось только улыбнуться, глядя на ребяческие огорчения двух взрослых людей.

— Я привел вам нового партнера, Тока,— сказал главврач.

Только теперь Тогрыл повернулся к нам. Волосы у него были совершенно седы, и брови казались как бы осветленными инеем. Но глаза живые, с острым, пристальным взглядом,— судя по лицу, ему не перевалило еще за пятьдесят. И его инвалидность была на вид не похожа на ту, какая мне представлялась. Одна рука, правда, была срезана по самое плечо, на другой недоставало лишь кисти. Культя напоминала разведенные ножницы. Выглядела она неуклюжей, и в первый момент я усомнился, что ею можно пользоваться. Но тут же понял, что ошибся. Тока двумя своими «пальцами» принялся расставлять шашки на доске и делал это быстро, ловко. «Пальцы», разумеется, уступали природным в гибкости, да и было их не пять, а два, но приноровившегося владеть ими человека нельзя было назвать беспомощным.

Мы с Тогрылом без труда нашли общий язык. Нрав у него оказался открытый, легкий, характер простой и бесхитростный. Я услышал, как он на протяжении двух лет после ранения находился на грани жизни и смерти, какие муки выпали ему на долю, как хирурги думали ампутировать и эту последнюю культю, в которой засел осколок снаряда, и как он, не согласившись, решился на сложнейшую операцию — и она закончилась успешно. Ничего не скрывая, он рассказывал мне про свои страдания, телесные и душевные, про то, как несколько раз умирал и воскресал заново и как, случалось, обессилев от непрекращающихся мучений, рыдал среди ночи, упав лицом в подушку.

Не помню, сколько партий мною было проиграно, но после двух-трех встреч я собрал весь необходимый для очерка материал.

В молодости перо, как говорится, само бежит по бумаге. Очерк был написан и, на мой взгляд, довольно удачно. Не только на мой, впрочем, но и на взгляд жены, которой читал я его трижды.

Однако редактор очерка не одобрил, обнаружив в нем множество изъянов. Кто он, мой герой, что за человек,

какие у него заслуги? Танк подбил или дзот разрушил? А ордена — сколько у него орденов? Ну, допустим, он явил пример духовного, так сказать, подвига. Но ради кого, в конце-то концов? Ради чего? Ради собственной жизни — так получается? Но какая польза от этого обществу?.. Да, о многом я не подумал, беседуя с Тогрылом, и столько труда пошло прахом. К тому же я получил выговор за то, что не подготовил столь нужный для газеты материал. Выговор был, правда, устный, да что с того?.. Выговор есть выговор.

Но мучило меня другое — не труд, пропавший понапрасну, не выговор, полученный на виду у всей редакции. И что там жена, которая лишилась гонорара, уж ее я как-нибудь утешу, не в этом дело... С каким лицом покажусь я Токе?.. Ведь я обещал, что не сегодня-завтра очерк опубликуют. Но не зря говорится: наш язык — источник всех бед... Хоть не показывайся Тогрылу на глаза! Но в конце концов я решил свалить вину за свои злоключения на редактора и с тем отправился в госпиталь.

Тогрыл прогуливался по саду. Подобно многим, кто вынужден пользоваться протезами, он двигался по аллейке как бы вприпрыжку, короткими бросками посылая вперед свое крупное тело. Рядом с ним я увидел интеллигентного вида молодого человека, судя по всему городского жителя. Времени у меня было в обрез, я не стал выжидать, пока Тогрыл окажется один, и прямиком направился к ним. Видно, свидание уже закончилось, и незнакомый парень, завидев меня, стал прощаться. Я услышал последние слова:

— Хорошо, ага... Но дней десять вы у нас обязательно должны погостить. А то Балым обидится...

Я поздоровался с Тогрылом и его гостем, который кивнул мне довольно холодно, повернулся и пошел к выходу из больничного сада.

— Только позвоните, и мы за вами приедем,— крикнул он, обернувшись напоследок, и помахал рукой.

Я удивился. Он очень чисто говорил по-казахски, хотя было видно, что это не казах. Скорее татарин, башкир или чуваш, а возможно, что и русский. Но не успел я и рта раскрыть, как Тогрыл удивил меня еще больше.

— Дети просят меня к ним перебраться,— сказал он, глядя вслед молодому человеку, который уже скрылся за поворотом,— каждый год просят... Я бы и сам не прочь переехать. Да как быть, привыкли мы к степи. Без зеле-

ного луга, без желтого кумыса, что для нас за жизнь? Приедешь погостить — и то не знаешь, куда от тоски деваться. На будущий год хочу сюда Болата своего отправить. Будет учиться и жить у своих.

— Наверное, это зять к вам приходил?— спросил я.

— Нет, младший брат,— ответил Тогрыл.— Родной мой братишка.

— А как его зовут?

— Рашит.

Младший брат... Скорее всего, отец один, а матери разные, решил я. Можно было бы ограничиться этой догадкой, да ведь у нас, казахов, каждый как начнет с имени, так уж не отступится, пока не дойдет до седьмого колена. Я тоже ударился в родословную.

— Видно, лицом он в нагаши[1] пошел...

Тока вспыхнул. С моей стороны эти слова были, конечно, бестактностью, но я слишком поздно сообразил, какого дал маху... Пришлось извиниться, памятуя и о куда более серьезной вине, отягчающей мою душу...

Тока, впрочем, быстро успокоился.

— Это ты меня извини, дорогой,— сказал он, кладя мне на плечо свою культю.— К тебе никаких претензий быть не может. Факт налицо, так сказать... Просто о том, что Рашит — другого рода, мне никто еще не говорил, ни знакомые, ни чужие. Так что и вопрос твой — не от глупости или злого умысла, а от... неосторожности, что ли, неосмотрительности... А дело вот как было, голубок...

И Тогрыл рассказал мне о Рашите и еще нескольких ребятах-сиротах, которые во время войны прибыли в отдаленный казахский аул и там нашли себе новых родителей. Он не вдавался в подробности и лишь коротко познакомил меня с этой историей. Меня она захватила. И захватила не сюжетом, не остротой и своеобразием ситуаций, а прежде всего самим смыслом рассказанного. Вот он, поистине бесценный для журналиста материал о дружбе народов,— пишут на эту тему много, но как-то слишком общо, сухо! А тут... Новый очерк сам плыл мне в руки, а вместе с ним — и возможность оправдаться перед Тогрылом и редакцией за все мои грехи. Только надо собственными глазами увидеть и этот далекий аул, и будущих героев...

О новом замысле я торжественно доложил редактору.

[1] *Нагаши* — родственники по материнской линии.

И, не дождавшнсь Тогрыла, который гостил в это время у своего младшего брата, отправился в путь. На сей раз, исходя из своего стремительио возрастающего журиалистского опыта, я сдержался и ие стал обещать ему зараиее, что случайный его рассказ послужит темой для очерка, который вскоре потрясет сердца читателей...

Мие повезло. Всех, кто мие был иужеи, я застал в ауле.

Мальчик Зигфрид, о котором я услышал от Тогрыла, оказался зрелым мужчииой тридцати с чем-то лет, главиым зоотехником совхоза Зигфридом Вольфгаиговичем Бегимбетовым. Жеиа его работала учительиицей. Оиа закончила уииверситет в Алма-Ате за год до того, как я в него поступил. У нас иашлось немало общих знакомых. Я разговарнвал с этой приветливой, мягкой жеищиной и думал при этом, что наши матери, а еще больше — бабушки были в чем-то похожн на иее. В душевиой широте, пожалуй, в чувстве собствеииого достоииства и какой-то природиой тоикости в обращеиии с людьми... А как вкусно она готовит! Как чисто и опрятио у иее в доме, наполнением детскими голосами!.. Я иасчитал их то ли семь, то ли восемь, шустрых, с шумом н гамом иосившихся друг за дружкой, н сбился со счета... Все оии былн просто загляденье — кожа светлая, ио со смуглиикой, глаза карие, горячие... Я спроснл, не трудио ли растнть такую ораву. Она засмеялась. Да уж ие легко... Когда жив был дедушка, было легче. Но аксакал Ахмет, после смерти своей байбнше переселившийся к детям, умер три года иазад.

Якова мне помогли отыскать в сеиокосиой бригаде. Мие думалось, нам не так-то просто будет разговаривать, ио мои опасения ие оправдались. Я быстро освоился с его речью, да и ои, преодолев первое смущеиие от встречн с незиакомым человеком, если и заикался, то ие столь уж часто.

Когда я был у Якова дома, туда пришел одии из руководнтелей совхоза — аксакал Дауреибек. Он позже других услышал весть о приезде журналиста из Алма-Аты. Иначе мы встретились бы раньше, сказал Дауреибек, ведь он как-никак иивалнд Отечествеииой войны, уважаемый в этих местах человек, иемало потрудившийся на благо колхоза, и представителю редакции должио быть ннтересно... Вот именно, сказал я, очеиь н очень иитересно... И начал задавать вопросы, которых стало еще больше, когда выяснилось, что как раз этот человек при-

вез детей в аул. Малыши были, вздыхал он, совсем еще малыши... Что значит время! Не успели оглянуться, как босоногие сорванцы сделались настоящими мужчинами, отцами семейств... Да, не зря о них в те годы столько заботились, воспитывали — не в одиночку, а всем коллективом... Не зря! И вот, пожалуйста, плоды общего нашего труда...

— Вот этот карапуз,— улыбнулся Дауренбек, показывая на сынишку Якова лет пяти,— от горшка два вершка, так ведь говорится?.. Ну, а попробуй угадать, кем он будет лет через пятнадцать-двадцать?.. Бахыт, иди-ка сюда!..

Но мальчуган не захотел идти к Дауренбеку.

— Ах ты упрямец,— сказал кто-то из сидевших в комнате,— ах ты озорник... А ну-ка, Бахытжан, скажи дяде из Алма-Аты, кто ты?

— Кто ты, айналайн?— подхватил я.

— Отец — русский, мать — калмычка, а сам я — татарин,— ответил малыш.

Все рассмеялись.

— И отец, и мать у тебя — казахи, а сам ты — дурачок,— сказал кто-то. А еще кто-то возразил:

— Смех смехом, а что мальца с этаких пор приучают свой род различать — это ни к чему...

— Ничего,— возразил Дауренбек,— сегодня помнит — завтра забудет... Но вот о чем, сынок, никогда не забывай: отец у тебя может быть русский или немец, мать — казашка или калмычка, это не так уж важно, главное, что ты — советский... Вот это запомни накрепко и никогда не забывай...

Он порядком поблек и усох, старина Дауренбек, но голос его был еще звучен и тверд. Чувствовалось, энергии у этого человека хоть отбавляй. Он в полную мою власть отдал служебную машину и до тех пор, пока я не уехал, постоянно был рядом со мной. Большинство необходимых сведений я почерпнул у Дауренбека. И должен заметить, он рассказывал мне все, как было, ничего не утаивая. Только расспросы о гибели Нартая и Ертая вызвали у него что-то похожее на смущенье. Отвечал на них он без особой охоты. Единственное, что я от него услышал, сводилось к следующему. Берден до самой смерти горевал о своей тяжкой утрате, весть о гибели Ертая оказалась для него горше, чем потеря двух старших, убитых на фронте сыновей. Под старость он сдру-

жился с Тлеубаем, и были они как братья — вместе кочевали, рядом ставили юрты, а теперь оба дома опустели, и уже не курится дымок иад погасшими очагами... Что же до гибели мальчиков, то здесь иет вниы ии правлеиия колхоза, ии школьной дирекции,— все случилось по иеразумеиию самих детей. К чему ныиче ворошить прошлое... Больше он ничего ие сказал. Тем ие менее я посчитал своим долгом сходить иа могилы братьев.

Похороиили их иа окраиие большого и старого кладбища. Я увидел два холмика, оба они не составили бы в длииу и одиого кулаша[1]. Поначалу холмики эти, из кирпича-сырца, были сложеиы в виде колыбели, ио со времеием дождь и ветер почти сровияли иадгробья с землей, могилки заросли полыиью. В изголовье стоял иевысокий граиитный обелиск, один на двоих. На ием были выбиты луииый серп и иадпись: «Братья Нартай и Ертай Арыстаибековы».

И тут я вспомиил отца этих ребят. Для одиого из праздничных номеров нашей газеты мне пришлось брать у иего иитервью. Ои приаял меия дома, в своем рабочем кабииете. Пока мы разговаривали, рядом играл мальчонка лет пяти или шести. Резвости ему было ие занимать. Ои сражался с иевидимыми врагами иа саблях, пел песии, валялся на ковре и в коице коицов свалил с киижиого стеллажа несколько увесистых томов, разыскивая киижки с картииками. Пожалуй, он был слишком избаловаи. Виук?.. Нет, оказалось, что сын. Слово за слово, и я впервые услышал о пропавших детях, которых, несмотря на все усилия, так и ие удалось разыскать.

Вериувшись в Алма-Ату, я думал тут же пойти к Арыстанбекову. Но, поразмыслив, решил, что это ии к чему. Мало удовольствия — сообщать отцу столь печальиую весть... «Сейчас старшему было бы тридцать пять, младшему — тридцать три,— говорил ои.— У обоих, иаверное, детн, такие же, как мой Алтай... Где-то оии живут, и раио ли, поздио ли, должиы объявиться». Что на всем белом свете дороже иадежды? Я ие нашел в себе ии снл, ни желаиия погасить ее искорку в душе человека, который сумел заиово разжечь огонь у себя в очаге, подиять иовый шанырак иад своей головой...

[1] *Кулаш* — мера длины: расстояние между концами расставленных рук.

Не заполнил я и место в газете, отведенное мне в связи с моей командировкой.

Когда мы прощались, Зигфрид сказал:

— Только презренный человек скрывает свое происхождение. Я никогда не забуду своего коке, аксакала Ахмета, воспитавшего и вырастившего меня. Его фамилию ношу я сам, и носят мои дети, и будут носить дети моих детей. Но живет во мне память и о том человеке, который подарил мне жизнь,— о моем дорогом отце Вольфганге Вагнере, погибшем в рядах испанских республиканцев, сражаясь с фашистами. Кто же я, спросите вы, кем считаю себя по нации?.. Я и сам иногда задумываюсь над этим. Немец?.. Не вполне. Казах?.. Тоже не совсем верно. Происхожу от немцев — это будет поточнее. Ну, а дети мои... Они как ответят на тот же вопрос?.. Впрочем, так ли это важно — копаться в своей родословной? Сейчас мы все — русло одной реки, дети одного отца. Или, если хотите, члены одной семьи, сыны одной страны... К чему растравлять старые раны?

Мне показалось, что это сказано им было не только от своего имени, но также и от имени Якова, Рашита, от имени всех... Тогда я не задумался всерьез над его последними словами, но потом понял, что они совершенно правильны.

И все же было жаль бросать на ветер все то, что услышал, узнал, увидел собственными глазами в этой поездке, жаль было родившихся в связи с нею мыслей. Изменив имена реальных людей, слегка оживив картины, сбереженные их памятью, я написал не то повесть, не то цикл переплетенных между собою рассказов... Не знаю сам. Журналист из меня не вышел,— может быть, выйдет писатель?.. В душе я на это надеюсь, хотя вполне готов и к тому, что надежда моя не сбудется. Что ж делать?

Как бы то ни было, пока все решится, у меня впереди еще достаточно времени...

Калдарбек Найманбаев

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

I. ОН, ОНА, МАЛЬЧИК

Урия робко переступила через незнакомый порог. Сердце заколотилось вдруг так сильно и больно, словно она долго бежала по горячей полуденной степи. Мелькнула мысль: «Зачем я здесь?! Что я делаю?!»

Мучительно захотелось закрыть лицо руками, броситься вон, но Урия поняла, что уже не сможет сделать этого.

С тихим стуком захлопнулась позади дверь. Она вздрогнула и испуганно вскинула глаза.

Нуржан стоял совсем рядом — красивый, сильный. И все вокруг наполнилось вдруг золотистым светом — тихим, теплым и ясным.

Он шагнул к ней, обнял своими большими руками ее хрупкое, вздрагивающее тело, прижал к себе и понес в комнату.

Совсем близко Урия увидела лицо Нуржана: его глаза, губы, почувствовала запах его волос, успела подумать, что именно так пахнут нагретые солнцем травы на высоких холмах...

Больше не было страха. Никогда еще не испытанное чувство блаженства наполнило все ее существо. Она доверчиво потянулась губами к губам Нуржана и закрыла глаза...

...Потом они сидели за столом, пили чай и, чтобы скрыть друг перед другом смущение, говорили без умолку о каких-то пустяках.

Урия робела посмотреть в лицо Нуржану, но ловила каждый его взгляд. Сердце ее переполнялось нежностью к этому, еще вчера просто знакомому, человеку. Да, она давно любила Нуржана, но сегодня жизнь словно навсегда разделилась на то, что было вчера и что случилось сегодня и будет завтра.

Урие вдруг захотелось, чтобы никчемный, легкий разговор их прекратился, и тогда бы она рассказала Нуржану, поделилась бы с ним тем, о чем успела передумать с первого часа их первой встречи.

Она бы сказала: «Милый ты мой, разве это не удивительно, разве это не счастье, что мы встретились с тобой?!» Или: «Если бы не встретила тебя, то просто не представляю, как бы жила на свете!.. Ведь я никогда и ни на кого бы не посмотрела... Вот ты сидишь рядом, и я счастливая... Такая счастливая, что и слов не хватает, чтобы рассказать...»

Урие хочется, очень хочется обо всем этом поговорить, но она околдована своим счастьем и не может пересилить себя.

И вдруг Нуржан словно угадал ее мысли. Он бережно коснулся рукой плеча Урии.

— Ты знаешь,— сказал он,— у меня такое чувство, что мой дом впервые по-настоящему стал моим домом. Ты пришла — и сделалось как-то светло и просторно...

Лицо Урии залила краска смущения. И вместо того, чтобы ответить на его порыв тем, о чем только что мечтала, она сказала:

— Ты, наверное, смеешься...

— Я?! Над тобой?! Ты что, серьезно?!

— Не знаю...

Урия думала об одном, а язык выговаривал совсем другие, будто и не ее слова.

Нуржан растерянно пожал плечами.

— Ну, люди!.. Говоришь честно — не верят...

— Почему?..— преодолевая себя, горячо возразила Урия.— Похвала всегда приятна... И все же...

— Ты хочешь сказать — всему свое время?

— Нет. Твои слова — очень добрые слова... Я люблю и хочу, чтобы нам никогда и ни в чем не пришлось раскаиваться...

Нуржан хитро прищурился и озорно сказал:

— Ну, разве так бывает, чтобы в доме ни разу не загремели битой посудой?

— Не шути так.

— Нет,— настаивал Нуржан,— разве семья без звона посуды — семья?

— Перестань, я вот сейчас встану и уйду...

— Ну что ты!.. Прости меня. Ты же сама сказала: «И все же...» Я подумал... Ведь в семье всякое бывает...

Урия вдруг заплакала. Она понимала — сама виновата, что разговор пошел не по тому руслу, но теперь уже ничего нельзя было поправить.

— Оказывается, ты совсем не понимаешь шуток,— Нуржан засмеялся, пытаясь сгладить неловкость, подхватил ее на руки, закружил по комнате.

— Отпусти.

Он осторожно посадил Урию на стул.

— Ты уже получила свадебное платье из ателье?

Размазывая по щекам слезы и все еще продолжая сердиться, она ответила:

— Сам же говорил, что пойдем вместе...

— Тогда пошли...

Нуржан обрадованно засуетился у стола, собираясь убрать посуду.

Глаза Урии потеплели, в них мелькнула смешинка.

— Сиди. Сама...— покровительственно сказала она.

Через несколько дней они отгуляли свадьбу.

Урия открыла глаза и зажмурилась — большое утреннее солнце заглядывало в окно, заливая комнату радостным светом.

«Где я? Что со мной?»— мелькнула тревожная мысль. Она торопливо вскочила с постели и огляделась. На кровати, широко раскинувшись, спал Нуржан.

Тревога сразу исчезла, уступив место покою и тихой радости.

Урия долго смотрела на мужа, лицо его было красивым — темные волосы, густые, вразлет брови, полные, четко очерченные губы, розовая от глубокого сна кожа.

Она тихонько взяла со спинки кровати приготовленное еще с вечера широкое платье, но тут же отбросила его. Показалось неудобным вот так, сразу, в первое утро совместной жизни, появиться перед Нуржаном в серенькой домашней одежде.

Осторожно ступая, на цыпочках, Урия прошла в соседнюю комнату и только здесь вспомнила, что все еще

не одета — босая, в одной ночной сорочке. Она торопливо отыскала свой старенький, веселой расцветки халат и надела его. Стало намного уютнее.

Большие, растоптанные тапочки Нуржана валялись под диваном, и Урия отнесла их к порогу спальни. «Искать ведь будет»,— озабоченно подумала она.

Потом подошла к окну и распахнула створки. В комнату хлынул прохладный, еще не согретый солнцем воздух. По телу прошел легкий озноб. Урия ощутила необыкновенную легкость, а душу наполнило какое-то радостное чувство. «Хорошо-то как!— подумала она.— А что если сейчас вернуться в постель, покрепче прижаться к Нуржану...» Урия смутилась от собственных мыслей и вдруг почувствовала, как запылали щеки.

Она тихо засмеялась и сказала себе: «Ну, чего ты так разволновалась? Все впереди, все еще будет...»

Урия выглянула на улицу и ей вдруг показалось, что мир со вчерашнего дня изменился — тополя выросли за ночь, стали еще выше и стройнее, а вода в арыках, с вечера шумливая и мутная, сделалась прозрачной и тихой: так, наверно, случается с невесткой, только что переступившей порог мужниного дома.

«Да, как молодая невестка...»— шепотом повторила Урия. Слова эти нравились ей и произносить их было приятно.

Напротив окна, на крыше шестиэтажного дома, тускло горела в дневном свете невыключенная с ночи неоновая реклама: «Если хотите приобрести необходимые вам вещи или отдохнуть на курорте — храните деньги в сберегательной кассе! Это выгодно и удобно!»

Урия рассмеялась. Ни денег у них с Нуржаном не было, ни желания ехать на курорт. Просто была новая жизнь — прекрасней и счастливей которой и придумать было нельзя. Жена... Новая жизнь... Все по-другому, все непривычно...

Вспомнилось: «Как сладко спит Нуржан... А может разбудить?»

Она заспешила на кухню, поставила на плитку чайник. Из раскрытого окна донесся протяжный женский голос:

— Мо-ло-ко-о-о...

Наскоро одевшись и прихватив большую чашку, Урия выскочила на улицу.

Возле тележки молочницы толпились женщины, и

Урия пристроилась в хвосте очереди. Она чувствовала — соседи внимательно рассматривают ее. Само по себе это было иеприятно, ио особеиио не по себе был взгляд темных въедливых глаз высокой костлявой старухи с большим крючковатым носом.

Когда подошла очередь Урии, молочиица, ловко орудуя черпаком иа длинной ручке, ласково сказала:

— Заждалась, девочка? Я сейчас, быстро... Если в следующий раз ие сможешь выйти — ие беспокойся... Сама заиесу...

— Спасибо, апа. Не утруждайте себя...

Костлявая старуха стояла рядом, уходить не спешила и все так же пристально разглядывала Урию. Потом вдруг заговорила:

— Если еще ие обзавелись посудой, то приходи ко мие, в восемнадцатую квартиру. Выручу... Не стесняйся...

Только теперь Урия поняла, что старуха смотрит не иа иее, а на иеудобную для молока чашку в ее руках.

— Спасибо...

Подиимаясь иа свой этаж, Урия с благодариостью думала о соседях. Они были добрыми и готовы во всем помочь ей. Хотелось и самой быть такой же доброй, сделать для иих что-иибудь приятиое. Надо бы по обычаю, как заведеио в ауле, пригласить их иа чай. Урия пожалела, что эта мысль пришла к ией поздио.

Дома Урия сразу же заиялась завтраком. Вскипятила молоко, расстелила иовую белоснежиую скатерть, достала посуду. Друзья иадарили ей с Нуржаном много красивых и иужиых в хозяйстве вещей: расписиые чайные чашки и пиалы, ложки — большие и малеиькие, вилки... Все сверкало новизиой, свежестью и смотреть иа подарки было просто приятно. Урия с теплотой подумала о тех, кто пришел иа их свадьбу: «Сколько хороших людей разделили иашу радость! И добрых слов сколько было сказаио! Какие же мы с Нуржаиом счастливые!»

Когда чайник закипел, Урия загляиула в спальию. Нуржан все еще спал. Оиа решительио шагнула к нему, намереваясь разбудить и вдруг остаиовилась, вспомнив, что засиули оии перед самым рассветом. Пожалела мужа и иеслышио вернулась иа кухню...

Нуржаи просиулся в полдеиь. Рывком вскочил с кровати и вышел из спальии. Урия возилась у серваита, расставляя посуду. Словио сказочиый дастархан блистал

стол. Веселые зайчики от бьющего в окно солнца играли на пузатых боках пиал. Нуржан зажмурился. Он хотел шагнуть к жене, обнять ее за плечи сильно-сильно, но что-то вдруг остановило его. Он сказал, настороженно улыбаясь:

— Ну и заспался же я...

— И чай давно готов, и молоко вскипятила...

Лицо Урии лучилось искренней радостью. Робость у Нуржана сразу исчезла.

— Как же ты все успела, милая моя?!

— Накинь на себя что-нибудь...

— Сейчас... Я сейчас...— с готовностью заспешил Нуржан.

— Домашняя одежда висит на стуле, у кровати,— крикнула вслед Урия.

Нуржан быстро оделся, умылся и сел за стол. Ел он много, с аппетитом, и Урие было приятно видеть это. Она заботливо подвигала ему тарелки

— А ты сама почему не ешь?

Урия махнула рукой.

— Ешь, ешь... Я успею...

— Ну, если так будет и дальше, то я разбалуюсь.

Урия, любуясь красивым лицом мужа, вдруг сказала:

— А тебе идет быть баловнем.

— Вот хитрая! За три года, что мы знаем друг друга, ты ни разу мне об этом не говорила.

Урия лукаво улыбнулась.

— Всему свое время.

После завтрака она собрала и помыла посуду. Хотелось похозяйничать в квартире, что-то сделать, переставить, но Нуржан обнял ее и усадил на диван.

— Пока ты спал,— сообщила Урия,— я кое с кем успела познакомиться.

Нуржан насторожился.

— Ну-ка, расскажи.

— Из соседней квартиры. И еще...

Он нетерпеливо перебил ее:

— И еще наверно с этим балбесом из дома напротив. Ишь, какой прыткий...

— О чем ты?— Урия недоуменно посмотрела на мужа. Но Нуржан словно не слышал ее.

— Ох, и противный же тип. Совести у него нет. Не лежит к нему душа.

— Да о ком это ты?— в отчаянии повторила Урия.— Я говорю о соседке из восемнадцатой квартиры...

— А-а-а. Так ты о старушке..? Ну, а второй кто?

— Молочница...

— Тоже мне...— досадливо протянул Нуржан.— А я-то подумал, не успела порог переступить, а уже знакомства заводишь.

— Не говори мне больше так. Никогда...— попросила Урия.

— А что, разве плохо, когда ревнуешь? Без ревности любви не бывает,— задиристо оправдывался он.

Урия внимательно посмотрела на мужа.

— О чем это ты?

— Я серьезно. Учти...— Нуржан смеялся, но глаза были сердитыми.

Заметив, что лицо жены будто потухло, он сказал:

— Пошутил я, а ты все всерьез приняла...

— Не хочу, чтобы ты так шутил.

Они замолчали... Солнце переместилось по небу и больше не заглядывало в окно. Все предметы в квартире померкли, точно их покрыл тонкий слой пыли.

— Что на обед-то приготовить?— спросила Урия. В голосе ее не было прежней радости.

— Невесело что-то стало...— словно не слыша, сказал Нуржан.— Может прогуляемся?

Слова мужа больно кольнули Урию, но она сдержалась, промолчала.

— О чем задумалась?

— Да вот вижу, что не терпится тебе убежать из дома.

Нуржан внимательно посмотрел на жену.

— Слушай, что это сегодня с нами? Зачем так?

Урия уже не владела собой. Обида душила ее.

— Ты словно на минутку сюда забежал. Все ерзаешь, ерзаешь!..

Нуржан встал с дивана, взял транзистор. Бестолковая, крикливая музыка ударила в уши, заполнила всю квартиру. Он торопливо выключил приемник.

— Понимаешь...— заговорил виновато.— Все пять лет после института я один. Вот и тянет на улицу. Не могу торчать дома.

Нуржану казалось, что Урия должна понять его и не обижаться. Но жена не приняла ни его слов, ни его тона, только еще сильнее стала боль. «Зачем он это говорит?—

думала Урия.— Или жалеет, что кончилась вольная жизнь? Три года мы дружили и кроме меня ему никто не был нужен. Теперь получается, что я виновата...»

Чутье женщины подсказывало: «Остановись! Обрати все в шутку! Здесь что-то не так!» Но обида была сильнее. И закусив губу, Урия упорно молчала.

Была середина лета. Раскаленное добела солнце нещадно палило, и деревья стояли, словно смертельно усталые путники. Много дней подряд ветер не шевелил их ветви, и листья, похожие на детские ладошки, поникли и съежились.

Люди все чаще смотрели на далекие белые пики Алатау, мечтали о глотке живительного свежего воздуха.

После обеда дежурный врач роддома позвонил на окраину города, главному инженеру авторемонтного завода.

Женщина сказала всего три слова:

— Урия родила сына.

Нуржан безошибочно узнал ее голос. Это была давняя подруга жены и, по обычаю казахов, за радостную весть ей полагалось сюинши.

Странно, но Нуржан сразу даже и не осознал значения случившегося. Он воспринял звонок просто как очередное деловое сообщение. И первая мысль, которая пришла ему в голову, была, в общем-то, дурацкой. Он почему-то с неодобрением подумал о враче: «Ох, и падкий же народ до сюрпризов, эти женщины».

Посмотрев в окно на изнывающие от зноя деревья, Нуржан пробормотал:

— Проклятая жара! Так и сгореть недолго...

И вдруг он будто проснулся. До него, наконец, дошло — родился сын. Его сын.

— Интересно, на кого же он похож?— вслух спросил себя Нуржан.

И так же вслух ответил сам себе:

— Раз сын, значит, на меня.

Ему стало весело и он громко засмеялся.

Намаявшись за день, Урия заснула крепко, сразу же, как только голова ее коснулась подушки.

Проснулась она неожиданно, за полночь. Лицо, руки, грудь вдруг покрыла легкая испарина. Урия потянулась

к висящему у изголовья полотенцу. Острая боль пронзила все ее тело, в глазах потемнело, и она в бессилии откинулась на подушку.

Боясь пошевелиться, Урия долго лежала неподвижно. Боль не возвращалась, но и сна уже не было.

Схватки начались еще с вечера, но были они редкими и несильными, и потому Урия ничего не сказала об этом Нуржану. С трудом приготовила ужин, накормила мужа. Все, казалось, было как обычно.

Нуржан, не замечая состояния жены, вскоре после ужина лег спать. Тихая, уже привычная обида охватила Урию. За весь вечер муж ни разу не спросил, как она себя чувствует, не поинтересовался ее делами. И так же привычно, как и в прежние дни, Урия мысленно принялась оправдывать Нуржана: «Устает. Работы у него много. Да и я, наверное, стала капризной».

Урия тоже легла, быстро заснула и вот...

Снова вернулась боль. Приступы боли были не такими острыми, как тот, что разбудил ее, но повторяться они стали чаще.

Она с трудом поднялась с постели, перенесла к изголовью кровати телефон. Потом долго ворочалась, все пытаясь найти удобную позу. Схватки не прекращались. Уже не было сил терпеть.

Урия протянула руку к телефону и вдруг остановила себя. Она подумала, что вот сейчас приедут врачи, а Нуржан спит и будет очень стыдно перед людьми. Прежде надо разбудить мужа.

— Нуржан, вставай...— зашептала она.

Муж не просыпался, мычал во сне.

— Да вставай же ты!— с отчаянием вырвалось у Урии — Встань, говорю!

Когда Нуржан наконец открыл глаза, Урия, съежившись, сидела на постели.

— Что случилось?— недовольно спросил он.

— Врача, видимо, надо вызывать...

— Началось, что ли?

— Кажется...

— Что, совсем нет терпения?

И вдруг схватки сделались тише, потом прекратились совсем. Урия положила свою руку на руку мужа.

— Подожди... Не надо пока врача...

— Ну, вот...— полусонный Нуржан снова уронил голову на подушку.

Горькая улыбка тронула губы Урии. Ей-то казалось, что муж уже не будет спать, а посиднт с ней, поговорит... И неожнданио для самой себя, она вдруг сказала с обидой и злой нронией:

— Устал ты, я внжу, снльно...

Не поднимая от подушкн голову, Нуржан проворчал:

— А ты как думаешь? Жалобами нас завалили. Обвнняют, что плохо ремонтнруем машнны. Я сегодня с утра успел уже в однн нз совхозов съездить... За двести километров. Дорога дрянь. Устал дико.

— И кто же внноват?— спроснла Урия только для того, чтобы хоть как-то поддержать разговор. Было отчего-то страшио снова остаться одиой, в темиоте.

— Они, конечно. Дают новеинькие машииы молокососам. У них ин умення, ни ответственностн — вот и бьют техннку, а потом к нам, с претеизиями.

— В аулах всегда транспорта не хватает, да н шоферов...

— Нашла кому сочувствовать,— фыркнул Нуржан.— Знаешь, как там говорят? «В стране много техннкн. Бери. Жми. Сломаешь машнну — две новых даднм». Вот н жмут. А после — с завода спрашивают.

— Хорошо говорншь. Складно. Как с трнбуны...— Урня усмехнулась, но Нуржан не заметил этого.

— На днях представнтельное совещанне будет. Все выложу, о чем думаю...

— У вас иа заводе тоже любят гонять техннку просто так...

— При мие этого не будет. Дело мие большое доверилн, а я уж постараюсь...

Нуржан хотел сказать что-то еще, но Урня, застонав, упала лнцом в подушку. Днкая боль разрывала ннз живота, ломило поясннцу. Прежнне схваткн не шли нн в какое сравненне с этой.

Нуржан с мниуту помолчал, но вндя, что жена лежит спокойио и больше не стонет, сказал:

— Еслн что — толкнешь...

Урня, впервые за время совместной жнзни, тнхо, без голоса, заплакала. И человек, лежавший рядом, показался ей совсем чужнм и далекнм. Набрала телефон подругн.

— Что ты еще раздумываешь! Немедлеино вызывай «Скорую»!— узнав в чем дело, закрнчала та.— Если надо, я сама вызову.

— Не волнуйся... Нуржан здесь. Он вызовет...— сказала Урия.

Но подруга возмутилась:

— Да брось ты! Твой герой, наверное, спит и сны видит...

— С чего это ты взяла? Он рядом.

— Рассказывай, рассказывай...

Урие было стыдно от того, что приходится обманывать. Но она защищалась из последних сил.

— Ты тоже... не можешь, чтобы не уколоть...

— Ладно. Пусть спит,— твердо уверенная в своей правоте, сказала подруга.— Я вызываю.

— Са-а-ама...— чуть не задохнувшись от нового приступа боли, простонала Урия, но в телефоной трубке уже слышны были короткие гудки.

С трудом поднявшись, она навалилась грудью на спинку кровати. Боль выжимала из глаз слезы. Отрешенно, словно о чужом человеке, Урия подумала, что люди хорошо знают Нуржана. Иначе откуда такая уверенность, что ему все безразлично, что он даже в эту минуту может спать.

Надо было зажечь свет, но дойти до выключателя уже не было сил. Крупные капли пота катились по лицу, на грудь, в вырез рубашки. В страхе Урия рванула Нуржана за плечо.

— Мне плохо...— едва сдерживая стоны, сказала она.— Очень плохо... Вызывай немедленно врача.

И пока он суетился у аппарата, она широко открытыми, темными от боли глазами, смотрела неотрывно в его спину.

— Да причешись хоть... оденься... Сейчас люди придут...

Не глядя на жену, Нуржан проворчал:

— Вечно тебя волнует, кто и что подумает...

Нуржан еще долго сидел в кабинете, перекладывал с места на место бумаги, потом набрал номер телефона роддома. Трубку подняла дежурная — подруга Урии.

— Что, все еще сидишь?— с издевкой спросила она.— Машина есть — мог бы давно выехать... Удивляюсь твоей выдержке. А ведь тебя здесь ждет сын, в четверть пуда весом.

— Поговорим лучше о сюинши. С меня причитается.

— Успеем еще. Ты лучше скорее приезжай.
— Как они там? Все нормально?
— Ты бы меньше болтал... Приезжай и все узнаешь.
— Ну и характер у тебя!— рассердился Нуржан.— Не завидую тому джигиту, который станет твоим мужем.
— Не переживай... О своих подумай и позаботься.
Нуржан приехал в роддом не один. Шумная компания ввалилась в вестибюль, наполнила корзину для передач конфетами, фруктами, сверху положили букеты ярких цветов. Нуржан черкнул записку.
Нянечка с корзинкой ушла. Томительно тянулись минуты. Друзья уже поздравили Нуржана и ему было неловко заставлять их вместе с ним ждать ответа. Это было как-то не по-мужски, тем более, что дежурная сказала, что Урия и ребенок чувствуют себя хорошо.
Нуржан не выдержал. С напускной бесшабашностью сказал:
— Ну что, ребята, не пора ли нам идти? Не годится мужчинам стоять под дверью. Тем более, что все хорошо. Теперь не грех и обмыть событие.
Весело галдя, компания вывалила из дверей роддома на улицу.

Когда нянечка принесла корзину в палату, Урия первым делом потянулась к записке. А когда прочитала, засмеялась, прижала к груди. «Вот смешной,— подумала она.— Зачем говорить мне спасибо? Сын-то наш».
Вошла дежурная, увидела счастливое лицо Урии и спросила:
— Чему это ты так обрадовалась?
— Записку от Нуржана прочитала.— Урия заглядывала в глаза подруги, искала в них поддержку своей радости.
— Интересно, и что же он написал? Дай-ка прочту.
— Пишет: «Спасибо».
— И всего-то?
— Говорит: «Ты у меня сильная».
— Хорошо пишет,— рассердилась подруга.— А подождать не смог. Уже ушел. Хоть бы у меня спросил что и как. Я бы этих мужиков...
— Не ругай ты его,— попросила Урия.— Ну в чем он перед тобой виноват? Радость у него...
— Ох, и распустила ты его!

— Он же не один был, с товарищами...
— Прощай ему все, прощай. Еще не то будет.
Урия промолчала. Подруга говорила полушутя, нарочито грубовато, но глаза у нее были серьезными, и это пугало Урию. «Все они такие, засидевшиеся в девках,— подумала она.— Откуда ей знать, что такое семья?»
— Ладно,— миролюбиво сказала Урия,— не будем осуждать мужчин. У них многое по-другому. Давай-ка попробуем гостинцев.
— Не знаю...— ворчала подруга.— Если мне попадется такой муж, как Нуржан, едва ли я с ним уживусь.
— Ну что ты прицепилась?..
— Характер у него — не дай бог...
— Вот когда найдешь свою половину, попробуй по-другому.
— А-а-а! Ты снова со старой песней?!
Урия перешла в наступление:
— Сколько ты выбирать будешь?! То глаза тебе не нравятся, то слова не те говорит...
— А я, как вы,— не могу. Устроили себе жизнь! Втихомолку плачут, а на людях в счастье и согласие играют.
Урия устало откинулась на подушку.
— Я сегодня матерью стала. Радость у меня... Разве может быть счастье выше?
— Это быт.
— Так ведь с быта все и начинается...
— Не-ет. Чем такое замужество, лучше уж не торопиться вовсе.
— Но за тобой ведь и долг материнства,— возразила Урия.
— И чего это ты меня сегодня поучать взялась, будто сто лет на земле прожила?
— Кто скажет тебе правду, если не я?
— Ладно, лежи. Я пошла. Дела меня ждут.
— Всегда ты так. Выбираешь что полегче.
— Все трудности отдаю тебе. Ты с ними и расправляйся...

Поздно вечером, когда подруга заглянула в палату, Урия попросила:
— Позвони домой.
— Это зачем?
— Соскучилась.

— Неужели?
— А что?
Подружка вздохнула.
— Знает он об этом, вот и поступает так, как ему заблагорассудится.
— Брось ты. Позвони лучше.
— А я уже звонила. Не вытерпела. Возмутительно все-таки он поступил сегодня...— Подруга отвела глаза.— Никто не взял трубку, не отвечает...
— А-а-а,— спокойно протянула Уря,— значит, еще не вернулся. С друзьями наверно.

После декретного отпуска Уря сразу же вышла на работу. Маленького Айдына, несмотря на все протесты, решила забрать к себе бабушка, приехавшая из аула. Она сказала:
— Молодые сейчас поступают по-своему. Но ведь вам будет трудно с ребенком — оба работаете. Знаю, сейчас отдают детей в ясли. Там хорошо... И все-таки... Жалко вам его отдавать? Вижу. А сколько лет я этого дня ждала. Пусть уж у меня побудет года два-три. Вырастет крепенький и здоровый и вас не забудет, не бойтесь...
Отрывать от себя Айдына было мучительно больно, но и Урия, и Нуржан понимали, как трудно им будет с малышом в городе.
В первые дни, после того, как бабушка увезла сына, Уря не находила себе места. Она уже привыкла, сжилась с этим крохотным беспомощным существом. Его улыбка, его слабые ручонки неотступно стояли перед глазами. Временами ей казалось, что она слышит плач Айдына. Уря вздрагивала — настолько реальным был голос маленького человечка.
Тоска по сыну изводила ее и в такие минуты ей хотелось, чтобы Нуржан, как прежде, приласкал ее.
Однажды муж сказал ей:
— От тебя так пахнет молоком. До чего же приятный запах.
На глаза Урии навернулись слезы. Нуржан давно не говорил ей ласковых слов. Она прижалась к нему и, пряча лицо на его груди, спросила тихо:
— Почему у нас все не так, как раньше? Скажи честно — я тебе надоела?
— Ты скажешь...— растерялся Нуржан.

— Да, да... Ты перестал танцевать со мной, когда мы бываем у друзей.

— Но мы уже давно не молодожеиы, в конце концов!

— Ну и пусть. Танцевать ведь так хорошо...

— Ты должна меня поиимать...

Но Урия не слушала мужа. Ей хотелось высказать все, о чем она передумала в одиночестве, и она продолжала:

— А я скучаю! Очень скучаю... по твоим ласкам. Ты мне так иужен!..

Нуржаи погладил ее по голове.

— Милая, милая! Давай не будем попрекать друг друга. У нас все будет, как прежде. Только не надо торопить время...

Бабушка сдержала свое слово. Когда Айдыну исполнилось три года, она привезла его в город.

— Жалко мне малыша, а вас еще больше. Одиноко вам в пустой квартире. С ребенком совсем другая жизнь...— сказала старая женщина.— Только ие избалуйте его...

Урия, счастливая от того, что сын сиова рядом с ней, согласио кивала головой.

— Дети — это радость. Без иих и солнце, вроде, не греет...— Бабушка лукаво посмотрела на Нуржана.— Плохо Айдыижаиу будет одному...

Нуржаи поиял намек, сказал смущенно:

— Как-то так все вышло...

— Ладио, ладио...— перебила старая жеищина.— Все еще впереди. Вы молоды. Даст бог, и виук ие останется одии, и у меня снова будет о ком заботиться...

Айдыи привязался к отцу так быстро и так крепко, словно и не было трехлетией разлуки. Урие, глядя на них, порой казалось, что такими дружиными и неразлучными они были всегда. И ее любил сыи, ио это была совсем другая любовь. Он прииимал ее ласки, ее заботы — и только. С отцом же Айдыи дружил.

Стоило Нуржану задержаться — и сын не ложился спать. Ои тер маленькими кулачками слипающиеся глазенки и прислушивался к каждому звуку за дверью. Ай-

дын узнавал шаги Нуржана, как только тот входил в подъезд, и каким-то удивительным, непонятным для взрослых, способом мог угадать настроение отца.

— Открой мне секрет,— лукаво спросила Урня.— И я хочу все про папу знать.

— Нельзя,— серьезно отвечал сын.— Это секрет мой и папин. Мы мужчины.

— Мужчина ты мой, мужчина!..— смеялась Урня.

Любовь сына льстила Нуржану.

Наступало воскресенье и мужчин невозможно было удержать в доме. С утра в них словно вселялся дух беспокойства. Они бесцельно слонялись по комнатам, выглядывали в окно, перешептывались.

Как хотелось порой Урне отправиться куда-нибудь вместе с ними, но домашние дела и заботы не пускали: и постирать надо было, и погладить, и приготовить обед...

И на этот раз все было как обычно.

— Вижу, вижу... Снова куда-то нацелились. Что с вами поделаешь? Идите.

— А ты пойдешь с нами?— Айдын заглянул в лицо матери своими черными блестящими глазенками.

— Некогда мне, сынок. Идите уж сами...

Нуржану стало неловко и он, оправдываясь, сказал:

— Разве этого озорника уговоришь? Пойдем да пойдем...

— Ты сам, ты сам!— закричал с обидой Айдын.— Разве не ты сказал: «Пойдем погуляем!»

— Ну вот...— развел руками Нуржан, словно извиняясь за сына.

Урия вздохнула и, чтобы муж не увидел ее расстроенного лица, ушла в ванную. Загудела стиральная машина.

Отец с сыном вернулись домой лишь вечером.

— Ну, вот и мы явились,— стараясь по лицу жены угадать ее настроение, сказал Нуржан.— Устали так, что и сил не осталось.

За работой, за домашними делами, обида Урии прошла и ей стало хорошо от того, что отец и сын, наконец, снова дома.

— И кто вас заставлял столько ходить?

— Мама, мама!— закричал Айдын.— А мы сегодня в гору лазили. Как там красиво!

Поглажнвая сына по теплым от солнца волосам, Урня спроснла:

— А про меня вы вспоминали?

— Конечно. Только что папа говорнл: «Хорошо, еслн мама уже прнготовнла нам хорошнй ужнн».

— Спаснбо, сынок.

Губы Урни дрогнулн от вспыхнувшей в душе обнды.

— Ну что ты прнстала к ребенку?— неестественно весело засмеялся Нуржан.

И чтобы скрыть обнду, не дать ей захлестнуть себя, Урия спроснла:

— А почему же вы цветов мне не принесли? Настоящне мужчнны не забывают о маме.

Айдын вниовато посмотрел на мать. Лнцо его задрожало.

— Папа ие сказал...

Урня пржала сына к себе.

— Ну ладио, ладио... Не плачь. В следующнй раз ты обязательно прннесешь мне цветы.

Нуржан, отвернувшись, молчал.

В год, когда Айдыну нсполннлось пять лет, Нуржан получнл иовую трехкомнатную квартнру. Во время переезда, Урня обратнла вннманне, что квартиры иа нх площадке заселялн молодые семьи. Она с радостью подумала, что это очень хорошо — будет хоть с кем перемолвиться словечком.

Как только утнхла суета н хлопоты, и новоселы расставнлн мебель, наступнла пора ерулнка — старого, как мнр, обычая. Соседн сталн прнглашать друг друга на званые обеды, чтобы позиакомнться, а может быть, и подружнться.

Одну нз соседок, веселую женщнну с легкнм характером звали Асем. Муж ее — Жомарт — был старше Асем, смотрелся солнднo, держался манерно, в разговоре старался показать свою незаурядиость н орнгннальность. И все-такн, как показалось Урне, слова его былн какнми-то окатаннымн и иногда трудио было понять «за» он нлн «протнв» того, о чем сам говорит.

У второй соседкн — Балайым — муж прямая протнвоположность Жомарту. Словамн сыплет, как горохом, а в глазах ие гаснут смешннкн. В первый же вечер очаровал всех. Пнл ои много, с явиым удовольствием, ие

привередничая, не ломаясь, ио головы не терял, а только становился еще веселее.

У Асем детей не было, зато у Балайым их было двое и оба мальчишки — шумные, веселые, как и их отец.

— Хорошие попались нам соседи,— сказала однажды Урия мужу.

— Выходит, мы плохие,— отчего-то раздраженно отозвался Нуржан.

— Почему?

— Но мы-то не похожи на них.

— Ну и что? Что в этом плохого?

— Ничего. Есть в этих семьях что-то такое,— Нуржан выразительно щелкнул пальцами,— что мне ие нравится. Словно тень за ними какая-то ходит...

— Какая тень?— Урия, ничего не понимая, смотрела на мужа.

— Внешне живут хорошо, благополучно, а что и как на самом деле — не угадаешь, не рассмотришь.

— Всегда ты что-нибудь придумаешь...

— Не придумываю я. Мне так кажется.

— Сказал бы просто, что соседи не нравятся...

— Причем тут — нравятся, не нравятся... Впечатление такое остается...

Серьезно и неодобрительно смотрела Урия на Нуржана.

— Раньше ты никогда не отзывался так о знакомых тебе людях.

Нуржан досадливо поморщился. Он не любил, когда жена возражала ему или не соглашалась с ним.

— Хорошо, хорошо! Я больше ие буду ии о чем говорить...

Они замолчали. Обоим стало вдруг неуютно, и разговор этот словно отодвинул их друг от друга.

Нуржан встал и потушил свет.

Однажды Урия открыла вечернюю газету и замерла от неожиданности. Кровь прилила к щекам и звонко застучало сердце. Со второй страницы, глаза в глаза, смотрел на иее Нуржан. «Автор крылатых идей»— так иазывался посвященный ему очерк.

Волнуясь, боясь хоть на секунду отвлечься, на одном дыхании, Урия прочитала все, что писалось о муже: «талантливый руководитель», «новатор», «душа коллекти-

ва». И все это про ее Нуржана. Заканчивался очерк словами: «Какая, должно быть, счастливая жена у этого красивого душой, щедрого сердцем человека!»

Урия долго не могла прийти в себя. Радость переполняла ее, била через край. Хотелось разделить ее с кем-нибудь, и она побежала к соседям.

Потом торопливо прибиралась в квартире, сбегала в магазин и все думала и думала о Нуржане. Растаяли под лучами радости все обиды на мужа. И, казалось, нет на целом свете лучшего человека, чем он. Чуточку было обидно, что Нуржан ничего не рассказывал ей из того, что рассказал корреспонденту. Ну, да ладно. Такой уж, видимо, у него характер. Сегодня его день, и он должен быть праздником.

А вечером пришли гости — Асем и Балайым с мужьями.

— Ну-ка, покажи газету,— попросила Асем.

— Нет! Вы на папин портрет посмотрите!— похвалялся Айдын, вертясь между взрослыми.— Какой он у меня красивый!

Асем вслух прочитала очерк.

Урия, суетясь на кухне, беспрестанно выглядывала в окно. Нуржан явно опаздывал. Айдын поминутно выскакивал на кухню и нетерпеливо спрашивал:

— Ну где же наш папа?

— Совсем потерялся наш «крылатый» инженер!— подшучивала Асем.

— Придет. Скоро придет,— говорила Урия, а на сердце было неспокойно, и тревога все сильнее овладевала ею. И уже не столько соседей, сколько себя, успокаивала Урия:— Директор у них в отпуске. Нуржан сейчас и за него и за себя. Дело, наверное, появилось какое-то срочное...

— Задержаться всегда найдется повод,— с усмешкой сказала Асем.

Урия смутилась совсем.

— Не было за ним привычки к поводам...

Время шло, а Нуржана все не было. Надо было спасать положение, и Урия пригласила гостей к столу. Радость потухала, и все чувствовали себя неловко. Раскапризничались малыши Балайым, и гости засобирались домой.

— Вы уж извините,— сказала Урия.— Никогда он так не задерживался. Видимо, все-таки что-то срочное,

— Нет, ты так не отделаешься,— стараясь хоть как-то помочь Урие, говорила Асем.— Завтра мы снова придем поздравлять «крылатого» инженера.

— Да какой может быть разговор. Мы обязательно соберемся...

А муж Балайым — Абдибек — рассматривал Урию так, словно видел впервые, сказал с завистью:

— И где это люди находят таких красавиц, как ты?

Он играл — этот добрый, веселый человек, играл, чтобы Урие было легче скрыть растерянность и смущение. Она ответила ему в тон:

— А уж об этом ты у Нуржана наедине спроси...

— Придет Нуржан, так ты на него не очень-то шуми из-за нас...— сочувственно сказала Балайым.

— Ничего, ничего. Мы призовем его к порядку. Так сказать, силами общественности,— на полном серьезе, авторитетно сказал Жомарт.

— Спасибо, что пришли... Доброй ночи...

Урия закрыла за гостями дверь и бессильно привалилась к косяку. Было горько, обидно и хотелось плакать. Она пересилила себя — убрала со стола, перемыла посуду. Время перевалило за полночь, а Нуржана все не было. Измученный ожиданием, не раздеваясь, уснул на неразобранной постели Айдын.

Тревожной, захлебывающейся трелью заверещал звонок, и Урия вздрогнула от неожиданности.

— Папа, папочка пришел!— закричал Айдын, выскакивая из своей комнаты.

Нуржан едва стоял на ногах. Голова его тяжело падала на грудь, а руки все время пытались что-то нащупать, схватить в воздухе. Он наконец отыскал худенькое плечо сына.

— Засиделись... мы... с одним товарищем...

Глаза Айдына тревожно смотрели в лицо отца.

— А мы тебя так ждали... Гости приходили...

— Угу...

— Покажи папе газету,— тихо сказала Урия и ушла на кухню.

— А-а-а-а. Вы уже видели... Смотри, какой папа красивый... А мама все время ругает его...— Нуржан искал глазами Урию, и было непонятно, то ли он хотел попросить прощение, то ли поругаться...

В эту ночь Урия так и не заснула. В голову лезли

мысли одна страшнее другой. Предчувствия, подозрения — все смешалось. Болело сердце.

Утром она ни о чем не спросила и ни о чем не напоминала Нуржану. Да и что было говорить? Взрослые люди должны понимать друг друга без слов. Вчера в семье должен был быть праздник, но он не вошел в дверь их квартиры. Только горький осадок и щемящая боль остались в душе Урии.

В этот день Урия должна была пойти на работу после обеда. Как только за Нуржаном закрылась дверь, пришла Асем — веселая, возбужденная.

— Пойдем ко мне чай пить,— позвала она.

— Спасибо. Я только что позавтракала.

Глаза Асем загадочно блеснули.

— Пойдем, не пожалеешь.

— У тебя кто-то есть?

Настроение было подавленное, и Урие никуда не хотелось идти, но и отказывать соседке было тоже неловко.

Асем отперла дверь и пропустила Урию вперед. Та переступила порог и в растерянности остановилась. В комнате, за столом сидели двое незнакомых мужчин, курили и о чем-то негромко разговаривали.

— Проходите, проходите. Заждались мы вас...— вставая с места, весело сказал один из них — плотный, широкий в плечах.

С трудом справляясь с растерянностью, Урия неуверенно поздоровалась.

— Ну вот,— весело затараторила Асем.— Все мы теперь в сборе. Можно приниматься за бастанги[1].

Урия повернулась, чтобы уйти, но Асем торопливо схватила ее за руку, потянула на кухню.

— Ты что это? Ты что?— Голос ее вздрагивал.

— Что за бастанги и что это за люди?

Урия в упор смотрела на соседку.

— Знакомые просто. Зашли в гости.

— Гости, с утра?..

В глазах Асем Урия вдруг увидела тоску, но так было только миг, потом ее сменило какое-то бесшабашное, отчаянное выражение.

---

[1] *Бастанги* — угощение, устраиваемое молодой хозяйкой подругам по случаю отъезда из дома кого-нибудь из старших.

— Глупая ты, глупая! Да какая разница с утра или вечером! Тебе-то что? Стол накрыт. Повеселимся, а?

Урия покачала головой.

— Нет.

Она ушла домой и долго не могла забыть Асем, ее глаза. На душе было гадко, но почему-то все мысли о том, что соседка поступает грязно, были вялыми. Ни оправдывать, ни осуждать ее не хотелось. Было все равно.

Однажды утром Нуржан сказал:

— Завтра, наверное, придется ехать в командировку. Приготовь все что нужно.

— Далеко?

— В новый район, за Аккентом. Весна на носу. Помощь механизаторам нужна. Поедем группой.

— Надолго?

— Не знаю. Может, неделю, может, две пробудем.

— Жалко...

— А что случилось?

— Думала в субботу или в воскресенье выберемся... А сегодня сможешь?

Нуржан наморщил лоб, пытаясь понять или вспомнить, о чем говорит жена.

— Договорились ведь. Ленинградская эстрада приехала...

— Ну разве я против?..

Урия обрадовалась.

— Я постараюсь достать билеты. Только ты не задерживайся, ладно?

— Обещаю...— Нуржан торжественно поднял руку.

— Ведь и дня не проходит, чтобы ты пришел вовремя...

— Разговорчивая ты стала что-то...— уловив в голосе Урии недоверие, сказал Нуржан.

— Какая уж есть...

— Не всегда приятно, когда жена много говорит...

— Знаю, но только я же тоже человек...— невесело сказала Урия.

Нуржан нахмурился, сильно сжал губы.

— Хорошо... Нам надо поговорить откровенно...

— Я готова...

...После обеда, возвратясь из больницы, с дежурства, Урия сходила в магазин, собрала все, что нужно было в

дорогу Нуржану, причесалась, долго выбирала и примеривала платье. Редко удавалось вот так уговорить Нуржана куда-нибудь выйти. Мешали то работа, то домашние дела. День шел за днем, а там, смотришь, уже год минул и так и не пришлось ни разу вырваться из круговерти домашних дел.

Давно наступило время, когда должен был вернуться Нуржан, а его все не было. Урия посмотрела на часы — до начала концерта оставалось десять минут, и она поняла, что ее затея провалилась. Пересилив себя, Урия сходила к Балайым, забрала оставленного там Айдына, а когда вернулась к себе в квартиру, плотно заперла дверь, зашла на кухню и вдруг, уронив голову на руки, горько, беззвучно заплакала.

Айдын удивленно, ничего не понимая, смотрел на мать.

А потом был одинокий, тоскливый и длинный, как жизнь, вечер. От первого до последнего дня вспомнила Урия совместную жизнь с Нуржаном. И уже перед самым сном пришла вдруг удивительная успокоенность, и ничего больше не хотелось, и глаза были сухими.

Пришел из своей комнаты Айдын, спросил тихо:

— Мама, ты спишь?

Урия затаила дыхание, не ответила.

— Не спишь ведь... Тебя папа обидел?

И снова Урия ничего не ответила сыну.

— Не будешь ругаться, если я с тобой лягу?

— Иди, мой золотой.

— Только ты больше не плачь.

— Не буду, милый.

Айдын нырнул под одеяло, и Урия прижала сына к себе. Она вдруг остро почувствовала его теплое, доверчивое тельце и поняла, какой он еще совсем маленький и беззащитный.

Закончив разбирать скопившиеся за последние дни бумаги, Нуржан наконец поднялся из-за стола. В командировку можно было ехать со спокойной совестью. Довольный, он потянулся, разминая затекшее от долгого сидения тело и посмотрел на часы. Время было позднее.

Домой он вернулся в полночь. Когда открыл дверь, поразила непривычная тишина, словно все ушли из квартиры.

Нуржан встревоженно прислушался, не раздеваясь прошел в комнату. Разметавшись во сне, посапывая, спал Айдын, не слышно было дыхания Урии, и он догадался, что жена не спит.

Растерянно вышел в прихожую. Ему показалось, что в квартире холодно. Он посмотрел на висевший у зеркала градусник. Красная нитка показывала обычные восемнадцать градусов. Нуржан зябко передернул плечами и вдруг понял, что произошло,— впервые не бросился ему на шею сын, впервые не встала с постели, чтобы встретить и покормить ужином, Урия.

Стараясь ступать тихо, Нуржан прошел в свой кабинет и осторожно прикрыл за собой дверь.

Утром он проснулся чуть свет. И все так же тихо, крадучись, бродил по дому, пока не закончил собираться.

Урия слышала, как Нуржан что-то искал, но не встала, чтобы помочь и проводить в дорогу. Она лежала, прислушиваясь к себе, и вдруг поняла — все, что она сейчас делает, вовсе не месть. Страшное равнодушие навалилось на нее, и не было ни сил, ни желания с ним бороться.

Дня через два, вернувшись с работы, Урия едва успела раздеться, как прибежала Асем.

— И где ты до сих пор ходишь?

— На работе...

— Не было тебя в больнице. Я звонила.

— Ну и что? По дороге зашла к больному ребенку. А что случилось?

— Да ничего. Пойдем ко мне. Чайком побалуемся.

— Как тогда?

Глаза Асем виновато забегали.

— Они опять пришли. Пристали — позови да позови соседку.

— Устала я...

— Вечно тебя упрашивать приходится...

— Что, им делать нечего, твоим гостям?

— Помнишь того, что с тобой разговаривал,— зашептала Асем.— Так он говорит, что без тебя у него кусок в горло не лезет.

— Что ему от меня надо?— грубовато спросила Урия.

— Как «что»? Ну, посидеть, познакомиться, настроение поднять... Я однажды Балайым приглашала. Так она

явнлась в своем ситцевом платье. Вся какая-то нзмятая. И говорнть, оказывается, с культурными людьми ие умеет. Так за нее стыдио было...

— Я ие могу, иавериое,— сказала Урия,— Айдын скоро должен из садика прнйти...

— Да ие ломайся ты. Пойдем. Соседи мы с тобой все же...

Урия действительио колебалась, ие зиала, как поступить. Пойти — зиачит оскорбить, унизить Нуржаиа. Нет, ей совсем не страшиа была почему-то его ревность. Но пойтн вот так... в компанию к незиакомым мужчинам... Урия зиала — Асем ие отвяжется...

— Эх, ты...— с делаиой грустью сказала Асем.— Чего кнснешь? Не можешь чашку чая у меия выпить?

— Ты же знаешь, одиа я сейчас...

— Ладио уж... И чего нз себя аигела строить... Ты думаешь, что твой Нуржаи святой? Подумай хорошо да прикииь, когда ои домой приходит...

Слова Асем больио ударили по сердцу. А что, если это действительио так? И сама ведь ие раз об этом думала. В короткий миг прошли в памяти все обиды, которые ианес ей Нуржаи: и ие простился с ней, уезжая в комаидировку, и пьяный приходил. А какими мучительно долгими были вечера ожидаиия? Как было стыдио, когда в гостях одиажды отказался с ней потаицевать н спеть вместе ие захотел? Вспомиились глаза мужа, глаза, которыми он смотрел на встречных девушек и женщии... «А что?— подумала Урня.— Чем я, в коице концов, хуже другнх?» На сердце стало тревожио.

— Пойдем,— торопила Асем.— Чего доброго, пока мы рядимся здесь, Жомарт вериется.

— А с хозяином еще лучше...— засмеялась Урия.

— Все поимаешь, а прикидываешься...—вздохиула Асем.

— Я долго сндеть ие буду,— сказала Урия, на всякий случай готовя себе путь к отступлеиию. Не обижайся.

Асем обрадоваиио закнвала.

— Знаю, знаю... Пойдем скорее...

— Идн. Я сейчас...

Соседка ушла.

Урня подошла к зеркалу. Молодая, миловидиая женщнна с тревожно блестящими глазамн глянула на нее из холодной серебрнстой пустоты. Урня всмотрелась в

свое лицо и попыталась улыбнуться. Горькие, чуть заметные складочки в уголках губ не разгладились. Урия прищурила глаза, тряхнула головой, поправила прическу...

...Когда Урия пришла к Асем, знакомые ей мужчины быстро переглянулись и дружно заулыбались.

— Заждались мы вас...— начал коренастый, тот самый, что разговаривал с ней в прошлый раз.

Урия ничего не ответила, только улыбнулась.

— Мы ведь, кажется, ни в чем не виноваты перед вами, а вы так испытываете наше терпение,— мягко сказал второй. Он был невысок, смуглолиц, с красивыми темными глазами.

Урия снова не нашлась что ответить.

— Да хватит вам болтать...— досадливо перебила Асем.

Красивый сказал:

— Мы это просто так... Приятно видеть в доме еще одну милую и обаятельную женщину...

— Ох, уж эти мужчины!— смутилась Урия.— Комплиментами сыплют, как мусором...

— Ойбой! Дело пахнет керосином. Честное слово, мы больше не будем. Хотели, как лучше...

— Хватит,— решительно перебила Асем,— не для того мы здесь собрались...

— Гляди, какая смелая. Только ведь говорила, что Жомарт может вернуться...— усмехнулась Урия. Сказала и удивилась себе. Никогда ведь не было в ней раньше ни насмешливости, ни жесткости в словах.

— Это я так,— Асем засмеялась.— Старик так далеко «ушел», что раньше полуночи не вернется...

— Асем...— с укором сказала Урия.

— А что?— с вызовом спросила та.— Нуржан твой в командировке. Так что ж теряться?— И прижалась головой к плечу Урии.

— Давайте выпьем,— сказал красавец и поднял бокал с шампанским.— За здоровье Урии...

Она подняла бокал, посмотрела сквозь него на свет. В золотистом вине вспыхивали крошечные искорки.

— До конца, до конца пьем...— торопил, уговаривал коренастый.

Урия поднесла бокал к губам. Тихий, робкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть. Асем торопливо бросилась в прихожую.

— Мама у вас?

Это был Айдын. В целом мире она бы ни с кем его не спутала.

Урия хотела вскочить, броситься к сыну, но непонятная тяжесть словно придавила ее к стулу. Она слышала, как кудахтала в прихожей Асем:

— Айдынжан. Вот тебе конфеты... Положи их в карман... Бери больше... Иди погуляй... Мама скоро придет...

— Выпроводила... Все в порядке...

Время шло как во сне. Урия чувствовала, что лицо ее раскраснелось от выпитого вина, она слышала разговоры, что-то говорила сама, но все проходило словно мимо ее сознания. Несколько раз появлялось слабое желание подняться и уйти, но Урия без труда справлялась с ним. Временами начинало казаться, что ей действительно хорошо здесь и что жить вот так, легко и просто, это прекрасно.

И снова стук в дверь вернул Урию в действительность. Стук был громкий, беспорядочный, тревожный. И снова она услышала голос сына:

— Мама! Скорее... Где же ты... Пошли домой...

И, повинуясь вдруг вспыхнувшей в ней неведомой силе, Урия вскочила со стула, выбежала на лестничную площадку, подхватила сына на руки.

— Солнышко ты мое! Совесть моя!— тихо и горячо шептала Урия.

Она не видела лица сына, только слышала его теплое дыхание, чувствовала на шее его руки...

Глаза Урии сухо и горячо блестели...

II. ОН, ОНА, ДВА МАЛЬЧИКА

Был конец апреля и по всему городу, закутавшись в бледно-розовые прозрачные облака, цвели деревья. Блестящее весеннее солнце растопило снег на прилавках — предгорьях Заилийского Алатау.

Балайым спустилась в бытовку, чтобы погладить платье. Сегодня в институте должен был состояться вечер, и поэтому в бытовке было многолюдно. Шумели, галдели девчонки, обмениваясь новостями, шутками.

— Говорят, придут парни из нархоза. Вот смешно. Сроду еще с бухгалтером не танцевала...

— А оркестр из политехнического...

— Считайте, девчонки, что все оглохнем. У них барабанщик так колотит, будто в джунглях живет...

— Ничего. Скажешь тоже... Какой без барабана оркестр...

— Послушай. Дашь мне свои красные туфельки на сегодня?

— Чтоб оттоптали все носки?

— О господи! Разве я стану танцевать с бегемотом?

Балайым в разговоры вступать не стала. Быстро погладив платье, она поднялась на четвертый этаж в свою комнату. Было немного грустно и завидно. Девчонки так весело и привычно говорили о таких вещах, о которых она и представления не имела. «Третий курс заканчиваю,— с грустью подумала Балайым,— и даже парня у меня нет. Только и радости, что с земляками иногда в театр сходишь. А девчонки, выходит, не теряются...»

В комнате кто-то спросил Балайым:

— Ты с нами пойдешь или снова земляков будешь ждать?

Ей показалось, что в вопросе была насмешка, и она промолчала.

...После концерта начались танцы. И здесь случилось то, о чем Балайым только могла мечтать. К ней вдруг подошел парень и пригласил на вальс. Парень был веселый, озорной, танцевал легко и свободно и еще свободнее работал его язык. Без всякого стеснения он предложил:

— Давайте знакомиться. Меня зовут Абдибек...

И покоренная его белозубой улыбкой, веселостью, она с незнакомой для нее легкостью ответила:

— А меня Балайым...

— В этом году я заканчиваю институт. Буду экономистом...

— А я только на третьем курсе...

— Значит еще далеко до финиша...

— Нет,— возразила Балайым.— Время летит быстро. Я и эти три года не заметила...

Танец закончился, но Абдибек не спешил уходить. Он стоял рядом, осторожно касался локтя Балайым своей рукой и говорил, говорил, говорил.

Когда оркестр заиграл вновь, он ловко, уже не спрашивая разрешения, подхватил девушку за талию.

— Пойдемте. А то еще кто-нибудь уведет вас.

Балайым не узнавала саму себя. Ничего особенного, казалось, не произошло, но она чувствовала себя счастливой. Даже актовый зал, к которому Балайым привыкла за три года, показался ей сегодня шире обычного, и паркет сиял празднично, и свет люстры слепил глаза. А как было хорошо и радостно танцевать, и оркестр из политехнического вовсе не гремел, а каждый инструмент в нем словно пел человеческим голосом. Хотелось в этот миг одного — чтобы вечер никогда не кончался.

Тысячу раз благословила Балайым мысленно тот момент, когда решила не приглашать на вечер земляков. Снова бы говорили о том, о чем сто раз переговорено, да и кто бы решился подойти к ней и пригласить на танец, если бы рядом были ребята.

— Жарко что-то стало,— сказал вдруг Абдибек.— Может быть погуляем немного?

Смотрел он так открыто, так хорошо улыбался, что Балайым вместо того, чтобы испугаться непривычного для нее предложения, с радостью согласилась.

Мелькнула было мысль, что Абдибек от того так смел, что нравится девушкам и, видимо, никогда не знал отказа, но Балайым беззаботно прогнала ее от себя, боясь разрушить негаданно выпавший ей праздник.

Весенняя ночь была прекрасна. В черном небе раскачивались крохотные фонарики звезд, и теплый ветер омывал горячие лица. Они бродили по тихим улицам и не заметили, когда наступил рассвет.

С того памятного вечера Балайым и Абдибек начали встречаться.

Девчонки в общежитии ахнули. Их, знающих друг о друге все, потрясли изменения, происшедшие в жизни Балайым. Да и как было не удивляться. Подруга, все три года жившая замкнуто, ни разу не целовавшаяся ни с кем, в один вечер «захомутала» такого парня. Ей завидовали, подсмеивались, но выбор одобряли единогласно. Бывало, что кто-нибудь из девчонок говорил ей покровительственно и снисходительно: «Иди, сами уберемся», или: «Можешь сегодня надеть мое новое платье».

Абдибек приходил каждый день. Но они не были похожи на других влюбленных — не спешили куда-нибудь в театр или на вечер. Чаще уходили в сквер возле общежития, садились в густой тени деревьев на свободную

скамейку и подолгу о чем-то шептались, а иногда просто бродили по улицам города.

Балайым всегда возвращалась поздно. Девчонки встречали ее шутками:

— Рассказала бы, о чем вы говорили весь вечер...

— А я и сама не знаю,— краснела от смущения Балайым.— Больше он говорит, а я слушаю...

— А в любви уже признавался?— допытывались подружки.

— Сколько раз!

— Ну, а ты?

— Да бросьте вы...— совсем терялась Балайым.

Девчонки начинали дружно смеяться. Им было весело...

Весна заканчивалась. Осыпался с деревьев праздничный наряд, развернулись клейкие листья.

Однажды Абдибек сказал:

— Кажется, оставляют меня здесь, в городе. Есть место экономиста на какой-то большой фабрике.

Балайым искренне обрадовалась. Не каждому выпускнику так везет. Они пошли в парк, посмотрели фильм и посидели в кафе. К общежитию вернулись усталые, но счастливые. И вдруг Абдибек с грустью поделился:

— Устал я так, что ноги не держат. Доживу ли до того дня, когда открою дверь нашего общего с тобой дома? Ты, вот, остаешься сейчас, а мне идти — через весь город. И так каждый день...

— Ну зачем ты об одном и том же...— тихо сказала Балайым,— у меня еще два года учебы.

— Нам уже не по семнадцать,— возразил мягко, но настойчиво Абдибек.— И нельзя разбрасываться временем. Что плохого в том, если ты станешь матерью, а я отцом чуть раньше установленного тобой срока?

— Не надо спешить...— попросила Балайым.

— Завтра я приду в семь. Выходи, пожалуйста, быстрее. Славу Ромео я у твоих подруг, кажется, уже завоевал. Так что лучше не давать им повода для смеха. А то я каждый вечер, как столб, перед вашим общежитием стою.

— Хорошо. Только ты не спеши...

— Да что же в этом плохого, если я хочу поскорее

обзавестись собствеиным домом, хочу, чтобы у иас была семья?— горячо продолжал Абдибек.

— Обо мие ты только ие хочешь думать...

— Ну вот. Ты опять за свое...

— Давай завтра об этом поговорим.

— Это совсем другое дело...— голос Абдибека потеплел.— А то я сегодия, честиое слово, всю ночь бы не спал.

— Иди, милый...

Вериувшись в свою комиату, Балайым легла в постель, сжалась в комочек, затихла, ио сон ие шел. Широко открытыми глазами смотрела оиа в темиоту и думала об Абдибеке и о себе.

Что сказать завтра Абдибеку, что ответить, если он сиова заведет этот разговор. А ои обязательио спросит. Нужио еще два года, чтобы окоичить ииститут. Всего два года...

Но ведь Абдибек придет и завтра, и послезавтра, и так будет до бесконечиости. И ои будет все время твердить об одиом и том же. А где взять силы, чтобы повторять «иет»?

Балайым уже иеплохо зиала характер Абдибека — упрямый, иастойчивый, он ие свернет с пути, ие откажется от задумаииого. И подружки постояиио спрашивают, когда будет свадьба. А разве им объясиишь? Со стороиы всегда кажется, что у других все просто и легко.

Вспомнился разговор с Абдибеком. Ои говорил:

— Поиимаешь, должиость у меня будет хорошая, авторитетиая. Одио дело — отношеиие к холостяку, совсем другое — к жеиатому человеку. Солидиее, что ли... А потом ведь, и общение требуется с людьми — к кому-то пойти, кого-то к себе пригласить. А куда мие приглашать? В холостяцкий угол, иа хлеб и воду?

Балайым тихоиько, чтобы не слышали подружки, вздохнула. Во многом Абдибек был прав.

Выходило — куда ии кииь, всюду клии. Не устоять, видимо, перед напором Абдибека. Умеет ои обо всем сказать так, что и сразу даже слов утешения ие иайдешь. Да и ие утешения он ищет и ждет, а ее согласия.

Балайым крепко сжала губы. А что, если завтра ие выйти к нему? Пусть помучается, пусть поймет, что решать их дела иадо ие в одиночку, а вместе. Ведь если выйти замуж, ие окоичив ииститута, все может пойти насмарку, а ему, похоже, все равио.

И вдруг другая мысль, тревожная и острая, обожгла ее сознание: «А если Абдибек уйдет... и больше не вернется? Ведь он, наверняка, устал от моего «нет». Что будет, если он не вернется?!» Сможет ли она, Балайым, прожить теперь без него?

...Через несколько дней Балайым и Абдибек сыграли шумную студенческую свадьбу...

Первый, медовый, месяц молодые провели в доме одного из товарищей Абдибека. У Балайым уже были каникулы, а Абдибек успел сдать госэкзамены. Когда же вернулся из отпуска хозяин, молодым пришлось заняться поисками квартиры. Оба знали, что в центре города им ничего подходящего не найти и поэтому сразу же отправились на окраину.

Квартиру они нашли. Правда флигилек — времянку, построенную предприимчивым домовладельцем в глубине приусадебного участка,— трудно было назвать квартирой. Крошечная, похожая на сарай комната с трудом поместила кровать, стол и несколько стульев. Балайым сразу же окрестила свое новое жилье «курятником».

— Очень хочу посмотреть,— сказала она Абдибеку,— как ты будешь встречать в этом «приличном» доме гостей.

— А что делать?— Он вздохнул, потом сказал с упрямством:— Москва и та не сразу строилась...

Лето было на исходе. Деревья в саду стояли еще зеленые, но листья уже погрубели и сквозь ветви проглядывали румяные, тяжелые от налившегося сока плоды.

Весь день с утра до вечера Балайым проводила дома. Абдибек уже работал. Все получилось так, как он и говорил,— Абдибека направили на одну из больших фабрик города экономистом. Его режим дня тоже не отличался большим разнообразием. Утром — на работу, вечером — в «курятник». Возвращался он затемно, потому что фабрика находилась на другом конце города, и пока удавалось добраться автобусом, наступал поздний вечер.

Едва переступив порог, Абдибек устало падал на диван. Балайым весело и проворно накрывала стол. Короткие вечерние часы проходили быстро и незаметно.

Однажды, уже в постелн, Балайым иарочно грубовато толкнула мужа в плечо.

— Поннмаю, что устаешь... Но можно подумать, будто я нашла тебе этот «курятинк». Поговорнл бы хоть, спросил, что у меня нового.

— А что спрашнвать? Разве что-то случилось?

— Эх ты! Смотреть лучше иадо. Разве не вндншь, что я поправнлась?

— Правда?— Абднбек даже прнвстал в кроватн.— Ах ты, моя байбнше! Еслн родншь мне сына, я всю жнзнь тебя буду на руках носнть. Всю жнзнь! Понимаешь?!

— Да иу тебя...

— Не волнуйся, все образуется!..

— Образуется? Хочешь сказать, что у нас настоящая квартнра будет? А потом?

— А потом ты родншь еще сыиа...

— Вот-вот...— с обндой сказала вдруг Балайым,— тебе только сына подавай, а как мне с учебой быть — подумал?

— Снова ты за старое. Было бы здоровье, а учеба никуда не денется... Как-инбудь закончншь.

Балайым стало горько. Всегда Абднбек так говорнт: «Как-нибудь закончишь». А что ему ответншь? Жнлье тесное, без удобств, да н малыш скоро появится...

Она вздохнула. Надо было ие заводнть сегодия разговор об учебе. И чтобы хоть как-то сгладнть иеловкость, Балайым сказала:

— Мнлый! Ты все поимаешь лучше меня. Я тоже думаю, что с учебой все будет в порядке. Это я просто так вспомиила...

Абднбек молчнт, но оиа чувствует, как схлынуло с иего напряжение, н он расслабился.

— Ложись ближе...— шепчет Балайым.— А то словно чужой... Зиаешь, как я за деиь успеваю соскучиться по тебе?!

Абднбек молчнт, и она, плотиее прнжнмаясь к иему, продолжает шептать:

— Тосклнво мие одной в этом «курятннке»... Пойми...

— Не верю...— оттаявшим голосом говорит вдруг Абднбек,— чтобы молодая жена, с иетерпением ждущая мужа, могла скучать...

Он поворачивается к ней, крепко обннмает. Балайым чувствует только его руки, горячее тело и ие слышит больше своего шепота...

Настроение у Балайым было отвратительным. Через несколько дней в институте начинались занятия, а она не знала как ей поступить.

Абдибек вернулся с работы поздно. Усталый и раздраженный, он сразу же повалился на кровать. Говорить обоим не хотелось, но Балайым знала — отодвигать, откладывать этот разговор дальше некуда.

— Мой руки,— сказала она.— Ужин готов...

— Есть что-то не хочется...

— Это еще почему?

— Устал. Выдохся вконец...

Балайым съязвила:

— А может жена надоела? Может это она тебе нервы портит? Мог бы хоть поинтересоваться, о чем я думаю...

— Ну, началось. Целый день от безделья маешься, а вечером меня грызешь.

— Спасибо...

— Послушай! Дай ушам отдохнуть.

Оба долго молчали. Балайым хотелось как-нибудь обидеть мужа, но она сдержалась.

— Учебный год в институте начинается... А я не знаю как быть...

— А я здесь причем?— раздраженно отозвался Абдибек.

Он в упор разглядывал Балайым. С тех пор, как она забеременела, лицо ее покрылось коричневыми пигментными пятнами, между бровями залегла глубокая некрасивая складка. Сейчас, когда Балайым злилась, было в ней что-то отталкивающее. Абдибек отвернулся.

— Возьми на год академический отпуск. Что я еще могу предложить?

— Хорошо, если там пойдут навстречу...

— А куда они денутся... Разве не видно, что ты беременна?

Балайым замолчала. Волна раздражения схлынула, и она уже жалела, что поссорилась с мужем. Если бы он сейчас подошел, положил на плечи руки... Но Абдибек обиженно сопел, а потом вообще отвернулся к стенке.

«Что же это получается?— снова с обидой подумала Балайым.— С каждым днем он становится все более раздражительным. Похоже, и домой ходит только для того, чтобы переночевать, словно одолжение делает. Какая же это семейная жизнь? А может вовсе и не работа виновата в том, что он стал таким?»

Оиа постаралась отогиать эту мысль, ио обида ие проходила. Балайым чувствовала — ие ладится у иих что-то, да и с учебой полиая иеопределенность.

Балайым ворочалась с боку иа бок, а в голову лезла всякая чертовщииа. Ей вспомиилось, как одиажды Абдибек сказал, что привык обедать в столовой. И сейчас, в эти бессоииые часы, эта, в общем-то, безобидная фраза, показалась иасмешкой. Подумалось, что Абдибек, очеиь уж следит за своей одеждой, сдувает каждую пылиику. И в этом Балайым увидела какой-то иепоиятиый ей смысл.

Обида комом стояла в горле. Хотелось уткнуться лицом в подушку и разреветься. «Что происходит с ним?— мучительио спрашивала оиа себя.— Неужели опостылел ему иаш дом?» Спрашивала и ие иаходила ответа.

Балайым хотела сиова заговорить с мужем, ио ие решилась. Оиа понимала, что ие сможет сейчас держаться спокойио, а раз так, то и ие стоило иачинать.

Тяжелая, вязкая тишииа иаполиила комиату. Оба ие спали, ворочались.

Абдибек иарушил молчаиие первым:

— Чуть ие забыл. Завтра иас в гости приглашают. Начальиик цеха.

Все еще иаходясь под впечатлеиием своих иевеселых мыслей, Балайым ответила:

— Иди одии. Люди иезиакомые... Неудобио мне будет, с таким животом...

В душе ей хотелось, чтобы Абдибек прииялся уговаривать, ие согласился идти одии, ио он вдруг сказал:

— Пожалуй ты права...

— Или объясии, что ие можешь пойти. Скажи, жеиа в положеиии. Поймут...

— Нет-иет... Не пойти иельзя. Обидятся. Только работать вместе иачали... Скажут, ломаюсь, цеиу себе набиваю... Да и зиакомства пора заводить. Я недолго там пробуду, ты ие волиуйся. Выглади мие утром белую рубашку.

Балайым иичего ие ответила мужу. «Белую рубашку выглади...» Зиает ведь прекрасио, что все давно выглажеио. Ну и пусть идет. А она завтра обязательно сходит в иистиқут, встретится с девчонками, посоветуется. Но тут же Балайым подумала, что иикуда ие пойдет и ии с кем ие сможет поделиться своей бедой. Кто может по-

мочь, если она сама до конца ие поиимает, что творится в ее семье? Нет уж! Надо искать выход самой.

Абдибек уже спал, укрывшись с головой одеялом, а Балайым все смотрела во тьму бессонными глазами и думала, думала... Никогда еще не было ей так плохо, так одиноко. Она закрыла лицо ладонями и горько заплакала. В этот миг ей хотелось только одного — чтобы Абдибек услышал ее и проснулся, но муж спал глубоко и дыхание его было ровиым и спокойным.

Утром Абдибек надел новый костюм, глянул иа себя в зеркало, удовлетворенно хмыкнул.

— Смотри не засни, пока я приду.

Балайым хотела сообщить мужу, что собирается пойти в институт, но промолчала.

— Ты думаешь, я могу спать одна, когда тебя нет?— беззлобно сказала она.— Вот ты, наверное, можешь.

— Милая, если бы все были такими, как я...

— Знаю, знаю... За твоей широкой спиной, я как за каменной стеной...

Абдибек, чувствуя настрой Балайым и опасаясь новой ссоры, ничего не ответил и заторопился.

Балайым осталась одна. И снова обступили ее иевеселые мысли. Вспомнились вдруг слова покойной матери: «Не надо нанизывать на ниточку все, что не нравится тебе в муже. Мужчина — он на то и мужчина. И нагрубить может. Он же и приласкает. Умей прощать, если хочешь, чтобы горел твой семейный очаг. Запомни, спокойствие и мир в доме — от женщины. Душа у женщииы должна быть доброй, широкой...»

Хорошо говорила мать. Она знала жизнь и не могла ошибиться. Но ведь Балайым многое прощает Абдибеку, очень многое, и тем не менее все не складывается и нет в семье тепла. Почему?

Балайым налила в таз горячей воды, начала стирать рубашки мужа. Мысли не покидали ее. Она по-прежнему думала об Абдибеке, стараясь отыскать хоть какой-нибудь повод, чтобы оправдать его поведеиие. «Конечио, Абдибеку нелегко. Работа у него ответствениая. Сколько нервов и терпения надо, чтобы привыкнуть, стать своим в коллективе. Новичок всегда и у всех на виду. А тут, дома, она постоянно со своими обидами. Его, наверное, тоже можно понять. Ничего, со временем все образуется,

станет на свои места. Абдибек прав. Лишь бы здоровье было...»

Закончив стирать, Балайым вышла во двор. Ласковое осеннее солнце стояло высоко, под ногами тихо шуршал ковер из опавших листьев. Она любила желтый цвет и невольно залюбовалась осенним садом. На душе потеплело, ушла тревога и стало хорошо и радостно.

Почему-то вспомнился прошлый год, когда они всем курсом ездили на хлебоуборку. Суматошные, веселые дни. На току всегда было много народа, а из степи, пропыленные и горячие, бесконечной вереницей тянулись машины с зерном. Уставали так, что вечером, хлебнув холодной колодезной воды, обессиленно валились на пласты душистого сена и долго не могли подняться.

А то, бывало, только наклонишься над ведром, чтоб напиться, кто-нибудь возьмет да и сыпанет за ворот горсть пшеницы.

Смех, крики, а зернышки уже бегут по спине, щекочут разгоряченное работой тело. Дружно налетают девчонки, хватают за руки, за ноги и начинают трясти.

Заведующий током качает головой, улыбается в прокуренные усы.

— И чего это вы все время Балайым обижаете. Знаю, знаю. Тихая она, вот вы и забавляетесь...

Девчонки смеются:

— Для вас стараемся. Потрясли ее как следует, так она теперь до самой ночи с лопатой не расстанется.

— Да ну вас...

Старик хочет уйти, но девчонки загораживают ему дорогу.

— Агай, подождите. У нас вопрос есть. Когда вы своего сына агронома жените? Горит ведь на работа. Так и до беды недалеко. Ну, а если дело в невесте, то советуем далеко не ходить. Она здесь. И лицом красавица и характер как мед. Чем Балайым не невеста? Сами все время хвалите. Хорошая она у нас.

— А я и без вас знаю, какая она...

— Значит, свадьба скоро?

— Ну, сороки...

Румянец смущения заливает лицо Балайым. Она с укором говорит подругам:

— Нашли с кем заигрывать... Он же в отцы вам годится...

Над током разносится дружный веселый хохот.

...Балайым вздохнула. Нынешнее лето совсем не похоже на предыдущее. За какие-то полгода столько перемен. Конечно, рано или поздно это должно было случиться. Все выходят замуж... Балайым вдруг размечталась: «Если роды пройдут благополучно, с будущего года снова возьмусь за учебу. К этому времени и Абдибек утвердится на своей работе, а я, я наверстаю, догоню девчонок...»

На душе от этих мыслей стало тепло. А может, действительно, взять сейчас и пойти в институт? Балайым погладила руками свой большой острый живот. Нет, пожалуй, делать этого не стоило. Было как-то неловко показываться такой перед сокурсницами.

Балайым вдруг даже рассердилась на себя, потому что ей вечно что-то мешало. Давно надо было показаться в институте. Никто ведь не держал. А она все лето дальше продовольственного магазина не выходила.

Нет у женщины конца домашним делам. Балайым выстирала все вещи мужа, хотела сделать то же самое со своими, но передумала, отложила до следующего раза. «Успею,— решила она.— Я все равно сижу дома. Напрягаться не к чему».

Незаметно пришел вечер. Балайым перегладила высохшее белье, попила чаю, почитала книгу. Было уже поздно, хотелось спать, а Абдибек все не возвращался.

Как заснула, она не помнила. Разбудил Балайым громкий стук в дверь.

— Кто там?— тревожно спросила она.

— Кто же еще, если не я?

Переступив порог, Абдибек едва не упал.

Балайым бросилась к нему.

— Что с тобой?

Он с трудом, цепляясь за стены, добрался до кровати.

— Хотел раньше вернуться,— виновато бормотал Абдибек.— Да хозяин не пускал...— Глаза его были воспаленными, лицо опухшим.— Ха-арош-шие, я тебе скажу, л-люди...

За окном занимался серый, тоскливый рассвет.

— И до скольки же вы сидели?— жалея мужа, тихо спросила Балайым.

— До двенадца-а-ати... А потом никакого транспорта... Пеш-шком шел...

— Поздравляю!— рассердилась Балайым.

— А что делать? Не возвращаться же... обратно...

— Выходит, пил сколько наливали?

Абдибек, видимо, уже не слышал жену. Обрывки каких-то мыслей ворочались в его воспаленном мозгу.

— Ох-хо-хо! И х-харошие же люди-и-и...

Утром Абдибек проснулся чуть свет. На душе было скверно. Подташнивало, мучительно болела голова и мир казался ему нереальным, словно отлитым из толстого стекла. Не выпив даже чая, он заспешил на работу.

На фабрике, у себя в кабинете, Абдибек в подробностях вспомнил вчерашний вечер.

Хозяин встретил его приветливо, показал квартиру. Комнат было пять и все просторные, с высокими потолками. Обставлены со вкусом — все продумано, ничего лишнего. «Вот это да!— с завистью подумал Абдибек.— Сколько же мне придется пахать, чтобы и у нас с Балайым стало так же?»

Еще больше поразила его жена хозяина. Она была уже не молода, но держалась уверенно. Располневшее тело ее двигалось легко, изящно, а с удивительно чистого лица не сходила приятная улыбка.

— Папочка, так это тот самый молодой человек, о котором ты мне столько рассказывал? Ждали вас, ждали...

— Здравствуйте, апай,— совсем растерявшись, пробормотал Абдибек.

— Называй ее женеше...— засмеялся хозяин.

— Правильно,— подхватила женщина.— Куда приятнее, когда молодой человек обратится к тебе не «апай», а «женеше». Я ведь еще не такая уж и старая...— Она весело засмеялась, ослепительно блеснув золотыми коронками.

— Показал молодому человеку нашу квартиру,— вставил хозяин.— Пусть по достоинству оценит тебя...

Она махнула рукой.

— Хозяйку оценивать надо по тому, что на стол она поставит...

— Ты у меня за словом в карман не полезешь...— удовлетворенно улыбнулся хозяин.

— А что в этом плохого, папочка?

— А разве я сказал, что это плохо, милочка?

И снова Абдибеку стало завидно. «И где это люди

находят себе таких ласковых подруг?— подумал он.— Не молода, вроде, а собой хороша. С ней, наверное, легко и приятно...»

Гостей собралось много. Все они знали друг друга, и к Абдибеку, единственному здесь новичку, отнеслись внимательно. И все-таки, ему было неуютно и неловко в этом гостеприимном доме. «Надо чаще бывать на людях,— упрекнул себя Абдибек.— А то скоро и рта не сможешь открыть от робости».

Он тяжело вздохнул, отгоняя воспоминания. От того, что не выспался, от выпитого вчера не переставая болела голова. И в автобусе ему сегодня досталось место в самом конце салона — воняло бензином, невыносимо трясло. Он пожалел, что не выпил дома чая. Но потом подумал, что чай, наверняка, был бы сдобрен ехидными колкостями Балайым и это хорошо, что он сразу же ушел из дома.

Балайым... Последнее время неуютно с ней Абдибеку, словно он не хозяин, а гость в доме. Порой приходится даже заставлять себя идти домой. Если бы его воля... Впрочем, Абдибек и сам еще толком не знал, что бы он стал делать, если бы у него действительно была эта самая воля. Ясно одно — и тесная комнатушка, и всегда сумрачная неопрятная Балайым, надевающая на себя что попало — отдаляются, становятся чужими ему и не вызывают больше иного чувства, кроме раздражения.

Абдибеку вдруг вспомнилась Балайым такой, какой она была еще совсем недавно. Порой кажется, что прошло с тех пор сто лет. Тихая, стеснительная, краснеющая от каждого слова, она притягивала его к себе. Хотелось бесконечно долго смотреть на ее нежное лицо, ловить улыбку, каждое слово.

Теперь же ее робость, покорность, готовность во всем и всегда повиноваться его желаниям — раздражали. Думая о семейной жизни, Абдибек не обманывал себя. Что правда, то правда — вначале именно покорность Балайым, ее беззаветная преданность влекли его к ней, но ведь сейчас она хозяйка дома, а скоро станет матерью его ребенка. Чем объяснить ее инертность, нежелание изменить как-то их жизнь. Целыми днями сидит дома и ждет, когда Абдибек все решит за нее. Та же учеба. Что может быть проще — надо только сходить в институт, оформить академический отпуск, но для Балайым даже это проблема. Не от того ли она постоянно пилит Абдибека, что

надеется, будто все это сделает он сам? Но, черт возьми, время не резиновое, и он не может укорачивать или удлинять его по своему усмотрению, а у него и так сто дел в течение дня. Конечно, она сейчас беременна и ей нелегко, но ведь живут же нормальной жизнью другие женщины: и деятельными остаются, и за собой следить не забывают.

А сейчас что получается, придет Абдибек домой, глянет на Балайым, похожую в своей покорности на тень, и в душе вдруг вспыхнет, закипит необъяснимая злость. Иногда даже хочется накричать на жену, но повода нет — ужин готов, в комнате чисто, белье постирано и выглажено. Все как будто бы на месте, а раздражение не исчезает. Балайым видит недовольное лицо Абдибека и этого достаточно, чтобы вечер казался испорченным. Единственное спасение тогда — это постель. Хочется скорее лечь, зарыться с головой в одеяло и постараться быстрее уснуть, чтобы избавиться от тягостных мыслей. Разве о такой семейной жизни мечтал Абдибек? А может быть вся беда в том, что в свое время он придумал для себя Балайым?

Графин с водой, стоящий на столе, быстро пустел. Временами становилось как-будто легче, но потом снова начинало стучать в висках и к горлу подступала тошнота. «Если бы был такой человек, с которым можно было поделиться самым сокровенным,— думал с грустью Абдибек.— Если бы можно было рассказать ему все...» Пришла в голову вдруг нелепая мысль, о том, что, быть может, надо бросить все и уехать куда-нибудь в глушь, подальше. Но сейчас же Абдибек понял, что от себя никуда не убежишь.

Открылась дверь, и в кабинет, легкая и красивая впорхнула бухгалтер Жамал. На ней было яркое цветастое платье, и она показалась Абдибеку в этот миг похожей на бабочку.

— Вы не забыли, о чем я просила вас вчера?..

Абдибек мучительно пытался вспомнить, что он обещал Жамал, и не мог — голова все еще гудела и раскалывалась от боли.

— Присаживайтесь...— предложил он.

— У начальства в кабинете засиживаться опасно,— улыбнулась Жамал.

В последнее время молодая женщина часто находила предлог, чтобы заглянуть к нему в кабинет. Она умела

пошутить, к месту сказать что-нибудь приятное. Абдибек вдруг впервые подумал, что возможно все это неспроста.

Вспомнился случай, как однажды он собрался пойти пообедать в столовую, но зашла Жамал и как бы мимоходом предложила:

— Я смотрю, что домой обедать вы не ездите. У меня есть предложение. Чем торчать целый час в очереди, лучше приходите на чай к нам, в бухгалтерию.

Абдибек сначала растерялся, потом полушутя-полусерьезно сказал:

— Ну, если уж вы приглашаете, то я согласен...

— Я серьезно. Мы в обед всегда пьем чай. Так что приходите.

С этого дня Абдибек часто проводил обеденный перерыв в бухгалтерии. Обстановка здесь всегда была непринужденной, и женщины искренне радовались его приходу. Как-то получалось, что Жамал непременно оказывалась рядом с ним. Она наливала Абдибеку чай, подвигала хлеб, колбасу. Ему нравилось смотреть, как проворно мелькали ее руки, приятно было слышать ее искристый негромкий смех. Однажды Абдибек поймал себя на мысли, что присутствие Жамал волнует его и что он невольно сравнивает ее с женой. Сравнение оказывалось не в пользу Балайым, и Абдибек злился на себя, злился, но ничего не мог поделать. Эти женщины были словно из разных миров.

Прогнав воспоминания и сделав серьезное лицо, Абдибек сказал:

— Жамал, зайдите, пожалуйста, попозже. Мне здесь кое с кем еще нужно побеседовать.

Она ушла.

Абдибек тяжело вздохнул и вытер потный лоб. Приход Жамал растревожил его. Он несколько минут расхаживал по кабинету, потом сел за стол.

«Нет! Надо что-то делать! Надо поговорить! Так дальше продолжаться не может»,— талдычил он себе.

Но о чем и с кем говорить в эту минуту, он решительно не знал. Неудовлетворенность, обида на жизнь, сложившуюся так бестолково, жгли душу Абдибека. Все это заставляло его мозг лихорадочно метаться в поисках выхода. Пока его не было. Но ведь так уж устроен человек, что если он ищет, то обязательно найдет.

На следующий день Абдибек пришел на работу рань-

ше обычного. Едва закончил раскладывать бумаги, как в дверь постучали.

— Войдите,— пригласил он, не поднимая головы.

— Здравствуйте.

В дверном проеме стояла Жамал.

— Что это вы пришли сегодня так рано?— удивленно спросил Абдибек.

Жамал загадочно улыбнулась.

— Давайте сначала поздороваемся...

— Извините, Жамал. Здравствуйте. Ну, так ответьте же на мой вопрос.

Женщина посмотрела ему в глаза.

— Просто у меня интуиция... Скажите, у вас что-то случилось?

Абдибек неопределенно пожал плечами.

— Вам не идет быть хмурым.— Жамал помолчала.— Может быть, я лезу не в свои дела... Если муж уходит утром от жены кислым, то...

— Оставь жену, Жамал!— вдруг резко, перейдя на ты, сказал Абдибек.— Оставь...

Кончилась зима, когда Балайым родила сына. Роды были легкими.

На работу в этот день Абдибек пришел рано. После того памятного разговора с Жамал, внешне ничего не изменилось, но оба чувствовали, что какая-то невидимая ниточка уже протянулась между ними, и не заметная чужому глазу теплота сблизила их. Может быть именно поэтому Абдибек сразу же набрал домашний телефон Жамал.

Выслушав его торопливые и не очень связные слова, она сказала:

— Поздравляю. От всей души. Пусть сын всегда будет здоровым.

Абдибеку голос Жамал показался неестественным, но он не мог справиться с нахлынувшими на него чувствами.

— Проснулся чуть свет. Один в доме... Непривычно как-то...

— Эх, мужчины, мужчины... «Я один»... А как же тогда жить женщинам вроде меня? Я ведь тоже одна, но не хныччу...

Абдибек знал, что Жамал живет одна. Он слышал, что два года назад она разошлась с мужем. Сама же Жамал о своей жизни ему никогда и ничего не рассказывала.

— Ну, и что же вы замолчали?— спросила Жамал.
— Задерживаешься ты сегодня...
— Куда спешить. Еще рано...
— Приходи скорее...— вырвалось вдруг у Абдибека.
На том конце провода молчали.
— Жду!— нетерпеливо крикнул Абдибек.

Ранний телефонный звонок взволновал Жамал. Она торопливо оделась и вышла из квартиры. Жамал не отдавала себе отчета в том, почему спешит. В конце концов, случившееся не очень должно было ее трогать. Другая стала матерью. Было даже что-то обидное в том, что именно с ней, с женщиной, к которой, она знала, он не равнодушен, Абдибек разделил свою радость.

В здании управления было еще пусто, и Жамал, не раздеваясь, прошла в кабинет Абдибека.

Он порывисто шагнул к ней навстречу, взял ее руки в свои, беспокойно заглянул в глаза.

— Почему ты грустная? Я думал, что ты порадуешься вместе со мной.

— Я женщина...— тихо ответила Жамал.

Только сейчас Абдибек заметил, что лицо ее было бледным, а губы вздрагивали.

Жамал неожиданно резко повернулась и выбежала из кабинета. Хорошо, что никто не встретился ей. Она горько плакала.

Отшумела, отбурлила радость по случаю рождения сына. В свое привычное русло входила жизнь в семье Абдибека. Хлопот в доме прибавилось. Балайым совсем перестала следить за собой. Абдибек ловил себя на мысли, что ему с каждым днем все неприятнее смотреть на жену. Даже платье, в котором она постоянно ходила Балайым стирала редко, и потому оно всегда было засаленным.

Однажды он спросил:

— Балайым, что с тобой? Посмотри на себя... На кого ты стала похожа?

Она не подняла головы, долго молчала, потом ответила зло, с неприязнью.

— Разве мало того, что ты чистый? Мне простительно. Я домохозяйка... И в зеркало мне смотреться не к че-

му — я не старая дева, замуж не собнраюсь... Сыта тобой...

Абдибека удивила злость жены. Он понял, что говорить с ней бесполезно. Перед глазамн нечаянно появнлась Жамал — красивая, желанная...

Он вздохнул н отодвинул в сторону пиалу с недопнтым чаем.

Когда сыну исполнилось полгода, Балайым вдруг снова резко изменилась. Последнее время в доме как будто бы установился мир, но теперь она снова сделалась раздражительной, вечно недовольной. Порой Балайым впадала в глубокую задумчивость н вывестн ее из этого состояния было трудно. Абдибек считал, что жена просто очень сильно устала, и старался как можно реже беспокоить ее.

Как-то Балайым спроснла:

— Ты ничего не замечаешь?

Абдибек догадался сразу.

— Ты беременна?

— Да.

— Ну и хорошо. Старшему будет не скучно...

— А как же с учебой?

— Ты все о том же?

— Тебе лишь бы отвязаться от меня. Успоканваешь только, как бедную родственницу... Но ты совсем забыл, что ты муж и тебе обо мне заботнться... Разве я для того поступала в институт, чтобы все броснть на полдорогн?

— Долбишь и долбишь... И все одно и то же!

— Меня, наверное, уже из ннститута исключили...

— Не исключат. Еслн тебе так хочется, то идн учись. Только кто за ребенком будет смотреть? На кого ты его бросишь?

Потом оба долго, подавленно молчали.

Шло время, затянутая его быстрым движением, подчнняясь его ритму, жила Балайым. Она больше не вспоминала об учебе. Единственным делом н едннственной заботой было растить двух сыновей. Хлопот прибавнлось, и Балайым вертелась словно белка в колесе. Дни мелькали как спнцы, похожне друг на друга, серые, бесконечно повторяющнеся. И на Абднбека Балайым пере-

стала ворчать. Ей стало безразлично: когда пришел и когда ушел он, трезв муж или пьян.

Прежде подолгу думала о своей судьбе, переживала каждую размолвку. Теперь все это ушло из ее жизни, и потери больше не вызывали в ней ни волнения, ни даже сожаления. Балайым словно погрузилась в толщу воды, где все звуки были приглушены, а свет становился тусклым и мутным.

Лишь изредка вставали в памяти счастливые студенческие годы, и эти воспоминания были похожи на тонкий, живительный солнечный лучик. Балайым спешила поскорее погасить его, чтобы понапрасну не волновать душу. К чему волновать себя? Все это было в прошлом и только мешало жить.

Частную квартиру они сменили на государственную — Абдибек получил трехкомнатную от фабрики. Но и здесь Балайым осталась прежней. Она жила в своем узком, выдуманном ею самой мирке и упорно не хотела никого туда впускать. Давно можно было устроиться на работу, наладить общение с людьми, но Балайым чувствовала ко всему этому странное и глубокое равнодушие. Две ее соседки — молодые, симпатичные женщины, часто заглядывали к ней, но она к ним не ходила. Не было желания, а, главное, как считала Балайым, у нее не оставалось на визиты времени.

Ей, правда, сразу же понравилась одна из соседок — Урия. Иногда появлялось желание поговорить с ней, но та днем была на работе, а вечером приходил муж, и двери ее квартиры закрывались плотно, словно там крепко стерегли свое счастье. Хорошая семья была у Урии. Приятно и немного завидно было видеть, как в воскресенье муж Урии уходил гулять с сыном.

В характере другой соседки — Асем — Балайым всегда ощущала какую-то враждебную для нее силу и потому общения с нею избегала, хотя та, как и Балайым, целыми днями сидела дома.

Однажды Асем пригласила ее днем на обед. У нее были гости — какие-то мужчины, а муж отсутствовал. Балайым чувствовала себя в этой компании одиноко и неуютно, общих тем для разговора не нашлось, и поэтому она заторопилась домой.

Провожая Балайым до двери, Асем спросила:

— Не скучно тебе одной в трех комнатах?

Балайым с искренним удивлением посмотрела на соседку.

— А я и в одной не скучаю... У меня ведь дети...

Асем вздохнула.

В конце месяца на фабрике начались авралы, и поэтому Абдибеку пришлось работать даже в субботу.

По пути в свой кабинет он по привычке заглянул в бухгалтерию. Все женщины уже были на своих местах и дружно заулыбались в ответ на его приветствие.

Только Жамал едва заметно кивнула головой.

Абдибеку стало неприятно от этой ее сдержанности. Жамал все больше тревожила его. Как он ни старался не думать о ней, она все чаще будоражила его воображение. Женщина словно чувствовала то беспокойство, которое с каждым днем все сильнее охватывало Абдибека, и реже стала заходить в кабинет. Видимо и сегодня она не зайдет, а Абдибеку отчего-то очень хотелось, чтоб Жамал пришла.

Всю ночь капризничали, не спали малыши. Усталая, недовольная Балайым вместо того, чтобы успокоить детей, наподдавала им шлепков, отчего те раскричались еще сильнее.

Абдибек хотел помочь жене, взял на руки младшего, но скоро не выдержал его пронзительного крика и в сердцах бросил его на кровать. Бессонная ночь, испорченное настроение...

После работы Абдибек не спеша вышел на улицу и остановился у перекрестка, ожидая Жамал.

— Подожди,— попросил он, когда она проходила мимо, сделав вид, что не замечает его.

Жамал не удивилась, только сказала:

— Пойдем. Стоять здесь как-то неловко.

— Я хотел с тобой поговорить...

— Все еще есть желание?..

Абдибек вспыхнул:

— А разве ты не видишь?

Жамал на секунду приостановилась, посмотрела ему прямо в глаза.

— Пригласить я тебя к себе не могу...

— Почему?

— Угостить нечем...

— И это тебе мешает?— Абдибек рассмеялся.— Согласен на хлеб и воду...

— Ну нет...— сказала с какой-то странной невеселой улыбкой Жамал.— Гость-то ты для меня дорогой...

— Шутишь?

Жамал вдруг отчаянно тряхнула головой.

— Нет. Я буду ждать тебя завтра...

Абдибек наклонился к ее лицу.

— Ты не обманываешь?

— Нет.

Абдибек долго, пока Жамал не скрылась за углом, смотрел ей вслед, потом присел на длинную скамью перед чьим-то домом и сладко, всем телом потянулся. Рассеянно глянул на часы. Было уже три часа. Привычно подумал, отгладила ли Балайым его праздничный костюм и рубашку. Он представил себя с иголочки одетым, нарядным, с букетом алых гвоздик в руках у дома Жамал... Заныло от сладкой истомы тело...

Вечером Абдибек был веселым. Балайым заметила это сразу и на душе ее стало хорошо и спокойно.

Она помыла посуду, уложила детей. Сегодня они заснули быстро, словно и им передалось хорошее настроение родителей. Потом Балайым вспомнила, что Абдибек просил ее привести в порядок его парадный костюм, потому что ему завтра надо идти на какую-то важную деловую встречу. Она все сделала с особой тщательностью, повесила костюм и белоснежную рубашку на плечики, убрала в шифоньер.

Закончив дела, Балайым зашла в спальню. Абдибек лежал на кровати, закинув руки за голову, и не спал, как это бывало с ним обычно, а смотрел в потолок широко открытыми глазами.

Балайым наклонилась к нему. Нежность к мужу вдруг наполнила все ее существо.

— Меня ждешь?!— шепотом спросила она.

Глаза Абдибека сделались осмысленными, он увидел Балайым, и лицо его исказила брезгливая гримаса.

— П-послушай!— заикаясь, сказал он.— Так ведь н-невозможно!.. От тебя вечно несет чем-то горелым!..

Балайым отшатнулась, словно от удара. Губы ее задрожали. Она закрыла лицо ладонями, и горячие слезы закапали на подол измятой, несвежей ночной рубашки...

Где-то громко и равнодушно отсчитывали уходящее время часы...

Тынымбай Нурмагамбетов

ПРОЩАЙ, АТА...

Почтальон Мерекбай еще издали увидел Жакена возле его дома и принялся кричать:

— Жаке, а Жаке!

«Что это с ним случилось? Весь аул всполошил»,— подумал Жакен, продолжая чистить арык, ведущий в сад.

Мерекбай не унимался.

— Слышишь, Жаке!— задыхаясь кричал он, погоняя своего упрямого осла.

— Ну что, что случилось?— Жакен недовольно посмотрел на почтальона.

— Сюинши, тебе письмо от сына!

— От кого?— уже спокойнее спросил старик.

— Да от того, что в Алма-Ате, от ученого твоего сынка...

— А, от Таласжана...— Старик отбросил кетмень и подбежал к Мерекбаю, который еще не успел слезть с осла.

— Ах ты, милый, видно, написать ему захотелось,— Жакен взял письмо.— Вспомнил своего старика-отца, не забывает родни...— и, что-то бормоча, стал суетливо вскрывать конверт. Вынул из него лист бумаги, поднес близко к лицу, но, пробежав глазами по строчкам, посмотрел на Мерекбая:

— Кричать-то ты горазд, а вот попробуй прочитать.

— Жаке, я ведь тоже в грамоте не силен, вот если б кто-нибудь из детей...

— Эй, кто там есть! Письмо от Таласжана!— крикнул Жакен.

Жакен живет однн, ио по соседству стоит дом его младшего брата — Шадеиа. Как говорится, только дым нз труб выходит отдельно. Два дома уже давно жнвут одиой семьей, и дети Шадеиа считают старика своим дедом.

Первым иа крик Жакеиа выбежали Келес, Шолпан и Коктембай. Потом подошел и сам Шаден, он только что вериулся с работы. За иим, иа ходу поправляя платок, вышла и его жена, Салжаи.

— Прочтите это,— важио сказал Жакен детям, которые уже топтались подле.— Чем стоять, разииув рот, лучше почнтай.— Ои сунул письмо Коктембаю, потому как тот стоял ближе всех. Коктембай ие умел читать. В школу ои должеи был пойти еще в прошлом году, но отец его ие пустил, сказав: «Чем больше поживешь, тем больше ума иаживешь, а пока помогай матери. Учиться всегда успеешь». Старый Жакен совсем забыл об этом. Келес и Шолпаи поглядели иа своего деда, мол, чего это ои, и засмеялись. Коктембай обнделся, ои смотрел на мелкие буквы и еле сдерживался, чтобы не заплакать.

Жакену ие терпелось узиать, что же пишет сыи:

— Ну, чего уставился, читай. Ах, да ты ведь в школу-то ие ходишь,— вспомиил иакоиец старик и отдал письмо Шадену.

Дети еще ие видели, чтобы их отец когда-нибудь читал киигн или газеты, правда, ои между делом частенько говорил: «...и мы в свое время грамоте учились». Шадеи долго ие мог прочесть слова «Любящий вас» и, вкоиец запутавшись, передал письмо Келесу.

Келес стал читать бойко, так, будто в классе перед доской стоял. Письмо было очеиь длиииым. Таласбай писал, что ои жив и здоров, что скоро собирается «защищать докторскую». А затем поедет с женой иа курорт и по пути заверiет в аул, оставит иа время сыиа.

Келес коичил читать, но все молчали, словио ждали еще чего-то. Первым заговорил почтальои:

— Молодец!— И хлопнул в ладоши.— Мужчииа не забывает своего отца. А то некоторые сыиовья заживут своей жизнью, а о родителях и не вспомият.

— На курорт собирается, умиица. Учеиье, оно человека больиым делает. Доктором хочет стать, решил, наверное, подучиться этому иа курорте,— предположил Шадеи.

— Племяиник наш уже семь лет как женнлся, вот и

невестку увидим наконец, и сынишку ихнего, он ведь, кажется, нашему Жорабаю ровесник,— сказала Салжан и ушла в дом.

Жакен свернул письмо и стоял молча, не двигаясь. Таласбай — единственный сын Жакена. После окончания института он остался работать в Алма-Ате. Последний раз приезжал два года назад, когда умерла его мать, старая Алима, да и то сказал, что отпросился только на пару дней. И вот — письмо, первое за эти два года.

Все смотрели на старика. Глядел на него и малыш Коктембай. Он очень любил деда, и если б Жакен сейчас заплакал, Коктембай заплакал бы вместе с ним.

— Ну вот, милый,— старик бережно положил письмо во внутренний карман,— не забыл своего старого отца.— Голос его дрогнул. Жакен достал большой платок и поднес к глазам. Все стали расходиться.

— Ну, что ж, Жаке, теперь и я пойду.— Мерекбай отвязал от пояса конец узды. Седло было без стремян, и потому, чтобы забраться на него, старый почтальон подвел осла к бревну, лежавшему неподалеку.

Отъехав немного, Мерекбай обернулся:

— Прощай, Жакен, видишь, и годы не те, хотел я бросить эту работу, да вот беда — до пенсии двух лет не хватает.— Поддав пяткой заупрямившегося осла, добавил:— Видишь, он тоже совсем одряхлел...

— Да, уж дряхлый — это верно,— поддержал его Жорабай, ковыряя в носу.

— Ох, то ли дело наша белая ослица!— воскликнул Коктембай.

Дети еще долго стояли, глядя на то, как потешно дрыгает ногами Мерекбай, погоняя своего «иноходца».

Жакен, держась за поясницу, медленно пошел к дому. С этого дня он потерял покой, все куда-то спешил, суетился. Раньше, бывало, часто поругивал Таласбая, дескать, вот бродяга эдакий, отца родного совсем забыл, нет, не выйдет из него настоящего человека. Ни жену свою не привезет показать, ни сына. Нет бы наведаться в аул хоть раз в году. Иногда старик вообще выходил из себя: «Не приезжает, и не надо. Без него как-нибудь похоронят меня, лишь бы вот эти шадеповские сопляки здоровы были!» И Жакен на какое-то время переставал думать о сыне. А теперь, после письма, он больше не ругает Таласбая. Наоборот, стоит кому-то из соседей заглянуть в дом, Жакен тут же принимается рассказы-

вать про письмо, про то, что сын скоро приехать должен. «Есть у него какая-то докторская, ей-то он теперь и хочет научиться»,— говорит Жакен. А если у него спросят, когда же наконец закончит свою учебу Таласбай, старик с удовольствием объясняет: «Нет у науки ни конца ни края, вот Таласжан и увлекся ею».

С каждым днем он становится все нетерпеливее. В письме говорилось, что Таласбай приедет в воскресенье. Иногда Жакен принимается считать: «Среда, четверг, пятница... дням божьим конца не бывает, когда ждешь чего-нибудь». Чтобы как-то скоротать время, он берется чинить инструменты, копается на бахче, а иногда, захватив с собой Коктембая, отправляется рубить хворост. Коктембаю нравится быть с дедом. Перед отъездом Жорабай начинает хныкать: «Я тоже поеду!» Дед берет и его с собой. Жорабая дед сажает на ослицу впереди себя, а Коктембая — позади: так они и выезжают на дорогу. Вокруг аула всюду есть заросли шенгеля, однако Жакен поворачивает ослицу в сторону станции, почему — он не говорит, но Коктембай догадывается и осторожно спрашивает:

— Ата, а когда приедет дядя Таласбай?

— Так... четверг, пятница... надо же, еще целых три дня.

Устав рубить, Жакен распрямляет спину, кладет на плечо топор и смотрит из-под руки в сторону станции. Коктембай перестает работать и тоже смотрит...

— Ата, а как зовут сына дяди Таласбая?

— Да, и вправду, как же его назвали?— Жакен начинает вспоминать: — Шарен... а может, Шарип?— Вдруг он заулыбался: — Вспомнил, Шаденом его зовут, и как только я мог забыть?!

Дети переглянулись и прыснули со смеху. Жорабай, что сидел поближе к деду, сказал:

— Это же папу нашего так зовут.

— Да, действительно... как же этого сопляка назвали там, в Алма-Ате?— Жакен сплюнул с досады.

* * *

Наконец гости приехали. Со станции их привез Килыбай на своем мотоцикле с коляской. Когда мотоцикл подкатил к воротам, Жакен под навесом выстругивал новый черенок для кетменя, а Коктембай с Жорабаем

играли во дворе в прятки. Первым гостей заметил Жорабай.

— Ой, кто-то приехал!— закричал он, увидев, как грузный человек в шляпе слезает с мотоцикла.

Жакен, весь обсыпанный стружкой, поднял голову. Мимо него, поправляя на ходу платок, пронеслась Салжан. Старик понял: приехал сын. Он хотел было встать, но ему не удалось это сразу. Опираясь на черенок, который только что выстругивал, Жакен медленно поднялся:

— Таласжан, сынок...

На улице его никто не слышал — все шумно приветствовали гостей. Когда Жакен, ковыляя, дошел до ворот, его заметил Кылыбай.

— Старик идет, отец наш идет,— шепнул он тихо, и все замолчали. Таласбай подошел к отцу и обнял его. Жакен прослезился: «Сынок, милый мой»,— проговорил он слабым голосом и не выдержал, разрыдался, когда к нему подвели внука. Внук был чуть выше Жорабая ростом, стриженный по-городскому мальчишка, такой же курносый, как Таласбай.

— Что же ему, бедняге, еще остается делать,— сказала Салжан и сама стала вытирать слезы концом платка.

Жакен повел гостей к своему дому: сына он решил принимать у себя. С помощью снохи старик уже навел порядок в комнатах и во дворе.

Дети с любопытством рассматривали приезжих. Особое впечатление гости произвели на Коктембая. Ему давно хотелось увидеть своего «городского дядю», о котором так много говорили дома. Когда умерла бабушка, малыш слышал, что приехал Таласбай, но тогда, среди множества людей, мальчику так и не удалось узнать, который же из всех — он. И вот, дядя приехал. Он был похож на председателя колхоза: такой же большой живот, шляпа на голове — Коктембай несколько раз видел председателя, когда тот появлялся в ауле на новенькой легковой машине.

Жена Таласбая показалась детям уж очень странной.

— Смотрите, смотрите, губы накрашены и все молчит.— Коктембай толкал локтями Келеса и Жорабая, стараясь обратить их внимание на новую родственницу.

— Да наша учительница тоже все время с такими губами ходит,— сказал Келес, но Коктембай уже разглядывал своего двоюродного брата, которого дед держал

на руках и никак не хотел отпускать. А ведь раньше он говорил, что Коктембай у него единственный, всегда укладывал с собой спать, а когда они шли гулять, дед покрикивал на Келеса и Жорабая: «А ну-ка, дайте дорогу, я со своим внуком гулять иду!»

От обиды Коктембай чуть не заплакал.

* * *

После приезда сына Жакен ходил приподнятый. Он все никак не мог запомнить имени своего внука, которого звали Шегеном, и называл его то Шереном, то Шарипом, а то и вовсе — Шаденом... А жену Таласбая — Парыз, имя Файруза ему было трудно произносить.

Как-то Жакен повел сына на бахчу, стал рассказывать о том, что он каждый год сажает и какой бывает урожай. О том, что каждую осень оставляет для него несколько отборных арбузов...

Потом показал свое хозяйство, пегую корову, которую доила еще Алима, передал просьбу старухи — подарить корову невестке. На это Таласбай только усмехнулся, а Шаден заметил: «Да разве можно держать корову в городе?! Пусть себе гуляет на воле».

Они сели на длинное бревно, что лежало во дворе, и старик заговорил о своем иноходце:

— Во всей округе нет иноходца лучше моего, а мне теперь не то что на коне, на осле ездить трудно. Взял бы ты его себе да ездил. А если нельзя, так хоть бы здесь покатался.— Старик вздохнул.— Да, не те джигиты пошли теперь...

Таласбай молчал. А старик все говорил о своей жизни, о здоровье, которое с каждым днем становится все хуже, потом почему-то помолчал, сосредоточенно ковыряя землю палкой, и вдруг спросил:

— Так и будешь жить в Алма-Ате? Вернулся бы лучше на родину...

Таласбай не ответил.

— Помру, будет кому хоронить. Трудно на старости лет одному...— Жакен хотел еще что-то сказать, но Таласбай прервал его:

— Ведь есть и кроме меня родственники...

На том разговор и кончился.

* * *

С приездом гостей дом Жакена снова, хотя и на короткое время, наполнился шумом и весельем. Приходили старики со всего аула, поздравляли хозяина. Дети, которых раньше палкой нельзя было загнать с улицы, теперь так и шныряли по комнатам. Старик радовался: при покойной Алиме у них всегда было так же людно.

Но Таласбай гостил недолго и через два дня заговорил об отъезде. Невестка всем своим видом показывала, что в ауле ей не нравится и не хотела оставлять здесь сына. Посовещавшись наедине, супруги все же решили сдержать обещание. На третий день они уехали, воспользовавшись тем, что Шеген пошел играть с ребятами. Провожать гостей вызвался Шаден. Таласбай считал, что отцу незачем ехать на станцию, и Жакен холодно попрощался с сыном у ворот дома.

Узнав, что родители уехали без него, Шеген принялся реветь и не давал покоя своими капризами ни старику, ни всему семейству Шадена. Ему впервые пришлось расстаться с отцом и матерью, а сдружиться с аульными ребятами не успел. Дед радовался, что внук гостит у него, но когда Шеген начинал реветь, даже он иногда срывался:

— Послал же мне бог такого дикого мальчишку!

Впрочем, Жакен был отходчив и тотчас начинал жалеть, что зря погорячился.

* * *

Каждое лето Жакен ездил косить сено на так называемый остров. Место это находилось километрах в шести от аула. Люди говорят, что когда-то остров действительно стоял посреди воды, но потом река изменила русло.

Косьба для Жакена — самое любимое занятие, и потому он готовился к ней особенно тщательно: точил косы, менял черенки к ним, чинил арбу, готовил одежду. Помощником Жакена и здесь был проворный Коктембай. В этом году мальчик уже второй раз собирался на остров и радовался, что его одного из детей берут на покос. Когда вчера за чаем дед сказал: «На покос беру одного Коктембая, от вас там все равно толку не будет», он кашлянул и посмотрел на братьев, дескать, слыхали?

Лето в этом году было нежарким, и потому Жакен надел резиновые сапоги, а на плечи набросил старый пиджак Шадена.

Утром ослицу впрягли в арбу. Коктембай уселся рядом с дедом, и они выехали из аула.

Ослица шла не спеша, но Жакен и не думал ее погонять, он только помахивал шенгелевым прутиком и тихо напевал мотив какой-то песни, а какой — и сам не знал. Наверное, это была песня, слышанная много раз в молодости, потому она и запомнилась ему. Старик пел, а внук сидел молча, то и дело поправляя на голове отцовскую шапку.

Помнится, однажды ехали вот так же вдвоем, и Коктембай попросил деда:

— Ата, спой что-нибудь другое.

Старик тогда долго негромко смеялся:

— Другой-то я и не знаю.

Песня была не похожа ни на те, что пели Келес и Шолпан, ни на те песни, которые распевали вечерами взрослые парни и девушки. Коктембай решил, что это только дедушкина песня.

И вот он снова запел ее. Внук притих, и даже белая ослица пошла в такт этого бесконечного напева.

Коктембай знал, что ослица уже старая. Раньше она была резвее, и Жакен часто хвалил ее. Прошлой весной у нее родился ослик. Ребятишки часто приходили поиграть с ним, но малыш пугливо прятался за мать. А та ревновала его к детям и строго смотрела на них. Подрастая, ослик становился все забавнее. Вскоре он уже весело скакал вокруг матери.

Жакен подарил ослика Коктембаю и сказал: «Когда подрастет, ездить на нем будешь ты». До чего же радовался внук, каким красивым казался ему ослик. Как быстро он скакал и стриг длинными ушами. Однажды ребята захотели покататься на нем, загнали ослика в тесный двор, окружили, уже хотели поймать. А он проскочил мимо Келеса и перепрыгнул через изгородь. Мальчишки опешили от неожиданности...

Прошло лето, прошла и осень. Ослик вырос. Чтобы он не мерз, Жакен укрывал его старым чапаном.

Старик порадовал Коктембая, сказав, что к весне ослик окрепнет и на нем можно будет кататься.

Наступила весна. И вправду, ослик стал совсем боль-

шой. Теперь он уже иногда пасся отдельно. Жакен даже смастерил для него уздечку.

Весна была ранняя, и потому трава быстро поднялась. Все чаще на лугах появлялся объездчик Шодыр. Жил он на ферме, но жители аула его хорошо знали: Шодыр часто угонял к себе коров, которые забирались на совхозный луг. Коктембай тоже его знал. Смуглый мужчина с торчащими усами, он и ребятишкам не давал покоя, если они играли на лугу, страшно ругался.

Обычно ослик пасся у дороги, там где начинался луг. Однажды он исчез. И первым это заметил Коктембай. Примчавшись домой, мальчик рассказал о пропаже деду. Тот верхом на серой ослице несколько дней ездил по тугаям, искал. Коктембай каждый раз с нетерпением ждал деда, спрашивал, где он уже искал ослика сегодня и в какую сторону собирается поехать завтра. Иногда сам отправлялся с дедом на поиски. Но ослик так и не находился.

Прошло дней двадцать. Однажды Жакен уехал по делам на соседнюю ферму и к полудню вернулся оттуда очень рассерженный. Встретив Шадена, стал что-то быстро говорить, размахивая руками. Коктембай не слышал всего разговора, но понял, что на ферме дед видел белого ослика во дворе Шодыра. Дед хотел было увести его, но объездчик стал кричать: «Не думаешь ли ты, что, кроме твоего осла, на свете других нет? А ну, уходи отсюда, этого осла мне подарили дальние родственники!» Шодыр стал выталкивать старика за ворота. Они схватились... И действительно, Коктембай заметил, что чапан у старика порван. «Эх, быть бы взрослым и сильным, пойти бы сейчас к этому Шодыру, отобрать у него ослика, а потом сесть на него и ускакать!»

Коктембай не видел ни ослика, ни Шодыра еще два месяца. Но как-то раз в дом с криком вбежал Жорабай:

— Вернулся! Белый ослик вернулся!

Все, кроме Жакена, сидели за чаем. Коктембай вскочил и первым выбежал во двор. За ним — остальные дети. Шаден поднялся последним и лениво выбрался из дома. В одной руке он держал шапку, а в другой — пиджак.

Глава семейства недовольно бормотал:

— Чего это они все всполошились? Какой там еще белый ослик?.. А сам-то старик куда запропастился?

Белый ослик стоял посреди двора и удивленно смот-

рел на людей. По оборванной веревке, болтавшейся на шее, было видно, что он сбежал.

— Да он мать свою ищет!— закричал Коктембай, когда ослик вдруг отвернулся и заревел. Жорабай и Келес кивнули, а Шаден, решив показать, что ему тоже жалко ослика, сказал:

— Надо же, скотина, а понимает.

Дети загнали своего любимца в стойло, окружили его, но он уже не шарахался, как раньше, а смирно пошел сам.

После полудня из соседнего аула вернулся Жакен. Старик вместе с детьми радовался возвращению ослика, долго гладил его.

А на закате в аул въехал Шодыр. Он повернул своего коня прямо к дому Шадена.

«Шодыр едет!»— сказал кто-то. И тотчас, поднявшись, Жакен твердой походкой направился к воротам, за ним — дети, позади всех плелся Шаден.

— Носятся с паршивым ослом, будто с калымом за невесту,— по привычке ворчал он.

Салжан в это время готовила чай. Увидев в окно Шодыра, она тоже забеспокоилась и стала одеваться:

— Как бы этот дурень нашего старика не побил!

А Шодыр тем временем уже слез с коня и стал отвязывать ослика, словно это была его собственность.

— А ну пусти!— закричал Жакен.

— И не подумаю!— Шодыр, не обращая ни на кого внимания, повел ослика со двора.

— Не хочешь, так я тебя заставлю!— Жакен бросился отнимать повод, но от толчка Шодыра отлетел и упал на землю. Келес кинулся было на обидчика, но тот прикрикнул на него так, что мальчик, испугавшись, остановился. А Коктембай помогал деду подняться.

Жакен больше не подходил к Шодыру. Он стоял в стороне и тяжело дышал. Влезая в седло, Шодыр покосился на старика и пригрозил:

— Погоди, ты у меня еще не то получишь!

Келес начал было руками махать, стараясь напугать лошадь под объездчиком, а когда тот развернулся и поскакал, погоняя впереди себя ослика, пустил ему вдогонку несколько крепких словечек. Коктембай стоял возле деда. Ему было жаль старика, но он так и не успел придумать, что бы такое сделать Шодыру,— тот уже ускакал.

Из дому неторопливо вышел Шаден:
— Что это он? Выходит, за людей нас не считает?

* * *

...Арба ехала, раскачиваясь и стуча колесами. Солнце припекало все сильнее. Коктембаю стало жарко, он снял шапку, положил ее на колени.

Жакен больше не пел своей песни, сидел молча и только изредка сплевывал. Вдруг он начал суетливо шарить у себя по карманам. Наконец отыскал пузырек с насыбаем и понюхал. Раздалось оглушительное чихание, от которого испуганная ослица резко рванулась вперед, а Коктембай едва не свалился с арбы. Старик тихо засмеялся, и смех его слился со скрипом колес.

Они приехали на остров. Сбылись предположения Жакена — трава вперемешку с камышом выросла нынешним летом густой и высокой.

Жакен выпряг ослицу. Стало совсем жарко, поэтому старик, прежде чем начать косить, снял с себя верхнюю одежду и остался в одной рубахе. Широко расставив ноги, он несколько раз взмахнул косой.

«Слава богу, есть во мне еще силенка»,— подумал Жакен, глядя, как ровными рядами ложится скошенная трава.

В молодости Жакен обладал недюжинной силой. Славное то было время! Старик вспомнил, как еще до войны работал на дальнем поле за железной дорогой. Он тогда только женился, и они вместе с Алимой, бывало, не покидали поле от зари до зари. Намахаются за день кетменем так, что вечером еле до дому добираются. «Да, хорошее было время»,— Жакен тяжело вздохнул. А теперь он уже совсем старик. Правда, выкосил на лугу прогалину — и рад, и не понимает, что через минуту выдохнется. Вот уже и... «Нет во мне прежней силы». Разозлившись на самого себя, Жакен попытался косить быстрее.

В полдень они с Коктембаем отдыхали под тенью джиды. Чай из термоса старик пил не торопясь и с таким наслаждением, будто сидел дома перед дастарханом. Улыбаясь, он смотрел на внука: мальчик лежал на спине.

— Что, сынок, устал?

Коктембай перевернулся и оказался рядом:

— Нет, а ты?— И погладил жилистую руку деда. Он с интересом наблюдал, как трясется его борода — Жакен жевал.

Напившись чаю, старик совсем развеселился и похвалил внука.

— Вот какой ты у меня молодец! Деду помогаешь. Не то что сопляки Шегеи с Жорабаем, они, небось, сейчас где-нибудь в ауле в пыли возятся.

Когда Жакен стал укладывать в мешок посуду, Коктембай спросил:

— Ата, а мы еще раз сюда приедем?

— Как же? Приедем, приедем...

Отдохнув после чая, Жакен снова взялся за косу.

К вечеру скошенную траву сложили на арбу и повезли в аул. Жакен посадил Коктембая верхом на ослицу, а сам, с косой на плече, шагал позади. Дорога была плохая, и, глядя на то, как тяжело идет ослица, Жакен думал: «Да, многовато я сегодня травы нагрузил».

Жакену и раньше часто приходилось возить сено, и все на этой ослице. Но последнее время старик редко запрягал ее, а если вдруг случалось какое-нибудь срочное дело, то старался грузить поменьше. Старик знает, что ослица дряхлеет, хотя это и не очень заметно. Вот и сейчас он видит, как медленно передвигает она свои заплетающиеся ноги.

Вдруг ослица стала. Коктембай начал бить ее пятками по бокам, размахивать прутиком. Ослица налегла изо всех сил на постромки, но арба не сдвинулась с места — колеса застряли в русле старого арыка.

— Ата! Не идет,— с обидой сказал Коктембай подоспевшему Жакену. Старик бросил на землю косу и пиджак, которые держал в руках, подошел к ослице, та стояла вся в мыле, уши опустились.

— Что, выдохлась, бедная? Стара стала.

Ослица дрожала, словно чувствовала свою вину.

— Да я сам тебя перегрузил, будто завтра дня не будет. Человек бы пожаловался, а что может сказать животное?

Жакен обошел арбу, уперся в нее сзади, крикнул Коктембаю:

— Гони!

Старик толкал что есть сил, да и ослица старалась вовсю... Арба заскрипела и, наконец, тронулась.

Жакен подобрал косу, пиджак и снова зашагал сле-

дом. Пройдя немного, он оглянулся и в последний раз посмотрел на старый арык. Когда-то он им пользовался для полива риса. Когда-то в нем журчала речная вода.

Старик вспомнил, как во время войны здесь впервые посеяли рис. Урожай вырос богатый, но делали все вручную: и сеяли, и жали. Возили зерно на ослах. Мать этой ослицы была на редкость выносливой. Она легко тащила два огромных мешла с рисом за пять верст отсюда, в Томенарыкскую контору «Заготзерно».

Жакен вдвоем с рыжим мальчишкой — Жасаком, братом Мерекбая, перевозили зерно на шести ослах. Тремя правил Жасак, другими тремя — Жакен. В день они делали два рейса.

Один осел у Жасака был тощий и часто злил мальчика тем, что вдруг ни с того ни с сего ложился посреди дороги в пыль. Однажды, в жаркий день, он снова залег. Жасак хлестнул его длинным прутом по голове, но все безрезультатно. А Жакен продолжал погонять своих ослов, так как боялся, что они тоже станут. Он понимал мучения Жасака, видел, как тот в какой-то момент не выдержал, разревелся и вдруг вцепился зубами в ухо осла.

Потом Жакен многих смешил, рассказывая про этот случай, но тогда, на дороге, ему было не до смеха. Он успокаивал плачущего Жасака и поднимал пинками упрямое животное.

Сейчас, медленно шагая за арбой, которая еле двигалась, старик приговаривал:

— Совсем из сил выбилась бедная скотинка...

Но тут, как назло, арба остановилась. Послышался крик Коктембая:

— Ата... Ата...

Жакен прицепил косу к передку арбы, дал Коктембаю подержать пиджак и стал разматывать веревку, которой было перетянуто сено. Сбросив часть травы, снова перехватил веревкой и опять крикнул Коктембаю: «Гони!», а сам стал подталкивать воз сзади. На этот раз ослица пошла гораздо легче.

Ближе к аулу дорога была совсем плохая, и Жакен продолжал толкать арбу.

— И чего это я на старости лет надрываюсь?— поругивал он себя.— Сам устал, животное мучаю. Скотина, сено... Зачем? Кому это нужно, если единственного сына бог сделал бродягой?

Им опять овладело чувство недовольства.

До дома оставалось совсем немного. «Но! Милая! Но!»— кричал Жакен, и получалось у него это не повелительно, а как-то ласково. Старик обогнал арбу, подошел к ослице, потрепал ее по гриве: «Но! Милая, до дома рукой подать».

В аул они въехали, когда уже совсем стемнело.

Кряхтя и шлепая калошами, навстречу вышел Шаден.

— Чашки чаю спокойно выпить не дадут. Только пропотел, а тут — на тебе, явились,— ворчал он, вытирая пестрым платком шею.

Жакен, не глядя на брата, стал забрасывать траву на крышу хлева.

— Чего это вы припоздниились?— спросил Шаден, но ему никто не ответил. Коктембай глянул на отца недобро. Шаден все крутился перед арбой, видать, ему показалось, что травы маловато.

— Это всего-то сена, что вы с утра накосили?!— усмехнулся он.

Старик опять промолчал.

Коктембай выпряг ослицу, и она сама отошла к стойлу.

* * *

На следующий день Жакен заболел. За сеном они не поехали. И потому Коктембай отправился играть с ребятами. В полдень возле дома Саулебая к ним подошел мальчишка постарше и сообщил:

— Артисты приехали. Будут выступать.

До этого артисты не появлялись в ауле. Здесь только иногда показывали кино. Дети мигом разбежались по домам, чтобы поделиться новостью.

— Лишь бы отец денег дал...— говорил Жорабай, на ходу вытирая ладонью вспотевший лоб.

— У отца просить без толку, но мне-то обязательно даст дед.

Жорабай посмотрел на брата и сказал упрямо:

— А я все равно попрошу!

Шлепая босыми ногами по уличной пыли, они подбежали к дому и увидели во дворе Келеса и Шолпан.

— Артисты!— заорал Жорабай.

— Артисты приехали, они будут выступать перед рабочими,— подхватил Коктембай.

Келес побежал к матери. Салжан в это время пекла хлеб.

— Мама, говорят, артисты приехали!

— Какие еще артисты? Им у нас делать нечего, они не иначе как заблудились. Некогда мне, вы лучше к отцу подите.

Поначалу весть о приезде артистов никак не подействовала на Шадена, но когда он услышал цену билета — пятьдесят копеек,— то рассердился:

— Гляди-ка!.. Пятьдесят копеек! Да я лучше дома посижу, чем на них глазеть. Где я возьму каждому по пятьдесят копеек? А ну, марш отсюда!

* * *

Перед домом Саулебая натянули полотно, на котором были нарисованы скалы, потом повесили занавес. По аулу распространилась весть, что будут ставить «Енлик — Кебек»[1]. Ребята не поняли, что такое «Енлик — Кебек», они опять побежали по домам. Шаден снова стал ворчать, но, убедившись, что дети не отстанут, достал из кармана горсть мелочи и дал Келесу, как старшему.

— А сами-то что, не пойдем? Артисты не каждый день приезжают,— заметила Салжан. Ей, видать, и самой хотелось попасть на представление.

— Ну вот, и ты туда же! Постыдилась бы!

— Надо же быть таким скаредным! Да не разоримся мы...— зачастила Салжан, но муж оборвал ее:

— Тебе-то зачем туда идти? Лучше бы за стариком присмотрела, чаю ему вовремя приготовила...

В это время Жакен появился на пороге дома, и Шаден порадовался, что слова «лучше бы за стариком присмотрела» были сказаны кстати.

Пока Шаден выговаривал жене, кто-то сказал, что спектакль будут показывать бесплатно, колхоз решил оплатить представление.

Дети побежали к дому Саулебая. Шаден остановил Келеса и отобрал у него деньги:

— Дай-ка их сюда, а то еще потеряешь!

Ребятня со всего аула собралась за час до начала.

[1] Драма М. Ауэзова. Здесь и далее Енлик, Кебек, Абыз, Есен — персонажи пьесы.

Выясняли друг у друга, кто же такие артисты, и разглядывали нарисованные на полотне скалы.

— Не пылите перед домом, пострелы!— кричал на них Саулебай, но его никто не слушал.

С полевых станов приехали рабочие, они поужинали в столовой и теперь подходили небольшими группами, по два-три человека. Вместе с ними и другие жители аула. Шаден тоже пришел.

Коктембай, Жорабай, Шеген, Келес и Шолпан сидели на старой кошме, которую принесли из дому. Появление Шадена первым заметил Жорабай и стал трясти Коктембая за плечо:

— Гляди!

Коктем обернулся, он не думал, что отец все же явится на представление. Однако Шаден теперь был не такой хмурый, как час назад. Он радостно заулыбался, когда заметил своих детей среди других ребятишек.

Перед началом спектакля на сцену вышел усатый мужчина и начал что-то говорить. А когда кончил, все захлопали в ладоши. Потом выступил председатель. Он закончил свою речь словами:

— В будущем, дорогие товарищи, надо повысить темп заготовки кормов!

Наконец раздвинулся занавес, и из-под скалы с криком «шек-шек-шегенек»[1] выбежал человек в старой шапке. Дети дружно засмеялись. Взрослые тоже смеялись. Жорабай весело посмотрел на Коктембая и кивнул на сцену, гляди, мол.

Вначале Коктембай ничего не понял и только удивленно и часто моргал. Ему казалось, что человек и в самом деле выбежал из-под скалы. В горах Коктембай не был, он только много слышал о них. В прошлом году дед обещал свозить его к родственникам, которые живут неподалеку от гор, да заболел. Коктембай смотрел на полотно и верил, что гора — настоящая и что сидит он у ее подножия. Ему захотелось взглянуть на самую вершину. Мальчик поднял голову и... увидел старую решетку от юрты, которая лежала на крыше дома Саулебая. Тут он понял: гора-то нарисованная. А когда на сцене появились Енлик и Кебек, Коктембаю опять стало интересно. Одежда на них была такая нарядная, и сами они были очень красивые.

[1] Припев пастушьей песенки.

Глядя на Енлик и Кебека, Коктембай думал: «И почему Килыбай со своей девушкой не такие?..»

Килыбай — это сын Саулебая. Недавно по аулу прошел слух — будто бы парень собирается жениться, но потом вдруг стали говорить, что невеста в нем разочаровалась и сбежала с другим парнем. Сейчас об этом уже никто не вспоминает в ауле. Но вначале все радовались предстоящей свадьбе, особенно дети. Теперь и они успели забыть.

В прошлом году выдавали замуж младшую сестру Килыбая, Салиму. Коктембай до сих пор хорошо помнит это. Перед свадьбой Шаден все гордился тем, что поедет сопровождать невесту в аул жениха, и хвалил Саулебая: «Наш Саукен удачливый, нет ему равных». Они обсуждали с Салжан подарки, которые привезли сваты, и диву давались: «Хороший парень, из уважаемого рода. Что и говорить — Салима наша тоже писаная красавица».

И вот наступил день свадьбы. Шаден собрался повести в качестве подарка хромую козу, но Салжан стала возражать: «Да ты что, тебе люди такую честь оказывают, невесту сопровождать поручают, а ты с хромой козой на свадьбу заявиться хочешь!» В конце концов было решено повести овцу.

Вечером они отправились к Саулебаю. Шаден вел на веревке овцу, Коктембай с Жорабаем подгоняли ее сзади. За ними шла Салжан — на голове у нее красовался новый платок. Келес и Шолпан были еще в интернате. На свадьбе собралось много детей, они играли в альчики, собирали сладости, которыми осыпали невесту. Коктембаю совсем не хотелось домой.

Но вдруг Шаден, который до этого был весел и помогал обслуживать гостей, подозвал детей и сказал: «Собирайтесь, мы уходим!»

Оказалось, что людей, которые должны были ехать с невестой, хватало и без Шадена, и его решили не брать. Салжан тоже обиделась. По дороге Шаден все время ворчал на жену:

— Ну что, погуляли на свадьбе? Овцу ни за что ни про что отдали.

— Кто ж мог знать, что задаром пропадет...— оправдывалась Салжан.

Дома Шаден продолжал ругать Саулебая, назвал его старым дураком. Жена согласилась и добавила: «Что

женихъ, что сваты — все уроды какие-то, один к одному!..»

Коктембай сидел возле печи и молча слушал родителей. Мальчик не знал, правы они или нет, ему просто хотелось снова оказаться на свадьбе, играть с другими детьми. Поняв, что родители ни за что не вернутся туда, он, улучив минуту, тайком выскочил со двора и один побежал к дому Саулебая.

Ночь была ясная, в небе ярко светила луна. Дети до полуночи играли возле дома в прятки. Вдруг кто-то сказал, что невеста отправляется в аул жениха. Все сразу же столпились у дверей. Две женщины с плачем под руки вывели Салиму. К воротам подкатил трактор «Беларусь», к нему сзади была прицеплена тележка. Почтальон Мерекбай поднял руку и громко сказал: «Хватит! Успокойтесь!». Невесту подвели к трактору, посадили в кабину. Провожающие устроились в тележке. Парень в кирзовых сапогах, с подвернутыми голенищами запрыгнул в кабину и, не обращая внимания на крики, тронул трактор с места.

Коктембай вернулся домой среди ночи. Отец опять принялся ругать его: «Без тебя бы свадьба у Саулебая не удалась?..»— но мальчик не обращал внимания на его слова...

На сцене между тем появлялись новые люди. Батыр Есен Коктембаю не понравился, он чем-то напоминал объездчика Шодыра. Зато мудрый Абыз сразу же полюбился, потому что был очень похож на деда. И говорил Абыз пословицами, точно так, как Жакен, и борода у него при этом тоже смешно дрожала. Коктембай поднялся со своего места и стал пробираться поближе к сцене. Когда Абыз, раскинув ладони, благословлял Кебека, Коктембай хотел крикнуть: «Ата!», но тут же вспомнил, что дед остался дома. Он обязательно пришел бы, если бы не болел. А может, сбегать за ним? Мальчик стал озираться и заметил: Шеген заснул, и Шолпан клюет носом. Из младших только Жорабай внимательно глядит на сцену.

Когда убили Енлик и Кебека, зрители стали возмущаться.

— Вот негодяй!— выкрикнул старый тракторист. Коктембай обернулся — тот вытирал платком глаза. Салжан тоже плакала. Коктембай снова вспомнил Салиму, оказывается, ей еще повезло — увезли на тракто-

ре, и все. О том, что Енлик и Кебек умерли, Коктембай не понял, это ему объяснили взрослые.

Спектакль кончился.

Шаден подошел к своим детям: «Вы что? Спать сюда пришли?» — и стал трясти Шолпан, а Шегена пришлось нести на руках.

Жакен еще не спал, когда они вернулись. Раньше он укладывал спать рядом с собой Коктембая, теперь ждал Шегена. На этот раз Коктембай тоже лег рядом с дедом и... снова вспомнил Абыза. Мальчику захотелось поподробней рассказать про него. Он коснулся маленькой ладошкой лица Жакена и сказал:

— Ата, там был один старик, точно такой, как ты.

— Где?

— У артистов.

— Точно такой, как я?

— Да.

Жакен беззвучно рассмеялся:

— Если такой, как я, значит, быть артистом не так уж трудно.

Коктем еще долго что-то объяснял ему, рассказывал, но вдруг замолчал и уснул. «Вот глупыш». Жакен поднялся и укрыл внука одеялом.

* * *

Утром, когда Коктембай пошел искать теленка, возле дома Саулебая он встретил того усатого мужчину, который выступал перед спектаклем. Рядом с ним шел высокий парень. Мальчику показалось, что он уже где-то видел его. Коктембай пошел быстрее. Волоча за собой по земле шенгелевый прут, обогнал взрослых, еще раз с ног до головы оглядел парня. И тут догадался, что этот человек вчера играл роль старика Абыза. Парень оглянулся, посмотрел на мальчика — на Коктембае были короткие, чуть ниже колен, штаны, на голове дедова тюбетейка.

— Как тебя зовут?

— Коктембай.

— А чей ты сын? — Парень похлопал его по спине. Коктембай заулыбался от радости, поправил тюбетейку и сказал:

— Шадена... нет, я дедушкин сын.

— А кто такой Шаден?

— Это мой папа...
— А в каком классе ты учишься?
— Еще не учусь, отец не пускает.— Коктембай насупился.
— Ничего, малыш, будешь учиться. А кем ты хочешь стать?
— Я... я хочу артистом.— Коктембай сбил тюбетейку на ухо.
— Молодец! Как, ты сказал, тебя зовут?
— Коктембай.
— Отличное имя. Ты, наверное, весной родился?
— Весной.

Парень взял Коктембая за руку, и они пошли по улице.
— А ты смотрел вчера спектакль?
— Да... Вы там стариком Абызом были, мне он очень понравился.

Парень посмотрел на Коктембая и молча поцеловал его в лоб. Мальчик покраснел, провел рукой по этому месту и спросил:
— А вы еще приедете?
— Обязательно приедем.
— Следующим летом?
— Конечно, а сейчас мы спешим. Уезжаем. Прощай...

Коктембай видел, как он догнал своего спутника, как они остановились. Парень что-то говорил и показывал рукой в его сторону. Потом оба зашли в дом Саулебая. Коктембай стал ждать: «Наверное, скоро выйдут». А когда наскучило, он вскинул на плечо прут и побежал искать теленка.

После обеда машина, на которой приехали артисты, промчалась мимо их дома. Коктембай не мог разглядеть в ней своего знакомого, и все же он стал махать рукой — может, парень-артист видит его.

На следующий день дети решили играть в артистов. Раньше бывало — только в семью, но теперь — в артистов. Сначала попробовали ставить «Енлик — Кебек». Договорились, что Шолпан будет исполнять роль Енлик, Келес — Кебека, Коктембай — старика Абыза. Жорабай отказался быть Жапалом, а Шеген, как они решили, вообще ни на какую роль не годился.

Но... игра не удалась, потому как не хватало «артис-

[1] *Коктем* — по-казахски «весна».

тов», да и Жорабай ничего не мог сказать, кроме «шекшек».

— Давайте лучше играть в дядю Таласбая,— предложил Коктембай. Это оказалось легче, чем «Еилик — Кебек». Келес исполнял роль Таласбая, он засунул себе под рубаху подушку и подпоясался широким ремнем Шадена. Коктембай играл деда, для этого он надел его малахай, тоже подпоясался и ходил сoгнувшись. Шолпан накрасила себе губы красным карандашом — она изображала Файрузу. Жорабай обиделся, что его не взяли в игру, и тогда ему поручили роль Шадена. Шегеи играл сам себя и должен был просто ходить за Келесом и Шолпан. Спектакль начался. Вошли Келес и Шолпан, за ними — Шегеи. Навстречу им вышел Коктембай, он стал их всех обнимать и целовать. Жорабай просто поздоровался за руку с Келесом-Таласбаем и, указав рукой на Шегеиа, сказал: «Гляди-ка, этот сопляк стал человеком».

В артистов они играли целых три дня, до тех пор, пока не поссорились из-за красного карандаша. Келес стал обвинять Шолпан в том, что она совсем его испортила, отобрал карандаш и больше не давал.

Потом ребята придумали новый спектакль: прошлым летом Килыбай ездил в Алма-Ату поступать в институт, но провалился на экзаменах и вернулся в аул. Дети решили играть в экзамен. Снова распределили роли: Келес играл отца Килыбая, а Шолпан — его мать. Коктембаю досталась роль учителя, который провалил на экзамене Килыбая.

По замыслу спекталь должен был проходить так. В передней комнате сидят родители Килыбая и молятся богу: «О аллах, сделай так, чтобы наш сын поступил в институт». В другой комнате — учитель. С книгами под мышкой входит Килыбай — его роль досталась Жорабаю,— он садится и принимается, что-то бормоча себе под нос, листать учебник. Коктембай молча наблюдает за ним. Килыбай читает еще немного и вдруг падает на ковер. (Это означает, что он не выдерживает экзамена и проваливается.) Потом Жорабай встает и, покачиваясь, идет к двери — это он изображает, как Килыбай в прошлом году вернулся в аул пьяный. Навстречу ему из соседней комнаты выбегают родители.

— Я провалился!— кричит Килыбай.

— Ох, да ты и в самом деле провалился! Наверное,

ушибся здорово? Бледный-то какой, будто после болезни,— запричитала мать.

— Уж лучше не учись совсем, отец твой арбакешем был, а вот в люди выбился. Вон у Жакена сын профессор, а что толку? Лучше будь здесь, при мне.— Отец берет его за руку, а мать раздевает и укладывает спать.

Так был задуман спектакль, но разыграть его не удалось, потому что Жорабай, изображая провал на экзамене, ударился головой об оселок, который дед прятал от детей под ковром и, вместо того, чтобы, шатаясь, выйти из комнаты, разревелся. Спектакль пришлось прервать.

* * *

Прошел месяц. Таласбай с женой вернулись в аул. Задерживаться они не собирались и потому чемоданы оставили на станции у дежурного. Файруза взяла только подарки, которые купила Шегену. Еще у нее была сетка с яблоками.

Ребята играли возле колодца, и, когда на дороге показались гости, они наперегонки бросились им навстречу. Горожанам пришлось прошагать пешком несколько километров. День был жаркий, и Таласбай даже разделся, шел в одной майке. Шеген подбежал к матери, обнял ее. Он был весь в песке, на загорелой шее сверкали капельки пота. Файруза, указывая на сына, принялась тотчас что-то выговаривать мужу. Тот в ответ лениво кивал головой.

Возле дома гостей встречали Жакен и Салжан.

— Ну как доехали, милые? А мы-то вас ждем не дождемся! — радостно заговорил старик. Таласбай отвечал на расспросы нехотя и односложно, а Файруза стала упрекать невестку в том, что она плохо ухаживала за ее сыном. Салжан, конечно же, в долгу не осталась:

— Мы, милая, детей не очень-то балуем. Ну, бегают в пыли, в золе возятся, и все же людьми становятся. Посмотри на мужа своего, он не исключение, а большим начальником стал.

Файруза промолчала и принялась раздавать детям яблоки. Шегену она дала самое большое и красное. Таласбай к этому времени умылся холодной водой из колодца и наконец пришел в себя.

За чаем было невесело. Таласбай с женой о чем-то тихо разговаривали и на остальных не обращали внимания. Шеген перестал играть с детьми, он все кружился возле матери.

Жакен кашлянул, посмотрел на сына и... опять стал рассказывать про свою болезнь. Таласбай слушал с равнодушным видом, он лежал на одеяле и обмахивался платком, а когда старик кончил говорить, произнес сухо: «Лечиться нужно». И замолчали оба. Шадена дома не было, он еще не вернулся с работы, но Таласбай даже не спросил про него.

Вечером, когда ложились спать, Жакен по привычке позвал Шегена к себе, но тот, пробегая в комнату, где были родители, даже не оглянулся. Старик долго лежал отвернувшись к стене, и Коктембай слышал, как он вздыхает.

— Ата, почему ты вздыхаешь?— спросил Коктембай. Вместо ответа старик только обнял внука и заплакал.

— Ата, почему ты плачешь?

Дед молча погладил его по голове, Коктембаю тоже захотелось плакать. Он думал о том, что виноваты во всем Шеген, Файруза и Таласбай, это они обидели дедушку.

Утром гости собрались уезжать. Решили, что, как и в прошлый раз, до станции их довезет Килыбай на своем мотоцикле. В ауле с домашними гости попрощались холодно. Салжан была в обиде на невестку и сказала только:

— Ну, невестка, аул ты увидела, теперь, надеемся, будешь приезжать чаще.— Потом повернулась и ушла за дровами в глубь двора.

Жакен поил ослицу, он решил отправиться на станцию верхом, чтобы там проститься с сыном. Возле отъезжающих был только Шаден, который пытался в последний раз объяснить Таласбаю, что старик часто болеет и его надо лечить, потом стал говорить, что нужны деньги. Таласбай и теперь молчал. Тут послышался рев мотоцикла: подъехал Килыбай. Гости стали усаживаться.

Жакен тоже принялся седлать ослицу. Она совсем исхудала и, казалось, еле держалась на ногах. Старик надел на нее недоуздок. «Надо же, бедняга, раньше уздой усмирить ее было трудно, а теперь недоуздка

слушается». Вставив ногу в стремя, он подпрыгнул, но с первого раза влезть в седло не смог. Ухватившись за луку, поднатужился и наконец взобрался. От досады у него даже слезы на глазах появились. Старая ослица, с трудом передвигая ноги, пошла.

На обратном пути, со станции, Жакен вел ослицу в поводу. «Зря я на ней ездил»,— сокрушался старик. Во дворе он расседлал ее, задал корм, принес воды, но ослица ни к чему не притрагивалась и только дрожала. Шадену все это не понравилось, и он по привычке ворчал: «И чего страдать, будто это тулпар...»

Через три дня ослица сдохла. Жакен долго стоял, держась за поясницу, и глядел на нее. Потом пошел в другой конец двора, где стояла арба. Коктембай понял, что задумал дед. Вдвоем они взвалили ослицу на арбу и выкатили ее со двора, старик подобрал развязавшийся пояс, захватил кетмень.

На пустыре за аулом Жакен остановился, снял шапку и пояс, повесил их на куст шенгеля, поплевал на ладони и принялся копать землю. Коктембай понимал, как опечалила старика смерть ослицы, и потому смирно сидел в сторонке.

— Ата, а бедный ослик будет искать свою мать?

— Может, будет, а может, и нет, кто его знает...

Старик перестал работать, оперся о кетмень. Может, он вспомнил своего сына?.. Вспомнил, как три дня назад добрался до станции, подошел к вагону, чтобы еще раз посмотреть на сына, а Таласбай не вышел, даже в окно не выглянул, хотя знал, что отец приедет.

Так и стоял Жакен, пока поезд не тронулся.

Уехал сын. Приехал и уехал...

Жакену больше не хотелось вспоминать об этом, он осторожными взмахами кетменя стал выбирать глину из ямы и все примеривался, достаточно ли глубока яма. Потом стащил в нее ослицу. «Сколько лет она была мне помощницей верной! Сколько воды утекло, вот и я состарился...»— думал Жакен и осторожно забрасывал ослицу землей. От грустных мыслей его отвлек голос Коктембая:

— Ата, помнишь, в прошлом году у хромого пастуха умер осел, так его не закапывали, а просто бросили в тугаях.

«Может случиться, иной человек не выберет время, чтобы на похороны отца родного приехать»,— хотел бы-

ло ответнть Жакен, но сдержался и вместо этого сказал мальчику:

— Э, да хромой пастух просто глупый человек.

Потом подумал про себя: «Мало лн таких псов по земле ходит, только ничего с ними не поделаешь». Старик и сам не зиал, иа кого ои сейчас сердился, и только яростнее забрасывал яму землей...

До аула Жакеи катил арбу одии. Когда-то мастер Кудебай делал ее для своего сверстника Жакеиа, давио это было. Теперь арба вся разболталась, многих перекладии не хватает. Да и зачем она теперь, эта арба, если нет ослицы.

* * *

Приблнжалась осеиь. Скоро Келес и Шолпан должны были отправиться в интериат. В ауле так и иет своей школы: раньше была иачальиая, ио ее закрылн, потому как детей в поселке слнщком мало. Вот ребятишки и ездят в райоиный центр. Коктембаю идет уже девятый год, а ои все еще ие учится. Роднтелн говорят, что пока ои иужеи дома — иекому иянчить малеиьких. Нынче Коктембай снова напоминл отцу: «Папа, я тоже пойду в школу». Но Шаден по-прежнему стоит иа своем:

— У матери твоей к зиме опять малыш будет. Кому же за ним смотреть?

Коктембай хороший помощник дома, потому и Салжан отпускать его ие хочется. «Пойдешь в следующем году, от другнх не отстаиешь»,— успоканвает оиа его.

На следующий год в школу пора будет ндти Жорабаю. Так что же он, Коктембай, опять останется? Мальчик завндует Келесу и Шолпаи, когда оии по воскресеньям приезжают домой иа поезде. «Нет, в этом году я должеи учиться»,— решил про себя Коктембай.

Незадолго до иачала занятий в аул приехал кудрявый пареиь, ои ходил по дворам и запнсывал детей, которые должны поехать в нитериат. Записал парень и Коктембая, перед уходом пообещал: «В этом году обязательио будешь учиться».

Прошло еще иесколько дией. Келес н Шолпаи стали готовнться к отъезду.

— Нашли время для учебы,— сокрушался Шаден.— Осень, тут дел иевпроворот, кликиешь кого-инбудь — иикого, и с работой управнться некому. Нет бы им с зимы начиниать, разве до лета ие сладили бы со своей учебой?

Но тут Салжан не упустила случая посмеяться:

— Вот бы тебя учителем поставить!

Вечером вся семья собралась за дастарханом. Не было только Жакена. Последние дни он постоянно жаловался на нездоровье и никуда не выходил.

За чаем дети наперебой стали высказывать отцу свои нужды. Келес объявил, что ему нужны новые ботинки и еще деньги на учебники.

— Неряхи вы, неряхи,— ворчал Шаден.— Думаете, наверное, что отец каждый месяц может вам новые ботинки покупать? Не умеете с вещами обращаться. Их на вас не напасешься, может, думаете, что они с неба сыплются? Ну, что вам еще нужно, говорите.— Он разломил лепешку и посмотрел на Шолпан. Та, чуть не плача, сказала:

— У меня ленты нет.

— Ну вот! Ей лишь бы наряжаться! Какая еще лента, прошлогодняя где?

— У меня ее и в прошлом году не было, у всех девчонок банты...— Шолпан заплакала.

— Так я и знал! Слезы у вас всегда наготове! Глупая, потерпи уж, ленту я тебе потом куплю.

— Да как же потом-то?— не сдавалась Шолпан.

Коктембай ждал случая сказать, что он тоже пойдет учиться, но, увидев, что отец сегодня не в духе, не осмелился. Жорабай сидел молча, оперевшись о подушку.

— Ну, что еще нужно, говорите,— переспросил Шаден, отпив из пиалы.

— Мне форма нужна, поршлогодняя износилась совсем...

Шаден опять взмахнул руками:

— Форма! Выдумали форму. Разве нельзя в обычной одежде учиться?..— Шаден кричал, и развязанные уши его шапки дрожали. Потом он вдруг успокоился, посмотрел на детей и сказал:

— Мать поедет с вами, она сама все купит. А вы там не балуйтесь и с кем попало не деритесь. Одежда, она от этого рвется. Ведите себя хорошо. Закончите по семь классов, и достаточно будет. Тебя я отдам учиться на тракториста,— он указал пальцем на Келеса,— а ты, Шолпан, кем захочешь, тем и будь, лишь бы только губы не красила да волосы не стригла, как некоторые...— Шаден достал из кармана деньги и протянул Келесу.

— На, купишь на это свои книжки-тетрадки.— По-

том вытащил деньги из другого кармана и дал Шолпан:— Купишь себе бант.

Шолпан вытерла глаза и отстранила руку отца:

— Этого не хватит.

— Ты смотри-ка, не хватит. Сколько же тебе надо? Ладно, ленту тебе купит мать.— Шаден снова положил деньги в карман.

Наступил день отъезда. Салжан собралась проводить детей, надела новенький костюм, который ей в прошлом году подарили родители, повязала голову белым платком и захватила две сумки: на обратном пути она хотела сделать покупки.

Коктембай убедился, что его и в этом году не пустят в школу, он чуть не заплакал, когда увидел, что Келес и Шолпан уже вышли во двор. Шолпан спросила у матери: «Мама, а когда Коктембай будет учиться?» Та резко обернулась: «О боже, одно только у вас на уме!»

— Коктем, они уже уходят!— В комнату вбежал Жорабай, короткая рубашка на нем задралась, и был виден живот. Коктембай даже не посмотрел на брата:

— Ну и пусть уходят...

— Коктем, а почему ты сам не уйдешь, все равно не пускают.

Коктембай молча тер пальцем оконное стекло. Жорабай подошел поближе:

— На следующий год мы с тобой вместе пойдем, убежим, ладно?

Коктембай кивнул головой. Дверь открылась, вошла Салжан:

— Вы тут смотрите, не вздумайте уйти куда-нибудь. Скотине корм задайте, в обед поставьте самовар. Напоите чаем деда и отца. Я вернусь завтра к вечеру, если все будет хорошо.

Салжан поправила платок и вышла, сильно хлопнув дверью. Так Коктембай снова остался в ауле. При мысли о том, что его ровесник, сын продавца Жанака, уже учится во втором классе, мальчик совсем загрустил.

* * *

Вечером Жакену стало хуже. У него начался сильный жар. Старик лежал неподвижно и только тяжело стонал. Дома никого не было. Дети перепугались и поначалу не знали что делать. Жакен сам успокоил их, по-

просил принести воды и накрыть его еще одним одеялом.

Шаден пришел домой только вечером. К этому времени Жакену немного полегчало. Он даже не стонал и так же лежал с закрытыми глазами, но это продолжалось недолго. Скоро жар усилился. Тут и Шаден растерялся. «Как бы не отошел старик»,— пробормотал он.

Утром пришли еще два старика в огромных чалмах. Они шептались, сидя у постели больного. Шаден в этот день не пошел на работу.

Коктембай и Жорабай не могли заглянуть в комнату к деду, потому что старики все время были там. Только вечером, когда те вышли, Коктембай приоткрыл дверь.

Жакен лежал, укрытый по грудь одеялом, на голове его тоже была накручена чалма. Он сразу узнал Коктембая, подозвал к себе и погладил по руке. А вот что сказал — разобрать было трудно. Старик прижал голову внука к своей груди. Из глаз его тихо полились слезы.

— Ата, не плачь, ата...— Коктембай сам заплакал.

Послышались шаги, это возвращались старики. Коктембай вытер ладонью глаза и вышел из комнаты.

Вечером вернулась Салжан. «Ох, как же я умаялась, а ведь только день там пробыла...»— начала было она с крыльца жаловаться мужу и... замолчала, когда Шаден, глянув на нее, приложил палец к губам.

К ночи Жакену стало еще хуже. Он начал бредить. Коктембай слышал из соседней комнаты, как дед звал то его, то Таласбая.

— Что ж, душа его в воле божьей,— говорили старики.

Жорабай баюкал маленького и скоро сам тоже уснул. А Коктембай не спал. Ему хотелось снова подойти к деду, но он не решался. До поздней ночи сидел в соседней комнате и прислушивался к стонам.

Утром Коктембай проснулся и понял, что лежит не в доме деда, где заснул вчера, а в юрте, которую установили во дворе. Снаружи слышался шум и гомон. Мать с отцом стояли на пороге и плакали. Сначала мальчик ничего не понял.

Днем к ним приходили люди.

Утром следующего дня безжизненное тело Жакена положили в кузов машины. Коктембая вместе с другими людьми тоже посадили в кузов. И мальчик вдруг вспом-

нил похороны белой ослицы. Ее давио иет. Теперь вот иет больше и деда...

Когда возвращались с кладбища, Коктембая до глубины души обидело то, что три старика, шедшие впереди, говорили о чем-то совсем постороиием, а не о дедушке. «Ои умер так иедавно, иеужели оии успелн забыть его?»

Мальчнк с иедоумеиием и укором глядел иа взрослых.

* * *

Таласбай иа похороиы отца не прнехал, хотя Шаден давал ему телеграмму.

* * *

Все дети были в интериате, из ровесников Коктембая никого ие осталось в ауле. Мальчнк скучал один, он все иадеялся иа учителя, который записал его летом. Но тот почему-то ие появлялся.

Одиажды, когда дома никого ие было, оии с Жорабаем опять нграли в артнстов. Коктембай был Жакеиом, он лежал больиой, а Жорабай должеи был изображать ослика.

— Иго-го!..— кричал Жорабай и бегал по двору. «Жакеи» вскакивал с места: «Ах ты, бедиая скотинка моя!»

Скоро игра показалась им иеинтересиой, к тому же Жорабай вспомиил:

— Ослик же ие прнходил, когда дедушка болел.

Потом оии стали играть в похороиы Жакеиа. Коктембай лег, а Жорабай надел отцову шапку н, как Шадеи, прииялся вопнть и причитать. Покричав иемного, он сказал:

— Коктем, у меня ничего ие капает из глаз.

— Слезы совсем не обязательиы, папа тоже только повторял «ойбай», а глаза у иего былн сухне.

Жорабай сиова стал кричать, и в самый разгар игры заявился Шадеи:

— Ах вы иечестивцы, чего раскричалнсь? Беду иакликать хотите?— Ои с ходу влепнл затрещиу Жорабаю, да такую, что малыш завопил по-настоящему, и слезы у него теперь полилнсь ручьем.

Коктембай притворился спящим и потому избежал наказаиия.

Это была их последияя игра.

* * *

Дней через двадцать после смерти Жакена приехал Таласбай. Один. Дома сидели старики, и среди них был объездчик Шодыр. Таласбай обошел всех сидящих, поздоровался с каждым за руку. Седобородый старик в шапке прочитал молитву. Потом все стали расспрашивать друг друга о здоровье. А Салжан запричитала:

О отец, о опора моя,
Ты дорогу указывал нам,
Если вдруг приходила беда,
Ты советом своим выручал...

Кто-то из стариков повернулся к ней: «Хватит, голубка, успокойся», и Салжан сразу замолкла.

— Сынок, пусть душа твоего отца обретет спокойствие, и пусть тебе бог даст много сил и здоровья,— сказал, повернувшись к Таласбаю, старик, что читал молитву.— Давно мы тебя не видели здесь. Летом я встретил покойного, он радовался, говорил, что ты его навещаешь. Был он тогда совсем здоров, о аллах, кто бы мог подумать... Помню Жакена молодым джигитом. Сколько раз мы с ним участвовали в кокпаре. Будто вчера это было. Вся жизнь кажется одним днем...

— Прекрасным человеком был Жакен,— поддержал его Шодыр и при этом ничуть не изменился в лице, голос его звучал уверенно.

— Вот так, лишились мы старика. А каким был всем нам советчиком. Перед смертью все тебя спрашивал...— Шаден посмотрел на Таласбая и тут вдруг заметил своих сыновей...— Ну-ка, ступайте!— прикрикнул он.

Коктембай с Жорабаем выбежали во двор. Жорабай направился к своим друзьям, а Коктембай увидел белого ослика. Тот стоял, привязанный, за калиткой. Коктембай подошел к нему.

Это был тот самый белый ослик, он сильно изменился: вырос, окреп. Седло покрыто козлиной шкурой. Ослик фыркнул и застриг ушами. «Хочет остаться»,— подумал мальчик. Ослик снова фыркнул и стал вырываться. «Ты хочешь остаться? Тогда я тебя не отдам». Ослик смотрел на мальчика своими большими глазами и моргал. «Знаю, хочешь, я тебя оставлю здесь и никому не отдам?» Ослик тянулся к воротам, но веревка не пускала. Мальчик подобрал повод: «Ты, наверное, ищешь

свою маму? Ты ее ищешь, а она умерла. Когда тебя не было. Когда тебя не было, умер дедушка. Ты этого не знаешь.— Коктембай обнял ослика за шею.— Ты не уходи, оставайся совсем, ладно?» Ослик стоял не шелохнувшись, он больше не вырывался.

Из дому, беседуя о чем-то, вышли люди. Старики стали расходиться по домам, а Таласбай, Шаден и Шодыр решили пойти на могилку Жакена. Шодыр с плетью в руке подошел к забору, где был привязан ослик.

— Отойди, мальчик!— Он спокойно стал отвязывать повод.

— Не отойду, это не твой ослик.

— Что это ты болтаешь?— Шодыр строго посмотрел на Коктембая из-под нависших бровей.

— Не отойду, это ослик моего дедушки, он сказал, что я буду на нем ездить, когда он вырастет.

— Хватит болтать, поди отсюда...— Шодыр толкнул Коктембая так, что тот чуть не упал. Но мальчик все же удержался и вцепился руками в стремя.

— Вот еще напасть, привязался щенок!— Шодыр не знал, что делать, тут к ним подошел Шаден.

— Папа, это наш ослик!— крикнул Коктембай, но Шаден и не думал слушать сына:

— Ишь, негодник! Ну и память у него, не забудет никак, боюсь, крохобором вырастет.— И оттолкнул сына.

Коктембай упал на землю и заплакал. Через некоторое время он поднялся, хотел было догнать Шодыра, да побоялся отца.

— Я еще покажу тебе, когда вырасту...— Мальчишка погрозил кулаком вслед уходившему объездчику.

Когда Шодыр и Шаден скрылись за кустами шенгеля, он вырвал из крыши навеса толстый прут и пошел на дорогу. «Обязательно верну ослика»,— решил Коктембай.

На кладбище Таласбай, Шаден и Шодыр неподвижно сидели у могилы деда. Ослик был привязан неподалеку. Он заметил Коктембая, фыркнул и сделал несколько шагов в его сторону. Коктембай подошел ближе: «Погляди на них, они читают дедушке молитву, будто он самый любимый их человек».

Когда взрослые поднялись, Шаден промолвил: «Брат мой, быть бы мне жертвой за тебя»,— и поцеловал кусок глины на могиле.

— Покойный был прекрасным человеком,— опять повторил Шодыр.

Таласбай походил вокруг могилы и сказал:

— Надо будет построить мазар с куполом...

— Да-да, об этом уж ты сам думай, нам не под силу будет. А детишки еще малы...

— Посмотрим...— заключил Таласбай, сунул руки в карманы, повернулся и зашагал к аулу. Шодыр пошел к ослику, Шаден догнал его и, увидев сына, принялся кричать:

— А тебя, негодник, кто сюда звал!

Коктембай не шелохнулся:

— Я пришел за своим осликом...

— Сколько лет с тех пор прошло, а ты все своего ослика вспоминаешь. Иди, когда говорят!— Он схватил мальчика за ворот и ударил. Коктембай опять упал. На этот раз ему досталось сильнее, но он не заплакал.

Шодыр и Шаден уходили, о чем-то разговаривая.

Коктембай вернулся к могиле деда, упал на нее и только тогда разревелся. Свежие комья глины были мягкими.

«Слушай меня, ата... Это я, Коктембай. Ты знаешь, кто к тебе сейчас приходил? Таласбай, Шодыр и отец... Не принимай их молитвы, ата, не принимай! Не слушай их, ты бы видел, как меня сегодня били... Ата, я их ненавижу. Шодыр не отдает ослика. Ата, Таласбай хочет построить мазар с куполом. Не надо, лучше земля чистая, она такая мягкая... Зачем ты звал его, когда болел?»

Коктембай плакал, и слезы капали на глину.

«...Я тебя люблю, ата. Я видел тебя во сне. Я по тебе скучаю. Ты, наверное, звал меня, ата. Ты плакал... Зачем ты умер? Ата, они тебя обманывают».

Мальчик перевернулся на спину, вытер испачканным рукавом слезы. Он вспомнил парня-артиста, который играл старика Абыза. «Где ты, Абыз-ага, когда приедешь к нам в аул? Когда снова будет лето? Приезжай, Абыз-ага, я хочу стать арститом. Я могу играть Шодыра и Таласбая, пусть все узнают, какие они люди...»

Мальчик уснул на могиле.

Вдруг он почувствовал, что его кто-то трясет за плечо, толкает в бок. Он открыл глаза и увидел Жорабая.

— Коктем, ты здесь, я тебя искал. Тебя отец побил, я знаю, он сам сказал маме.

Коктембай кивиул. Потом молча встал, взял брата за руку, н они вместе пошли в аул.

В ту ночь Шадеи долго не мог усиуть. Лежа в постели, все разговаривал с жеиой о хозяйстве.

— Управляющий велит мие пасти овец. Вот я и думаю, скота все больше становится, иеплохо бы это было.

Салжан стала говорить, что это ие жизнь — постоянно кочевать за скотом, но вдруг отвернулась и замолчала. Шаден толкнул ее в бок:

— Ты что это, дрыхнешь уже? А Таласбай не спрашнвал про скот, который остался от Жакена?

— Нет, не спрашнвал.

Шаден успокоился, глубоко вздохнул:

— Ну и ладно, н хорошо. Все хорошо.

Утром неожнданно для всех в аул прнбежал ослик. Коктембай по оборванной веревке, которая болталась на шее ослнка, понял, что он опять сбежал. Ослнк обошел двор и протяжио крикнул. Шодыр появился как раз в тот момент, когда Коктембай собнрался впустнть ослнка в загон. На этот раз Шодыр даже ие стал разговаривать с Коктембаем, а просто погнал ослнка впередн себя. Спорнть с ннм мальчик ие стал, он боялся отца. В этот день Таласбай собирался уезжать. Шаден нз сил выбнвался, чтобы проводнть его как следует.

...Прошло трн дня, н из райцентра прнехал паренъучнтель, тот самый, который запнсывал летом Коктембая в школу. Учнтель сразу направился к дому Шадеиа. Коктембай узиал его, встретнв во дворе.

— Агай, увезнте меня, я хочу учиться,— сказал ои.

Пареиь улыбнулся:

— Увезу, обязательно увезу, малыш.

Дома учнтель без долгих разговоров заявнл, что приехал за Коктембаем, Шаден начал было перечить, дескать, ребенок мой, он дома еще пока нужен. Тогда учнтель сказал, что не нмеет права н дальше оставлять Коктембая, мальчнк должен учнться. К тому же в областном центре открылся новый ннтернат, там детей и кормят и одевают бесплатно. Шадену это понравилось, он для виду поспорнл еще немного, но в конце концов согласился н даже сказал:

— Это хорошо, а вот ннтернат, где учатся Келес н Шолпан, ннкуда не годнтся... Там н одевают детей и кннжки им покупают самн роднтели.

В тот же день Коктембай должен был отправиться

в город. Он уже оделся и был готов к отъезду. Жорабай радовался и грустил:

— Коктем, когда ты приедешь?

— Теперь не скоро — зимой...

— Это когда Келес приедет?

— Да.

Жорабай хотел отдать брату свои новые ботинки, которые были ему велики, но Шаден запретил: «Там все равно казенные выдадут».

— Коктем, приезжай зимой, мы для тебя арбузы оставим,— закричал Жорабай и поднял руку. Подошла Салжан:

— Коктем, будь здоров, учись хорошо.

Шаден стоял и улыбался: «Вот сопляк, тоже учиться поехал, а как же иначе?»

Заревел мотор, и машина тронулась. Жорабай что-то кричал, но его не было слышно.

Машина проезжала мимо кладбища. Коктембай разыскал взглядом знакомый бугорок земли: «Я еду учиться, ата. Я буду артистом. Я не забуду тебя, буду приезжать часто-часто. Я тебя не обману. Прощай, ата...— Мальчик плакал, и ветер уносил его слезы.— Недавно снова прибегал белый ослик, он искал тебя и свою мать. Ата, он еще много раз будет прибегать, он скоро вернется...»

Мальчик вцепился руками в борт машины, который доходил ему до подбородка, и глядел на удаляющийся с каждой минутой аул...

Оразбек Сарсенбаев

ЖАР-ПТИЦА

I

Снег валил второй день и плотно укрыл необозримую степь. Он был мягок, пушист, в нем играли, переливаясь, многоцветные искорки. Колючий тростник и кряжистые кусты вырядились в мохнатые белые шапки. Горизонта не видно. Будто слились небо и земля. Вокруг простиралось безмолвие, окутанное белым покрывалом. К обеду начала рассеиваться тускло-серая хмарь, и на небе высветилось пятнышко. Там, наверное, и было солнце.

Степь словно заворожена тишиной, дремлет под уютным покровом. Хлопотуньи-сороки суетятся, мечутся от куста к кусту, сухо шелестя крыльями. Ошалело вспархивают из-под ног жаворонки. Легкий сухой морозец приятно пощипывает щеки. На чуть-чуть темнеющей сквозь снег тропинке дымится свежий помет.

Ленивой, валкой походкой идет с прибрежья Бекбаул. Пятый день по приказу председателя он ремонтирует зимовье скотоводов на берегу Сырдарьи. За долгое лето почему-то всегда недосуг заняться зимним стойбищем, а когда надвигаются холода и во все щели свищет ледяной сквозняк, начальство, как водится, хватается за голову и бьет тревогу. Хорошо, что даже в самую стужу в густых зарослях прибрежья неизменно тепло и безветренно, иначе отощавший скот не дотянул бы до весны. Сено, подвезенное к стойбищам, давно кончилось. Особенно трудно сейчас мелкому скоту: овцам и козам. Снег глубок, до подножного корма не доберешься. Вот и пасут их на склонах холмов, где торчит из-под снега чахлая

трава терискен и верблюжья колючка. Бекбаулу-то, собственно, все равно. Он за это не ответчик. И все же болит душа при виде всех этих беспорядков. Как-никак всю жизнь живет в ауле и толк в скотоводстве знает. Душа болит, а сам молчит. Недавно на ферму пожаловал председатель в сопровождении главного бухгалтера колхоза Таутана. И тогда Бекбаул не сказал ни слова. Зачем? Без него разве не обойдутся? Ведь все равно хвала и хула достанутся начальству. А он кто? Простой колхозник. Он должен знать свой кетмень и свои вилы. И весь с него спрос. Трудодни идут. Он сыт. Ну и ладно.

Так подумал Бекбаул и рассмеялся. Однако тут же спохватился и оглянулся по сторонам. В степи он был один. До аула оставалось немного. Из оврага по правую руку потянулось стадо коров. Пестрые, тугобрюхие коровы шли медленно, покачиваясь, исполненные важности и достоинства. Им, буренкам, тоже некуда торопиться. Немудреная, монотонная жизнь степного аула. А вон и пастух показался. Сидит на гривастой лошаденке, дремлет, даже шапка съехала набок. Куда ему спешить?

Не спешит и Бекбаул. Идет — еле ноги тащит. Нет, он ничуть не устал. С чего бы? Для тридцатилетнего здоровяка часок-другой возни на свежем воздухе — сущая забава. Просто привык он никуда не спешить. Сама природа живет размеренной, спокойной жизнью. Посмотришь на родную степь, оглянешься вокруг — кажется, тут и за тысячу лет ничего не изменилось. Те же горы, похожие на верблюжьи горбы, те же перевалы, та же сонная безбрежность. И люди вроде бы те же. И тысячу лет назад были, наверное, такие же гривастые коняги, и такие же пастухи, быть может, так же дремали в седлах. А может, и по-другому все было. Бекбаулу это неведомо. С самого рождения он знает и видит степь только такой.

Мягкий, нетронутый снег слегка поскрипывает. Значит, есть морозец. Да и к голенищам снег не пристает. Воздух чист, прозрачен. Приятно бодрит и грудь распирает. Бекбаул сильно щурится. Он вдруг представляет себя крохотной черной точкой в бесконечном белом пространстве. Чудится ему, будто эта точка равномерно перемещается, как часовой маятник. До чего же огромен, необъятен этот мир! Странно, иногда так явственно ощущаешь себя частицей его. Словно в самом себе слышишь дыхание мира. С первого же шага на земле человек по-

стоянно чувствует себя неотъемлемой частью природы. Когда это ощущение исчезает, ты уходишь в небытие. Это не только человек, но и зверь, и птица, и всякая тварь чувствует.

Да-а... повседневная жизнь, привычные картины. Во всей округе Шаулимше не найдешь, пожалуй, не исхоженных Бекбаулом с детства такыров, тропинок и оврагов. На севере, вздымая хребет, стоят древние горы Каратау. На юге — бесконечным арканом вьется строптивая Сырдарья. А что там дальше — Бекбаул не знает. И реки не переплывал, и за горами не бывал. Тут, на пространстве между Каратау и Сырдарьей, издревле обитают два рода: многочисленный Кипчак и смирный, как овца, Конрат. Земля здесь пропитана потом и кровью мужчин и женщин этих родов, и потому никто из живущих ныне на этом плоскогорье не променяет его на самый сказочный райский уголок. Лихие были времена, степь, рассказывают, стонала под тяжестью людского горя, но и тогда священной памяти предки не покидали родного края. А посмотришь вокруг — вроде бы и любоваться нечем. Камни, что ли? Пески? Степь? Реки, озера? Эка невидаль! Где этого нет?! Но есть что-то таинственное, трудно постижимое в любви и привязанности присырдарьинских казахов к родной земле. С раннего детства, едва постигнув смысл отдельных слов, Бекбаул и его ровесники слышали от древних стариков и старух удивительные предания, сказания и легенды о своих предках, о прошлом родного края. С юных лет глубоко запали в их души причудливые рассказы об исчезнувших городах Отрар, Сыганак, Жолек, Окши-Ата, Жунис-Ата, Сайрам, Балапан-тюбе, Жундикум, Кызыл-там, Камыс-кала, Янакурган, Чулак-курган, о бесстрашных батырах, свято оберегавших честь родной земли. Поглаживая белые бороды, незаметно внушали старики своим внукам и правнукам сладкую и гордую мысль о том, что побережье Сырдарьи — колыбель племени казахов. Говорили они и о том, что сыновняя любовь к родному краю вовсе не сопряжена с пренебрежительным отношением к незнакомой земле.

Тому, кто любит родную степь, она всегда желанна. Она одинаково радует и храбреца с пылким сердцем в груди, и презренного труса, боящегося собственного дыхания. Кто не чувствует влечения к прекрасному! С хорошим человеком хоть десять раз на дню встречайся —

ие иаскучит. Так н Бекбаул: ннкак ие может насладиться, налюбоваться чудом притихшей зимией степн.

До аула рукой подать. Тропинка пролегла через рощицу поредевшего саксаула. Бекбаул заметил свежне следы колес: кто-то проезжал иедавио иа арбе. Следы на сиегу ие привлекли, одиако, его внимаиия. Мало ли кто мог проехать? Но уже через иесколько шагов ои иевольио остаиовился. На чистом, искрящемся сиегу между колеями желтели ядреиые пшеиичные зериа. Это его насторожило. Откуда в безлюдиой степи пшеиица? Ясно, что тот, кто проезжал иедавио иа арбе, и просыпал иевзначай иесколько горстей... Интересио. Урожай давио убраи. Семеииая пшеиица иа складе, а склад под замком.

Бекбаул поднял иесколько зереи, покатал иа ладони. Да-а... ие с овниа пшеиичка. Чистая, без плевел. Неужели кто-то иа склад пробрался? Не может быть. Какиикак там охраииик с ружьем. Да и председатель Сейтиазар не нз тех, кого можно облапошить средь бела дия. Надо, пожалуй, проследить, куда иаправился таииственииый путиик. Благо, торопиться иекуда, до вечера еще далеко.

Ои долго шел по колее. Следы вели через чащобу саксаула в стороиу оврага Жидели. Аул оставался позади. Бекбаул виимательио приглядывался. Путиик, очевидио, ехал ие иа рыдваие, запряжеииом волами. Колеса тележки глубоко врезались в сиег. И коиь подкован. Только у двоих в ауле есть такие тележки: у хромого Карла, который часто ездит в город по своим торговым делам, и у Таутаиа, главиого бухгалтера колхоза. Но первого ии одиа душа ие осмелится обвииить в иечестиых проделках, а второй, так сказать, руководящее лицо и его, Бекбаула, шурии, точиее, бывший шурии.

В овраге Жидели иаходилось старое зимовье бывшего волостного управителя Сартая. Еще в двадцать восьмом году волостиого выслали, и с тех пор зимовье пустует. Люди обходилн его стороиой, опасаясь разиых джиииов и шайтаиов, которые, как известио, охотио поселяются в заброшеииом жнлище. Но имеиио сюда привели Бекбаула следы иа снегу.

Шурииа ои увидел издали. Таутаи, суетясь, перекладывал иавоз. Широкогрудый вороиой был привязаи к колесу тележкн. Бекбаул, ие здороваясь, подошел, привалился к телеге и загляиул в короб. На дие лежала

охапка пшеничной соломы. Ему даже досадно стало. Все сомнения развеялись, напрасно он, выходит, столько отшагал. Таутан швырнул лопату на навоз, вытер взмокший лоб и, отплевываясь, подошел к зятю.

— А, это ты?— сказал он безразличным голосом.— Насыбая у тебя, случаем, нет?.. У меня вчера кончился и теперь прямо с ума схожу.

Бекбаул подозрительно покосился на шурина.

— Будто не знаешь, что я насыбай не жую.— Он повел вокруг взглядом, сощурился.— А чего ты здесь околачиваешься, а?

На Таутане добротная овчинная шуба, выкрашенная охрой и отороченная понизу синим бархатом. На голове — пушистый лисий треух. Смешно: вырядился человек как на пир, а копается в навозе. Вспотел, бедняга, запыхался. Таутан снял треух, начал обмахиваться. Это был узкогрудый, среднего роста человек, чуть постарше Бекбаула. К узкому, сдавленному виском лбу прилипли редкие, с рыжеватым отливом волосы. Под мохнатыми бровями недружелюбно и хитровато поблескивают большие черные глаза. Короткий нос чуть скошен на правую сторону. Скуластое, мясистое лицо обметано щетиной. Длинные, неухоженные усы прикрывают рот. По привычке он их время от времени поглаживает указательным пальцем.

— Итак, зятек дорогой, нету у тебя насыбая,— заговорил Таутан с усмешкой в голосе. А может, Бекбаулу это только показалось?..— Прямо скажем, зятек, скверно... И еще ты спрашиваешь, почему я здесь околачиваюсь, а?! У казахов принято почитать шурина. Не так ли? А ты как выражаешься?

— Ничего, брюхо от этого не лопнет. Просто жалко мне тебя. Такой почтенный человек, начальник... под боком саксаул растет, а он в дерьме копается, как ворона.

Таутан снова нахлобучил треух, подошел к вороному, почесал его за ухом. Конь повернулся к хозяину, блаженно прикрыв глаза.

— Старый слежавшийся навоз горит жарче саксаула. Имей в виду, дорогой,— заметил Таутан, склонившись к уху коня. Казалось, он говорил это вороному.

С детства они росли и играли вместе. Когда-то в начальной школе в Шаулимше за одной партой сидели. Разговаривать между собой грубовато, развязно стало

у иих привычкой. Бекбаул, одиако, сейчас чуть смутился.

В самом деле, с какой стати подозревает он шурииа? Что тут зазориого, если ои иавоз перекладывает? Начальиику небось тоже топка иужиа. Правда, он мог бы других попросить, даже приказать. И ему привезли бы домой хоть кизяк, хоть саксаул. Но, может, ему неловко?.. И все же, все же...

— Не злись, кайиага,— виновато улыбнулся Бекбаул.— Увидел пшеиицу иа сиегу, ну и пошел по следу. А вдруг, подумал, ты какой-ибудь клад иашел... Если так, не таись, поделись...

Таутаи иахмурился. Схватив с телеги хомут, с силой швырнул его к ногам вороного. Конь испугаиио шарахнулся иазад. Хозяин размахиулся уздой, чтобы ударить его по морде.

— Эй! Ты что?! Скотииа-то при чем?

Бекбаул подскочил к иему и вырвал из рук узду.

У Таутана скривился рот, выкатились глаза. Ои бросился к коию, иоровя ударить теперь его кулаком.

— У, сволота!.. Чтоб ты подох!..

— Ойбай, да ладио уж, успокойся, шучу...— иачал уговаривать его Бекбаул.— Ты гляиь-ка, какой иервный, а?! Думаешь, ие поиимаю, что пшеиичка по дороге из старой соломы вышелушилась и высыпалась? Чудак! Шел с работы, увидел тебя издалека, иу и приплелся сюда, чтоб языком почесать. Поиял?

Таутаи на этот раз промолчал. «Ну вот, теперь обиделся,— с досадой подумал Бекбаул.— Нехорошо получилось. Шурии ведь, единственный брат Зубайры. И с чего я сегодия такой бдительиый стал? Дурак! Разве можио подозревать уважаемого человека? Тьфу, бить меия некому!»

Бухгалтер так иичего и ие сказал. Скоифужениый Бекбаул пошел по своему следу обратно.

Едва Бекбаул скрылся за холмом, как главбух успокоился, воровато оглянулся, прислушался. Потом взял лопату и направился к покосившейся самаииой избушке — зимовью бывшего волостиого. Подошел к двери, зиявшей, как могила, еще раз огляиулся. Вечерело. Потускнела степь в раииих сумерках. И сиег посерел, погасли в нем веселые искорки. Над головой послышался шелест крыльев, и следом же испуганио вскрикиула какая-то птица. Опять иаступила тишиина.

— Прннеслн его чертн!— проворчал Таутан.— Нюх как у собакн. И что он там мямлил про пшеннцу?..

Таутан с лопатой в руке юркнул в дверь старого знмовья.

* * *

— Папа! Папа, па-па-а!..

Сынншка радостио выбежал ему иавстречу. Каждый день поджндал он отца на пороге. И сейчас броснлся иа шею, прнжался. У Бекбаула защемило сердце.

...Онн тогда перекочевывалн на джайляу в Сарысу. Конн шлн рядком, бок о бок, н вдруг Зубайра вскрнкиула, побледнела, бровн ее судорожио сошлнсь на переносице... Так н не доехалн в тот раз до джайляу. В путн роднлся нх первенец. На радостях старик-отец послал во все стороны гонцов, позвал гостей, у склоиа холма провел небольшой той, сам пронзнес молнтву, поблагодарнл аллаха за внука н назвал его Жолдыбаем, что озиачает «роднвшнйся в путн». Сейчас Жолдыбаю уже пять лет. Весь в дедушку пошел: такой же лопоухнй, толстогубый, узкоглазый. Вначале мальчнк чурался родного отца. Так воспнтывалн внука старнкн. По обычаю казахов первый внук прннадлежнт дедушке н бабушке. Теперь смышленый малыш больше к отцу тяиется, н после смерти матерн старнкн этому не воспрепятствуют...

Маленькая комнатушка была жарко натоплена. Едва переступнв порог, Бекбаул ощутил горячую волиу воздуха. Десятнлнннейная лампа на пузатом кебеже[1] чуть не потухла. Бледный язычок пламеии, колеблясь, вытянулся вверх, потом накреннлся набок. Все иемудреное убранство комнаты, весь нехитрый скарб прн свете лампы вндне лнсь как на ладони. На деревянной подставке, украшенной старнннной резьбой, стонт маленький иикрустнрованный сундук. Лет сорок тому назад его привезла вместе со свонм прнданым мать. Старые роднтели свято берегут сундучок, словно какую-ннбудь драгоценность. В глубнне комнаты расстелена большая белая кошма с узорамн — матерннское нзделне. У дверн лежит иеопределенного цвета домотканый палас. На сундуке аккуратно сложены пять-шесть стеганых пестрых одеялец. Таково самое обычное убранство простого казахского жнлья.

[1] *Кебеже* — ларь.

Отец, большой любитель чая, сидел за самоваром. Мать что-то строчила иа швейиой машинке. Ей уже за шестьдесят, но оиа до сих пор ие расстается с иголкой и ниткой. Вечио колдует иад тряпками.

Бекбаул прошел иа кошму, стяиул изношенные пыльиые сапоги, швырнул их к печке. Просторную стегаику, сшитую к зиме матерью, повесил иа огромный деревяииый кол, вбитый в стеику. Заскорузлый треух еще при входе нахлобучил себе на голову Жолдыбай.

Бекбаул опустился возле печки иа колеии, ополоснул лицо и шею, сливая иа руку теплую водичку из чугуииого кумгана, а затем с наслаждением растянулся рядом с отцом.

— Коке, плесиите и мне.

Ои и ие подумал о том, что иеприлично заставлять старого отца потчевать его чаем. Но что поделаешь, если старик заваривает чай совсем по-особому. Густой, иастоеииый чай со сливками ублажает душу, веселит сердце. Уже после двух-трех глотков на лбу Бекбаула выступил обильный пот.

— Коке, ваш чай лучше всякого меда!

Старик был польщеи похвалой сына. Он раза два довольно кашлянул, погладив бороду. Бекбаул уже приготовился было выслушать длиииую лекцию о том, какое это сложное искусство — по-иастоящему заваривать чай, однако старик заговорил совсем о другом.

— Сейтиазар приходил. Тебя спрашивал. Утром в коитору, говорит, пусть зайдет... Дело какое-то, что ли...

В голосе отца послышалась гордость. Как же! Его сыи вдруг поиадобился самому баскарме. К иему за советом домой приходят. Значит, сыи старого Альмухаиа ие последиий человек в этом ауле. От этих мыслей приятио стало старику. И он с иаслаждеиием тяиул горячий коричневый чай, пока ие опорожнил весь самовар.

II

Правление колхоза заиимало часть клуба, построеииого только в прошлом году. Еще издали Бекбаул увидел толпившихся у входа аулчаи. Собрались мужчииы примерно его возраста. Должно быть, ие его одиого вызвал председатель. Сиег поскрипывал под ногами, изо рта валил густой пар.

Солнце, по-зимнему тусклое, бессильное, нехотя под-

нималось из-за горизонта. На небе ни облачка. Снег играл в утренних лучах, поблескивал кончиками игл, слепил глаза.

В аулах обычно встают рано. Такова стародавняя привычка потомственных скотоводов. Хлопот всегда хватает. Вот и сейчас кто-то выгоняет скот на выпас, кто-то с утра пораньше чистит хлев, кто-то набирает воду в деревянную колоду. Выстроились в ряд саманные домики, невзрачные, приземистые, точно спичечные коробки. Из труб валит разноцветный дым, и тут нет ничего необычного: ведь одни топят углем, другие хворостом, третьи — джингилом, саксаулом, кизяком.

Колхоз имени Байсуна образовался в тридцатых годах, одним из первых в районе Шаулимше. Тогда же председателем был избран Сейтназар. С тех пор прошло почти десять лет, но успех неизменно сопутствовал ему. И не кто иной, как Сейтназар, настоял на том, чтобы колхозу присвоили имя Байсуна. По словам все на свете знающих стариков, Байсун был сыном бедного казахского шаруа — скотовода, который спас жизнь русскому офицеру, попавшему в плен к кокандцам во время покорения Ак-Мечети генералом Перовским. Благодарный офицер взял сына шаруа — нищего байского подпаска — с собой в большой город, где дал ему воспитание и образование. Позже этот Байсун совершил много полезных для народа дел: построил зимовье возле станции Чиили; собрав дехкан, прорыл большой арык — нынче там течет полноводная река; приучил бедный люд к оседлой жизни; ратовал за земледелие; призывал учиться ремеслу у русских и узбеков... Ныне колхоз имени Байсуна является передовым хозяйством и занимает в районе одно из первых мест.

Мужчины, с утра собравшиеся возле клуба, то и дело поглядывают в сторону председательского дома. Однако задержка начальства никого не возмущает. Зимой в колхозе ни суматохи, ни суеты, спешить некуда, и все рады представившейся возможности потолкаться, посмеяться, поболтать о том о сем.

Наконец появился Сейтназар в сопровождении председателя аулсовета и главбуха, и джигиты дружно расступились, учтиво протянули аульному начальству руки.

— Ассалаумагалейкум!

— Уагалейкум салам.

— Как дела, джигит?

— Слава богу, помалеиьку.

Бекбаул последним подошел к председателю. Тот сощурил глаза, хитровато усмехнулся.

— Ну как, братец, отремонтировали зимовье?

Бекбаул уставился иа кончик сапога, дернул плечом.

— Нет. Дел еще по горло...

— Ойбай-ау, да вас же там десять мужиков, здоровых как бугаи! Не понимаю, чего возитесь...

Баскарма с восхищением оглядел с иог до головы Бекбаула. Подумал: «Грудь — что ворота, шея как у быка, руки — кувалды... Таким, как ои, гору своротить ничего не стоит. А мы все не можем использовать по-настоящему их природиую силу».

В это время вперед вышел Таутаи.

— Оу, товарищ, чего стоим? Пошли в коитору. Поговорить иадо...

И сам первым иаправился к двери. Главбух допустил явиую иеучтивость. И все это сразу заметили. Разве можно в таких случаях опережать председателя? Кое-кто косо посмотрел вслед...

Сейтназар сел на свое место, достал из кармаиа кисет с махоркой, оторвал клочок газеты, свернул «козью иожку». Люди раздвигали стулья, рассаживались. И опять баскарма пристальио помотрел иа Бекбаула, прислоиившегося к стене. Среди собравшихся ои был самым рослым и здоровым. И виешиость вполне соответствовала могучему телу. Черные брови срослись иа переиосице, между ними легла глубокая прямая складка, отчего лицо приобретало мужествениое, суровое выражение. Большие, чуть сероватые глаза, крупиый иос с широкими иоздрями, малеиький, плотио сжатый рот очеиь шли к его ладной, крепкой фигуре. Одиако джигит был хмур, подавлеи. Небрит. Видно, потерял желание за собой следить. Очеиь ие повезло ему. Прошлым летом иеожидаиио умерла совсем еще молодая жеиа. Зря говорят казахи: «Баба умерла — все равно что рукоять камчи сломалась». Просто так, для утешеиия, для красного словца сказано. На самом же деле жалко смотреть на парня. Сына старика Альмухаиа баскарма, считай, каждый божий деиь видит. Таким подавлеииым, грустным ои иикогда не был. Конечио, здоровому джигиту без горячей женской ласки иикак нельзя. Нужно иметь в виду, пожалуй...

Так думал Сейтиазар. А он в душе считал себя зна-

током людей. Кроме того, был добр по натуре и искренне сочувствовал горю джигита.

Но сегодня Бекбаул интересовал его и по другой причине.

Попыхивая самокруткой, невольно подражая какому-то высокому начальству, баскарма походил взад-вперед вокруг стола. Потом бросил окурок к ногам, придавил каблуком.

— Ну, товарищи, дела вот какие...— Он устремил взгляд куда-то вдаль, подождал, чтобы все успокоились. И опять всем стало ясно: явно подражает кому-то председатель.— Нынешней весной, согласно постановлению партии и правительства, начинается строительство канала от Тюмен-арыка. Это будет грандиозное дело, невиданное и неслыханное в этом краю. Вода Сырдарьи придет к нам в степь и превратит пустыню в цветущий край. Вот так-то, товарищи! Сами знаете, с водой у нас беда. Будет вода — будет все. Правда, наш колхоз рис не сеет. У нас плодово-ягодное хозяйство. Овощи и фрукты, выращенные дехканами аула Байсун, славятся... ну, о Москве не будем говорить... даже на базарах далекой Алма-Аты. Верно говорю? А дыням, арбузам, яблоням, урюку вода нужна? Нужна, спору нет. Следовательно, по решению районного комитета партии, мы должны выделить на строительство канала сто человек...

Все разом загудели, заерзали. Значит, канал строить будут?.. Ну, что ж... Дело нужное. Колхозники оживились. Дехкане испокон веков знают цену воде. Однако послышались и голоса сомнения.

— Что за канал? Разве сил хватит?

— Сто джигитов на канал отправим, а колхоз как?

— Когда начало строительства? Зимой? Зимой какая стройка?

Сейтназар замахал обеими руками, призывая к тишине.

— Апырмай, ну чего расшумелись? Слова сказать не дадут, горлопаны! Никто сейчас вас не отправляет. Поняли? Придет весна, оттает земля, тогда и начнется строительство. К тому же мы силком никого не заставляем работать. Кто не желает, пусть остается возле своей бабы. Надеюсь, все ясно? На канал отправим только крепких да толковых джигитов. Болтунам там делать нечего...

— Тогда как? Записывать, что ли, будешь?

— Зачем записывать? Не в Сибирь же тебя отправляют.

— Тише, товарищ!.. Записывать, конечно, будем. Иначе как? Это нужно для учета, для порядка. Да и район список требует. А теперь скажу, зачем я вас собрал. Все вы — красные активисты. К тому же аллах вас силой не обидел. Таким только балки железные гнуть. Так вот, вы обязаны показать пример остальным рядовым труженикам, быть едиными, монолитными. Демонстрировать настоящую большевистскую сплоченность! Ясно? Ну, коли ясно, то кто хочет выступить?

— А чего выступать? Надо — поедем.

— Увиливать об общего дела не будем.

— Раз так, то, товарищ Таутан, бери ручку и бумагу. Записывай!— В глазах председателя вспыхнул веселый огонек.— Первым запиши Бекбаула. Альмуханов Бекбаул... Есть? Дальше... подряд пиши: Рысдаулет, Ибрай, Сарсенбай, Ахатбек, Абдильда... На любого из них взвали верблюда — и не крякнет. Вот так.

Сейтназар, довольный, грузно опустился на стул, расстегнул пуговицы темно-серого кителя, помахал широкой ладонью перед лицом. Большая печь у стены была жарко натоплена, но люди оставались в верхней одежде: вешалки в кабинете не было. Да и стульев было мало. Многие стояли.

— И еще одно дело.— Председатель, как бы спрашивая совета, повернулся к главному бухгалтеру и председателю аулсовета.— Надо выбрать мираба. Он должен нести ответственность за работу этих ста на строительстве канала. Такова установка.

— Ну, мираба выбрать мы и потом успеем,— начал было председатель аулсовета, но Таутан перебил его.

— Зачем же потом? Все члены правления в сборе. Давайте сегодня всё и решим.

Председатель аулсовета недовольно поморщился.

— Нет парторга. Может, повремени?

— Человек уехал сына сватать в Туркестан, а мы его будем ждать?! Ему там сватовские почести воздают, зачем ему здешние заботы?!

— К чему такие речи, товарищ Мангазин?!— повысил голос председатель аулсовета.— Ты что, хочешь запретить обычаи предков? Отменить сватовство?! Тогда дочь твоя останется без мужа, а сын — без бабы!

Довод этот Таутана не убедил. Он ядовито усмехнулся.

— Я против всего старого, отжившего!— сказал, будто гвоздь вколотил.— Где сватовство, там купля-продажа. Где купля-продажа, там калым!

— Что-о?!— Председатель аулсовета всем телом повернулся к главному бухгалтеру, даже плечом его задел.— По-твоему, выходит, мы горячие приверженцы калыма? Так, что ли?!

— Злись не злись, дорогой, а в наше время, когда мы разбили, так сказать, классового врага и объявили бой феодальным пережиткам, товарищу парторгу не пристало сватовством заниматься. Это я вам прямо говорю! Мы живем не в девятнадцатом веке. Сейчас, слава богу, тысяча девятьсот сороковой год... И с политической точки зрения... это...— пустился было Таутан в длинные рассуждения, но вдруг взорвался Сейтназар.

— Эй! Что это вы, как бабы на базаре сцепились?! Тут о деле собрались говорить, а вы?! Когда только перестанете грязь под ногтем выискивать?!

О вспыльчивости баскармы все знали, потому оба решили промолчать.

— Ну, так кого же мирабом выберем?— спросил председатель, хмуро поглядывая по сторонам. От недавнего благодушия и следа не осталось.

Воцарилась тишина. Вроде бы неловко всем стало от словесной перепалки двух почтенных людей. Сейтназар с досадой подумал: «И чего им не хватает? По всякому поводу грызутся. Этот Таутан все время воду мутит. Толковый бухгалтер вроде, а сквалыга».

Таутан указательным пальцем погладил обвислые усы. Потом недовольно покосился на председателя аулсовета.

— Я как раз об этом и собирался говорить, да вот тут начали... Словом, предлагаю избрать мирабом Бекбаула. Не думайте, что я хочу своего зятя возвысить, протолкнуть. Такого намерения у меня нет, товарищи. Просто считаю, что он наиболее подходящий человек. Отец его, старый Альмухан,— на всю округу Шаулимше известный дехканин. Сын тоже кое-чему у него научился. Знает толк в земле. И к тому же по происхождению из самого что ни на есть бедняцкого рода. В нынешних условиях это очень важно, товарищи.

Неужели начальство заранее договорилось? И Сейт-

назар, и председатель аулсовета согласно закнвалн. Бекбаул растерялся. Ему в жизнн ннкто не подчинялся, а эти хотят, чтобы он сотней джигнтов верховоднл. Хотят его начальннком сделать, а какой он, к черту, начальник? У него н образования-то настоящего нет. Таутан хоть семилетку окончил. А он что? Таутан рожден быть начальником. И стал бы нм, кончн хоть полкласса. Он и в политике собаку съел, н на костяшках щелкает — только треск стоит. Самого председателя аулсовета одернуть не побоялся. Тот ведь тоже не робкого десятка, а перед бухгалтером и пикнуть не посмел... Э, нет, не просто это — народом руководнть...

Согласия Бекбаула, однако, ннкто н не спрашнвал. Вндно, полагали, что с радостью согласится. Конечно, мнраб — это звучнт совсем неплохо. Почти как начальннк. А еслн не справншься, опозоришься перед всем аулом? Тогда как? Что он скажет тогда? «Ойбай, нзвините, не знал, не думал?» Нет уж, лучше заранее отказаться. Покой дороже всего. А на канал, если надо, поедет. Как все, так н он. Кетмень держать, слава богу, умеет. С любым потягаться может. Сын шаруа пусть так н останется простым шаруа.

Пока он так думал, аулчане началн расхвалнвать его на все лады.

— Э, что ж... Пусть будет Бекбаул.

— Другого мираба нам н не надо.

— Чем окрики чужого слышать, лучше со свонм дело нметь.

Сейтназар поднял руку.

— Нет другого предложения, товарищн?

Бекбаул, опустнв голову, вышел вперед.

— Мне сказать можно?

— Говорн!

— Выберем мирабом кого-нибудь другого...

— Это еще зачем?!— у Таутана округлнлнсь глаза.— Оу, ты что, от своего счастья отказываешься? Что за глупость?!

Бекбаул не понял. Озадаченно посмотрел на шурина.

— Какое... счастье?

— Вот недотепа, а! Неуч!— Главбух презрнтельно усмехнулся.— Да какого еще счастья тебе надо? Весной начинаетсяграндноз ное строительство, так сказать, всенародное дело. И тебе, дурья голова, поручается один из

его участков. Тебе люди доверие оказывают! И ты еще спрашиваешь, какое счастье?!

Бекбаул смущенно поскреб щеку. Со всех сторон послышались одобрительные возгласы.

— Выше голову, Беке!

— Не робей! Справишься.

— Ну, а когда канал построим, меня что, снимут? — неуверенно спросил наконец Бекбаул.

— Конечно! Кому ты такой растяпа нужен! — скривился Таутан. — Или ты думаешь, что незаменим? Или в колхозе, кроме тебя, человека нет? Просто тут решили, что, мол, сын дехканина, опытный кетменщик... Вот и доверили тебе такую честь. А он, понимаешь, еще выкобенивается!

— Ладно, нечего тут тары-бары разводить, — подвел итоги председатель. — Итак, Бекбаул выбирается мирабом. Приступай, Беке, к работе. Подбирай себе людей. Через три дня придешь ко мне и доложишь все, что сделал. Понял? А ты, Таутан, чем языком чесать, лучше подсчитай, сколько нужно средств на сто человек. Председателю аулсовета следует раздобыть десять юрт для строителей канала. Таковы указания районного комитета партии. Имейте в виду. Чтобы потом, когда потеплеет, не возились. На этом, товарищи, заседание колхозного правления объявляю закрытым.

III

Безлунная ночь. Дует легкий ветерок. Песок шуршит под ногами. Между кустами, напрямик, пробирается человек. Раза два он зацепился штаниной за колючки, укололся о чингиль. Шел, вобрав голову в плечи, воровато озираясь. Ух, наконец-то добрался. Он перевел дыхание, прислушался. Аул спал. Даже чуткие собаки-пустобрехи, и те умолкли. Человек, почти сливаясь с темнотой, остановился у председательского дома, надавил слегка коленом на большие крашеные ворота. Они, чуть скрипнув, отворились. Он облегченно улыбнулся: все предусмотрено. Огромный кобель на цепи приветливо помахал хвостом, принюхался. Ночной гость погладил, почесал за ухом пса, посмотрел на окошко, тускло освещенное лампой. Да, его ждали.

Сегодня Нурия подстерегла Бекбаула и шепнула ему,

что муж уехал в Слу-тюбе за семенами, она остается одна. Отказаться Бекбаул не посмел.

Нурия лет на пять старше его. Крупная, туготелая женщина с густыми, сросшимися бровями, чуть вздернутым носиком, черными, блестящими глазами. Ходит она обычно горделиво, покачивая бедрами. Пышные волосы ниспадают на плечи. Тяжелые груди выпирают под кофтой. Единственный ее ребенок много лет назад умер от кори. И с тех пор не давал ей аллах детей. Тосковала Нурия, тосковала сердцем и телом, пока не приглянулся ей рослый, крепкий джигит, изредка привозивший в дом председателя дрова, сено. Она не давала прохода джигиту, подстерегала в самых неожиданных местах, откровенно жадными глазами смотрела на него... Однако на людях держалась по-прежнему с достоинством, даже высокомерно. Казалось, не Сейтназар — председатель колхоза, а она, его гордая жена Нурия. Мужа она называла не иначе как «мой миленок», «мой робкий ягненок». Была к нему неизменно внимательна и учтива. Но стоило «робкому ягненку» куда-нибудь удалиться, как верная супруга начинала по всему аулу разыскивать Бекбаула...

Он подошел к двери и тут же услышал знакомые тяжелые шаги. Дверь распахнулась. Нурия в длинной, до пят, белой рубахе, отчего она казалась еще крупней, с распущенными волосами, кинулась к нему, обдав хмельным запахом здорового женского тела. Не давая опомниться, она обвила его шею полными, белыми руками, прижалась горячим телом и, увлекая за собой, захлопнула дверь.

...За окном петух прокричал полночь. Бекбаул вздрогнул, оглянулся. На круглом столе, покрытом красной бархатной скатертью, со слабым потрескиванием горела десятилинейная лампа. Он сел, свесив с кровати ноги, тыльной стороной ладони смахнул со лба пот. На душе было гадко. Проклятая баба! Супружеское ложе из-за нее опоганил. До сих пор встречались тайком, в безлюдной степи, в укромных закоулках, так мало ей этого...

А живут — дай бог каждому. Сразу видно — дом председателя. Что в других комнатах — неведомо. А здесь, в спальне, на двух стенах, играя узорами, красуются два огромных ворсистых ковра. Кровать роскошная, никелированная. Постель вся из разноцветного шелка и атласа. В глазах рябит. На окнах, двери висят

шторы. Тяжелые, бархатные, с кистями. Как тут при таком достатке не беситься бездетной здоровой бабе!

Он покосился на отражение ее лица в большом круглом зеркале. Нурия, томно улыбаясь, расчесывала редким черепаховым гребнем разлохматившиеся волосы. Он обхватил ее сзади и, повернув лицом к себе, спросил:

— Скажи: ты и в самом деле в меня... влюблена?

Нурия жеманно вскинула брови.

— А зачем тебе это понадобилось знать?

— Да так, просто.

— Э, нет, ты ответь... Или сомневаешься, а?

Таковы женщины. Им лучше ничего не говорить. Начнут докапываться — не отвяжешься. Бекбаул досадливо разжал руки. И только теперь заметил вокруг глаз и на лбу Нурии мелкие сетки морщин — словно трещинки на солончаковом такыре. Что ж... тридцать пять для женщины — срок немалый. С трудом подавляя вспыхнувшую вдруг в нем неприязнь, он грубо сказал:

— А потому спрашиваю, что жениться надумал. Пойдешь за меня?

Нурия почувствовала насмешку, но виду не подала. Плутовски повела глазами, рассмеялась.

— Очень нужно! За тебя пойду — с голоду подохну. Сам посуди: чем плоха моя жизнь?

Бекбаул круто повернулся.

— Как?! С-серьезно... не пошла бы?

— Что ты, ойбай! Дура я, что ли, чтобы выходить за босяка-кетменщика?!

— Так какого черта тогда со мной путаешься?!

Бекбаул насупил брови. Она встревожилась, начала ластиться к джигиту.

— Ну, ладно, милый. Шучу ведь. Сам знаешь: только один ты мне нужен...

— А Сейтназар?

— Господи, нашел о ком говорить! Да у него одна работа на уме. А домой придет — завалится спать и дрыхнет, хоть ты...

— Молчи! Терпеть не могу баб, которые мужей своих охаивают!

— Да я разве охаиваю? Всю жизнь только о нем и пекусь. От всех скрываю, что он... Понятно?

Ничего Бекбаулу не понятно. Ну чего он с Нурией связался? Каждый раз говорит себе: все, надо кончать. Но проходит три-четыре дня, и все повторяется снова.

Увидит полнеющее, но еще тугое, сильное тело Нурии, и шумит в голове, и в глазах туман, будто анаши накурился...

— Ну, я пошел,— буркнул джигит мрачно.

— Как это «пошел»? Заночевал бы.

— Не-е... Попадусь кому-нибудь на глаза и подорву авторитет твоему «кроткому ягненку»...

— Как знаешь... Когда теперь встретимся?

— Не знаю. В понедельник отправляюсь на канал. А там и повернуться некогда будет.

— Как это понять? Удираешь?

Бекбаул не ответил. Кряхтя, натянул сапоги, валявшиеся возле кровати, неслышно вышел.

Ветер усилился. Обычная игра капризной весенней погоды в этом краю. Резкий, пронизывающий ветер швырял песок в глаза, лез за ворот, и Бекбаул, зябко поеживаясь, думал о том, что если не потеплеет в ближайшие дни, земля не успеет оттаять, и тогда придется поневоле отложить начало строительства канала на апрель.

* * *

На другой день, еще до полудня, его вызвали к председателю. Он шел ленивой, развалистой походкой в контору, а в голове роились неспокойные мысли. Интересно, когда Сейтназар успел вернуться из Слу-тюбе? Еще ночью? Или только сейчас? Видно сам аллах его надоумил вовремя расстаться с Нурией. Впору испечь жертвенные лепешки в честь благосклонного всевышнего.

Чувство неловкости и тревоги не покидало его и тогда, когда он робко переступил порог конторы.

Сейтназар был не один. У стола сидел незнакомый рябой мужчина в высокой зеленой шляпе.

— Этот товарищ — корреспондент областной газеты,— представил его председатель.— Специально приехал, чтобы с тобой поговорить.

Корреспондент кивнул головой и поздоровался.

— Товарищ Альмуханов... Я приехал, чтобы поближе познакомиться с вами и собрать материалы о вашей супруге... трагически погибшей прошлым летом. Я очень прошу вас подробно рассказать мне о жизни и... смерти Зубайры.

Бекбаул нахмурился, потемнел лицом. Растревожил душу этот рябой.

— А зачем вам... это?— спросил глухо.

Корреспондент сочувствующе посмотрел на него.

— Мы хотели напечатать в газете очерк о вашей жене. Это очень нужно...

Пожалуй, не отвертишься. Но с чего начать? Бекбаул поерзал, озабоченно поскреб щеку.

— О чем же говорить?

— Обо всем... что в памяти осталось.

Бекбаул откашлялся, пожевал губами. Поневоле начнешь мямлить, когда кто-то каждое твое слово на бумагу записывает.

— Зубайра Альмуханова... как вышла замуж, так, понятно, на мою фамилию перешла... родилась в тысяча девятьсот пятнадцатом году в местности «Қырык-кепе», неподалеку отсюда, в семье бедного скотовода. В тридцать седьмом окончила медицинское училище в Кзыл-Орде и стала работать в ауле фельдшером. В том же году мы, как говорится, поженились. Потом родился у нас ребенок... А в прошлом году в Кзылкумах вспыхнула эта... ну, холера, и в самый зной отправили туда самолетом и Зубайру. И больше мы ее не видели.

Рябой почтительно помолчал, лишь раза два негромко кашлянул:

— И это... все?

Видно бессвязный лепет Бекбаула не удовлетворил корреспондента.

— Других подробностей не знаю. От райздрава пришло извещение. Дескать, Зубайра погибла при исполнении служебных обязанностей.

— Ну, что ж... ладно,— сказал рябой, убирая блокнот и ручку.— Я еще поговорю с людьми. А вам и на этом спасибо. Простите, что побеспокоил.

Корреспондент вышел, и только тогда Сейтназар откинулся на спинку стула, облегченно вздохнул:

— Уф-ф! Боюсь этих газетчиков. Я уж подумал было, что по мою душу приехал. Помнишь, в прошлом году фельетон в газете был. «Волчье логово» назывался. Так там от председателя нашего райпотребсоюза только клочья летели. Кончилось тем, что Қаскырбаеву дали по шее. А однажды...

В ауле поговаривали, что отец Сейтназара был ученым человеком — дамуллой. Отправился он как-то в далекую Мекку, чтобы поклониться священной обители пророка, да так и не вернулся. Остался малолетний

Сейтназар сиротой. Рос у родственников. В грамоте баскарма был не силен. Дальше начальной школы не пошел. Потому с подозрением относился к ученому люду. Вот и на рябого корреспондента обрушился.

Бекбаул кивал головой, однако плохо понимал, о чем рассказывал председатель. Что? Каскырбаева пропесочил? Правильно сделал! Пройдохам и ловкачам так и надо! Впрочем, Бекбаулу все равно. Теперь хотят про Зубайру написать? Пусть пишут. Пусть помянут добрым словом. Зубайра... единственная, желанная... Рано ты угасла. Двадцать четыре года всего лишь ступала по этой земле. Спасала людей от черной беды — холеры, а сама не убереглась... Когда узнал о ее смерти, ушел он в степь, подальше от людей, упал на горькую полынь и дал волю слезам. Они лились из его глаз, словно вода, прорвавшая запруду. Никогда не думал он, что у человека может быть столько слез...

Бекбаул хмуро покосился на председателя. А ведь и в самом деле нет, пожалуй, ничего привлекательного в нем для Нурии. Смотреть не на что! Волосы поредели, на темени — плешь. Нос — что птичий клюв, виски впалые, на щеках ни кровинки. Ему едва перевалило за сорок, а он уже грузный и рыхлый.

Что там говорить, не нравится председатель женщинам. Не раз Бекбаул слышал, как разбитные молодухи называли его за глаза «плешивым». Судя по этому, бабы вообще склонны судить о достоинствах мужчины по его внешности. А раз так, то и игривая Нурия — очень может быть — польстилась лишь на широкую грудь да на силу объятий молодого вдовца.

Председателя же в ауле уважают, говорят о нем как о человеке честном и справедливом. Так оно и есть. Пока что не приходилось слышать, чтобы Сейтназар кого-либо незаслуженно обидел. Правда года три назад над ним сгустились было тучи, но все обошлось благополучно... Вообще удача сопутствует ему. Но характер скверный. Вспыльчивый, суетливый. На работе, бывает, скандалы закатывает, как баба. Но отходчив.

Председатель в это время начал рассказывать о том, как он съездил в Слу-тюбе за семенной пшеницей, как тамошнее начальство заупрямилось, не желая отпускать семена, пока колхоз не перечислит деньги в банк, как ему, баскарме, поневоле пришлось позвонить секретарю обкома, чтобы наконец-то все уладить.

Бекбаулу стало неловко сидеть, будто набрав воды в рот, поэтому он сказал:

— А почему мы сами с осени не запасаемся семенами? Как весна — так попрошайничаем.

— Ты прав,— согласился баскарма.— О семенах нужно нам самим позаботиться. Сам знаешь: основное наше хозяйство — фрукты и овощи. Пшеницы сеем мало, и весь урожай раздаем на трудодни. Иначе не угодишь колхознику. Вот когда построим канал да проведем сюда воду, вот тогда и вспашем целину возле Ащы-кудука и засеем пшеницей. Эх, скорее бы...

— Когда же думают рыть канал? Земля-то еще мерзлая.

— Срок остается прежний. Начальником строительства назначен инженер Шушанян. Комиссаром — некий Ерназаров. Говорят, до первого мая пророют канал от Тюмен-арыка до Чиили. Потом строителей распустят по аулам, а после уборки вновь примутся за работу. Одним словом, канал намереваются построить еще нынче.

— И докуда дойдет вода?

— До песков Байгекума и даже дальше.

— О! Работенка предстоит нешуточная.

— Не говори! Вот где испытаем силу и упорство джигитов! А, Беке?— Председатель радостно потер ладони, повел плечами, даже губы облизнул.— На вас вся надежда. С завтрашнего дня можете отправляться. Юрты поставлены. Председатель аулсовета сегодня туда выехал. Вот так-то... Разыщи подводу, запасись харчами и тоже собирайся в путь.

— А где я ее возьму, Саке, подводу-то?

— А ты заранее не плачь, дорогой! Можешь взять любую подводу в колхозе. Если ничего не найдешь, то попроси хромого Карла. И вообще, сам выкручивайся. Под твоей властью сотня людей. Учись приказывать и требовать. Да-да!

Решив, что с делами покончено, Сейтназар пытливо оглядел Бекбаула с головы до ног.

— А потом, милок, я думаю, хватит тебе во вдовцах ходить...— В голосе председателя появились заботливые нотки.— Конечно, Зубайра хорошая была женщина. Однако сам понимать должен: кто умер — тот умер, а живой обязан жить. Без женщины и дом — не дом, и джигит — не джигит. Стоит мне два дня не видеть своей женки, как я уже места себе не нахожу...— Сейтназар

сощурил глаза и расплылся в улыбке.— Ты вообще как... по женской части? Хоть иногда утеху себе находишь?

Бекбаул насупился. Странный разговор завел баскарма. Вроде бы нет оснований для таких бесед. Да и годами председатель старше. Может, на что-то намекает? Может, пронюхал что-то? Или считает, что с мирабом баскарма может говорить о чем угодно? Не приходилось Бекбаулу до сих пор иметь дело с начальством. И не знает, как вести себя. Он почему-то и не полагал, что начальство могут интересовать сугубо житейские дела. Думал, что и на тоях, и за чаем оно ведет лишь степенные разговоры о политике или о хозяйстве на худой конец. А тут вдруг про любовные утехи спрашивает... Хм-м... Нет уж, лучше промолчать. Разве поймешь, что начальству на ум взбрело? Не мудрено и опростоволоситься...

— Ладно, ладно, не смущайся. Я к тому веду речь, что есть у меня одна молодка на примете,— уже деловым тоном заговорил Сейтназар.— И знаешь кто? Сестрица моей Нурии. Свояченица, стало быть. Недавно от мужа ушла. Пышная бабенка! В самом соку! Ты бы ее... так сказать...

Бекбаул неожиданно вскочил. Лицо его исказилось от гнева.

— Саке, извините! Прекратим этот р-разговор!!

И выскочил, хлопнув дверью.

Сейтназар опешил.

IV

Уже половина марта была позади, а весна запаздывала. Настойчиво дул с севера пронизывающий ветер, пробирал до костей, леденил душу. Легче было переносить зимнюю стужу. Недаром старики твердят об опасности весенних холодов. Коварна ранняя весна. Всякие напасти подстерегают и людей, и скотину. Отощавший за зиму скот весной особенно нуждается в кормах и тепле. Иначе неминуем падеж. В колхозах начинается суматоха. Надо успеть до начала весеннего расплода отары овец перегнать на горные пастбища. И хорошо, если там вдоволь подножного корма. Ведь совсем непросто доставлять сено за сто километров от зимовий.

Нудный, пронизывающий ветер зло трепал прошлогоднюю траву, срывал пушистые камышовые метелки, голодно рыскал по оврагам. Черна, неприглядна еще

степь. Кое-где виднеются солончаковые проплешины. Те же унылые, скудные краски, что и осенью. Однако опытному глазу заметно, что джида, джингил, колючий кустарник медленно наливаются соком, хотя и не распустили еще почки. Самая пора весенней распутицы. Если хлынет ливень, то не проедешь, не пройдешь. Все превратится в сплошное месиво.

Погрузив на телегу хромого Карла шесть мешков муки, три бараньи туши, Бекбаул спозаранку отправился в путь. Хваленый «казанской крови иноходец», как называет своего гладкошерстного мерина словоохотливый Карл Карлович, шел такой занудливой трусцой, что невольно навевал сон. Может, слишком тяжела поклажа... Возница, держа вожжи, удобно разлегся на мешках. Бекбаул уговаривал слезть, дать немного передышки «казанской крови иноходцу», но старик только отмахивался.

— Э, ты о моем иноходце не беспокойся. И не смейся. Чем плестись по обочине, лучше взбирайся на телегу.

Не спешит мерин. И хозяин камчой его не подстегивает.

— Оу, Карл-тамыр, если мы до обеда не доберемся до Тюмен-арыка, Сейтназар нас живьем съест.

— Не волнуйся. Кто не спешит, тот и на телеге зайца догонит.

Бекбаулу стоило немалых трудов уговорить Карла Карловича возить аулчанам продукты. О трудоднях, обещанных баскармой, тот и слушать не захотел. «Зачем мне ваши трудодни, за которые еще не известно, что я получу осенью?! Я человек бедный. Простой извозчик. Мне тоже нужно семью кормить». Пришлось колхозу уступить: обещали платить деньгами. Колхоз не имел ни машин, ни тракторов. Телеги да сани, запряженные лошадьми и быками,— вот основной транспорт. Но и его вечно не хватает. Поневоле приходится упрашивать, умолять единоличников. А они, естественно, торгуются, цену себе набивают. Добрейший Карл Карлович тут не составил исключения.

Давно живет среди казахов неутомимый и неугомонный Карл Карлович. Говорили, что он родом с Волги. Видно, не сладко ему жилось в родной деревне. Испытал сполна и лишения, и нужду. Провоевал всю гражданскую, гонялся по степи за басмачами да осел потом в этих краях. Одно время работал на железнодорожной

станции, простуднлся, стали донимать старые раны и пришлось расстаться с одной ногой. После этого с оравой детей переехал в колхоз Байсун. Старшне сыновья теперь работают в колхозной кузнице. Казахским языком в совершенстве владеет вся семья. Незнакомым людям Карл Карловнч н его детн в шутку говорят, что они суиаки. Есть у южных казахов такой род — сунакн. Среди суиаков часто встречаются длнnноносые, узколнцые, рыжеватые, сероглазые. Так что Карл Карловнч вполне сойдет за сунака. Сейчас ему под семьдесят. Получает пеисию. Нн усов, нн бороды не носнт. Обыкновенный, средиего роста худощавый немец. Одет в казахскнй чапаи, перевязаиный в поясе конопляной бечевкой. На голове носит круглую татарскую шапчонку, отороченную мерлушкой. На ногах — старые сапоги с загнутымн кверху иосками. По одежде его от местных жнтелей не отлнчишь. И потому многне прнннмают Карла Карловнча за старнка-казаха.

Самое любопытное: он знает казахские обычаи, обряды, традиции лучше ниых казахов. Говорят, что прн случае он н длнnные суры нз Корана наизусть чнтает. Часто Карл Карловнч бывает на железнодорожной станцнн н потому всегда в курсе внутренней н внешией полнтики. Вот и сейчас всю дорогу долдоннт об отношеннях между СССР и Германией. Бекбаулу не терпнтся скорее доехать до Тюмен-арыка, а старнк все про Германию распииается.

— Ойбай-ау, ты поннмаешь,— говорит он, вытягнвая тощую шею,— это же совсем не просто! Сволочн-фашисты почти всю Европу захватнлн. У самой нашей граннцы стоят.

Бекбаула это мало тревожнт:

— Эй, старнк, оставь-ка лучше Европу в покое н подхлестин своего скакуна. А то не доберемся сегодня до каиала.

— Чтобы канал рыть, международное положение тоже знать надо, товарищ мираб.

— Да провалнсь онн, этн фашнсты!.. Мне нужно жратву скорее доставить, понял?

Старнк цокает языком, качает головой.

— Кто такого невежду на канал посылает, хотел бы я знать?! Там нужны передовые, ндейно под...

Бекбаул ие дает ему кончнть и начинает злить старнка.

— Ты что мне Германией голову морочишь?! Ты ведь немец, небось, сочувствуешь ей, а?!

— Тьфу, обалдуй!..

Карл Карлович смеряет его гневным взглядом и отворачивается...

Говорят, во время гражданской войны он сражался в отряде красных партизан. За храбрость, проявленную в бою возле станции Саксаульская, недалеко от Аральского моря, командование наградило его саблей с серебряным эфесом. Правда, сам Бекбаул эту саблю не видел, но хорошо помнит, как о том рассказывал однажды на собрании колхозный парторг...

Солнце поднялось на высоту копья, а они даже не проехали мимо Сунак-аты. По правую руку тянется железная дорога, по обе стороны которой монотонно гудят телеграфные столбы. Безустанно подвывает на разные лады ветер. Вокруг, сколько ни гляди, ни одной живой души. Разве что невзначай пролетит заблудившаяся ворона...

Должно быть, надоело старику рассказывать. Или собеседник наскучил? Молчит, покачивается на телеге. Больше всего досаждает ветер. Бекбаул отворачивался, прятал лицо, но напрасно. Стеганка грела неплохо, но одежда без воротника — плохая защита от настойчивого весеннего ветра, который облизывает своим шершавым, ледяным языком голую шею, лицо, не дает открыть глаза. И шапка старая, облезлая. Давно выбросить пора. Сколько Бекбаул себя помнит, хорошей одежды у них в семье не бывало. Заработок рядового колхозника уходит на повседневное житье-бытье. Мечтали они с Зубайрой быт свой наладить, приодеться, для дома кое-что прикупить. Вдвоем веселее бы пошла жизнь. Да не судьба была. Осталась навеки Зубайра в песках Кызылкумах... А он привык к такой неприметной, непритязательной жизни. И никогда не мечтал о богатстве, о житейских благах. Даже плохо представлял себе, что это такое. Но сознавал: плохо, когда слишком отстаешь от своего кочевья. Стыдно ходить в длинном стариковском чапане. Пальто бы сносное купить или достать бы черную шинель с блестящими медными пуговицами, как у шурина. Такие шинели продают какие-то ловкачи на железнодорожной станции. А на что купишь?.. Нынче на трудодни надо приобрести какую-нибудь обновку. А то стыд и

срам! Как-никак мираб ведь... Это, наверное, ничуть не меньше, чем бригадир... А он в лохмотьях.

Апырмай, какой назойливый ветер! Строительство, по словам начальника, начнется завтра. Не очень-то весело будет работать на таком ветру.

Ну и иноходец у Карла Карловича! Не конь — ишак заезженный. Еле ноги переставляет, чтоб ему сдохнуть!

Воет, свищет ветер. И, словно жалуясь на него, скрипят несмазанные колеса телеги.

* * *

В конце марта тысяча девятьсот сорокового года на строительство Чиилийского канала, одной из крупнейших строек того времени в присырдарьинской низменности, со всех районов области собралось около шестнадцати тысяч человек. Возле Тюмен-арыка, вдоль реки, поставили от разных колхозов сотни юрт, и началось великое торжество. Резали скот, готовили плов. К началу строительства понаехало много почетных гостей из столицы республики и областей. Говорилось немало громких и красивых речей. Особенно многолюдно было возле Красной юрты. Певцы и музыканты, разгоряченные и возбужденные горластой толпой, пели и играли, не жалея глоток и струн домбры.

Потом начальник строительства Шушанян собрал всех мирабов и обошел площадку, откуда должен был начаться канал. В казахскую степь товарищ Шушанян приехал впервые. Историю этого края знал плохо, и потому был особенно удивлен, когда узнал, что названия местностей Тюмен-арык, Бес-арык встречаются в книгах мусульманских ученых XV—XVI веков. Еще в глубокой древности в этих местах была достаточно высокая культура земледелия. Здесь цвели фруктовые сады. Дехкане занимались бахчеводством. Биологи тщательно изучили в низменностях нынешних Жана-Кургана, Шаулимше, Чиили почву и убедились в насыщенности ее азотными солями. Это позволило им сделать вывод, что лет семьсот-восемьсот тому назад здесь простирались громадные рисовые плантации. А теперь сколько земли пустует! Земля измучена жаждой. Если ее напоить, все закрома можно было б набить зерном.

Среди мирабов, сопровождавших Шушаняна, находился и Бекбаул. Про себя он твердо решил не вмеши-

ваться в разговор, а только слушать. Все мирабы, кроме него, были опытные, самоуверенные, пожилые мужчины. Они смело спорили с дипломированным инженером-мелиоратором товарищем Шушаняном. Более того, почти внимания не обращали на начальника строительства и так горячо настаивали на своем, что то и дело вступали в словесную перепалку.

— Эй, ты, конрат, собрал бы овечий кизяк. Что ты понимаешь в этом деле?!

— А ты что понимаешь, пустобай кипчак?! Сидел бы дома, коран свой читал да четки перебирал...

— Братцы, оставьте родовую тяжбу. Не время... Конрат, кипчак — какая разница?— успокаивал третий распалившихся знатоков.— Подумаем лучше: поднимется сюда вода или нет? А может повернем немного в сторону?..

Кипчак упорствовал.

— Нечего сворачивать! Правильно все размечено. Уровень воды в реке, самое меньшее, на два аршина выше.

Конрат не соглашался.

— Если сюда поднимется вода, я отрежу себе нос. Здесь уже пытались просо сеять, и ни черта не получилось. На корню все сгорело.

— Эх ты, растяпа-конрат! В том году река обмелела.

— А ты, кипчак, откуда знаешь, что она опять не обмелеет?! Взял бы лучше свои четки...

Кипчак бледнеет, когда ему о четках напоминают. Нет для дехканина большего унижения. В самом деле, какая может быть разница между дехканином из рода Кипчак и Конрат. И те и другие предприимчивы и трудолюбивы. И те и другие знают, что говорят и делают.

Нет, в такой компании лучше молчать. А то еще опозоришься. Шушанян заметил молчавшего Бекбаула, раза два спросил:

— А вы что скажете, молодой человек?

— Аксакалам виднее,— отвечал каждый раз Бекбаул.

Почтительность младшего перед старшим испокон веков ценится казахами. Мирабы одобрительно поглядывали на Бекбаула. Вежливость и скромность сослужили ему потом добрую услугу. Бекбаул это после понял.

Руководители строительства накануне долго обсуждали вопрос о том, джигитам какого аула следует дове-

рить иачать устье каиала, да так ни о чем и не договорились. Тогда постаиовили: пусть это решат сами мирабы. Шушанян и Ериазаров справедливо считали этот вопрос ие простым. Шестнадцать тысяч человек, собравшиеся иа строительство, были в осиовиом из родов Конрат и Кипчак. Родовые пережитки все еще существовали, хотя об этом позориом явлеиии писали и местные газеты, и часто говорили лекторы. Разумеется, иикаких стычек, иеурядиц иа этой почве ие происходило. Новое время, новый быт уже достаточио измеиили созиаиие людей. Одиако любители подшутить, посмеяться, позубоскалить иад «чужеродиыми» ие перевелись. Скользкие шутки, ие совсем безобидные иамеки, задевающие родовую честь, иет-иет да срывались с иасмешливых уст. Особеиио заметио это стаиовилось иа больших сборищах. Тут каждый стремился верховодить, каждый особеиио ревиостио оберегал миимую честь своего рода. Руководитель, крупиый специалист, работающий среди казахов, должеи был учитывать подобиые обычаи и иравы — осколки иедавиего прошлого. Старый большевик, позиавший и ссылки, и тюрьмы русского царизма,— Шушаияи это хорошо понимал.

Уточнив иаправление будущего каиала, мирабы вериулись в штаб. На открытие строительства съехались и председатели колхозов. Поближе к Шушаияну пристроился Сейтиазар. Штаб расположился в простoриой шестистворчатой юрте. Таких штабов на каиале было пять. Главиый иаходился в Чиили. Им руководил сам Шушаияи.

Первым заговорил комиссар Ериазаров. Ои сказал, что кто-то должен начать строительство, и поручить это можио любому джигиту из любого аула, ибо в коиечиом счете ие так уж важио, кто первым ударит кетмеием. Одиако говорил ои вяло, опустив голову. Видно, в душе созиавал, что слова его ие убедительиы и собравшимся здесь мирабам ие понравятся.

Едва Ериазаров закоичил речь, как с камчой в руке вскочил чериобородый из рода Коират. Все иасторожились, затаили дыхание. Одиако чериобородый оказался умиицей.

— Братья,— твердо сказал ои,— всех иас привела сюда забота о благе. Речь идет не о каком-иибудь дележе между аулами или родами, а о деле всеобщем, можио сказать, всеиародиом. Поэтому почетное право на-

чать строительство мы предоставляем джигитам из аула Байсун... Думаю, как верно тут сказал сын Ерназара, от этого никто не обеднеет. Не хана ведь выбираем...

Видно, чернобородый был в своем роду почтенным человеком: никто ему возражать не стал. Сейтназар от радости чуть приподнялся и гордо выпятил грудь. Крутой затылок налился краской. Начальство переглянулось: кто мог полагать, что все так просто решится? В юрте облегченно вздохнули, сразу поднялся одобрительный гул, некоторые потянулись к выходу. И тут опять поднялся чернобородый.

— Братья,— зычно начал чернобородый,— большое дело затеваем. Всенародное. Это верно. Но верно и то, что у каждого из нас есть малые дети. (Бекбаул вспомнил слова хромого Карла. Он сказал то же самое, когда у него просили повозку). И хотелось бы уяснить, что мы будем иметь за наш труд, за наш пот, за наши старания. А то разное говорят. Одни говорят, трудодни запишут, другие — будто товар дадут. Давайте с самого начала точно договоримся. Чтобы потом обид не было...

Чернобородому ответил Шушанян.

— Товарищи, в этом вопросе никаких тайн у нас нет. Председатели колхозов были информированы заранее. Средств, выделенных на строительство канала, не хватает, чтобы оплатить труд каждого. Оплату произведут колхозы по трудодням. Я думаю, обид тут не должно быть. Современное международное положение вам известно... На развитие индустрии, сами понимаете, требуются громадные средства. Вот так...

Заметив, что Шушанян как-то приуныл после этих слов и нахмурился, Бекбаул посмотрел на него с сочувствием и решил его каким-то образом поддержать, приободрить. Он робко кашлянул. В конце концов неудобно все время молчать. Он такой же мираб, как и все. А тут еще мысль мелькнула, что неплохо бы понравиться товарищу Шушаняну...

Сейтназар чувствовал себя сегодня на седьмом небе, весь сиял, а поняв, что его мираб намерен еще и выступить перед всем честным народом, радостно кивнул, дескать, давай валяй, не робей.

Бекбаул решительно вскинул голову, повернулся в сторону начальства:

— Шушеке!

В юрте грохнули. Бекбаул ничего не понял, растерян-

но оглянулся. Что он такое сказал? Чего тут все со смеху помирают? Дернул его черт за язык! Сидел бы да помалкивал. Ишь, заржали. Даже рта раскрыть не успел. И Сейтназар смущенно пригнулся, почесал плешивую голову.

Недоуменно поглядывал на хохотавших и товарищ Шушанян. В казахском языке он был не силен и не понимал, что всех рассмешило неуклюжее словечко «Шушеке»— производное от его фамилии, с которым обратился к нему молодой мираб. Начальник строительства вопросительно посмотрел на Ерназарова. Тот весь трясся от хохота и вытирал слезы.

— Ох... ох, ну и... ляпнул!..

— Кто?

— Да вон тот... Мираб колхоза Байсун... Хи-хи...

— Что же он сказал?

— Он назвал вас Шушеке...

— Ну и что?

Только теперь Бекбаул догадался, что случилось. Он побледнел и сел. Ерназаров, успокоившись, начал объяснять Шушаняну, каким образом он стал «Шушеке». Шушанян, однако, не рассмеялся.

— Ничего смешного, по-моему, не произошло. Человек не знал моего имени-отчества и назвал меня Шушеке. Что ж такого?! А зовут меня Ефим Аронович Шушанян.

Посмеялись в юрте от души. Начальник строительства повернулся к смущенному мирабу.

— Что вы хотели сказать, молодой человек?

У Бекбаула будто язык отнялся.

— Ну, ты что?!— подстегнул его Сейтназар.— Онемел, что ли?!

Бекбаул, не поднимая головы, невнятно пробубнил:

— Я... я... хотел сказать... можно ведь и без этой... ну, оплаты работать... Так сказать, для... народа.

— Что он говорит?— спросил Шушанян у Ерназарова.

Комиссар строительства складно перевел на русский язык бессвязную речь Бекбаула. Шушанян выслушал серьезно, снял очки. Все заметили, что у него усталое, глубокими морщинами изрезанное лицо.

— Нет, дорогой, о бесплатной работе не может быть и речи. Однако и золотые горы не сулим. По возмож-

ности честный труд ваш будет оплачен. И оценен. Вот так-то, друзья...

Простодушие и наивность мираба из колхоза Байсун почему-то понравились товарищу Шушаняну.

V

Вот так, нежданно-негаданно, прилетела к Бекбаулу ослепительная птица счастья. Яркая жар-птица, воспетая в песнях и легендах. Незаметный, неприметный сын старого кетменщика Альмухана, чью молодость сгубили баи и манапы, вырос вдруг в глазах людей и стал мирабом целого колхоза. Не было в их роду человека, заслужившего такую честь. Во всяком случае, никто из самых древних стариков всей округи такого не припомнит. Весь род их был такой: робкие, скромные трудяги, надеявшиеся на силу своих рук. И только. К почтенному Алеке никто никогда не приходил за советом, и если его уважали, так за то, что он был славный дехканин, честно отработавший свой век. Жил он тихо, мирно. Мелкие людские страсти его не касались. Сейчас он аксакал, однако по-прежнему никому не досаждает старческими наставлениями. По складу характера Бекбаул весь пошел в отца. Просто жил, работал, послушно исполнял все, что ему приказывали. Так было до тридцати лет. А теперь... теперь он мираб, и в его подчинении сто человек. С ним теперь считается не только баскарма Сейтназар, но и начальник всех начальников (так думал Бекбаул), человек, познавший все науки, сам товарищ Шушанян.

Разве не счастье это?.. Некоторые его ровесники, дружки-приятели нынче обращаются к нему уважительно, как к старшему, называют Беке. Чем Бекбаул лучше их? Умнее, что ли? Образованнее? Ничуть. Сильнее — это да! Силой его бог не обидел, не обделил. В схватке любого на лопатки положит. С детства много боролся, все приемы, известные в аулах, назубок знает. Ну и что из этого? Там, где нужна сила и выносливость, любой из аульных джигитов лицом в грязь не ударит. А вот получается, что среди них он, Бекбаул, все же выше. Он теперь мираб.

Разве не счастье это?.. Основу будущего канала заложили они, джигиты аула Байсун. А как работали?! Земля была мерзлая, свирепо дул ветер, а они упорно

вгрызались кетменями в твердь. Хорошо еще, что мерзлый грунт был неглубок. Пол-аршина, и начиналась рыхлая супесь. Бесчисленные кетмени только мелькали в воздухе, сверкали на солнце. Кипела невиданная в этих краях работа. На стройку понаехало из разных колхозов немало девушек и молодух. Они отгребали и разравнивали вынутый грунт.

Где молодежь, там всегда шумно и весело. В перерывах холостые джигиты заигрывали с молодками, а те не особенно возражали против их ухаживаний. Игриво похохатывали, строили глазки, сами задевали красивых джигитов.

Техники, можно сказать, не было никакой. Лишь пять-шесть приземистых неуклюжих грейдеров кое-где разровняли кочки, холмики, сгребли глину. Других машин и в помине не было.

Джигиты Бекбаула отличились с первого же дня. Выносливые, закаленные Рысдавлет, Ибрай, Сарсенбай, Ахатбек вынимали в день по двадцать пять-двадцать восемь кубометров грунта, значительно перевыполняя намеченные нормы. Всех обогнал однако Рысдавлет. Вначале кое-кто пытался с ним потягаться, но когда Рысдавлет довел свой рекорд до сорока кубометров, соперники окончательно отстали. Лишь самолюбивые кетменщики из Казалинска и Кармакчи яростно старались его догнать, однако через пять дней и они сдались. Прославился колхоз Байсун. О его кетменщиках писали газеты. Их снимали в кино. В газетах, больших и малых, то и дело мелькал портрет мираба Бекбаула с кетменем в руке.

Мираб не бездельничал, хоть и ходил в начальниках. В свободное время сбрасывал рубаху и хватался за кетмень. Много хлопот было с джигитом по имени Байбол, по прозвищу Балабол. Низкорослый, тщедушный, он еле справлялся со своей работой. До поздней ночи зачастую один копошился на дне канала. Поневоле приходилось ему помогать, чтобы не попасть на язык насмешливых ровесников. Однажды Бекбаул сказал ему полушутя, полувсерьез: «И кто тебя только на канал пустил? Пас бы своих телят и не путался под ногами. Горе нам с тобой». Но Байбол был самолюбив, упрям и остер на язык. Бывало, жалил как оса. Дерзкий, вздорный, он мог довести кого угодно до белого каления.

Через день наезжал Сейтназар. Каждый раз хлопал

своего мираба по плечу, похваливал. Любил баскарма таким образом подбадривать своих подчиненных.

Однажды, чтобы помыться и переменить одежду, Бекбаул съездил в аул. Родители были на седьмом небе. Они ходили по аулу и хвастались сыном, на которого вдруг обрушилось такое счастье. Газеты с портретами сына мать приклеила тестом к стенке и любовалась ими десять раз на дню.

* * *

В середине апреля Чиилийский канал протянулся до перевала Ак-тюбе. Этот перевал был самым серьезным препятствием на пути будущего канала. Обойти его потребовалось бы много труда и времени. Между тем к маю надо было во что бы то ни стало дотянуть канал до Чиили. Начиналась весенняя полевая работа, и без шестнадцати тысяч отборных джигитов колхозы, конечно, обойтись не могли. Единственный выход — форсировать строительство. По предложению Шушаняна, каждый колхоз выделил по десять передовых кетменщиков, которых обязали в кратчайший срок пробить перевал. Десятку из колхоза Байсун возглавлял Рысдавлет. Вот тут-то совершенно неожиданно взбунтовался Байбол. Во время ужина, когда джигиты принялись за перловую кашу, Байбол исподлобья обвел взглядом всех сидящих в юрте и сказал высоким, срывающимся голосом:

— У, буган толстокожие! Обрадовались, что на перевал их посылают! А почему меня с собой не берете, а?! Что я вам — игрушка? Или виноват, что ростом не вышел?! Зато у меня голова! Понимаете вы, бестолочь! Кто вами, пустоголовыми, руководить будет, а?!

Бекбаул сидел рядом с Рысдавлетом и мешал большой деревянной ложкой густо дымившуюся жирную кашу. Должно быть, проголодался, нетерпеливо сглатывал слюнки. Над кашей роем кружилась мошкара. Мираб только усмехнулся, не поднимая головы.

— Руководителей, я думаю, и без вас, Баеке, достаточно. Нам бы работяг побольше, таких, кто вкалывать умеет.

Рысдавлет поддел самолюбивого Байбола.

— Ты что, считаешь нашего Байбола совсем уж никудышним, а?

Слова эти хлестко ударили разъяренного джигита.

— Эй, придурки! Оставьте свои насмешки при себе! Вы что, пуп земли? Смотрите, надорветесь!.. Хватит вам скалить зубы, товарищ Альмухаиов! Включите и меня в список.

— А если ие включим?

— Не имеете права! Я вам ие какой-нибудь шалтай-болтай, а равноправный советский граждаиин. Понятно?!

— И все же тебя не возьмем, дружок.

— По... почему?!

— Потому что кетмень держать не умеешь.

— Тогда, товарищ Альмухаиов, придется с вами в другом месте поговорить!

— Не пугай! Жалуйся куда и кому хочешь!

— Ах, вон как!— Байбол вскочил.— Ну подожди!

Он выбежал из юрты, так и не дотронувшись до еды. Джигиты расхохотались. Но не успели они поужииать, как в открытой двери юрты показался Шушанян в сопровождении пяти-шести человек.

Начальник строительства был в белом заскорузлом плаще, высоких хромовых сапогах с подвернутыми гармошкой голенищами, белой фуражке с длиииым козырьком. Одежда была в пыли, от нее и маленькая, козлиная бородка казалась рыжеватой. Джигиты разом повскакивали с мест, но Ефим Аронович предупредительно поднял руки и быстро оглядел жилище, отведениое на тридцать человек. Старая была юрта: кошма сопрела, местами продырявилась; шерстяные, некогда яркие завязки выцвели, поблекли; решетка поиизу кое-где сгнила, полопалась. Конечно, в аулах имеются юрты покрасивее: высокие, просторные, с белой кошмой. Но кто даст их строителям, которые ныиче здесь, а завтра там... Хорошо, что хоть такие раздобыли. Шушанян и так-то ие переставал удивляться щедрости местных жителей. Миогие сами привозили на канал свои юрты, в которых спасались летом от жары. Если бы не эти, веками испытанные казахские юрты, где и каким образом разместили бы несколько тысяч кетменщиков? Вдоль стенок была расстелена прошлогодняя солома, на которой спали строители. Некоторые привезли с собой постель, но, видно, тесновато было иочью в юрте.

— Приятного аппетита, товарищи!— сказал Шушанян.— Извините, что не вовремя пришли. Ехал из города, решил заглянуть. Ну, как живется?

— Слава аллаху, неплохо...
— Живем — кашу жуем...
— Хм-м. Кашу? Ну и какова каша?
— Каша как каша... Вообще-то...
— Что, не вкусна?
— Да нет... Только жидковата малость...

Заметив, что джигиты чего-то не договаривают, Шушанян повернулся к Бекбаулу. Тот, словно ничего не замечая, усердно работал ложкой.

— Что же ты, мираб, о каше скажешь?

Бекбаул хотел промолчать. Ему не нравилось, что такой незначительный разговор возник в присутствии начальства. Но деваться теперь было некуда, и он, растерянно облизывая ложку, пробормотал:

— На кашу жаловаться грешно, а что похлебка жидковата — верно.

То, что Байбол оказался рядом с Шушаняном, сразу же насторожило Бекбаула. Этот баламут, конечно же, все дело испортит. Назло мирабу. Разве упустит он такую возможность? В предчувствии недоброго Бекбаул швырнул ложку в пустую деревянную чашку и незаметно подмигнул Байболу, дескать, промолчи. Тот ехидно ухмылялся, словно напаскудивший кот. Почуяв, что мираб в замешательстве, Байбол ухватился за заскорузлый плащ Шушаняна.

— Товарищ начальник, а, товарищ начальник...

Шушанян с удивлением посмотрел на низкорослого джигита. Тот только что жаловался ему, что обижают — не включили в список передовых кетменщиков, которым поручено продолбить перевал Ак-тюбе, в то время, когда он, Байбол, не только передовой кетменщик, но и энтузиаст.

— Товарищ начальник, мираб говорит неправду. Врет он! Уж неделю мы ничего вкусного не едим. Одной кашей брюхо набиваем. О рабочих совсем-совсем не заботится наш мираб. Вместо этого шорт знайт...

Бекбаул не выдержал.

— Молчи, ты, пустомеля! Позавчера только две овцы зарезали. Или забыл?

— Какие там овцы! Дохлятина. Одни жилы да кости. Даже стыдно говорить. «Овцы...»

— Э, откуда для тебя найдем весной ярку с жирным курдюком?!

— Захотел бы — нашел. А то не хочешь! Думаешь

одной кашей нам рты позатыкать. А от нее только брюхо пучит. И днем, и ночью... тырк-тырк... шорт знайит...

Ерназаров засмеялся, похлопал смутьяна по плечу. Байбол озадаченно посмотрел на комиссара стройки. Чего смеется? Он и не заметил, как, начав серьезно, испортил свою речь недостойным «тырк-тырк...»

— Что ж, друзья... Вопрос о питании очень серьезный. Об этом следует думать постоянно. Пища должна быть вкусная и калорийная,— сказал Шушанян, обращаясь к мирабу.— А вот этого товарища... как зовут? Байбол? Включите его в список... одиннадцатым. Ничего, по мере сил поработает. Нельзя же, в самом-то деле, гасить энтузиазм людей.

Начальство вышло, а Байбол с победоносным видом прошел на почетное место, важно уселся, поджав кривые ноги, и приказал:

— Эй, где моя каша? Подать сюда!

Прорыть перевал оказалось делом нелегким. Под холмом, заросшим терискеном и саксаулом, шел глубокий пласт рыхлой супеси. Надо было каким-то образом закрепить песок, чтобы он не засыпал вновь прорытую траншею. Но как укрепить берега? Одни мирабы предлагали вбить тесным рядком колья, поставить по обе стороны камышовый плетень. Другие же решительно возражали против такого способа, считая его устаревшим. Так можно укрепить берега арыков между аулами, небольших запруд, и то лишь временно. А в канале напор воды большой, он непременно снесет камышовые плетни, вода размоет берега, и песок неминуемо забьет канал. Волей-неволей придется значительно расширить русло, сделать берега пологими, наподобие котлована. Вообще в этом деле никак нельзя торопиться, постоянно твердили опытные мирабы, ибо там, где спешка, не может быть добротной работы. С этим, конечно, все соглашались, но строителей поторапливали: пришло указание — до первого мая проложить канал непременно до Чиили. А на то, чтобы пробить перевал, надо было, по крайней мере, три дня. Шушанян нашел выход: приказал оставить сто самых сильных, выносливых кетменщиков на перевале, а остальным прокладывать канал дальше.

С утра до поздней ночи без устали трудились кетменщики. Они работали как одержимые, с веселой злостью. Обнаженные по пояс, загорелые, мускулистые джигиты

с яростью опускали стальные кетмени. Белая пыль густым облаком стояла над ними. С таким азартом, с такой лихостью в степи никогда еще не работали. Пот стекал по лицам, спинам, бокам джигитов, мышцы дрожали от напряжения, а молодые, здоровые степняки, охваченные единым порывом, единым желанием, с неслыханным упорством, подзадоривая друг друга, пробивали веками нетронутый перевал. Их зажигали, конечно, не призывные лозунги, не житейские соблазны, не награды за доблесть. Сильных и гордых джигитов сорокового года увлекали и пьянили благородные побуждения и радость труда, вдохновенного, свободного.

Сто джигитов за двое суток прорубили перевал. Когда на третий день они глянули на дело своих рук — поразились. Господи, да они целую гору своротили! И опять отличились джигиты Бекбаула. Сам мираб колхоза Байсун не расставался в эти дни с кетменем. Приятели подшучивали: «Хватит тебе в мирабах ходить, Беке! Переходи в кетменщики. Тогда нашему рекордсмену Рысдавлету туго будет». Действительно, Бекбаул ничуть не уступал самым прославленным кетменщикам. Приятно было ему сознавать свою неуемную силу и выносливость. Никогда не думал, не предполагал он, что труд может доставить столько радости и душевного удовлетворения.

Байбол-Балабол тоже старался из последних сил, не хотел отставать от знаменитых кетменщиков, однако вскоре выдохся и только путался под ногами. Тогда Бекбаул перевел его во «внештатные советчики», но и от советов его проку было мало. Байбол взбирался на холм, принимал возмущенную позу.

— Какого черта заставляют людей в песке копаться?! Да разве песок когда-нибудь выгребешь? О чем эти умники только думают?! Надо было обойти перевал! Это и последнему дураку ясно. А если начальство ничего не понимает, почему у меня не спрашивает, а?!

На третий день, прорубив перевал и соединив русло, джигиты облегченно вздохнули. Первая очередь строительства канала близилась к концу.

VI

На вороном коне, запряженном в легкий тарантас, Таутан спозаранок выехал в район. В Шаулимше он примчался еще до обеда. Кривые улочки небольшого

селения у железной дороги утопали в пыли: серый шлейф, вздымаясь, тянулся за тарантасом. Вороной был в теле и ухожен, словно призовой скакун. Всю дорогу он яростно грыз удила и бежал легко, без понуканий, ровной крупной рысью. По улице, возле многочисленных пристроек и сараюшек, безмятежно бродили гуси, утки, индейки, которые при виде стремительно приближавшейся повозки неуклюже разбегались по сторонам. Редкие прохожие тоже жались к домам, заборам, благоразумно уступая дорогу спешившему путнику.

Таутан, не сдерживая вороного, пронесся мимо приземистых, неприглядных мазанок, обогнул площадь районного базара, проехал по огромной луже, разбрызгивая по обе стороны жидкую грязь, и лишь возле одноэтажного желтого дома с черепичной крышей и с зарешеченными окнами резко натянул вожжи. Привязав коня, валкой походкой направился к дому. В руке он нес черный мешок, туго завязанный полосатой бечевкой. Тяжело, со скрипом открылась громоздкая дверь, и на пороге показались две женщины. Они мельком покосились на мужчину с мешком и от удивления цокнули языками. Разве не удобнее оставить мешок в тарантасе... Таутан потоптался возле двери, почему-то посмотрел на выцветшую вывеску «Сберегательная касса», пошевелил губами: «Сберегательная... сберегать... береженого бог бережет», на всякий случай еще раз оглянулся. Нет, никто за ним не следил. Да и с какой стати?.. Мало ли людей приходит в кассу... Таутан решительно нырнул в дверь.

У окошка кассы толпилось несколько человек. Таутан быстро прошел мимо них и направился прямо к кабинету в углу.

С заведующим сберегательной кассой — рыхлым, рыжеватым казахом — он был давно и, можно сказать, неплохо знаком. Едва Таутан вступил в крохотную каморку, как из-за низенького стола грузно поднялся заведующий и приветливо протянул ему руку. Таутан долго тряс ее, подобострастно улыбался, подробно расспрашивал о здоровье жены, детей, сородичей. Рыжий заведующий мигом смекнул: неспроста, должно быть, любезничает проныра-бухгалтер из колхоза Байсун.

— Какими судьбами, тамыр? — спросил он, испытующе поглядывая на гостя.

Таутан откинул полы длинной черной шинели и шмякнулся на один из свободных стульев. Потом снял

шляпу, провел рукавом по лбу и бережно, точно маленького ребенка, положил себе на колени тугой черный мешок.

— Все ради детей, ради семьи хлопочем, уважаемый...

Он это сказал тихим, усталым, вроде бы виноватым голосом. Рыжий нетерпеливо покосился на черный мешок с полосатой завязкой. Облизнул толстые, потресканные губы.

— Апырмай, Таке! Неужто это все деньги?!

— Какие деньги?! Откуда у меня, почтенный, такое богатство! Живем потихоньку-помаленьку, и ладно.

— Так что же это?

— Да заем, господи. Что бы еще?..

— Заем? Целый мешок?!

У заведующего удивленно отвалилась челюсть. Его даже оторопь взяла: черный мешок черным дьяволом почудился. Этого Таутан не ожидал. Теперь поневоле начнешь уговаривать, умолять и деньги совать. А куда денешься. Не подмажешь — не поедешь.

— Две тысчонки этого займа — твои!— выдавил Таутан. Лицо его при этих словах омрачилось, брови насупились, глаза будто пленкой подернулись.— А остальное — сбереги...

— Подожди... подожди...— Заведующий вскинул обе руки и замахал кистями, будто отмахиваясь от мух.— Так.. сколько у тебя в этом... мешке?

— Здесь заем на двадцать пять тысяч четыреста рублей.

— Заем — колхозный?

— Нет, мой.

— Весь?!

— Да, весь... до копейки!

— Ах, вон оно что!

Заведующий перевел дыхание, растерянно посмотрел в окно. Таутан поспешил развеять вспыхнувшие вдруг в рыжем подозрения.

— Не волнуйся. Не ворованное. И с неба тоже не свалилось. Просто накопились бумажки за многие годы. Сам знаешь: колхозников обязывают подписаться на заем. Дается план, а его следует выполнять. Для примера сам подписываешься каждый раз на большую сумму. Потом удивляешься, откуда столько взялось. А тут и

родственники, дальние и близкие, волокут кипами. Дескать, на, сбереги, потом деньги вернешь... Вот и набралось.

Рыжий отвернулся от окна.

— Вообще-то с моей стороны возражений, конечно, нет. По закону разрешается хранить заем в сберкассе.— Заведующий опять замялся.— Но у тебя слишком много. За хранение придется платить. Ну, там... рублики-копейки... А подойдет срок розыгрыша, проценты, разумеется, повышаются... Немного.

— Сколько?!— испугался Таутан. Всю жизнь он имел дело с деньгами и процентами и любил точность.

— Что... сколько?

— Ну, сколько я вообще должен платить?

Было досадно: сам бухгалтер, и ничего об этих процентах не знает. Он рассчитывал, что с большой суммы со временем получит неплохие деньги. Выигрыши, погашения, мало ли еще что... Но если за хранение сдирают проценты, то, пожалуй, лучше забрать мешок и повернуть оглобли назад.

— Ну, накануне тиража с каждых двадцати рублей, скажем, взимается до пятидесяти копеек...

— А потом?

— А потом, как обычно, платишь мелочь. Сколько думаешь хранить свой заем?

— Ну, это бог знает... Уж как получится.

Рыжий неожиданно преобразился, радостно потер руки.

— Так! Скажи, я не ослышался, а? Ты действительно сказал: две тысячи рублей?

— Да, две тысячи. На, развяжи мешок и отсчитай свою долю.

— Но чтоб потом — ни-ни! Я ничего не знаю. Мое дело — увеличить число вкладчиков и выполнить план. Все остальное меня не касается...

— Не беспокойся. Только запиши номера облигаций, которые у меня берешь.

— Это еще зачем?

— Қак зачем, ойбай? Должен же я знать, какие номера мне уже не принадлежат. Или искать мне потом прикажешь?

— А... Тут ты, конечно, прав.

Рыжий взял мешок, развязал его, быстро-быстро, помаргивая и облизываясь, одну за другой бросил на стол

несколько пачек разноцветных бумажек. Потом, деловито поплевав на пальцы, с ловкостью человека, постоянно имеющего дело с деньгами, мгновенно отсчитал две тысячи и запихнул в ящик письменного стола. Навалившись всей грудью на стол, аккуратным столбиком выписал на листе бумаги серии и номера облигаций и подал Таутану. Тот пробежал глазами цифры н вернул лист назад.

— Распишнсь!

— Что-о?!

Рыжий выкатил глаза н даже вскочил. Таутан и бровью не повел. Только чуть осклабнлся и подбородком показал на бумагу.

— Ты, почтенный, разве не расписываешься, когда что берешь?!

— Так это что — расписка?? Что ж сразу не говорил?.. Бери тогда свой заем назад.

— Э, нет! Отступать, почтенный, не в моих правилах. Ты взял у меня две тысячи рублей? Взял! Вот она, взятка, в ящике лежнт... Значит, не крути, не юли, а расписывайся, как положено.

Рыжий сначала побагровел, потом побледнел, как вылинявшая тряпка. Только теперь он вдруг сообразнл, как этот тихоня-бухгалтер едва не посадил его голым задом на такыр. Да пусть он провалится со своими двумя тысячами!.. Он думал, что нмеет дело с честным человеком. Да н какой глупец откажется от легкой добычи? В конце концов, ему, заведующему, что? Кто-то свой заем сдает в сберегательную кассу, кто-то с него высчитывает проценты. Вот и все! Следовательно, две тысячн — просто щедрый дар, добрый жест давнишнего знакомого, залог будущих крупных выигрышей. Так он полагал. А выходит, что этот шустряк Мангазин, который и по службе ниже, н по годам моложе, пытается средь бела дня заманить его в капкан. Вон как! Значит, эти двадцать пять тысяч четыреста — сомнительные деньги. Надоело, видно, храннть заем в тайнике. Хочется его пустить в оборот, выиграть солидный куш, разбогатеть. Да к тому же в сберегательной кассе в сохранностн будут лежать. Заведующий не выдаст, раз и у него рыльце в пушку. Ведь, выходит, он брал взятку. А под суд — кому охота? Вот и будет он поневоле защищать проходимца. И даже представит справку прокурору, что, мол, в сберегательной кассе на текущем счету Мангазина не имеется ни копей-

ки. Шито-крыто! И все же, все же... недаром казахи говорят: «Конец воровства — позор». Когда-нибудь все раскроется, и тогда он, заведующий крупным учреждением района, отправится на поводу товарища Мангазина в те края, где ездят на собаках. Тьфа, тьфа, боже упаси! Какие только мысли не приходят в голову!.. А что если сейчас поднять тревогу, вызвать свидетелей, составить акт и передать этого негодяя в руки милиции?! Вроде неловко: как-никак давнишний знакомый. Опять же, разговоры пойдут. И неизвестно, как этот пройдоха себя поведет, как начнет изворачиваться. Дьявол знает, что у него на душе! Нет, лучше уж подальше от беды. Так вернее будет.

Рыжий передохнул, успокоился, сел.

— Мил-человек, со старшими так не шутят. Выкинь эту бумажку.

Голос его был мягкий, просительный. Он все еще надеялся, что передумает бухгалтер, и останутся в ящике его стола весомые пачки облигаций...

Таутан между тем раздумывал. Он намеревался ошеломить заведующего, заполучить расписку и взвалить, таким образом, всю ответственность на него. Ничего, шея толстая — выдержит. Однако вон как повернулось! Этот рохля даже двумя тысячами не соблазнился. Старая сова, хочет его с толку сбить, все планы спутать. Вот уж не думал. Может, его следует припугнуть, поприжать, а?

— Аксакал, не валяйте дурака! Подпишите скорее, не то...

— Не то что?!

— Шум подниму. Скажу: взятку требовал...

Таутан тут же почувствовал, как неубедительно, даже жалко прозвучал сейчас его голос. Ему стало мгновенно ясно, что напрасно он грозится, что в яму, которую рыл для другого, сам вот-вот свалится. Холодный пот прошиб его. Пока не поздно, нужно повернуть все в шутку. Но шутка не получилась. Неожиданно для самого себя Таутан ляпнул:

— Если две тысячи тебе мало, бери еще столько же! Только дай расписку, рыжая собака!

И как это у него вырвалось — хоть убей, не помнит. Наверное, от досады. Или растерянности.

Заведующий опешил, задохнулся, начал хватать ртом воздух. Глаза налились кровью, страшно выкатились. Он не мог вымолвить ни слова... Наконец, судорожно выдер-

нул ящик и начал одну за другой швырять пачки облигаций на стол. У бухгалтера встопорщилась щетина на лице, нос странно покосился набок.

— Ах ты, щенок, прохвост! Сгинь с моих глаз, пока я не вытряс поганую твою душу!..— взревел заведующий, дрожа всем своим рыхлым телом и грозно надвигаясь на Таутана.

Таутан, схватив черный мешок, выскользнул за дверь.

* * *

День по-весеннему ласков. Под корявыми кустами густо выбилась нежная мурава. Джида и тальник украсились зелеными листьями и, охваченные молодой истомой, дремали. Воздух был вязкий, хмельной. В многоголосый птичий гомон, который стоял над степью, вплетаются и безумолчное и ликующее пение жаворонка в вышине, и надрывное кукование кукушки, и стрекотание суетливой сороки, и карканье старой ворчуньи-вороны. Много птиц в степи весной. По лощинам и ложбинам, которыми вдоль и поперек изрезана степь, текут звонкие ручьи. Запах зелени перемешался с гарью: где-то сжигают прошлогоднюю нескошенную траву. По небу плывут перистые облака.

В овраге, густо поросшем кустами, лежит, подстелив шинель, Таутан и смачно поплевывает по сторонам. За губой его заложен насыбай. Неподалеку, волоча чембур, пасется вороной. Над ним вьется мошка, и вороной отгоняет ее, лениво постегивая себя длинным, струящимся хвостом по крутым бокам.

Рядом с Таутаном бугрится черный мешок. Он изредка поглаживает его мохнатый бок и время от времени поглядывает в сторону районного центра. Все нутро главного бухгалтера колхоза Байсун горит огнем злости и досады. Он до сих пор не может прийти в себя, и мысли разбегаются во все стороны, точно мыши. Как назло, все вокруг цветет, сияет, радуется весне, а Таутану от всей этой благодати ничуть не легче. Черный дым раздирает, распирает его узкую, тощую грудь... Едкий, удушливый дым... Как он мог так опростоволоситься?! Потащился, дурень, с мешком облигаций в кассу. Как над желторотым юнцом посмеялась над ним судьба. Не иначе как сам дьявол сбил его в ясный день с пути. Хорошо

еще, что этот проклятый рыжий не передал его милиции. Уберег от беды всевышнний. Да проку-то! Теперь есть свидетель, посвященный в его тайну. Хранил бы свое сокровище по-прежиему в овраге Жидели — и никаких бы забот н тревог. Переждал бы иесколько годочков, а потом потнхоньку, понемногу нзвлекал бы на свет божий свое богатство. Небось, не сгнил бы черный мешок. А теперь его и не спрячешь на прежнем месте. Разве можно сейчас людям вернть? Он, Таутан, инкогда ннкому нн в чем не доверял. Доверчнвого непременно какой-ннбудь жулнк облапошит. В этом Таутаи совершенно убежден. Еще в школе, помнится, он покорио выслушивал советы и назидаиия роднтелей н учнтелей, потому что чувствовал: взрослым нравятся покорные и послушные. Он кивал головой, поддакнвал, охотно соглашался, но в душе только усмехался. Он очень скоро сообразил, что послушаине оборачивается определенной выгодой. Успехамн в учебе он не выделялся, одиако умел держаться на внду и слыл актнвным, прилежиым мальчиком...

Сумбур царнл сегодня в голове главного бухгалтера. Непонятное беспокойство овладело нм. Вокруг курилась подсыхающая весеиняя степь. В легком мареве плыл разморенный воздух. Солнце поднялось высоко н будто шнрокнм теплым языком лизало его голую шею н затылок. Он покусывал, пожевывал кончик обвнслых усов. Может от насыбая рябнт в глазах и кружнтся голова? Зеленый табак, еслн его часто закладывать за губу, действует как дурмаи и обволакивает мозгн. Рыжнй так его расстроил, что Таутан всю дорогу то н дело вытаскивал нз кармана пузырек с запашистым зельем.

Да-а... Не везет что-то. Конечно, кое-кто счнтает, что раз он главный бухгалтер колхоза, то немало ему перепадает нз общей кормушкн. Черта с два! Так н позволнт Сейтназар запускать руку в колхозный карман. Этот дьявол днем н ночью не спускает с тебя глаз. Когда-то председатель сам был бухгалтером в этом колхозе. И дело свое знал крепко. Ни одна копейка от иего не улизиет. Если заметнт лнпу, нн за что докумеит не подпншет. Это ои научнл Таутана бухгалтерскому делу. Не поймешь, что за человек этот Сейтназар. То ли совершенно безразлнчен к личным радостям и благам, то лн просто хитер и не поддается на мелкие соблазны. Может, у иего такая статья дохода, о которой бухгалтер и ие догадывается?

Таутаи ие смог долго учиться, как некоторые. Да, соб-

ственно, и желания особого не было. А теперь видел: тот, кто учился,— преуспевал. Помнится, был у них учитель географии. Почему-то невзюбил Таутана: придирался, насмехался по всякому поводу. Как-то даже выступил против избрания Таутана в совет дружины. Какая причина? «Мне не нравятся глаза Мангазина»,— заявил учитель. (На себя бы лучше посмотрел!) Директором школы был один из дальних родственников. Естественно, он оскорбился: «Ну, и что из этого?» Учитель географии спокойно ответил: «У Мангазина неприятная привычка: он не смотрит прямо на людей, а все время озирается, оглядывается, глаза прячет... Нет в нем детской искренности и непосредственности». «Э, откуда ты знаешь?!» — поморщился директор. «Каждый педагог должен быть и психологом,— пустился в рассуждения географ.— Психологические ощущения подсказывают, что...» Стоявший за дверью директорского кабинета Таутан остальное слушать не стал, а, задыхаясь от гнева и обиды, выскочил на улицу. Так и не избрали его тогда в совет дружины. А учитель географии вскоре уехал в Алма-Ату. Совсем недавно Таутан прочел его фамилию в газете. То ли он доктор наук, то ли даже академик. Наверняка и машина есть, и денег — полный карман.

Многие из тех, кого он знает в этом краю, обскакали его в последнее время. Почему они его, а не он, Мангазин,— их? Чем он хуже? Ну, возьмем хотя бы этого... Сейтназара. Он ничуть не грамотнее, только удачливей. Ведь, если на то пошло, Таутан не хуже председателя разбирается в колхозных делах. И простым народом руководить умеет. А у Сейтназара по части происхождения не все в порядке. Отец его был дамуллой, иначе говоря, представителем эксплуататорского класса. Правда, рассказывают, был он честен и справедлив. И всегда заступался за черный люд. Ну и пусть! Мангазину это все равно. Главное — дамуллой был? Был. Сейтназар его кровный сын? Да. Следовательно, кто более в этом колхозе подходит на пост баскармы? Конечно же, Таутан. Однако районное начальство этого не понимает. И понимать не желает. А почему? Может, не помешает социальным происхождением и районного начальства поинтересоваться?

В представлении Таутана, во всей округе Шаулимше людей чистых и надежных — раз-два и обчелся. Даже тех, чьи отцы и деды вплоть до седьмого колена были

бесспорными бедняками, Таутан с легкостью причислял к «прихвостням» или, в лучшем случае, к «попутчикам». Иногда он затруднялся, не зная, к какой же категории относится он сам. В жизни он не прочитал ни одной книги до конца (хотя в этом, разумеется, никому не признавался), вокруг себя не видел проблеска света, однако судить обо всем на свете — страсть как любил. Однажды вызвал Сейтназар его к себе. «Слушай,— сказал он и недовольно поморщился,— ты когда оставишь свои левацкие замашки? Ты знай свое дело, щелкай на счетах да поприжми хвост. Понял? Так-то лучше будет!» Ну, ясное дело, с глазу на глаз с баскармой не поцапаешься. Таутан извинился, покаялся, еле отговорился. Не дай бог навлечь на себя гнев председателя. Запросто с работы снимет и по миру пустит. Подать на него жалобу или анонимку — тоже пользы нет. Сейтназар в почете, его расхваливают на каждом собрании. Станет начальство слушать жалобы бухгалтера! В лучшем случае по плечу похлопает да выпроводит вон.

Вот так и живешь серой, тусклой жизнью: ни власти у тебя большой, чтобы простыми смертными повелевать, ни денег тугой мошны. Нет, не о такой судьбе он мечтал. Какой смысл в этакой собачьей жизни, если даже паршивым аулом распоряжаться не можешь?!

Однако и отчаянию поддаваться не стоит. Нужно обуздать гордыню. И терпеть. Терпеть и ждать. Верить в свою звезду. И тогда к сыну Мангазы придет желанный день. Нужно только быть осторожным. Чтобы не пристала к имени дурная слава. Первым делом, следует куда-то упрятать этот проклятый мешок. Пусть полежит в потайном месте, чтоб ни одна живая душа о том не догадалась. Держись скромно, незаметно. Не возражай никому никогда. Глубоко схорони в душе все свои тайны, думы, желания. Зря не болтай. А если что скажешь, то в строгом и полном соответствии с духом времени и очередных постановлений и решений. Водку ты не пьешь, это очень хорошо. Теперь отвыкай и от насыбая. Не к лицу насыбай джигиту, у которого, может быть, большое будущее. Да к тому же, говорят, и здоровью вредно. А здоровье еще пригодится! Сын Мангазы обязан долго жить. Иначе он не успеет вдоволь насладиться жизнью. Это гениям позволительно умирать рано, удивляя грядущих потомков. А он, слава богу, не гений, и судьба потомков его не тревожит. Таутану нужны покой и благополучие.

Что ж... Пожалуй, пора. И вороной, должно быть, отдохнул. Надо ехать дальше. Облака на небе сбились в плотную, черную тучу. Пока не полил весенний дождь, следует добраться до аула.

VII

Сегодня Таутан был весел. Он изредка похлопывал вороного вожжами, озирался по сторонам, мурлыкал под нос бойкий мотивчик. На задке телеги время от времени жалобно блеяла жирная ярка. Ехал Таутан к аулчанам — строителям канала. Сейчас они работали уже неподалеку от аула.

Таутан имел все основания быть веселым. Досадная неприятность в сберегательной кассе обошлась без последствий. Более того, на днях он выиграл по таблице, сдал в кассу две-три облигации и беспрепятственно получил деньги. Видно, рыжий решил оставить его в покое. А потом, неделю тому назад сухопарая и черная, как кочерга, баба Таутана родила ему после четырех девочек здоровенного сына, наполнив дом радостью. Наконец-то жена избавилась от постоянных упреков мужа, долгие годы требовавшего от нее законного наследника. Вспомнишь — смех разбирает... Когда жена ровесника Ултангалия родила не раз, а дважды мальчиков-близнецов, снедаемый завистью Таутан набросился на жену с побоями: «Ну, а ты-то, ты-то о чем думаешь?!» Видно, если каждый божий день колотить бабу, то она, бедная, поневоле сыном разродится... Таутан довольно усмехнулся.

Послышался скрип телеги, и вскоре на дороге показался старый Карл Карлович. Должно быть, отвозил кетменщикам горячий обед, а теперь возвращался в аул. Старик свернул на обочину, но бухгалтер, поравнявшись, натянул поводья, попридержав вороного.

— Ассалаумагалейкум, Карл Карлович!— весело поздоровался бухгалтер.

— Э, уагалейкум салам, нашандык[1]! Уа, куда путь держишь?

— На канал. Джигитам гостинец везу.— Таутан кивнул на ярку.— Как дела, аксакал? У кассира был? Деньги, которые я выписал, получил?

[1] *Нашандык* — искаженное «начальник».

— Получить-то получил. Только кассир твой не все выдал. Тут же высчитал пять рублей. Говорит: холостяцкий налог. Как это? С семидесятилетнего старика какой спрос? Старуха умерла. Я, конечно, не прочь какую-нибудь длиннополую в дом привести, чтобы налог холостяцкий не платить. Только где ее возьмешь, длиннополую-то?

Старику было скучно, а Таутан тоже не спешил. Почему бы и не поболтать в степи, на чистом воздухе...

— Ай, Карл Карлович! Нашел, о чем говорить... Пять рублей! Кассиру, бедному, ведь тоже жить надо...

— Тогда пусть не обманывает!— загорячился старик.— Пусть прямо скажет: дай, помоги. А потом, дорогой нашандык, и у нас ведь не больно жирно. Пять рублей для нас — о-хо-хо!— тоже кое-что значит.

— Не плачь, старик. Не прибедняйся. Ты же в городе бываешь, по базарам шастаешь. Небось, карман не пустой, а?!

— Какой карман?!— Старик провел ладонью по худощавому безбородому лицу. В серых, глубоко запрятанных глазах блеснул неприязненный, холодный огонек.— Был бы у меня хотя бы заем... может быть, выиграл бы разок...

У Таутана екнуло сердце. На что этот старый дуралей намекает?.. Неужто пронюхал, что он выиграл и получил в кассе деньги? Но ведь заем сейчас у всех есть. И выигрыши получает не он один. Нет, зря встревожился.

— Для этого, Карл Карлович, нужно подписываться на заем. Да побольше, как это я, например, делаю. Во время подписки вы по углам прячетесь, а потом скулите.

— Что ж... По возможности и мы подписываемся. Но что толку? Вот был бы у меня целый мешок...

При этих словах у Таутана засвербило темя. Эй-эй, откуда ему про мешок известно? Ведь о нем, кроме рыжего из районной кассы, никто не знает. А тот, будь он хоть трижды дурак, не станет же рассказывать об этом какому-то пришельцу-немцу. Ну, конечно, с какой стати... Тогда что этот мелет?

— Оу, старик, где это ты столько облигаций видел — целый мешок?!— Таутан прикинулся удивленным и даже наивно рассмеялся. Однако глаза беспокойно забегали, незаметно ощупывая Карла Карловича.— Если нашел такой клад, и нам скажи: поделимся, а?

Старик-извозчик чуть усмехнулся, но ничего не ответил. Покрутил кнутом над головой, хлестнул гнедого по крупу, присвистнул: «Фьють, скотина!» Гнедой, прядая ушами, тщетно норовил вцепиться зубами в загривок вороного, но, едва почуяв кнут, дернулся, с места пошел рысью.

Таутан растерянно посмотрел вслед...

На канал он приехал к обеду. Кетменщики отдыхали. Огонь горел в жер-ошаках — продолговатых ямах в земле. Над ними громоздились котлы. От них валил густой пар. Между юртами сновали джигиты. Слышался веселый гомон. Развевались красные флаги, пестрели плакаты, горели лозунги. Таутан еще издали прочитал: «Под знаменем Ленина, под предводительством великого Сталина — вперед к победе социализма!» — и тут же про себя отметил, что лозунг хороший, его не мешает выучить наизусть, чтобы потом на собраниях заканчивать им речи. Главбух достал записную книжку, помусолил карандаш, аккуратно списал лозунг, шевеля при этом губами. За этим занятием и заметил его Бекбаул. Закинув руки за пояс, медленной развалочкой пошел он навстречу. Бекбаул еще больше раздался в плечах, окреп, большие глаза прямо-таки светились от радости, в голосе появились басовитые нотки, жест стал уверенный, спокойный. Ай да зятек! Совсем не похож на измученного, пропыленного кетменщика. Бодр, легок. Подошел не спеша, брови вскинул и, не здороваясь, поинтересовался:

— Ау, Таке! Что это вы строчите?

Таутан сунул записную книжку в карман.

— А, это... ваши трудовые показатели записываю. Потом пригодятся, когда трудодни выписывать будем...

— А-а-а,— протянул Бекбаул.

В самом деле, перед ними стоял черный щит, исчерканный мелом: производственные показатели кетменщиков за последние пять дней.

— Что за овца на телеге?

— Вам подарок от меня. Кстати, собственная ярочка. Работа у джигитов, думаю, нелегкая. Пусть отведают свежего мясца.

— Апырмай, до чего вы догадливы. Вот что значит — шурин! Давно уж мяса не нюхали... Байбол, например, ноги вот-вот протянет. Такой зануда... все ему не так...

Приговаривая, приборматывая, мираб аула Байсун навалился на борта телеги, оценивающе оглядел, ощупал

лежавшую спокойно на задке тугобокую, в мелких кудряшках ярку. Казах понимает толк в скотине. Жирная, с тяжело нависшим плотным курдюком овца пришлась Бекбаулу по душе.

Главбух это сразу почувствовал и весь заулыбался, довольно погладил усы.

— Но только,— сказал он,— одной овцы вам всем не хватит... Соберешь дружков-приятелей, полакомишься...

— Ну, это уж не твоя забота, дорогой шурин. Ты только почаще доставляй нам такие подарки, а все остальное мы сами обтяпаем.

— Легко сказать «доставляй». Для вас у меня другой скотины нет. И эту-то приволок, можно сказать, ради тебя... Сам ведь понимаешь, а?

Таутан плутовато ухмыльнулся. Бекбаул решил позубоскалить над шурином.

— Хе-хе... Что ж тут не понимать? Думаю: просто потчуешь любимого зятя. Не так ли?

— Эй, а какого дьявола я потчевать тебя обязан?

— Не знаю, не знаю. Может, поскольку твой зять ныне человек видный, ты решил потуже завязать узы родства, а?

— О! Это уже другой разговор, парень!— полушутя-полусерьезно заметил Таутан.— Что же тут зазорного, если мы укрепим наше родство?! Все знают: ты — мой зять, я — твой шурин. Честной девушкой пошла за тебя моя сестренка, Зубайражан. Попробуй отвертеться, а, зятек?

Бекбаул только кивал головой. Что правда, то правда. Светлый лик Зубайры не потускнел в его памяти. А раз так — он и Таутана не может считать чужим. Правда, и при жизни Зубайры они не питали друг к другу родственных чувств. Нельзя сказать, что все у них было общее, что часто ходили друг к другу и жили душа в душу. Однако и не бывало, чтобы ссорились, обижались. Были неизменно вежливы и взаимно приветливы. Лишь однажды, прошлой зимой, пришел Бекбаул на зимовье по следам шурина и ни с того ни с сего разозлил его. Ну, это не в счет. Тогда Бекбаул ходил подавленный, растерянный. Теперь же его не узнать. Сейчас он человек знатный, понимает что к чему. На жизнь смотрит уверенно и открыто. Должно быть на пользу пошла среда крепких, здоровых и простодушных джигитов. В нем появилась вера в людей, в то, что они прекрасны и искренни. И к

Бекбаулу на стройке все так относятся. С ним всегда уважительно разговаривают и Шушанян, и Ерназаров, и Сейтназар... В последнее время он стал даже привыкать к такому почету. А теперь и Таутан, главный бухгалтер колхоза, приезжает к нему. Да не с пустыми руками, а с ярочкой! Вон какую честь оказывают неприметному, незаметному сыну старика Альмухана! О, дай срок — то ли еще будет!..

Бекбаула приятно покачивало на крыльях славы. Он как бы невзначай махнул шурину, небрежно сказал:

— Ну, отвези свою ярку вон к той юрте, а я пошел в штаб.

Где это видано, чтобы у казахов зять вел себя так непочтительно с шурином, тем более, если шурин и годами старше, и по должности выше?! Но Бекбаул ничего не замечал. Он уходил так же не торопясь, вразвалку, и Таутан, провожая его взглядом, ничуть не оскорбился, а наоборот, даже с восхищением подумал: «Апырмай, этот дурень человеком становится!»

* * *

Однажды на телеге Карла Карловича неожиданно приехала к строителям канала Нурия. Приезд ее вызвал разные кривотолки. Избалованная, гордая женщина редко переступала даже порог собственного дома. А тут она вдруг заявила о своем намерении поработать поваром. Одни полагали, что не иначе как сам председатель, стыдясь колхозников, заставил свою белоручку-жену выйти на работу. Другие утверждали, что председатель умеет только другими командовать, а дома даже рта раскрыть не смеет, ибо побаивается норовистой жены, и, следовательно, на канал Нурия приехала отнюдь не по приказу мужа, а по какой-то бабской прихоти, которая пока является тайной.

Кичливая председательша на деле оказалась расторопной, толковой бабой. Она мигом подчинила себе всех поваров на канале, и те беспрекословно выполняли все ее бесчисленные распоряжения. Кетменщики с удивлением отметили, что с приездом Нурии еда стала вкусней и разнообразней. Первым долгом, по ее просьбе, джигиты слепили в нескольких местах тандыры — нехитрые приспособления для выпечки лепешек. Испеченные в тандыре тонкие, с румяной корочкой лепешки необыкновенно

вкусны. Работа в руках Нурии спорилась. Она замешивала сразу целый мешок муки и за полдня наполняла брюхастый ларь душистыми лепешками из пресного теста. Ешь не хочу. Нурия прослыла кудесницей-стряпухой. Отовсюду собирались кетменщики, чтобы отведать за чаем ее необыкновенных лепешек. Бухгалтер Таутан завел на жену председателя трудовую книжку и приписывал ей такие трудодни, о каких в колхозе никто и не мечтал.

Однако Нурия меньше всего заботилась о славе стряпухи. И работой своей никого не хотела удивлять. Мать-покойница в свое время славилась на всю округу искусством стряпухи, и Нурия еще девочкой научилась у нее кое-чему. И вот урок пошел впрок. Оказывается, кетменщикам очень нравятся ее плов с поджаренным лучком, с сушеным урюком и изюмом, а также лепешки, испеченные в раскаленном тандыре, ну и слава богу, пусть едят себе на здоровье. Работа у них трудная, изнурительная, а для Нурии готовить — просто забава. Трудодни ей не нужны. Пусть Таутан их себе забирает, если хочет. Ее «робкий ягненок» зарабатывает предостаточно, и она полновластная хозяйка в доме. Что хочет, то и делает, и никто ей не указ. Всего хватает и даже родственникам перепадает. Дай бог, чтобы «робкий ягненок» и впредь был жив-здоров, и не изменяла ему удача.

Но уж так создан божий мир, что в нем всегда чего-нибудь, да недостает. Разве найдешь смертного, который был бы счастлив во всех отношениях?! Так и у нее, гордой Нурии, достаточно было своего горя и своих забот. С тех пор, как умер от кори единственный ребенок, она уже столько лет не знала счастливых ночей. В мечтах о ребенке к каким только врачам, лекарям, знахарям и святым она не обращалась, к каким только средствам не прибегала, и все тщетно, все напрасно. И тогда Нурия кинулась искать утешение, чтоб только забыть свое горе, развеять неизбывную бабью тоску. Конечно, в утешители Сейтназар не годился. Единственная его забота — колхоз. Из дома уходит рано, возвращается поздно. Едва коснувшись подушки — храпит. К жене, бывает, не повернется. Нурия вздыхает, ворочается в постели, но мужа не будит, не тревожит, потому что понимает: умаялся бедный, не до ласки ему, не до любви. Высосала его колхозная работа, да и сам он суетливый, беспокойный, день-деньской с коня не слезает. Так утешала себя Нурия, жа-

лела мужа, не говорила обидных слов и мучилась долгими ночами, чувствуя, как в страстной истоме сжимается сердце. Наконец, не вытерпев, она съездила в область, раздобыла путевку и отправилась на курорт в Егиз-куль лечить «бабью хворь». С курорта Нурия вернулась словно красная лисица, вывалявшаяся на чистом снегу. Чудо сотворили с председательшей соленая вода и грязевые ванны Егиз-куля.

На следующий год Сейтназар сам выхлопотал жене путевку. Но то ли что-то заподозрил, то ли надоело одиночество, кто знает, только вскоре муж решительно заявил, что такой видной женщине не к лицу по курортам шляться, и привез ее из Егиз-куля домой. Конечно, Нурия могла бы заупрямиться, однако это только усугубило бы подозрения мужа. А ссориться с «робким ягненком» Нурия не желала. Кому нужна бесплодная баба не первой молодости? Где она найдет такую сытую, беззаботную жизнь? Не прозябать же у родственников, которые сами надеются на ее подачку. Нет, Нурия не так глупа. Правда, к Сейтназару она давно уже не пылает любовью. Прошло то время. Но и разлучиться с ним не хочет. Сейтназару-то что? Он председатель передового колхоза. За него с радостью любая баба пойдет. Боже упаси! Лучше уж забудет она про все курорты и посидит тихо-мирно дома...

Увидев Нурию в юрте среди аулчан, Бекбаул мрачно насупился. Он явно избегал встреч с любовницей, старался не замечать ее. Даже назло ей уходил ночевать к кетменщикам соседнего аула. Он был зол: тут, как говорится, высморкаться времени нет, а у этой бабы одно на уме... В тридцать пять все еще не перебесилась. А он... сыт ее любовью и не желает, чтобы трепали его имя. И так осквернил память незабвенной Зубайры. Эх, нет в округе женщины, подобной ей! Стройная была, как тростиночка, ласковая. Простодушная, точно дитя. И добрая улыбка не сходила с лица. Смех звучал будто колокольчик — от самого сердца. И глаза были, как у маленького верблюжонка. Да-а... еще не скоро, видать, ее забудет. Не скоро... До сих пор не хочется верить, что ее нет. Кажется, задержалась где-то в аулах Кызылкума и однажды, в один счастливый день, радостно улыбаясь, вновь придет домой.

Конечно, и Нурия — баба видная, яркая. Любому мужику под стать. И себе цену знает. Держится с достоин-

ством, кроме Бекбаула, никого к себе близко не подпускает. Может, действительно любит. Только совсем не нужно это Бекбаулу. А потому надо встретиться с ней, поговорить откровенно, и раз и навсегда оборвать все ее надежды...

Вечером, уже при сумерках, когда каждый был занят своими делами, он подошел к очагу, возле которого хлопотала Нурия, и дал ей знак. Они поднялись на глиняный вал и быстро спустились на ровное дно канала. Вечер был теплый, тихий. Луна молочным светом заливала степь. Причудливые тени расстилались у ног. На огромном куполе неба едва заметно мерцали южные звезды. В вечерней тиши отчетливо доносились со стороны юрт оживленные голоса, веселый смех, бормотание домбры.

Нурия запыхалась, пока спустилась по крутому склону.

Бекбаул не дал ей опомниться:

— Ну!— сказал грубо.— Перестанешь меня преследовать или нет? Тебе что, мужа мало?! Совсем уже... рехнулась?!

Нурия застыла как от удара, вытаращила глаза. Потом вдруг обеими руками зажала рот и вся затряслась, задохнулась от душивших ее слез. Этого Бекбаул никак не ожидал. Он растерянно и глухо пробормотал:

— Ойпырмай, вечно у баб глаза на мокром месте... Ну, ну как прикажешь тебя утешить, а?

— И не утеша-а-ай...— хрипло выдавила Нурия. Он никогда не видел эту властную, сдержанную женщину такой жалкой и несчастной.— И совсем не преследую я тебя... К чему, если не нужна больше... О-о-о... Я хотела... хотела... тебе, дурачку, только весть добрую сообщить... А ты... О-о... ты еще кричишь на меня... Ребенок у меня, понял? Забеременела я...от тебя, понял?.. Вот что хотела сказать... О-о-ой!..

— Не реви! Какой еще ребенок?

— Об-бык... обыкновенный, у-у...

— Эй, айналайн, успокойся, и скажи-ка толком.

— Ребенок... от тебя... вот...

— А может, Сейтназара? Откуда ты знаешь?

— Нет, твой, твой... знаю-ю...

— Вот это мы, дорогая, влипли!— Бекбаул, не зная, что сказать, закинул голову и долго смотрел на мерцавшую над ним одинокую звездочку.— Нечего сказать — доигрались!

VIII

Первого мая на площади главного базара Шаулимше состоялся большой митинг. На торжество в честь окончания первой очереди строительства канала собрались все, у кого только ходили ноги. Над собравшимся людом развевались алые знамена. Май выдался на юге жарким, из пустыни дул раскаленный ветер. Народ, столпившись вокруг наспех сколоченной трибуны, изнывал от жары и тщетно пытался понять, о чем, так надрываясь, говорили ораторы. Микрофоны и репродукторы в эти края еще не пришли. И люди, главным образом, ориентировались на тех, кто стоял поближе к трибуне: вместе с ними хлопали в ладоши и кричали «ура!» Чересчур любопытные вставали на цыпочки, вытягивали шеи, разевали рты и переспрашивали друг у друга: «Что тот долговязый сказал?», «Эй, чего смеетесь?», «Чего этот козлобородый распинается?»

Бекбаулу выпала неслыханная честь: ему досталось место на трибуне. Он скромно пристроился с краю и сильно щурился — солнце било прямо в глаза. О том, что он будет стоять на трибуне, его заранее предупредили, и Бекбаул вырядился в самое лучшее, что у него оказалось дома. Он был в широкополой соломенной шляпе, в белой, с иголочки, сорочке с прямым, высоким воротником, в серых суконных брюках, туго подпоясанных широченным ремнем с блестящей пряжкой. На лице его играла улыбка: полугордая, полусмущенная. И как ему было не гордиться, когда даже председателю Сейтназару и главбуху Таутану не нашлось места на высокой трибуне. А он, сын Альмухана, стоял, как равный, среди лучших людей района и области. Он слушал, но не вникал в смысл восторженных речей охрипших ораторов, ибо был взволнован, а слова говорились весомые, заковыристые. К его сознанию еле пробивались лишь многочисленные «Да здравствует!», «Слава великому!» и «Вперед к победе!» Бекбаул вытягивался и хлопал, не щадя мозолистых ладоней. В высокопарных словах недостатка не было. Хвалили многих. И почти каждый оратор счел нужным назвать знатного строителя Альмуханова. Вначале Бекбаул каждый раз вздрагивал, краснел, услышав свою фамилию. Но вскоре показалось, что так и должно быть. Более того, было странно и неприятно, когда его фамилию недостаточно часто произносили.

Наконец слово предоставили секретарю обкома для оглашения указа правительства по случаю окончания первой очереди строительства Чиилийского канала, и Бекбаул затаил дыхание, навострил уши. Сердце гулко заколотилось...

— Товарищи! Указом правительства трое из строителей канала награждены орденом Трудового Красного Знамени...— Секретарь сделал паузу, откашлялся. «Всего три ордена? Почему так мало?»— с тревогой подумал Бекбаул.— Один из этих трех — старший мираб колхоза Байсуи товарищ Альмуханов Бекбаул. Второй...

Голос секретаря утонул в восторженном гуле и аплодисментах. Толпа колыхнулась. Стоявшие на трибуне бросились поздравлять Бекбаула, подолгу трясли его руку. Бекбаул смущенно молчал и только бессмысленно улыбался. И все вокруг — широкая базарная площадь, тысячи людей в пестрых одеждах, высокое голубое небо, слепящее солнце — покачнулось, закружилось, сливаясь бесчисленными красками...

Удивительное это чувство — радость! Особенно, когда она обрушивается сразу, будто поток. Она оглушает, не дает опомниться, стремительно уносит тебя куда-то на своих легких крыльях. Ты находишься между сном и явью, и ликует, торжествует твоя душа.

Бекбаул помнил, как слабость ударила вдруг в ноги, как еле сошел с трибуны. Друзья, приятели окружили его, возбужденно шумели, повели куда-то. Помнил Бекбаул еще, как они всей гурьбой ввалились в одну из юрт, выстроившихся в ряд на базарной площади, как без конца и попеременно пили весенний золотистый кумыс из огромных бурдюков и густое багровое вино из деревянных бочек, как ни с того ни с сего вспыхнула буча, начался скандал и чей-то ядреный кулак со всего размаху угодил ему в лицо. А потом Бекбаул будто провалился в бездну.

Проснулся он от непривычной, жуткой головной боли и сразу догадался, что находится дома, лежит на вчетверо сложенных подстилках. Заметив, что сын пришел в себя, мать начала ворчать.

— Не хватало, чтобы ты еще воду дьявола лакал! Мы тут радуемся, думаем, человеком стал. А он вон чему научился, несчастный! Срам! Стыд!

У порога сидел отец, подтачивая кетмень.

— Эй, старуха, не скули! Власть дала ему орден, вот он и погулял маленько с дружками... На радостях чего

не бывает?.. Раньше он к этой водке вонючей и не притрагивался...

Верно: не имел Бекбаул пристрастия к хмельному. Да и где найдешь его? Бывает, привозят иногда, но мигом расхватывают торгаши и спекулянты. И вот наконец дорвался и налнзался до одури. Называется, обмыл награду! Как воду хлестал красное вино из пузатых бочек, вынесенных в честь торжества из темных подвалов на свет божий. И, должно быть, не только пил, но и нес разный вздор, кого-то оскорбил, кому-то закатил оплеуху, пока его самого не отдубасили. Вон какой синяк у виска. И под глазом — фонарь. Не посмотрели, что знатный человек, передовик, орденоносец. Весь авторитет пропал, развеялся. Может, если начальство узнает, и орден отберут? Вообще-то, не должно быть. Не горький пьяница же он. Учтут, наверное, что впервые с ним такое случилось. И все же действительно стыдно. Права старуха-мать: срам, позор. Новая, с иголочки, сорочка изодрана в клочья. Конечно, не до радости бедной матери.

По тому, как лучи прямо падали в окно, день близился к обеду. Он сел на разбросанной постели, понуро свесил голову, хмуро спросил:

— Кто же меня домой-то привез?

Видно, мать не на шутку обиделась на сына.

— А зачем тебе это?! Или побрякушку свою подарить желаешь?— Должно быть, орден имела ввиду старуха.— Если такой щедрый, иди, одаривай хромого Карла... Как козлиную тушу приволок он тебя домой!

Ах, вон оно что! Значит, добрый Карл Карлович привез его в аул, от греха подальше. И на том спасибо, конечно.

Он стянул с себя изодранную, помятую сорочку, переоделся, взял бокастый чугунный кумган и вышел. Помывшись холодной водой, почувствовал облегчение, выкатил ногой из-под навеса круглый чурбан, тяжело опустился на него. Во рту было сухо, гадко, сердце бухало молотом в груди. Он видел, как отец возился с медным чайником. Может, крепкий горячий чай разгонит дурман?

Неподалеку густо рос колючий тростник. Он цвел алым цветом, слегка покачиваясь, и казалось, что колыхался тугой ворс шелковистого ковра. Из верховья степи струился аромат цветов и трав. У ног, вокруг небольшой песчаной кучки, суетились муравьи. За плетнем, в саду,

буйно цвели бухарская джида и урюк. Особенно красивы были нежные, белые лепестки ныне запоздало зацветшего урюка. Солнце щедро поливало теплыми лучами землю. Почва набухала, разрыхлялась, дышала паром. Самая пора для полевых работ. Воды ныне вдоволь. Урожайный будет, видно, год. Байсунцы, конечно, копаются целыми днями в садах, на бахче, сеют арбузы, дыни. Куда, интересно, баскарма направит джигитов, вернувшихся с канала? Куда пойдет он, Бекбаул? То ли снова на бахчу потопает, закинув на плечо кетмень, то ли мирабом так и останется? Впрочем, не все ли равно? По-прежнему вся надежда на силу рук и крепость кетменя. Сын кетменщика, он и сам проживет свой век кетменщиком. И ничего зазорного в том нет. Отдохнет денька два-три, очухается и зайдет к Сейтназару.

Осенью, говорят, будут дальше тянуть Чиилийский канал. До этого придется чем-нибудь заняться. Надо же, как он успел привыкнуть к многолюдью, к единому порыву одной целью охваченного коллектива. Прежняя размеренная, с прохладцей, работа, однообразная жизнь кажутся теперь ужасно скучными, тоскливыми. Конечно, и в колхозе забот хватает, никто не сидит сложа руки. И все же разве можно сравнить колхозную работу с зажигательным темпом, веселым озорством строителей канала, живущих и работающих бок о бок?!

Опять противно заныло в висках. Надо же было так безбожно напиться... Все, кажется, началось с большеротого верзилы, который начал задирать его. «Ты, милый, не особенно хорохорься! Подумаешь, орден получил. Знаем, за какие заслуги... Всю дорогу с Шушаняном шушукался... Вот он и удружил. Иначе с какой стати тебе орден? Ну, сам скажи! Сколько таких, которые в сто раз больше тебя вкалывали!» Вначале Бекбаул молча слушал. Только сколько можно терпеть?! Когда вино ударило в голову, он рассвирепел и хрястнул задиру-болтуна. И удачно, должно быть, смазал по его роже. Потому что скосоротился большеротый и сразу умолк...

До чего же ласков и уютен майский день! Приятно припекает солнце сквозь тонкую рубаху, будто убаюкивает своим теплом, нежит душу, навевает истому и легкую дрему.

Скрипнула дверь приземистой мазанки; старик, высунув голову, глянул на сына, одиноко сидевшего на чурбане, и позвал его пить чай.

* *

Таутан наелся мяса, напился чаю и был очень доволен. Достав из кармана большущий платок, с половину молитвенного коврика, он вытер пот на лбу, на лице, на шее, обмахался, покрякал, отдуваясь, и громко рыгнул. И никто в доме не знал, то ли действительно, плотно наевшись, пребывает сват Таутан в благодушном состоянии, то ли очень ловко притворяется. И старый Альмухан, уже один допивавший чай, и старуха, то выходившая по своим бесконечным делам, то входившая вновь, наперебой ухаживали, усердно потчуя молодого свата. Бекбаул отвалился к стенке, подмял под бок подушку, вытянул ноги и, ковыряя спичкой в зубах, слушал шурина.

Как всегда, на сундуке, потрескивая фитилем, горела десятилинейная лампа. Вокруг кружила мошка, порхали бабочки. Душно в саманном домике. Еще хорошо, что в углу продолбили стенку, вывели отдушины. Они-то и спасают от неимоверной духоты.

Пришел Таутан к сватам ранним вечером и все это время почти без передышки ел и пил. Дважды ставили самовар, потом ел мясо, после чего выпил четыре чашки горячего бульона. Поразительно, сколько вмещалось в этом худощавом, даже щуплом человеке!

Теперь, чувствуя себя в приятном расположении духа, он пустился в длинные рассуждения о том, о сем — так, заметая следы, петляет старая лиса.

— Алеке, имя вашего сына гремит не только в районе и в области, но и эхом отдается по всей республике. А вы вот живете... э-э... прозябаете в этой конуре. Ну для начала почистили бы свою лачугу, побелили бы изнутри и снаружи. Ойбай-ау, сами подумайте, нагрянет откуда-нибудь начальство в аул, куда оно пойдет? Конечно, первым долгом заглянет в дом прославленного орденоносца. Не так ли? Так! И если почетные гости войдут в эту халупу, что они увидят? Вы, почтенные, об этом подумали?!

Старику было приятно, что гость так хорошо говорит о его сыне. Он слушал и молча улыбался. Ну, а замечания гостя о жилье его почти не тревожили.

— Э-е...— только сказал старик.— Разве сейчас известку найдешь?

— Оу, если за этим дело стало, чего молчите?! Слава

богу, я пока в колхозе не последний человек. На складе центнеров пять известки должно быть. Кладовщик — свой парень. Попрошу — не откажет.

— Да отблагодарит тебя аллах, сват. Известка — что? И без нее прожить можно.— Сказав это, Алеке склонился над кесюшкой, долго смотрел на жидкий чай.— Скажи-ка, милый, куда подевался нынче курчавохвостый индийский чай? Сколько можно полоскать кишки зелеными помоями?.. Вот на это что скажешь?

— Э, Алеке, индийский чай теперь дефицит. Понимаете?! Не то что вы — мы не пьем. И вкус, считай, забыли. Вот уже месяца три, как его ни за какие драгоценности не достанешь.

— В чем же дело, сынок?

— А пес его знает! С международным положением сейчас плоховато, аксакал. Газеты-то хоть читаете? Появился некий Черчилль, он собирает всех поганцев со всего свету и науськивает их на нас.

— Оу, а говорили, будто на власть нашу этот... ну, как его... Керман зарится.

— Э, нет, аксакал, отстаете от жизни. С господином Гитлером у нас теперь уговор. Он теперь, как говорят, наш заклятый друг. Беду жди от старого смутьяна Черчилля, сват.

— Аллах знает, кто из них самый главный смутьян. Совсем запутались. Народу покой нужен... Итак, дорогой, как же быть с чаем-то?

Алеке ничего не имел против международного положения, однако предпочитал мыслить конкретно.

Таутан деловито откашлялся, чуть подался в сторону старика, назидательно поднял палец и веско произнес:

— В связи с обострением внешнеполитической обстановки... понимаете, аксакал?.. ваш любимый курчавохвостый чай совершенно исчез, испарился. Господин Черчилль вместо чая мечтает напоить вас ядом, отравой. Ясно? Ну, конечно, это ему...

— Э, какое Шершилю твоему дело до меня?!— обиделся старик.— Я ведь с бабой его не спал!

— Ну, ясное дело, аксакал, не спали. И тем не менее, не желает он, чтобы вы целыми днями дули крепкий, густой чай со сливками.

— А почему? Этот Шершил чаем, что ли, заведует?.. Наш пучеглазый лавочник — тоже вредина. У! Заупрямится — сладу нет.

— Ну, ваш пучеглазый, аксакал,— просто щенок. А вот господнн Черчнлль вас яро ненавиднт. И вы, конечно, спросите — почему?— Таутан полез рукой в карман, чтобы достать заветный пузырек, но тут же вспомнил, что уже дней десять не закладывает насыбай.— Я вам отвечу. Во-первых, вы член колхоза. Так? Уже тем самым вы Черчнллю враг...

— Ойбай, дорогой, что ты говоришь?! Никогда никому врагом я не был!

— Подождите, подождите. Во-вторых, вы отец ударника-орденоносца. Ну, это еще полбеды. А ведь вы гордитесь сыном, одобряете его поведение. Так? Следовательно, вы еще раз Черчнллю враг...

— А что, мой Бекбаул там, на канале, с Шершилем, что лн, поцапался?

— Ойпырмау, аксакал, ну чего вы все перебиваете? Отсюда, из того, что я сказал, вытекает вывод, можно сказать, полнтнческнй вывод, что господин Черчнлль ннкак не желает, чтобы вы втнхомолку наслаждалнсь курчавохвостым чаем. И самое печальное то, что я, один нз руководителей колхоза, ннчем не могу вам в этом вопросе помочь. Ну, а что касается известкн, то, пожалуйста, в любое время протяну вам руку помощн...

Таутан с вндом человека, до конца исполнившего свой долг, указательным пальцем погладил кончнкн усов, швырнул подушку к стенке н улегся на другой бок. Старик Альмухан отвернул край дастархана, благодарственно помянул всевышнего н встал.

— Старуха, подай-ка кумган. Пора совершнть вечерний намаз.

Едва отец вышел, молчавшнй до сих пор Бекбаул прнподнялся, всем телом повернулся к шурину.

— Хочу с тобой посоветоваться, Таке. Завтра собираюсь на Ащы-кудык. Клевер сеять. Дело для меня новое, но раз баскарма прнказал — ннчего не поделаешь. Надо освонть, говорнт, гектаров трндцать целнны. Скажи: как трудоднн начнсляться будут? Как на бахче илн по-другому?

Для Таутана это было неожиданностью. Ну, Сейтназар, погоди... Он, Таутан, член правления н главный бухгалтер, не знает, что творнтся в колхозе! Вот дожил, а?! О намереннн вспахать нетронутый надел возле Ащы-кудыка он слышал. Но о том, кого собнраются туда послать, председатель нн единым словом не обмолвился.

Втихомолку, значит, орудует сынок дамуллы. Дай ему волю — колхоз в свою вотчину превратит. Что ж, учтем! Придет срок — Мангазин тебе за это сполна выдаст.

— Клевер сеять, говоришь?— Таутан насмешливо покосился на зятя.— Ну, и какая у тебя должность?

— Какая может быть должность? Звеньевой...

— Ты — звеньевой? Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, прославленный на всю республику мираб, деятель, можно сказать, и вдруг — звеньевой?! С утра до поздней ночи околачиваться в знойной степи, не есть, не пить, покрикивать на пять-шесть баб... полно, зятек... разве это твой удел?! Пойми, это же откровенное издевательство над тобой!

— Как это?

— Тьфу! Еще спрашивает! Да ты что, цены себе не знаешь?!— Таутан в раздражении отшвырнул подушку к стенке.— Ну, подумай, дурья башка: кто ты и кто Сейтназар? Да по сравнению с тобой Сейтназар это... это, чепуха, мелочь, козявка, о которой и говорить-то не стоит! Да что там Сейтназар — я, главбух, как никто знающий свое дело, и то рядом с тобой — ничто! Но ты мой зять и потому душа болит. Понял?.. Такого знатного человека, как ты, выпроводить в Ащы-кудык, на край света — это, дорогой, более, чем издевательство. Это вроде ссылки. В старину, в царское время, правители таким образом избавлялись от неугодных соперников. Да, да... Верь не верь, а Сейтназар, пользуясь твоим простодушием, хочет тебя держать подальше. Ты растущий кадр, сын бедного скотовода, а не дамуллы, как некоторые там... и ты можешь руководить колхозом, а тебе суют в руки старый, ржавый кетмень. Где ж тут справедливость, спрашиваю я тебя?!

Бекбаул смущенно улыбнулся.

— А что я буду делать... если не клевер сеять?

— Другой работы, что ли, нет?! Недавно Сейтназар снял бригадира отделения Кара-Унгир. Оказывается, колхозное добро себе присваивал. Пожалуйста, место свободно. Вполне подходит для сына Альмухана. И я, между нами говоря, не раз намекал на это председателю. Так почему он от тебя отмахивается? Ведь на строительстве ты доказал, на что способен. И работать, и людьми руководить. Читать-писать умеешь, в политике разбираешься. Ну, что еще надо? Где он еще лучшего бригадира найдет?!

— Э, да ладно! Не хочет — пусть подавится! Не был бригадиром — и не надо. С голоду не подохну!

— Так-то оно так. Но ты же джигит! И должен постоять за свою честь. Или... может, ты председателя боишься?

— Это еще почему?

— Не знаю. Может, причина есть? Слышал я, бабы шушукаются... будто с Нурией, что ли, снюхался... А, зятек? Может, оскорбленный муж пытается этаким образом отомстить удачливому сопернику? Хе-хе-хе...

Бекбаул нахмурил брови, закусил губу, растерянно замолчал. Таутан, игриво прикрыв ладошкой рот, похихикивал... Он был доволен, что так ловко задел зятя за самое больное место.

IX

Сейтназар, поскребывая подбородок, мрачно задумался. На розоватой плеши между редкими, зачесанными назад волосами выступил мелкий пот. Видно давно не брился председатель: щеки были обметаны рыжеватой щетиной. От бессонницы маленькие серые глазки слеаились, веки воспалились, лицо осунулось.

Полчаса продолжается словесная перепалка с Бекбаулом. Недавний мираб наотрез отказался ехать на Ащы-кудык и сеять клевер. Причина? Никогда с клевером дела не имел и боится, что не сладит с обязанностью звеньевого. Если нет другой подходящей работы, будет по-прежнему ковыряться на бахче. Май только начался, еще не поздно сеять арбузы и дыни. Но председатель и слушать об этом не желал. Человек он был крутой, властный, привык к беспрекословному подчинению, и теперь выходил из себя оттого, что Бекбаул, рядовой колхозник, решительно не поддавался его уговорам. Правда, джигит отличился на стройке. Заработал орден, какой председателю и во сне не снился. Прославился, авторитет заимел. Все это, конечно, следует учитывать, орденоносцу необходимо воздавать заслуженные почести. Однако нельзя же, чтобы он на голову сел. Вежливость, скромность и орденоносца украшают. В колхозе скот есть? Есть, хотя и маловато. Корм ему нужен? Нужен. А в Ащы-кудыке пустует земля. Воды там нынче — залейся. Недаром ведь канал рыли. Клевер облагораживает, разрыхляет почву. Через год там можно разбить бахчу, вы-

ращивать отмеиные арбузы и дыии. Конечно, этот упрямец понимает все не хуже председателя. Ранее, бывало, возражать ему и в голову не приходило. Все делал, что приказывали. А теперь заартачился, как необъезженный конь. Вообще распустились люди. Привыкли возле дома копошиться, у очага, рядом с бабой и детьми. А тут — Ащы-кудык. Ночевать придется в лачуге, горячего вовремя не поешь, и чай тебе никто ие сготовит. Вот и воротит каждый морду. Но ведь как ни крути, кто-то должеи ехать в Ащы-кудык! Сеять клевер иадо во что бы то ни стало. Где зимой корм возьмешь? Опять попрошайничать? Как этого не понимают? Вот сидит созиательиый колхозиик, передовик, с орденом, а уперся, хоть кол на голове теши. Не поеду и баста!

А может, прицыкиуть иа иего как следует? Рявкнуть, чтоб душа в пятки? Сказать: «Эй, открой-ка свои зеики, кто в этом ауле баскарма? Ты или я?! Так иди туда, куда приказывают. Не то...» Только этого теперь криком не возьмешь. Вон как иабычился, ноздри раздул!

Последиие дии председатель ликовал. Он радовался, что иаконец-то Нурия понесла от него. Бездетиость все больше удручала Сейтназара. Родичи все чаще иашептывали: «Брось эту бесплодную бабу. Возьми другую. Не то упустишь время, бобылем останешься...» А он не спешил, все иадеялся. Да и думать об этом было некогда: весь деиь в седле мотаешься. Голова от забот пухиет. Разве до житейских дел тут? И вот дождался, смилостивился аллах, зачала накоиец его Нурия. Стоило Сейтиазару только подумать об этом, как гнев, тревога, усталость мигом улетучивались...

Так случилось и на этот раз. Поднял голову, нацелился красиыми, воспалеиными глазами иа Бекбаула, хитровато усмехиулся.

— Значит, не поеду, говоришь? Далековато, говоришь, а?! Так кто эта баба, которая тебя к юбке пришила? Родители и без тебя обойдутся. Постель никто не греет...

Бекбаул поморщился.

— Ладно, аксакал. Не о бабе речь. Живу же, не пропадаю.

— Э, брат, не говори! Жить-то по-всякому можио. Но без бабы... Может, моя свояченица...

— Оставьте свою свояченицу при себе!

— Эй, да ты что? Уж ие оскопили ли тебя?!

Председатель весело расхохотался. Бекбаул не поддержал его, только еще больше потемнел лицом. И чего этот плешивый все время о бабах с ним говорит? Неужели догадывается об его шашнях с Нурией? Тогда, выходит, шурин Таутан прав? С какой стати понадобилось председателю гнать его в Ащы-кудык? Почему так настаивает? Ащы-кудык — голый такыр. Ни травинки, ни кустика. Пустыня, где и собака жить не станет. Ай, за этим, действительно, что-то неладное кроется...

Игривыми разговорами о том о сем Сейтназар пытался все-таки уломать, уговорить молодого вдовца поехать в Ащы-кудык. Но все старания были напрасны. Председателю наконец надоело упрашивать, и он грозно нахмурился.

— Значит, сеять клевер не будешь?

— Не буду.

— Так. Тогда придется обсудить тебя на партийном собрании. Другого выхода нет.

— Дело ваше. Но я ведь не партийный...

— Каждый сознательный гражданин Советского Союза, товарищ Альмуханов,— сурово произнес председатель,— все равно, есть ли у него в кармане партбилет или нет, считается членом нашей партии. Следовательно, мы можем тебя...

— Ну, ладно, ладно! Сказал же: дело ваше.

— А если тебя за выступление против решений правления исключат из колхоза?

— Этим не испугаете, аксакал. Не мальчишка...

— Ай, Беке, хватит, пожалуй, а? Давай договоримся по-хорошему...— Сейтназар уже не знал, что делать. Ни ласка, ни угроза не действовали сегодня на обычно покладистого Бекбаула.— Ты ведь активист, гордость наша. Не так ли? Давай оставим козлиное упрямство и все спокойно обсудим. Иди пока домой. Вечером по пути из Саржала заеду к вам. Побалуюсь чайком. У Алеке он такой густой и душистый. Ну, как, договорились?

Сейтназар поднялся, намекая, что разговор окончен. Бекбаул, однако, не шелохнулся. Бешеным быком уставился на председателя. Потом встал, глухо пробурчал:

— Все равно в Ащы-кудык не поеду!

* * *

Бекбаул проворочался всю ночь. То ли старая мать постель неудачно постелила, то ли блохи, любители кошмы и домотканых паласов, тревожили, но сон не шел. Раньше, бывало, едва косувшись подушки, храпел на весь дом, а в последнее время спал плохо, тревожно.

Нудно тянутся бессонные ночи. Разные мысли роятся в голове, слух улавливает все звуки, все шорохи. Ровно посапывает, прижавшись к нему, маленький Жолдыбай. Тяжело, со свистом храпит отец в передней. Перхают за стенкой овцы. Чтобы отвлечься от назойливых звуков, Бекбаул кладет себе на голову тяжелую пуховую подушку. Но и это не помогает. В маленькое боковое окошко, наполовину задернутое занавеской, льется молочно-белый лунный свет. Громадный карагач за окном чуть-чуть покачивается, шевелит ветками. Пестрые тени дрожат, трепещут на полу, на стенке.

Шумно вечерами в ауле. Мычат коровы, блеют овцы, лают собаки. Ночью их не слышно. Все спят. И сама природа погружается в сон. Такая воцаряется тишина, что в ушах звенит. Странно: тихо-тихо, а все равно мир полон звуков. И если не спишь, тебя окутывает одиночество. Вне времени, вне пространства. И не сон, и не явь.

И думы беспорядочные, путаные. Какие-то обрывки, клочки... Стараясь хотя бы на мгновение забыться, Бекбаул, не мигая, смотрит в окно. И тут он делает для себя удивительное открытие: оказывается, ни на минуту, даже ни на полсекунды не в состоянии человек отключиться от мыслей. Можно собрать всю свою волю, крепко зажмуриться, приказать себе не думать... ничего из этого не получится. И выходит, что человеческий мозг, это непостижимое, нежное вещество, никогда — пока жив человек — толком не отдыхает, никогда не знает покоя.

Говорят: беспечный, безмятежный, равнодушный. Это все точные понятия. Но правильно ли сказать «бездумный». Вряд ли... Даже бессмысленность заключает в себе смысл. Правда, говорят: «бездумный человек». Но это говорится образно, приблизительно, для сравнения одного с другим. Конечно, бывают люди умные, способные, одаренные и откровенно бездарные, бестолковые, глупые и просто ненормальные. Однако никто из них не может быть бездумным. У одного мысль яркая, как огромный,

пылающий костер, у другого — еле тлеет, как чадящий жириик, а у большинства она, должно быть, похожа на ранние сумерки. Те, у кого мысль как ранние сумерки, и блуждают много, и часто находят в жизни верный путь. Они вечно как бы стоят на распутье. Если прибегнуть к грубому разделению людей на «хороших», «средних» и «плохих», то эти, с мыслями как ранние сумерки, относятся, пожалуй, к «средним».

Скрестив руки на затылке, Бекбаул смотрит на потолок широко раскрытыми глазами. Отчего у него бессонница? Какие тягостные думы его терзают? Никто его не унизил, не опозорил. Сейтназар, что ли? Ну да, он хотел отправить его на Ащы-кудык сеять клевер. Это, может быть, и издевка, но не унижение, не позор. Еще недавно он без единого возражения отправился бы куда угодно, не то что клевер сеять, а даже веники сажать. Что же случилось? А случилось то, что он теперь, как сказал шурин Таутан, почетный гражданин, орденоносец, «божий избранник», на голову которого опустилась жар-птица. Газеты до сих пор шумят о «выдающемся трудовом героизме» Альмуханова. Рябой корреспондент, недавно распрашивавший про Зубайру, опубликовал о нем в областной газете очерк с пол-аршина. О нем пишут, его хвалят. Пусть прославятся потомки Альмухана. Пусть все знают, что и кетменщик — не последний человек, что и простой трудяга в силах постоять за честь бедного рода.

Однако почему так мало говорят о настоящих кетменщиках, Рысдавлете, Ибрае и других, которые трудились, несомненно, больше его? Почему им не досталось ордена? Ему, Бекбаулу, конечно, орден дали вполне заслуженно. Он не только сам работал, но еще хорошо руководил людьми. И все же неудобно, что многие джигиты, кетменем перекидавшие столько земли, остались без внимания. Правда, канал еще не закончен, возможно, всех достойных наградят осенью.

О Сейтназаре же всегда говорили, что он честен, справедлив. Брехня, должно быть. Тоже, небось, как и другие, к себе гребет, не то не назначил бы бригадиром отделения Кара-Уигир своего родственничка. И чихать он хотел на советы Таутана. А Таутан... оказывается, порядочный человек и верный друг. Смотри-ка, какую заботу проявляет! Ради зятя своего готов в огонь и в воду. Теперь же выясняется, что Сейтназар, хотя он и благо-

склонно относился к нему, Бекбаулу, однако, якобы, категорически был против его отъезда на строительство. По словам Таутана, плешивый хитрец будто бы говорил: «Э, оставьте его! Разве сын Альмухана на что-нибудь способен? Разве он в состоянии людьми руководить? Я его нынче же отправлю в Ащы-кудык. Он будет у меня клевер сеять. Больше ничего он не может». Ишь, куда метил! И даже потом пытался настоять на своем, сплавить его, будто прокаженного, на край земли. Не вышло, голубчик! Бекбаула нынче не облапошишь. Слава богу, есть теперь у него достоинство и авторитет. Не будет бегать на поводу каждого встречного-поперечного...

Однако что же получается? Уж не слишком ли влияет на него любезный шурин? Когда-то он терпеть не мог разных там бухгалтеров, счетоводов. Считал их мелочными, придирчивыми, сварливыми. А теперь неожиданно будто пуповиной сросся с одним из этого племени. Конечно, чем-то он отличается от других. А самое главное — брат Зубайры. Айналайын Зубайра, единственная, желанная! Нет тебя уже на свете, а своих близких крепко связала невидимой нитью родства. Никто в свое время не хотел верить, что Зубайра — сестра кривоносого бухгалтера. Не было у них ничего сходного ни во внешности, ни в характере. Люди объясняли это тем, что у них были разные матери. Когда-то отец Таутана, Мангазы, после окончания четырехклассной русско-казахской школы в Кзыл-Орде учительствовал в аулах. Жена его, старше лет на пять, рано завяла, превратилась в рыхлую, квелую старуху, и тогда Мангазы женился во второй раз — привел в дом разбитную молодуху, сбежавшую от мужа, от его побоев и скрывавшуюся у отца. От первой жены, байбише, стало быть, родился Таутан; от второй, строптивой токал,— Зубайра. Позже Мангазы заболел неизлечимой болезнью, долго пролежал в больницах Алма-Аты, наконец после ампутации обеих ног вернулся в аул, и тут молодуха выказала свой норов, спиной повернулась к калеке-мужу. Мангазы рассвирепел; как собаку выгнал ее из дома. Молодуха еле унесла ноги, оставив маленькую Зубайру... Вырастила, выкормила ее байбише. Поговаривали, будто родная мать Зубайры еще жива и живет где-то возле Казалинска. Кто знает... Бекбаул никогда ее не видел. И Зубайра ее не вспоминала. Она привыкла, привязалась к байбише и считала ее родной матерью. Мангазы так и не оправился, мучился

долго и лет шесть назад умер. А байбише все еще небо коптит. Живет у Таутана. К Бекбаулу в последнее время редко захаживает. А если и придет, то ни с того ни с сего затевает ругань со стариком Альмуханом. «Ага!— говорит,— загнали мою дочь в Кызылкум, угробили, а теперь радуетесь, а!» Видно, болит материнское сердце, хоть и не родной ей была Зубайра.

Лежит Бекбаул, закинув руки за голову, не спит, думы разные думает. О Сейтназаре, о Таутане, о славе, о суете житейской... Но постепенно эти мысли отодвигаются, тускнеют и перед глазами всплывает его немеркнущая мечта — Зубайра. Сильнее стучит сердце, горячая кровь толчками растекается по жилам.

...Тихая безлунная ночь. Душно. Низко нависают тучи. От арыка тянет прохладой. Редко доносится свежее дуновение ветерка. А ночь черна — хоть глаз выколи. И все же вдали смутно виднеется или чувствуется грань, отделяющая небо от земли. Небо чуть-чуть светлей. Тускло-серым отливает поверхность воды в арыке.

Они сидят, прижавшись друг к другу, у запруды возле дома. У Зубайры уже заметно увеличился живот. Недавняя выпускница медицинского училища предусмотрительна: в последнее время стелит себе отдельно. Бекбаулу это не особенно нравится. Страсть в нем еще не угасла. Ночью он подкрадывается к ее постели и прижимается к слегка отяжелевшей жене. Она его успокаивает, нежными пальцами гладит жесткие, как конская грива, волосы. Не всегда помогает. Тогда она глубокой ночью ведет его к арыку. «Посиди, охлади свой пыл»,— говорит ласково. Действительно, ночная свежесть, сонное бормотание арыка и тишина вскоре успокаивают его. Без устали стрекочут в степи цикады. Лягушки томно выводят свою бесконечную любовную песню. Они молча вслушиваются в таинственные шорохи южной ночи.

Иногда он берет щуплую, невысокую ростом Зубайру к себе на колени и качает ее, будто ребенка. Она тихо посмеивается, тычется в его крепкую грудь и, разморенная лаской, медленно засыпает. Он перестает ее баюкать, застывает, замирает весь, всем телом, всем существом своим ощущая тепло и нежность доверчиво прижавшегося к нему женского тела, вдыхая ее запахи, от которых сладко кружится голова...

А в ту ночь они сидели рядышком, касаясь плечами и чуть покачиваясь. Зубайра пристально смотрела на ту-

склую поверхность воды и, затаив дыхание, как бы прислушивалась к своим думам. Потом вдруг, не поднимая головы, тихо позвала:

— Бек!

— Оу?— откликнулся он.

— Скажи: ты на самом деле любишь меня больше всего на свете?

— Да! Никого и ничего дороже тебя для меня не существует.

Долго они шептались, как бы боясь вспугнуть ночную тишину.

— Бек, а что если ты меня потеряешь?

Он вздрогнул.

— Как это... потеряю?! С какой стати?.. Умру, а тебя не отдам!— Он опустил широкую, как лопата, руку на ее плечо.— А ну, кто посмеет нас разлучить, а? Покажи-ка мне его!

— А если разлучит нас... смерть?

— Какая еще смерть?!

— Мало ли какая... Разве от родов не умирают?

— Да ну, брось глупости говорить! Ты же медик. Чего боишься?— Он притянул ее к себе, губами прижался к нежному изгибу шеи.— Не печалься, лучинка ты моя! Никакая сила нас с тобой не разлучит...

А как они потом радовались, как ликовали, когда Зубайра благополучно разродилась сыном. Им чудилось, будто они прошли через самое страшное испытание судьбы. Разве могли они предполагать, какое тяжкое горе подстерегало их впереди. Они были счастливы, и жизнь сулила только радость. Но... все обманчиво на свете. Погибла Зубайра... И теперь рви себе волосы, раздирай себе грудь, реви быком, бейся головой о камень, проклинай судьбу — ничто не поможет, не вернется никогда, никогда, никогда твоя единственная возлюбленная Зубайра. Смерть пощады не знает.

Уже забрезжил рассвет в боковом окошке, а Бекбаул так и не уснул.

X

Они отошли в сторонку, присели на корточки в тени тальника. Время близилось к обеду. Солнце стояло высоко. Но в тени было прохладно. С вышины лилась песня жаворонка. У ног, меж трав, поблескивал арычок. Вода в нем была мутная, желтая.

Таутан все говорил и говорил, что-то доказывая зятю. Время от времени он доставал из кармана костяную табакерку-шакшу, брал из нее щепотку насыбая, ловко закладывал за губу. Как ни старался он расстаться с душистым зельем, однако это было выше его сил. Он говорил и поплевывал на обе стороны. Поплевывал и снова говорил. На все лады хаял Сейтназара. Дескать, совсем обнаглел баскарма, зарвался, с людьми перестал считаться. Особенно в последнее время чванлив стал, грудь колесом выпячивает, всех одним прутом погоняет. В колхозе ни парторг, ни председатель аулсовета, считай, никакого веса уже не имеют, потрухивают послушно на поводу баскармы и рады. Правда, дела колхозные идут не так уж плохо. План, можно сказать, всегда перевыполняется. И на этом, собственно, и выезжает пройдоха Сейтназар. Но ведь, милые мои, моральный облик, сущность советского человека определяются не одними производственными показателями. Не так ли? Об этом очень хорошо пишут газеты и журналы. А разве товарищ Сейтназар отвечает всем требованиям, предъявляемым к настоящему советскому руководителю? А? Что на это скажешь, уважаемый зятек? И вообще Таутан имеет веские основания считать председателя подозрительным элементом. Он осколок прошлого. Да-да, не сомневайся и не смейся. Кокпаром увлекается? О, еще как! Во время посевных кампаний и страды позволяет колхозникам проводить разные тои-гулянки? Позволяет! Ойбай-ау, когда мулла сделал обрезание сынишке кетменщика Рыславлета, этот горе-руководитель сказал хоть одно слово? Пресекал? Нет, не сказал и не пресекал! Да и что он скажет, если сам — прямой потомок презренного служителя ислама — дамуллы. Ну, ладно, зятек, человек ты простодушный и на подобные вещи внимания не обращаешь. В политграмоте тоже слаб. Не обижайся, конечно. Я люблю говорить прямо в глаза. Не то что Сейтназар. Я всегда за честность, справедливость, за высокие... э-э... ну, как их... идеалы...

Ладно, хватит об этом. Ты только скажи: почему Сейтназар на тебя так взъелся? Почему колхознику-орденоносцу не дает достойной работы? Потому что завидует чужой славе, чужому счастью. И пользуется твоей покорностью и робостью. Вот что я тебе скажу прямо в глаза.

Да что там Бекбаул, этот плешивый зверем коснтся

на всех, даже на меня. Придирается к каждому документу, душу вымотает, пока подпишет. Значит, не доверяет, подозревает... боится, наверное, что Таутан обсчитает колхоз, несчастную копейку ненароком в свой карман сунет. Боже упаси, никогда Таутан такими делами не занимался. Не нужна ему чужая копейка. На жизнь, слава аллаху, зарабатывает и ладно...

Бекбаул слушал и думал: складно поет шурин. Ему и возразить невозможно. Но почему-то его многословие не убеждает. И чего он кружится над Сейтназаром, словно стервятник над добычей? Какую цель преследует? Допустим ради Бекбаула старается. Но зачем про то изо дня в день твердить: «Я тебя люблю. Я тебя уважаю». В конце концов станет тошно и от этой любви, и от этого уважения.

Бекбаул смотрел вдаль и поскребывал щеку. Таутан искоса наблюдал за ним, таинственно ухмылялся, поглаживал длинные усы.

— Не горюй, зятек! И везучего ударит рок. Сейтназар не вечно царствовать будет. Свернет себе шею. Увидишь!

Бекбаул сердито выставился на шурина.

— Оставил бы свою жалость при себе!

Таутан изобразил на лице недоумение.

— Ойбай, какая жалость?! Ты же не малец несмышленый, чтобы жалеть. Сердце за тебя болит, вот и говорю.

Бекбаул неожиданно зло посмотрел на шурина. Тот заерзал, вновь потянулся к табакерке, хлопая глазами, будто младенец невинный.

Бекбаулу вдруг захотелось ошеломить его какой-нибудь неслыханной новостью, и он сказал ему то, что до сих пор тщательно скрывал от всех (так ему, по крайней мере, всегда казалось).

— Эй, а известно ли тебе, что у меня с Нурией...

Таутан пососал насыбай под губой, ухмыльнулся.

— Ну и что? Подарок, что ли, просишь за добрую весть?

Сказал и презрительно сплюнул.

— А может быть — да!

— Э, за что?

— Как?! Если твой зять кобелем по бабам бегает, тебе разве приятно?

— Ба! А мне-то что?! Сестра умерла. Ей уж все

равно. Ты здоров, как бугай. Силу девать некуда. Если нашел себе для забавы толстозадую — кто осудит?

Бекбаул опешил. Этого пса, видать, ничем не прошибешь. Ему и на честь сестры наплевать. Дурень, нашел чем похвастаться! Теперь по всему аулу растрезвонит.

— Чепуха! — круто повернул Бекбаул.— Это я просто пошутил. Зачем мне чужая баба? Хотел тебя испытать... Да, видно, тебя такими штучками не возьмешь, а?

— Ладно, не виляй. Сами знаем.

— Что... знаете?

— Говорят, без ветра и трава не колышется. Бабы давно растрепали вашу тайну. Так что напрасно юлишь.— Плутоватая искорка вновь вспыхнула в глазах Таутана.— Но, повторяю, блуд свой чеши сколько вздумается. Меня не это тревожит...

— А что?

— Ревность — вот что! Любой муж ревнует жену. Узнает Сейтназар про ваши шашни — начнет мстить. Думаешь, он не догадывается, что на его кобыле толстой кто-то верхом ездит? Чует старый пес...

Таутан попал в точку. Такое подозрение давно уже пугало Бекбаула.

Странно все оборачивается. Сейтназар становится бельмом на глазу. После того, как Бекбаул решительно отказался сеять клевер в Ащы-кудыке, отношения их с председателем совсем испортились. Правда, при встрече баскарма неизменно интересуется: «Ну, как дела, упрямец?», но в голосе чувствуется холодок. Прошла половина лета, а Бекбаулу даже кетменем помахать не довелось. На скрипучей арбе, запряженной быками, возит он на станцию, на приемный пункт колхоза арбузы и дыни. Их там навалено горы. Весовщик не успевает принимать. Приходится иногда в ожидании очереди ночевать под открытым небом. Не одну бессонную ночь провел Бекбаул на приемном пункте, разглядывая мерцающие звезды на черном небе. В раздольной степи под беспредельным небом житейские заботы, волнения и повседневная суета кажутся ничтожно мелочными, далекими. Но коротка летняя ночь. Величественно занимается заря, всходит солнце. И опять продолжается все та же кутерьма. Вредина весовщик придирается к каждой дыне. По его словам получается, что все они помятые, побитые, перезрелые, гнилые. И начинаешь уламывать наглеца,

упрашивать, умолять, улещивать. И отцом родным назовешь, и братом, и дядей. Ничего не поможет. Тогда терпению приходит конец и от досады начинаешь нажимать на глотку. Но и у весовщика глотка луженая: не перекричишь, не переорешь. Однажды Бекбаул нацепил свой орден и грудью пошел на него. «Ты! Разинь-ка пошире гляделки! Над кем куражишься, знаешь?! Думаешь, с темным казахом дело имеешь?! Смотри!» А весовщик этот и глазом не моргнул. «Подумаешь: кочка на ровном месте! Побрякушку повесил, а сам быкам хвосты крутишь. Был бы важной шишкой, на иноходце бы гарцевал, как Сейтназар-баскарма!..» И пошел, и поехал...

Вот так, всюду преследует его тень Сейтназара. Как в старинной поговорке получается: «Куда ни пойдешь — везде могила Коркута».

Иногда Бекбаул спрашивал себя: а что бы было, не прославься он на строительстве канала? Жил бы, пожалуй, тихо-мирно и не терзал бы себя мыслями об ущемленном достоинстве и самолюбии. Отсюда можно сделать вывод, что лучше и проще живется обыкновенным смертным. Они не ведают зависти, ревности, душевных мук. Смута человеческая начинается там, где рождаются зависть, взаимная неприязнь, недоброжелательство. Конечно, хорошая зависть, желание быть лучше, недовольство собой — сами по себе не страшны. Они подталкивают человека, держат его в напряжении, ведут к доброй цели. Но бывает и наоборот. Беспокойство загоняет тебя в тупик и вместо движения вперед начинается топтание на месте. Тогда мрачнеет душа, ожесточается сердце, и, снедаемый черной завистью, злобой, ты видишь вокруг одно плохое.

Именно в таком состоянии пребывал сейчас Бекбаул. Ему все время чудилось, будто кто-то вспугнул жар-птицу, севшую было на его голову.

Порой он говорил себе: да на кой дьявол сдался мне Сейтназар? Он такой же грешник, как все. И ничто от него не зависит. Просто везет — и все. Заупрямилась, отвернулась судьба. Но тут же передумывал. Вспоминались слова отца: «Сынок, не ссорься с баскармой. К добру вражда не приведет. Уповай на аллаха. Не обязательно лезть в начальство. И так с голоду не пропадешь». Опять Сейтназар! Шагу без него не ступишь! Сам же его, рядового кетменщика, выдвинул, прославил, а теперь относится к нему, как ко всем остальным. А раз-

ве Бекбаул — один из многих? Разве он стоит наравне с другими?

Оу, как жить дальше? Вот, например, недавно на стане состоялось открытое собрание по итогам десятидиевки. Бекбаул попросил слово, но председатель отмахнулся: «Товарищи, прения прекращаются. Если будут предложения — подавайте в письменном виде мне». Вот те раз! Бекбаул вспыхнул: «Как так? Нам средь бела дня рты затыкать?! Прошу пять минут. Скажу о безобразиях на приемном пункте». «Нечего зря болтать!— отрезал председатель.— Райисполком в курсе. Все дело в том, что не хватает вагонов для погрузки дынь. Понятно?» «Понятно-то понятно,— не унимался Бекбаул.— Но имею я право сказать свое мнение перед коллективом?» «Э, дорогой, оставь!— Председатель поморщился.— Не время языком чесать да байки слушать!» Бекбаулу пришлось сесть, так и не выступив. Но это еще что?! На том же собрании за хорошую работу многим колхозникам выдали чай, сахар, материал, а Бекбаула опять обошли. Еле дождавшись конца собрания, Бекбаул подошел к баскарме. «Оу, уважаемый! Что же это получается? Где моя доля?» Сейтназар ответил походя: «Не обижайся. На этот раз мы премировали тех, кто работает на ответственном участке. А в следующий раз — учтем». Выходит, возить на станцию арбузы и дыни — не ответственная работа. Что ж, пожалуй, верно. Какая тут ответственность? Любому старикашке по плечу. Вон, к примеру, Карл Карлович возит молоко из Кзылкума аж в раймаслопром. Значит, для здорового, плечи в сажень, джигита такая работа — просто насмешка. Позор! И придумал это опять-таки Сейтназар.

На другом собрании председатель завел такую речь: «В нашем колхозе появились отдельные товарищи, которые отказываются выполнять поручения и увиливают от работы. По-видимому, они надеются на заступничество родственников, из тех, кто с папками под мышкой ходят. Однако должен напомнить: порядок и дисциплина существуют для всех. Есть у тебя благодетель-заступник или нет — ты обязан работать наравне со всеми!» Намек был прозрачен: благодетель-заступник с папкой под мышкой, конечно же,— Таутан, а нарушитель порядка — Бекбаул.

Не знал Сейтназар, что эта речь ему дорого обойдется. Он сам подкинул полено в разгоревшийся костер ненависти. Таутан решил действовать.

— Бекбаул, так жить дальше нельзя. Чем больше ты в кусты, тем сильнее он тебя по башке...

— А что делать?— беспомощно спросил Бекбаул.

Мангазин подсел поближе, воровато оглянулся по сторонам, посопел, понизил голос.

— Есть один-единственный выход...— Таутан достал из нагрудного кармана кителя бумагу, сложенную вчетверо, и протянул Бекбаулу.— Вот тут записаны все неблаговидные делишки баскармы за последние четыре года. Мне ведь все известно. Недаром столько времени торчу в конторе. Здесь как в священном писании. Прочти, поставь свою подпись и верни мне. Остальное — моя забота. Пошлю бумажку куда надо. И тогда полюбуемся на нашего самодура. Плюнь мне в рожу, если он не полетит вверх тормашками!

Бекбаул расправил лист бумаги, но читать не стал.

— Оу, что это получается? Может, проступков-то у Сейтназара и нет? Нам же люди в глаза плюнут!

— Сказано: не сомневайся. Знаю что делаю! Прочти, если не веришь. И распишись!

— Ты раскрыл преступление, ты и подпиши!

— Тьфу, бестолочь!— Таутан от досады хлопнул себя по коленям.— Да пойми ты: как я подпишу, сидя с ним в конторе рядом?! А, ойбай?! Кто мне поверит? Скажут там, наверху: не поладили, мол, начальники. Не поделили что-то. И прикроют дело. Не дадут бумаге ход. А то еще вызовут и отчехвостят. Ты что, дескать, до сих пор молчал, главный бухгалтер? Председателя-жулика покрывал? Значит, сам ты кто? Понимаешь? А с тебя иного спросу. Ты рядовой колхозник. К тому же знаменит на всю область. Отмахнуться от тебя нельзя. Не имеют права! Вот и...

— Но... наверняка проверка будет, комиссия прискачет.

— Разумеется. Но тебе-то что? Не тебя же проверять будут, а Сейтназара-паскуду...

Бекбаул, шевеля губами, принялся читать. Ровные, как нанизанный жемчуг, аккуратные буковки запрыгали, замельтешили перед глазами. Он ничего не мог понять. Дойные коровы, нечестно распределенные между колхозниками... Разбазаривание колхозного имущества...

Злоупотребление властью... Вначале он решил было прочитать бумагу потом, на досуге, но тут же раздумал. Все равно лучше этого проныры-бухгалтера не разберется он в тонкостях подспудной жизни состоятельного колхоза, да и разве поймешь, где, когда и как кто что ворует. А, была — не была. Кто хочет — поймет. Кому надо — разберется. Сейтназар ему не брат, не сват. Пусть отбрешется как хочет. Или как сумеет.

Он выхватил из рук Таутана карандаш, помусолил его отточенный кончик и, разгладив бумагу на колене, размашисто расписался в нижнем углу.

XI

Престарелый Альмухан неделю промаялся в постели, не мучаясь сам и не беспокоя других, но, видно, иссякли дни, отпущенные всевышним на его долю, и в удачливый день среды, на рассвете, он мирно расстался с жизнью. Помянуть известного в округе старого дехканина собралось много народу. Похоронили покойника как подобает, со всеми обрядами и почестями. Он тихо жил и тихо умер. Он знал, что умрет, и спокойно ждал рокового часа. За день до кончины подозвал к себе маленького внука, прижал к себе легонько, слабым голосом произнес:

— Единственное мое желание: пусть Жолдыбай никогда не почувствует сиротства.

Старуха и сын при этих словах промолчали. Только еще ниже опустили головы. «Э, бедный,— хотела бы сказать старуха,— что о Жолдыбае-то беспокоишься, о себе лучше подумай», но тут же решила, что, должно быть, чует старик свой близкий конец и на всякий случай послала за аульным муллой. Старика обмыли, уложили в постель, и свидетелем его последних мук стал мулла — крохотный старикашка с маленькой дрожащей бородкой и короткими, хилыми ножками. Как истинный правоверный, с аллахом на устах покинул почтенный Альмухан «грешный» мир.

Перед домом поставили юрту. И началась обычная в подобных случаях суматоха. Резали скот, устанавливали громадные котлы. Когда умирает старый, вдоволь поживший человек, плакать в голос и убиваться считается неприличным. Эдак можно только аллаха прогневать. Поэтому бабы у очагов оживленно судачили и даже

посмеивались. Только пожилые мужчины сурово хмурили брови. Иные из дальних родичей по обычаю еще издалека подимали вой: «О, родно-о-ой!», «Агатай, на кого ты нас покину-у-ул?!» У входа в юрту встали в ряд самые близкие покойного — человек пять — во главе с Бекбаулом. Соболезнующие поочередно обнимались с каждым из них, разделяя горе, говорили утешительные слова. Каждый раз, когда вновь прибывшие переступали порог юрты, коротышка-мулла, сидевший на коленях на почетном месте, напрягал голос, плотно закрывал глаза и гнусаво заводил какую-нибудь суру из Корана. Он бормотал тусклым, монотонным голосом что-то длинное, бесконечное, невольно навевая тоску и сон. Мало кто понимал, что так отрешенно бормотал мулла, но все слушали, понуро свесив головы. Слушали, ощущая, должно быть, таинственный страх перед смертью, которая в свой час неумолимо настигнет каждого, и испытывая непонятную дрожь от глухого, убаюкивающего голоса служителя аллаха.

Похороны всегда связаны с большими хлопотами. Столько людей надо принять, накормить, напоить! Отличился Сейтназар: выписал за счет колхоза два мешка муки, чай, сахар, распорядился на двух арбах доставить топку. Ну, а Таутану сам бог велел, как-никак родня ведь. Тоже в грязь лицом не ударил: привел на поводу жирненького бычка, поставил у коновязи. И другие родственники, как и положено, помогали каждый чем мог. Никто не приходил с пустыми руками. У казахов иногда трудно отличить поминки от радостного торжества. Там, где собирается много народу, родственники, не скупясь, делятся всем, что имеют. И поздравляя с какой-либо радостью, и соболезнуя горю,— все равно принимают участие во всех расходах. Такая помощь умножает радость и облегчает горе. Это древний обычай, добрая традиция — делить и счастье, и беду.

Пришли и давние приятели — Рысдавлет, Байбол и другие джигиты. Молча принялись за работу: колоть дрова, резать скот, прислуживать старикам. Каждый старался утешить Бекбаула. Байбол-Балабол шуткой пытался развеять печаль приятеля.

— Отец твой был великий дехканин. Землю чувствовал и понимал, как сам создатель. Да только больно тихий был. Клок сена у овцы не заберет — такой кроткий. Боюсь, на том свете затюкают его покойнички и в

рай не пустят. И будет Алеке вечно у райских ворот околачиваться...

Говорить такое о человеке, прожнвшем почтн девяносто лет, «дьяволом помеченный» Байбол-Балабол не считает кощунством. Конечно, если подобиые шуткн дойдут до старнков, то несдобровать озорнику. Поэтому шутники и озираются по сторонам.

Коичились помннки, разошелся иарод, и в неожиданно опустевшем доме остались только трое. Лншь теперь Бекбаул заметнл, как за эти дни осунулась н постарела мать. Последние два-три месяца отец недомогал и, прнслушиваясь к его кряхтеиию, мать тоже вздыхала и горевала, а Бекбаул, и ие подозревавший об опасности, только посмеивался. Теперь выяснилось, что престарелый, дряхлый отец был едва ли ие опорой дома. Бекбаул это понял, глядя на странно притихшую, сжавшуюся в комок старуху-мать. Видно, давно уж слились души стариков, и теперь мать чувствовала себя одинокой, никому не нужной, будто погас какой-то таииственный огоиек в грудн. За стеной гулял-посвистывал холодный ветер и словно нашептывал ей на ухо: «Спутника твоего, с которым ты шла бок о бок сорок лет, уже не стало. Осиротела ты, старая. Теперь твой черед... твой черед...» Мать была оглушеиа горем, вся ушла в себя. Ни к чему у иее душа не лежала. Ничего уже ие хотели делать руки. Даже к казаиу не прикасалась. Жолдыбай, несмышлеиышвиучек, чувствовал, что случилось в доме что-то страшное, непоправимое, и жалостливо жался к бабушке. Она укрывала его подолом длинного чапана, похлопывала по спине и старческим иадтресиутым голосом выводила колыбельную, которая, однако, больше смахивала на гнусавую молитву коротышки-муллы.

Бекбаула тоже поразила смерть старого отца. Ои плакал, горестио хмурил брови. Отец есть отец. В жилах сына течет его кровь. И все же, глядя иа убитую горем мать, он испытывал внутреннюю неловкость, иечто подобиое угрызеиию совести. Всего каких-нибудь семь дней прошло, а он не горюет вовсе н сиова с головой окунулся в житейскую суету. Что это? Душевная глухота? Черствость? Забвение сыновиего долга? Нет, не может быть! Человек рождается и умирает. Старики утверждают, что бессмертен только дьявол. Отец же жил как простой, смертный человек. Не завидовал чужой удаче, не жаловался на свою долю. В анкете, заполнеиной при вступле-

нин в колхоз, его записали как «неимущего бедняка». Перед самой революцией он обзавелся было кое-каким скотом, но вспыхнула ссора между родами Кипчак и Конрат, и барымтачи очистили его двор дотла. Работал он с самого детства, был трудолюбив, силен, но семья никогда не знала достатка. Много поездил, походил отец в молодости. Тогда в здешних краях выращивали не только арбузы и дыни, но и сеяли вдоль побережья Сырдарьи просо, пшеницу, ячмень и собирали отменный урожай, а зерно возили далеко, за тридевять земель. В колхоз он пошел одним из первых. Передовиком, пожалуй, не был, но считался стариком сметливым и рассудительным. К советам его прислушивались. Собраний не пропускал, но выступал редко, больше слушал. Видно, просто не желал плестись в хвосте большого кочевья.

Обыкновенная жизнь обыкновенного человека. Раз уж живешь на земле, все познаешь сполна: радость и печаль, счастье и горе. Но в долгой жизни отца, как кажется Бекбаулу, больше всего было покоя и безмятежности. Конечно, это вовсе не означает, что спокойна была жизнь, безмятежно время и мирны, робки люди. Отнюдь нет. Но ведь бывают же люди, которые и в самое бурное время не теряют головы и продолжают жить неприметной, размеренной жизнью. Именно к такой категории людей наверняка и относился покойный Альмухан. По следам отца шел и Бекбаул, и точно так же складывалась его судьба, пока он не выдвинулся из своей среды, не познал пьянящий дух славы. С той поры и лишился он покоя. Даже в дни похорон не покидали его житейские дрязги. Опять думалось: с чего это Сейтназар так старается, со своей помощью лезет, будто и не случилось ничего? Неужели он не догадывается о той «черной бумаге», которую собственноручно подписал Бекбаул? Чего добивается Таутан? И что надо ему, Бекбаулу? Какая им польза, если даже снимут Сейтназара? Самое правильное, пожалуй, жить честно и тихо, как отец. Только такие люди, наверное, и живут долго. Правда, тогда после тебя не останется ни славы, ни громкого имени, зато и вреда, и зла никому не сделаешь. Ну, а зачем она нужна, слава-то?.. Можно же жить, скажем, просто, никому не мешая, не переступая дороги, не ссорясь, не споря, не возражая. Доволен или недоволен — все остается глубоко захороненным в душе и ни до чего

нет дела. Ешь и спишь, сколько душа желает. Одет, обут. В тепле, в уюте. Здоровье прекрасное, совесть чиста. Жил, жил — состарился. И не заметил, когда и как пришла за тобой вразвалочку усталая и скучная старуха-смерть.

И только? И это все? И это — жизнь?

* * *

Пришла-приволочилась пестро-рыжая осень. Пожелтела куга; поблек, поник камыш; потянулись в воздухе серебристые нити; плыл, кружась, белый пух. Степь лишилась весенней свежести, выцвела, высохла, потемнела проплешинами, похожими на пыльные такыры. Если смотреть с вершины холма, перед глазами открывается печальная картина постаревшей, уставшей родами земли. Тальник и тополя еще не обезлистились, однако приуныли, посерели. Пожухла трава. Грустно бормотали арыки. Они ссохлись, помельчали. По небу, то сбиваясь, то рассеиваясь, плыли тучи. Но пора осенних дождей еще не настала.

Многие колхозы уже покончили со страдой, и колхозники, разогнув спины, отдыхали. С честью управились иные и джигиты аула Байсуи. Все овощи и фрукты собрали вовремя, не позволили гнить на станах и складах, в сохранности сдали государству. Доходы были немалые. На трудодни никто не обижался. И лишь годами пустовавшие земли Ащы-кудыка так и не успели засеять клевером, но баскарма приструнил кого надо и наметил меры на будущий год.

Сейтназар был в хорошем настроении. Жена после долгих ожиданий и волнений родила ему крепенького, чернявого сынишку. Осторожно покачивая его на коленях, он с удивлением разглядывал сына, хмыкал: «Эй, жена, на кого этот чертенок похож?!» Нурия презрительно шлепала губами. «Еще спрашивает! Он как две капли воды похож на моего дядю-караванщика, погибшего в пустыне. В родню, значит, наш парень удался...» Сейтназар вроде бы никогда не слыхал о дяде жены, в безлюдной пустыне нашедшего свою смерть. Ну, что ж... был так был, погиб так погиб. Ничего страшного, если сын похож на родню жены. Дай ему бог только здоровья и долгих лет жизни. Не зря, видать, жена по курортам ездила. Вон как раздобрела и похорошела!

В честь сына Сейтназар провел шумный той. Даже в район съездил за разрешением. Хотел было председатель провести пир, соблюдая все добрые дедовские обычаи — с кокпаром, байгой, борьбой силачей-палуанов, но парторг стал отговаривать: «Выкинь вздор из головы! Погулял три дня — хватит. А кокпар, байга в наши дни расцениваются как политическая близорукость, как возрождение вредных пережитков прошлого. Понял?» Парторг и председатель были ровесниками и приятелями. Между ними очень редко возникали недоразумения. Но на этот раз Сейтназар не хотел соглашаться с доводами парторга. «Ай, оставь! Не пугай. Какое отношение к политике имеет кокпар и байга?! Лишь бы никто не убился. Район разрешил, жена моя не каждый день сыновей рожает, так что не мешай, дорогой, не скупись...» Парторг сомнения свои скрывать не стал. «Да пойми: я лично разве против? По мне хоть десять дней тягай кокпар. А потом — что? Ведь с меня, с парторга, спрос. Думаешь, такие «бдительные», как Мангазин, не станут пакостить? Думаешь, промолчат? Ого!..»

Сейтназар задумался. Сколько лет работают они бок о бок в одном колхозе, но еще не бывало, чтобы сын Мангазы говорил: «хорошо» или «добро». Он видел только плохое, только недостатки. А этих недостатков, недочетов — хоть отбавляй. Их нужно видеть, раскрывать, с ними нужно бороться. Но разоблачать зло и злорадничать — разные вещи. А Мангазина недостатки эти почему-то не огорчают, а радуют. Сейтназар считал, что беда бухгалтера в его сварливом, неуживчивом характере. После долгих раздумий председатель, скрепя сердце, отказался и от кокпара, и от байги. И без того, кажется, достаточно шумно отметили рождение смуглого бутуза.

Недавно Сейтназар повздорил с главбухом. Пришли колхозники с жалобой. Налоги, дескать, платим исправно, на заем подписываемся, а облигации до последней копейки прикарманивает себе Тутан. Председатель обещал все выяснить и, едва проводив колхозников, вызвал бухгалтера.

— Почему не раздаешь вовремя заем?— начал он, выкатив слезящиеся глаза.— Отвечай! Почему я такими мелочами должен заниматься я?! Или, по-твоему, других дел в колхозе нет?

Тутан, по-видимому, не ожидал такого натиска. Заикаться начал:

— Ка... ка... какой еще заем?

— Финагент ведь, оказывается, заем тебе передает... Ему, что, самому лень раздавать?

— Кому... лень? А, финагенту? Наверно, некогда, раз поручил раздавать мне...

— Пусть он поручает хоть последней собаке. Мне один черт. Но чего ты... тянешь? Где заем? Почему у себя хранишь? Или солнть хочешь, коптнть и втихомолку съесть, а?!

Когда председатель наскакнвал с таким пылом, Таутан невольно съеживался, опускал глаза, бормотал что-то невнятное, точно провнннвшнйся школьник.

— Что делать?.. Запурхался с деламн... не успел...

— Какне дела? Камни, что лн, ворочаешь?! Илн устаешь на счетах щелкать?! Я вот весь день на ногах, а вроде терплю, не жалуюсь. Прнвыклн скулить, зады в тепле греть, бездельннкн! Лоботрясы!!

— Вы ошибаетесь,— возразнл вдруг бухгалтер. Он сидел как в воду опущенный, не зная, как выкрутиться, но теперь встрепенулся, будто сброснл с плеч непомерную тяжесть.— Учет — основа социалнстической экономикн, так сказать. Без учета социалнзма не построишь. А вы позволяете себе выражаться небрежно, неуважн...

— Эй, я это знаю не хуже тебя! Не выкручнвайся! Себе оставь тары-бары! Чтоб завтра роздал людям весь заем. Понял? И чтоб об этом не было больше разговоров!

— Ладно... хорошо...— еле выдавнл из себя Таутан.

Сейтназар старался не бросать слов на ветер. И хотя на работе бывал беспокоен, нетерпелнв, вспыльчив, отличался все же нравом добрым, покладистым, мягким. Да и отходчнв был, зла в себе не держал. Правда, нногда терялся, будто боялся чего-то... Особенно бледнел, настораживался, когда кто-ннбудь — то ли в шутку, то ли всерьез — называл его сыном дамуллы. Но чьим бы сыном он ни был, Сейтназар дело свое знал н любнл. Радн колхоза не жалел нн здоровья, нн снл. В грамоте был не особенно снлен, н в сложных поворотах текущей политнкн не очень твердо разбнрался. Но помыслы былн чистые. Когда надо, он вскакнвал вместе со всеми, кричал: «Да здравствует!», «Слава!» Сам, однако, громко говорнть не любил н болтунов презирал. Едва терпел некоторых назойлнвых, бестолковых, но самоуверенных уполномоченных нз района. Бывало, вступал с нимн в конфликты. В Таутане его раздражали мнимая актив-

ность и «бдительность», которые он называл куцехвостыми, но за сметливость в бухгалтерском деле уважал.

Он не догадывался, что после злополучной истории с облигациями нажил в Таутане злейшего врага. На другой день главбух встретился с жалобщиками, долго говорил о взаимном доверии, чуткости, дружбе, напомнил, что казахам не к лицу быть мелочными, и, оказав кое-какие почести, заткнул им рты. Однако недовольных в ауле оказалось много. И заставить всех молчать было невозможно. Таутан решил: действовать нужно незамедлительно. Если удастся убрать Сейтназара, все остальное само по себе сразу уладится. И кипы припрятанных облигаций останутся в кармане.

XII

С утра Таутан объездил верхом на лошади все дома и оповестил аулчан: вечером в колхозном клубе состоится важное собрание. По-разному судили-рядили в ауле. По слухам, Бекбаул подал жалобу на председателя в область, и с некоторых пор Сейтназар находится едва ли не под следствием. Одни сочувствовали Бекбаулу: обиделся, мол, малый, раз не воздают ему по заслугам; другие утверждали, что дело это явно нечистое и вряд ли сам Бекбаул до такого додумался, скорее всего, науськал его пройдоха-бухгалтер, недаром увивался вокруг него в последнее время. Однако с чего разгорелся сыр-бор толком никто не знал. Думали: обойдется. Теперь, узнав, что всех собирают на общее собрание, аулчане встревожились.

Еще до наступления сумерек маленький колхозный клуб был переполнен. Собрались все, кого держали ноги, даже глубокие старики и малые дети. В четырех углах зала, стены которого были заляпаны плакатами и лозунгами, горели висячие лампы. Скамейки стояли тесными рядами, но все равно всем не хватило места. Сидели на глиняном полу, впритык к крошечной сцене, жались к стенкам, толпились в проходе. Красный бархатный занавес был раздвинут. На сцене стоял длинный стол, покрытый сероватым, в чернильных пятнах сукном. Стулья для президиума пока пустовали.

Зал гудел. Иногда прорывался приглушенный смех молодежи. Взрослые хмурились, задумчиво молчали, сурово косились на расшалившихся юнцов. На всех, одна-

ко, не прицыкнешь. В зале разговаривали, смеялись, заигрывали, иные джигиты украдкой тискали игривых молодух.

Начальство на этот раз не заставило себя долго ждать. Из боковой двери вышли, держа под мышками толстенные папки, несколько человек и уселись за стол президиума. Среди них находился и заместитель председателя райисполкома — долговязый, поджарый, очень смуглый, в хромовых сапогах, в кителе, галифе и фуражке. Поговаривали, что он на Сейтназара издавна точил зуб, а на заседаниях бюро, бывало, они не однажды цапались. Присутствие на колхозном собрании районного начальства означало, что дела баскармы и в самом деле неважны. Опасения эти усугубились, когда собравшиеся не увидели вдруг в президиуме самого Сейтназара. Парторг колхоза, почему-то в поношенном костюме, небритый, откинул волосы, растерянно оглянулся и, косясь на поджарого заместителя председателя райисполкома, хриплым голосом сказал:

— Товарищи, сегодня на повестке дня один вопрос. Это о некоторых небла... неблаго...— Парторг, не глядя в зал, погладил скатерть, запнулся. Представитель райисполкома досадливо покашлял. Воцарилась тревожная тишина.— Неблаговидных поступках председателя колхоза товарища Сейтназара. Следует вынести решение общего колхозного собрания. Слово имеет районный прокурор.

Поднялся грузный, почти квадратный, узкоглазый мужчина и, тяжело ступая, направился к трибуне. С достоинством посмотрел поверх зала куда-то вдаль. Толстые стекла очков холодно блеснули. Покрякал, помешкал. Под председателем собрания скрипнул стул.

— Оу, сколько еще ждать-то будем?.. Начните же ради бога!— сказал он нетерпеливо.

Прокурор медленно разложил свои бумажки и заговорил очень странным для его комплекции тонким голосом. Начал он речь издалека, говорил утомительно, долго. Перечислил всех предков Сейтназара, дал им обстоятельную характеристику. Вскользь отметил и заслуги обвиняемого, но больше нажимал на недостатки, недочеты, проступки председателя колхоза, которые в конечном счете привели к неслыханным, вопиющим нарушениям. Но прежде прокурор счел нужным остановиться на грандиозных задачах, стоящих перед обществом, и на том,

как нарушение социалистической законности мешает осуществлению этих задач...

Сейтназар сидел в углу, вобрав голову в плечи. Нежданная беда подкосила его. Он осунулся, поблек... В последнее время его часто вызывали в район. Держался председатель независимо, даже вызывающе, опирался на свой авторитет, но очкастый прокурор постепенно, понемногу доконал его. Он располагал такими фактами, что Сейтназару невозможно было оправдаться. Года три назад, когда Нурия задумала ехать на курорт, Сейтназар занял у бригадира овощной бригады четыреста рублей. Не отправишь же родную жену на курорт с пустым карманом! А потом, надо же было так случиться, совершенно упустил свой долг из виду, а бригадир, как назло, ни словом о том не заикнулся. Однажды этот бригадир потребовал подписать квитанцию на три телеги дынь. Сейтназар удивился: «Почему я должен подписать? Это же подлог!» «Как почему? — усмехнулся бригадир.— Или забыли? Надо же как-то восполнить ту сумму». Председатель смутился и... подписал квитанцию. В жизни не занимался махинациями, а тут черт попутал. Помнится, говаривал отец: «Уж кого-кого, а воров в нашем роду не было. Будь честен, сынок, никогда не зарься на чужое». Эх, как был прав покойный дамулла! Теперь эти четыреста рублей вышли боком. И кто разоблачил его? Сын Альмухана, тихоня Бекбаул!

Сейтназар незаметно огляпулся. Не видно что-то Бекбаула. Жалобу-то, дурень, накатал, а прийти на судилище не осмелился. Впрочем и без него, пожалуй, обойдутся. Вон как прокурор распинается, душу выматывает, выкручивает! Говорит так, будто злейшего врага социализма разоблачает. Что ж... на то он прокурор. Кому же еще, как не ему, разоблачать разных там жуликов и стяжателей, хапуг и рвачей?!

Больше всего жаль парторга. Ни за что ни про что попал, погорел. Сколько лет работают бок о бок, в полном согласии, и вдруг такая заваруха. Парторг искренне старался помочь другу и не раз ездил в район, но напрасно: дело передали в прокуратуру. Первый секретарь райкома, убедившись, что действительно в колхозе не все обстоит благополучно, созвал в срочном порядке бюро. Сейтназару досталось крепко. Не признайся он честно во всех своих грехах, пришлось бы тогда выложить партийный билет. Заместитель председателя рай-

исполкома настаивал передать дело Сейтназара в суд. Бюро решило обсудить его на общем колхозном собрании. «Я не могу нарушить колхозный устав,— заявил твердо первый секретарь.— Пусть судьбу своего председателя решат сами колхозники». Против этого никто возражать не посмел.

Наконец прокурор закончил длинную обвинительную речь. Парторг беспокойно оглядел зал.

— Ну, кто выступит? Есть желающие?

Никто не шелохнулся. Наступила тишина. Потом в зале начали ерзать, чихать, откашливаться. Тяжело поскрипывали скамейки.

Председатель собрания растерянно озирался.

— Оу, так и будем в молчанку играть? Скажите хоть что-нибудь!

Председатель райисполкома быстро написал что-то на бумажке, подвинул парторгу. Тот прочел, согласно кивнул головой.

— Тут есть, оказывается, список записавшихся. Может, им дадим...

В углу зала неожиданно вскочил низкорослый Байбол, резко вскинул руку.

— Что, Байбол, говорить будешь?

— Нет, аксакал, вопрос один есть...

— Что за вопрос?

— Вот уже добрый час вы тут в хвост и в гриву чехвостите председателя. Неужели все это и в самом деле так? А если это поклеп какого-нибудь дерьма? Мне лично непонятно...

— Ты у меня спрашиваешь?

— Да, именно! Кто еще лучше вас обязан знать баламутов в ауле?!

— Оу, дорогой, об этом ведь только что сказал товарищ прокурор! Что я могу еще добавить?..

Представитель райисполкома дернул плечом.

— Слушайте... как вас там... товарищ?— Он показал рукой в сторону Байбола.— Вы ведь не на базаре находитесь! Здесь, к вашему сведению, колхозное собрание. Хотите выступить — пожалуйста, на трибуну поднимитесь.

Байбол только рукой махнул и сел. Сейтназар почувствовал поддержку, встрепенулся, искоса повел взглядом. Интересно, кто еще выступит? Надо же, Байбол-Балабол, кого и всерьез-то никто не принимает, и

тот, оказывается, верит в честность председателя. Это приятно, но жаль, что на самом деле председатель не совсем безгрешен, как некоторые думают... Но, вон выскочил на трибуну и застрекотал, как из пулемета, один из давних недоброжелателей. Ну, ясно, прошел предварительную обработку. Так беднягу настропалили, что готов стереть Сейтназара с лица земли. Всю жизнь отсиживался, подлец, в сторонке, искал, где полегче да пожирнее, а тут вдруг из себя правдолюбца корчит. А было ли от него пользы колхозу хоть на копеечку? Ай, вряд ли! И чего распинается?! Все равно вместо Сейтназара председателем не поставят. Помнится, в прошлом году он поймал его на улице: на ишаке вез ворованные колхозные саженцы на городской базар. Он привел тогда ворюгу в контору и сказал ему несколько ласковых слов. Теперь настал его черед читать председателю нравоучения. Всякая мразь начинает счеты сводить.

Ого, еще один рукой машет, слово просит. Ба! Да это же... Карл Карлович! Неужели и его успели обработать? Что ж... ничего не поделаешь... Сиди и слушай...

Карл Карлович, сильно хромая, прошел по рядам через весь зал, остановился возле трибуны. Представитель райисполкома с удивлением уставился на длинноносого, синеглазого старика. Его он видел впервые. В списке, предложенном Мангазиным, фамилия его не значилась. Кто он? Что он скажет?..

Карл Карлович снял круглую шапчонку, отороченную мерлушкой,— с ней он не расставался и зимой и летом,— и деловито положил ее на трибуну. Редкие, пепельные волосы упали на лоб. Прежде чем заговорить, он вытянул шею, повел вверх-вниз крупным кадыком.

— Э, дети мои, я такой же большевик, как и вы,— начал он на чистом казахском языке. Представитель райисполкома невольно хмыкнул. Видать, в этом ауле одни политиканы собрались, подумал он.— Хорошо ли, плохо ли, все мы служим Советской власти. И при этом стараемся, чтобы было лучше. Совесть у нас чиста. То же самое, я думаю, может сказать и товарищ Сейтназар. Давно он руководит нашим колхозом... О, аллах, даже вот этот клуб, в котором мы сегодня судим (при этих словах парторг поморщился, недовольно уставился на оратора)... да-да, судим хорошего человека, был построен только благодаря Сейтназару. Сколько ему хлопот и усилий это стоило?! Помню, Таутан и ему подобные

даже слушать о строительстве клуба не желали. Дескать, карман колхоза недостаточно тугой и лучше сперва набить утробу колхозников. Тогда взялись за дело комсомольцы и...

Такой речи представитель райисполкома не ожидал.

— Извините, товарищ,— остановил он оратора. Даже обеими руками замахал.— С историей жизни председателя колхоза Байсуи мы хорошо знакомы. Сейчас разговор не об этом... ну, поймите же, ойпырмау!

Карл Карлович недаром прожил большую жизнь: не испугался грозного начальства. Помолчал, повел кадыком, сдержанно спросил:

— Почему затыкаете людям рты, а?!— и вдруг сорвался на крик:— Прошу не перебивать!— Последнее он уже сказал по-русски.

По залу прокатился гул. Байбол и его приятели громко захлопали. Председательствующий постучал по столу, призывая к порядку. У оратора окреп голос.

— Что же получается, товарищи? Человека заслуженного, много сделавшего для народа, мы сегодня обвиняем во всех грехах и, не стесняясь, обливаем грязью. Вижу, кое-кто хотел бы его в Сибирь упечь. Наши сунаки обычно говорят: «И конь спотыкается, и человек ошибается». Так вот, споткнулся уважаемый человек, с кем не бывает... Что ж теперь, съесть его, что ли, с потрохами?! Нет, товарищи, не по-людски это. Я предлагаю вот что. Среди нас нет таких, кто бы у холодного очага голый зад грел. Давайте соберем с каждого по двадцать рублей и сполна вернем государству долг председателя. И таким образом сразу все решится, товарищи!

Байбол и его дружки бешено задубасили в ладоши. Зал всколыхнулся. Представитель райисполкома криво усмехнулся и покачал головой. Парторг явно встревожился. Молоденький секретарь забыл про протокол, застыл с открытым ртом. Карл Карлович повернулся к нему.

— Точно запиши все мои слова! А то потом неразбериха будет. Смотри!..

После выступления Карла Карловича Сейтназар немного пришел в себя. Хорошо, когда утопающему протягивают руку. Конечно, от всех бед это не спасает, но дорога поддержка. Особенно неожиданная. И в зале вроде

бы потеплело. А то люди чувствовали себя неуютно, скованно, словно на льду в зимнюю стужу. Шутка ли: времена строгие, и дисциплина суровая. Ходили слухи, что в городах строго наказывали даже за десятиминутные опоздания на работу. И если в такое время выясняется, что председатель, у которого к тому же сомнительное социальное происхождение, присваивает себе колхозное добро, и сам районный прокурор считает его злостным преступником, то уж лучше держать язык за зубами. Не все же такие отчаянные, как Карл Карлович. Не все дрались с белоказаками и получали от красных командиров сабли с серебряным эфесом за храбрость. Разумней помалкивать, вобрав голову в плечи.

А тут словно прорвалось. Колхозники поднимались один за другим. Конечно, полностью оправдать председателя теперь, после всех обвинений, никто не решался. Однако и окончательно утопить его не дали. К концу собрания попросил слово представитель райисполкома и, конечно же, не пожалел красок для очернения своего давнего недруга, однако и он понял, что задуманного намерения осуществить не удалось. Решение общего колхозного собрания, заранее составленное и написанное Мангазиным и его сообщниками, пришлось, к удовольствию собравшихся, переписать.

Сейтназара, правда, сняли, отобрали печать, но он был доволен, что отделался хотя бы так.

XIII

Тихая осенняя ночь. На темно-сером небе холодно поблескивают далекие звезды. Все вокруг погрузилось в глубокий сон.

Таутан спешит куда-то под покровом ночи. Дорога, белея, змеится у его ног. Он шлепает по пухляку, воровато озирается по сторонам, с трудом сдерживает дыхание. Зловеще темнеют по обе стороны дороги густые заросли джингила и джиды. В южных краях и проселочную дорогу часто прорезают арыки и неглубокие балки. К осени они высыхают и только на самом дне остается скользкая грязь. Торопливому путнику ничего не стоит темной ночью оступиться или поскользнуться. Таутан это испытал не однажды. Бывало, в безлунные ночи крепко доставалось от него проклятым «вредителям», хотя и

убравшим урожай, однако не успевшим вовремя разровнять кочки и засыпать все ямы.

Вскоре он свернул с дороги и пошел по песчанику с чахлым, пожелтевшим кураком. Дойдя до чащобы колючего тростника, он остановился, подождал немного, приподнял стекло фонаря, раздобытого у знакомого железнодорожника, поднес к фитилю спичку. Еще постоял, прислушался и шмыгнул в черные заросли.

Вдруг Таутан испуганно оглянулся. Он явно слышал, как сзади хрустнул тростник. Или почудилось... Ничего не видать в глухих душных зарослях. Хоть глаз выколи. Можно было б потушить фонарь, опуститься на колени, прислушаться. Но Таутан не стал этого делать. Верно говорят: «У труса от страха в глазах двоится». Должно быть, какого-нибудь зверька вспугнул. В этих камышах особенно много зайцев и шакалов. А шакалы, говорят, хоть с виду и невзрачны, как шелудивые дворняжки, но когда голодны, с ними шутки плохи. Бывает, и на человека нападают. Таутан похолодел. А вдруг вынырнут из кустов шакалы, окружит его целая свора — что он сделает, безоружный, беспомощный? Сожрут его темной ночью хищники и косточек не оставят. О, алла... Чего только в страхе не померещится! Но все хищники боятся огня. А у него в руке — фонарь. Бог даст, не пропадет. Опасен не хищник, а человек.

Таутан постоял, затаив дыхание, потом пригнулся и решительно направился в глубь непроходимых зарослей. Вскоре он нашел заветный куст с ободранной корой, поставил фонарь под низкорослым чингилом. Здесь камыш и кустарник росли так густо, что в двух шагах невозможно было увидеть свет фонаря. Таутан успокоился и принялся за дело. Он откинул большой дерновый пласт, вытащил объемистый узелок, обернутый в старую кошму и туго перетянутый бечевкой. Развернул, развязал, пальцами пощупал кипу плотно сложенных бумажек, отобрал пачку, не торопясь пересчитал при свете фонаря и сунул за пазуху. Ну и черт с ним, что не избрали его председателем! С голоду не подохнет. Вот этот заем прокормит и его, и детишек. Не на один год хватит. Будет по частям сплавлять в банк...

Подозрительные намеки старого немца насторожили Таутана, и он, не долго раздумывая, перетащил свой клад из зимовья в овраге Жидели сюда, в непроходимые заросли. Попробуй найди тут. Ни одна собака не догада-

ется. А для тех, кто будет просить свои облигации, ответ готов. Он их пошлет к Сейтназару, на него сейчас все валить можно. «Ничего не знаю,— скажет Таутан,— все облигации захапал баскарма. Куда он их подевал — шайтан знает. Такой хапуга — кто бы мог подумать?! Еще бы год, и весь колхоз до последней нитки обобрал!» Вот так он и скажет. А там, поверят не поверят — их дело, его это не касается. Когда сняли Сейтназара, он был совершенно уверен, что только его, Таутана, назначат председателем колхоза, потому что нет более достойного в этом ауле человека. Пригласил домой того, из райисполкома, угощал, обхаживал, наизнанку весь вывернулся. Конечно, он ни словом не обмолвился о своем заветном желании. Да и как можно? С таким высоким начальством Таутану еще не приходилось иметь дело. Но ведь высокое начальство могло бы и само догадаться о том, что на душе скромного бухгалтера. Если уж на то пошло, именно благодаря Таутана удалось убрать неугодного, строптивого баскарму. Выходит, зря старался?.. Ну, да ладно, сейчас не повезло, в другой раз повезет. Надо только терпеливо ждать и брать на заметку все, что творится вокруг. Все-все.

Он положил сверток на место, так же тщательно укрыл дерновым пластом, посветил себе, оглянулся, не осталось ли следов. Нет, сам дьявол искать будет — не найдет. Да что там! Умеет он работать тонко, четко, обстоятельно. Не придерешься... Он усмехнулся в темноте, погладил отросшие усы. Потом потушил фонарь и тем же следом заспешил назад. Еще за аулом он услышал мощный, тягучий голос: кто-то пел, пронзая ночную тишь. Таутан даже застыл от неожиданности. Почему, с какой стати поют ночью в ауле? Потом вспомнил: Байбол-Балабол выдает сестру замуж. Бухгалтера еще утром пригласили на той, а он в суете совсем запамятовал. Видно, в самом разгаре веселье, ишь, как распелись, дьяволы...

В последние дни Мангазин чувствовал в себе необыкновенную силу: ведь если ты запросто свалил самого Сейтназара, а тот, считай, дуб с глубокими корнями,— то, видит аллах, не так уж он, Таутан, и слаб. Всерьез возьмется, и горы свернуть может. Да, это здорово, когда ты сильный! Но только что сила? Надо быть хитрым, ловким, изворотливым, чтобы загребать жар чужими руками, чтобы вовремя задушить, придавить врага, а

врагом для Таутана был каждый, кто имел власть и стоял выше его. Бог даст, он себя еще покажет, не такие дела наворочает. Недалек, не за горами день, когда сын Мангазы наденет шапку набекрень и начнет цедить сквозь зубы распоряжения. Ох и не насладится же он властью! Нет, о районных, областных чинах он не мечтает. Там сидят умники, поднаторевшие в политике. Они Таутана и близко к себе не подпустят. Дали бы ему в руки хотя бы повод аула, ух, зажал бы он шенкеля, да так, чтоб по струнке все ходили... Эх, жизнь! Бегали бы все вокруг него, в рот заглядывали: «Таутеке, что вы скажете?», «Таутеке, что прикажете?», «Таутеке, как вы считаете?» Господи, что еще надо человеку... Ничего, терпи, жди, и будешь вознагражден.

Подстегивая самолюбие, жадно думая о будущих счастливых днях, стоял Таутан на краю аула и прислушивался к веселым песням, доносившимся из дома Байбода. Странно, он не находил в них ничего предосудительного, ничего крамольного, как это ему обычно легко удавалось, наоборот, они ласкали его слух. Апырмай, до чего же красиво поет! Кто же он, этот зычноголосый? Уж кого-кого, а певцов и домбристов в их ауле хватает. В молодости Таутекен тоже на домбре тренькал и песни, бывало, мурлыкал. В школьной самодеятельности декламировал стишки. Правда, в суть трескучих стишков он не вникал, но читал громко, надрываясь, и ему было приятно сознавать, что он вот читает, а его все слушают, да еще и в ладоши хлопают. Э, что там говорить, нынешний Таутан, день-деньской просиживающий в конторе за счетами, когда-то тоже был молод и горяч и увлеченно бегал за каждой юбкой. Это он теперь не питает слабости к огненной водице, а между двадцатью и двадцатью пятью лакал, не разбираясь, все подряд. Тогда водка и вино были роскошью. Попробуй найди. Вот он и околачивался возле самогонщиков на станции. Нет, грешно жаловаться, пожил Таутан в молодости неплохо. Есть что вспомнить. И за девками, слава богу, походил-побегал, не одной длиннополой в любви вечной клялся. Правда, победами да любовными утехами хвастать особо не приходится. Однажды он пощупал было одну русскую молодуху на станции, но она, дура, закатила ему оплеуху. С русскими бабами не знаешь как себя вести. Чуть что — руки в ход. Казашки, те только языками, как змеи, жалят. А, впрочем, если по правде, не ве-

зет ему на баб. Ведь и сейчас клокочет в нем мужская сила, а толку-то... Вон Бекбаул с толстухой Сейтназара снюхался и хоть бы что. А Таутану приходится довольствоваться женой, плоской и бесчувственной, как доска. Ох, и в любви справедливости нет... А молодежь развеселилась, на всю степь горланит. Теперь до утра не угомонятся. Эх, жизнь! Так и проживем свой век в бестолковой, бессмысленной суете, не испытав твоих радостей, не вкусив сполна твоих соблазнов...

Темной ночью стоял одиноко Таутан на краю аула, слушал, вытянув шею, песни аульной молодежи и грустно вздыхал. Он уже решил было пойти в тот дом, где пировали, поздравить сестру Байбола, утешить душу за дастарханом, но вспомнил про толстую пачку за пазухой, тревожно оглянулся и нехотя поплелся домой.

* * *

Проснулся он в испуге. Было еще рано, за окном едва брезжил рассвет. Из передней доносилась крикливая ругань. Жены рядом не оказалось. Похоже, поднялась чуть свет и теперь с кем-то отчаянно бранилась. И чего этим длиннополым не хватает? Его баба тоже не из тихих, палец в рот ей не клади, значит, надолго базар затеяли, о сне и думать нечего. Таутан натянул толстое атласное одеяло на голову, с досадой отвернулся к стене. Да хоть глаза друг другу повыцарапайте, подумал он, а мне выспаться надобно. Посопел, покряхтел, губами пожевал, стараясь не вспугнуть прнятную дрему.

Со страшной силой распахнулась дверь спальни, будто кто-то норовил сорвать ее с петель, и тогда Таутан, красный от возмущения, с яростью отшвырнул одеяло, вскочил, белея в сумраке исподним. Он не сразу сообразил, что здесь происходит, и, протирая заспанные глаза, заорал:

— Эй, сволочи, какого черта тут хай подняли! Почему спать не даете?!

Жена стояла у порога. Голос ее дрожал.

— Разве я виновата?.. Говорю, говорю этой бесстыднице, а она... Дело, говорит, срочное есть...

— У кого дело, пусть в контору приходит, а не ко мне в спальню!

— Ах, вон как! С постелью не желаешь расставаться, неженка, а?! — Рослая женщина в длинном, широком

платье, в черном шелковом платке на плечах оттолкнула растерявшуюся жену Таутана н решнтельно подошла к постели.

Когда Сейтназар был еще в снле, Нурня частенько бывала в доме главного бухгалтера. В последиее же время Таутан велел жене прекратнть отношения с опальным домом бывшего баскармы, а чуткая, гордая Нурня, должно быть, догадываясь об этом, посчнтала нлже своего достоинства приходнть к ннм. Сейчас Таутан вдруг понял, что неспроста пожаловала с утра пораньше строптнвая жена бывшего председателя. На всякнй случай забрался в постель, неуверенно промямлнл:

— А, это ты... Что тебя чуть свет пригнало?

— Прости, конечно, что такому молодцу сон нарушнла...— Нурия усмехнулась, сложила полные рукн на высокой грудн. По голосу чувствовалось, что сдержнвала себя с трудом.— Твоя дуреха такой лай подняла... через порог не пускает. А уж мне, поверь, никак шуметь не хотелось.

— Она права. Я, почтенная, терпеть не могу, когда меня будят..

— Смотрн-кось, какой важный, а?! С какнх пор такая спесь?!

Таутан сел, скрестнв ногн, прикрылся по плечн атласным одеялом. Сон мнгом прошел. С бабой ругаться — удовольствия мало. А эта явно напрашнвается на скандал. Вон в какую позу встала: ни дать нн взять — батыр! Все окно загороднла, хочет, чтобы он на нее полюбовался, что ли?! Нужна она ему! Таутан ненавидел не только Сейтназара, но и его высокомерную жену. Правда, раньше он всемн силамн скрывал свою неприязнь к ней, а теперь нечего танться. Что она, думает испугать сына Мангазы?! Не на того напала! Он н грозного мужнка запросто втоптал в грязь. С Мангазнным шуткн плохн!

— Эй! Ты тут горло не дери, поняла?!— Таутан от возмущення даже заерзал.— На кого голос повышаешь? Говорн, что надо, н мотай отсюда! Некогда мне с бабой трепаться!

— Ну н скажу!— Нурня, дрожа от яростн, надвинулась на Таутана. Она размахивала рукамн прямо перед его носом. Лнцо ее пылало.— Ты, кривоносый! Ты, паскуда! Это ты кляузы на моего мужа строчил! Ты его

травил!.. А ну, покажь, чего достиг, чего добился, пес паршивый!

Таутан растерялся, откинулся на подушку.

— Эй, ты рукам волю не давай! Совесть-то имей, почтенная! Ты на меня не греши. Я твоего мужа не трогал. И нечего на меня валить. Не поможет!..

— Так кто же, если не ты?!

— Кто, кто... Да этот дурень Бекбаул... вот кто. Твой возлюбленный, хахаль! Он кляузы написал! Он подписал! Иди на него жалуйся, если такая храбрая. А мне голову не морочь! Детей моих не пугай и не шуми в моем доме, почтенная!..

— Так и знала, что выкручиваться будешь, подлец!

— Ты... это... не оскорбляй ответственного работника! Осторожней выражайся, поняла?! Меня в районе знают. Смотри, почтенная, отвечать придется! Мне нет дела до твоего мужа! Нет, понимаешь? Мне не кобылу с ним делить... игривую, как некоторым...

Таутан презрительно сплюнул. Кажется, в точку попал, в самое больное место. Сразу заткнулась бешеная баба. Так ей и надо, пусть не забывается, потаскуха.

Нурия задохнулась, застыла с открытым ртом, слезы полились градом. Господи, какой мерзавец! Невинным прикидывается. Знает, куда бить. И Бекбаул, дурень безмозглый, пошел на поводу такого негодяя! Да его за это поколотить мало. Как он мог?! Приплелся вчера, нос повесил, рассказал все, как было, каялся, убивался. И она поверила ему, даже пожалела. Кому ж ей еще верить? Он ее единственный, желанный. Отец ее сынишки, смуглого плотного карапуза. Одно время почти не встречались. Теперь опять наведываться стал. Тот нетерпеливый, жадный огонь в ее теле погас, и все же при виде сильного, плечистого увальня на душе становилось тепло, приятно. Недолго длилась бабья обида. Думала сначала, что он со зла унизил, выбил из седла ее тихоню-мужа, ее опору. Потом узнала, что поддался глупый подлым уговорам, и сердце ее смягчилось, простило любимого. С еще большей силой вспыхнула в ней ненависть к Таутану, и жаждала она мести, хотела унизить его, растоптать, смешать с грязью, насладиться его позором, а вышло все по-другому. Теперь она стоит тут, раздавленная, жалкая, и не в силах унять злые, беспомощные слезы...

Закрыв лицо ладонями, Нурия выскочила на улицу. Нашла под навесом укромное местечко, опустилась на чурбан и навзрыд разревелась. Долго не могла она успокоиться. Неужели навсегда отвернулось от нее счастье? Неужели ее «робкий ягненок» не оседлает больше статного, гривастого иноходца? Неужели ему теперь до конца жизни волочиться на захудалой лошаденке-кляче? Господи, откуда напасть такая? И скотом не обзавелись, и домов кирпичных в городах не построили. Бедный ее муж двенадцать месяцев в году не давал себе покоя, всю силушку колхозу отдал, и себя не щадил, и о жене не думал, и о будущем ребенка не позаботился. И вот дожили, остались едва ли не голые-босые. То, что нажили, ненадолго им хватит. А потом? Как жить-то будут?.. Но нищета еще полбеды. А как пережить позор, унижение? Как вынести злорадство, насмешки, пересуды, дурную молву? Те, кто еще недавно издали кланялись чуть ли не до земли, теперь проходят мимо, небрежно шевеля губами, а то и вовсе не замечают. А бабы языками цок-цок, губами шлеп-шлеп, на каждом углу, на каждом перекрестке в нее тычат. Иные, правда, приветливы и внимательны, как прежде, будто и не случилось ничего, но Нурия и им уже не верит, ей чудится всюду неискренность или откровенная, унизительная жалость. Плохо человеку, когда он вдруг выбивается из привычной колеи. Он становится мнительным, подозрительным, недоверчивым. Трудно согласиться уязвленному самолюбию с тем, что несмотря на крушение очага, привычного благополучия, жизнь вокруг по-прежнему остается прекрасной.

Подавленная неожиданно обрушившимся горем Нурия сидела под навесом, прислонившись спиной к прелому сену, и не замечала, что солнце поднялось уже высоко и начало ласково пригревать. Часто выпадают в середине осени в этом краю такие погожие дни. И тогда запрятавшиеся под кустами жаворонки, расправляя крылья, взмывают радостно ввысь и заливаются торжественной трелью, словно ранним летним утром. Привычный шум оглашает аул: блеют овцы, мычат коровы, малышня выгоняет скотину на выпас и при этом, подражая взрослым, покрикивает: «Чек, эй!», «Кос-кос!», «У, шайтан тебя возьми!»

Нурия успокоилась и оглянулась. Злая усмешка исказила ее бледное, усталое лицо. Она порывисто встала и направилась к дому Таутана. «Это он, он, негодяй, все

затеял! Он, кривоносый!»— нашептывал мстительный голос...

В доме Таутана завтракали. Едва взглянув на нее, Таутан побледнел, защищаясь, вскинул руки, отпрянул от дастархана, прижался спиной к стене. Глаза Нурии налились кровью. Ничего не видя, перешагнула она через дастархан, насмерть перепугав жену и детей, всей тяжестью навалилась на Таутана, вцепилась в ворот и поволокла к порогу, словно баранью тушку. На крик и шум мгновенно сбежались соседи, и прямо на их глазах, вконец остервенев, женщина нещадно колотила, пинала, дубасила беспомощного перед ее яростью мужчину, мстя за обиды мужа и свой позор. Таутан барахтался под нею, визжал, кричал о помощи, а люди толпились вокруг в замешательстве. Наконец мужчины схватили осатаневшую бабу, еле оторвали от истерзанного, растрепанного главбуха.

Слух о побоище в тот же день облетел аул. Таутан несколько дней не выходил из дома и к себе никого не пускал.

XIV

С того дня удача покинула Таутана. Началась полоса невезения. Пригласил его в кабинет парторг и завел странный разговор с непонятными намеками. Лицо главбуха оставалось, однако, непроницаемым, и тогда парторг, вышедший из терпения, достал из стола огромный сверток в старой кошме и с силой швырнул перед опешившим Таутаном — аж пыль поднялась. Глаза парторга сузились, ноздри затрепетали.

— Что это?!

У Таутана отнялся язык. Лоб покрылся испариной, глаза погасли, подернулись клейкой пленкой.

— Что же молчишь, товарищ Мангазин?— Парторг продолжал смотреть в упор. Таутан кое-как собрался с мыслями, выдавил жалкую улыбку.

— Убей меня бог, если что-нибудь понимаю... Что за сверток? Что за шутки?

— Что за сверток! Он еще спрашивает!— У парторга от возмущения округлились глаза.— Ты что, собственное имущество не признаешь?

— Какое еще имущество?!— Таутан уже пришел в

себя и сообразил, что нужно от всего отказываться, иначе будет худо.— Да аллахом клянусь, первый раз это вижу. И не понимаю...

— Оу, кому ж тогда верить?!— Мягкий, добродушный по природе парторг был озадачен.— Человек, который мне это принес... уверял, что выследил тебя... что твое это...

Таутан почуял неуверенность в голосе парторга и мигом прикинулся совершено не ведающим, о чем идет речь. Глазами заморгал, захлопал, невинную улыбку изобразил.

— Ради бога, скажите, что это? Что... в этом свертке?

— Заем! Груда облигаций!

Таутан изобразил бурную радость, даже вскочил, обеими руками вцепился в сверток.

— Ойбай! Так это же мой заем! Заем колхозников!

Парторг с удивлением смотрел то на гладкое, лоснившееся лицо Таутана, то на длинные, цепкие его пальцы, ловко развязывавшие узел.

— Как твой заем? Ты ведь только что отказывался! Ты что крутишь, товарищ Мангазин?

Парторг начинал злиться, а Таутан, поняв, что ему теперь ничего не стоит вывернуться, спокойно развязал узел, вытащил кипы облигаций, разложил на столе.

— Большое-пребольшое вам спасибо! Вы даже не представляете, какая это для меня радость!— взволнованно заговорил главный бухгалтер.— Месяца полтора назад я собрался раздать заем колхозникам, но по горло погряз в делах, запурхался, а потом, как спохватился — заем-то тю-тю... Выкрали! Стащили! Весь дом всполошил, волосы на себе рвал. Что теперь людям скажу?! Как им в глаза посмотрю?! Как-то колхозники баскарме пожаловались, дескать, главбух заем не дает. Я тогда чуть сквозь землю не провалился... Не беда, если бы свое, а то ведь добро народное. За него головой отвечать надо... Но сжалилась судьба надо мной. Нашлась, слава богу, потеря. Господи, кто тот благодетель, что спас меня от вечного позора?!

Парторг недоверчиво выставился на Таутана, поморщился, достал из кармана кисет, начал ладить «козью ножку». Глубоко затянувшись и выпустив ядовито-лиловое облако дыма, он чуть успокоился, тяжелые складки на лбу разгладились. После злополучной истории с Сейт-

назаром парторгу многое стало ясно, и он с подозрительной настороженностью относился к главбуху. Втайне он обрадовался, когда узнал, как лихо расправилась Нурия с обидчиком ее мужа. Теперь он понимал, что и за этим случаем с облигациями, несомненно, кроется подлость. Но ведь: не пойман — не вор, за руки его никто не схватил. Карл Карлович — человек честный и надежный. Это он принес сюда сверток и рассказал все как есть. Можно, конечно, взять его в свидетели, передать дело в суд, и тогда, возможно, раскроется еще немало темных делишек. Но... Вот это «но» и смущало больше всего парторга. Председателя колхоза только что ославили на весь район, сняли с работы. Теперь вдруг выяснится, что и главбух колхоза Байсун — мошенник и вор. Скандал! Позор всему аулу! Истинно: одна паршивая овца все стадо портит... И хорошо ли это будет — кричать на всю округу о том, что в отаре завелась паршивая овца? Тут еще подумать надо. Возможно, не так уж страшна эта паршивая овца. Сам по себе Таутан — мелочь. Но такие, как он, незаметно отравляют жизнь другим, душат надежду и порыв, сеют зло. От них не так-то просто отделаться. Они верткие, скользкие, цепкие. Их можно победить лишь в долгой, затяжной, изнурительной борьбе. Вот о чем думал сейчас парторг, искоса поглядывая на откровенно лгавшего главбуха. А тот, почувствовав, что опасность миновала, самодовольно ухмылялся.

— Апырмай, вот повезло-то, а?! А я уже думал: все, конец, не видать уж мне пропажи, как своих ушей. Такая сумма! Целое состояние! И вдруг, нá тебе, лежит перед носом. Скажите, кто нашел это? Кто он, этот добрый ангел, спасший мою честь?! Я всю жизнь молиться на него буду.

Парторг таинственно усмехнулся, еще больше помрачнел.

— Ладно. Довольно. Собери все это и сегодня же раздай кому положено. Все!

Парторг отвернулся, будто не в силах был больше терпеть его присутствия.

— Понял... Конечно... Сейчас же... Спасибо,— бормотал главбух.

Со свертком под мышкой выбежал он из конторы и тут же забыл про опасность, прогремевшую над ним, с удовольствием прошелся по женской и мужской линии

всех мерзавцев, отравивших ему тихую и сытную жизнь. Знает, знает он того благодетеля, днем и ночью преследовавшего его по пятам! Пронюхал-таки старый хрыч, чтоб вторая нога его отсохла! Конечно, это он его засек. Кто ж еще! Недаром каждый раз при встрече кривил губы и глазами буравил. Давно, видать, принюхивался. Но как он узнал, как только догадался об его тайне? Ведь ни одна живая душа о том не знала. Или он сам проболтался? Конечно, сам виноват. Поехал к этому рыжему рохле в районной кассе, как человеку доверился, душу открыл... Отсюда все и началось. Не зря говорят: «у молвы пятьдесят пар ушей». Брякнул раз невзначай, и вот пошло-поехало... Бить тебя, Таутан, некому! Не рыпался бы, спрятал бы подальше свое богатство, никакой черт не был бы страшен. А теперь делать нечего, надо скоре избавиться от этой беды. Слава богу, хоть так обошлось.

В тот день до самого вечера ходил Таутан по домам и раздавал колхозникам заем. Солидную часть он в разное время успел сдать в банк и получить деньги. И теперь почти в каждом доме спрашивали: «А где остальное?» Приходилось опять изворачиваться. Одним он обещал вернуть потом, других корил за мелочность, третьих просто обругал. Уже в сумерках он отвязался от всех облигаций и, злой, опустошенный, притащился домой. Но и здесь его ждала неприятность.

Весной, возвращаясь со станции, выпросил он у одного знакомого щенка овчарки. Привез его домой в торбе. Думал: вырастет, и зимой по первому снежку отправится на косуль и зайцев. Все лето как на убой кормили собаку. Вскоре она окрепла, покрылась жесткой шерстью, стала грозно рычать. Пришлось посадить на цепь, а на цепи собака становится, как известно, еще злее. Когда Таутан, шатаясь от усталости, добрел до плетня, овчарка, непонятно каким образом, сорвалась с цепи и набросилась на него. То ли не узнала в темноте хозяина, то ли ошалела, почуяв неожиданную свободу, только злобно рявкнула и рванула за штанину. Таутан в ярости пнул ее изо всех сил и угодил прямо в морду. Собака взвизгнула, заскулила на весь аул и, поджав хвост, бросилась к сараю. Таутан ворвался в дом, обрушился на детей.

— Кто из вас, сукины дети, отвязал собаку, а?!

Шмыгнув носом, выступила вперед чумазая девчуш-

ка. Она, однако, проявила полное безразличие к отцовской ругани и, расставив ноги, почесала замызганное айраном голое пузо...

* * *

Со вчерашнего дня занепогодило. Лохматые тучи низко поплыли над землей, с севера подул пробиравший насквозь ветер. Еще не успевшая пожелтеть трава мигом пожухла, сникла. Утренняя роса сменилась инеем, кусты казались от него курчавыми. Стайками носились озабоченные скворцы — предчувствовали дыхание зимы.

Наконец, будто обрушилось небо, полил холодный осенний дождь. Солончаки набухли, превратились в болота. Приуныли в лачугах, юртах, стоявших между корявым саксаулом. Дырявая, трухлявая кошма — плохая защита от осенних ливней. В некоторых юртах строители канала не находили сухого места. В жер-ошаках — земляных печках — мгновенно погас огонь, и кетменщики остались без горячего обеда. Повара, поняв, что дождь кончится теперь не скоро, затащили самовары в юрты и пытались разжечь их отсыревшим хворостом. Но им пришлось изрядно помучиться: дрова шипели, чадили, едкий саксаульный дым клубился в юрте, ел глаза, не давал дышать.

Бекбаул сидел в углу, прислонившись к громадному деревянному сундуку и низко опустив на глаза старую, засаленную фуражку. Костистый, жилистый, он, казалось, за последнее время еще больше осунулся, похудел, Лицо почернело, погрубело, руки потрескались. Он был в заскорузлой фуфайке, на ногах — разношенные сапоги с длинными голенищами. Должно быть, продрог. Поежился зябко, вобрал шею в фуфайку. Дым хоть и щекотал ноздри, однако сулил тепло, грел душу. Бекбаул опять закрыл глаза, погрузился в дрему, странное состояние между сном и явью. Разговоры в юрте доходили до сознания обрывками, издалека, потом исчезали, растворялись в мареве причудливых видений. Монотонный шум осеннего ливня, сливаясь с бормотанием джигитов, звучал в ушах приятной колыбельной песней, навевал истому, покой...

Что это? Кто это? Странная птица. Медленно, плавно опускается все ниже, ниже, перья ее переливаются, свер-

кают в лучах солнца. Клюв острый, медный. Вместо когтей — изогнутые стальные ножи. Гигантская, жуткая птица! Ее огромная тень зловеще скользит над горами, над долами, над лесами... Вон в безбрежной степи виднеется чабан, грязный, оборванный, он бежит за отарой, размахивает посохом, кричит, ругается. Гигантская птица, распластав крылья, на мгновение повисла над ним, между небом и землей, и вдруг камнем ринулась вниз, прямо на чабана... Все! Погиб несчастный. Разве спасешься от этого чудовища?! Нет, бедный чабан и рта раскрыть не успел, как со свистом обрушилась на него птица, уселась на плешивую его голову и обернулась маленькой, как синичка, шилохвостой птахой. Мгновенно степь наполнилась людьми. Они, ликуя, посадили чабана-оборвыша на белую кошму, провозгласили его ханом. Оказывается, на плешивую голову чабана опустилась сказочная птица счастья. Грозный повелитель этого края приказал долго жить, народ остался без владыки, и тогда по древнему обычаю открыли железную клетку, выпустили на волю жар-птицу. Тот, на чью голову она опустится, должен быть избран ханом. Не каждый в состоянии вынести этот дар. Бывает, иного больно ранят, а то и искромсают острые, как нож, когти птицы. Но если она, опускаясь, превращается в крохотную, безобидную птаху, значит, такова божья воля. Быть пастуху-оборвышу ханом. Теперь он восседает на золотом троне в белом дворце. Он отныне всемогущий повелитель и справедливый правитель. О справедливости его будут рассказывать легенды: дескать, даже волосок он может рассечь повдоль мечом правды. Он прославится на всю степь, имя его будут произносить с трепетом и благоговением, но в душе справедливого хана растет неизбывная тоска. Она печалит, старит его сердце. Он вдруг ясно поймет, что невозможно быть одновременно всемогущим повелителем и справедливым правителем, и эта смутная душевная тревога постепенно разъедает его волю, подтачивает силы. Вскоре он отречется от соблазнов власти и богатства, лживый мир станет немил, невыносим, и он почувствует себя в роскошном дворце одиноким и несчастным. Однажды он выйдет из ханских покоев и прикажет выпустить на волю долгие годы томящуюся в железной клетке жар-птицу. Проводив ее взглядом, он сбросит с себя богатое ханское одеяние, облачится в истлевшую рвань пастушонка, возьмет в руки старый черный посох

и уйдет куда глаза глядят... С тех пор, рассказывают, никому не суждено больше видеть жар-птицу. Поговаривают, будто улетела она за древние Капские горы и обитает там на недоступных скалах, будто раз в год поднимается над горами, долго-долго кружится, парит в вышине, но так и не находит того, кого могла бы облагодетельствовать счастьем. Кто знает, может, и сказки все это... Но так говорят в народе, и значит, есть она, волшебная, огненная жар-птица...

Ту-у, что только не померещится! Покойный отец-старик часто, бывало, рассказывал ему в детстве красивую сказку про птицу счастья, вот и приснилась она теперь. Причудливые бывают сны. В последнее время он плохо спит, неспокойно на душе, вот и снится всякая чушь.

Бекбаул сдвинул фуражку на затылок, помотал головой, разгоняя дрему. А хорошо, что малость вздремнул: в теле сразу появилась бодрость. Дождь не прекращался, временами лишь затихал, чтобы потом обрушиться с новой силой. Повариха все же разожгла самовар и теперь в белом чайнике готовила заварку. Бекбаул почувствовал голод.

— Оу, тетка, что-нибудь, кроме чая, дашь нам сегодня?

— Я, что ли, виновата, если дождь льет?!— буркнула повариха.— Может, вечером распогодится, тогда и сварю что-нибудь.

— А если не распогодится? С голоду подыхать?

— Ну, а что я могу, господи?!.

— Надо треногу перенести в юрту. И теплее будет, и ужин сготовишь.

— В самом деле, другого выхода нет,— подал голос Сейтназар.— Теперь на погоду надеяться нечего. Наглотаемся, конечно, дыму, но без горячей пищи не обойтись. Не так ли? Так, конечно! Значит, придется поставить таган здесь, товарищ повар.

Сейтназар был назначен мирабом аула Байсун и теперь на стройке канала руководил кетменщиками своего колхоза. Сейчас он не приказывал, не покрикивал, однако держался с достоинством и говорил попрежнему веско. Не любил, когда возражали или походя роняли: «Не могу». Новый председатель колхоза сразу

же проникся уважением к Сейтназару. Он ценил в нем толкового, знающего работника и часто обращался к нему за советом. Зная это, иные забияки-зубоскалы не осмеливались распускать языки при Сейтназаре, хотя теперь уже и бывшем баскарме. С рядовым кетменщиком Бекбаулом повариха переругивалась без смущения, но Сейтназару перечить не решилась.

— Это, конечно, можно, но у тагана одна ножка еле держится...

— Скажи Карлу Карловичу. Он мигом припаяет.

— Конечно, так и сделаю...

Бекбаул замолчал, едва вступил в разговор Сейтназар. Между ними не было стычек, хотя и поглядывали друг на друга косо. Сейтназар, конечно, уже знал, что главным виновником его несчастий был главбух, давно точивший на него зуб, но он не мог простить Бекбаулу то, что тот стал глупой дубинкой в подлых руках, что именно он послужил поводом для наветов и травли. Он не находил оправдания для джигита, у которого не было своей головы на плечах. И еще его злило, что зачинщики грязной травли безнаказанно разгуливали по аулу и жили припеваючи, безмятежно. Мангазин по-прежнему восседает на своем месте, и стул под ним не шатается. И с Альмухановым ничего не случилось, машет кетменем, канал строит. В правлении поговаривали о том, что следует оставить мирабом Бекбаула и на вторую очередь стройки, но парторг решительно высказался за Сейтназара, изнывавшего от безделья дома. Как-никак старый товарищ ведь, заступился, не позволил оставить его на отшибе. И вот опять скрестились пути Бекбаула и Сейтназара. Ничего, утешал себя Сейтназар, дай срок, построим канал и тогда повоюем за справедливость, выведем кое-кого на чистую воду...

Все это время Бекбаул чувствовал себя на распутье. Он еще не сделал для себя определенного вывода, и на душе было смутно, нехорошо. То он обвинял во всем своего шурина, то с презрением думал о собственном малодушии, то подозрительно косился на Сейтназара, который тоже оказался отнюдь не ангелом. Если бы все, что написал Таутан, было явной и откровенной ложью, то, может быть, у него, Бекбаула, раньше бы открылись глаза, и он с честью бы выбрался на широкую дорогу, не плутая по кривым тропинкам. Только где она, широкая

дорога?.. Не так-то просто найти ее в жизни. Вот уже, считай, тридцать лет живет на свете, а разве нашел он этот ясный путь, разве идет он по жизни твердым шагом?.. Э-хе-хе... Или сам путаешься, или тебя кто-то путает. И всякий раз, когда тычешься носом в какую-нибудь неприятность, хлопаешь ушами и недоуменно разводишь руками: да как такое могло случиться, как можно было так опростоволоситься?.. И тогда взбрыкиваешь, как строптивый стригунок, стремясь скинуть недоуздок судьбы. Глупо все это. В конце концов радостей и горестей не миновать, раз ты пришел человеком в этот мир. Будут и большие радости, случаются и большие горести. И они оставят свои зарубки в горячем сердце, которое от них или изнашивается, стареет, или, наоборот, закаляется, молодеет. И от этого тоже не уйти. Что ж, это и есть жизнь! Этим, должно быть, она и дорога, и вечно таинственна, прекрасна. Дорога не только тем, что сладка, соблазнительна, но и тем, что порой горька и способна причинять боль.

Потягивая из большой кесе жидковатый, отдававший дымком чай, Бекбаул все думал и думал о своем. Иногда он поглядывал на аулчан. Они сосредоточенно ели, макая куски лепешки в растопленное масло в большой чаше посередине. Сдружились они на этой работе, жили душа в душу, привыкли последним делиться. На резком осеннем ветру с утра до вечера кетменем да мотыгой прокладывают канал. Сколько сил уложено, сколько пота пролито, но ни один не жаловался на трудности, никто не хмурил брови. А ведь у каждого небось накопилось в душе и хорошее и плохое, у каждого свои заботы и радости. Еще вчера Бекбаул ничем не отличался от своих сверстников, но сам накликал себе беду, сам оступился, не той тропинкой пошел... Теперь нашел свой родной косяк, снова очутился в своей среде, и с этого момента его не покидала надежда вновь обрести душевное равновесие. Узнав о начале второй очереди строительства канала, Бекбаул захватил свой верный кетмень и одним из первых прибыл сюда. Он уже не был мирабом, и что удивительно, это его совершенно не расстраивало. Он искренне предпочитал быть рядовым кетменщиком. Слава богу, сила есть, кетмень держать в руках не разучился, и теперь он поспорит с самим Рысдавлетом. Строительство канала завершается. Скоро достигнут

желанной межи. А там, куда поведет жизнь — покажет время.

Дождь ослабел, выдохся. Кетменщики повеселели. Подул бы ветерок да показалось солнце, и они бы дружно выкопали русло канала, по которому весной в их степь придет благодатная вода. Тяжело томиться в осеннее ненастье без дела.

Порывистый ветер ударил в грудь скованного черного неба и, разорвав в клочья облака, погнал их вдаль. Робко улыбнулось солнце...

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕВАЛ

Повести молодых казахских писателей

(книга первая)

Перевод с казахского

Составитель *Е. Сатыбалдиев*

Редактор *М. Жанузакова*
Художник *Л. Тетенко*
Худ. редактор *Н. Бубэ*
Техн. редактор *Р. Винокурова*
Корректор *И. Хасенова.*

ИБ № 1944

Сдано в набор 24.04.81. Подписано к печати 08.12.81. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. П. л. 16,5. Уч.-изд. л. 29,1. Усл. п. л. 27,7. Тираж 50 000 экз. Зак. 631. Цена 2 р. 10 коп.

Издательство «Жалын» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.